7

Константин Симонов

7

Константин Симонов



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Константин СИМОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ СЕДЬМОЙ

Так называемая личная жизнь

[Из записок Лопатина]

Роман в трех повестях

ЧЕТЫРЕ ШАГА

ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ

МЫ НЕ УВИДИМСЯ С ТОБОЙ...

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р 2
С 37

Оформление художника
ВЛ. МЕДВЕДЕВА

С $\frac{4702010200-016}{028(01)-82}$ подписное

Моим старшим товарищам —
военным корреспондентам
из поколения
Тихонова,
Суркова,
Платонова,
Славина —
посвящается

Двадцать с лишним лет назад, в ходе работы над трилогией «Живые и мертвые», я задумал еще одну книгу — из записок Лопатина,— книгу о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами.

Между 1957 и 1963 годами главы этой будущей книги были напечатаны мною как отдельные, но при этом связанные друг с другом общим героем маленькие повести («Пантелеев», «Левашов», «Иноземцев и Рындин», «Жена приехала»). Впоследствии все эти вещи я соединил в одну повесть, назвав ее «Четыре шага». А начатое в ней повествование продолжил и закончил еще двумя повестями («Двадцать дней без войны» и «Мы не увидимся с тобой...»).

Так сложился этот роман в трех повестях «Так называемая личная жизнь», который я предлагаю вниманию читателей.

Как и в других моих военных романах, у действующих лиц его — вымышленные фамилии, а у воинских частей — условные номера.

Естественно, что, написав роман о военном корреспонденте, я вспомнил в книге многое из виденного своими глазами, и это с первых же страниц заметят те, кто читал мои военные дневники.

Тем более хочу подчеркнуть, что мой роман — не автобиографический. Его главное действующее лицо — Василий Николаевич Лопатин, родившийся в конце XIX века и встретивший Великую Отечественную войну, перешагнув за сорок,— человек совсем другого поколения, чем я.

Впрочем, о каком поколении нашей интеллигенции идет речь, наверно, ясно и так — из посвящения, которое я предпослал роману.

Константин СИМОНОВ

ЧЕТЫРЕ ШАГА

1

Корреспондент «Красной звезды», интендант второго ранга Лопатин, сидел в приемной члена Военного совета Крымской армии, ждал адъютанта и смотрел в окно.

Шел четвертый месяц войны. Симферополь жил полувоенной-полумирной жизнью конца сентября 1941 года. Под окнами штаба из запыленных «эмок», обтирая платками черные от пыли лица, вылезали обвешанные оружием командиры, только что приехавшие с Перекопа и Чонгара. На другой стороне, у ларька с голубой вывеской «Мороженое», толпились в очереди пестро, по-летнему одетые женщины. Стояла сухая осенняя крымская жара.

Лопатин только вчера вечером вернулся из двадцатидневного плавания на подводной лодке, застал на узле связи пачку раздраженных телеграмм редактора и, до утра просидев за машинкой, по телефону, кружным путем, через Керчь и Ростов, продиктовал статью редакционной стенографистке.

Пока Лопатин был в плавании, положение на юге ухудшилось, и, хотя в утреннем сообщении Информбюро стояла та же самая фраза, что он читал двадцать дней назад,— «наши войска вели бои с противником на всем фронте»,— сидевшие в Симферополе газетчики рассказали, что за это время немцы переправились через Днепр у Каховки и, выйдя к Мариуполю, отрезали Крым.

Утром по телефону Лопатин не застал редактора и теперь колебался — лететь ли в Москву, как было условлено раньше, или в связи с новой обстановкой оставаться в Крыму.

Желание решить свое ближайшее будущее и привело Лопатина к члену Военного совета армии дивизионному комиссару Пантелееву. Надо было посоветоваться с ним и попытаться дозвониться по ВЧ до редактора.

Дверь кабинета отворилась, из нее выбежал с папкой бумаг совсем молоденький младший политрук. У него было розовое,

чистенькое лицо, еще сохранившее ту улыбку, с которой он выслушал последнюю шутку начальства. Положив папку на стол, он скользнул глазами по пыльным, с широкими голенищами, солдатским сапогам интенданта второго ранга и вопросительно уставился на него.

— Вы адъютант члена Военного совета? — спросил Лопатин, поднимаясь со стула, хотя и был старше по званию.

— Да.

— Доложите, пожалуйста, обо мне дивизионному комиссару.

Лопатин назвал газету и свою фамилию.

Минуту спустя он уже входил в кабинет мимо посторонившегося адъютанта. За письменным столом, позади которого, у стены, стояла заправленная солдатским одеялом койка, сидел дивизионный комиссар Пантелеев, бритоголовый, краснолицый человек с очень черными бровями. Лопатину самому не привелось встречаться с ним на финской войне, но от своих товарищей, служивших во фронтовой газете на Карельском перешейке, он слышал много рассказов о Пантелееве как о человеке замечательной храбрости.

Здороваясь, Пантелеев привстал. Он был невысок ростом и плотен. На нем была бумажная гимнастерка с двумя орденами Красного Знамени и синие суконные бриджи. На толстые, короткие ноги были натянуты только что начищенные, резко пахнувшие ваксой сапоги.

Он слушал Лопатина, глядя прямо на него своими черными глазами, и потирал бритую голову то в одном месте, то в другом, словно проверяя, хорошо ли побрил его парикмахер.

Узнав, что Лопатин хочет созвониться с редактором, Пантелеев приостановил его движением руки, снял трубку ВЧ и приказал, чтобы его соединили с Москвой.

— Положение у нас в Крыму такое,— сказал он, до конца дослушав Лопатина,— войска стоят на позициях, оборона готова, немцы подошли впритирку, но когда начнут — трудно сказать. Крыма им, пока живы, не отдадим,— значит, придется драться. — Пантелеев сказал это безо всякой аффектации и улыбнулся.

У него за спиной затрещал телефон, и он, быстро повернувшись, снял трубку. Судя по восклицаниям Пантелеева, Лопатин понял, что они с редактором на короткой ноге.

— А ты оставь его у меня насовсем, чего ему ездить взад-вперед,— говорил в трубку Пантелеев. — Почему жирно, ничего не жирно, у тебя их много, а мы начинающие, только еще воевать начинаем. Берите трубку,— сказал он Лопатину и снова улыбнулся.

Сквозь сухое многоголосое жужжание ВЧ Лопатин услышал знакомый кашляющий голос редактора.

— Оставайся пока у Пантелеева,— сказал редактор.— Только когда будешь ездить с ним — смотри! А то я его знаю — и сам угробится, и тебя угробит. — Редактор хохотнул в телефон, и его далекий московский смешок оборвался где-то посередине.

— Значит, остаетесь,— сказал Пантелеев и быстро и внимательно, уже как собственность, оглядел своими черными глазами Лопатина.

Перед ним на стуле сидел худощавый жилистый человек в круглых металлических очках. Лицо у него было узкое и худое, а глаза за очками — твердые и холодноватые. Этот человек показался Пантелееву чем-то похожим на знакомого ему по финской войне писателя Павленко, но книг Лопатина он не читал, хотя в документах интенданта второго ранга тоже значилось: писатель.

— А вы не больны? — спросил Пантелеев, вглядываясь в бледное после долгого подводного плавания лицо Лопатина.

— Нет, не болен.

— А жилье у вас есть?

— Есть койка в гостинице.

— Будьте здесь завтра в шесть утра,— сказал Пантелеев, вставая и с пяток на носки покачиваясь на коротких толстых ногах. — Поедем на Перекоп. — И пожал Лопатину руку.

Вернувшись в гостиницу, Лопатин лег в постель, так и не поев в этот день. Он рассчитывал перекусить запасами, оставленными в вещевом мешке перед уходом в плавание, но мешок был пуст, даже от сухарей остались одни крошки. Редакционный шофер Мартьянов, с которым Лопатину и раньше не удавалось поставить себя в положение начальника, за три недели его отсутствия, очевидно, совсем отбился от рук. Ни в гостинице, ни около нее не было ни Мартьянова, ни машины, он даже не посчитал нужным оставить хотя бы записку. Усмехнувшись над собственной, начинавшей ему надоедать безрукостью, Лопатин сбросил сапоги, не раздеваясь повалился на койку и заснул мертвым сном.

2

В пять утра, когда Лопатин проснулся, ни шофера, ни машины все еще не было. Оставалось надеяться, что у Пантелеева найдется лишнее место.

У подъезда штаба стояла «эмка». Розовый младший политрук, держа в руках небольшой чемоданчик,— «наверное,

с едой» — завистливо подумал Лопатин,— бранил немолодого шофера в плохо пригнанном новом обмундировании.

— Так ведь, товарищ Велихов,— оправдываясь, говорил шофер, прикручивая проволокой бачок с запасным бензином к заднему буферу машины,— вы же поймите...

— Во-первых, обращайтесь по званию,— строго прервал его розовый младший политрук и, увидев Лопатина, подчеркнуто официально козырнул ему. — А во-вторых, я все помню: велено было вам взять три банки, а вы взяли две.

— Так ведь для рессор будет тяжело,— не отрываясь от своего занятия, миролюбиво ворчал шофер. — Ведь дорога-то какая...

— Я не слышу, что вы там говорите. Встаньте, когда говорите с командиром.

Шофер, прикручивавший бачок сидя на корточках, встал, неловко опустив руки по швам. По его лицу было видно, что он обижен, с удовольствием послал бы адъютанта к чертовой матери, но не решается.

В эту минуту из подъезда вышел Пантелеев.

— Как у вас, все готово? — обратился он к шоферу.

— Все в порядке, товарищ Пантелеев,— весело сказал шофер, торопливо вытирая руки тряпьем.

Младший политрук посмотрел на него уничтожающим взглядом,— он даже к дивизионному комиссару ухитрялся обратиться не по званию. Однако сделать замечание в присутствии начальника адъютант не посмел и только, зло поджав губы, глянул в спину шофера: мол, погоди, придет время, я с тобой поговорю!

— Раз все в порядке, значит, едем,— сказал Пантелеев и, пожав руку Лопатину, сел впереди.

Лопатин и политрук сели сзади. Шофер захлопнул дверцу, и машина тронулась.

Пантелеев снял фуражку, и через минуту его бритая голова стала беспомощно склоняться то вправо, то влево. Он спал. Лопатин и адъютант ехали молча. Лопатина клонило ко сну, а младший политрук, открыв до отказа боковое стекло и высунув в него голову, неотрывно следил за воздухом.

Через два часа, когда машина подъехала к развилке дорог, из которых одна шла к Перекопу, а другая поворачивала на Чонгар, Пантелеев, как по команде, проснулся, пошарил рукой и, надев скатившуюся на пол машины фуражку, сказал шоферу, чтобы тот сворачивал направо, к Чонгару. Лопатин не собирался ничего спрашивать, но Пантелеев сам повернулся к нему, чтобы объяснить, почему они едут на Чонгар, а не к Перекопу, как собирались вчера.

Оказывается, на Перекопе по-прежнему была тишина, а на Чонгаре немцы вчера днем неожиданно вышли к станции Сальково, лежавшей перед нашим передним краем, и заняли ее. Сальково по предварительному плану оборонять не предполагалось, но батальон, стоявший там в охранении, после внезапной атаки немцев оказался отрезанным на той стороне, за станцией.

— Я там был вчера вечером,— сказал Пантелеев, и Лопатин понял, почему он сразу, сев в машину, заснул. Очевидно, он так и не ложился спать. — Пытались в ночном бою отбить станцию и вывести батальон. Сегодня придется повторить — вчера не вышло.

И он стал рассказывать, почему не вышло: кругом все уже было заминировано, и, чтобы прорваться к Сальково, оставалась только узкая полоса в несколько десятков метров с двух сторон железной дороги. Полк был еще не воевавший, да вдобавок недавно развернутый, укомплектованный из запаса, как, впрочем, и вся дивизия. В ночном бою все перепуталось — чуть не постреляли друг друга. Пришлось остановиться, чтобы навести порядок, подготовить огонь артиллерии и сегодня утром начать сначала.

— Ну и командир дивизии вчера, по правде сказать... — Пантелеев оборвал себя на полуслове и, обращаясь к младшему политруку, сказал: — Спел бы, а, Велихов! Прилетят — услышим. Подними стекло — пыль!

Велихов обиженно поднял стекло — он заботился о безопасности дивизионного комиссара, а тот сказал об этом так, словно адъютант следил за воздухом из трусости. Потом он задумался и негромко, душевным тенором затянул песню о коногоне, которого завалило в шахте. «...А молодого коногона его товарищи несут...» — пел он, и его розовое молодое лицо делалось с каждым куплетом песни все добрей и печальней. Лопатин никогда не слышал этой песни.

— Наша, шахтерская,— сказал Пантелеев и согнутым пальцем потер глаз.

— А вы откуда, товарищ Пантелеев? — спросил неисправимый шофер, и у младшего политрука снова сделалось строгое лицо.

— Я-то? — воспринимая это штатское обращение к себе как самое естественное, переспросил Пантелеев. — Из-под Енакиево. А вы?

— Ворошиловградский,— сказал шофер и затормозил. — Помоему, теперь налево?

— Второй раз едете, надо помнить! — сказал Пантелеев и, прищурясь, посмотрел налево. — Сворачивайте.

«Эмка» подъехала к штабу дивизии. Он размещался в километре от видневшегося на пригорке небольшого хутора. По-

всюду змеились ходы сообщения. Несмотря на здешнюю бедность лесом, штабные землянки были перекрыты толстыми бревнами в три-четыре наката, чувствовалось, что с противовоздушной защитой тут постарались на совесть.

Адъютант командира дивизии, прислушиваясь к воздуху, заметно нервничал и, покрикивая на шофера, поспешно загонял под маскировочную сетку «эмку», на которой приехали Пантелеев и Лопатин.

Командир дивизии — генерал-майор с лицом, которое было трудно запомнить,— встретил приехавшего Пантелеева так подобострастно, что показался Лопатину меньше ростом, чем был на самом деле. Поскрипывая новыми ремнями, он все время нагибался с высоты своего саженного роста к Пантелееву, шлепая ему губами в самое ухо, и мягко, но настойчиво теснил Пантелеева по ходу сообщения. Он хотел вести предстоявший ему неприятный разговор внизу, в блиндаже. Наконец Пантелеев отодвинулся от него, с недоброжелательным интересом посмотрел генерал-майору прямо в глаза и, выйдя из хода сообщения, сел на траву на открытом месте.

— Садитесь,— сказал он генерал-майору, хлопнув рукой по земле.

Генерал-майор хотел удержаться и не взглянуть на небо, но не удержался, все-таки взглянул и только после этого сел рядом с Пантелеевым.

— Вас что, разбомбили, что ли? — взглянув на небо, а потом на генерал-майора, спросил Пантелеев.

— Как? Почему разбомбили? — не поняв насмешки, переспросил генерал.

— А я думал, разбомбили,— сказал Пантелеев,— больно уж вас под землю тянет. Как с Сальково?

— В десять пятнадцать, как приказано командующим, повторим атаку,— ответил генерал-майор и, побоявшись, что задел самолюбие члена Военного совета, поправился: — Как приказано Военным советом армии, так и будет сделано.

Пантелеев поморщился.

— Приказано, приказано,— проворчал он. — Вам вчера было приказано, а вы дотянули до ночи и провалили.

— Неудача, товарищ член Военного совета,— разведя руками, сказал генерал. — Случается! Вы сами вчера видели.

— Неудачу-то я видел,— проговорил Пантелеев медленно и задумчиво, словно восстанавливая перед глазами зрелище вчерашней неудачи. — Неудачу-то я видел,— повторил он,— а вот вас там, где была у вас неудача, я не видел. Командира полка видел, а вас нет.

— Совершенно правильно,— с покорным бесстыдством сказал генерал. — Я на другом боевом участке в это время был.

— На другом? — Пантелеев посмотрел на генерала, потом на щель, в конце которой виднелся вход в генеральский блиндаж, и хмыкнул.

— А сегодня,— после паузы спросил он,— тоже будете во время атаки на другом участке, или как?

— Никак нет,— сказал генерал и, завернув рукав гимнастерки, посмотрел на большие часы. — В девять тридцать прибудет командующий, и двинемся вместе на НП полка.

— Командующий? — протянул Пантелеев.

То, что сюда приедет командующий, было для него неожиданностью.

— Так точно, пятнадцать минут назад звонил, предупреждал,— сказал генерал, в душе довольный тем, что с приездом командующего он не останется один на один с Пантелеевым — непрошеным свидетелем его вчерашней неудачи.

— Он мне с ночи не говорил — значит, передумал,— сказал Пантелеев. — Слушайте, товарищ Кудинов,— он впервые назвал генерала по фамилии,— а как у вас все-таки дела на Арабатской Стрелке, только не в общих чертах, а конкретно?

— Под утро прошел слух, что туда ночью просочились немцы.

— Вот именно,— перебил его Пантелеев,— об этом я и спрашиваю.

Кудинов чуть заметно пожал плечами.

— По полученным нами предварительным сведениям, это не соответствует действительности, но я дал приказание, чтобы в дальнейшем уточнили окончательно.

— Предварительно... окончательно... — пробурчал еле слышно, но сердито Пантелеев,— а конкретно — порядок там у вас или нет?

— Порядок! — набрав полную грудь воздуха, отчеканил генерал.

— Ладно,— сказал Пантелеев, вставая и протягивая ему руку. — Дожидайтесь командующего и воюйте.

— А вы? — удивленно спросил Кудинов.

— А я поеду на Арабатскую Стрелку, раз у вас там все в порядке.

Он сказал это с грубоватой иронией, к которой Лопатин начинал привыкать,— она означала, что Пантелеев ни на грош не верит в тот порядок, о котором ему доложил генерал.

— А может быть, позавтракаете в ожидании приезда командующего — там, на хуторе, у меня все приготовлено, а, Андрей Семенович?

Кудинов гостеприимно повел рукой в сторону белевшего на бугре хуторка. Он был зол на Пантелеева, но желание загладить вчерашнее было сильнее обиды.

— Нет уж, поеду. Спасибо,— буркнул Пантелеев. — А позавтракать все ж таки надо, — зевая и потягиваясь, сказал он вскоре после того, как они отъехали от кудиновского штаба. — Вы кушали?

Лопатин подумал, что этот вопрос относится к нему, и хотел ответить, но, оказывается, Пантелеев спросил не его, а шофера.

— Немножко подзаправился,— ответил шофер.

— На немножко далеко не уедешь,— сказал Пантелеев и обратился на этот раз уже к Лопатину: — А вы?

— Не успел,— сказал Лопатин.

— И мы с Велиховым тоже не завтракали,— кивнул Пантелеев на адъютанта. — Я у Кудинова отказался — боялся, что хоть и на хуторе, а все же куда-нибудь в щель засадит. Сворачивайте к копне, вон к той, дальней... — показал он шоферу.

Машина стала в тени огромной копны сена. Высоко над степью кружился немецкий разведчик. С разных сторон по нему лениво постреливали из пулеметов и винтовок.

Велихов открыл чемоданчик, раскинул на сене салфетку, достал помидоры, огурцы, хлеб, крутые яйца и термос с чаем. Разложив все на салфетке, он подошел к шоферу и стал злым, хорошо слышным шепотом снова, как в Симферополе, пилить его, требуя, чтобы тот развернул машину не так, как она стоит, а как-то по-другому, чтобы она стояла на ходу и ее не было видно сверху. Во всем этом не было никакой необходимости — в тени копны машины сверху и так не было видно, а в открытой степи она, как ее ни поверни, все равно стояла на ходу.

Пантелеев достал из чемоданчика пузырек с тройным одеколоном, вытер руки сначала одеколоном, потом насухо платком и сел. Нарезая ломтями хлеб и толстыми ловкими пальцами быстро очищая одно за другим яйца, он прислушивался к разговору.

Наконец обиженный шофер не выдержал и огрызнулся.

Лопатин смотрел на сидевшего рядом с ним Пантелеева — ему было интересно, как тот поступит.

Пантелеев дочистил последнее яйцо и сложил скорлупу в обрывок газеты:

— Давайте кушать.

Велихов подошел и сел, а шофер обиженно отошел в сторону, сделав вид, что предложение Пантелеева к нему не относится.

— А вы,— сказал Пантелеев,— идите кушать!

— Нет, спасибо,— ответил шофер. — Я не хочу кушать. Не могу.

— Почему же не можете? Со мной не хотите, что ли?—спросил Пантелеев, расстегивая воротничок и поудобнее примащиваясь на охапке сена.

— С вами я могу, а с ними не хочу. — Шофер пальцем показал на адъютанта.

— Тут я, а не он хозяин,— сказал Пантелеев. — Стол-то мой, раз я зову, давайте кушать.

Шофер покосился на адъютанта, подошел и присел на корточки рядом с Лопатиным.

Завтракали минут двадцать. Еле видные в небе разведчики теперь гудели сразу в нескольких местах, в небе лопались белые шарики зенитных разрывов.

— Вы на Западном фронте были? — поглядев на небо, спросил Лопатина Пантелеев.

— Был с июня до августа.

— А я до сентября. Я здесь неделю всего. — Пантелеев снова посмотрел на небо. — Там, на Западном, на это уже и внимания не обращают, а здесь в щели лезут. Дело привычки; но, пока один привыкает, другого уже убивают. Так и вертится чертово колесо... Собирай, Велихов, да поедем,— кивнул он на салфетку и оставшуюся еду.

— Как по-вашему, что дороже на войне,— вставая, спросил Пантелеев у Лопатина (Велихов и шофер уже пошли к машине),— храбрость или привычка?

— Привычка,— не думая, ответил Лопатин.

Пантелеев покачал головой.

— Что, неправда?

— Правда, но жалко,— сказал Пантелеев. — Жалко, что много храбрых людей до этой привычки не доживают. Сколько раз я на маневрах был, десятки раз, а на поверку вышло: война как вода,— пока не нырнешь в нее, плавать не научишься. Как там, уложились?

3

К переправе на Арабатскую Стрелку подъехали только в одиннадцатом часу. На месте переправы берег был отлогий, мелкая вода пролива играла прохладной осенней рябью. Вдали, в семи километрах, над серой водой поднималась желтовато-серая полоска Арабатской Стрелки.

Рыбаки из Геническа, здоровые, шумные парни в закатанных до колен штанах, выскакивая из лодок, одну за другой подтаски-

вали их по мелководью поближе к берегу. На лодки грузилась стрелковая рота. Красноармейцы, так же как и рыбаки, разувались, подсучивали штаны и, держа в руках сапоги, перебирались в лодки. Немного подальше на берегу сидела еще одна рота, ждавшая переправы.

Переправой распоряжался толстый немолодой полковник — южанин по виду. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, полковник подобрал толстый живот, сделал несколько шагов навстречу, вытянулся и, почему-то — Лопатин еще не понял почему — уже заранее волнуясь, доложил, что он командир полка полковник Бабуров и что во вверенном ему полку все в порядке.

— Чем сейчас заняты? — спросил Пантелеев, внимательно глядя на него.

Полковник сказал, что сейчас он занят тем, что отправляет вот эти две роты на Арабатскую Стрелку и сам тоже переправляется туда.

— Верно ли, что не то вечером, не то ночью на вашу Арабатскую Стрелку немцы пролезли? — спросил Пантелеев.

Полковник ответил, что нет, что на Арабатской Стрелке все укреплено, организована оборона и сведения о немцах неверны.

— А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете?

— Я еду... — Полковник начал фразу быстро и уверенно, но посредине сник. — Я еду потому, что... потому, чтобы там все было обеспечено.

— Так вы же говорите, что у вас там и так все обеспечено,— неумолимо продолжал Пантелеев.

— Так точно, обеспечено, но я еще хочу обеспечить...

Пантелеев недоверчиво усмехнулся и приказал, чтобы ему сейчас же дали моторку — ехать на тот берег одновременно с переправлявшейся ротой.

— Поедем посмотрим, какой там у них порядок,— сказал он Лопатину, грузно перешагивая через борт моторки.

Полковник, севший в моторку вместе с ними, полунедоуменно, полузаискивающе поглядел на Лопатина, которому член Военного совета сказал «посмотрим, какой там у них порядок».

Лопатин отвел глаза. Ему стало стыдно за этого растерявшегося человека.

Пантелеев всю дорогу молчал с таким видом, что ни у кого не возникало желания с ним заговорить. «Что бы вы мне теперь тут ни болтали, я вам не верю,— говорил его вид,— не верю и не

буду терять времени ни на вопросы, ни на выслушивание ваших ответов. Сам поеду, сам посмотрю и сам себе отвечу».

Берег, к которому подошла моторка, оказался таким же пологим, как и тот, от которого она отчалила. День был жаркий, сухой, вовсю палило солнце. У самой переправы грелись на солнце минометчики, а чуть подальше отдыхало еще два десятка недавно переправившихся солдат. Обстановка показалась Лопатину совершенно мирной. Еще более мирный вид придавали ей работавшие на переправе рыбаки. Не чувствуя себя ни у кого в подчинении, они на глазах у начальства курили трубки и самокрутки и, громко и весело перекрикиваясь с лодки на лодку, обсуждали, где в обед лучше будет варить уху — на том или на этом берегу.

Лопатин не сразу поверил, когда ему сказали, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от неожиданно ворвавшихся в Геническ немцев, оставив родной город, жен и детей.

— Ну, где у вас штаб батальона? — едва успев ступить на землю, спросил Пантелеев у Бабурова. — Как будем добираться?

— Сейчас машина подойдет, товарищ дивизионный комиссар. — Судя по лицу полковника, он ожидал упрека за то, что дивизионный комиссар уже переправился, а машина ему еще не подана, но Пантелеев только кивнул.

Отойдя на два десятка шагов, Бабуров поманил к себе пальцем какого-то младшего командира, должно быть виновного в том, что машины еще нет на месте, и стал неслышно, но свирепо распекать его. Лопатин видел, как у полковника сердито дрыгали заросшие седой щетиной красные обвислые щеки.

Пантелеев, по-прежнему не выражая желания ни с кем разговаривать, угрюмо шагал взад и вперед по берегу. Лопатин вынул из планшета карту, чтобы сориентироваться, в какой точке Арабатской Стрелки они высадились. Отделяя Сиваш от Азовского моря, окаймленная с двух сторон голубовато-синей водой, на карте лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову; на севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Всего месяц назад Лопатин ехал в Крым именно через этот город, через мост, который теперь, как говорят, взорван, через эту самую Арабатскую Стрелку, на берегу которой он сейчас стоял.

Судя по карте, отсюда до северного конца Стрелки было километров пятнадцать. «А впрочем,— подумал он,— туда, до самого конца, сейчас вряд ли доберешься». Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел оттуда, сверху, на Арабатскую Стрелку, похожую с горы на очень широкое, желтовато-серое

шоссе, идущее прямо через море. Немцы, которые теперь сидели в Геническе, наверное, просматривали далеко вглубь все, что было на Арабатской Стрелке.

«Смотри там, у Пантелеева, а то и сам угробится, и тебя угробит, я его знаю»,— вспомнил Лопатин телефонный хохоток редактора, и его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую Стрелку сверху, из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, которые Лопатин знал за собой, и, как всегда, ему показалось, что другие могут заметить это. Он обернулся и взглянул на Пантелеева.

Но Пантелеев по-прежнему сердито ходил по берегу, думая о чем-то своем.

— Эй! — услышал Лопатин вместе с отчаянным скрипом тормозов пронзительный женский голос. Прямо перед ним остановилась полуторка, за рулем которой сидела белобрысая девушка в голубом выцветшем платье и белой запыленной косынке. Даже через стекло кабины было видно, какие у нее отчаянные голубые глаза и веснушки, такие крупные, какие бывают только у огненно-рыжих мальчишек.

— Эх, товарищ командир,— весело крикнула девушка, спрыгивая с подножки грузовика,— через вас мотор заглох! Хотела задавить, да пожалела!

Она прошла мимо Лопатина, мальчишеским жестом сдвинула на затылок косынку, ловко вставила заводную ручку и несколько раз подряд крутанула ее. Лопатин видел, как под выцветшим голубым ситцем напряглись ее худые лопатки.

Но машина не завелась.

— Давайте помогу,— сказал Лопатин, становясь рядом с ней.

— Помоложе вас есть,— полуобернулась к Лопатину девушка; увидев теперь совсем близко ее лицо, Лопатин подумал, что и в самом деле в свои сорок с лишним он кажется ей старым человеком, и не решился во второй раз предлагать помощь.

Девушка нагнулась и снова взялась за ручку.

Машина опять не завелась.

— Дай-ка я,— подскочил коренастый маленький боец.

— Поздно собрался,— отрезала девушка. Широко раздвинув ноги, как заправский шофер-мужчина, она несколько раз, не разгибаясь, крутанула ручку — лопатки так и заходили у нее под платьем. Машина фыркнула и завелась.

— Вот и готово,— сказала она, задохнувшись, тыльной стороной руки устало вытерла пот со лба и улыбнулась Лопатину.

— С тобой поедем? — спросил подошедший Пантелеев.

— Со мной, товарищ начальник. Садитесь!

— Что, у вас бойцов, что ли, нет? — покосившись на девушку, спросил Пантелеев стоявшего за его спиной Бабурова.

— А я — боец,— смело сказала девушка.

— Какой же ты боец?

— Обыкновенный, вместе с машиной мобилизовали. Два дня служу. — Чувствовалось, что ей нравится и слово «служу», и слово «мобилизовали», и слово «боец».

— Только обмундирования не дают, вы бы уж сказали, товарищ начальник,— не очень разбираясь в знаках различия, но безошибочно угадав в Пантелееве начальника, сказала девушка. — Одни сапоги выдали,— добавила она, кивнув на свои голые коленки, вылезавшие из кирзовых сапог,— да винтовку. Шинель просила, и ту не дали.

— Ладно, разберемся,— сказал Пантелеев. — А стрелять из винтовки умеешь?

— Я все умею,— весело сказала девушка и полезла в кабину.

Пантелеев сел рядом с ней, а Велихов и Лопатин влезли в кузов, подсадив перед этим тяжело дышавшего толстого Бабурова. Машина затарахтела по кочкам.

На Арабатской Стрелке стояла тишина, не было слышно ни одного звука, кроме погромыхивания старой полуторки. Дорога была пустынной — слева мелькнуло несколько глинобитных домиков, и снова потянулась голая кочковатая степь. Справа, вдоль берега Азовского моря, белели холмики соли, и Лопатин вспомнил, что он уже видел их, когда проезжал здесь в конце августа: на Арабатской Стрелке были соляные промыслы.

Бабуров сидел в углу кузова, у него был несчастный и злой вид; сзади него гремели разболтанные борта, на ухабах он хватался за них, чтобы не удариться, и болезненно морщился.

Примерно на шестом километре он вскочил на ноги и, неловко пробежав по кузову, постучал в стенку кабины. Машина остановилась.

— В чем дело? — высунувшись, спросил Пантелеев.

— В штаб батальона приехали!

Прямо у дороги, в скате небольшого холма, были вырыты блиндажи и ходы сообщения.

Пантелеев вылез из машины и достал карту.

— Значит, тут у вас штаб батальона? — тыча в карту пальцем, спросил он Бабурова. Лицо его побледнело, а черные глаза стали узкими и жестокими.

— Так точно! — Приложив к козырьку руку, Бабуров так и стоял, от растерянности забыв опустить ее.

— А сколько у вас отсюда до переднего края? — спросил Пантелеев. — Не знаете? Не считали? Так я вам сосчитаю... — И он, расставив циркулем пальцы, ткнул ими в карту. — Девять километров от штаба батальона до вашей передовой роты — вот сколько! Где командир батальона? Вы командир батальона? — обратился он к подбежавшему старшему лейтенанту.

— Я начальник штаба батальона.

— А где ваш командир батальона?

— Впереди.

— Где впереди? Вызовите его к телефону.

Пантелееву ответили, что с командиром батальона нет связи.

— Как нет связи? Не протянули или прервана?

Бабуров и старший лейтенант, перебивая друг друга, ответили, что связь прервана еще ночью.

— А когда же ушел вперед командир батальона?

— Вчера вечером.

— И с тех пор нет с ним связи?

— Да, то есть нет... — все более растерянно отвечал старший лейтенант.

В конце концов выяснилось, что командир батальона еще с вечера пропал без вести, но об этом до сих пор боялись докладывать.

— Где же он пропал?

Старший лейтенант начал объяснять, что командир батальона пропал, потому что он вчера вечером пошел в передовую роту, лежавшую в окопах на берегу под самым Геническом. А в роту он пошел потому, что там вечером началась непонятная стрельба, а стрельбу, как это теперь уже ясно, открыли немцы, которые, как говорят, высадились на косе. И вообще говорят, что со всей первой ротой случилось что-то неладное.

— Кто говорит? Кто вам об этом докладывал? Покажите, где тот человек? — задавал вопрос за вопросом Пантелеев.

Но кто это говорил, кто докладывал, где человек, который докладывал,— никто не знал.

— Ну хорошо, а что там сейчас, вам известно?

Старший лейтенант недоуменно пожал плечами. Командир батальона приказал ему остаться здесь, и вот он и остался здесь и ждет дальнейших приказаний. Он говорил это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока вернутся хозяева.

Пантелеев глубоко вздохнул и посмотрел на Бабурова. Он уже понял, что дело не просто в бестолковом начальнике штаба батальона и его пропавшем командире, дело в том, что на сего-

няшний день в дивизии генерала Кудинова сверху донизу не было порядка. Не было вчера у самого Кудинова в бою под Сальково, не было у его командира полка Бабурова, не было порядка и здесь, в батальоне.

— Почему, скажите мне по крайней мере,— бледнея от усилия сдержаться, спросил Пантелеев у старшего лейтенанта,— почему вы выбрали это место для командного пункта батальона? Место в девяти километрах от переднего края! Вы его сами выбирали?

Старший лейтенант, оглянувшись на Бабурова, ответил, что нет, они выбирали этот пункт вместе с командиром полка.

— Почему именно этот пункт? — спросил Пантелеев, повернувшись к Бабурову.

Тот, путаясь и заикаясь, сказал, что выбрал этот пункт потому, что отсюда все хорошо видно и вообще это самая ближняя от переднего края горка.

— Горка... — повторил Пантелеев, и слово «горка» прозвучало в его устах как ругань. — Сами вы... — Он оборвал себя, спросив: — А где у вас стоит тяжелая морская батарея?

Оказалось, что тяжелая морская батарея стоит в четырех километрах впереди — между ротой и командным пунктом батальона.

— Хороши гуси-лебеди... Вот я поеду сейчас вперед,— повернулся он к старшему лейтенанту,— а когда вернусь и увижу, что штаб батальона находится еще здесь, возьму и расстреляю вас, прямо на этой самой вашей горке!

И, больше не интересуясь старшим лейтенантом, снова повернулся к Бабурову.

— А вы, товарищ полковник,— слова «товарищ полковник» дышали ядом,— будьте любезны доложить мне: что у вас происходило здесь вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром и почему вы никому не донесли до сих пор о том, что у вас тут происходит? Вы здесь были?

Бабуров ответил, что вот он здесь, он приехал сюда вместе с товарищем дивизионным комиссаром...

— А там, в роте у себя, вы были?

Бабуров сказал, что, когда его застал на берегу товарищ дивизионный комиссар, он как раз собирался туда, в роту, а не сообщил он раньше потому, что думал ликвидировать все сам, своими силами.

— Что ликвидировать? — закричал Пантелеев. — Что ликвидировать? Вы же там не были! Вы же не знаете, что ликвидировать! Вы же не знаете, есть там немцы или нет! Живы у вас там люди или не живы? Ничего вы не знаете...

Бабуров во время этой вспышки гнева вдруг собрал остатки самолюбия и в ответ сказал громко, с некоторой даже напыщенностью, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то, чего бы это ему ни стоило, он приказ выполнит и, какие бы там немцы ни были, он пойдет и уничтожит их!

Пантелеев молча смерил его взглядом.

— Хорошо, мы с вами потом поговорим,— сказал он почти спокойно, владевший им гнев все больше переходил в презрение,— поедете со мной. Дайте несколько бойцов,— обратился он к старшему лейтенанту,— пусть садятся в кузов и едут со мной.

Старший лейтенант побежал распорядиться, а Пантелеев сел в кабину и захлопнул дверцу.

— Можно ехать, товарищ начальник? — спросила девушка.

— Погляди, когда люди в кузов сядут, тогда и поедем.

Девушка вылезла из кабины. Пантелеев оглянулся, увидел, что ее нет, и глубоко вздохнул. Он был рад, что на минуту остался один.

Эх! Если б все происходившее на его глазах в этой наспех сформированной дивизии было только от неопытности! И не только безрукость Кудинова всему виной! С неопытностью так или иначе, а придется прощаться в боях. И командира дивизии можно найти порукастей. Если б дело только в этом — полбеды! А беда в том, что ни Кудинову, ни этому мордастому растерянному Бабурову, ни старшему лейтенанту — начальнику штаба батальона — всем троим не хватило сегодня самого обыкновенного гражданского мужества,— а этого Пантелеев не прощал ни себе, ни другим.

Начальник штаба, надеясь, что все как-нибудь обойдется, не доложил всей правды Бабурову. Бабуров, подозревая, что ему докладывают не все, не стал докапываться,— благо это давало ему возможность на первых порах сообщить в дивизию нечто неопределенное, а тем временем исправить положение, не успев получить нагоняй. Кудинов в свою очередь посчитал, что с него хватит вчерашнего разноса за Сальково, и доложил в армию о событиях на Арабатской Стрелке как о чем-то уж и вовсе незначительном; он надеялся, что все обойдется, а на случай катастрофы у него оставалась ссылка, что он хотя и не полностью, но все же кому-то что-то заранее докладывал. Так одна ложь наворачивалась на другую и росла как снежный ком, а где-то за девять километров отсюда погибла — всем своим чутьем военного человека Пантелеев знал, что именно погибла,— рота, которую, может, и удалось бы выручить, если б сразу, со вчерашнего вечера, все делалось иначе.

Откуда, черт возьми, взялось это поветрие, которое он заметил еще на финской войне? Откуда в Красной Армии, в Красной, в Рабоче-Крестьянской, в той, которой он отдал всю свою жизнь и которую любит больше жизни, откуда в ней взялись эти люди, которые боятся донести о неудаче больше, чем самой неудачи, боятся ответственности за потери больше самих потерь! Люди, которых до конца вылечит или до конца разоблачит только сама война!

Девушка-шофер влезла в машину и захлопнула дверцу.

— Можно ехать, товарищ дивизионный комиссар! — подойдя с другой стороны, через стекло кабины прокричал Бабуров.

Пантелеев со злостью взглянул на него. Когда человек расплачивается собственной жизнью за то, что он в свое время струсил доложить правду,— в конце концов, черт с ним, с дураком, но когда за это расплачивается жизнью не он, а другие... Пантелеев даже скрипнул зубами и, отвернувшись от Бабурова, тихонько тронул за плечо девушку:

— Езжай!

4

Лопатин ехал в грузовике стоя. Улегшись грудью на крышу кабины, он разложил перед собой карту Арабатской Стрелки и, прижав ее от ветра локтями, сверял с местностью. Через десять минут машина проехала мимо стоявшей на горке маленькой пустой деревни, так и помеченной на карте «Геническая Горка». Отсюда был виден Геническ. Впереди тянулась насыпь узкоколейки, возле которой, километрах в двух, что-то чернело. «Очевидно, это и есть морская батарея, о которой говорил командир полка»,— подумал Лопатин. Еще дальше виднелась пыльная зелень посадок и крыши домов. «Пионерлагерь»,— прочел на карте Лопатин. За пионерлагерем стоял еще один дом, окруженный деревьями, а там, до самого взобравшегося на гору Геническа, тянулся только серо-желтый песок косы.

Машина спустилась с Генической Горки, поехала вдоль насыпи узкоколейки и затормозила так резко, что Лопатин уронил очки на крышу кабины и едва успел подхватить их. К счастью, они не разбились!

Пока Лопатин ловил очки, надевал их, складывал и засовывал в планшет карту, вылезший из кабины Пантелеев проворно взобрался на насыпь узкоколейки и, прикрываясь от солнца рукой, стал смотреть то вправо, то влево. Взобравшись вслед за ним, Лопатин увидел не совсем обычную картину, которую уже с минуту молча наблюдал Пантелеев: впереди остановившейся

машины, по обеим сторонам насыпи, растянувшись примерно на километр по фронту, наступала наша стрелковая рота. Она наступала, расчленившись по всем уставным правилам, по которым положено наступать роте в непосредственной близости к противнику. Командиры шли в боевых порядках, люди то по команде залегали, то снова вставали, перебежками катя за собой пулеметы. Все это выглядело так, словно рота идет под огнем противника и вот-вот встретится с ним. Но над Арабатской Стрелкой стояла абсолютная тишина. До конца косы оставалось пять километров, впереди, за километр, теперь уже ясно видные, стояли на позициях наши орудия, а за ними виднелись ряды проволочных заграждений, верхушки надолбов и насыпь противотанкового рва.

Пантелеев послал адъютанта остановить роту и позвать ее командира. Сняв фуражку, он вынул из кармана платок и вытер потную бритую голову.

— Что вы на это скажете? — засунув платок в карман, через плечо сказал он Лопатину. — В бирюльки они тут, что ли, играют?

Лопатин пожал плечами, но не успел ответить. К Пантелееву уже подбегал молодой лейтенант — командир роты.

— Скажите мне, товарищ лейтенант,— спросил Пантелеев, жестом руки обрывая начатый доклад,— что вы тут делаете со своей ротой? На кого наступаете?

— На немцев, товарищ дивизионный комиссар. Там немцы! — Лейтенант ткнул пальцем в горизонт.

— А где именно *там*?

Лейтенант, который до этого отвечал уверенно, с сознанием своей правоты, замялся и уже менее уверенно еще раз ткнул пальцем туда, где стояла наша морская батарея.

— Немцы не там,— сказал Пантелеев спокойно и терпеливо, словно он стоял с указкою в классе. — Там наша морская батарея, а немцы — они вон где... — И он показал в направлении Геническа. — Вон там и, может быть, немножко ближе. Предполагаю, километров за пять отсюда. Вы что же, так и будете наступать до них все эти пять километров перебежками? А потом, когда и в самом деле дойдет до огня и штыка, у вас для атаки ни сердца, ни ног не хватит! Вы подумали об этом?

Лейтенант ответил, что ему было приказано развернуть роту в боевые порядки и наступать. А где немцы — за пять километров или за километр,— ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет.

Пантелеев вздохнул. Что было сказать этому стоявшему перед ним лейтенанту, совсем мальчику, только что из училища,

как видно, старательному и, что особенно понравилось в нем Пантелееву, не трусившему перед начальством, а только пытавшемуся честно объяснить, почему он и его рота поступали так, как они поступали? Может быть, всего через час этот самый лейтенант поведет свою роту и храбро будет стараться делать все по уставу уже не в этой почти учебной тишине, а под разрывами самых настоящих снарядов. В душе Пантелеева шевельнулось отеческое чувство. Может быть, сейчас его собственный сын, такой же лейтенантик, как этот, только что окончивший такое же пехотное училище, так же делает совершенно не то, что нужно, не по глупости или трусости, а по неопытности и потому, что ему, не дай бог, тоже не повезло: попались горе-начальнички вроде Кудинова и Бабурова, которые, кажется, два сапога — пара.

— Бабуров,—повернулся Пантелеев, намереваясь адресоваться с выговором не к лейтенанту, мало в чем повинному, а к командиру полка. Он был настолько убежден, что тот стоит за его спиной, что физически чувствовал это.

Но командира полка не было.

— Где Бабуров? — тихо спросил Пантелеев.

Все недоуменно молчали.

— Где Бабуров?! — уже яростно гаркнул он, и Велихов, изумленно округлив глаза, доложил, что, когда все вылезли из машины, оказалось, что полковника Бабурова в ней не было. Должно быть, он остался там, где они в последний раз останавливались,— у штаба батальона.

— Может быть, прикажете съездить за ним на машине, товарищ дивизионный комиссар, я быстро, за пятнадцать минут в два конца,— предложил Велихов.

— Черт с ним,— сказал Пантелеев. — Поехали! Обойдемся без него.

И он побледнел так, что Лопатин понял — теперь полковнику несдобровать.

Пантелеев распорядился, чтобы бо́льшую часть роты с пулеметами посадили на три грузовика, которые к этому времени появились неизвестно откуда и остановились поодаль от машины дивизионного комиссара. Его нисколько не удивило это. Он по опыту знал, что приехавшее на передовую начальство часто обрастает непрошеным эскортом. В одном из грузовиков сидели двое инструкторов из Политотдела армии; во втором — неизвестно откуда взявшийся комиссар полка; кто был в третьем, Пантелеев так и не поинтересовался. Бойцы, довольные неожиданной переменой, стали весело и шумно рассаживаться по машинам.

— Грузовики поведете по дороге вплоть до последних строений и посадок, какие увидите. Там оставите их и уже по открытому месту, по открытому — понятно?..

— Понятно,— сказал лейтенант.

— ...поведете людей рассредоточенно. Но и рассредоточенно людей водят по-разному,— терпеливо объяснял Пантелеев.— Пока нет огня — одно дело, откроют огонь — другое дело. Это вам тоже понятно?

— Понятно, товарищ дивизионный комиссар.

— А тех, кто не влезет в грузовики, построить и поручить одному из ваших комвзводов вести ускоренным маршем вдоль насыпи, тоже до последних посадок. Действуйте!

Пантелеев, проводив взглядом весело побежавшего к своим бойцам лейтенанта, с угрожающим видом повернулся к молча стоявшему рядом с ним комиссару полка, черноволосому старшему политруку, и — вдруг раздумал. Комиссар, в противоположность Бабурову, все-таки догнал его: не побоялся в эту явно невыгодную минуту явиться ему на глаза. Впереди, очевидно, бой, а там, к вечеру, будет окончательно видно, кто чего стóит — и Бабуров, и комиссар полка, и командир этого батальона, если он еще жив, и лейтенант, который сейчас грузится на машины вместе со своей ротой, и многие, многие другие люди.

— Садитесь с нами, поедем,— сказал Пантелеев комиссару полка.

Машина снова тронулась. Через километр она остановилась у позиций морской батареи. По обеим сторонам насыпи, в полусотне метров друг от друга, стояли четыре тяжелых морских орудия на тумбах. У орудий была морская прислуга. Лопатин еще издалека, из кузова машины, увидел черные бушлаты моряков.

Командир батареи — морской лейтенант-артиллерист—вышел на дорогу к остановившейся машине. Пантелеев вылез ему навстречу: он не любил разговаривать с людьми, высунувшись из кабины.

Артиллерист был высокий и худой; черные клеши его брюк подметали пыль на дороге, на свежем бумажном синем френче блестел значок мирного времени «За отличную стрельбу». У него было долгоносое лицо и белесые, казавшиеся подслеповатыми глаза.

— Разрешите д-д-до-ложить...—сильно заикаясь, сказал он.— Вч-ч-ера в д-д-двадцать п-пятнадцать...

— Вы что, от рождения заикаетесь? — перебил его Пантелеев. — Или вас немцы так напугали? И вообще, что вы тут все заикаетесь? Один заикается, другой заикается! — неожиданно

для себя крикнул Пантелеев; все накопившееся в нем за утро раздражение прорвалось в этом крике.

— Я з-з-заикаюсь о-от р-рождения,— еще сильнее заикаясь, ответил побледневший артиллерист. — И я н-н-не понимаю, по какому п-праву вы, т-товарищ д-дивизионный комиссар, п-позволяете себе...

— Ладно,— миролюбиво перебил его Пантелеев. — Извиняюсь. Надоело, что все кругом только и делают, что заикаются, ничего толком не знают,— вот на вас и отыгрался, а вы как раз и не виноваты. Продолжайте докладывать.

Артиллерист, отходя от обиды и заикаясь все меньше и меньше, доложил, что уже четверо суток, с тех пор как их поставили здесь, он ни от кого не получал ни одного приказания, что, несмотря на его просьбу дать им хоть какое-нибудь прикрытие, командир полка так ничего и не дал, сказал: «Успеется!» — а вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная орудийная, пулеметная, автоматная стрельба, сначала в одном месте, потом в другом, и продолжалась около двух часов. Он не знал, куда ему бить своей батареей, потому что боялся ночью ударить по своим, а никто из пехотных начальников — ни сверху, ни снизу—не прислал ни одного связного. Тогда он приказал ночью вырыть окопы вокруг своей батареи и на всякий случай положил в них часть прислуги с винтовками и гранатами. На рассвете он увидел, что немцы двинулись от пионерлагеря по направлению к батарее. Увидев это, он отдал приказание подготовить орудия к взрыву, а сам открыл по немцам огонь прямой наводкой. Еще только светало, видимость была плохая, они били сначала прямо по немцам, по дороге, потом перенесли огонь на пионерлагерь и на дорогу за ним. Когда совсем рассвело, выяснилось, что немцев в поле зрения батареи больше нет. Не видно никакого движения и в пионерлагере.

— Единственный человек среди всех вас, который, не заикаясь, доложил, что и как было,— укоризненно обратился Пантелеев к комиссару полка, когда артиллерист закончил свой доклад. — Стыд и срам! Шестнадцать часов прошло, а в полку до сих пор не знают, что с их передовой ротой — живая она или мертвая. А в полку, между прочим, всего девять стрелковых рот! — озлясь, крикнул он. — Девять дней так провоюете, с чем— с одним штабом останетесь?!

Сердце его было полно горечи. Хотя он вслух говорил еще предположительно, но про себя знал — с передовой ротой ночью случилась катастрофа.

— Товарищ дивизионный комиссар, забыл доложить,— обратился к Пантелееву артиллерист и высказал догадку, что, очевид-

но, немцы ночью переправили на косу орудия, потому что, когда батарея открыла огонь, немцы в свою очередь выпустили по ней несколько снарядов малого калибра с близкой дистанции.

— Переправили орудия? — переспросил Пантелеев и недобро усмехнулся. — У вас там были впереди какие-нибудь пушки? — спросил он комиссара полка.

— Были два противотанковых орудия, — с готовностью, почти с радостью ответил тот. За все время Пантелеев впервые прямо спросил его о чем-то.

— Вот из них немцы и стреляли, из этих ваших двух орудий, — сказал Пантелеев убежденно и зло. — Они, немцы, не дураки, им незачем сюда свои орудия тащить, когда проще ваши взять.

В его словах была яростная ирония человека, глубоко страдающего от всего увиденного и услышанного.

За руку простившись с артиллеристом, Пантелеев сел в машину и поехал к видневшемуся впереди пионерлагерю. Три машины с бойцами, догоняя машину Пантелеева, пылили позади.

— Эй, Велихов! — высовываясь из кабины, крикнул Пантелеев адъютанту. — Встаньте на дороге и задержите их, скажите, чтоб ехали с интервалами. А то, не ровен час, влепят залп из Геническа сразу по всем.

Велихов выскочил из грузовика, а машина запылила дальше. Через пять минут она подъехала к пионерлагерю. Было по-прежнему тихо. Пантелеев, а за ним все остальные вылезли из машины. «Вот оно, то место, где нынешней ночью были немцы», — подумал Лопатин. Издали, с артиллерийских позиций, домá пионерлагеря казались целыми, только у одного была странно повернута крыша; здесь, вблизи, все выглядело разгромленным — в стенах были проломы, окна и двери вылетели, штукатурка была разодрана осколками.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Пантелеев, — посмотрим, верно ли тут были немцы, а то я за сегодня уже так к вранью привык, что на честных людей бросаюсь. — Он повернулся к Лопатину: — А ничего этот артиллерист-то мне: «Не понимаю, почему п-п-позволяете...» Заика, а с характером, не хочет, чтоб зря обижали.

Он шел первым, Лопатин вслед за ним.

У дороги в канаве валялось три вдребезги разбитых немецких мотоцикла с колясками. Тут же лежало несколько изуродованных трупов.

— Молодец, не соврал, — остановясь, сказал Пантелеев. — Немцы тоже смертные: влепил по ним залп — и сразу оглобли завернули!

Еще несколько убитых немцев лежало возле домов пионерлагеря. В последнем доме — столовой, в разбитых снарядом сенях, валялась на боку опрокинутая взрывом кадка.

Куски свежезасоленной розовой свинины были расшвыряны по полу, а в луже рассола, прислонясь к стене, сидел мертвый немецкий лейтенант. У него было совершенно целое, не тронутое ни одним осколком, бледное, красивое лицо с упавшими на лоб волосами и словно вскрытый в мертвецкой, распахнутый сверху донизу живот, из которого вывалились на пол начавшие чернеть внутренности.

— Слезай, приехали! — шепнул на ухо Лопатину догнавший их Велихов, кивнув на мертвого немца и лежавшие у дверей обломки мотоцикла.

Лопатин поморщился. Он не любил, когда шутили над смертью.

Обойдя пионерлагерь и приказав Велихову подсчитать, сколько всего убито немцев, Пантелеев вернулся к машине, и она тронулась вслед пылившим впереди трем грузовикам с пехотой. Еще через минуту все четыре машины остановились у последнего домика с купой деревьев. Дальше, до самого Геническа, было открытое место. Все вылезли, и Пантелеев приказал отправить грузовики обратно к пионерлагерю.

— Что вы нас гоните, товарищ начальник? — быстрым южным говорком сказала девушка-шофер, выслушав это приказание. — Что же вы, пешком пойдете? Я вас под самый Геническ разом подвезу. Дорога известная!

— Закинут в кузов мину, и как не бывало — ни тебя, ни твоей полуторки,— улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, ответил Пантелеев.

— Так я же не одна, вы же со мной поедете.

— А со мной не страшно, что ли?

— Конечно. — Она пожала плечами.

— А как тебя зовут, а, шоферка?

— Паша.

— А фамилия?

— Горобец.

— Так вот, слушай меня, Паша Горобец. Поезжай-ка ты отсюда подальше! И чтобы я тебя больше не видел поблизости, понятно тебе, дочка?

И в его голосе и глазах было что-то, заставившее ее смутиться, как девочку, и робко, без слов, пойти к своей машине.

— Вот теперь рассредоточивайте людей и пойдем,— сказал Пантелеев командиру роты, когда отъехали машины. — Боюсь,

что теперь и правда впереди никого наших нет... живых,— добавил он после тяжкой паузы.

Он приказал лейтенанту взять с одним взводом влево, комиссару полка — вправо, а сам с Лопатиным, Велиховым, двумя политотдельскими инструкторами и несколькими бойцами пошел в центре. Впереди, в трехстах метрах от домика с деревьями, виднелась линия окопов. Комиссар полка сказал, что там вчера сидел, во втором эшелоне, один из взводов той роты. Он сказал «той», избегая слова «погибшей», хотя все уже чувствовали, что рота погибла.

Лопатин шел на два шага позади Пантелеева, поглядывая вперед, на Геническ, и с содроганием думая, что немцы оттуда прекрасно их видят и вот-вот начнут стрелять.

Но немцы не стреляли, на Арабатской Стрелке по-прежнему стояла тишина. С обеих сторон было видно море; справа, в километре,— Азовское, а слева, совсем рядом,— Сиваш. Земля, по которой шел Лопатин, была голая, песчаная, с редкими пучками травы, она все время осыпалась под ногами. День стоял душный, серый, без солнца, с полудня скрывшегося за облаками, Сиваш однообразно и негромко шумел. Все казалось таким пустынным, что Лопатин был уверен — впереди на косе нет ни своих, ни немцев.

Бойцы, шедшие на несколько шагов впереди Пантелеева и Лопатина с винтовками наперевес, приблизились к самым окопам. Лопатин вспомнил, что у него тоже есть наган, и вынул его из кобуры. Около окопов лежали мертвые наши, на первого из них Лопатин от неожиданности чуть не наступил. Рядом лежал второй, третий, четвертый... Судя по количеству разбросанных винтовок, подсумков и противогазов, в окопах размещалось человек тридцать, но трупов было меньше — десятка полтора, причем лишь пять или шесть из них лежало в окопах, а другие все — на открытом месте,— должно быть, люди побежали из окопов назад, и здесь-то их и убили.

«А остальных, наверное, увели в плен»,— подумал Лопатин, глядя на трупы, застывшие в разных позах, но чаще всего ничком, уткнувшись мертвыми головами в песок. Его охватило уже несколько раз испытанное им на войне чувство страха, загадочности и непоправимости, которое рождается у человека, попавшего туда, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать, что здесь произошло несколько часов назад.

А Пантелеев думал в эту минуту совсем о другом. Он мысленно восстанавливал картину случившегося здесь ночью, и она вовсе не казалась ему загадочной,— наоборот, все, что здесь про-

изошло, было видно как на ладони, и это уязвляло его в самое сердце.

— Из всего взвода только несколько человек дрались как надо,— сказал он, останавливаясь возле Лопатина. — А тех, что побежали от огня, немцы, конечно, перестреляли. Высадились, перестреляли и в плен забрали,— повторил он со злобой. Он был сейчас безжалостен к погибшим, и в то же время в нем кипела такая обида за их нелепую смерть, что, казалось, он готов был заплакать.

— А немцев, думаете, много было? Больше нас? Высадились, постреляли немножко, а мы, конечно, побежали — кого убили, кого в плен взяли,— не в силах остановиться, говорил он с тем раздражительным самобичеванием, которое в горькие минуты проявляется даже в самой сильной и деятельной русской натуре.

Обернувшись к лейтенанту, он приказал искать немецкие трупы. Через пять минут ему доложили, что немецких трупов не найдено, и это окончательно расстроило его.

— Или, когда отходили, утащили с собой, или и вовсе не было, кроме тех, что артиллеристы набили. Вполне возможно, что и так. Паника, паника! — воскликнул он. — Что она с нами делает, эта паника, сами себя не узнаём!

В двухстах шагах за окопами, на отмели, бойцы нашли еще два трупа. Какой-то боец, наверно санинструктор, тащил на себе раненого младшего лейтенанта. Так их и убили немцы, так они, один на другом, и лежали на отмели.

— Ничего, когда-нибудь за всех сочтемся, за всех и каждого! — сказал Пантелеев, постояв над трупами. — Вы что, с одним наганом воевать думаете? — повернулся он к Лопатину. — Возьмите, скоро в атаку пойдем.

Он кивнул на винтовку, лежавшую на песке рядом с убитым санинструктором, и Лопатин увидел, что у самого Пантелеева уже закинута за плечо винтовка.

Пальцы убитого еще держались за брезентовый ремень, и Лопатину пришлось дернуть винтовку. При этом оба трупа, один на другом, шевельнулись, и Лопатин вздрогнул.

— Человек-то вы обстрелянный или еще нет — позабыл вас спросить? — сказал Пантелеев, когда Лопатин уже с винтовкой догнал его.

Что было ответить на это? Что по тебе стреляют третью войну, а сколько раз довелось выстрелить самому — можно сосчитать на пальцах? И как это называть — обстрелянный ты или нет?

— Можно считать — обстрелянный, но в атаки ходить не ходил,— сказал Лопатин дожидавшемуся его ответа Пантелееву.

— Ясно,— сказал Пантелеев.

Над косой по-прежнему стояла такая тишина, словно немцы вымерли. Метров через восемьсот Лопатин первым увидел торчавшие впереди стволы двух пушек.

— Смотрите-ка, что это? — воскликнул он.

— Обыкновенно что,— продолжая шагать, с равнодушной язвительностью отозвался Пантелеев. — Наши брошенные противотанковые орудия. Стыд и позор, а больше ничего особенного.

Подойдя к пушкам, все остановились. У обеих были изуродованы замки.

— Ваши? — кивнул на пушки Пантелеев, обращаясь к комиссару полка.

— Наши,— угнетенно ответил тот.

— Вот из них немцы и стреляли. Захватили и повернули, а когда отошли — взорвали.

Опершись о ствол пушки, Пантелеев рассматривал замок.

— Гранатами рванули.

Он разогнулся и, поправив на плече винтовку, своей грузной, но быстрой походкой снова зашагал к находившимся где-то там, на краю Стрелки, последним нашим окопам.

5

Минометный залп так внезапно нарушил странно затянувшуюся тишину этого дня, что Лопатин со всего маху бросился на землю.

Мины легли близко от шедших первыми Пантелеева и Лопатина, и их обоих горячо обдало землей и дымом. Пантелеев вскочил, коротким движением стряхнул землю с плеч и, не оборачиваясь, пошел вперед. Лопатин последовал его примеру. У него было бессмысленное, но от этого не менее сильное желание держаться как можно ближе к этому человеку.

Когда Лопатин на другой день пробовал вспомнить эти пять, а может быть, десять минут, этот километр, который они, время от времени залегая, пробежали и прошли под минометным огнем, у него осталось в памяти два чувства: ему все время было очень страшно и он все время хотел только одного — поскорей добежать до окопов, не зная, есть ли там немцы или нет, и не думая об этом. Он боялся только рвавшихся кругом мин и этого остававшегося до окопов открытого пустого куска косы.

Как потом сказал Пантелеев, немцы стреляли плохо, на двойку. Но это можно было сказать потом, добравшись до око-

пов и отдышавшись. А сейчас в воздухе жужжали осколки, чадила зажженная трава, и люди рядом с Лопатиным все чаще ложились, задерживались, двигались ползком.

Наверно, так поступал бы и сам Лопатин, если б не Пантелеев, который в первый раз, как и все, бросившись от неожиданности на землю, теперь почти безостановочно шел вперед, не пригибаясь при перелетах, шел так спокойно, словно это было единственное, что возможно сейчас делать. Сворачивая то влево, то вправо, он шел зигзагами вдоль цепи, мимо падавших, прижимавшихся к земле людей. От времени до времени он нагибался, толкал то одного, то другого бойца в плечо и говорил так, словно тот заспался: «Эй, братчик, эй, землячок...» — и толкал еще раз, сильнее. Тот поднимал голову.

— Чего лежишь? — спрашивал Пантелеев.

— Убьют,— испуганным шепотом отвечал боец, словно боясь громко произнести это слово.

— Ну что ж, что убьют,— на то и война, а ты думал, стрелять не будут? Вставай, вставай, братчик, я ж стою, и ты встань. Лежать будешь — скорей убьют. Гляди, другие-то поднимаются!

А другие, и правда, уже поднимались и шли вперед, и то, что рядом с прижавшимся к земле оробевшим человеком стоял, не пригибаясь, другой, спокойный и неторопливый, действовало почти на всякого. Какая-то сила поднимала его с земли и ставила рядом с Пантелеевым. И как только он, встав, видел, что кто-то рядом еще продолжает лежать, он сам, молча или с руганью, начинал поднимать соседа.

Это чувство испытал и Лопатин. После трех или четырех близко разорвавшихся мин, уже не в силах заставить себя подняться, он увидел стоявшие рядом на земле сапоги Пантелеева:

— Давай, давай, вставай, корреспондент... Майор все же...

После этого он пошел за Пантелеевым не отрываясь — приседая, когда тот останавливался, и ложась, когда тот приседал, но каждый раз неизменно поднимаясь. Должно быть, потому, что они шли впереди, Лопатин не заметил, чтобы кого-нибудь убили. Он слышал сзади крики раненых, наверное, кроме раненых там были и убитые, но шел не оглядываясь, и ощущение, что убитые и раненые оказываются каждый раз где-то сзади, тоже подгоняло его.

Окопы теперь были совсем близко. Минометный огонь прекратился как по команде, и Пантелеев безошибочно понял, что мин больше не будет, что минометчики боятся ударить по своим, а в окопах сидят немцы, которые сейчас, сию секунду, или не выдержат и побегут, или откроют огонь.

— Ура! — закричал он, повернувшись к поднимавшимся вокруг него с земли бойцам, сорвал винтовку с плеча и, привычно бросив ее на руку, не оглядываясь, побежал вперед.

Застрочил и смолк немецкий пулемет, треснуло несколько винтовочных выстрелов, и Пантелеев увидел, как совсем близко, из окопа, один за другим торопливо выскакивают и бегут назад, к морю, немцы. Как ему показалось, он прыгнул в окоп первым, но в ту же секунду несколько бойцов, обогнав его, перемахнули через окоп, преследуя немцев.

Пантелеев на мгновение прислонился горячей потной головой к стенке окопа, после быстрого бега ему не хватало воздуха, годы давали себя знать. Глотнув комок слюны, он выглянул из окопа. Чуть не задев его сапогами, через окоп перепрыгнуло еще несколько красноармейцев. Два десятка немцев опрометью бежали вниз, туда, где из-под воды торчали пролеты плохо взорванного моста. Бойцы гнались за немцами, стреляя на ходу. Пантелеев примостился поудобнее, сдвинул локтем осыпавшуюся землю и, каждый раз тщательно прицеливаясь, выпустил по немцам обойму. Он был хорошим стрелком, и двое из бежавших к воде немцев упали именно от его выстрелов. Второй — на самом берегу, головой в воду.

Этот немец, кажется, был последним. Красноармейцы настигли всех, кто выбежал из окопов, и теперь на прибрежном песке были видны только серо-зеленые пятна трупов и фигуры суетившихся вокруг них бойцов, забиравших документы и оружие.

— Эй! — закричал Пантелеев, вылезая во весь рост на бруствер. — Эй, Велихов, прекратите, ночью соберете, сейчас они из Геническа огонь откроют! Людей потеряете!

Вошедший в азарт Велихов не слышал приказания и вдвоем с каким-то бойцом продолжал обыскивать труп здоровенного немца.

— Эй ты, Велихов! — заорал Пантелеев. — Марш в окоп, сейчас убьют, как идиотов!

Боец с натугой поднял на плечи грузное тело немца и поволок его наверх, к окопу, а Велихов, придя в себя, стал звать обратно других красноармейцев.

Пантелеев боялся, что немцы откроют огонь из Геническа. Но немцы огня не открывали. Может быть, по своей самоуверенности, они еще не поверили в случившееся. Увидев, что бойцы благополучно возвращаются, Пантелеев вспомнил о корреспонденте.

«Уж не убили ли этого очкастого, которого редактор просил по возможности беречь?»

— Эй, корреспондент, корреспондент! — позвал он, не в состоянии вспомнить забытую в горячке фамилию Лопатина.

Лопатин был жив и находился всего в десяти шагах от Пантелеева, за изгибом окопа. Когда он вскочил сюда вслед за Пантелеевым и бойцами, немцев тут уже не было. На дне окопа валялись солдатские ранцы, серо-зеленая немецкая пилотка, согнутая ложка и несколько гранат с длинными деревянными ручками; в полукруглой выемке, на земляном столе, стоял ручной пулемет с длинным, как червяк токарного станка, хоботом.

Лопатин стоял возле этого пулемета, слыша, как где-то впереди еще стреляют; но сам он был не в силах сдвинуться с места. У него не было ни мыслей в голове, ни страха в душе — лишь одна усталость после всего пережитого.

Выстрелы впереди смолкли. Лопатин еще раз поглядел на немецкий пулемет и решил, что надо перенести его через окоп и повернуть в сторону немцев так, как немцы сделали с нашими пушками. Он только что поднял на руки пулемет, как из-за угла окопа появился Пантелеев. От неожиданности Лопатин шагнул назад и выпустил из рук пулемет.

— Тише ты, слон,— охнул Пантелеев, потирая ушибленную ногу, и сам рассмеялся,— так не похож был на слона растерянно стоявший перед ним Лопатин.

— Извините,— сказал Лопатин и, начав поднимать пулемет, уронил на него очки, одна дужка которых надломилась еще во время атаки, когда он в первый раз бросился на землю. Очки звякнули по железу, одно стекло разлетелось на мелкие осколки.

Пока Лопатин поднимал очки, Пантелеев, нагнувшись, коротким движением подхватил пулемет, поставил на бруствер и стал рассматривать магазин.

— Так и есть,— сказал он, взглянув на подошедших бойцов. — Заклинило патрон, поэтому и задохся; всего очередь выпустил. Значит, повезло нам с вами, а, братчики? — обратился он уже прямо к бойцам.

— Выходит, повезло, товарищ дивизионный комиссар,— заметно окая, отозвался один из бойцов.

— А вот и не угадал, вологодский,— чуть заметно передразнив его, сказал Пантелеев. — Напугали мы с тобой немца, смело шли на него — оттого и заклинило. Поспешил — и ленту перекосил. А если бы и перекосил, да не струсил — быстро поправил бы, вот так. — Пантелеев сделал два четких, как на уроке, движения, нажал на гашетку и дал громкую очередь. — Раз-два, и готово, а он струсил и бросил!

Пантелеев, так же как и все, отдыхал от пережитой опасности. Большой, но оставшийся позади риск; маленькая, но все-

таки — победа; разговор с солдатами в только что отбитом окопе — такие минуты, как эта, были самыми счастливыми во фронтовой жизни Пантелеева. Он не считал обстрелянными солдатами людей, просто пролежавших под огнем, но не одержавших ни одной, хотя бы самой малой, победы. Люди способны привыкнуть и даже притерпеться к опасностям — но это одно, а стать обстрелянным человеком значило, в понимании Пантелеева, одержать свою первую победу. Не просто умом, а собственной шкурой понять, что ты способен на нее.

— Товарищ дивизионный комиссар, разрешите доложить?

Пантелеев обернулся. Перед ним стоял сиявший от счастья Велихов.

— Немецкого полковника убили. Давай клади,— повернулся Велихов к здоровенному бойцу, тащившему на плечах тело громадного немца. — Опускай!

Боец отпустил одну руку, и мертвец тяжело сполз на дно окопа. Это был немолодой немец, очень большого роста, с черными усами, белым лицом и зажмуренными глазами — так в ужасе зажмуривается человек, ожидающий удара в спину. Сукно его мундира дочерна намокло от крови.

— Штыком его,— сказал принесший немца боец и коротким движением обеих рук показал, как он ударил немца штыком в спину.

— Оно и видно, что штыком,— сказал Пантелеев, разглядывая немца. — А откуда же решили, что полковник?

— А смотрите, пожилой и нашивок сколько,— все так же счастливо улыбаясь, сказал Велихов. — И пистолет взяли у него. — Он показал на засунутый за ремень гимнастерки парабеллум.

Велихову, всем окружавшим Пантелеева бойцам и Лопатину, который без очков, близоруко нагнувшись, рассматривал немца,— всем хотелось, чтобы этот мертвый действительно оказался полковником. Но Пантелеев при всем желании не мог подтвердить этого. Хотя у немца, и правда, мундир был в нашивках, но погоны говорили, что он всего-навсего фельдфебель.

— Полковник еще впереди, а это пока фельдфебель,— помедлив, сказал Пантелеев.

Подошедший командир роты доложил, что все окопы заняты и немцев по первому подсчету уничтожено до тридцати человек.

— Вчера с нашими запросто управились и решили — больше взвода не оставлять! — сказал Пантелеев. — Нахалы все-таки! Сколько у вас потерь в роте, подсчитали?

— Подсчитываем! Около сорока. Кладу одну четверть на убитых,— с не понравившейся Пантелееву легкостью начал лейтенант.

— Подождите класть,— перебил его Пантелеев,— лучше пошлите санитаров за теми, кто на косе раненый лежит. А то пока там, сзади, додумаются...

Пантелеев вспомнил Бабурова, беспорядок, с которого началось утро, и нахмурился:

— А наших, ночью убитых, возле окопов много лежит?

— Несколько человек видел.

— Командира батальона не нашли?

— Нет, не опознали.

— Похороните всех до одного,— строго сказал Пантелеев.— А то у нас так рассуждают: моей роты — похороню, а не моей роты — пусть птицы клюют. Водится у нас еще такое хамство.

— Я и собирался похоронить, товарищ дивизионный комиссар.

— А я не про вас. Я просто чтобы учли, как некоторые другие поступают.

Пантелеева беспокоило, чтобы здесь не повторилась вчерашняя история. Уж больно невыгодна была эта открытая позиция, все подходы к которой просматривались немцами из Геническа. В то же время дать приказ отойти с этих неудобных позиций, предоставив немцам возможность снова высадиться здесь, Пантелеев не хотел, особенно после сегодняшней удачной атаки. Он верил, что роту можно оставить здесь: теперь она не побежит и будет драться. Но одной веры было мало: следовало наладить связь и организовать поддержку из глубины огнем, а в случае необходимости — резервами.

Приказав поправить окопы, а в нескольких местах углубить их, Пантелеев отпустил командира роты и, оставшись вдвоем с комиссаром полка, сурово сказал ему, что если бы полчаса назад, во время атаки, он оказался не здесь, в роте, а там, где остался Бабуров, то пошел бы под трибунал вместе с командиром полка.

— А этого прохвоста,— свирепо, но тихо, так, чтобы слышал один комиссар, сказал Пантелеев,—я еще сегодня с чистой душой отдам под трибунал, а вынесут расстрел — подпишу расстрел. Рука не дрогнет, будьте покойны!

И он тяжело сжал в кулак свою большую волосатую шахтерскую руку.

— А люди у вас здесь, в этих окопах, на острие ножа, и им брехать нельзя. Я им сказал от вашего имени, что комиссар полка им обещает порядок, поддержку, выручку,— так будьте

любезны, чтобы это было не брехаловкой, а делом. Поняли? Я сейчас пойду обратно в батальон, пойдете со мной — наведем там порядок, а к ночи вернетесь сюда. Велихов! — крикнул он адъютанту. — Дай флягу, пить хочется.

Он отхлебнул глоток воды, протянул флягу комиссару и, посмотрев на сидевшего на корточках и что-то писавшего Лопатина, обратился к нему:

— Товарищ корреспондент, простите, забыл вашу фамилию...

— Лопатин,— сказал Лопатин, отрываясь от записной книжки.

— Возьмите выпейте, небось тоже горло пересохло... Да и пойдем, не зимовать же тут. Я ротой еще в гражданскую накомандовался. На сегодня с меня хватит. Тем более у нас с вами еще и другие дела есть, а?

Лопатин обрадовался, что они пойдут назад. По правде говоря, после всего пережитого он был не прочь оказаться подальше от немцев. Но комиссар полка, до этого показавшийся ему человеком безгласным, заартачился.

— Товарищ дивизионный комиссар,— сказал он настойчиво,— прошу подождать здесь, пока не стемнеет. Настаиваю на этом, товарищ дивизионный комиссар.

— Это почему же? — спросил Пантелеев.

— Как только вылезете из окопа — немцы по вас бить начнут.

— Начнут или не начнут — это их забота,— сказал Пантелеев, вскидывая на плечо винтовку. — А мне тут сидеть некогда. Мне надо у вас в тылу порядок навести и к ночи до Симферополя добраться.

Он повернулся к инструктору из Политотдела армии, стоявшему поблизости, и приказал ему оставаться здесь, в роте, безотлучно, пока не отзовет Политотдел. Потом вылез из окопа и, не оглядываясь, идут за ним или не идут, зашагал назад.

Вслед за ним вылезли Велихов, Лопатин и комиссар полка. Комиссар вылез последним, и Лопатин слышал, как он вздохнул и внятно чертыхнулся. Лопатин повернулся к нему. На выпачканном землей лице комиссара было выражение огорчения и нерешительности, словно он даже теперь, уже вылезши из окопа, все еще собирался переубедить Пантелеева, но не знал, как это сделать.

— Вытрите щеку,— сказал Лопатин. — Земля. Нет, не на этой стороне.

Комиссар вытер ладонью обе щеки.

— Как теперь?

— Стерли.

— Боюсь, убьют,— отрешенно от себя сказал комиссар, кивнув на шедшего впереди Пантелеева.

Лопатин улыбнулся. Вопреки всякой логике ему казалось, что опасности позади и немцы на обратном пути не будут стрелять в них. Но едва он подумал об этом, как немцы дали сверху, из Геническа, первую пулеметную очередь. Упав и вдавившись в землю, Лопатин слышал, как срезаемая пулями трава шуршит совсем рядом. Потом стало тихо; Пантелеев поднялся, крикнул: «Ходу!» — и, быстро пройдя несколько шагов, перешел на бег.

Следующая пулеметная очередь застигла их через пятьдесят шагов. Все легли, вскочили вслед за Пантелеевым, побежали, снова легли, и Лопатин заметил, что только что бежавшего вместе с ним комиссара полка уже не было рядом. Опять упав еще через сто шагов, Лопатин полуобернулся и, не отрывая голову от земли, увидел, как двое вылезших из окопов бойцов волоком, не поднимая с земли, тащат комиссара обратно к окопам. Пантелеев тоже обернулся. Может быть, теперь он решит вернуться назад?

Но Пантелеев и не думал возвращаться. Перебежка шла за перебежкой, пулеметные очереди резали траву. Лопатин вскакивал, бежал за Пантелеевым, падал, не выпуская из рук винтовки и всякий раз больно ударяясь о землю костяшками пальцев. Ему хотелось бросить винтовку, но он с утра видел столько брошенных винтовок, что ему было стыдно это сделать. Падать приходилось быстро, как подкошенному. Один раз, когда Лопатин упал особенно стремительно, проехавшись носом по песку, Пантелеев, упавший рядом, повернул к нему лицо и усмехнулся:

— Ловко землю пашете!

Лопатин потерял счет перебежкам; ему казалось, что все это никогда не кончится. Наконец они еще раз вскочили — и наступила долгая пауза. Еще не веря, что немцы перестали стрелять, Лопатин пробежал сто метров и вслед за Пантелеевым перешел на шаг. И вдруг снова треснуло. Очередь легла далеко впереди них.

— Теперь не вдогонку, а по рубежам стреляют,— сказал Пантелеев. — Возьмут на прицел рубеж и будут ждать, пока подойдем.

Голос у него был хриплый, и Лопатин впервые за день понял, что Пантелееву тоже страшно.

Немцы стреляли долго. То короткими, то длинными очередями. Одна из них взрыхлила песок у самой головы Велихова. Велихов пошарил рукой и вынул из песка пулю.

— К самому носу подлетела,— сказал он, силясь улыбнуться.

Когда вслед за этим раздалась еще одна очередь, что-то сильно ударило Лопатина в бедро. Он пощупал рукой, полез в карман и вытащил оттуда две обоймы от полуавтомата, которые, сам не зная зачем, подобрал в окопе. Одна обойма была разворочена, другая поцарапана; в штанине была дырка. Не подымая головы, Лопатин показал развороченную обойму Пантелееву.

— А вы поглядите, может, ранило? — озабоченно спросил тот.

Лопатин потрогал ногу — нога нигде не болела.

Наконец пулеметы перестали трещать. Все трое поднялись и пошли. Бежать не осталось сил. Немцы больше не стреляли. Никому из троих не хотелось говорить.

Так молча прошли метров триста. Лопатин чувствовал, как что-то мешает идти, колет ступню.

— Может, пуля провалилась в сапог? — неуверенно сказал он.

— Вполне возможно,— отозвался Пантелеев. — Дойдем до пионерлагеря, разуешься, посмотришь.

Когда упала первая мина, Лопатин не услышал ни свиста, ни гула, лишь почувствовал силу удара чего-то рвапувшегося вблизи. Потом, вспоминая, не мог понять, как никого из них не задело ни одним осколком, но в ту секунду не успел подумать об этом. Едва разорвалась мина, едва он успел упасть, как Пантелеев уже вскочил и, крикнув: «Скорей перебегай, пока дым не разошелся», побежал вперед. Пробежав метров сорок, он бросился на землю. Лопатин и Велихов — вслед за ним; и почти сразу же сзади разорвалась вторая мина.

— Левей! — снова вскочив, крикнул Пантелеев. — Левей, к воде!

Он добежал до самой воды и быстрыми шагами пошел по берегу.

— Теперь те, что слева,— не страшные, в воду упадет — навряд ли убьет.

И когда, словно торопясь подтвердить его слова, невдалеке от берега взлетел высокий водяной столб и Лопатин и Велихов присели, Пантелеев даже не пригнулся.

Потом над головами раздался сильный, булькающий, рассекающий воздух звук, не похожий на все другие, бывшие до этого, и тяжелый взрыв грохнул за их спинами, в Геническе. Снова быстрое бульканье над головами, снова тяжелый далекий взрыв за спиной, еще и еще — двенадцать раз подряд.

— Догадался артиллерист,— облегченно сказал Пантелеев. — Ударил все-таки по немецким минометам.

Он стряхнул землю с колен.

— Интересно, начальство приказало или своим умом допер? Прикрыл все же нас.

Лопатин долго потом не мог забыть чувства, с которым он, наконец дошагав до пионерлагеря, остановился под прикрытием крайнего дома. Ему не было видно из-за этого дома Геническа, а значит, и из Геническа не было видно его, Лопатина. Дом был жиденький, полуразбитый артиллерией, но Лопатину казалось, что он никогда еще не чувствовал себя в такой безопасности.

6

Начальник штаба батальона, которого Пантелеев утром посулил расстрелять, если тот не переменит своего командного пункта, перебрался в пионерлагерь и встретил Пантелеева старательным докладом: что свой КП, если не будет других приказаний, он расположил здесь, что связь к артиллеристам протянута, а кроме того, он выбросил вперед, в поддержку роте, два приданных ему полковых миномета.

— Куда выбросили? — спросил Пантелеев.

Начальник штаба показал рукой вперед и налево. Уходившая к морю коса закрывалась пригорком, и минометы были не видны отсюда, но зато, наверно, могли быть видны из Геническа.

Тяжелые минометы вполне можно было поставить и здесь, в пионерлагере. Но у Пантелеева была слабость: пережив в начале войны всю горечь отступления от Ломжи до Витебска и в душе не примирясь с происшедшим, он каждый раз радовался стремлению людей занять позиции поближе к противнику и редко отменял в таких случаях даже нецелесообразные приказания подчиненных. Так поступил и сейчас. Минометы были не на месте, но в батальоне начинал чувствоваться порядок.

— Товарищ дивизионный комиссар, не обнаружили старшего лейтенанта Васина? — волнуясь, спросил начальник штаба батальона, с самого начала хотевший задать этот вопрос, но не посмевший сделать это раньше доклада.

— Какого Васина?

— Командира батальона.

— В плен забрали вашего Васина,— сказал Пантелеев, неохотно возвращаясь в мыслях к событиям ночи. — Среди убитых нет, значит, в плен забрали. Что он из себя представлял-то у вас?

— Хороший командир батальона,— горячо сказал начальник штаба. — Я его знаю с училища. И учился одним из первых, и кончил хорошо.

— Кончил хорошо,— все так же угрюмо сказал Пантелеев,— а войну начал плохо. А вы как училище кончили, тоже хорошо?

— Средне, товарищ дивизионный комиссар.

— Ну вот, кончили средне, а теперь за командира батальона приходится вас оставлять. Доложите командиру полка. Где он, кстати?

— Не знаю, товарищ дивизионный комиссар. Здесь его пока не было.

Пантелеев вздохнул. Всю желчь, которая накопилась у него за день, он, сливая по капле, оставлял до предстоящей встречи.

— Комиссар полка ранен, и, как видно, тяжело,— сказал он. — Как только стемнеет — вынесите. И теперь же тяните связь в роту, чтобы до полной темноты связь была! Понятно?

— Понятно, товарищ дивизионный комиссар.

— Где моя машина?

— Сейчас придет, товарищ дивизионный комиссар,— с виноватым видом сказал начальник штаба. — Поехала ящики с минами подвезти к минометам. — И он снова указал рукой налево за песчаный гребешок. — Она и минометы туда под огнем отвезла — подцепила и отвезла, один за одним. Боевая дивчина,— добавил он с молодым восхищением.

Пантелеев посмотрел на его залившееся румянцем лицо и сказал насмешливо:

— Дивчина-то боевая, да вы-то не больно боевые. Что же у вас, других шоферов нет — гоняете ее то с минометами, то с минами. Обрадовались, что одна дивчина храбрее всех вас, мужиков, нашлась, так и ездите на ней взад и вперед!

— Тут под рукой других шоферов нет, товарищ дивизионный комиссар, а она сама вызвалась, прямо говоря, напросилась.

— Могли бы и сами на руках минометы подтащить вперед.

— Песок, товарищ дивизионный комиссар, долго, а нам побыстрей хотелось.

— Ну что ж, подождем. К медали представлю, если живая вернется.

В последних словах была укоризна, и начальник штаба вновь покраснел.

— Товарищ дивизионный комиссар,— сказал он,— разрешите доложить — шпионку задержали.

— Шпионку? — недоверчиво переспросил Пантелеев. — Небось какая-нибудь баба посмелей осталась в подвале, когда все ваши драпанули, а теперь вылезла, и готово — шпионка! А уполномоченный уже рад стараться! Кто ее задержал — уполномоченный?

— Так точно, уполномоченный.

— Позовите его ко мне.

Через минуту к Пантелееву подошел уполномоченный особого отдела полка — рослый парень с красивыми серыми глазами. Одет он был не по форме, вместо шинели — черная кожанка.

— Что, еще с гражданской войны таскаете? — неприязненно посмотрев на кожанку, съязвил Пантелеев. — Комиссарите?

— Нет, товарищ дивизионный комиссар,— заметив насмешку, но не теряясь, ответил уполномоченный. — Шоферская привычка. Я финскую в шоферах служил, а потом перевели в особисты.

— Шофер, значит,— сказал Пантелеев. — Мины под огнем у вас девка перебрасывает, а вы шофер!

— Я не мог отлучиться — с задержанной допрос снимал,— сказал уполномоченный.

Он держался с достоинством, но любивший это в людях Пантелеев и тут не смягчился.

— Задержанная,— пробурчал он,— наверное, тетку Марфу из-под картошки вытащил — вот и вся ваша шпионка.

— Нет, товарищ дивизионный комиссар, задержана женщина из Геническа. Переправилась сюда, на Арабатскую Стрелку, ночью вместе с немцами, а дальше пошла с заданием — посмотреть, где и что, и вернуться в Геническ. Сообщает, что мост при взрыве только в воду осел, можно в Геническ по пояс в воде перейти. Вообще важные показания дает — может быть, вы сами с ней поговорите?

— Ладно, посмотрим, что за птица,— сказал Пантелеев, смущенный тем, что, кажется, невпопад придрался к уполномоченному. Он был доверчив и не стеснялся этого, потому что доверчивость редко обманывала его в жизни. Хотя теоретически и верил, что среди советских людей могут существовать шпионы, но душа его этого не принимала.

— Пойдем посмотрим,— сказал он Лопатину. — Когда еще живую шпионку увидишь, если, конечно, она шпионка! — продолжая гнуть свое, искоса взглянул он на уполномоченного.

Задержанная женщина сидела у стены сарая на кирпичах сушеного кизяка. Подле нее стоял скучающий конвоир. Пантелеев грузно опустился на козлы для пилки дров; уполномоченный и Лопатин стали рядом.

Как показалось Лопатину, женщине было уже за тридцать, не меньше. Она была некрасива, даже уродлива: землистого цвета лицо, глубоко запавшие глаза, короткая верхняя губа, обнажавшая неровные темные зубы, прямые пряди жидких и сальных черных волос, вылезавших из-под черной в мелкий горошек

косынки. Шея у женщины была тощая, а одно плечо перекошено — она была кособока и казалась худой. Но у нее были широкие бедра и грязные босые толстые ноги, никак не сочетавшиеся с маленькой птичьей головкой.

Пантелеев с минуту молча рассматривал ее и лишь потом начал задавать вопросы, к которым уполномоченный изредка добавлял свои. Женщина отвечала на все вопросы одинаковым голосом, равнодушно глядя в одну точку перед собой, независимо от того, о чем ее спрашивали и кто говорил с ней — Пантелеев или уполномоченный.

Пантелеев после первого же ее ответа понял, что уполномоченный прав — женщина действительно переправилась ночью вместе с немцами из Геническа и оставлена ими здесь. Она не отрицала этого.

Ее признание и полученное от нее подтверждение уже появившейся собственной догадки — что немцы могут переходить пролив по плохо взорванному мосту — исчерпывали практический интерес Пантелеева к задержанной. Однако он продолжал задавать ей все новые и новые вопросы, казалось уже не имевшие прямого отношения к делу. Он ждал ответа на один главный вопрос, который беспокоил его сейчас: что случилось, почему эта вот сидящая перед ним простая, плохо одетая женщина стала тем, кем она стала,— немецкой шпионкой? Почему она согласилась служить немцам, которые пришли в Геническ всего три дня назад, немцам, которых она раньше не знала и не видела и с которыми ее до этого ничто не связывало?

— Пиши, Лопатин, пиши,— все более расстраиваясь по мере допроса, говорил Пантелеев. — Пригодится для истории. Если мы с тобой доживем до истории,— мрачно, непохоже на себя, пошутил он.

И Лопатин писал.

На самом деле женщине оказалось двадцать восемь лет, она назвала большое село под Геническом, где она родилась в семье самого богатого из тамошних хозяев, у которого уже после революции были и мельница, и сельская лавка, и батраки, работавшие на арендованной земле. Отец в детстве, по пьяному делу, ударил ее поленом, разбил ключицу и на всю жизнь оставил ее кособокой. Но потом жалел ее и обещал за ней большое приданое.

— Всего много давал, трех коней давал. — Впервые за время допроса потухшие, глубоко запрятанные глаза ее блеснули от воспоминания. Наконец ее высватали, но в это время началось раскулачивание. Отца раскулачили первым в селе, и он с матерью и старшими братьями поехал в теплушке куда-то на север — говорили, в Кемь — и сгинул там. Почему ее не выслали,

оставили, она не сказала, а Пантелеев не спросил. Может, потому, что ей не исполнилось еще восемнадцати.

Жениха как ветром сдуло, вместо невесты с приданым осталась некрасивая девушка с перебитым плечом, никем не желанная, да еще раскулаченная, без кола и двора. Она ушла из села в Геническ, ходила с постирушками, мыла полы, была на поденной работе, а под конец устроилась судомойкой в городской столовой, снимая углы то у добрых, то у недобрых людей. Кто знает, что творилось в ее душе все эти годы, но ее сверкнувшие снова глаза сказали Лопатину, который, следя за выражением ее лица, писал, не глядя на бумагу, что, наверное, она до сих пор все еще горит в аду воспоминаний о несостоявшемся женском счастье.

За год перед войной в Геническ вернулся ее троюродный брат, тоже из раскулаченных. Вернулся с документами на имя кого-то другого, умершего в ссылке.

— Сбежал? — спросил Пантелеев.

— Может, и сбежал,— равнодушно сказала она.

На первых порах она стала подкармливать беглеца, вынося ему по вечерам из столовой что попадалось под руку, а он стал жить с ней. Потом, осенью, его так под чужой фамилией и взяли в армию, и он уехал в часть под Измаил. А три дня назад пришел в Геническ вместе с немцами. Он рассказывал ей, что служит у них в комендатуре, приносил немецкую водку и по ночам спал с ней, как раньше. Вчера он пришел к ней среди ночи и сказал, чтоб она шла с ним. Она пошла, не расспрашивая. Они сначала сидели на берегу и слушали стрельбу внизу, под Геническом, на Стрелке, а потом сели в лодку вместе с немецкими солдатами и переехали сюда, на косу. При этом она видела, как другие немцы в это же время переходили пролив по взорванному мосту. Он велел ей, пока не рассвело, дойти до пионерлагеря, а потом пойти в деревню Геническая Горка и еще дальше, на соляные промыслы, и посмотреть, много ли там советских или немного, есть ли пушки и где они стоят. Он велел ей, если ее спросят в Генической Горке, откуда она, ответить: «С Сольпрома», а если спросят об этом же на Сольпроме, сказать, наоборот, что она из Генической Горки. И еще он велел ей ждать, пока стемнеет, а ночью выйти берегом обратно к мосту, он встретит ее там. Он сказал, что, когда она вернется, немцы дадут ей много денег.

Когда она перестала вспоминать о прошлом, глаза ее снова потухли, и обо всем, что произошло вчера и сегодня, она говорила с поразившим Лопатина бездушием, без раскаяния и сожаления. Она просто рассказывала все, как было, не выражая никаких чувств, в том числе и страха. Лишь один раз, говоря

про то, как ее сожитель пришел за ней ночью и повел ее на берег, она вдруг сказала: «И я пошла за ним, как собака...» Но в этом не было самоосуждения: просто он был единственный, кто снизошел до нее, жил с ней раньше и жил с ней сейчас, и она пошла за ним, как собака, туда, куда он велел, и сделала то, что он велел.

О деньгах она сказала с бесстыдной простотой — это было не главное, главное было то, что он ей велел.

Ответив на последний вопрос, она подождала, не спросят ли еще, облизала пересохшие губы и вытерла их кончиком платка.

— У, ведьма,— раздался звонкий и злой девичий голос за спиной Лопатина,— так бы и стрелила тебя!

Он повернулся. Сзади него стояла неизвестно откуда взявшаяся шоферка — Паша Горобец.

Задержанная вскинула на нее глаза, и они долго смотрели друг на друга: черная тихая женщина, похожая в своей неподвижности на узел темного тряпья, из которого торчали только лицо и толстые ноги, и звонкая, вся, как струна, натянувшаяся от негодования, голубенькая шоферка, с голыми коленками, голыми до локтей, сжатыми в кулаки руками, с растрепавшимися во время езды и упавшими на шею косичками желтых пыльных волос.

— На Сольпром к нам ходила,— сказала девушка, и голос ее задрожал от гнева. — За сольпромовскую хотела себя выдать... — Это, казалось, сердило ее больше всего. — Я на Сольпроме всех знаю, я сама сольпромовская, и никогда она сольпромовской не была,— обращаясь к Пантелееву, продолжала шоферка, и чувствовалось, что это очень важно для нее — что черная женщина не сольпромовская и что на Сольпроме никогда таких не бывало.

— А она и не говорит, что она сольпромовская,— сказал Пантелеев,— она геническая, да и не геническая она, а немецкая. Пришли фашисты, и пошла за ними, как собака,— по-своему повертывая то, что сказала женщина, добавил Пантелеев, вставая.

— Чего на нее смотрите, товарищ начальник, стрелите ее, и все,— просто, как о чем-то само собой разумеющемся, сказала шоферка. Потом помолчала и, уже ни к кому не обращаясь, убежденно добавила: — Я бы ее стрелила.

— «Стрелить» успеем,— сказал Пантелеев,— а вот посмотреть на нее — что в нашей жизни бывает, это надо! Смотри на нее, Паша,— повернулся он к шоферке. — Смотри и запоминай.

— А чего мне ее запоминать,— с обидой в голосе отозвалась девушка. — Очень мне надо ее запоминать.

— Оформляйте протокол допроса,— сказал Пантелеев уполномоченному,— и сегодня же отправляйте в Симферополь.— И другим, веселым голосом крикнул девушке: — Поехали, шоферка! Где твоя полуторка?

— За домом, сейчас выведу,— откликнулась она на бегу.

Пока шли к машине, Лопатин на ходу задумчиво вертел в руке сплющенную пулю. Она, провалившись в сапог, мешала ему идти. Он вынул ее, пока Пантелеев разговаривал с начальником штаба батальона. Вынул и забыл о ней, а сейчас захотел закурить, полез в карман за спичками и вспомнил.

— Повезло,— бросив взгляд на пулю, которую вертел Лопатин, сказал Пантелеев. — Будешь в Москве — подари мамаше или жене.

Он ждал, что Лопатин ответит на его шутку, но Лопатин не ответил. Мамаши у него давно не было, а его жене эта пуля была ни к чему; в последнее время ему все чаще казалось, что он и сам-то ей ни к чему.

Велихов, стоя перед машиной, крутил заводную ручку.

— Вы не так,— говорила Паша,— дайте я сама.

Но Велихов еще несколько раз с силой крутанул ручку, машина завелась, и Паша полезла в кабину.

— Ну и спасибочко! Только зря, я бы и сама.

— Одну минуту, товарищ дивизионный комиссар, разрешите, я сена в кузов возьму,— сказал Велихов.

— Бери, бери. А то корреспондент будет на меня потом обижаться, что я в кабине сидел, а он в кузове бока намял, а человек уже не молоденький.

Велихов притащил охапку сена, швырнул ее в кузов, забрался первым и заботливо протянул руку Лопатину.

— Побольше себе возьмите,— сказал Велихов, когда полуторка тронулась, и стал подгребать сено под бок Лопатину.

Удивительно, как всего несколько часов могут переменить человека. Утром это был еще нагловатый, глупо цукавший пожилого шофера и на каждом шагу стремившийся подчеркнуть свою значительность нахальный адъютантик, а сейчас он как-то вдруг за день похудел, и даже лицо у него стало не таким розовым, как утром, а более осмысленным и взрослым. Оттого, что он был в бою и видел, как вокруг умирают, у него появилось что-то, чего не было раньше: что-то понимающее и доброжелательное по отношению к людям, которые смертны, так же как и он сам. Наверное, он только сегодня это почувствовал, раньше знал, но не понимал. А сегодня понял, что можно не успеть сделать людям добро и не успеть исправить зло.

«А может, и нет, может, мне все это только кажется,— подумал Лопатин. — Потому что самому после такого дня, как сегодня, хочется лучше относиться к людям».

Около позиций морской батареи Пантелеев остановил машину и, еще прежде чем открыть дверцу, с радостью увидел спешившего навстречу маленького востроносого полковника, натуго затянутого в полевую портупею и обвешанного со всех сторон всем, что полагалось иметь по штату,— наганом, планшетом, полевой сумкой и биноклем. Даже свисток на витом кожаном шнурке был засунут у полковника на свое, положенное для свистка место на портупее.

И наган, и бинокль, и планшет, и сумка были самых обыкновенных размеров, но полковник был такой маленький, что все вещи выглядели на нем большими. Фуражка у полковника была заломлена набок, а остренький носик задран вверх.

Пантелеев вышел из машины и невольно улыбнулся.

Шедший ему навстречу полковник Ульянов, заместитель генерала Куднова по строевой части, всю финскую кампанию командовал полком в дивизии, где Пантелеев был комиссаром. Даже на строгий суд Пантелеева он был человеком храбрым и расторопным, и очень кстати, что такой человек появился здесь, на этой, продолжавшей беспокоить Пантелеева, Арабатской Стрелке.

Ульянов лихо, даже весело отдал рапорт.

— Чему радуешься? — спросил Пантелеев. — Чего веселого тут обнаружил?

— Пока ничего,— сказал Ульянов. — Хвастаться нечем, порядка еще нет, но будет.

— Я здесь час пробуду,— вспомнив о Лопатине и повернувшись к машине, крикнул Пантелеев,— вылезайте, отдохните пока.

Он хотел поговорить с Ульяновым с глазу на глаз.

— Эх, Ульяныч,— сказал он, поднимаясь вместе с Ульяновым на насыпь. — Жаль, тебя вчера здесь не было. Так иногда действуем, словно взяли на себя подряд немцам лагеря пополнять.

— А что, много пленных?

— Да,— сказал Пантелеев,— и убитых много, и полста человек вчера в плен отдали. Вот именно, что не они взяли, а мы отдали — Бабуров ваш! Спроси такого: веришь в нашу победу? — он на тебя глаза вытаращит — мол, только отпетая сволочь в победу не верит! А поскреби его — в нем вера отдельно от дел живет. Сам в победу верит, а своих людей в плен отдает! Что за прок в такой вере? На ней до победы не доедешь!

— Хорошо, что я вас увидел на дороге,— сказал Ульянов, бывший прежде на «ты» с Пантелеевым, но не считавший воз-

можным обращаться к нему по-старому при его теперешней должности. — А то бы разъехались, я как раз собирался в пионерлагерь, а оттуда в роту сходить.

— Ничего, через час уеду, сходишь,— сказал Пантелеев. — Надо весь круг вопросов с тобой обсудить. А то они ведь, немцы-то, не дураки — вчера по незатопленному мосту перелезали, а завтра сядут на шаланды да где-нибудь посередине Стрелки высадятся. Хоть мы и кричим, что они все по шаблонам воюют, но это пока самоутешение; то одним шаблоном нас стукнут, то другим навернут, то третьим огреют — и все разные! А что мы все до одной лодки из Геническа угнали, так это только по отчетности так красиво выходит, а если без отчетности — там лодок еще хватит. Мост у нас по отчетности тоже взорван, а они по этому мосту вчера пешком перешли. Командира полка видел?

— Он здесь,— сказал Ульянов. — Я его только сейчас с собой сюда прихватил.

— Откуда? — спросил Пантелеев, уже предчувствуя ответ Ульянова.

И Ульянов действительно ответил, что застал командира полка на бывшем КП батальона, то есть именно там, где он еще утром ухитрился отстать от Пантелеева.

— Где он? — тихо и свирепо спросил Пантелеев.

Они поднялись на насыпь и подошли к орудию.

— Найдите командира полка,— приказал Ульянов стоявшему у орудия моряку.

Но командир полка не спешил показаться на глаза Пантелееву. Действительно ли его не сразу нашли, или он, страшась предстоящего разговора, бессмысленно оттягивал его, но Пантелеев и Ульянов долго стояли у крайнего орудия батареи, а Бабуров все не шел и не шел.

Ульянов попытался заговорить, но Пантелеев не ответил. Он неподвижно стоял, широко расставив ноги, набычившись, глядя прямо перед собой в землю. Он ожидал прихода командира полка, и ничто другое сейчас его не интересовало.

Наконец появился Бабуров — он вынырнул из-за орудия и, рысью подбежав к Пантелееву, суетливо стал объяснять, что утром не выехал вместе с дивизионным комиссаром потому, что в это время его позвали к телефону, а потом, когда он вышел из землянки, машина уже отъехала; он кричал, махал руками, но она не остановилась. Все это было вранье, но Пантелеев слушал, не перебивая. Бабуров кончил говорить, сделал паузу, радуясь, что Пантелеев ни разу не перебил его, и, ободрившись, добавил еще несколько слов в свое оправдание, а Пантелеев по-прежнему

молчал, и это затянувшееся молчание постепенно стало таким угрожающим, что даже Ульянов невольно передернул плечами.

— Вы трус,— негромко и медленно, в полной тишине сказал наконец Пантелеев. — Вы больше не командир полка. Я вас отстраняю от должности и отдаю под суд. Командиром полка временно назначаю вас,— повернулся Пантелеев к Ульянову и, кивнув на Бабурова, добавил: — Позаботьтесь, чтобы его к утру доставили в Симферополь.

Услышав слово «доставили», Бабуров задрожал; задрожал в буквальном смысле этого слова, как человек, которого бьет малярия. Он трясся, и из его трясущихся губ беспорядочно выскакивали неживые и уже никому не нужные слова о том, что он виноват, но что он не трус, что, если надо, он готов... и еще что-то, чего Пантелеев не слушал, а только ждал, когда он кончит.

Пантелеев думал о том, что даже ему, человеку, видавшему всякие виды на всех войнах, начиная с германской, все-таки очень редко — пять-шесть раз за всю жизнь — приходилось сталкиваться с такими патологическими трусами, как этот трясущийся полковник: это же надо представить себе — командир полка, вместо того чтобы сопровождать члена Военного совета на позиции, не садится в машину и остается. Остается потому, что боится поехать на передовую, остается, понимая, что потом его за это отдадут под суд, остается, не надеясь на пощаду, а просто будучи не в силах превозмочь себя.

«А может, он все-таки на что-то надеялся? — подумал Пантелеев. — На что?» И вдруг спросил вслух:

— Вы что, надеялись, авось меня убьют там, впереди? Меня убьют, другие не узнают о вашем поведении, споете им лазаря, и будут взятки гладки! Так, что ли? Просчитались! Я еще провоюю до конца войны, а вас будут завтра судить, потому что вы трус и вас даже в рядовые бойцы разжаловать нет смысла. Боец — это бой! У бойца честь и совесть есть! А у вас где они?

И Пантелеев, нисколько не смягчившись оттого, что высказал наконец все накопившееся за день, и даже не считая сказанное жестокостью, прошел мимо Бабурова, не взглянув на него.

Маленький Ульянов, идя вслед за ним, не удержался, снизу вверх мимоходом посмотрел Бабурову в лицо и встретился с ним взглядом. Командир полка стоял, бессильно опустив плечи и почти до колен свесив руки. На лице его было выражение такой тоски, какое бывает у людей только перед смертью. Ульянов подумал, что, если бы Пантелеев сказал все это не Бабурову, а ему, Ульянову, и если бы ему нечего было на это ответить, он бы тут же, на месте, вынул пистолет и застрелился.

— Петр Андреич,— еле слышно шепотом сказал Бабуров, глядя на Ульянова и удерживая его взглядом. — Петр Андреич. — Две слезы выкатились из его глаз и потекли по толстому, заросшему седой щетиной лицу.

Ульянов хотел задержаться возле него, но Бабуров больше ничего ему не сказал, а Пантелеев, не поворачиваясь, уже звал его:

— Полковник Ульянов, где вы?

И Ульянов поспешил вслед за ним, думая о том, что, хотя не поехать вместе с начальством вперед, на позиции своего же собственного полка неслыханная вещь, все-таки ему жаль Бабурова. Еще третьего дня Бабуров присутствовал в штабе дивизии на совещании у Кудинова и, казалось, ничем не отличался от других командиров полков, а сегодня он уже не командир полка, а завтра его будут судить, а послезавтра, вполне возможно, разжалуют или расстреляют за трусость.

Когда Бабуров остановил взглядом Ульянова и назвал его по имени и отчеству, он, в сущности, ничего не хотел сказать ему. Если бы Ульянов остановился и спросил, что ему хочет сказать Бабуров, Бабуров не знал бы, что ответить. Ему просто хотелось, чтобы хоть кто-нибудь понял, как все ужасно и нелепо получилось, и пожалел его. Все творившееся сегодня в его душе было совсем другим и непохожим на то, что думал о нем Пантелеев. Он не сел в машину с Пантелеевым и не догнал его потом на другой машине не потому, что, как о нем думал Пантелеев, он трусил обстрела или боялся идти в атаку,— он не боялся этого, а вернее, даже не думал об этом. Но когда он сначала почувствовал из отрывочных донесений, что за ночь на Арабатской Стрелке у него в полку произошла катастрофа, когда потом Кудинов в ответ на доклад стал кричать по телефону, что если выяснится, что у него погибла рота, то он пойдет под суд, и когда вслед за этим к нему приехал член Военного совета,— Бабуров все больше и больше терял голову.

Он настроил себя на самое худшее, на то, что рота взята в плен, а морская батарея захвачена, и, представив себе, как ему придется, находясь рядом с членом Военного совета, отвечать за все, что тот увидит, и, еще не сознавая до конца, что делает, взял и не поехал вперед с Пантелеевым.

Весь день оставаясь здесь, он то придумывал разные объяснения, почему он остался, то решался ехать вслед за Пантелеевым, но, понимая, что не сможет объяснить ему, почему не поехал сразу, отказывался от этого намерения.

Весь день он делал вид, что занимается всякими необходимыми для полка делами, но, в сущности, ничего не делал,

а только с ужасом ждал возвращения Пантелеева. Он не думал о смерти Пантелеева, но страстно желал, чтобы на обратном пути Пантелеев вдруг проехал мимо и каким-то образом само собой вышло так, чтоб они не встретились хотя бы сегодня.

Бабуров вовсе не был трусом от природы. Во время гражданской войны он участвовал в боях и даже имел почетное оружие, но в тридцать седьмом году его, военного комиссара Керчи, вдруг пришли и арестовали. Это была та самая волна арестов тридцать седьмого года, которая теперь, в дни войны, вольно или невольно всем приходила на память. И хотя, быть может, никто еще не осознавал до конца всей меры происшедшей тогда, в тридцать седьмом году, трагедии, хотя многие внутренне сомневались, считая, что одни арестованы правильно, а другие — по ошибке, но почти каждый, кто над этим задумывался, уже чувствовал в душе, что все эти аресты, вместе взятые, правильными быть не могли, потому что это противоречило бы и здравому смыслу, и вере в людей, и, самое главное, вере в Советскую власть, двадцать лет воспитывавшую этих людей.

Когда Бабурова арестовали и потребовали, чтобы он признал соучастие в каком-то заговоре, о котором он не имел представления, он на всю жизнь испугался. Испугался всего, в чем когда-нибудь и кому-нибудь вздумалось бы его обвинить. Испугался всякой ответственности, которую ему правильно или неправильно могли приписать.

Были люди, которые выдержали и не такое, и, однако, не сломались и не согнулись, но он не был сильным человеком. И когда после двух лет тюрьмы его выпустили, сказав, что он ни в чем не виноват, то он, еще здоровый на вид мужчина, вышел оттуда больным самой страшной из человеческих болезней — он боялся собственных поступков.

И вдруг теперь, на четвертом месяце войны, когда ему дали полк, фашисты, в первом же бою перебив его роту, оказались в Крыму. Оказались именно там, где стоял его полк, его рота и где именно он нес всю полноту ответственности за то, чтобы фашисты не попали в Крым. Он испугался этого так, что уже никакие доводы разума не могли заставить его действовать вопреки страху ответственности.

Сейчас, после того как Пантелеев и Ульянов отошли и где-то невдалеке еще слышались их голоса, Бабуров не думал о будущем, а неудержимо боялся его. Из всего, что говорил Пантелеев, самыми нестрашными были слова, что его, Бабурова, разжалуют в рядовые. Если бы минуту назад Пантелеев сказал ему, что он разжалован в рядовые, и приказал взять винтовку и идти на передовую бойцом, он бы не испугался этого, наоборот, с облег-

чением почувствовал, что с ним уже сделали все, что могли сделать за его вину, и теперь — будь что будет! Но одна мысль, что завтра его повезут в Симферополь и будут спрашивать, как он допустил, что фашисты ступили на крымскую землю, а потом трибунал удалится на совещание и он будет сидеть и ждать приговора,— одна эта мысль приводила его в такой ужас, что он боялся не только завтрашнего дня, но сегодняшней ночи, в течение которой ему придется ждать того, что произойдет с ним завтра.

Содрогаясь от озноба, пошатываясь и плохо соображая, куда и зачем он идет, Бабуров медленно сошел с насыпи, прошел мимо машины Пантелеева, на подножке которой сидел и разговаривал с девушкой-шофером худощавый майор в очках, мельком запомнившийся ему утром, прошел мимо откозырявших ему и с удивлением посмотревших на его странное, отчужденное лицо бойцов, прошел еще сто, и двести, и триста шагов по кочковатой песчаной земле Арабатской Стрелки, все еще не зная, что он сделает, чувствуя только одно — что он боится дальше жить. Зайдя за небольшой бугорок, из-за которого уже нельзя было видеть ни стоящих на позиции орудий, ни бойцов, ни машины, он с минуту постоял, вынул из кармана носовой платок, вытер им лицо, снова сунул платок в карман, потом достал из кобуры пистолет, несколько раз глубоко и прерывисто вздохнул и, задержав дыхание, выстрелил себе в грудь, против сердца.

7

На сухой, треснувший где-то в степи пистолетный выстрел никто не обратил особого внимания. Лопатин, который в ожидании Пантелеева сидел на подножке машины и расспрашивал Пашу Горобец о ее жизни, на секунду повернул голову, прислушиваясь, не выстрелят ли еще, потом поправил очки с одним оставшимся в живых стеклом и по журналистской привычке сказал: «Ну, ну», показывая, что он снова весь внимание.

Паша сидела на согревшейся за день земле, прислонившись к стожку сена, и то начинала рассказывать своим быстрым южным говорком, то останавливалась, зажмуривала глаза и ловила лицом тепло прорвавшегося сквозь облака вечернего солнца. Она очень устала за день и радовалась, что еще не пришла пора снова ехать и можно посидеть и погреться на солнышке. Майор, с которым она говорила, чем-то, даже не понять чем, нравился ей, хотя он был и не похожий на военного, и немножко смешной оттого, что одно стекло у него в очках было целое, а другого

стекла совсем не было. От этого и глаза у него были разные — один, за стеклом, далекий и строгий, а другой, без стекла, добрый и часто щурившийся.

— Вы бы их совсем сняли, товарищ майор,— сказала Паша.

— Боюсь тогда и второе стекло раздавить,— сказал Лопатин. — Забуду и раздавлю.

— А вы не забывайте,— назидательно сказала Паша.

Жизнь ее, как казалось ей самой, была слишком проста для того, чтобы о ней рассказывать, и она несколько раз порывалась перевести разговор на что-нибудь другое, более интересное, но Лопатин, которого товарищи по редакции с завистью называли клейстером, не обращая внимания на Пашины уловки, продолжал расспрашивать ее, почему же все-таки в прошлом году она не пошла в соляной техникум, куда ее посылали, а поступила на шоферские курсы.

Паше было очень просто ответить на этот вопрос: в техникум она не пошла потому, что надо было уезжать с Сольпрома, а на шоферские курсы она пошла потому, что на них пошел один ее знакомый парень, который ей тогда нравился, но которого теперь не было здесь, потому что его в июне взяли в армию. Но сказать правду Паша стеснялась, а что ответить вместо этого, еще не придумала и молча крутила в пальцах рубчик подола своего голубенького ситцевого платья.

— Хотелось побольше зарабатывать,— наконец сказала она. Это была неправда, но ничего лучше она не придумала, а молчать дальше считала неудобным.

Лопатин недоверчиво улыбнулся, но промолчал, и Паша поняла, что он ей не поверил, и подумала, что он, наверное, умный человек, хотя и смешной — один глаз за стеклом, а другой — просто так.

Она искренне не понимала, что́ может интересовать этого человека в ее жизни, простой, как ладошка, где все события можно пересчитать по пальцам: окончила семилетку, потом работала на Сольпроме, сначала на сушке соли, а потом мойщицей на автобазе, потом автокурсы и эта вот, переданная ей с рук на руки ушедшим на фронт шофером старенькая полуторка.

Во всей ее жизни ей самой действительно интересными казались сейчас только последние три дня, когда она, получив винтовку и сапоги, стала возить по Арабатской Стрелке то одних, то других военных людей и все, что они грузили на ее машину,— то бревна, то термоса, то, как сегодня, ящики с минами. Особенно интересно было ей сегодня, когда она, прицепив к своей полуторке, везла минометы с большими, похожими на столы железными кругами. Когда, оставив первый миномет там, где ей

велели это сделать,— около бойцов, рывших окопы на берегу Сиваша,— она благополучно вернулась, ее удивило, как горячо и долго тряс ей руку отправлявший ее старший лейтенант. А потом, когда она повезла второй миномет, слева и справа от машины стали взлетать черные столбы и один осколок даже звякнул по капоту машины. Но она не испугалась и привезла второй миномет туда же, куда первый, а испугалась только на обратном пути, когда над кабиной пронесся оглушительный свистящий звук — раз, другой, третий, четвертый! Она пригнулась за рулем и погнала машину, не разбирая дороги, боясь этих свистящих звуков, пролетавших прямо над ней, и не подозревая, что именно эти звуки и были ее спасением, что это наша морская батарея бьет по немецким минометчикам, заставляя их замолчать и тем спасая ее, Нашу Горобец, с ее полуторкой.

Это ей объяснили уже потом, когда она вернулась. И она, стыдясь только что испытанного страха, вызвалась съездить еще раз и отвезти на позиции к минометам ящики с минами. И снова немцы пробовали стрелять, и опять над кабиной ее полуторки, как ангелы-хранители, проносились снаряды.

Она охотно и весело рассказывала обо всем этом Лопатину, потому что это было ново и интересно для нее и потому что ее радовало и одновременно удивляло, что эти большие, стоявшие здесь пушки стреляли своими большими снарядами, которые трудно поднять одному человеку, только для того, чтобы она могла спокойно съездить туда и обратно. Она была горда этим, и в то же время ей было немножко неудобно, словно она напрасно затруднила кого-то.

Когда она вернулась в третий раз, отвезя ящики с минами, восхищенный старший лейтенант порывисто обнял ее и неловко поцеловал в щеку. Она была так далека от сознания важности сделанного ею, что посчитала этот непрошеный лейтенантский поцелуй мужским баловством, сердито вырвала руку и убежала.

Все происшедшее с ней сегодня было интересно ей самой, но она не понимала, почему об этом расспрашивает сидевший перед нею майор, уже немолодой и, наверное, сам не раз видавший все это.

А Лопатин сидел напротив нее и любовался и ее искренним непониманием собственной храбрости, и ее неподдельным недоверием к тому, что она может кого-то интересовать, наконец, любовался ею самой, ее загорелыми, исцарапанными коленками, на одной из которых она все время потирала пальцем большой синяк, ее худенькой, но ладной фигуркой в голубом пыльном платье, ее разгоревшимся, радостно-усталым лицом.

В другое время, где-нибудь на улице, он, наверное, не обратил бы внимания на это полудетское-полудевичье лицо; но сейчас оно казалось ему прекрасным. Он глядел на девушку, и, как это иногда бывает с людьми, перешагнувшими за середину жизни, его охватывала бессмысленная тоска от всего, что в этой жизни случилось не так, как нужно. Он не мог представить себе ни эту девушку старше, чем она была, ни себя моложе, чем был, и вообще оба они никак не сочетались друг с другом ни во времени, ни в пространстве. Но горькая и даже завистливая мысль, что перед ним, прислонясь к стожку сена и потирая синяк на коленке, сидит в этом голубеньком пыльном платье не его, а чье-то живое будущее счастье,— эта мысль не выходила у него из головы, как он ни старался ее прогнать.

Пантелеев вместе с полковником Ульяновым подошел к машине через час. Усталая шоферка, неожиданно для себя, среди разговора с Лопатиным задремала, сидя все в той же позе у стожка сена. Велихов накрыл ее своей шинелью и ходил, поеживаясь и потирая руки, озябший, но довольный собственным поступком.

— Послезавтра еще раз приеду сюда, учтите это,— говорил Пантелеев, прощаясь с Ульяновым. — Бабурова доставьте в Симферополь. Что еще? — проверяя не столько Ульянова, сколько самого себя, спросил Пантелеев. — Как будто все! Ну, бывай здоров,— и, пожимая руку Ульянову, добавил: — Раз ты здесь, я за Арабатскую Стрелку спокоен.

— Будьте здоровы, товарищ дивизионный комиссар,— сдвинув каблуки, ответил не любивший лишних слов Ульянов и только глазами добавил несказанное: «Будь уверен, не подведу тебя».

Паша, проснувшись и смутившись оттого, что заснула у всех на глазах, поеживаясь от вечернего холодка, полезла в кабину. Велихов покрутил заводную ручку, и через минуту грузовик уже трясся по дороге к переправе.

А еще через полчаса маленькая моторка, таща за собой на буксире рыбачью лодку, в которой сидели Пантелеев, Лопатин и Велихов, плыла через Сиваш.

— Товарищ начальник, если еще раз приедете, я вас буду возить, хорошо? — крикнула с берега Паша Горобец.

Вдали смутно голубело пятнышко ее платья.

— Хорошо! — сложив руки рупором, крикнул Пантелеев. — Будет исполнено!

Лопатин думал, что Пантелеев, ласково простившийся с девушкой и обещавший, что представит ее к медали за храбрость,

сейчас заговорит о ней, но Пантелеев молчал. Шоферка уже вышла у него из головы, он был занят другими, тяжелыми мыслями.

В Сиваше мелко рябила и плескалась о борт лодки вода. Сразу свалившаяся осенняя ночь с каждой минутой становилась все черней и черней. Сиваш с обеих сторон слился с берегами, вокруг лодки остались только одни звуки: тихий плеск воды у борта, одышливое фырканье моторки впереди да где-то далеко, на Чонгаре, редкие артиллерийские выстрелы.

— Сам виноват,— тихо сказал Пантелеев. — Сам виноват,— повторил он. — На всех позициях был, все до одной облазил, все укрепления смотрел, а на Арабатскую не поехал, на Кудинова понадеялся. А на него надеяться, как на... — он не докончил и еще раз повторил: — Сам виноват.

Лопатин сидел на краю покачивавшейся лодки и думал: неужели всего пятнадцать часов назад он подошел к зданию штаба армии в Симферополе и увидел Велихова с чемоданчиком в руках и шофера, прикручивавшего баки с бензином? Он вспоминал одно за другим все события дня, и перед ним возникал все тот же, еще утром родившийся вопрос.

«Неужели,— спрашивал он себя,— неужели немцы все-таки ворвутся в Крым?» И хотя кроме раболепного Кудинова и дрожащего Бабурова, кроме попавшего в плен командира батальона и перебитой роты были командиры и бойцы, смело ходившие в атаку, и морской лейтенант, и его артиллеристы, не растерявшиеся и остановившие немцев, и Паша Горобец, возившая под огнем минометы, и уверенный в себе маленький полковник Ульянов, и сам Пантелеев, хотя в сегодняшнем дне было не только много плохого, но и много хорошего, говорившего: «Нет, не ворвутся, не может этого быть!» — предчувствие несчастья сдавливало сердце Лопатина.

Шофер, дожидавшийся Пантелеева на том берегу лимана, был рад их возвращению, как бывают рады все шоферы, чьи фронтовые пассажиры уходят вперед, в неизвестность. Обрадованный тем, что все живы и целы, он суетливо спрашивал, не замерз ли кто — у него есть в машине одеяло и даже подушка, может быть, кто захочет поспать в дороге.

— Вы лучше-ка вот что,— сказал Пантелеев,— снимите предохранительные сетки с фар.

— Нельзя, товарищ Пантелеев,— решительно сказал шофер. — Светомаскировку надо соблюдать, дороги бомбят.

— Пусть лучше бомбят, чем где-нибудь навернуться,— сказал Пантелеев,— мне надо через два часа быть на Военном

совете, так что придется жать, а с сетками ни черта не видно, угробимся.

— А демаскировка, товарищ Пантелеев?

— Демаскировать нам по дороге, кроме самих себя, некого,— ответил Пантелеев. — Подъедем к Симферополю — наденете сетки. Быстро снимайте, да поехали,— добавил он тоном, показывавшим, что разговоры окончены.

Шофер, сердито шевеля губами и ругаясь про себя, снял предохранительные сетки, сел за руль, и машина помчалась к Симферополю.

Лопатин думал, что Пантелеев, так же как и по пути сюда, захочет поспать, но Пантелеев, промолчав первые пять минут дороги, сам повернулся к нему и спросил:

— О чем думаете?

Лопатин солгал, что ни о чем не думает: он думал о своей жене, но это были сложные и невеселые мысли, и ему не хотелось ими делиться.

— Неужели так-таки ни о чем не думаете? — повторил Пантелеев и, не дожидаясь ответа, сказал: — А я думаю, что чистой коммунистической души у нас еще некоторым людям не хватает. Живет такой начальник, чистые воротнички каждый день подшивает, сапоги при помощи ординарца до блеска чистит, а чистой коммунистической души не имеет.

Лопатин подумал, что Пантелеев вспомнил про Кудинова, но при шофере не захотел называть фамилию командира дивизии.

— А этого,— имея в виду Бабурова и все еще продолжая размышлять о нем, как о живом, сказал Пантелеев,— этого, которого под суд завтра отдадим, думаете, мне не жалко? Жалко! Потому что, если бы у него загодя дня два над душой посидеть, он бы по-другому оборону подготовил. А коммунистического сознания, чтобы все самому, без погонялки сделать,— у него не нашлось. А теперь, конечно, под суд! А этих бедных, ночью побитых, поколотых в страхе и ужасе,— их знаете как жалко. — В голосе Пантелеева, как показалось Лопатину, что-то даже дрогнуло при этих словах. — Двадцать первого года рождения рота, в голодный год их матери высохшей грудью кормили — для того ли, чтобы первый фашист пришел и всех, как кур... О том ли мечтали...

Пантелеев шмыгнул носом и вытер глаза.

— Растили, кормили, учили, говорили: растите, детки, до коммунизма доживете, а потом взяли и отдали первому попавшемуся фашисту на смерть, без боя, за просто так! Куда это го-

дится! — крикнул он, и в машине надолго воцарилась тишина.

— Слабо воевали и под Сальково, и сегодня,— после долгого молчания, во время которого машина бесшумно неслась по дороге, сказал Пантелеев.

Лопатин робко возразил, что все-таки сегодня все было не так уж плохо... Но Пантелеев не дал ему договорить.

— Что ж, это дело, что ли, чтобы дивизионные комиссары роты в атаки водили? Еще бы я роту в атаку не сводил! Этого недоставало! — Он невесело усмехнулся. — Четвертый месяц войны пошел, нам немца приказано перед Крымом остановить не пальцем на карте, а пулей в лоб! На Западном же остановили! И держат. А мы что тут? Опять собираемся всю шарманку сначала крутить? Кто нам это позволит? Где наша совесть? Как так? Почему?..

В двухстах метрах впереди на дороге взлетело что-то огромное и желтое, взлетело так неожиданно, что только в следующую долю секунды, услышав оглушительный взрыв, Лопатин понял, что это бомба.

— Фары! — крикнул Пантелеев и, опередив растерявшегося шофера, сам выключил свет.

— Вылезайте из машины, переждем,— сказал он громко, но спокойно, первым открывая дверцу и вылезая. — Ложись... Ложись пониже, в кювет.

Хотя Пантелеев и вылез из машины первым, но оставался около нее, ожидая, пока остальные лягут в кювет. Наконец, убедившись, что все легли, он тоже прилег на краю асфальта, подложив руку под голову и вглядываясь в небо.

Второй и третий взрывы коротко вспыхнули слева за дорогой, в поле. Четвертый, и последний, ударил так близко, что Лопатин не услыхал взрыва — ему вдруг туго набили голову ватой и, казалось, продолжают с силой заталкивать ее туда. Он несколько минут ошеломленно пролежал, ожидая, что будет дальше, но дальше ничего не было — ни новых взрывов, ни гудения самолетов, ни голосов.

И вдруг среди этой тишины Лопатин услышал плач. Рядом, совсем близко от него, плакал человек, плакал, всхлипывая и произнося какие-то слова, которые Лопатин не сразу понял. Он поднялся из кювета, сделал два шага и при слабом свете оставшегося непотушенным красного заднего стоп-фонарика увидел что-то темное, без головы и одного плеча, и нагнувшегося над этим темным и страшным навзрыд плакавшего Велихова.

Член Военного совета Особой Крымской армии, дивизионный комиссар Пантелеев был убит наповал большим осколком бомбы на восемьдесят втором километре Симферопольского шоссе. «Юнкерсы», возвращавшиеся после налета на Симферополь и сбросившие на обратном пути несколько десятков мелких бомб по всему шоссе от Симферополя до Джанкоя, не нанесли больше никаких потерь ни в людях, ни в технике. Ехавшие в одной машине с членом Военного совета его шофер, адъютант и корреспондент «Красной звезды» не получили ни одной царапины. Целой осталась и машина. На ней завернутое в две шинели изуродованное тело дивизионного комиссара привезли в Симферополь, прямо к штабу армии, за пять минут до заседания Военного совета, к началу которого он не хотел опоздать.

Корреспонденту «Красной звезды», как старшему по званию, приказали лично доложить обстоятельства гибели дивизионного комиссара, но он рассказал об этом таким деревянным голосом, что даже суховатый по натуре и всего неделю знавший Пантелеева, но потрясенный случившимся командующий с неприязнью к корреспонденту выслушал этот, показавшийся ему бездушным, рассказ. Потом корреспондент попросил разрешения уйти, сказав, что его в двадцать четыре часа вызовет на провод редакция.

Командующий отпустил его сердитым кивком и стал расспрашивать о подробностях то и дело заливавшегося слезами адъютанта покойного — младшего политрука Велихова.

В это время Лопатин, все еще в каком-то столбняке, добрался до редакции городской газеты, где не успели узнать о происшедшем и поэтому, слава богу, ни о чем не расспрашивали, и, сев за машинку в пустом машинном бюро, упрямо ударяя по незнакомым клавишам и попадая не в те буквы, начал выстукивать очерк в газету, стараясь не думать о смерти Пантелеева, но после каждого через силу напечатанного слова неотвратимо возвращаясь к ней. Минутами ему казалось, что этого просто не было. Но это было, и он знал, что это было, потому что он сам, сначала сидя на корточках на шоссе, вместе с шофером и Велиховым заворачивал в шинели то мертвое и страшное, что пять минут назад было сидевшим вместе с ними в машине дивизионным комиссаром Пантелеевым, а потом, втащив это в машину и уложив на сиденье, передвигал по полу машины еще теплые ноги в солдатских сапогах. А потом он ехал снова, все в той же самой машине, и хотя знал, что Пантелеев убит и что можно дотронуться рукой до его накрытых двумя шинелями

останков, но в то же время ему казалось, что другой, живой Пантелеев сидит впереди рядом с шофером и сейчас повернется и договорит что-то самое главное, чего он не успел договорить, когда впереди разорвалась первая бомба.

9

Угольщик, отправленный третьего октября из Севастополя в Одессу с подкреплением — двумя ротами морской пехоты, шедший следом за ним транспорт с боеприпасами и сопровождавший их морской охотник почти до самой темноты бомбили немцы. Транспорт повредили, и он сел на мель у Тендеровой косы, а угольщик и морской охотник пошли дальше.

Стемнело, но и после этого на корабле еще два раза поднималась тревога. Сигнальщику померещился перископ; потом по борту прошла плавучая мина. Начало этой, неожиданной для Лопатина, командировки в Одессу невольно заставляло думать об обратном пути: добравшись туда, предстояло добираться еще и оттуда. Само предстоящее пребывание в осажденной Одессе тревожило меньше: худо ли, хорошо — но там все время будешь с людьми, а одиночество острей всего ощущаешь в дороге, и больше всего невеселых мыслей лезет в голову в такие ночи, как эта, когда от тебя самого ничего не зависит.

Передав в Москву корреспонденцию о бое на Арабатской Стрелке со многими умолчаниями, в том числе и о гибели Пантелеева, Лопатин ожидал, что раз начались бои в Крыму, то теперь его там и оставят.

Но не тут-то было!.. Редактор прислал телеграмму, что корреспонденция помещена, но газете нужен материал на другую тему — о боях за Одессу, куда Лопатин и должен был отбыть немедля.

Немедля отбыть в Одессу он не мог — должен был до этого получить заказанные в аптеке очки: стекло для старых вместо разбитого и еще одни — запасные. Оставшись в очках с одним стеклом, он дал себе слово впредь не трогаться с места без запасных очков. Сообщать редактору по военному проводу, что ты должен сидеть еще двое суток в Симферополе, пока тебе не сделают очки, было неловко: как почти все люди, обходящиеся без очков, редактор не до конца понимал, что они такое для близорукого.

Но и получив очки, отбыть в Одессу оказалось не так-то просто: пришлось трое суток проторчать в Севастополе, прежде чем сесть на этот угольщик.

В телеграмме редактора было написано: «Сделав две-три корреспонденции о боях Одессе возвращайтесь прежнее место» — надо полагать, имелся в виду Крым, а не Москва. Что дальше — неизвестно, да и рано об этом думать. Но мысль о возвращении в Москву — близком или далеком — все-таки оставалась. Прямых личных причин стремиться в Москву не было: дочь со школой была эвакуирована под Горький еще в июле, а жена с театром, где она работала завлитом, отбыла в августе в Казань; все это произошло без него, пока он был на Западном фронте. То, что жена оказалась в эвакуации в одном месте, а дочь — в другом, ему очень не нравилось, и он за те несколько дней, что пробыл в Москве между приездом с Западного фронта и отъездом в Крым, так и написал жене. Написал только об этом, хотя ему не нравилось и многое другое...

Теперь в Москве его не могло ждать ничего, кроме писем, но письма, наверное, были, и хотелось бы их прочесть.

Днем, перед отплытием в Одессу, на корабль принесли пачку газет и среди них — тот последний дошедший до Севастополя номер «Красной звезды», где была напечатана корреспонденция Лопатина. Она была и так не длинная, а теперь на газетной полосе от нее остались рожки да ножки. Исчезли не только слова Арабатская Стрелка — к этому Лопатин был готов,— но и само описание — и узкой песчаной косы, и моря по сторонам, и города на том берегу пролива, откуда били из пулеметов немцы.

Значит, даже намеков на то, что бои идут в Крыму, пока не пропускают, оставлять своих корреспондентов без дела редактор не любит — вот ты и плывешь на угольщике в Одессу!

Обычно даже невеселые мысли не вышибали Лопатина из привычной колеи; но на этот раз он почти всю ночь прокрутился на койке и заснул только под утро, когда подходили к Одессе.

В Политотделе армии Лопатину посоветовали ехать прямо в дивизию генерала Ефимова, штаб которой размещался в пятнадцати километрах к западу от Одессы, в селе Дальник.

Машины, чтоб доехать, не дали — не имели, но обнадежили, что, выбравшись из города на ведущее к Дальнику шоссе, он легко подсядет на попутный грузовик. Но сколько Лопатин ни орал на ветру в кабины пролетавших мимо грузовиков: «Дальник! Дальник!» — водители только мотали головами — то ли не хотели останавливаться, то ли, и правда, ехали не туда.

В Дальник он добрался лишь к середине дня, пешком.

Генерал Ефимов только что приехал откуда-то, снова куда-то уезжал и разговаривал с Лопатиным, стоя возле своей полуторки, в которую его шофер переливал бензин из другой ма-

шпны. Ефимов был в гимнастерке с неаккуратно, прямо на ворот, пришитыми зелеными звездами и в защитной, без генеральского околыша, выгоревшей фуражке. Это был высокий, начинавший грузнеть сорокапятилетний человек с круглым скуластым азиатским лицом и рыжеватыми висячими усами. Левая рука была у него на перевязи, в правой он держал хлыст и нетерпеливо постукивал им по пыльным сапогам.

— К сожалению, не могу с вами говорить,— сказал он, когда Лопатин представился.

Лопатин упрямо повторил, что ему все же нужно поговорить с генералом, что у него задание «Красной звезды» написать о боях под Одессой, для того он и приехал сюда, в их дивизию.

— Понимаю,— сказал Ефимов,— но для пользы дела должен отбыть.

— А когда вы вернетесь?

— Не знаю. Начальство вызывает, ему известно, а мне нет. Поезжайте пока в полк к Мурадову и Левашову, там завтра и встретимся.

— А когда?

— Не могу знать,— насмешливо сказал генерал. — Могу обещать одно — если до завтра не удерете, встретимся.

— Почему удеру?

— Был тут один корреспондент. — Генерал окинул взглядом невидную фигуру Лопатина. — Имел более грозный вид, чем вы, но удрал по причине стрельбы. Прежде чем ехать к Мурадову, зайдите к комиссару дивизии. Нечаев! — крикнул он стоявшему поблизости бойцу. — Проводите интенданта второго ранга. Честь имею. — Приложил руку к фуражке, сел в полуторку и уехал.

Полковой комиссар Бастрюков, в противоположность генералу Ефимову, никуда не торопился и начал с того, что напоил Лопатина чаем с молоком и свежими булками. Узнав, что генерал направил Лопатина в полк к Мурадову и Левашову, полковой комиссар почему-то поморщился, но не возразил, а лишь посетовал, что, к сожалению, не сможет поехать туда с Лопатиным сам, потому что в Дальник через час должно прийти пополнение.

— Может быть, хотите поприсутствовать при том, как мы будем встречать пополнение? — спросил он.

Но Лопатин, не выразив желания присутствовать при том, как полковой комиссар будет встречать пополнение, сказал, что, если ему покажут дорогу, он прямо отправится в полк.

Полковой комиссар снова непонятно поморщился, приказал по телефону, чтобы подготовили машину, и еще на полчаса

задержал Лопатина, прочтя ему целую лекцию о том, как важно умело принять пополнение.

Рассказывая, он смотрел на Лопатина такими глазами, словно тот сейчас же должен вынуть блокнот и карандаш, записать все услышанное и послать в газету.

Лопатина стало клонить ко сну, и он обрадовался, когда в дверях появился шофер и доложил, что машина готова.

— Поедете на моей машине и, когда будете возвращаться из полка, позвоните — я пришлю ее за вами,— сказал на прощание полковой комиссар, энергично пожимая руку Лопатину. — А я, как бы ни был занят, еще раз выберу для вас время и поподробнее познакомлю вас с системой приема пополнения. У меня подготовлены даже письменные обобщения, эта тема заслуживает... — Отпустив руку Лопатина, он поднял палец, и, хотя не сказал, чего заслуживает эта тема, стало и без слов понятно, что эта тема заслуживает освещения в «Красной звезде», в качестве представителя которой Лопатин пил здесь чай с молоком и отправлялся на передовую не с попутным грузовиком, а на личной машине полкового комиссара.

Лопатину вдруг ужасно захотелось отказаться от помощи этого обходительного человека, но что-нибудь менять было поздно; оставалось поблагодарить.

Полковой комиссар протестующе поднял руку. Лицо у него было энергичное, свежее и сытое, а рука — белая, без загара, с коротко подстриженными ногтями.

— О чем говорить! Я политработник,— сказал он,— я-то понимаю, что такое печать. Поезжайте!

«Эмка» полкового комиссара была на диво чистая и снаружи и внутри; в ногах — свежие половички, а сиденья в белых парусиновых чехлах. Как только машина выехала из Дальника, лицо шофера приобрело хмурое выражение. Он ехал, всем своим видом давая понять, что недоволен поездкой, и то и дело опускал стекло и, избочась, выглядывал наружу. Лопатин подумал было, что шофер боится авиации, но оказалось, небо тревожило его совсем по другой причине.

— К ночи дождь пойдет,— сказал шофер, выглянув в пятый или шестой раз. — Тут как дождь, так грязь с машины хоть ногтями отколупывай! А полковой комиссар чистоту требует, как в больнице... Намучаешься...

Лопатин посмотрел на свои пыльные сапоги, потом на след, который оставили эти сапоги на свежем чехле. Шофер тоже покосился, но ничего не сказал.

Ехать до Дальника было всего пять километров, но шофер трижды спрашивал дорогу у встречных бойцов.

Красный Переселенец, где стоял штаб полка, оказался небольшим хутором, спрятавшимся в лощине между двух невысоких холмов. Среди фруктовых садов белело десятка три мазанок. Некоторые были разбиты прямыми попаданиями. Вдали за холмами негусто постреливали.

— Доехали... Здесь и Мурадов, и Левашов, все тут, в этом доме... — сказал шофер, останавливая машину около трехоконной белой халупы с уходившим в окно пучком телефонных проводов. — Доехали до места, как приказано,— настойчиво повторил он, не выключая мотора, словно боясь, что Лопатин не слезет.

Лопатин поблагодарил, подхватил вещевой мешок и через полутемные сени шагнул в комнату.

За столом, на котором с одной стороны стоял телефон, а с другой — сковорода с недоеденной яичницей, сидел человек и плакал. Он сидел, опустив на стол голову в пыльной мягкой фуражке, и широкие плечи его часто и сильно вздрагивали.

Лопатин стоял посредине комнаты и не знал, что делать.

— Ну чего? — подняв голову, спросил человек, сидевший за столом. Лицо у него было заплаканное, а глаза злые. — Чего пришли? Кто такой?

— Мне надо полковника Мурадова,— сказал Лопатин, продолжая стоять посреди хаты.

— Нету Мурадова,— сказал человек, сидевший за столом, и вытер лицо рукавом гимнастерки. — Вот сидим оплакиваем его. В госпитале теперь, в Одессе, ищите его, если жив... А это,— с вызовом ткнул он пальцем на стоявший в углу брезентовый ящик с ремнями,— забирайте к чертовой матери! Мурадов бы не отдал, а мне теперь все равно... Берите, пользуйтесь, трофейщики!.. Вы откуда, я вас спрашиваю? — сердито спросил человек и встал.

Объяснения Лопатина не смягчили его.

— Час от часу не легче! — воскликнул он, когда Лопатин назвал себя и сказал, что направлен сюда из дивизии к командиру полка Мурадову или комиссару полка Левашову. — Теперь только и радости, что в газетах про нас писать! Командир полка Мурадов ранен и вывезен, а батальонный комиссар Левашов буду я. Еще вопросы есть?

Он вздохнул, снял с себя фуражку и, бросив ее на стол, взъерошил обеими руками свалявшиеся, как войлок, волосы.

Наверное, ему было лет тридцать, но сейчас он казался старше. Его красивое лицо заросло густой русой щетиной и выглядело помятым. Голубые светлые глаза, обведенные темными

полукружиями бессонницы, глубоко запали. На ногах у батальонного комиссара были брезентовые сапоги — один с надорванным голенищем.

— Садитесь, чего стоите? — сказал наконец Левашов, стиснув руками голову так, словно хотел унять головную боль.

Он был в таком очевидном горе, когда на человека глупо обижаться. Лопатин сел на рассохшийся скрипучий стул, бросил на пол вещевой мешок и стал ждать, что будет дальше.

Левашов, выйдя из-за стола, походил по хате, с сомнением поглядел на разорванное голенище и, заложив руки за спину и расставив ноги, остановился напротив Лопатина.

— Поехали бы еще к кому-нибудь, а? Ей-богу, не до вас. — В голосе его была грубая искренность.

Лопатин сказал в ответ, что готов не обременять своим присутствием комиссара полка и пойти прямо в батальон, но вообще-то командир дивизии рекомендовал ему побыть у него в полку и даже назначил ему здесь на завтра свидание.

— Рекомендовал, рекомендовал... — передразнил Левашов, — а пока вы сюда ехали, из полка душу вынули. Вам почему комдив рекомендовал — потому, что это полк Мурадова, а Мурадова нету больше в полку. — И Левашов пожал плечами, словно сам удивляясь непоправимому смыслу сказанного. — А я даже в госпиталь поехать, узнать судьбы его не могу, пока нового командира полка не назначат. Вот, пожалуйста, — повернулся он к столу и показал на сковороду с яичницей, — только сели вдвоем, как люди хотели пообедать, а на передовой занервничали, стали по телефону заикаться. Поднялись с ним, поехали посмотреть, что там за такие особенные румынские атаки. И вот сиди теперь один, доедай...

— Как же все это случилось? — спросил Лопатин.

— Обычно, как все случается. На обратном пути — мина под ноги, два осколка в живот. И: «Прощай, Федя, оставляю полк на тебя...»

Левашов подошел к окну, снял с подоконника миску с красными солеными помидорами и брякнул ее на стол рядом с недоеденной яичницей.

— Давайте перекусим, жизнь должна брать свое. И поедем в батальоны, если не передумали. Мне туда тоже надо.

Лопатин не стал отказываться, подсел к столу и взялся за холодную яичницу и помидоры. Ему хотелось есть. Левашов тоже потыкал вилкой в яичницу, но, как видно, слова, что жизнь должна брать свое, были сказаны им преждевременно. Он бросил вилку и откинулся на спинку стула.

— Ешьте, на меня не глядите, — сказал он.

Стекла в хате звякнули и задрожали. Взрыв был не сильный, но близкий. Лопатин вздрогнул от неожиданности. Левашов мельком взглянул на него и, придвинув телефон, стал крутить ручку. Мины все время рвались недалеко за хатой. Лопатин продолжал есть, а Левашов, прикрыв ухо, чтобы не мешали взрывы, стал говорить кому-то, что сейчас приедет.

Потом его, кажется, спросили по телефону о Мурадове.

— Кто ж его знает, я не врач,— ответил Левашов. — Знаю одно: железо большое, раны — смотреть страшно.

Стекла звякнули особенно сильно. Левашов во второй раз скользнул взглядом по Лопатину. Лопатин продолжал есть.

— Сейчас едем. — Левашов положил трубку. — Траур во всем полку! Я бы вам много чего рассказал про Мурадова, если б только вы могли это описать.

— А почему вы думаете, что я не могу? — спросил Лопатин.

— А потому, что этого никто не может,— махнул рукой Левашов. — Я сам старый рабкор, даже судился из-за одной заметки... Но сейчас другое дело. Иногда выберу время, кое-чего занесу в дневник, а потом прочту — все чепуха. Нету сил выразить все, что в душе творится. А так что же писать: сколько уничтожили, сколько потеряли — это и в газетах прочесть можно!

Он повернулся боком к окну и прислушался к тишине.

— Поедем. На чем добирались?

— Комиссар дивизии дал свою машину,— сказал Лопатин.

— Не путались?

— Нет, но дорогу спрашивали,— ответил Лопатин.

— И то слава богу,— сказал Левашов. — Вторую неделю на Красном Переселенце сидим, а товарища Бастрюкова у себя только раз видели.

Он встал, взял со стола свою пыльную фуражку и, несколько раз ударив ею о колено, надел на голову.

— Поедем на моем танке.

Лопатин удивленно взглянул на него, но лицо Левашова было совершенно серьезно.

— А мешок оставьте, ночевать сюда вернемся, раз Ефимова дожидаться будете. Вот душа-мужик, верно? — спросил Левашов уже в дверях.

Лопатин неопределенно промычал. У него осталось другое впечатление о командире дивизии, но встреча их была слишком мимолетной, чтобы спорить.

— Интересно, кого он вместо Мурадова командиром полка пришлет, боюсь, что он Ковтуна мне пришлет,— нисколько не беспокоясь ответом собеседника на свой предыдущий вопрос,

вслух рассуждал Левашов, идя рядом с Лопатиным по хуторскому порядку.— Мужик грамотный, но только уж больно бухгалтер. Вот увидишь,— вдруг на «ты», очевидно считая, что они уже достаточно знакомы для этого, обратился он к Лопатину,— его и пришлют, чтобы Левашов не хулиганил.

Сказав о себе в третьем лице, он усмехнулся и, остановясь у одной из хат, заглянул в окно.

— Поздняков, я по батальонам поеду, начну со Слепова.

Они с Лопатиным зашли за угол хаты, где под камышовым навесом стоял маленький транспортер «Комсомолец», открытый со всех сторон, если не считать тоненького бронированного щитка впереди.

— А вот и мой танк,— без улыбки сказал Левашов, забираясь на место водителя.

— Давай сюда, рядом,— обратился он к Лопатину и, едва тот сел, нажал на стартер.

10

Капитан Ковтун, тот самый, которого Левашов боялся получить в командиры полка, вышел подышать воздухом из штабной мазанки.

Большое и до войны богатое южное село Дальник, где стоял штаб дивизии, было разбито бомбежками и дальнобойной артиллерией. Днем оно имело вид убогий и печальный, как всякое полуразрушенное село, оставленное жителями и на скорую руку заселенное солдатами. Но сейчас, в лунную ночь, тот же самый Дальник казался капитану Ковтуну даже красивым: сохранившиеся синие с белым домики выглядели чистенькими и новыми, а густые купы деревьев серебрились от лунного света. Было так тихо, что Ковтун слышал от слова до слова негромкий разговор, который вели между собой напротив, на крылечке штабной столовой, шофер комиссара дивизии Коровкин и подавальщица Таня.

— А вот скажите,— мечтательно спрашивала Таня,— почему, например, звезды бывают то белые-белые, то совсем голубые?

Коровкин затянулся папироской — было видно, как она вспыхнула в темноте,— и, помолчав, ответил лениво и многозначительно:

— Отдаленность...

Таня пораженно замолчала и, наверное, там, в темноте, прижалась к Коровкину.

— В девяносто пятом полку сегодня был,— снова донесся до Ковтуна ленивый голос Коровкина.— Корреспондента возил. Са-

ногами весь чехол замарал. Опять полковой комиссар придираться будет. Ты бы постирала, что ли...

— Ладно,— покорно отозвалась Таня.

В угловом окне комиссарского дома виднелась тонкая, как лезвие ножа, полоска света. «Наверное, сидит, перекореживает чьи-нибудь политдонесения так, что их и родная мать не узнает»,— подумал Ковтун. За три месяца службы в должности начальника оперативного отдела штаба дивизии он незаметно для себя привык смотреть на вещи глазами командира дивизии генерала Ефимова. А генерал-майор Ефимов не одобрял бумажные страсти полкового комиссара Бастрюкова.

До войны капитан запаса Ковтун, экономист по образованию, был главным бухгалтером большого винодельческого совхоза под Тирасполем и сам питал пристрастие к подробно, по всем правилам составленным канцелярским бумагам.

Но война и генерал Ефимов отучили Ковтуна от любви к длинным фразам и вводным предложениям. Обветренный и обстрелянный, он почти каждый день мотался вместе с Ефимовым на передовую и обратно, ходил с ним по полкам и батальонам, положив на колено планшет, писал под диктовку Ефимова короткие приказания и с удивлением вспоминал собственное прошлое.

Ковтун был под стать генералу — немолод, но вынослив. Так же, как генерал, он начал военную службу солдатом в последний год империалистической войны, потом воевал до конца гражданской, и то, что они в молодости были люди одной судьбы, играло свою роль в их отношениях.

Во всяком случае, в первые же дни боев, временно заменив пришедшим из запаса капитаном Ковтуном убитого начальника оперативного отдела, Ефимов потом ни разу не проявил желания перевести Ковтуна на другую должность.

— Ковтун, ты здесь, а я тебя по телефону отыскиваю!

От соседнего дома, где жил командир дивизии, отделилась тонкая высокая фигура.

— Иди, садись,— ответил Ковтун и подвинулся на крылечке.

Адъютант комдива лейтенант Яхлаков подошел, сел и, сняв фуражку, положил ее себе на колени. Он был горьковчанин и говорил, заметно нажимая на «о». Его прямые, длинные, нарочно под молодого Горького отпущенные волосы, валившиеся на лоб, как только он снимал фуражку, были светло-соломенного цвета и сейчас, под луной, казались седыми.

— Жалко, зеркала нет,— сказал Ковтун. — Мне сейчас показалось, что ты седой, ей-богу.

— Поседеешь! Комдив звонил с дороги, я ему доложил, что Мурадов тяжело ранен, а он меня знаешь как обложил!

— За что?

— Что я ему в Одессу, в штаб армии, не сообщил. А я звонил, но его с Военного совета не вызвали. Я объясняю, а он орет: «Ты не адъютант, а шляпа! Если бы дозвонился, я б из штаба заехал в госпиталь, а теперь возвращаться поздно».

— Жалко Мурадова,— сказал Ковтун, помолчав.

— Я думал, чего пооригинальней скажешь,— отозвался Яхлаков. — А то все жаль да жаль. Позавчера тебе Халифмана было жаль, вчера Колесова, сегодня Мурадова. Меня тебе тоже жаль будет, если убьют?

— Трепач ты,— вместо ответа сказал Ковтун.

— Трепач или не трепач, а вот предсказываю, что комдив тебя вместо Мурадова назначит. Велел тебе спать не ложиться — как приедет, явиться к нему. Спрашивается — зачем?

— Ну и трепач,— равнодушно повторил Ковтун. — Мало ли зачем...

— А вот посмотрим,— сказал Яхлаков.

— Брось трепаться,— отрезал Ковтун.

— Ну, а кого? — спросил Яхлаков.

Но Ковтун не был склонен обсуждать этот вопрос.

— Левашов, когда про Мурадова звонил, сильно переживал. Говорит по телефону, а сам плачет.

— Левашов? — недоверчиво переспросил Ковтун.

Он попытался представить себе плачущим батальонного комиссара Левашова, но не смог.

— Завтра в девяносто пятом операция намечалась,— сказал Яхлаков, которому наскучило молчание.

— Ну и проведут...

— А с кем? — Яхлакову хотелось вернуться к прежней теме, но Ковтуна было не так-то просто сдвинуть с места.

— Кого назначат, с тем и проведут. Комдив из-за этого операцию отменять не будет.

— Мне Таня говорила,— сказал Яхлаков,— что позавчера, когда нас тут обстреляли, полковой комиссар себе ужин прямо в блиндаж потребовал.

— Ну и что?

— Что «ну и что»? Накрыла ужин салфеткой да и понесла ему через улицу, а он в блиндаже салфетку поднял и глядит, не залетел ли ему в простоквашу осколок.

— Врешь ты все,— сказал Ковтун, считавший неположенным вслух осуждать даже то начальство, которое ему было не по душе.

— Кажется, едет... — прислушиваясь, сказал Яхлаков. — Просил комдива, чтоб взял с собой в Одессу. Отказал: «В штабных передних штаны протирать и без тебя протиральщиков хватит. Лучше, говорит, расширь свой кругозор, книжку почитай...» Я ему говорю: «Ничего, я после войны почитаю». — «Ну и дурак»,— говорит.

— Ну и правильно,— охотно согласился любивший чтение Ковтун.

— Точно, едет! — сказал Яхлаков и пошел навстречу.

Полуторка, громыхая на колдобинах, вынырнула из-за угла и остановилась. Ефимов вылез из кабины и прошел в дом.

— Где Ковтун? — спросил он Яхлакова, вешая на гвоздь фуражку. — Предупредил?

— Вызван, товарищ генерал.

— А как с Мурадовым? Не догадались до госпиталя дозвониться, пока я ехал?

— Никак нет, — ответил Яхлаков. Лицо его стало растерянным.

— Эх вы! Через пятнадцать минут позовите ко мне капитана Ковтуна.

Когда Ковтун вошел в хату командира дивизии, Ефимов говорил по телефону с госпиталем. Он сердился. Его круглая, бритая голова с прижатой к уху телефонной трубкой была еще багровей, чем обычно. Он сидел, навалившись грудью на стол и низко опустив голову, но, когда Ковтун вошел, сразу заметил его. Сердитые раскосые глаза Ефимова уперлись в Ковтуна и сделали ему знак «садитесь!», а сам Ефимов продолжал ругаться по телефону.

— Я, командир дивизии,— говорил он в трубку,— не добился у вашего начальника госпиталя сведений о своем командире полка. Он, видите ли, не знает! А ему положено знать! Если бы полковник Мурадов командовал здесь, в Одессе, своим полком, как ваш начальник госпиталем, весь ваш госпиталь давно плавал бы в Черном море!

— А меня его характер,— перебил Ефимов, очевидно, пробовавшего возразить ему собеседника и еще больше побагровел,— меня его характер нимало не интересует. Вы комиссар госпиталя — и будьте любезны навести у себя в госпитале партийный порядок, независимо от того, какой характер у вашего начальника, хоть трижды собачий... Принесли? — вдруг совершенно другим голосом сказал он. — Ну, слушаю... — Он надел пенсне, придвинул блокнот и взял карандаш. — Подождите, записываю. Благодарю. Если у вас все — у меня все. Доброго здоровья...

Ефимов отодвинул телефон, поднял голову и грузно потянулся на стуле. Ковтун приподнялся.

— Сидите, капитан Ковтун,— сказал Ефимов. — Подвиньтесь поближе.

Ковтун пододвинулся.

— Начальник госпиталя не пожелал дать справку о Мурадове,— сказал Ефимов. — Заявил, что не помнит, поступал ли к нему таковой, а ведь это командир полка,— Ефимов поднял палец и задержал его в воздухе,— фигура огромного значения. Прежде чем попасть в госпиталь, он три войны прошел, нормальное училище, академию. Сколько усилий было затрачено, чтобы создать такого командира полка, как Мурадов, а он не знает, прибыл ли Мурадов к нему в госпиталь или нет и в каком состоянии. Бросаемся людьми, сами себя не уважаем! Позор! Спасибо, хоть комиссар госпиталя — человек, а не клистирная трубка!.. Вот что он мне дал о Мурадове.

Ефимов пододвинул Ковтуну листок, на котором делал записи, говоря по телефону. На листке было написано: «Мурадов — состояние на 23 часа: температура — 39,8, пульс 150, осколки извлечены, сделано переливание крови, находится без сознания».

— Невеселая картина, капитан Ковтун,— сказал Ефимов, опять придвигая листок к себе.

Жизнь и смерть еще боролись друг с другом на этом лежавшем перед Ефимовым листе бумаги, а за столом, напротив Ефимова, сидел капитан Ковтун, которого, независимо от того, выживет или умрет Мурадов, придется назначить на его место.

Вот сидит перед ним Ковтун, которого он за эти три месяца узнал как облупленного, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Сидит короткий, плотный, с большой, не по росту, квадратной головой, которая кажется еще квадратней от стрижки под бокс. Черт его знает, отец четверых детей, а стрижется, как футболист! Вид глупый, а сказать неудобно, человек в годах, не Яхлаков — в замечаниях по поводу внешности не нуждается. Под черной, без единого седого волоска футбольной челкой лоб у Ковтуна низкий, широкий, с тремя резкими морщинами, и лицо загорелое, грубое и решительное, а в глазах — ну никакой догадки, зачем его вызвал командир дивизии! И то, что в глазах у Ковтуна нет этой догадки, нравится Ефимову.

В послужном списке Ковтуна значится, что на всех сборах командиров запаса на протяжении пятнадцати лет он имел по всем дисциплинам высшие отметки, а он не из тех, кому такие вещи даются с налету. Старательным показал себя и на войне.

в самостоятельных решениях осторожен, но придется решать — решит! А придется умирать — не побежит. Правда, нормального училища не кончал и по званию всего капитан.

«Да что я сам себя уговариваю,— рассердившись, подумал Ефимов,— уже решил ведь назначить». И вдруг понял, почему, уже решив, все еще уговаривает себя: если бы назначал Ковтуна после другого командира полка, не уговаривал бы, но после Мурадова все кажется, что Ковтуну и того недостает и этого...

— Капитан Ковтун!

Ковтун подобрался, напрягся, все три морщины на лбу его полезли вверх, под самую челку.

— Дадим вам полк. С полком справитесь?

— Справлюсь, товарищ генерал,— неожиданно для Ефимова, без раздумий, отрезал Ковтун и встал.

— Правильно,— сказал Ефимов. — Штабной командир, который не мечтает принять полк, не командир, а баба.

Ковтун совсем не мечтал принять полк. Наоборот, он был поражен случившимся, но бабой себя не считал и, раз уж так вышло, отказываться не собирался. Он стоял перед Ефимовым помрачневший от волнения.

— Отправляйтесь принимать полк, теперь же, ночью. — Ефимов, обойдя стол, подошел к Ковтуну вплотную. — Возьмите мою полуторку. Пока доедете, я позвоню в полк, а утром получим добро сверху и отдадим вас приказом.

— Благодарю за доверие,— сказал Ковтун.

У него сидел в голове, но не шел на язык вопрос: как же сам Ефимов, разве не поедет сейчас с ним в полк? А если не поедет сейчас, то, по крайней мере, прибудет ли к началу той завтрашней операции, которая была разработана еще вместе с Мурадовым? Ковтуну казалось, что Ефимов сам скажет об этом, но Ефимов молчал, и Ковтун понял: сейчас комдив протянет ему руку, простится и станет уже поздно спрашивать о чем бы то ни было.

— Товарищ генерал,— наконец решившись, спросил он,— а вы когда будете в полку?

— А что, разве я вам уже нужен? — Ефимов насмешливо нажал на слово «уже». — Позвоните мне завтра в девять часов и доложите, как идут дела. Не теряйте времени, езжайте! Левашову я позвоню.

И он, пожав руку, отпустил Ковтуна, вполне сознательно не желая придавать в его глазах излишнего значения завтрашней рядовой операции.

11

Оставшись один, Ефимов взялся было за телефон, но передумал, подошел к койке, разобрал ее и, тяжело опустившись, стал стягивать сапоги. Раздевшись и по-солдатски положив на сапоги портянки, он в одном белье прошел по холодному земляному полу к висевшему на стене осколку зеркала и погладил отросшую на бритой голове рыжую щетину.

— Надо парикмахера вызвать,— вслух сказал он в тишине, устало погладил большой волосатой рукой лицо, вернулся к койке и забрался под одеяло.

Глядя в лицо новому командиру полка, Ефимов невольно подумал о себе. И сейчас, лежа на койке, продолжал думать о себе.

В комнате было натоплено и душно, окна были наглухо завешаны мешками, под свернутым из газеты желтым, подпаленным абажуром вяло жужжали осенние мухи. Весь день был набит трудными новостями, тяжелое ранение Мурадова оказалось последней. Все новости требовали решений, и за каждое предстояло отвечать головой. А голова была одна!

Приехав сегодня днем в Одессу, Ефимов узнал, что командующий Приморской группой войск заболел и ночью на эсминце вывезен в Крым. Потом член Военного совета, запершись вдвоем с Ефимовым в кабинете, сказал, что он снесся со штабом Черноморского флота, в оперативном подчинении у которого находилась Приморская группа, и что есть согласованное предложение внести на утверждение Ставки кандидатуру его, Ефимова, как нового командующего.

— Как ваше мнение? — спросил у Ефимова член Военного совета.

Что ответить? С тех пор как немцы отрезали Крым и заняли побережье до Мариуполя, Ефимову, человеку военному и чуждому риторике, было ясно, что рано или поздно вопрос об Одессе станет так — или снабжать ее из Новороссийска, под все нарастающими ударами немецкой авиации, жертвуя при этом корабль за кораблем, или эвакуироваться в Крым, пока позволяют время и наличные силы. Он был склонен думать, что Ставка в ближайшее время пойдет на это,— трудная мысль для человека, которому предлагают принять армию. Стать командующим, имея на носу эвакуацию морем,— незавидная перспектива, но как раз это и не позволило Ефимову колебаться. Как бы тяжко ни сложилось дело, в душе он верил, что сделает его не хуже других.

— Слушаюсь,— сказал он, избегая многословия.

— А скажите, Иван Петрович,— спросил член Военного совета,— когда мы получим подтверждение Ставки,— он хотел сказать «если мы получим подтверждение Ставки», но слово «если» показалось ему неловким,— кому предполагаете сдать дивизию?

— Мурадову,— сразу, не думая, ответил Ефимов.

Это было всего два часа назад, а теперь Ковтун поехал принимать мурадовский полк.

Дотянувшись до висевших на стуле бриджей, Ефимов вытащил пристегнутые английской булавкой часы и щелкнул крышкой. Судя по времени, Ковтун подъезжал к полку. Ефимов встал с койки и, покрутив ручку аппарата, вызвал девяносто пятый полк. Телефонист сказал, что комиссар полка спит.

— Разбудите.

Левашова будили несколько минут. Ефимов сидел за столом, положив усталую голову на руку с зажатой в ней телефонной трубкой, закрыв глаза и чувствуя, что его самого начинает клонить ко сну.

— Крепко спишь, Левашов,— сказал он, услышав наконец в трубке сонное: «Слушаю».

— Слушаю, товарищ генерал,— уже звонко, стряхнув дремоту, повторил в трубку Левашов.

— Послал капитана Ковтуна принять полк.

— Так я и знал... — вырвалось у Левашова.

— Что ты знал?

— Что вы Ковтуна нам пришлете.

— Тем лучше, раз ты все заранее знаешь... — усмехнулся Ефимов. — Прошу любить и жаловать и поддержать авторитет нового командира полка перед комбатами, имея в виду, что среди них могут быть недовольные.

— Есть поддержать авторитет перед комбатами.

— Слушай, Левашов,— бросая официальный тон, сказал Ефимов,— я тебя знаю, знаю, какой ты можешь быть хороший, и знаю твои коленца! Так вот, будь добр, чтобы капитану Ковтуну у вас, в мурадовском полку, с первого шага ногу не жало! Ты понял меня или нет?

— Понял, товарищ генерал.

— Сделаешь?

— Будет сделано.

— А насчет Мурадова,— Ефимов пододвинул к себе давешнюю бумагу с записями,— слушай сведения на двадцать три часа. — И он прочел по телефону то, что было им записано со слов комиссара госпиталя. — У меня все. Вопросы есть?

— Есть два вопроса, товарищ генерал. Могу ли я съездить Мурадова навестить?

— Командира полка встретите, вместе с ним операцию проведете, дотемна доживете и можете съездить.

— Есть,— повеселевшим голосом откликнулся Левашов.— И второй вопрос: тут вас корреспондент дожидается.

— Какой еще корреспондент? — спросил Ефимов.

— Что у вас утром был. Вы, говорит, ему у нас в полку свидание назначили.

— А... — сказал Ефимов. — Еще не смылся?

— Нет, у меня...

— Ладно, завтра увижусь. Хочешь узнать, когда приеду? В этом была соль вопроса?

— Так точно, в этом,— признался Левашов.

— Приеду, когда потребует обстановка. Желаю успеха.

Ефимов положил трубку, прошлепал босыми ногами до койки, лег, накрылся одеялом и почему-то, без всякой связи со всем происшедшим за день, вспомнил о Средней Азии и о том, как в двадцать третьем году в Фергане дехкане из отряда самообороны принесли ему голову старого басмача курбаши Закир-хана. Насаженная на пику, бритая, коричневая, поросшая седой щетиной голова лежала на желтом, дышавшем жаром песке, а древко у пики было корявое, неструганое, с сучками.

«И откуда только придет на память такая ересь? И почему именно сегодня?» — засыпая, подумал Ефимов.

12

Не торопясь, но и не мешкая, Ковтун побрился, собрал свой единственный чемодан, положил его в кузов ефимовской полуторки, сам сел рядом с шофером и приказал ехать в штаб девяносто пятого. Полуторка была причудой Ефимова, он всегда ездил только на ней, и ее знали все бойцы в дивизии. Сбиться с дороги с ефимовским шофером было немыслимо, и Ковтун, едва машина тронулась, стал думать о предстоящей операции.

Две недели назад дивизия, поддержанная тремя артиллерийскими полками, предприняла удачное наступление и отбросила румын на несколько километров. Было взято полсотни орудий и до тысячи пленных, в том числе немецкие артиллеристы. Горячие головы, и среди них — Левашов, мечтали наступать дальше, но вместо этого был получен приказ закрепляться. Да никакого другого приказа и нельзя было ждать при общей обстановке, сложившейся на Южном фронте. Немцы продвинулись на пятьсот километров восточней Одессы — она держалась, приковывая к

себе двухсоттысячную румынскую армию,— и слава богу! Большего от нее нельзя было и требовать.

В сводках Информбюро появилось сообщение о разгроме под Одессой двух румынских дивизий, а через три дня оправившиеся румыны начали жестокие контратаки. Фронт дивизии местами подался назад и принял зигзагообразную форму. Последнюю неделю Ефимов методично, один за другим, срезал эти румынские «языки», или, как он выражался, «подстригал их в свою пользу». Завтрашняя операция, лежавшая теперь на плечах Ковтуна, должна была покончить еще с одним таким «языком».

В темноте забелели первые домики Красного Переселенца. Ковтун вылез у знакомой мурадовской хаты, взял чемодан и, махнув шоферу, чтобы тот ехал обратно, открыл дверь.

Левашов встретил Ковтуна на пороге.

— Ефимов звонил про тебя,— сказал он вместо приветствия. — Садись, подхарчимся, а то потом черта лысого поешь с этими... — Он отпустил ругательство по адресу румын и немцев и первым сел к столу.

На столе стояла бутылка с виноградной водкой, миска с солеными помидорами, кусок брынзы и полкаравая хлеба.

— А где начальник штаба? — спросил Ковтун, тоже садясь. — Надо бы на НП поехать.

— Туда и поехал,— сказал Левашов. — Сейчас машина за нами вернется.

Он налил по полстакана водки себе и Ковтуну и чокнулся.

— Будем знакомы — батальонный комиссар Левашов, Федор Васильевич, комиссар ныне вверенного вам девяносто пятого стрелкового полка. Прошу любить, жаловать и не обижаться.

Он залпом, не дожидаясь Ковтуна, выпил водку и закусил соленым помидором. Они были уже три месяца знакомы с Ковтуном, но своими словами он хотел подчеркнуть, что теперь они одной веревочкой связаны.

Ковтун равнодушно, как воду, выпил свои полстакана, тоже закусил помидором и стал говорить о предстоящей операции. Но Левашов не хотел сейчас говорить о ней.

— Операция как операция. Сами же вы ее в штабе утверждали, чего я тебе добавлю? Вот пойдем на НП, а оттуда в роты — там добавлю, про всех проинформирую — кто чего стоит. А сейчас дай полчаса отдохнуть, ей-богу, устал, как... — И он снова выругался.

Ковтун, как и все в штабе дивизии, знал, что за Левашовым водятся грехи — горяч, иногда выпивает, а уж матерщинничает сверх всякой меры. Говорили, что Бастрюков порывался снять его за это с полка и, наверное бы, снял, если б не воспротивился

Ефимов, по убеждению которого Левашов, несмотря на все свои коленца, был прирожденный политработник.

— Эх, не комиссаром бы мне быть,— как-то сказал Ефимову Левашов после боя, во время которого он трижды водил бойцов в атаки.

— А кем?

— Прошусь, товарищ генерал, в начальники разведки дивизии. У меня натура рыбацкая — из разведки без улова не вернусь. Уж получше вашего Дятлова буду, ручаюсь! Возьмите, не раскаетесь!

Но Ефимов не взял, и комиссар девяносто пятого полка Левашов сидел сейчас перед Ковтуном и жевал соленые помидоры, закусывая их хлебом.

— Проголодался? — спросил Ковтун.

— Поверишь, двое суток не мог есть,— сказал Левашов. — Третьего дня ходил в атаку, поскользнулся и упал в старый румынский окоп на разложившиеся трупы. И так от трупного запаха спасу нет, по кукурузе валяются, куда ни ступишь. Мяса целый месяц не ем, только одно соленое могу,— а тут, как назло, провалился! Давай еще по половине?

Ковтуну не понравилось это предложение. Конечно, можно было на первый случай не спорить, но он предпочел сразу поставить себя с Левашовым в ясные отношения.

— Не буду. И тебе перед трудным днем не советую,— твердо сказал он, хотя и знал, что Левашов пьет не пьянея.

Левашов пожал плечами.

— Виноградная. Мурадов ее уважал. — Он щелкнул пальцем по бутылке и, отставив стакан, сказал: — Не могу пережить, что уже не с Мурадовым воевать буду. Не обижаешься?

— Чего ж обижаться? — как можно равнодушнее пожал плечами Ковтун, хотя оборот разговора был ему неприятен.

— Собачья служба комиссарская,— сказал Левашов. — Чтоб в госпиталь съездить, всего два часа и нужно. Да где там, разве можно!

— А ты попросись завтра, после боя.

— Уже попросился у Ефимова.

— Разрешил?

— Разрешил. Смерть не люблю, когда мне отказывают. Просто больной делаюсь.

В углу хаты кто-то всхрапнул.

— Кто это? — спросил Ковтун, заглядывая через стол.

В углу, на койке, с головой накрытый шинелью, спал какой-то человек. Левашов, прежде чем ответить, поднялся и подошел к спящему.

— Спит, как суслик,— сказал он, вернувшись. — Навязался на мою голову. Только Мурадова вывез, через пять минут этот явился. Корреспондент! Из Крыма прибыл. Говорит, что фашисты уже на Арабатскую Стрелку лазили. Правда, выбили их на первый случай... У меня жена в Керчи,— без паузы добавил Левашов.

— То-то Крым тебя и беспокоит.

— А что ж ты думаешь,— сказал Левашов. — В апреле женился, в июне на войну ушел — веселого мало. Я ж не на два месяца рассчитывал, когда женился. Как вспомню, так дрожу.

— Дрожишь, чтоб не увели? — тяжеловесно пошутил Ковтун.

— Оставь прибаутки для девок, если на старости лет жена надоела,— сердито сказал Левашов. — А я женился не на шутку и шутить про это не желаю.

— Прошу прощенья.

— Крым — и немцы... В голове не укладывается! — Левашов дотянулся до бутылки с водкой, налил себе немножко, на самое дно стакана, и поглядел в глаза Ковтуну.

— Будь здоров, командир полка! Как к политработе относишься?

— Положительно.

— Я серьезно спрашиваю. А то, может, как наш Бастрюков, считаешь, что политработа это дважды два — четыре? Если так смотришь на политработу, не споемся — предупреждаю.

— Война не спевка, прикажут — споемся,— сказал Ковтун.

— Эх, командир полка, командир полка,— сказал Левашов. — Есть у нас такие дубы, стоят и думают, что вся их служба — повторять сто раз на дню, что дважды два — четыре. Это, конечно, нетрудно, а вот научить человека, чтобы он, как и ты сам, если потребуется, пошел и сознательно умер за родину,— это трудно, это не для дубов задача, а для политработников. Если по совести, когда я в дивизионную разведку у Ефимова просился,— это у меня слабина была. Устал от политработы и попросился. А Ефимов, хитрый черт, сразу понял. И если хочешь знать, так из них двоих уж если кто политработник, так Ефимов, а не Бастрюков. По воздействию на самого себя сужу. Согласен или нет?

— Значит, по-твоему, Ефимова в комиссары, а Бастрюкова в комдивы — тогда лучше будет?

— Ну вот,— разочарованно протянул Левашов. Он огорчался, когда его не понимали. — Разве я об этом?

За окном затарахтела машина.

— «Газик» вернулся,— сказал Левашов. — Хотя по штату не положено, но Мурадов хозяйственный мужик был, чего не дадут, сам возьмет. Вот забрал на батарее у немцев радиоприемник,— показал Левашов на тот самый ящик в брезентовом мешке, на который показывал днем Лопатину,— забрал и трофейщикам не отдал, погнал в шею. Ответь мне, Ковтун, почему у нас так делается? Вот мы с тобой — командир и комиссар полка, а приемник этот нам слушать не положено. Нам его положено сдать. А Мурадов обиделся и не сдал.

— Раз положено — надо сдать,— сказал Ковтун.

— Ладно, сдадим, черт с ним. — Левашов махнул рукой. — Ну а все-таки, почему? Или кто-нибудь думает, что мы с тобой перед фашистами руки не поднимем, а перед их радио поднимем? Зачем такая обида?

— А если я тебя спрошу — зачем? — огрызнулся Ковтун, разозлившись оттого, что, несмотря на свою любовь к порядку, сам по совести не мог ответить на этот вопрос.

— Не знаю.

— Ну и я не знаю.

Левашов подошел к столу, завернул в газету остатки брынзы и сунул сверток в карман.

— У Слепова будем в батальоне — наголодаемся. Ему одно известно — война, а покормить ни себя, ни людей не умеет.

Ковтун тоже встал и подошел к койке, на которой спал корреспондент.

— Тише,— сказал Левашов. — Разбудишь — за нами увяжется.

Он нахлобучил на голову фуражку, поискал глазами шинель и только сейчас вспомнил, что сам же накрыл ею заснувшего корреспондента. Подойдя к койке, он постоял в нерешительности — ночь была холодная, ехать без шинели — мерзнуть до утра — и, махнув рукой, вышел вслед за Ковтуном.

13

Когда Лопатин проснулся, в хате никого не было; взглянув на часы, он понял, что проспал начало операции. Было без четверти десять. Стояла тишина, лишь иногда чуть слышно постреливали.

Вскочив и скинув с себя шинель Левашова, спросонок даже не поглядев на нее, он стал поспешно натягивать сапоги.

В хату зашел дежурный красноармеец с кринкой молока и полбуханкой пеклеванного хлеба.

— Спасибо,— сказал Лопатин. — Только сначала, где у вас тут можно умыться?

Красноармеец замялся.

— С водой плоховато, товарищ майор, Беляевка-то у немцев...

Лопатин не знал, что такое Беляевка, о которой говорил красноармеец, но вспомнил слышанные еще в Крыму разговоры о том, что в Одессе не хватает воды, и смутился.

— Ладно,— сказал он,— нет так нет.

Вынув из полевой сумки грязное полотенце, он вылил на него остатки тройного одеколона, вытер лицо и руки и, на ощупь причесав волосы, сел за стол.

— Беда с водой,— проговорил красноармеец, одобрительно наблюдая, как проголодавшийся Лопатин уминает хлеб. — А что делать, воды нету и нету. Вечером бочку на передовую везем, так за ней фрицы охотятся — из пушек бьют, как по танку. На пункте сбора раненых бочонок с молдаванским вином стоит, легкораненым по пол-литра на душу наливают вместо воды. Комиссар дивизии приезжал, ругался, говорит: непорядок, а наш комиссар говорит ему: разрешите доложить, человек не конь, ему это не противопоказано.

— А где комиссар? — спросил Лопатин, вставая. По-прежнему слышались только редкие далекие выстрелы, и он подумал — уж не отменено ли наступление?

— Еще ночью уехали,— сказал красноармеец. — Вместе с новым командиром полка, к Слепову в батальон.

— Штаб полка у вас, по-моему, хаты через три отсюда?

— Да, только навряд ли там кто есть, кроме оперативного. Все вперед ушли. Проводить вас?

— Да, пожалуйста,— сказал Лопатин и надел свою помятую шинель, лежавшую в изголовье. — А это чья? — спросил он, увидев вторую.

— Комиссара. Видно, вас накрыл, а потом будить не хотел.

На улице было пасмурно, накрапывал дождь. Оперативный дежурный подтвердил, что все еще ночью уехали в батальон к Слепову, там же рядом и наблюдательный пункт полка.

— А что, наступление отменилось? Почему тишина? — спросил Лопатин.

— Почему отменилось? — обиженно сказал дежурный. — Два орудия взяли, шесть минометов, пленных девяносто человек, немецкого лейтенанта-артиллериста в штаб дивизии отправили — все как по нотам.

— Отчего же так тихо? — спросил Лопатин.

— Сам удивляюсь,— ответил дежурный. — Обычно, если у них чего возьмешь, до самого вечера изо всех видов оружия стреляют, себя утешают, а сегодня тихо.

— А далеко до НП полка? И вообще, сколько отсюда до передовой? — спросил Лопатин. — Я вчера ездил с комиссаром, но в темноте не сориентировался.

— Напрямую — два километра,— сказал дежурный,— до НП — пять. Он на фланге,— и, вызвав связного, спросил у него, ходил ли тот во второй батальон.

— Ходил,— равнодушно ответил красноармеец.

— Не заблудитесь?

— Чего ж заблуждаться. Ходил.

Лопатин простился с дежурным, и красноармеец, вскинув на плечо винтовку, горбясь под моросившим мелким дождем, пошел рядом с Лопатиным по улице.

Проходя мимо хаты, где он ночевал, Лопатин вспомнил о шинели Левашова, которую тот оставил из-за него и теперь, наверное, мокнет в одной гимнастерке. Он зашел в хату, взял левашовскую шинель и пошел дальше. Невдалеке за хутором дорога начала подниматься в гору, с обеих сторон потянулась неубранная кукуруза. Несмотря на дождь, в воздухе стоял томительный смрад.

— Не хоронят, что ли? — спросил Лопатин у связного.

Связной только махнул рукой, словно одним этим жестом можно было ответить на любой вопрос. Они поднялись на горку, теперь с нее было видно все поле. Оно было черное, истоптанное так, словно по нему ходил скот, и по всему этому большому грязному полю, с торчавшими из грязи пожелтелыми стеблями кукурузы, далеко, сколько было видно глазу, лежали трупы.

Лопатин сделал несколько шагов в сторону от дороги.

— Стойте! Не уходите! — закричал связной.

— Почему? — спросил Лопатин.

— Это минное поле,— сказал связной. — Когда на румын наступали, они побежали со второй на третью линию и на своем же поле подорвались. Тут мы у дороги полосу прибрали, а дальше не разминировано; двое барахолили — взорвались.

Лопатин остановился и несколько секунд продолжал стоять неподвижно. Трупы лежали повсюду. Наверное, тут разом погиб целый батальон, несколько сот человек.

— Товарищ майор,— сказал связной, видя, что Лопатин попрежнему стоит в стороне от дороги. — Не ровен час... идите лучше обратно след в след, как туда зашли.

Лопатин послушался и, повернувшись, след в след ступая в черные, наполнявшиеся водой вмятины, вышел обратно на дорогу.

Они прошли еще сотню шагов, когда сзади заржала лошадь и послышалось шлепанье колес по грязи. С ними поравнялась бричка, запряженная малорослой лошадкой. На переднем сиденье, крепко схватившись за вожжи, ехала девушка в ловко затянутой шинели и ладных, по ноге, сапогах. Поравнявшись с Лопатиным и связным, девушка придержала лошадь.

— Подвезти, товарищ майор?

— Смотря куда едете,— сказал Лопатин.

Девушка ответила, что едет на медпункт второго батальона.

— А далеко оттуда до НП полка?

— Метров семьсот,— опередив девушку, поспешно ответил связной. Он надеялся, что майор решит подъехать на бричке, а его отпустит обратно.

— Хорошо, я подъеду,— сказал Лопатин. — А вы идите. Благодарю вас. — Он махнул рукой связному и, поставив ногу на поломанную железную подножку, стал влезать в бричку.

— Только осторожней,— сказала девушка,— не ушибитесь. Там пулеметы лежат.

Действительно, из наваленной на дно брички соломы торчали стволы двух ручных пулеметов. Лопатин подвинул пулеметы, сел, девушка хлестнула лошадь вожжами, и бричка покатила по дороге.

— Вы военфельдшер? — спросил Лопатин, заметив санитарную сумку, лежавшую на сиденье рядом с девушкой.

— Так точно,— не поворачиваясь, сказала девушка.

— А как вас зовут? — Лопатин не привык обращаться к женщинам по их военным званиям.

— Зовут Тая, Таисья.

— А почему вы пулеметы везете?

— В Одессу за медикаментами ездила, а комиссар полка приказал оттуда, из Январских мастерских, два пулемета прихватить — они на ремонте были.

Девушка по-прежнему не оборачивалась. Она была красива, знала это и, наверно, привыкла к тому, что с нею старались заговаривать. Лопатин замолчал.

— А вы из штаба дивизии? — спросила девушка, первая прерывая молчание и на этот раз обернувшись.

— Нет,— сказал Лопатин.

— Из армии?

— Нет.

— Откуда?

— Из Москвы.

— Из Москвы? — Девушка с любопытством посмотрела на него. — Давно?

— Больше месяца.

— Говорят, Москву сильно разбомбили?

— Врут.

— А вы были там во время бомбежки?

— Был.

— Жутко, наверное, да? — спросила девушка.

— Страшно там, где нас нет,— сказал Лопатин.

— А может, и верно,— сказала она. — Я сначала из медсанбата в батальон до того не хотела идти, плакала, а сейчас привыкла.

— А на фронт добровольно пошли?

— Нет, мобилизовали.

— А если б не мобилизовали, пошли бы?

— Не знаю.

Дорога повернула, и бричка стала приближаться к посадкам акации.

— А скажите... — начал Лопатин.

И тут же навсегда забыл, что хотел спросить у девушки. Над головой просвистел снаряд и разорвался далеко на поле позади брички. Девушка, соскочив на землю и накрутив на кулак вожжи у самой конской морды, удерживала испуганную лошадь. Лопатин еще сидел в бричке.

— Вылезайте, чего же вы! — крикнула ему девушка.

Он вылез, зацепился за сломанную подножку и упал в грязь. Шинель Левашова была у него в руках. Над головами снова просвистело; девушка, бросив вожжи, легла на землю. Лошадь метнулась и понеслась. Лицо Лопатина было рядом с сапогами девушки.

Третий снаряд разорвался на дороге, лошадь опрокинулась на спину и заметалась, дрыгая ногами.

— Ой! — вскрикнула девушка.

— Вы не ранены? — спросил Лопатин.

Девушка ничего не ответила, только мотнула головой и всхлипнула. Ей было страшно, и она жалела лошадь. Разорвался еще один снаряд, и Лопатин зажмурил глаза. Прошла минута, разрывов больше не было. Лопатин почувствовал толчок в плечо. Девушка, приподнявшись на локте, тихонько толкала его в плечо сапогом.

— А я думала — вы убиты, — сказала она, когда он поднял голову. — Извините.

Лопатин поднялся, и они, озираясь так, словно могли заранее увидеть летящий снаряд, подошли к опрокинутой бричке. Лошадь, у которой была оторвана нога и распорот живот, лежала на дороге, слабо и жалостно подрагивая ногами, культей оторванной — тоже.

Лопатин достал из кобуры наган, обошел лошадь и выстрелил ей в голову.

Девушка, вздрогнув от выстрела, поглядела на затихшую лошадь, вздохнула, подняла с дороги санитарную сумку, отерла ее полой шинели и стала озабоченно шарить внутри.

— Не побился,— обрадованно сказала она, вынимая из сумки пузырек и встряхивая его. — А я боялась — побился.

— А что это? — спросил Лопатин.

— Мыльный спирт. В Одессе, в аптеке достала. Для волос, а то никак не промоешь.

— Пошли,— сказал Лопатин.

— Давайте пулеметы возьмем,— сказала девушка.

Он забыл, а она помнила.

Вывалившиеся из брички пулеметы лежали тут же, среди разбросанного на дороге сена.

Девушка взвалила себе на плечо один. Лопатин взялся за другой, но ему мешала левашовская шинель.

— А вы наденьте на себя вторую шинель,— посоветовала девушка.

Лопатин натянул левашовскую шинель поверх своей, поднял и взвалил на плечо пулемет.

До посадок оставалось метров двести открытого места.

— По нашему батальону бьют,— сказала девушка, посмотрев в ту сторону.

У Лопатина знакомо засосало под ложечкой — дымы разрывов поднимались там, где через считанные минуты предстояло очутиться им обоим.

14

Перед тем как по всему фронту загремела немецкая артиллерия, Ковтун и Левашов сидели в посадках у наблюдательного пункта и, свесив ноги в окоп, завтракали чем бог послал: черствым хлебом, вареными яйцами и взятой с собой брынзой. Большего у командира второго батальона Слепова бог и не мог послать.

Командир и комиссар полка были довольны друг другом и первым, вместе проведенным боем. Бой сложился удачно, румынский «язык» был отрезан за час с небольшим и почти без потерь.

Левашов сам ходил в атаку и испытывал теперь счастливую усталость. Осмотрительный Ковтун сразу же после боя приказал артиллеристам подготовить данные для заградительного огня перед новой линией переднего края и послал начальника штаба к соседям, в морской полк, лично проверить стык с ними. Лишь после этого он сел завтракать; но зато теперь ел в свое удовольствие, с хрустом круша горбушку.

— Чудное дело — атака,— говорил Левашов, тыча яйцо в соль, горкой насыпанную на газету. — Всего ничего и пробежишь, а топаешь обратно — в ногах чугун, словно кругом света шел. У тебя так бывает?

— Я в атаки с гражданской не ходил,— честно признался Ковтун.

— Что-то сейчас Мурадов делает?.. — Левашов дожевал яйцо и стряхнул скорлупу с колен. — Жив или нет, как ты думаешь?

— Жив,— уверенно сказал Ковтун, не потому, что был уверен в этом, а потому, что сегодня вообще хорошо шли дела. — Не всем же умирать. Будут и такие, что войну и начали и кончат.

— В этом году навряд ли их разобьем,— сказал Левашов. — Даже если прямо с завтрашнего дня начать обратно на них наступать, как они на нас, и то клади три месяца до границы.

Ковтун, ничего не ответив, показал на лежавшую рядом с Левашовым флягу.

— Осталась вода?

— Есть немного.

Ковтун отвинтил пробку, сделал три мелких глотка и снова завинтил ее.

— Мурадов так говорил,— сказал Левашов, возвращаясь в мыслях к бывшему командиру полка. — Насчет воды у нас в Одессе — только станковые пулеметы досыта пьют!

— Забыл свою флягу,— виновато сказал Ковтун.

— Нашел о чем беспокоиться!

— А я не беспокоюсь,— сказал Ковтун. — Я беспокоюсь — почему тихо?

— Вот тебе и тихо,— оживленно и даже весело воскликнул Левашов, когда над их головами провизжал первый снаряд.

Но прошло еще несколько минут, и веселое настроение, с которым Левашов встретил свист первых снарядов, исчезло. К артиллерии прибавились минометы, огонь все разрастался, появились первые убитые и раненые.

— Погоди, не слышу! — кричал в трубку телефонист, беспомощно оглядываясь на Ковтуна.

Ковтун взял трубку сам, но снаряды продолжали рваться без перерыва. В короткую паузу он услышал голос Ефимова, спрашивавшего, надежно ли закрепились на отбитых у румын позициях и как дела в правофланговом батальоне, по которому артиллерия молотит с особенной силой.

— Вижу это отсюда! — кричал в трубку Ефимов. Очевидно, он был уже не в штабе дивизии, а у соседей.

— Сейчас сам пойду туда! — крикнул Ковтун, но ответа не услышал, связь прервалась.

— Подожди! — перекрикивая разрывы, тряхнул его за плечо Левашов. — Ничего там не сделается, в третьем батальоне! Там Мальцев, мужик надежный.

— Надежный или ненадежный, а раз сказал комдиву, что иду, надо идти,— сказал Ковтун и, нахлобучив фуражку, пошел по окопу.

Ковтун ушел. Прошло пятнадцать, двадцать, тридцать минут, а огонь все продолжался. За желтыми пригорками переднего края с полной нагрузкой работало несколько десятков орудий и минометов.

«Откуда-то поднатащили»,— подумал Левашов и, по вновь заработавшему телефону соединившись со Слеповым, спросил, готов ли тот к контратаке румын.

— Мы всегда готовы,— густым, спокойным басом сказал Слепов. — Комдив по телефону командира полка ищет. Он не у вас?

— Пошел в третий батальон,— сказал Левашов.

— У меня все,— сказал Слепов. — Да, товарищ комиссар!

— Что? — спросил Левашов, собиравшийся положить трубку.

— Корреспондент к вам пошел от меня со связным. Не дошел еще?

— На кой он мне черт здесь? Не мог задержать у себя, пока обстрел?

— Он сослался, что вы приказали, чтоб он к вам шел.

— Ерунда,— сказал Левашов.

— А я поверил,— сказал Слепов. — У меня все.

— Ну, все так все,— сердито сказал Левашов и положил трубку. — Нате, здрасьте,— повернулся он к Лопатину, мешком свалившемуся в окоп. — Вас тут не хватало!

У измазанного в грязи и одетого в две шинели Лопатина был довольно нелепый вид.

— Не знаю, как и величать вас,— рассмеялся Левашов, глядя на два шинельных воротника с разными петлицами. И, только сказав это, понял, что надетая сверху шинель была его собственная.

— Вот принес вам,— сказал Лопатин, стаскивая ее.

— Только за этим и лезли? — Левашов принял из рук Лопатина шинель и положил ее рядом с собой в окопе. — Садитесь пониже, а то пилотку продырявит! Садись, садись,— вновь, как вчера, переходя на «ты», нажал он на плечо Лопатина. — Пришел посмотреть, чем дышим? До самых главных людей сейчас все равно не доберешься. — Он кивнул на стоявшую впереди стену дыма. — Главные — на переднем крае лежат. А все остальное, до Владивостока,— подсобное хозяйство. И мы с тобой — тоже.

Он испытывал симпатию к добравшемуся-таки до него Лопатину.

— Румын двух для тебя имею,— сказал он гостеприимно. — Хочешь поговорить?

— А что за румыны?

— Подносчики снарядов с немецкой батареи, что мы утром захватили. Сами руки подняли и разрешения попросили из своих же пушек по другой немецкой батарее вдарить. Сказали, что расположение знают, были на ней.

— Ну и как?

— Весь боекомплект выстрелили! Остальных пленных в дивизию отправил, а этих задержал. Хочу ночью с ними поговорить. Обижает меня, что мало к нам с оружием в руках переходят. Где же, думаю, пролетарская солидарность, в которую столько лет верили и которая у меня лично из веры и сейчас еще вся не вышла? Или мы в розовом свете на жизнь смотрели, или положение наше настолько тяжелое, что у людей кишка тонка на нашу сторону перейти, или уж не знаю что! Думаю про это, из головы не выходит. А у тебя?

— У меня? — Лопатину стало стыдно, что он даже наедине с собой все оттирал в сторону этот тяжкий вопрос, о котором батальонный комиссар Левашов не побоялся заговорить вслух.

— Обрадовался я этим двум румынам,— продолжал Левашов, не дождавшись ответа,— ей-богу, больше, чем пушкам! Пушки что? Железо и железо. Одними брошюрками в нашем деле не проживешь! Надо и на поле боя к политбеседам готовиться: видел факт — и делай из него вывод! Так, по-твоему, или не так?

— По-моему, так,— сказал Лопатин.

— Так-то оно так. — И Левашов прищелкнул языком, адресуясь к кому-то, для кого все это было вовсе не так. — Может, подхарчиться хочешь? Тут яйца остались.

— Если только за компанию.

— Мне до ночи недосуг,— сказал Левашов. — Боюсь, скоро контратака будет.

Он посмотрел вправо, где особенно сильно молотила артиллерия, и поморщился.

— Командир полка туда пошел. Беспокоюсь за него.

— Новый? — спросил Лопатин.

— Новый. Пока ты спал, прибыл. — Левашов схватился за трубку, которую ему протянул телефонист.

— Обратно пошел? — закричал он в трубку. — А зачем отпустил? От тебя же идти — плешь! Я отсюда вижу, как они по ней молотят. — И, не отрываясь от трубки, опять посмотрел вправо. — А ты бы сказал: переждите! Так будете действовать — опять без командира полка останетесь! — Левашов с досадой хлопнул себя по ляжке.

Стоя рядом с ним в окопе, Лопатин смотрел на небо. Оно было туманное, шел дождь, облака нависали над самой землей. Из них, как большие рыбы, выныривали одиночные «юнкерсы». Очевидно, боясь на такой малой высоте взрывов собственных бомб, летчики, высмотрев цель, снова уходили в облака и оттуда, с уже невидимых самолетов, на землю сыпались бомбы.

— Бывал раньше под бомбежками? — спросил Левашов, посмотрев сначала па небо, потом на Лопатина.

— Бывал. — Лопатин вспомнил Западный фронт — наверное, он бывал под бомбежками чаще Левашова.

— Не боишься?

— Боюсь. А у вас большие потери в полку?

— Не все еще донесли. В третьем батальоне прямое попадание в окоп. Одиннадцать человек как корова языком слизала! — с горечью сказал Левашов и повторил, что его беспокоит командир полка.

— А я здесь, — сказал Ковтун, влезая в окоп.

Шинель его была в земле, на лице — брызги грязи.

— Прибыл... — Левашов выругался, вытащил из кармана грязный платок и вытер Ковтуну щеку. — Я уж тут костил их, что не задержали тебя. Прижало по дороге?

Ковтун кивнул, через силу улыбнулся и посмотрел на незнакомого длинноносого человека в очках и с майорскими шпалами на полевых петлицах.

Левашов сказал, что это корреспондент «Красной звезды» Лопатин.

— Здравствуйте, товарищ Лопатин,— самым обыденным тоном сказал Ковтун. — Извините, как ваше имя и отчество?

— Василий Николаевич.

— Попробуйте вызвать командира дивизии, он у соседей,— повернулся Ковтун к телефонисту и снова вежливо обратился к Лопатину: — Как вам тут у нас нравится, Василий Николаевич?

Лопатину показалось, что командир полка шутит, но Ковтун и не думал шутить. Он никогда не имел дела с корреспондентами и задал свой странно прозвучавший в этой обстановке вопрос, просто чтоб что-нибудь сказать. Голова его была занята другим. Он знал, что контратака румын неотвратимо приближается.

— Товарищ капитан, соединяю! — крикнул телефонист, и Ковтун схватился за трубку.

— Докладывает Ковтун. Перед моим фронтом румыны накапливаются на исходных рубежах для атаки.

— Ну и пусть накапливаются,— сказал Ефимов. — У нас тут тоже накапливаются, ждем. Заградительный огонь подготовили?

— Так точно.

— И ждите. Сейчас еще раз-другой зайдут на бомбежку и начнут. Взяли в плен офицера. Показывает, что мы им утром все карты спутали. Хотели атаковать нас в девять, а пришлось перенести на тринадцать. Если снова не перенесли, через десять минут пойдут. Судя по всему, будут прорывать не там, где вы, а тут, где я. Так что не первничайте.

— А мы не нервничаем,— ответил Ковтун.

— Положим, не врите, по голосу слышу,— отозвался Ефимов. — Разберусь тут, приду к вам. Желаю успеха. У меня все.

Ковтун положил трубку и потер ладонями лицо.

— Спать хочется,— сказал он. — Комдив говорит...

— Все слышал,— сказал Левашов, во время разговора стоявший рядом, приблизив ухо к трубке.

— Что ж, будем ждать. — Ковтун еще раз потер руками лицо и, зевнув, обратился к Лопатину: — Долго ли у нас в полку пробудете? — Лицо Ковтуна опять стало вежливо-скучающим. От нервного напряжения его все сильнее одолевала зевота.

— Побуду. Мне ваш командир дивизии назначил здесь свидание. Он придет?

— Сказал, что придет. — Ковтун повернулся к Левашову: — Я вчера надеялся, что он весь первый день у нас просидит.

— А что нам, няньки нужны? Вот уж не ожидал от тебя,— разочарованно сказал Левашов.

— А чего ты ожидал от меня? Что я тебе врать буду?

Из тумана вынырнул «юнкерс», строча из пулеметов, низко прошел над землей и, круто взяв вверх, исчез в тумане.

— К нам подбирается,— сказал Левашов. — Сейчас вывалит мешок дерьма!

Бомбы были мелкие, но одна из них разорвалась близко, и удар воздуха опрокинул Лопатина на дно окопа. Он приподнялся, сел и, приложив руку к вдруг заболевшему лицу, наткнулся

пальцами сначала на кусок стекла от очков, а потом на что-то мягкое и мокрое.

— По-моему, я ранен,— сказал он, боясь отнять руку от лица, чтобы не причинить себе новую боль, и одним правым глазом совсем близко видя побледневшее квадратное лицо Ковтуна.

Ковтун был человек дела.

— Отнимите руку! — спокойно сказал он и, сжав Лопатину запястье, с силой оторвал его руку от лица. — Сидите смирно!

И Лопатин, скосив правый глаз, увидел, как большие пальцы Ковтуна тянутся к его лицу. Ковтун снял с него окровавленные сломанные очки и, держа их в левой руке, еще раз потянулся пальцами к лицу Лопатина и выдернул воткнувшийся в веко осколок стекла.

— Вот тебе и посидел в полку,— горестно из-за спины Ковтуна сказал Левашов.

Теперь, когда Ковтун отпустил руку Лопатина, Лопатин снова зажал ею щеку и глаз. Он сам не знал, для чего это делает, но ему хотелось прикрыть раненое место.

— Ранение касательное, царапина. А глаз цел, от удара болит,— сказал Ковтун. — Фельдшера бы, а?

— Я уже послал,— сказал Левашов.

В окоп торопливо влезла та самая Таисья, с которой Лопатин ехал на бричке. Она велела Лопатину присесть поудобней, и он, скрипнув зубами от боли, почувствовал прикосновение марли и услышал шипение перекиси водорода.

— Ничего, ничего, товарищ майор! Сейчас, сейчас! Минутку, минуточку,— говорила девушка, повторяя каждое слово по два раза и ловко и быстро накладывая временную повязку.

После бомбежки над фронтом повисла тягостная тишина.

— Идут! — взвинченным, не своим голосом крикнул Ковтун и скомандовал в трубку: — Давай огонь!

Над головами с железным шуршанием прошли наши снаряды, и впереди, закрыв дымом наступавшие румынские цепи, легла первая полоса разрывов.

Лопатин поднялся в окопе, силясь, насколько это удастся без очков, хоть что-то увидеть там, впереди.

— Белкина! — тоже, как и Ковтун, не своим, изменившимся голосом сказал Левашов. — Проводите майора посадками до моего танка. Пусть до медсанбата довезут, и танк сразу же — обратно!

— Я останусь здесь. — Лопатину не хотелось никуда двигаться из этого окопа.

— А идите вы знаете куда... — беззлобно, но строго сказал Левашов. — Не до вас. Не видите, что ли, — атака! Белкина, выполняйте приказание! Посадите раненого и возвращайтесь. — Он отвернулся, приложил к глазам бинокль и забыл о существовании Лопатина.

15

Пока Лопатин ехал на левашовском «танке» в медсанбат, румынские атаки шли одна за другой. Сначала Левашов, а потом Ковтун дважды поднимали в контратаку несколько десятков человек — свой полковой резерв. Во время второй контратаки Ковтуна ранило навылет в плечо, и он, из последних сил, на своих ногах, доплелся обратно до наблюдательного пункта, потный и бледный.

Левашов встретил его так, словно был лично виноват в случившемся.

— Давайте сюда Таисью! — кричал Левашов, усаживая Ковтуна. — Ах, Ковтун, Ковтун, что ж это ты, а?

Ковтун, у которого во время боя слетела фуражка, рукой откидывал со лба намокшую челку и, хватая губами воздух, часто и надрывно дышал. Что ему было ответить? Бой затихал, атаки были отбиты, дело, на которое его послали, сделано. Ему несколько раз за день казалось, что его убьют, и он вспоминал о своей уехавшей в эвакуацию на Кавказ семье, большой и, судя по письмам, плохо устроенной. Вспомнил и сейчас, с облегчением подумав, что всего-навсего ранен.

Он сидел в окопе голый до пояса, и сейчас было видно, что ему уже немало лет — на голове ни одного седого волоса, а грудь вся седая.

Таисья туго бинтовала его — кругом тела, под мышкой, через плечо и снова кругом тела, но, сколько бы она ни наматывала бинтов, кровь каждый раз густо проступала сквозь них, и казалось, намотай она целые белые горы, кровь все равно проступит наружу.

Ковтуну показалось, что его не бинтуют, а заворачивают во что-то большое, белое, из-под чего он вот-вот перестанет быть виден. Он закрыл глаза и, поняв, что теряет сознание, собрался с силами и усмехнулся:

— Хватит бинты изводить.

Он прямо взглянул в красивое, потное от усталости лицо девушки. «Красивая какая», — и бессмысленно пожалел, что не останется здесь, что его отправят в госпиталь, а там, может, и

совсем увезут из Одессы, и он уже никогда не увидит этой красивой девушки, которая сейчас бинтует его.

— Откомандовался,— сказал он и снова закрыл глаза.

Левашов, наблюдавший за перевязкой, выругался:

— Второго командира полка мне за сутки меняют, паразиты!

— Бой выиграли — и то хлеб,— сказал Ковтун, открыл глаза и первым увидел шедшего по окопу Ефимова.

Ефимов был такой же, как всегда. Мешковатая гимнастерка горбилась на спине, рука висела на черной косынке, а кавалерийский хлыстик пощелкивал по сапогам. Подойдя, он осторожно пожал Ковтуну левую руку и взялся за трубку телефона.

— Давайте двойку через двадцать третий!

Двадцать третий был штаб дивизии, двойка — штаб армии.

— Товарищ член Военного совета,— с полминуты нетерпеливо продержав трубку около уха, сказал он. — Говорит Ефимов. — Он был взволнован и пренебрег условными позывными. — Отбились. Потери большие. — Он повернулся в сторону Ковтуна. — Два командира полка — девяносто четвертого и девяносто пятого,— один контужен, другой ранен, но отбились! Уложили противника — счету нет, сами такого еще не видели. Благодарю! Понятно. Благодарю! К восемнадцати не успею, а в девятнадцать буду. Собирайте. Хорошо. У меня тоже все... Ах, тришкин кафтан, тришкин кафтан,— вздохнул он, имея в виду не только вышедшего из строя Ковтуна, но и свой разговор с членом Военного совета. Ставка утвердила его командующим, и надо было решать, кому сдавать дивизию. Он вздохнул еще раз и сказал телефонисту, чтобы тот соединил его с командиром второго батальона Слеповым. — А ты, Левашов,— обратился Ефимов к Левашову, пока телефонист вызывал Слепова,— пошли кого-нибудь, чтобы мою полуторку подогнали.

— Как бы не обстреляли,— сказал Левашов.

— Сейчас не обстреляют,— уверенно сказал Ефимов и снова нагнулся к Ковтуну: — Больно?

— Не знаю, товарищ генерал, еще не расчухался.

— Чем санитарки ждать, в кабину моей полуторки сядешь — и прямо до первой градской больницы. Была градская, а стала наша. Полдивизии в ней перележало. Ну, что там у вас? — заторопил он телефониста. — Где Слепов?

— Докладывают — в роту пошел. Сейчас соединят.

— Думаю вместо вас пока Слепова на полк поставить,— сказал Ефимов, обращаясь к Ковтуну. — Какого вы о нем мнения?

— Не успел составить, товарищ генерал,— ответил Ковтун.

— Это, впрочем, верно,— сказал Ефимов. — Вернетесь из госпиталя — составите!

— Утешаете, товарищ генерал.

— А раненых положено утешать.

— Обидно, что обратно в дивизию навряд ли попаду,— с горечью сказал Ковтун.

— Почему? Рапорт по команде: хочу продолжать несение службы в своей части!

— Ответят, что не кадровый. Послужил в одной — послужишь в другой. Да и какие уж тут претензии, когда война.

— А по мне, такие претензии на войне должны больше уважаться, чем в мирное время. И кто имел возможность уважить такой рапорт, а не уважил — дурак! — сердито сказал Ефимов.

Он принял из рук телефониста трубку и, спросив Слепова, через сколько времени тот может прибыть сюда, приказал явиться, сдав батальон заместителю.

Подминая под себя кусты, ефимовская полуторка подъехала к самому окопу. Левашов вместе с Ефимовым помог Ковтуну вылезти из окопа. Хотя в посадках было почти сухо, Ковтуну от потери крови казалось, что он при каждом шаге вытягивает ноги из-под земли.

Доведя Ковтуна до машины, Левашов забежал с другой стороны и, перегнувшись через руль, помог ему усесться в кабине.

Лицо Ковтуна побелело от усилия, с которым он все-таки дошел до машины своими ногами.

— Спасибо за службу, капитан Ковтун! — глядя в бледное лицо Ковтуна, сказал Ефимов. — А вы, Тимченко, отвезете капитана в госпиталь и возвращайтесь за мной в штаб полка. Да поосторожней его везите,— вдруг прикрикнул он. — Знаете, что значит ездить осторожно?

— Так точно! — бодро ответил шофер, хотя за три месяца езды с Ефимовым запамятовал, что значит ездить осторожно.

— Сказка про белого бычка, товарищ генерал,— опечаленно сказал Левашов, когда машина отъехала. — Не везет девяносто пятому.

— Как ваше мнение о Слепове? — вместо ответа спросил Ефимов.

— Как прикажете,— сказал Левашов.

— А ты не фордыбачься,— сказал Ефимов. — Твой характер мне известен. А что заранее с тобой не посоветовался — прощения просить не буду, тем более что ты все равно бы назвал Слепова. Так или нет?

— Так. — Левашов улыбнулся.

— Чего улыбаешься?

— Конечно, есть еще одна кандидатура,— продолжая улыбаться, сказал Левашов.

— Старая песня. Только не пойму, на что напрашиваешься: на похвалу или на выговор?

— На выговор, товарищ генерал. Хотя бывали, конечно, в жизни случаи...

В словах Левашова содержался намек на прошлое самого Ефимова, который перешел с политической работы на строевую только в середине гражданской войны.

— Мало ли что тогда бывало.

— Знаю, полком командовать не дадите, а с батальоном справился бы,— сказал Левашов.

— А мне не надо, чтобы вы справлялись с батальоном. — Ефимов вернулся к обращению на «вы». — Хотел бы верить, что придет время, и вы справитесь с дивизией в качестве ее комиссара. Но для этого вам надо поменьше пить и матерщинничать, пореже показывать, заметьте, не проявлять, а показывать свою храбрость, а главное, научиться считать про себя до трех, прежде чем сказать или скомандовать.

— Почему до трех? — не сразу понял Левашов.

— А чтобы за это время успеть подумать, соблюдая нормальный процесс: сперва подумал — потом сказал, а не наоборот. Вот Слепов,— издали кивнув на появившегося в конце окопа саженного капитана в каске и накинутой на плечи плащ-палатке,— тот, наоборот, иногда слишком долго думает. Советую взаимно поделиться опытом. Здравствуйте, Слепов!

Слепов приложил руку к большой лобастой голове и посмотрел на Ефимова внимательным медленным взглядом. Попав в девятнадцатом году воспитанником музыкантской команды в этот самый полк, Слепов служил в нем уже двадцать два года и понемногу, каждый раз с великим трудом, но зато прочно поднимался со ступеньки на ступеньку. Не первый день зная Слепова, Ефимов верил, что этот неповоротливый человек исправно потянет полк в одной упряжке с умным, но зарывающимся Левашовым.

— Принимайте полк, Слепов,— сказал Ефимов и снизу вверх — на Слепова все без исключения смотрели снизу вверх — поглядел в неподвижное, топором вырубленное лицо капитана.

— Слушаюсь,— сказал Слепов, и, хотя это было самое значительное мгновение во всей его армейской жизни, его лицо не выразило никаких чувств.

Ефимов пробыл на передовой еще около часа. Весь день, пока шел бой, он чувствовал себя по-прежнему командиром дивизии, но теперь, узнав, что его назначение на армию состоялось, с каждой минутой все больше отвлекался мыслями в будущее.

Уже на обратном пути один из тех снарядов, что немцы наугад бросали перед ужином, чуть не накрыл Ефимова и всех, кто с ним был. Ефимов едва успел соскочить с «танка». Поднявшись, он увидел Левашова, который держался правой рукой за левую.

— Зацепило?

Левашов, закатав рукав гимнастерки, пощупал застрявшие под кожей мелкие осколки.

— Ничего,— сказал он,— как слону дробина — фельдшер вынет.

— Вот что,— сказал Ефимов,— мне надоело с вами возиться. Я вам уже в прошлый раз приказывал пойти после ранения в медсанбат, тогда открутились, но на этот раз — пойдете! Подумаешь мне, незаменимый!

— Так что это за ранение? Курам на смех, бекасинник! — снова ощупывая руку, сказал Левашов. — Вы же в госпиталь с вашей рукой не легли? А если по делу — вас самих давно бы надо отправить!

— Держи карман шире,— сказал Ефимов.

Они снова сели на «танк» и поехали.

— Вот что,— сказал Ефимов — они приближались к штабу полка. — Я прямо от вас поеду в Одессу и захвачу вас с собой! Заедете в госпиталь, навестите Мурадова и Ковтуна, а кстати вынете осколки. Дело к ночи, в полку без вас ничего не случится. Так или нет, Слепов?

— Так точно,— сказал Слепов.

Левашов молчал. По правде сказать, он обрадовался.

Приехав в штаб полка и зайдя в хату Левашова, Ефимов посмотрел на часы. Чтобы поспеть в Одессу к девятнадцати, надо было выезжать через пятнадцать минут. Он сел за стол, потянулся и попросил стакан чаю.

За окном остановилась машина, и в хату, широко распахнув дверь, вошел Бастрюков в шинели, перепоясанной новыми ремнями, и в каске.

— С победой, Иван Петрович! — сказал он и стал снимать каску. Но затянутый под подбородком ремешок не расстегивался,

каска не снималась, и Бастрюкову пришлось неловко и долго стягивать ее, постепенно сдвигая с затылка на лоб.

— Здравствуй, здравствуй! — наблюдая это занятие и прихлебывая чай, ответил Ефимов. — Как там у вас в дивизии? — Он имел в виду штаб дивизии. — Надеюсь, все в порядке, потерь нет?

— Все в порядке,— сказал Бастрюков, наконец сняв злополучную каску. — С шефами целый день провозился. Приехали с утра и все на передовую рвались. Пришлось, понимаешь, чуть ли не силой удерживать.

— Удержал?

— Привез сюда. Сейчас грузовик подъедет— немного поотстал от меня. Говорят: не вернемся в Одессу, пока на передовой не побываем! Решил их хотя бы сюда, к штабу полка, подвезти под вечер. Вызовем для них с передовой народ, пусть побеседуют!

Оправившись от неудачи с каской, Бастрюков удобно раскинулся на стуле, бросив перед собой на стол до отказа набитую полевую сумку.

В хату вошел отлучавшийся Левашов. Ефимов заметил, что он уже перевязался на скорую руку: из-под обшлага гимнастерки виднелся бинт.

— Слушай, Левашов,— полуоборачиваясь, но не здороваясь, деловым тоном сказал Бастрюков. — Сейчас шефы подъедут. Я нарочно от них оторвался, чтобы предупредить тебя. Давай вызови сюда для встречи лучших людей с передовой. Ну, скажем... — Он потянул ремень на полевой сумке и с натугой стал вытаскивать оттуда толстую клеенчатую тетрадь.

— А вы не трудитесь, товарищ полковой комиссар,— сказал Левашов. — Я лучших людей и так знаю. Сейчас вызову.

— Ну, скажем,— наконец вытащив тетрадь и не обращая внимания на слова Левашова, сказал Бастрюков. — Ну, скажем,— повторил он, надевая очки,— из второго батальона Коробков.

— Убит Коробков,— сказал молчавший до этого Слепов. — Утром сегодня.

— Убит? — Бастрюков поверх очков посмотрел на Слепова так строго, словно тот был виноват, что Коробков убит и предполагаемый вызов не может состояться. — Или Горошкин.

— Горошкин жив, можно,— сказал Слепов.

— Давай,— повернулся Бастрюков к Левашову,— сейчас список с тобой набросаем.

— А зачем список, товарищ полковой комиссар? — возразил Левашов. — Просто обзвоню батальоны и вызову.

— Все у тебя всегда просто, Левашов,— сказал Бастрюков. — Слишком все у тебя всегда просто, а кандидатуры надо обдумывать! Одесский пролетариат приезжает, нужно, чтобы действительно лучшие люди полка с ними встретились.

— А у нас в полку плохих нет,— упрямо сказал Левашов.— Даже я для людей вроде ничего, только для вас плох.

Это была уже прямая дерзость. Бастрюков поднялся и не своим голосом крикнул:

— Смирно!

Левашов с искаженным лицом встал в положение «смирно».

— Вот что,— тоже вставая, сказал Ефимов. — Левашов, выйдите. И вы, Слепов, тоже. Мы с полковым комиссаром вызовем вас.

Левашов и Слепов вышли.

— Это ты его распустил, Иван Петрович, своего любимца!

— Он не мой любимец, а полка любимец. Вот в чем суть дела. А тебе даже не интересно знать, почему так? — спокойно возразил Ефимов.

— Все равно, моя бы личная воля, я бы его давно с комиссаров снял,— раздраженно сказал Бастрюков. — Он не комиссар, а хулиган.

— Подожди, Степан Авдеич,— по-прежнему спокойно, но твердо сказал Ефимов, кладя руку на плечо Бастрюкову. — Я его, конечно, не оправдываю. Разговаривать, как он сейчас с тобой, не положено. Но человек весь день в бою был, двух командиров полка потерял, сам ранен...

— Если ранен, пусть в медсанбат идет,— сказал Бастрюков.

Он был миролюбив с начальством, но терпеть не мог, когда ему наступали на ноги подчиненные.

— Вот именно,— все так же тихо и твердо сказал Ефимов. — И даже не в медсанбат, а в госпиталь. Я в Одессу еду и, с твоего разрешения, заберу его с собой до ночи, на перевязку.

— А кто же шефов с людьми знакомить будет? Я, что ли? — огрызнулся Бастрюков. При всем своем гневе на Левашова, он не хотел, чтобы тот уехал, оставив его одного с шефами.

— Отпусти его,— повторил Ефимов. — Он поедет, а ты пока тут покомиссарь за него. С шефами посиди, заночуй в полку. Ты тут не так часто бываешь. — В голосе Ефимова послышалась железная нота.

— Ну что же это такое? — вдруг осевшим голосом сказал Бастрюков. — Привез в полк шефов, комиссара полка нет. Сорвем встречу.

Он говорил правду, и Ефимов понимал это. Если Левашов уедет, то действительно под руководством одного Бастрюкова человеческой встречи с шефами не получится.

— Хорошо,— сказал Ефимов, подумав. — Пусть остается. Но только ты, пожалуйста, как только шефов проводите, сразу отпусти его в госпиталь. Ладно?

— А на что он мне потом нужен будет? — с полной искренностью сказал Бастрюков. — Конечно, отпущу. А ты что, уже уезжаешь? — спросил он, увидев, что Ефимов надевает фуражку. — Не встретишься с шефами?

— К сожалению, не могу,— сказал Ефимов. — На девятнадцать вызван в штаб армии,— и быстро вышел из хаты.

Бастрюков, выходя вслед за ним, с трудом удержался от готового сорваться с языка вопроса — среди дня он услышал по телефону от одного политотдельского работника, что Ефимова прочат в командующие.

Рядом с «эмкой» Бастрюкова и полуторкой Ефимова стоял грузовик, на котором только что приехали шефы. Шефы — рабочие Январских мастерских, семеро мужчин и одна женщина,— толпились у грузовика, как со старым знакомым, разговаривая с Левашовым,— некоторые из них уже бывали в полку раньше.

— Здравствуйте, дорогие товарищи шефы,— сказал Ефимов и стал по очереди здороваться. — Очень хотел бы сам принять вас в полку, но не сумею. Но товарищи вас примут от всей души. — Он кивнул в сторону Левашова. — А пока честь имею кланяться,— приложил он руку к козырьку. — Назначен командующим Приморской группой войск и должен немедля отбыть в Одессу.

Он пожал руку Левашову, Слепову и Бастрюкову, для которого, собственно, и не отказал себе в удовольствии сказать эту последнюю фразу, шагнул к полуторке и, сидя в кабине, еще раз приложил руку к козырьку.

Когда он въезжал в Одессу, уже темнело. Его машина шла по Дерибасовской, а навстречу ей, один за другим выскакивая из-за поворота, мчались в сторону фронта грузовики, битком набитые стоявшими во весь рост моряками. Моряки, прибывшие в Одессу вчера на том же угольщике, что и Лопатин, были уже переобмундированы в защитное, но переброшенные через плечо черные скатки морских шинелей и видневшиеся под гимнастерками тельняшки упрямо напоминали о том, что это моряки.

На тротуарах толпился народ. Люди махали руками и кричали, радуясь, что в Одессу, после долгого перерыва, прибыли новые морские части и, значит, ее, вопреки пронесшимся слухам,

не собираются сдавать. Глаза Ефимова бежали по лицам стоявших на тротуарах людей, он думал о том, что где-то среди них, уже дважды запеленгованный, но все еще не выловленный, стоит человек, который сегодня же ночью отстучит на ключе своего радиопередатчика в штаб румынской армии, что в Одессу прибыло пополнение — матросы. В данном случае это и требовалось, об этом говорили вчера на совещании в Военном совете. Именно ради этого моряков днем, на виду, переобмундировывали, именно поэтому они так шумно и открыто мчались сейчас через весь город на грузовиках. А все это, вместе взятое, было лишь одной из многих мер, предпринятых, чтобы запутать румын и немцев и, в случае эвакуации, обеспечить ее неожиданность.

Но триста ехавших к фронту моряков не знали этого. Пролетая мимо собравшихся на улицах людей, они махали руками и кричали, а на заднем борту последнего грузовика, придерживаемый за плечи товарищами, свесив ноги, сидел моряк в бескозырке, надетой вместо пилотки, и, вовсю растягивая баян, играл «яблочко». Они мчались воевать и умирать на фронт, под Дальник, мимо Ефимова, ехавшего им навстречу в штаб армии принимать ответственность за будущее, а значит, рано или поздно — за эвакуацию Одессы.

Об этом не хотелось думать, но не думать было нельзя.

17

После отъезда Ефимова Бастрюков помрачнел. Случилось как раз то, чего Бастрюков боялся, — Ефимов был назначен командующим. Несмотря на соблюдение всех внешних норм, положенных в общении между командиром и комиссаром, Бастрюков не заблуждался насчет истинного отношения к себе Ефимова. Правда, в таких делах, как оценка комиссара дивизии, последнее слово было за членом Военного совета, но что теперь стоило Ефимову запросто, с глазу на глаз, сказать члену Военного совета:

— А знаешь, Николай Никандрович, ведь Бастрюков-то не соответствует.

Только на редкость выгодное для Бастрюкова стечение обстоятельств до сих пор заставляло Ефимова скрепя сердце держать при себе свое мнение о Бастрюкове. Ефимов пришел на дивизию перед самой войной с понижением в должности и с репутацией неуживчивого человека. На прежнем месте он не сработался с заместителем, а при разборе дела вспылил и на-

грубил начальству. Даже сам Ефимов задним числом не считал себя до конца правым в этой истории. И вот в новой дивизии судьба, как назло, свела его с Бастрюковым.

Поначалу, в мирное время, ему показалось, что Бастрюков — человек как человек; чересчур любит с важным видом внедрять в подчиненных прописные истины, но это случается и с хорошими людьми...

Что Бастрюков бумажная и вдобавок трусливая душа, Ефимов понял, как только началась война. Но он оценил в Бастрюкове и другое — гладчайший послужной список и готовность в случае необходимости защищаться любыми средствами. Равнодушный к делу и людям, Бастрюков был неравнодушен к себе: принужденный к самозащите, он мог оказаться вулканом энергии. А тут еще предыстория самого Ефимова, которая сразу пошла бы в ход, поставь он вопрос о несоответствии своего комиссара занимаемой должности!

Ефимов понаблюдал Бастрюкова, подумал и на время смирился. И в стрелковых полках и в артиллерийском были на подбор хорошие комиссары; инструкторов политотдела Бастрюков, возмещая на их шкуре собственную неподвижность, беспощадно гонял на передовую; Ефимов нашел там с ними со всеми общий язык и свыкся с мыслью, что у него в дивизии не как у людей; вместо комиссара — скоросшиватель. В общем, он ужился с Бастрюковым, а верней, обходился без него. В этом и состоял секрет их внешне терпимых отношений. Ефимов злился на себя за то, что все это не слишком принципиально, но освободить дивизию от Бастрюкова пока не чувствовал себя в силах, а начинать с ним войну, без твердых надежд на разлуку, не желал.

За все время у них произошел только один по-настоящему крупный разговор из-за Левашова: Левашов во время кровавых сентябрьских боев, когда появились случаи недовода пленных до сборных пунктов, созвал в полку делегатское собрание от всех рот и на нем устроил допрос нескольким пленным румынским солдатам. Пленные — по большей части крестьяне и батраки — рассказывали мрачные вещи о румынской деревне, об армии и о том, что они терпят от своих офицеров. Собрание произвело впечатление на делегатов, и случаи недовода пленных солдат в полку Левашова сразу прекратились.

Бастрюков разозлился — и потому, что ему не понравилась вся эта затея вообще, и потому, что делегатское собрание было проведено без спросу; он обвинил Левашова во всех смертных грехах, включая разложение бойцов, и потребовал, как самое меньшее, снять его с полка. Ефимов в ответ вспылил и сказал,

что, по его мнению, таких, как Левашов, надо не снимать, а повышать, потому что живая душа дороже бумажной, а на войне — вдвойне!

Бастрюков, побледнев, сказал, что Ефимову не мешало бы научиться по-партийному разговаривать хотя бы со своим комиссаром.

— А вы меня партийности не учите,— побагровев, сказал Ефимов. — Я, кстати, и постарше вас, и в партии подавней, с шестнадцатого года. Левашова вам на съедение не дам, и не вздумайте капать на меня в Военный совет. Мне с вами воевать некогда, мне с противником воевать надо, но, уж если вы сами проявите инициативу, я в свою очередь выкрою на вас время!

Эта была прямая угроза. Бастрюков, не только не любивший, но и боявшийся Ефимова, сказал, что ради пользы дела не станет обострять отношения с командиром дивизии и оставит его невыдержанные слова без последствий.

Тем и кончилась их перепалка тогда.

Теперь Ефимов был назначен командующим, а Левашов, из-за которого тогда загорелся сыр-бор, этот чертов партизан и любимчик Ефимова, сидел рядом с Бастрюковым в хате и разговаривал с шефами.

«Очередное звание ему ускорит и начнет в комиссары дивизии тащить»,— с раздражением подумал Бастрюков, одним ухом слушая, как Левашов рассказывает шефам то о том, то о другом бойце, попавшем в полк из Январских мастерских и уже успевшем выбыть из строя за последние две недели боев. Об одном он рассказывал, как тот погиб: «Пошел в атаку, и убили вот так, рядом со мной, как вы сидите», о другом — при каких обстоятельствах был ранен, про третьего, смеясь, вспоминал, как его пришлось силком отправлять с позиций в госпиталь...

Шефы слушали, и Бастрюков тоже сидел рядом, слушал и молчал — ему нечего было добавить к тому, что говорил Левашов. Когда же он попытался добавить несколько слов от себя, чтобы перевести разговор с частностей в общеполитическое русло, шефы внимательно выслушали его и сразу же, перебивая друг друга, снова стали расспрашивать Левашова так, словно тут и не было комиссара дивизии.

Один из пришедших с передовой бойцов, молодой слесарек из Январских мастерских, ласково сказал в разговоре про Левашова «наш батя». «Не батя, а батька Махно»,— подумал Бастрюков, глядя на Левашова.

Он болезненно завидовал сейчас Левашову, хотя сам никогда не признал бы это чувство завистью. Он с осуждением думал о том, что Левашов зарабатывает себе в полку дешевую по-

пулярность, шутит шутки, ведет себя с бойцами запанибрата и вообще все делает не так, как надо, не так, как сделал бы он, Бастрюков, окажись он на месте Левашова.

Но как бы сделал он сам, окажись на месте Левашова, Бастрюков не знал и не мог знать. Потому что он, такой, каким он был, не мог оказаться на месте Левашова, не мог своими глазами видеть, как тот боец погиб в атаке, не мог знать тех людей, которых знал Левашов, не мог помнить их имена и фамилии. Несмотря на свой здоровый, сытый вид, уверенный голос и привычную фразеологию, полковой комиссар Бастрюков внутренне представлял собой груду развалин. Он бесшумно и незаметно для окружающих рухнул и рассыпался на куски еще в первые дни войны, когда вдруг все произошло совершенно не так, как говорили и писали, как учили его и как он учил других. Теперь, не признаваясь в этом себе и, уж конечно, никому другому, он в глубине души не верил, что мы сможем победить немцев. Чувство самосохранения, и раньше, до войны, ему не чуждое, чем дальше, тем больше преобладало в нем теперь над всеми остальными чувствами. Стремясь оправдаться перед самим собой количеством дел и забот, якобы против воли приковывавших его к штабу дивизии, он все более бесстыдно уклонялся от поездок на передовую.

Сидевшие в хате шефы, конечно, не могли знать, что представляет собой Бастрюков, но, как видно, их сердца что-то подсказывали им, да и сам вид усталого, замореннного, посеревшего от бессонницы Левашова, с его перевязанной рукой, с его охрипшим, простуженным голосом, уж больно разительно противостоял виду отоспавшегося полкового комиссара. У шефов из Январских мастерских было молчаливое рабочее чутье на людей, и это ощущали и Левашов и Бастрюков: один — испытывая благодарность, другой — раздражение.

Когда шефы поднялись уезжать, Бастрюков, вконец измученный завистью к Левашову, нашел, однако, силы переломить себя. Слишком очевидно было и то, какое впечатление произвел Левашов на шефов, и то, что Ефимов, сделавшись командующим, не только не даст в обиду Левашова, но и постарается выдвинуть его.

«Хорошо бы в другую дивизию»,— подумал Бастрюков и, встав проститься с шефами, положил руку на плечо Левашову:

— Вот какие у нас в дивизии комиссары, товарищи шефы. Хотим, чтоб вы знали — такие, как Левашов, Одессу не сдадут!

Слова Бастрюкова понравились шефам и в последнюю минуту переменили в лучшую сторону сложившееся о нем впечатление.

Левашов тоже обрадовался: неожиданно благодушное настроение комиссара дивизии облегчало ему задачу отпроситься в Одессу.

— Товарищ полковой комиссар,— сказал он, когда они, проводив шефов, вернулись в хату,— разрешите отлучиться, в госпиталь съездить — перевязку сделать и на Мурадова и Ковтуна поглядеть. — Он хотел добавить, что Ефимов уже разрешил ему это, но, чтобы не испортить дело, сдипломатничал и промолчал.

Бастрюков посмотрел на него долгим остановившимся взглядом.

— Что ж,— сказал он. — Можно съездить. Ужинал?

— Нет,— спохватился Левашов. — Сейчас соберем поужинать.

— Не надо,— махнул рукой Бастрюков. — Пока будешь собирать... Мы короче сделаем. Сейчас сядем в мою машину. Заедешь со мной в Дальник, там у меня перекусим, а потом я дам тебе машину до госпиталя.

Это было уж вовсе неожиданное и даже странное в устах Бастрюкова предложение.

— Есть, товарищ полковой комиссар! Я только командиру полка скажу, что отлучаюсь,— еще не придя в себя от удивления, сказал Левашов и быстро вышел.

Бастрюков был и сам удивлен неожиданностью собственного решения. Похвалив Левашова при шефах и заметив мелькнувший в его глазах довольный огонек, Бастрюков самолюбиво подумал, что не только Ефимову дано подбирать ключи к таким, как Левашов; потом представил себе ночную степь, по которой не хотелось возвращаться одному,— и вдруг пригласил Левашова — слово не воробей, вылетит — не поймаешь!

Через пять минут, сидя бок о бок в «эмке» Бастрюкова, они ехали по черной ночной степи в Дальник.

Сначала оба молчали.

Левашов думал о том, как бы, не задев самолюбия полкового комиссара, побыстрей закруглиться с ужином и попасть к Мурадову.

Бастрюков думал — выставлять или не выставлять к ужину водку.

Его считали в дивизии непьющим, но на самом деле в последнее время он пил почти всякий раз, когда неотступно мучивший его страх смерти обострялся из-за бомбежки, обстрела или поездки на передовую. Собравшись спать, он доставал из чемодана водку и, выпив чайный стакан, ложился с приятным безрассудным ощущением равнодушия к завтрашнему дню. А встав

утром, жевал сухой чай и, наказывая себя, особенно долго, до седьмого пота, занимался гимнастикой.

Так и не решив, как быть с водкой, Бастрюков повернулся к Левашову и спросил его — какой заслуживающий внимания материал накопился в полку для завтрашнего политдонесения?

Левашов вспомнил о двух пленных румынах, о которых он рассказывал Лопатину.

— Здорово! Значит, сами по своим взялись лупить? Это уж действительно перетрусили! — выслушав все до конца, заключил Бастрюков.

— Не так перетрусили, как похоже, что классовое сознание заговорило,— отозвался Левашов.

Бастрюков фыркнул:

— Держи карман шире! Наклали от страха в штаны — и все тут! Проще пареной репы! Я почему тебя тогда за делегатское собрание гонял,— помолчав, благодушно вспомнил он,— потому что размагничивать себя нельзя: бедные пленные, насильно мобилизованные, классово угнетенные... Враг есть враг! И все!

— Я в бою злой,— сказал Левашов,— я вот этой рукой больше людей убил, чем пальцев на ней. — Он сунул чуть не под нос Бастрюкову свою перевязанную, пахнувшую йодом руку. — А про классовое сознание — размагнититься не могу, так уж меня намагнитили!

— Вот и выходит, что ты самый настоящий формалист! — довольно сказал Бастрюков. — Не я, как ты меня за глаза считаешь, а как раз — ты! Чему научили тебя когда-то в школе, то и бубнишь, без учета перемены обстановки. А обстановка повернулась на сто восемьдесят градусов. Я это учитываю, а ты нет.

Левашов ничего не ответил. «Ну и черт с тобой, учитывай»,— подумал он, поскучнев от невозможности сцепиться с Бастрюковым. Мешал и сидевший впереди шофер, и их с Бастрюковым обоюдное служебное положение.

Бастрюков понял его молчание по-своему. «Замолчал, потому что нечем крыть»,— подумал он и от чувства собственного превосходства подобрел настолько, что все же решил выставить к ужину водку.

Когда «эмка» остановилась в Дальнике, у комиссарского дома, Бастрюков сказал шоферу, чтобы тот не отлучался — через полчаса он поедет с батальонным комиссаром Левашовым в Одессу.

Сказав это, он поднялся на крыльцо, Левашов за ним. У крыльца стоял часовой, а в сенях, в боковом закутке, спал

ординарец, вскочивший, лишь когда Бастрюков тряхнул его за плечо.

— Ужин стоит? — спросил Бастрюков.

— Все подготовлено, товарищ полковой комиссар.

— Поставьте еще прибор.

Ординарец порылся в деревенском, крашенном синей масляной краской буфете, достал оттуда тарелку, вилку и нож и, пока Бастрюков и Левашов снимали в сенях шинели, раньше их проскользнул в комнату.

— Ложитесь, спите,— сказал Бастрюков ординарцу. — Заходи,— поманил он за собой Левашова, который привычно забыл на голове фуражку и снял ее только в комнате.

Левашов не один раз бывал по вызовам Бастрюкова здесь, в этой комнате, всегда содержавшейся в образцовом порядке, таком, что даже бастрюковские подчеркивания красным карандашом на сложенных вчетверо газетах казались неотъемлемой частью этого порядка. Сейчас письменный стол Бастрюкова, большой, канцелярский, привезенный из Одессы, был застелен белой салфеткой; на ней стоял накрытый второй салфеткой ужин.

— Садись, времени много нет,— кивнул Бастрюков, снял салфетку, под которой стояли тарелка с винегретом и тарелка с сырниками, потом, посмотрев зачем-то на дверь,— Левашов не понял зачем,— поплотнее прикрыл ее, крякнув, нагнулся и вытащил из-под кровати чемодан. Когда он снова задвинул чемодан, в руках у него оказалась бутылка водки.

Левашов не скрыл своего удивления.

— Вообще-то я не пью,— сказал Бастрюков,— это ты прав, но в частности могу и выпить, зависит от того, сколько, когда и с кем.

Он разлил водку в стаканы и предложил выпить за Ефимова и его новое назначение.

— Рад за Ефимова,— сказал он. — Хотя жаль расставаться. Я тебя вне службы позвал, и разговор наш — на откровенность! Сегодня пришлось тебя, комиссара, по стойке «смирно» поставить. А зачем сам нарывался на это? Вот и поставил. Я тебе твои нервы спускать не могу! А вообще я за мир. За мир! — со значением повторил Бастрюков.

— Эх, Степан Авдеич, какой уж тут мир, когда кругом одна война,— отшутился Левашов. Он не хотел ни объясняться, ни спорить, хотел только одного — поскорей дожевать бастрюковские сырники и ехать к Мурадову.

— Ладно, шути, шути,— сказал Бастрюков. — Но имей в виду — я не первый год служу и находил с людьми общий язык. Если только они сами хотели.

Дальше, наверное, не произошло бы ничего особенного и они бы мирно расстались — Бастрюков в убеждении, что он, если понадобится, найдет общий язык с комиссаром девяносто пятого, а Левашов — мало переменив свои мысли о Бастрюкове; но все вышло по-другому, потому что слегка захмелевшему Бастрюкову вдруг захотелось до конца высказаться перед Левашовым о том, о чем он заговорил еще в машине,— о повороте на сто восемьдесят градусов.

До войны он недрогнувшей рукой испортил бы послужной список всякому, кто вслух, хоть на йоту, усомнился в быстрой и легкой победе. А сейчас был так потрясен случившимся, что искренне готов был свалить всю вину на наше неправильное довоенное воспитание; если еще можно хоть как-то спастись от нагрянувшей беды, надо поскорей и навсегда выкинуть из голов добрую половину того, во что верили раньше! Это казалось ему до того бесспорным, что он не сомневался в действии своих слов на Левашова. Эта уверенность и толкнула его на откровенность.

— Вообще-то, конечно, в гражданскую,— сказал он,— в головах было еще молодо-зелено... Считали, что мировая революция вот-вот будет! И мадьяры, и австрийцы были в интернациональных батальонах, и финны... У нас, в запасном полку, Миккелайнен начштаба был, его потом посадили — оказался шпион. Думали — интернационал до гроба, а где теперь эти австрийцы, и мадьяры, и финны? Все против нас воюют! Вот тебе и мировая революция! Это хорошо, что в газете «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» сняли. «Смерть немецким оккупантам!» — и все, и точка, и больше ничего не надо. Ясно и понятно! Я рад был, когда прочел!

Левашов, в противоположность Бастрюкову, не был рад, когда увидел, что над заголовком армейской газеты исчезли привычные с детства слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Грозные слова: «Смерть немецким оккупантам!» — пришлись ему по душе, но он тут же подумал — неужели нельзя было, написав их с одной стороны, с другой поставить по-прежнему — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Ему казалось, что это вполне можно было сделать. Он даже тогда вгорячах поделился своими мыслями с Мурадовым, но Мурадов отрезал, что, может, он и прав, но их дело солдатское — воевать, а не рассуждать о заголовках.

Но сейчас об этом заговорил сам Бастрюков, и заговорил так, что Левашов понял: да, есть люди, которые считают, что раз на газетах не пишут «Пролетарии всех стран...», то для них теперь все проще пареной репы! Они рады не думать надо всем

тем, над чем бьется он, Левашов: как же так — были Тельман, юнгштурм, Рот фронт, Германская компартия — и вдруг сто семьдесят дивизий фашистов! И человек, который не хотел ни о чем этом думать, сидел перед ним и был комиссаром его дивизии!

— А как же вы теперь думаете насчет мировой революции, товарищ полковой комиссар? — до крайности взволнованный собственными мыслями, спросил Левашов.

— А я об ней не думаю,— отрезал Бастрюков. — Фашисты почему сильно воюют? Они не думают, они знают одно — бей, и все! А у нас какое было воспитание? Это — можно! То — нельзя! Да как же все так случилось? Да почему ж этому в Германии рабочий класс не помешал?.. Вот и проудивлялись, пока треть России не отдали! А по-моему, будь у нас поменьше этого интернационализма раньше — позлей воевали бы теперь! Тем более что время само показало, как иностранец — так через одного, хоть и с партбилетом, а шпион!

У Левашова даже подкатил комок к горлу от этих слов. У него не исчезло и, наверное, никогда не исчезнет удивление — как же это все получилось, как Германия стала фашистской? Но он никогда не боялся фашистов и не боится их сейчас; он убивал их, и будет убивать, и, пока жив, никуда не уйдет с передовой. Но он так же твердо был уверен, что Бастрюков, которого не мучили никакие такие мысли и который считал, что мы будем сильнее воевать без этих мыслей, что этот самый Бастрюков боялся и боится фашистов и употребляет и будет употреблять всю свою изворотливость, чтобы продержаться всю войну подальше от передовой.

«Нет, врешь,— подумал Левашов, задетый за то самое святое в своих чувствах, из-за чего он считал себя коммунистом и был им на самом деле. — Врешь, меня-то правильно воспитали, хоть ты и говоришь, что я отдал треть России, а вот тебя...»

— Так как же все-таки с мировой революцией, товарищ полковой комиссар? — все еще борясь с собой, с угрожающим спокойствием спросил он. — Будет она когда-нибудь, по-вашему, или не будет?

— А пес с ней, потом разберемся... — не заметив его состояния, с хмельным упорством ответил Бастрюков.

И тут все, о чем, с трудом сдерживая себя до сих пор, помнил Левашов и в дороге и здесь, разом выскочило у него из головы.

— Какой же вы после этого полковой комиссар? — бешено прошептал он в лицо Бастрюкову.

— Ты чего, ты чего,— отстранился испуганный его страшным лицом Бастрюков,—напился, с ума сошел...

— Я — не вы... Со стакана не хмелею. А вот вы... Интересно бы на вас посмотреть, если б вы в плен к фашистам попали, как бы вы там заговорили? Может, и на Россию без большевиков согласились, раз вам — пес с ней, с мировой революцией?

— Говори, да не заговаривайся! — поднялся Бастрюков. — Встать!

Но Левашов уже стоял на ногах.

— Вы меня вне службы позвали, на откровенность? — по-прежнему не повышая голоса, сказал он. — Так вот вам на откровенность: паникер вы и сволочь, а не комиссар. И когда-нибудь вам это в послужной список так и впишут — уволить, как сволочь!

Левашов надвинул на лоб фуражку и вылетел из комнаты, прежде чем вконец опешивший Бастрюков успел что-нибудь ответить.

Ординарец в сенях спал как ни в чем не бывало. Левашов схватил с гвоздя шинель и оказался на улице. Он выскочил, не думая, как ему быть дальше, но, увидев у крыльца «эмку» и дремавшего в ней шофера, мгновенно решился: семь бед — один ответ!

— Поехали! — беря себя в руки, спокойно сказал он шоферу. — Полковой комиссар приказал вам съездить со мной в Одессу.

Когда Левашов выскочил из комнаты, Бастрюков хотел крикнуть, задержать его, вообще сделать что-то — он еще сам не знал что, но и голос и силы отказали ему. За окном зафырчал мотор, и Бастрюков услышал, как отъехала машина.

— Сиротин!.. — заорал он, только в эту секунду наконец освободившись от оцепенения. — Сиротин!

В дверях появился ординарец. Он испуганно смотрел в перекошенное лицо Бастрюкова.

— Где вы были?

— Здесь, в той комнате, вздремнул немножко, товарищ полковой комиссар.

Бастрюков окинул взглядом ординарца, увидел красную полосу на его щеке и понял, что тот говорит правду,— он спал и ничего не слышал. Посмотрев на стол с пустой водочной бутылкой и остатками ужина, потом еще раз на ординарца и поняв всю абсолютную невозможность без вреда для себя официально донести о случившемся, Бастрюков подумал о Левашове с тяжелой беспощадной ненавистью и, вытащив из кармана платок, вытер холодный пот.

Всю дорогу до госпиталя Левашов торопил шофера. Удовлетворение от того, что он врезал Бастрюкову правду-матку, сменилось досадой: с кем поделишься этим и кто тебе поверит? Ты ведь и сам еле поверил своим ушам! Только открой рот — и Бастрюков отопрется и вывернет все наизнанку, и еще тебя же затаскает по комиссиям. Нет, он не доставит Бастрюкову такого удовольствия.

А Бастрюков? Если Бастрюков сейчас же, сгоряча, не поедет жаловаться начальству, то, остыв, не сделает этого. Правды он не скажет,— не может, но, даже если переврет все вкривь и вкось, все равно останется неприятная для него двусмысленность: пригласил, выпили, поскандалил с подчиненным, и вдобавок все это вне службы, с глазу на глаз... Другое дело, что Бастрюков завтра же начнет мстить. Ну что ж, сам знал, на что шел — жизнь теперь будет лютая. А впрочем, война может все списать за одну минуту, был Левашов — и нет его! Против обыкновения вдруг допустив мысль о возможности собственной смерти, Левашов с двойным ожесточением подумал о Бастрюкове: «Как же так — меня не будет, а он будет? И после войны будет?»

— Нет, врешь, не умру! — яростно прошептал он, как будто Бастрюков хотел и дожидался его смерти.

Городские улицы были пусты и черны. В порту горело, в небе вспыхивали разрывы зенитных снарядов. В Одессе было тревожно, как во всяком ночном городе, над которым кружат чужие самолеты.

Подъехав к госпиталю, Левашов вылез из машины и саданул кулаком в закрытые железные ворота.

В приемном покое все спали. Дежурная сестра спала, положив одну руку под щеку, а другую на телефон так, словно заснула, не успев снять трубку. На кушетке, накрытой рваной, нечистой клеенкой, спал дежурный врач. Один сапог у него был сброшен на пол, а другой не снят. «Видно, сил у бедного не хватило»,— сочувственно подумал Левашов о враче, но подошел и растолкал его.

— Чего вам? — сонно откидывая голову к стене, спросил врач, глядя припухшими глазами на стоявшего перед ним батальонного комиссара в сдвинутой на затылок грязной фуражке.

— Два небольших осколочка вынуть надо,— дотрагиваясь до вылезавшего из-под обшлага гимнастерки бинта, сказал Лева-

пов. — Но это потом. Дайте мне сведения, в каких у вас палатах находятся полковник Мурадов, капитан Ковтун и, возможно, интендант второго ранга Лопатин,— добавил он, вспомнив, что Лопатина с его хотя и легким, но лицевым ранением тоже могли переправить сюда из медсанбата. — Хочу их навестить.

— Время неподходящее, товарищ батальонный комиссар. Ночь. Госпиталь спит.

— А нам по утрам нельзя сюда, товарищ военврач третьего ранга. Мы по утрам воюем. Так что будьте добры проводить меня к ним.

— Добрым-то я, возможно, и буду,— вставая наконец на ноги, сказал врач. — Только вот вопрос: не отправлены ли они на эсминец. Триста душ отгрузили. Видите, с ног сбились, спим на дежурстве. Марья Петровна, а Марья Петровна! — Врач снял руку медсестры с телефона, и рычажок звякнул. Медсестра проснулась не от его слов и прикосновения, а от этого звука. — Где регистрационная книга? Поживей просыпайтесь. Видите, человек ждет.

Сестра вздохнула, протерла глаза и выдвинула ящик стола, в котором лежала большая регистрационная книга.

— Сейчас посмотрим, где они, ваши,— сказал врач, перегибаясь через плечо сестры и перелистывая книгу. — А, б, в, г, д...

— Первым Ковтуна смотрите,— сказал Левашов. — Он на «к» — Ковтун.

Военврач продолжал перелистывать книгу.

— Карпов, Кавтарадзе... — под нос бормотал он. — Колоколов, Корниенко... Вот — Ковтун! Выбыл, отгрузили. Ковтун — плечевое, пулевое. Ваш?

— Наш.

— Отгрузили. Кто дальше? Муратов?

— Мурадов,— поправил Левашов.

— Все равно на «м»,— сказал врач и опять начал перелистывать книгу. — Полковник Мурадов. Ранение в область кишечника. Ваш?

— Мой,— сказал Левашов.

— Тоже отправлен. Этого помню. Тяжелый. Кто еще?

— Переверните обратно на один лист,— сказал Левашов,— на «л» посмотрите. Лопатин.

Лопатина в книге не было.

— Когда отвалит эсминец?

— А это уж нам неведомо,— сказал врач. — Мы отгрузили — и все! А когда отплытие? — Он пожал плечами. — Это и говорить не положено. Этим немцы интересуются!

— А это точно, что вы их обоих отправили? — строго спросил Левашов.

— Вы что, смеетесь? — обиженно сказал врач. — Будите людей, вам по-человечески объясняют, а вы начинаете дурака валять! Вы что, выпили, что ли?

— Я не выпил,— вдруг обидясь, крикнул Левашов: у себя в полку за все эти тяжкие сутки он не взял в рот ни глотка, а про выпитый у Бастрюкова стакан забыл, словно его и не было. — Я не выпил. Я в бою был. Устал. Соображаю плохо. Почему вы смеете говорить мне, что я выпил?

— Не шумите,— примирительно, но твердо сказал врач. — У вас нервы, у нас нервы. Вы их на немцев и румын расходуйте, а на меня нечего! Сказал, что отправил ваших товарищей, значит, отправил.

— Извиняюсь. — Левашов показал на стоявший на подоконнике графин. — Вода?

— Вода.

Левашов налил из графина стакан мутной теплой воды и жадно выпил ее.

— Спасибо,— сказал он, вытирая рукой губы. — Поехал.

— А как же осколки? — окликнул его военврач, когда он был уже в дверях.

— Осколки? — переспросил Левашов. Он и забыл про свои осколки. — Из порта обратно заеду.

На стоявшем у пирса эсминце поспешно заканчивались приготовления к отплытию. Чтобы уменьшить опасность бомбежек, надо было затемно пройти Тендерову косу и попасть в зону прикрытия своих истребителей. Раненые были погружены, но к пирсу все подъезжали и подъезжали новые грузовики с ящиками: по приказу Военного совета из Одессы эвакуировали музейные ценности.

У двух трапов стояли моряки с винтовками. Они не пропускали на эсминец ни одного человека. Бойцы и гражданские разгружали и складывали ящики у трапов, а на эсминец их таскала команда.

Посмотрев на строгих морячков, стоявших с винтовками по обеим сторонам трапов, Левашов понял, что тут не проскочишь, и стал высматривать какое-нибудь морское начальство.

— Калюжный, Калюжный, не прохлаждайся! Этот ящик краном надо брать. Кран давай! — кричал, стоя в двадцати шагах от Левашова, спиной к нему, короткий, плотный морячок-командир, в куцем кительке и с пистолетом на длинных морских ремнях, при каждом движении хлопавшим его по толстой ляжке.

— Слушайте, товарищ морской бог,— сказал Левашов, подходя к нему сзади. — Как бы попасть на вашу посудину?

Морячок повернулся и, вздернув голову, выставил навстречу Левашову богатырский орлиный нос. Он явно собирался выругаться, но вместо этого расплылся в улыбке и, протянув Левашову коротенькую руку, воскликнул: «Федя!» — с таким выражением, словно только и ждал встретить Левашова, именно сейчас и здесь, в Одесском порту, около своего эсминца. Это был Гришка Кариофили, керченский грек, земляк Левашова, а потом его однокашник по военно-политическому училищу. Они не виделись семь лет.

— Ты чего здесь делаешь, Гришка? — спросил Левашов.

— Комиссарю на этом красавце,— сказал Кариофили. — А ты?

— С утра был комиссаром полка.

— А теперь чего?

— А теперь хочу драпануть вместе с тобой из Одессы. Возьмешь?

— А если серьезно?

— Приехал попрощаться, ты сегодня за один рейс двух моих бывших командиров полка увозишь.

— Двух сразу? — спросил Кариофили. — Слыхал, что у вас туго, но не думал, что так!

— А ты съезди на передовую, погляди. С воды не все видать! — сказал Левашов.

— Сахаров! — крикнул Кариофили стоявшему у трапа моряку. Он за время погрузки отвык говорить и только кричал. — Проводите батальонного комиссара в кают-компанию. Учти, через десять минут отвалим! — крикнул Кариофили Левашову, когда тот поднимался по трапу. — А то и правда в дезертиры попадешь!

В кают-компании эсминца на диванах и на матрацах, разложенных по всему полу, и даже на длинном столе лежали раненые командиры. Когда Левашов вошел, врач в морской форме, согнувшись над лежавшим на тюфяке у самых дверей раненым, впрыскивал ему что-то в бессильную, неподвижную руку. В кают-компании стоял запах ксероформа.

Осторожно пробираясь между матрацами, Левашов наконец нашел Ковтуна. Ковтун лежал в углу кают-компании и смотрел в одну точку перед собой, не обращая внимания на окружающее. Он не сразу заметил Левашова, а узнав его, хотя и обрадовался, но уже посторонней, вялой радостью человека, которого пришли навестить из другого, надолго отрезанного мира.

— Как дела? — спросил Левашов. — Живой еще?

— Живой,— сказал Ковтун. — Мне бы только эту чертову воду переплыть. Лежу и думаю: разбомбят на воде, и уйдешь вниз, как гиря. Плавать не умею, боюсь — и все тут. Если б хоть боли мучили — воткнули бы, как другим, шприц, и проспал до Севастополя.

— А ты скажи, что болит,— посоветовал Левашов. — Где Мурадов, не знаешь?

— Не видал,— сказал Ковтун. — Мы теперь — дрова, куда положили, там и лежим.

— Я к тебе еще зайду,— сказал Левашов. — Пойду его поищу.

Пройдя мимо остальных раненых и убедившись, что в кают-компании Мурадова нет, Левашов вернулся к дверям. Врач в морской форме распоряжался выносом того, кому он пять минут назад делал укол. Раненый, не приходя в сознание, умер; два краснофлотца поднимали мертвеца.

— Не скажете, товарищ военврач, где у вас тут полковник Мурадов? У него тяжелое, в живот,— добавил Левашов, понимая, что это стало теперь главным отличительным признаком полковника Мурадова.

— Двое самых тяжелых в каюте первого помощника. Налево первая.

«Плохо дело»,— подумал Левашов.

В каюте на койке и на диване лежали раненые. У стола, повернувшись на винтовом кресле лицом к двери, спал санитар в халате поверх общевойсковой формы.

«Наверное, взад и вперед плавает, сопровождает»,— подумал о нем Левашов и узнал лежавшего на койке Мурадова.

Мурадов был в жару и без памяти. Его башкирское, скуластое лицо похудело, заострилось, глаза были зажмурены, а изо рта вырывалось клокотанье вперемежку с обрывками непонятных слов. Мурадов, от которого Левашов никогда не слышал ни слова на его родном языке, в беспамятстве бредил по-башкирски.

Странное чувство испытывал Левашов, стоя над бредившим Мурадовым. Он оставил полк, поднял на ноги госпиталь, проник на эсминец и вот, стоя над этим человеком, ради которого добирался сюда, ничего не мог ни сказать ему, ни спросить у него.

Так он стоял над Мурадовым молча минуту, две и наконец, не зная, как сделать то, ради чего ехал сюда,— как проститься с ним, нерешительно положил свою руку на бессильно лежавшую на простыне большую, потную, горячую ладонь Мурадова. И вдруг пальцы Мурадова дрогнули, его рука, словно сведенная

судорогой, сжала руку Левашова с такой силой, что Левашов чуть не вскрикнул, и лишь через минуту, когда пальцы Мурадова ослабели, с трудом высвободил руку.

Таким было их последнее рукопожатие, о котором Левашов еще долго помнил потом,— не просто держал в памяти, а помнил рукою, кожею пальцев.

Ковтун терпеливо ждал возвращения Левашова и думал о том, что едва ли в Крыму дислоцируется сейчас много тыловых госпиталей. Наверно, раненых перегрузят в Севастополе с эсминца на транспорт и опять по воде отправят в Новороссийск или Туапсе. Жена, эвакуированная в Сочи, писала ему, что там теперь кругом во всех санаториях госпитали.

«Возможно, там и увидимся»,— думал Ковтун с надеждой и тревогой.

Левашов вошел тихий, потерянный, не похожий на себя.

— Нашел Мурадова? — спросил Ковтун.

— Нашел. — Левашов безнадежно мотнул головой. В глазах его стояли слезы. — Ладно,— сказал он и пожал здоровую руку Ковтуна. — Прощай, командир полка.

На борту, у трапа, держа на ладони карманные часы и сердито поглядывая на них, стоял Гришка Кариофили.

— Отчаливаешь? — спросил Левашов.

— Сейчас отвалим. С этими армейцами каши не сваришь. Все погрузили, так нет, позвонили на пирс, должны перекинуть в Севастополь двух пленных — румынского полковника и немца-артиллериста.

— Немец наш,— сказал Левашов. — Этого немца мы взяли сегодня.

— Штаб флота ими интересуется,— сказал Кариофили. — А по мне — на черта они сдались! Сунул бы их головой в воду — и все! Если затемно Тендерову не пройдем — начнется обедня! — Он посмотрел на небо и снова на часы .— Слушай,— тихо сказал он, отведя Левашова в сторону от трапа,— хреновые новости. Немецкое радио вторые сутки травит, что они к Вязьме прорвались.

— К Вязьме? — пораженно переспросил Левашов. — К какой Вязьме?

— Одна Вязьма — под Москвой.

— Врут,— сказал Левашов, хотя сердце у него похолодело.

Четверо матросов подвели к трапу двух людей с мешками на головах. Они сослепу неуверенно нащупывали доски, и Левашов заметил, как у обоих дрожат ноги.

— Все,— сказал Кариофили, когда пленные прошли мимо них. — Отдаем концы. Иди. А то прыгать придется!

Матросы уже взялись за трап. Левашов сбежал и, повернувшись, остановился на пирсе. Борт эсминца пополз мимо него.

Все мысли, которые только что владели Левашовым,— что вот отойдет эсминец и на нем навсегда уплывут из Одессы два его бывших командира полка, что Ковтун выздоровеет, а Мурадов, скорей всего, умрет, что Ефимов уходит на армию, а Бастрюков остается в дивизии и что вообще больно уж каторжными для него, Левашова, оказались последние сутки,— все эти мысли отвалились в сторону, и вместо них возникло одно страшное слово: «Вязьма».

— Врут! — еще раз вслух сказал Левашов, и его потянуло скорей обратно в свой полк, который стоял и будет стоять и драться здесь, под Одессой, хотя румыны и немцы еще месяц назад, так же как, наверно, сейчас про Вязьму, врали, что с Одессой покончено.

Через час, так и не заехав в госпиталь и заставив упиравшегося бастрюковского шофера довезти себя до самого штаба полка, Левашов вылез у своей хаты.

— Кто идет? -- окликнул его часовой.

— Комиссар полка! — громко откликнулся Левашов и вошел в хату.

На койке Мурадова, закинув длинные ноги в сапогах на застеленный газетой табурет, спал одетый Слепов, а за столом сидел Лопатин и, боком нагнув к самому столу наискось обвязанную бинтами голову, что-то писал.

— Ты что тут колдуешь? — удивленно спросил Левашов, сбрасывая шинель. — Я его по госпиталям ищу, а он тут!

Лопатин объяснил, что решил все-таки вернуться в дивизию — доделать недоделанное. Ранение у него, как выяснилось, действительно пустяковое, царапина. Но из-за ушиба глáза придется несколько дней ходить с повязкой и ставить на ночь вот такие компрессы, какой у него сейчас.

— Так обмотали, что даже очки сверху не лезут,— сказал он. — Но утром, когда сниму компресс, полезут.

— А откуда очки? Твои ж — в лепешку!

— Запасные. Заказал, на свое счастье, в Симферополе.

— Какое уж тут счастье, когда чуть без глаза не остался,— вздохнул Левашов,— это я виноват — пихнуть бы тебя тогда головой вниз поглубже, и был бы кругом цел. У нас, уже после тебя, Ковтуна ранило.

— Я знаю, мне сказали,— кивнул Лопатин на спавшего Слепова.

Левашов стащил сапоги, снял ремень с наганом и, расстегнув ворот гимнастерки, присел на край широкой деревянной кровати.

— Давай спать ложиться. Только к стенке ложись, а то меня могут к телефону поднять.

— Я еще посижу, кое-что запишу, а то до завтра забуду,— сказал Лопатин.

— А что забудешь, то и шут с ним — значит, неважное. — Левашов лег на кровать, к стенке, и до горла накрылся шинелью. — Чудна́я вещь война,— помолчав, сказал он. — Казалось бы, люди на ней должны меньше разговаривать, чем в мирное время, а они почему-то наоборот. Я думал над этим. Я вообще иногда думаю — не замечал?

— Замечал,— отозвался Лопатин.

— Думал, думал и решил — наверное, потому, что на войне сегодня не доскажешь, а завтра не придется: или сам не сможешь, или слушать некому будет. А между прочим, если бы я в разное время жизни нескольких своих мыслей разным людям не выложил, может, уже три шпалы бы носил. А мысли были не глупые и не вредные, я от них и теперь не отказываюсь. И вот бывает, лежу и думаю: как же так? Мысли хорошие, а жить мне мешают. Не всегда — иногда. Но все равно, разве это годится? А ведь я своим мыслям по-солдатски в любую минуту, днем и ночью, готов боевую проверку сделать. Я не пасхальное яичко, которое от красной скорлупки облупить можно! Ты меня слушаешь?

— Я слушаю...

— Я заметил, что слушаешь, потому и говорю. Только не думай, что я умный, я и дурак бываю.

Левашов, заскрипев матрацем, подвинулся на кровати, заложил руки за голову и закрыл глаза.

На столе затрещал телефон, и, как только он затрещал, Левашов понял, что лежал и не спал, потому что ждал этого звонка. Дотянувшись до трубки, еще только поднося ее к уху, он услышал далекий и, как ему показалось, злой голос Ефимова:

— Левашова!

«Все же пожаловался,— подумал он о Бастрюкове с неожиданно нахлынувшим облегчением. — Черт с ним! Выложу все — и будь что будет!»

— Левашов слушает, товарищ командующий!

— Был у Мурадова? — спросил Ефимов, и Левашов понял, что ошибся.

— Был.

— Как он?

— Похоже, не выживет.

— А я, как только кончился Военный совет, поехал и опоздал, эсминец отвалил. — Ефимов вздохнул в телефон.

— Все равно он без сознания,— сказал Левашов, почувствовав горечь в голосе Ефимова.

— Ему все равно, мне не все равно,— сказал Ефимов. — Сейчас! — оторвался он куда-то в сторону — наверно, его звали к другому телефону. — Спали?

— Нет еще.

— Поспите, сколько удастся. Завтра надо ждать новых атак. Доброго здоровья.

— Который час? — положив трубку и снова улегшись и накрывшись шинелью, спросил Левашов у Лопатина. Свои часы он вдребезги разбил еще днем в бою.

— Ровно двенадцать.

— Сделай одолжение — поставь ходики, подыматься неохота.

Лопатин подошел к висевшим на стене ходикам и, поставив стрелки на двенадцать, подтянул гирю.

— Вот и еще день прошел,— сказал Левашов и, откинув шинель, приподнялся на локтях, так, словно увидел что-то встревожившее его.

Лопатин повернулся к двери, но там никого не было.

— Ты говоришь, что все лето на Западном был; от Вязьмы до Москвы, если машиной, сколько? — неожиданно для Лопатина спросил Левашов.

— В разное время по-разному ездили. Если днем, без задержек — часов шесть. Ночью, без фар, конечно, дольше.

— А от Вязьмы до передовой — сколько?

— Смотря куда ехать. Я последний раз был под Ярцевом; туда от Вязьмы, если по карте,— сто десять, а если с объездами — сто тридцать, даже сто сорок. А что? — спросил Лопатин, почувствовав за неожиданными вопросами что-то недоброе.

— Так, просто подумал, как тут у нас и как в других местах,— покривил душой Левашов. Сначала, спрашивая об этой, не выходившей у него из головы, Вязьме, он смутно надеялся — а вдруг корреспондент «Красной звезды» знает и расскажет ему про Вязьму совсем другое, чем Гришка Кариофили, снимет камень с души. Но когда вместо этого услышал от Лопатина «а что?» — вопрос ничего не знавшего человека,— сдержался, решил и сам не делиться с ним тем, что услышал.

Лопатин сидел, повернувшись к нему, и молчал, словно ожидая чего-то еще несказанного; и Левашову стало неловко.

— Вы меня извините, что я вас все на «ты». Хотя и по дружбе, но привычка дурацкая, тем более что вы постарше меня,— виновато сказал он.

— За это — бог простит,— сказал Лопатин. — А вот с чего это вы вдруг меня — про Вязьму? Не хотите — не отвечайте. Но имейте в виду: в вашу байку — что просто так — не поверил.

— Значит, не выходит у меня врать,— усмехнулся Левашов. — Сколько жизнь ни учила, все равно не выходит. Натрепался мне тут один, что немцы к Вязьме прорвались. Думал — а вдруг вы чего-нибудь знаете.

— Ровно ничего не знаю.

— А что думаете?

— Ничего не думаю. Кроме того, что не хочу этому верить,— сказал Лопатин.

— У вас жена где, не в Москве? — спросил Левашов.

— Нет, не в Москве. В Казани. Во всяком случае, по моим последним сведениям.

— А кто она у вас?

«И в самом деле, кто она у меня?» — внутренне усмехнувшись, подумал Лопатин; ему не хотелось говорить о своей жене с этим, не умевшим кривить душой и располагавшим к ответной откровенности, человеком.

— Работает в театре, по литературной части.

— А фото у вас есть с собой?

— Фото нет. Не вожу,— сказал Лопатин.

— А я бы возил. Но нету,— сказал Левашов. — Когда поженились, снялись вместе. А потом все хотел к фотографу ее сводить, чтобы одну снять. Так до двадцать второго июня и пробирался. Я почти перед самой войной на ней женился.

В голосе его была нескрываемая тоска. Наступило молчание. Лопатин продолжал писать. Большая кривобокая тень его перевязанной головы шевелилась на стене.

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать,—

вдруг за спиной у Лопатина нараспев прочел Левашов есенинские строчки, прочел и остановился, словно колеблясь, читать ли дальше. Но читать не стал, а снова, как раньше, на «ты», спросил Лопатина:

— Наверно, тяжело тебе на войне? Сегодня — у этих, завтра — у тех. Ни ты к людям, ни они к тебе не успевают привыкнуть. Когда все время в одной части — легче. Верно?

— Не думаю,— продолжая писать, сказал Лопатин. Он не мог согласиться с тем, что жизнь Левашова на войне была легче его жизни.

19

Про сообщение Информбюро — что положение под Москвой на Западном фронте ухудшилось — Лопатин узнал еще в Одесском порту, в ту самую ночь с 15 на 16 октября, когда оттуда полным ходом шла эвакуация войск в Севастополь. А приказ о введении в Москве осадного положения застал его в Краснодаре, когда, просидев там трое суток, он в очередной раз вымогал себе место на самолет у оперативного дежурного.

В самолет он втерся, но до Москвы в тот же день не долетел; ночевал почему-то в Воронеже. Светлого времени хватало, и погода была приличная, но почему не дают вылета на Москву — никто объяснений не давал. После утреннего известия об осадном положении на душе скребли кошки, и чего только не лезло в голову. Однако на следующий день до Москвы все же долетели.

Москва стояла на месте, опустевшая и малолюдная; улицы были непривычно замусорены рваной и горелой бумагой. Добираясь до редакции, Лопатин заметил лишь несколько разбитых бомбами и выгоревших домов, но самой редакции в знакомом дворе на Малой Дмитровке не обнаружил. Оказывается, она переехала в подвалы эвакуированного Театра Красной Армии. В этих подвалах, неожиданно высоких, выше, чем комнаты в их старепьком редакционном здании, было чисто и светло, даже резало глаза от голого света висевших под потолком стосвечовых ламп. Под трубами, тянувшимися вдоль стен подвалов, стояли знакомые редакционные столы, а между ними, на полу, лежали папки с архивами и подшивки. Столов было много, людей — мало.

— П-привет к-курортникам! Давно ли ты, д-дружок, покинул пределы Крыма? — услышал Лопатин у себя за спиной знакомый голос Бориса Гурского, заики и белобилетчика, заведующего литературным отделом газеты и безымянного автора половины ее передовиц, или, как он сам себя называл — ч-человека-н-невидимки. Их дружба началась два года назад, с первой для них обоих войны — с Халхин-Гола.

Обрадовавшись встрече, Гурский поволок Лопатина за собой, прихватив под мышку крепкой, заросшей рыжим волосом рукой; он вообще был весь рыжий, рыжебровый, рыжеволосый, один из тех огненно-рыжих людей, которых художники любят рисовать на детских картинках.

— Если ты не снедаем ст-трастью немедленно броситься в объятия нашего ред-дактора, пройдем ко мне на к-квартиру и проведем п-пятиминутку взаимной информации.

— А редактор здесь? — спросил Лопатин.

— Здесь. И никуда не исчезнет, пока я не явлюсь к нему с п-передовой,— сказал Гурский. — Я кончил ее на десять минут раньше, чем обещал, и вп-праве уп-потребить их на тебя. Пошли.

Под квартирой Гурский подразумевал небольшой закуток, отделенный от остального подвала стенкой с дверным проемом, но без двери. Здесь, как и всюду, горело электричество, на полу лежали книги и подшивки, стоял письменный стол и рядом с ним аккуратно заправленная койка с подложенным под ноги вчерашним номером газеты.

— Живу, как и все, на к-казарменном. Могу потеснить литературу,— показал Гурский на книги,— и поставить вторую койку для тебя, если не имеешь более выгодных п-предложений.

— Не имею.

— А теперь п-пятиминутка,— сказал Гурский. — Воп-прос первый. Как вы п-покидали город Одессу? Действительно в столь образцовом порядке, как об этом сообщалось в п-печати? Рассматривай мой вопрос как реп-петицию — редактор начнет с того же.

— А ты знаешь, соответствует,— не кривя душой, ответил Лопатин. Сообщение Информбюро не расходилось с тем, что он видел своими глазами в последний день и последнюю ночь в Одессе.

— Тогда хорошо,— сказал Гурский. — Всегда бы так. Воп-прос второй: нат-терпелся ст-траху?

— Натерпелся. Но не столько в Одессе, сколько в Крыму.

— Д-догадался, прочтя уже в п-полосе остатки твоей крымской корреспонденции. Д-домыслил.

— Скажи лучше, как у вас тут? — спросил Лопатин.

— Сегодня лучше, чем вчера, а вчера — чем позавч-чера. Многие отбыли в восточном нап-правлении,— как по приказу, так и по собственной инициативе. Что касается нас, то ред-дактор отп-правил в Казань всех жен и полред-дакции и типографского оборудования — на всякий п-пожарный случай. А мы, как видишь, ост-таемся в Москве, берем пример с т-товарища Сталина.

— Ну, а если совсем серьезно?

— А то, что я говорю тебе, как раз и соответствует понятию: совсем серьезно. П-повторяю: Сталин в Москве, Генштаб, как я п-понимаю, тоже. Зап-падным фронтом командует Жуков. Войска дерутся, как только могут, вчера видел это своими глазами — ездил с ред-дактором по Волоколамскому шоссе, как говорится,

до уп-пора. В Москве п-порядок, охотников п-пограбить пускают в расход с правом ап-пелляции на том свете. Газеты выходят. Нем-молодая крашеная дама, которую, как я усп-пел заметить еще до войны, ты не особенно любишь, пришла в ред-дакцию с запиской от т-твоей жены за ключами от т-твоей квартиры. Когда, вручая ключи, я спросил ее про немцев, она дала мне понять, что не соб-бирается отдавать им ни Москвы, ни т-твоей квартиры. Так как — поставить тебе койку?

— Поставить. А мне писем не приходило?

— Приходили. — Гурский, сдвинув на лоб очки, взглянул на часы, полез в стол, достал оттуда три письма и положил их перед Лопатиным. — Сядь и п-прочти, все равно он не будет разговаривать с тобой, пока не п-покорежит мою передовую. Я скажу ему, что ты здесь.

Гурский вышел, а Лопатин взялся за письма. Одно из них, с круглыми каракулями на конверте, было от жены, а два, надписанные недетским, твердым почерком,— от дочери.

Письма его жены обычно состояли из подробных объяснений поступков, совершенных ею в его отсутствие. Поступки эти, по ее мнению, всегда были правильными, а объяснения их правильности — длинными. В прошлом письме, которое она оставила ему в Москве, объяснялось, почему она уехала вместе с театром в Казань, не дождавшись его возвращения, почему это было правильно и почему, наоборот, было неправильно, что он не написал ей заранее, что так долго задержится на Западном фронте. В нынешнем письме из Казани объяснялось, почему ключи от их квартиры надо было отдать именно этой ее подруге, Геле, которую Лопатин совершенно напрасно не любит.

Письмо жены оставило его равнодушным: кто знает, что бы он почувствовал, если б вместо объяснений про ключи и Гелю от жены пришла повинная в том, что она уехала тогда, в августе, из Москвы, не дождавшись его с фронта, хотя вполне могла бы дождаться. Но ничего похожего на повинную в письме не было, если не считать приписку в три строчки, в которой жена молила его не переживать, что она сама в Казани, а Нина — их дочь — вместе со своей школой в деревне под Горьким; что оттуда от Нины уже пришло несколько открыток и ей там гораздо лучше, чем было бы в Казани.

«Может, и лучше»,— думал он, читая сейчас письма дочери из совхоза под Горьким, где она жила с другими школьниками. Судя по письмам, она была довольна, что они лето работали в деревне, помогали взрослым, а теперь, копая картошку, начали учиться. Может, и с едой у них там лучше, чем в Казани. А все-таки ребенок, даже сытый, не может не чувствовать свою бро-

шенность. Особенно когда в сознании гнездится, что мать, наверно, могла бы взять ее к себе, а уж приехать повидать — во всяком случае.

— Ст-тупай к нему,— сказал вернувшийся Гурский.

— Сдал передовую?

— Пока нет. Вернулся вп-писывать абзац. Говорит, что название «Ребята, не Москва ль за нами?» неп-плохое, что надо поп-подробнее объяснить, что хотя это и Лермонтов, но тем не менее тогда Москву сд-дали, а сейчас не соб-бираемся.

— А может, он прав?

— А я не говорю, что он не п-прав. Ст-тупай, он ждет.

Кабинет редактора помещался в большой и странной подвальной комнате: окон в ней не было, а стены образовывали неправильную трапецию; но все остальное в этой странной комнате было привычное: и редакторский стол, и стулья, и конторка у стены, и взятая из старой редакции лампа с зеленым стеклянным абажуром. И редактор стоял за своей конторкой, как всегда уткнув нос в полосы и держа толстый красно-синий карандаш на весу у правого уха, словно прицеливаясь им, в какое место полосы выстрелить.

Как только Лопатин вошел, редактор быстро повернулся, пошел навстречу и, тряся ему руку, с радостным любопытством одновременно оглядывал с ног до головы.

— Хорошо выглядишь,— наконец отпуская руку Лопатина, весело сказал он. — Каким убыл, таким и прибыл. Хоть завтра обратно посылай!

— А может, сегодня? Чего ж — до завтра! — Шутить на такие темы с их редактором было опасно, но Лопатин все же рискнул.

— Нет, правда, хорошо выглядишь, не ожидал! — сказал редактор. — Как прошла эвакуация Одессы? Донесения в Генштаб читал. А по личным впечатлениям?

— Веселого, конечно, мало,— сказал Лопатин. — Но, помня, как в начале войны оставляли некоторые города здесь, на Западном, могу оценить то, что видел в Одессе. Есть за что снять шапку и перед армией, и перед флотом.

— Вот и напиши это — про последние дни боев.

— А напечатаешь?

— Напечатаем. В связи с обстановкой под Москвой нужны как раз такие материалы. Когда получил мою телеграмму?

— Смотря какую? Задержаться в Одессе — седьмого.

— Нет, вызов!

— Вызов — семнадцатого в Севастополе. Приморскую армию едва высадили — и сразу, без передышки,— к Перекопу. Пришел

к Ефимову спросить, в какую из его дивизий посоветует мне ехать, а у него — комиссар штаба с твоей телеграммой об отзыве в Москву. Доложил и покосился на меня. Обстановка на Перекопе как раз в то утро ухудшилась,— вышло, что бегу от нее.

— А это уж моя забота,— сердито сказал редактор. — Нам газету надо делать, а кто и на что будет коситься — тебе должно быть плевать.

— Не получилось. Помнишь, как я писал про комиссара полка, который после четырех ранений в полку остался? Правда, вы в наборе две буквы переврали — напечатали: не Левашов, а Белашов...

— Ну помню. А при чем тут он?

— При том, что Ефимов забрал его к себе комиссаром штаба. На него я и нарвался. Голова и рука забинтованы, а в руке телеграмма о моем отзыве.

— А ты о таких вещах поменьше думай. Это, если хочешь знать, твоя слабость — думать, когда не надо, над тем, о чем не надо.

Лопатин вспомнил, как Левашов говорил ему про мысли, которые мешают жить, и улыбнулся неожиданности совпадения.

— Давно засек это в тебе! — не заметив улыбки Лопатина, нравоучительно сказал редактор и прошелся взад и вперед по своей подвальной комнате. — Ну что тут у нас, пока тебя не было? Пятнадцатого всех жен эвакуировали в Казань. Стал проверять список — где же твоя — нету! Оказывается, она у тебя еще с августа в Казани. А я не знал.

Лопатин хотел было сказать, что, пока не вернулся с Западного фронта, он и сам не знал, что жена его уже в Казани, но промолчал. Редактору не понравилось это молчание. Перестав ходить по кабинету, он остановился напротив Лопатина.

— За два с лишним года так и не познакомил меня с нею. Давно хотел спросить — почему?

За этим вопросом была догадка о неблагополучии.

— Не познакомил потому, что не было охоты или времени — на выбор, как тебе больше нравится.

Лопатин сказал это усмехнувшись, но прозвучало все равно горько. Одно из двух — либо бессмыслица прятать жену от людей, либо бессмыслица продолжать жить с нею.

— Вижу, ты не в настроении,— сказал редактор.

— Все наоборот, Матвей,— сказал Лопатин. — Я как раз в настроении. Сегодня, если позволишь, передохну, потом напишу про Одессу и буду в твоем распоряжении на любом из упомянутых сегодня в сводке направлений: хочешь — на Можайском, хочешь — на Малоярославецком, хочешь — на Калининском.

— Долго ты добирался от Севастополя, пять суток,— сказал редактор.

— Быстрей не вышло. До Новороссийска добирался на госпитальном судне. В Краснодаре самолетов не было. В Воронеже ночевали.

— С самолетами сейчас туго. И погода все больше портится, тем более на Севере,— странно, невпопад сказал редактор, хотя Лопатин прилетел не с Севера, а, наоборот, с юга.

Оборвав их разговор, вошел Гурский с передовой в руках.

— В самом деле, иди отдыхай, до завтра. Чего я тебя держу на ногах? — сказал редактор, быстро переведя взгляд с Лопатина на Гурского и обратно. — Иди! Выберем время, поговорим...

20

На второй день вечером, когда Лопатин принес свою, продиктованную на машинку корреспонденцию, редактор, прочтя ее, поправил всего две строки, сказал, что это как раз то, что надо, и заслал в набор. Через два часа вызвал Лопатина, чтобы он вычитал текст в полосе, и отправил спать: «Ты свое дело сделал!»

Лопатин, накануне почти до утра проговоривший с Гурским, спать пошел с наслаждением и продрых до полудня. А когда проснулся, Гурского уже не было. Спустив босые ноги на бетонный пол подвала, Лопатин увидел лежавшую у изголовья койки сегодняшнюю газету.

«Вернусь к семнадцати, в знак соболезнования добуду выпить!» — через всю газету наискось синим карандашом написал Гурский.

Увидев это, Лопатин понял, что корреспонденция не пошла, но все-таки развернул газету. Корреспонденции не было, а там, где она стояла, когда он уходил спать, заверстали разную мелочь, без которой можно было и обойтись. Стало быть, не пошла не из-за того, что не хватило места...

Лопатин оделся, побрился, попил в буфете чаю, к которому дали два бутерброда с кильками — на каждом куске по кильке — и леденцы вместо сахара. Ничего больше в буфете не было, спасибо и на том, главное, несмотря на поздний час, титан кипел, и чай был горячий.

Выходя из буфета, Лопатин встретил шедшего ему навстречу Леву Степанова. По должности старший политрук Степанов числился литературным секретарем, а на деле ходил в помощниках редактора. Ухитрившись остаться на этой каверзной долж-

ности всеобщим доброхотом и зная изгибы редакторского характера, он в меру сил остерегал забегавших к нему в предбанничек от неверных шагов и опрометчивых предложений.

— А я за вами,— сказал Лева.

— Проснулся? — спросил Лопатин о редакторе.

— Давно. Послал вас будить, а то собирается куда-то уезжать. Не злитесь, что вашу корреспонденцию снял. Он сам переживает.

Лопатин пожал плечами. Он не злился. Просто глупо вышло. Глупо потел над ней, глупо устал, глупо радовался, что она будет в газете и ее прочтут те, о ком она написана,— все глупо.

— Очень хорошая она у вас была,— идя рядом с Лопатиным, как об умершей родственнице, сказал Лева Степанов.

Лопатин рассмеялся и вошел к редактору, продолжая улыбаться. Редактор стоял, нахохлившись, над своей конторкой, одной рукой перелистывая что-то лежавшее там, а другой чесал в затылке — поза, означавшая, что его одолевают сомнения.

— Чему радуешься? — повернувшись и успев поймать на лице Лопатина след улыбки, спросил редактор.

— Радуюсь, что снял мою пробу пера — чему ж еще.

— Ничего смешного,— сказал редактор. — Не от меня зависело.

Лопатин удивленно посмотрел на него: такое из его уст можно было услышать не часто.

— На, возьми на память. Хорошая, одна из лучших, что ты написал за все время. — Редактор вынул из ящика под конторкой и протянул Лопатину полосу с непошедшей корреспонденцией.

Привыкнув, что редактор моложе его на семь лет и при своей худобе и молодцеватости выглядит еще моложе, Лопатин удивленно подумал, что, оказывается, люди могут вдруг стариться, не дожив до сорока. Лицо редактора выглядело таким изнуренным, словно он за два месяца, что они не виделись, постарел по крайней мере на пять лет. Вчера и позавчера Лопатину это не бросилось в глаза, а теперь бросилось.

Он сложил полосу и сунул ее в карман бриджей, давая понять, что с его стороны продолжения разговора об этом не будет.

— Готов ехать. Гурский рассказал, как вы были с ним на Волоколамском. Если хочешь — могу туда.

— Туда уже поехали с утра. — Редактор назвал фамилии поехавших на Волоколамское направление. — А насчет тебя — другие планы, но сначала — про твой материал: одно с другим связано. Поставить в номер не дали в связи с положением под

Москвой: как бы хорошо ни воевали там, в Одессе, но эвакуация есть эвакуация, само слово теперь не ко двору. Упомянули о ней один раз в сообщении Информбюро, и все. Сказали, что возвращаться к этому не будем. А вот Мурманское направление, где мы как были, так, в основном, и остались — на государственной границе, представляет сейчас, по контрасту, особый интерес для газеты. Тем более есть сведения, что наши разведгруппы и ходят, и высаживаются там на финской и норвежской территориях. Сведения есть, а газета без материала. А он — на фоне боев под Москвой — к месту. Как ты находишь?

— Нахожу, что правильно, но, откровенно говоря,— неохота,— сказал Лопатин. — Предпочел бы остаться здесь. Что, у нас никого другого нет, что ли, кроме меня?

— Фигуровского полмесяца назад контузило в Мурманске при бомбежке. Вывезли в Архангельск, состояние, сообщают, неплохое. Недели через три выйдет — вернется в Мурманск, а пока никого нет! — Редактор выжидающе смотрел на молчавшего Лопатина. — Ты и в Мурманске бывал, оттуда же вы ходили снимать папанинцев, из Мурманска! — ткнул редактор пальцем в «Знак Почета», привинченный к гимнастерке Лопатина. — И на финской ты был, так что театр тебе знакомый.

На финской войне, положим, Лопатин, как и редактор, был не в Мурманске, а за полтыщи километров от него, на трижды проклятом, самом неудачном Ухтинском направлении, и слова про знакомый «театр» были ни при чем. Редактор и сам это знал, а заговаривал зубы, чувствуя себя виноватым перед Лопатиным: понимал его желание остаться здесь, на Западном фронте.

— Сделаешь несколько хороших материалов — отзову в Москву.

— Или наоборот — дашь телеграмму, чтобы сидел и писал дальше,— усмехнулся Лопатин, вспомнив, как это было в Одессе.

— Отзову не позже чем через месяц. — В голосе редактора уже не было прежней виноватости.

— И то хлеб,— сказал Лопатин, ожидая, что будет дальше.

— Самолет пойдет завтра до Архангельска. Летят какие-то моряки, везут из Москвы обратно в Архангельск англичан, но место для тебя обещали. В Архангельске сориентируешься. Моряки сказали, что у них бывают оттуда самолеты на Мурманск. В Архангельске зайди навести Фигуровского, кое-что соберем — пошлем ему с тобой. Если сам не успеешь — сразу пересядешь с самолета на самолет,— найди способ передать.

— Значит, до завтра, как понимаю, свободен и могу заняться личной жизнью? — сказал Лопатин.

— Какая у тебя может быть личная жизнь, раз жена уехала?

— А она квартиру беречь подругу оставила. После обеда пойду к ней. — Лопатин мельком усмехнулся, вспомнив эту подругу жены. — Пойду к ее подруге,— продолжал он, забавляясь выражением лица редактора,— заберу у нее свои валенки, если она их еще не пропила или не обменяла на картошку. Мурманск все же за Полярным кругом, валенки хорошие, а ты человек ненадежный, еще продержишь там до весны.

— Обещал — отзову, значит, отзову,— сказал редактор с неожиданным для Лопатина раздражением — так, словно на нем не оставалось живого места, словно он перестал понимать шутки.

— Что, здорово досталось за этот мой материал об эвакуации Одессы? — спросил Лопатин, поглядев ему в глаза.

— Допустим, досталось. Что дальше?

— Ничего,— сказал Лопатин. — После того как схожу за валенками, явлюсь к тебе за предписанием.

К себе домой Лопатин позвонил сразу же, как вышел от редактора. Ему нужны были там не только валенки, и было бы глупо наткнуться на запертую квартиру.

Телефон работал. По нему после первого же гудка ответил слишком хорошо знакомый Лопатину за последние пять лет жизни с женой низкий, хриплый голос Гели, а если по-христиански — Ангелины Георгиевны.

— Здравствуйте. Я приехал в Москву,— не называя ее ни так, ни эдак — ни Гелей, ни Ангелиной Георгиевной, сказал Лопатин. — Я зайду сегодня вечером, так что посидите дома, отложите свою светскую жизнь до другого раза.

— Так и быть, отложу. В подъезде темно, возьмите с собой спички, впрочем, вы курите.

Она первой положила трубку.

Домой Лопатин пошел позже, чем думал, потому что Гурский выполнил утреннее обещание и принес в редакцию начатую, заткнутую бумажной пробкой, бутылку с водкой тархун. Она скверно пахла и была на десять градусов слабее обычной. Закусывая густо посоленными черными сухарями, они распили ее до конца и, если бы Гурского не вызвали к редактору, засиделись бы еще дольше, обсуждая предстоящую командировку. Гурский осуждал Лопатина за то, что не уперся, сейчас, когда немцы в ста километрах от Москвы, имел полное моральное право упереться.

Лопатин не спорил, слушал. Раз не уперся, значит, не уперся. Запоздало сожалеть и о сделанном, и о несделанном было не в его натуре.

— Все-таки опять загнал тебя к черту на к-кулички,— сказал Гурский, поднимаясь, чтобы идти к редактору. — Что любит тебя — не сп-порю, но, как сказал поэт, ст-транной любовью.

От Театра Красной Армии до своего дома на улице Горького Лопатин шел почти час. Было и темно, и восемь раз счетом — на всех поворотах и перекрестках — останавливали и проверяли документы патрули.

По лестнице он поднимался на ощупь: папиросы взял, а спички, как назло, забыл, переложил в полученный для поездки в Мурманск полушубок, а пошел домой в шинели.

— Кто это? — спросил за дверью голос Гели.

— Я.

— Кто — вы?

— Ну я, Лопатин! Кто — я? Кто еще может быть? Что, вас тут уже грабили, что ли? — спросил он, когда она впустила его в квартиру.

— Меня пока нет, а других грабили,— сказала Геля.

В передней было полутемно. Слабый свет падал из приоткрытой двери в комнату.

— Лимит! Перерасходуем — выключат,— сказала Геля. — Пойдемте сядем. Не раздевайтесь: не топят и неизвестно, будут ли.

Лопатин, не снимая шинели, прошел вслед за ней в маленькую комнату, где раньше жила дочь.

Они с Гелей сели друг против друга за стол под слабенькой шестнадцатисвечовой лампой. Абажур был не снят, а подтянут по проводу под потолок и подвязан там бечевкой. Оба сидели за столом одетые — Лопатин в шинели, а Геля — в старом зимнем суконном, на ватине, пальто его жены — не то не взятом с собой в Казань, не то подаренном Геле. Жена любила покупать себе новое, а старое, пока оно еще не выглядело старым, дарить тем из своих подруг, кто, по ее мнению, этого заслуживал; последние пять лет — Геле.

С минуту сидели молча, потом Геля сказала, что она прочла в газете несколько его очерков с юга и, когда читала про подводную лодку, подумала, что это, наверное, было страшней всего. Он не считал, что это было страшней всего, но не хотел говорить с ней о себе и своих очерках и, вынув папиросы, молча протянул ей.

Пока они курили, она докладывала ему о Ксении, все время называя ее Сюней — вошедшим у них между собой в обиход кошачьим именем, которого он терпеть не мог. Рассказывала, как Сюня срочно уезжала вместе с театром и как огорчалась, что не

увидит его, Лопатина, и как еще тогда, в августе, просила, если Лопатина долго не будет, постеречь их квартиру, а потом написала, чтобы она взяла ключи и жила у них. И она согласилась, потому что своей комнаты, где ей нечего стеречь, она не любит, и не все ли равно, где жить человеку, который все равно никому не нужен.

Лопатин, слушая все это, смотрел на нее и после всего, что успел пережить на войне, впервые стыдился своего мелочного раздражения против этой немолодой, крашеной женщины, вся вина которой — в том, что она присосалась к его жене, а точней, в том, что его жена присосала ее к себе и она, пять лет торча у них в доме и наблюдая их неурядицы, поддакивала его жене. Такое — почти всегда не от хорошей жизни, и в начале ее, наверное, закопано какое-то собственное несчастье. И, не околачивайся эта женщина в их доме, наверное, он бы просто-напросто жалел ее, не испытывая к ней того недоброго чувства, которое с трудом подавлял в себе и сейчас. Мысленно старался настроить себя на миролюбивый лад, но раздражение от ее присутствия все равно оставалось при нем, может быть, еще и потому, что они сидели в комнате, которая была комнатой его дочери, а эта, сидевшая напротив него, женщина, по долгу своей приживалочьей службы у его жены, рассказывала ему, как они провожали его дочь, и как все это было правильно, и как, наоборот, все было бы неправильно и трудно для Сюни, если бы она не решилась тогда отправить дочь вместе со школой...

— Вот что, — Лопатин прервал Гелю посредине фразы. — Вы не знаете, где мои валенки? Мне нужны валенки.

— В чемодане. Сюня попросила меня сложить зимние вещи, я сложила и пересыпала их нафталином, там и ваши валенки.

— Пожалуйста, достаньте их, если вам нетрудно.

— Сейчас достану.

— А я пока пройду к себе в комнату. Там есть свет?

— Вывинтите лампочку отсюда и ввинтите туда: есть только две лампочки — одна тут, а другая на кухне.

— Ну, вывинчу, а вы? — спросил Лопатин.

— А я зажгу лампочку на кухне, чемодан стоит там.

Она ушла на кухню, а Лопатин, вывинтив лампочку и на ощупь пройдя к себе в кабинет, ввинтил ее в стоявшую на столе черную пластмассовую настольную лампу, которые только что появились в магазинах в тридцать восьмом году, когда они вдруг получили эту квартиру. Его жена подарила ему эту лампу на новоселье. Теперь при свете он увидел, что в кабинете, оказывается, была застелена его тахта.

Он сел за стол и выдвинул в нем два левых нижних ящика.

В них лежало то, о чем он думал и в редакции, и по дороге сюда, то, с чем теперь, когда немцы так близко от Москвы, наверно, надо что-то сделать сегодня же. Если вообще — надо.

В этих двух ящиках было сложено все, что было начато и не кончено или записано впрок, на будущее,— начало романа, который на пятой главе прервала война, сделанные на Халхин-Голе заметки, про которые раньше считалось, что они непременно пригодятся для этого романа, и разное другое, про что он привык считать, что оно еще понадобится.

Несколько минут просидев за столом, в сомнении глядя на эти два ящика, набитые исписанной им в разное время бумагой, он со злостью задвинул их обратно. «Нашел о чем думать — понадобятся не понадобятся, допишу не допишу!» Все это было нелепо и неважно рядом с той мыслью, которая заставила его выдвигать эти ящики и разглядывать их содержимое: «А вдруг, пока ты будешь там, в Мурманске, немцы окажутся здесь, в Москве?» Мысль эта была настолько простая и настолько страшная, что, раз она против воли все равно сидела в затылке, было нелепо заботиться об этих ящиках. Какое все это могло иметь значение, если допустить, что простая и страшная, сидящая в затылке мысль может превратиться в действительность?

Выдвинув еще один ящик, он достал из него то, что ему в самом деле было нужно,— взял из довоенного запаса черных клеенчатых общих тетрадей две, которых должно было хватить на поездку в Мурманск, потом, поколебавшись, прихватил еще шесть — пусть лучше полежат в редакции. А когда встал, в дверях за его спиной уже стояла Геля с валенками под мышкой.

— Сюня написала мне,— она кивнула на тахту,— чтоб я о вас заботилась, если вы, приехав, захотите здесь жить.

— Спасибо, у нас казарменное положение. — Он взял у нее из рук валенки и, скрутив тетради, сунул их внутрь — по четыре в каждый.

— Если не секрет, вы куда-то опять едете?

Он сначала не хотел говорить ей про свой отъезд в Мурманск, но все-таки сказал.

— Я напишу об этом Сюне,— сказала Геля. — А может быть, вы сами напишете?

— Может, и сам напишу,— сказал он, не уверенный в том, что это сделает. Увидеть свою жену сейчас здесь, в этой, его, или в той, ее, комнате, он бы хотел и знал, что хочет этого. А захочет ли ей писать туда, в Казань, был не уверен. — Может, и напишу,— повторил он и, взяв валенки под мышку и надев фуражку, простился с Гелей и вышел, слыша, как там, сзади, за дверью,

она щелкает ключом и громко задвигает какую-то щеколду, которой раньше у них не было.

Поставив на пол валенки, чтоб застегнуть шинель, он услышал шаги спускавшегося сверху по лестнице человека и увидел пламя зажженной спички.

— Простите, вы из этой квартиры вышли? — спросил мужской голос.

— Из этой. А что? — Лопатин при свете спички вглядывался в говорившего. Фуражка, шинель, но что на петлицах, не успел разобрать — спичка догорела.

— Извините, сейчас зажгу. — Говоривший зажег еще одну спичку, и Лопатин увидел теперь и лицо — очень молодое и очень внимательное, даже напряженное,— и кубики младшего лейтенанта на петлицах шинели. — Извините, товарищ майор, это ваша табличка на двери, это вы Лопатин?

— Да, моя табличка, я Лопатин.

Младший лейтенант зашуршал спичками, кажется, хотел достать и зажечь еще одну, но Лопатин остановил его:

— Не чиркайте. Если вас что-то интересует, спустимся на улицу.

— Товарищ майор, лучше здесь,— попросил лейтенант, когда они спустились на следующую площадку,— меня внизу ждут, я там не хочу.

— А что вы хотите? — останавливаясь, спросил Лопатин.

— Да ничего я не хочу,— неожиданно сказал лейтенант. — Просто едем через Москву на фронт и удалось с вокзала — сюда. Я раньше, до тридцать седьмого года, жил в этой квартире, где вы. Посмотрел дощечку, кто здесь теперь? Оказывается, вы.

— К несчастью, я. Живу в ней по ордеру с мая тридцать восьмого года,— сказал Лопатин и, вспомнив, как все это было тогда, добавил: — На всякий случай, хочу, чтоб знали: дверь распечатали при мне, и было там, внутри,— хоть шаром покати.

— Я так и думал,— сказал лейтенант. — А меня в то лето, в тридцать седьмом, послали на школьные каникулы гостить к маминой сестре, во Фрунзе. Я не хотел, но отец велел ехать. Так и остался там, с седьмого класса. В этом году, когда подал заявление — на фронт,— сначала не взяли. А потом зачислили на курсы младших лейтенантов: республиканский военный комиссар служил в гражданскую у отца командиром роты.

— А чего вы сейчас выше этажом ходили? — спросил Лопатин. — Вы ведь сверху спустились.

— Хотел узнать — там над нами еще жили... Стучал, стучал — не достучался. Что они, тоже?..

— Нет,— сказал Лопатин. — Семья в эвакуации, он — на фронте. В данном случае — лучше, чем вы думали. Кто вас ждет внизу?

— Тоже москвич, младший лейтенант. Нас вместе до двадцати трех часов уволили.

— И ночной пропуск дали?

— Дали. Командир полка у коменданта вокзала добился.

«Да, видимо, хороший у тебя командир полка»,— молча пожимая на прощанье руку лейтенанта, подумал Лопатин.

Перед подъездом топталась долговязая фигура в шинели.

Младшие лейтенанты уже ушли, спеша на метро, а Лопатин все еще не мог сдвинуться с места, и в ушах у него мучительно стояло: «Это ваша табличка на двери? Это вы Лопатин?..»

21

Телеграмма от редактора — возвращаться из Мурманска в Москву — и правда пришла ровно через месяц, на другой день после сообщения Информбюро, где кроме Волоколамского и Тульского направлений впервые появилось еще и Клинское. Это значило, что немцы обходят Москву уже и с севера.

На смену Лопатину так никто и не прибыл. Как видно, после тех пяти очерков, которые он передал по военному проводу из Мурманска, он стал нужнее в Москве, чем тут. Был соблазн сразу же, глядя на ночь, выехать в Беломорск, в штаб Карельского фронта, и оттуда добираться до Москвы как получится — самолетом или поездом, по выстроенной перед самой войной ветке через Обозерскую на Вологду. Но оставалось мешавшее этому, не доведенное до конца дело. Лопатин попросился у морских разведчиков сходить с ними в одну из их операций. Попросился сразу, как приехал, считая, что раз уж его загнали сюда во время боев под Москвой — то как раз для этого. Но морское начальство три недели не давало добро, потом что-то заело с погодой, операцию переносили со дня на день и лишь сегодня утром твердо сказали, что вечером пойдут.

Лопатин представил себе, как он придет к морским разведчикам и, показав им телеграмму редактора, стыдясь, пробормочет что-нибудь из того, что принято в таких случаях. И, отбросив эту мысль, в назначенное время прибыл в назначенное место.

Построенные на пирсе разведчики последний раз осматривали свое снаряжение, радист проверял на слышимость рацию.

В морозном тумане несколько раз слабо пискнули позывные, и белые маскхалаты один за другим, как в преисподнюю, стали проваливаться со стенки пирса.

Внизу на мелкой волне тихо шлепал морской охотник — маленькое, но крепко сбитое суденышко. В ночь эвакуации Одессы такие же, как этот, морские охотники вместе с быстроходными катерами самыми последними покидали горящий порт.

Заместитель начальника морской разведки майор Рындин и командир диверсионной группы капитан-лейтенант Иноземцев спустились на охотник позже всех — один впереди, другой — позади Лопатина.

Охотник отвалил и пошел к выходу из Кольского залива. Волна понемногу прибавлялась. Разведчики и Иноземцев пошли вниз, в кубрик, а Лопатин с Рындиным остались на палубе.

— А верно, чудно́е чувство, когда перед операцией сдаешь на хранение партбилет? — спросил Рындин с такой уверенностью, что оба они коммунисты, что Лопатину пришлось сделать некоторое усилие над собой, объясняя, что он беспартийный.

— А чего же это вы? — брякнул Рындин с той грубой откровенностью, к которой Лопатин уже привык за время их встреч.— Не приняли, что ли? Социальное происхождение подвело, да?

Лопатин сказал, что нет, социальное происхождение его не подводило, а просто как-то так уж вышло: в молодости не вступил, а потом, с годами, привык к тому, что беспартийный.

— Так я вам и поверил! Просто ваша литературная среда, богема заела! — сказал Рындин. — Но теперь-то вы наш, военный. Походите с нами, ребята вам сразу рекомендации дадут. Жалко, я уезжаю!

— Ну, это вы, положим, врете,— сказал Лопатин.

Рындин выпучил глаза — так, словно его обокрали, употребив его собственный излюбленный оборот речи.

— А разве нет? — сказал Лопатин. — Нисколько вам не жаль, что вы уезжаете! Сами же вчера в меня весь вечер внедряли, как рады, что ваш рапорт удовлетворен.

Речь шла об одном из тех рапортов, которые кто только не подавал тут, в Заполярье,— о переводе на Западный фронт, под Москву. Из офицеров морской разведки тоже чуть не половина подала рапорты о переводе в бригады морской пехоты. Но пока что согласие дали одному Рындину — то ли потому, что он коренной москвич и нажал на это в своем рапорте, то ли ему, как всегда, повезло.

— Все верно. Соврал. Рад! — сказал Рындин. — Тем более что напоследок успеваю сходить еще и в эту операцию. Вчера считал, что уже не успею.

— А погода, по-моему, сегодня даже хуже, чем вчера,— оторвав руку от поручня, чтобы вытереть лицо, и чуть не вылетев за борт, сказал Лопатин. Ему хотелось узнать, почему их четыре дня подряд не выпускали из-за погоды, а сегодня вдруг выпустили. Каждое утро он сдавал в сейф свои документы, а вечером брал обратно. Хочешь не хочешь, а такие ежедневные «туда-сюда» трепали нервы.

— Да разве в погоде было дело,— рассмеялся Рындин. — Это вам травили, для порядка. Добро не из-за погоды не давали, а потому, что агентурная не подтверждала смены гарнизона. А сегодня подтвердила. Там, на мысу, у них батарея с ротой прикрытия. Агентурная сообщила, что вчера они все вывели, кроме патрулей. Вот и ловим момент, пока смена не пришла. Застать там сто человек или десять — большая разница.

«Черт бы вас драл,— подумал Лопатин. — Или бы не брали, или бы говорили все как есть».

Рындин почувствовал его досаду. Он вообще был странный человек — этот Рындин: то чурбан чурбаном, а то сверхчуткая мембрана.

— Я уже шумел про вас начальству,— сказал он, приблизив к Лопатину свое толстое мокрое лицо и круглым жестом, как кошка лапой, стирая с него брызги. — Зачем морочите голову? Введите в курс дела. Но разве он послушает?

Речь шла о начальнике морской разведки, капитане первого ранга Сидорине — человеке спокойном, вежливом и до такой степени застегнутом на все пуговицы морских уставов, что шуметь в его присутствии было все равно что кричать в церкви. Даже Рындин, умеряя босяцкий характер, говорил при нем в пол своего голоса, то есть как все остальные люди.

— Он у нас сам себя на ночь запечатывает,— перебарывая крепчавший ветер, крикнул Рындин в самое ухо Лопатину. — А вы хотите, чтоб он заранее всю подноготную! Тем более вы, оказывается, беспартийный. А почему вы беспартийный? Можете мне объяснить без разных ваших интеллигентских штучек? Как-никак на диверсию идем.

— А чего вы ко мне пристали? — сказал Лопатин. — Когда будете мне рекомендацию писать, тогда и расскажу без интеллигентских штучек. А пока — обойдетесь.

Рындин расхохотался. Он любил, когда ему давали отпор. Не обиделся и сейчас.

— Вижу, вы в хорошем настроении,— с удовольствием глядя на его веселую круглую рожу, сказал Лопатин, вернее, крикнул. Ветер был такой, что не кричать было нельзя.

— В замечательном,— весело заорал Рындин и попробовал заголосить одну из своих фальшивых арий, но волна влепила ему в открытый рот пол-литра воды, и он долго отплевывался, хохоча и ругаясь. Потом перегнулся над поручнем и хрипло, так, что Лопатин еле расслышал, сказал: — Ступайте в кубрик. Сейчас будет паршивая картина.

Лопатин не сразу понял, почему он должен уходить.

— Идите от меня к черту. Совесть у вас есть? — крикнул Рындин и сломался пополам над поручнем. Его рвало.

Лопатин спустился в кубрик морского охотника, до отказа забитый людьми.

Когда в такой тесный кораблик влезает сверх комплекта еще двадцать человек, как их ни рассовывай, ступить все равно некуда.

Иноземцев сидел на краешке скамейки, держа на коленях маленькую походную доску с втыкающимися фигурками, и сам с собой играл в шахматы. Лопатин уже не раз видел до этого Иноземцева, но все никак не мог привыкнуть к его лицу: месяц назад ему в рукопашной схватке прострелили из парабеллума нос. Пуля прошла навылет, и по сторонам носа у него два темных круглых пятна.

Разведчики потеснились и очистили Лопатину место рядом с капитан-лейтенантом.

— Как там майор береговой службы? — спросил Иноземцев, подняв на Лопатина свои глубокие угрюмые глаза. — Уже травит или пока обошлось?

Он, как успел заметить Лопатин, недолюбливал Рындина, а сегодня вдобавок был недоволен, что тот — уже одной ногой в Москве — навязался идти в операцию.

Рындин, хотя и любил говорить о себе, что он моряк, на самом деле никогда не принадлежал к плавсоставу и бессильно злился, когда Иноземцев, подчеркивая это, называл его по всей форме — товарищ майор береговой службы.

Иноземцев, наоборот, как Лопатин узнал не от него, а от других, всегда плавал. А в разведку попал три месяца назад. Его подводную лодку в первые дни войны забросали глубинными бомбами, и он, единственный из всего экипажа, вернулся с того света и месяц лежал в госпитале, синий, как покойник. Новой лодки ему не дали — не было, и он пошел в морскую разведку, специализируясь на диверсиях и проводя их одну за другой с жестокостью, редкой даже среди разведчиков. На этой почве они, кажется, впервые и схлестнулись с Рындиным во время одной из операций — брать или не брать с собой пленных? Иноземцев командовал этой диверсионной груп-

ной, но Рындин был старшим, и последнее слово осталось за ним. С тех пор Иноземцев не любил ходить с ним в операции. Так говорили Лопатину, и это было похоже на правду.

— Как, сыграем? — спросил Лопатин.

— Не хочу. Скучно! — сказал Иноземцев. — Все равно выиграете. Думаете, я забыл, как вы меня шесть раз обставили в первый день знакомства?

— А я дам вам фору.

— А я фору не возьму у самого господа бога,— сказал Иноземцев и вдруг спросил: — Не укачиваетесь?

— Пока что нет,— сказал Лопатин, не став добавлять, что за свою жизнь довольно много плавал, в том числе и здесь, на севере.

— Рындина, если больше трех баллов, выворачивает, как барышню,— сказал Иноземцев. — Будь я на его месте, давно бы не выдержал, пошел в пехоту.

— Вот он и пошел,— пошутил Лопатин.

Но Иноземцев шутки не принял:

— Откуда вы взяли? Вовсе он не поэтому!

Оказывается, капитан-лейтенант Иноземцев был справедлив. Справедливость начинается с готовности отдать должное тем, кого не любим.

— А вы чего пошли с нами? — спросил он Лопатина, после того как новая волна два раза — туда и сюда — повалила их друг на друга.

Рындина забавляло, что с ним идет в операцию корреспондент. А этого, кажется, раздражало.

— Получил такое приказание от редактора,— не вдаваясь в подробности, ответил Лопатин.

— Тогда другое дело,— сказал Иноземцев, и Лопатин понял, что капитан-лейтенант удовлетворен его объяснением и теперь будет лучше относиться к нему.

— Сколько нам еще ходу?

— При такой волне до места еще часа три с половиной,— подумав, сказал Иноземцев. — Но мы высадимся на пятнадцать километров дальше нашей точки. Под самым носом у них нельзя. Считайте, четыре часа до высадки, а потом пятнадцать километров пешком. Сколько вам лет? — За этим вопросом было подозрение — не станет ли он, Лопатин, для них обузой, пока они будут идти эти пятнадцать километров пешком.

— Сорок пять, а что?

— В сентябре с нами в операцию ходил один политрук из газеты, но, правда, молодой.

Замечание следовало понимать так, что могли бы найти и помоложе его, Лопатина.

Лопатин ответил, что политрук был из другой газеты, а от «Красной звезды» он сейчас здесь один, и это деловое объяснение, кажется, вновь удовлетворило Иноземцева, как и предыдущее — про приказ редактора.

— Оружием владеете? — спросил он.

— Стрелять, если надо, умею.

— А как с гранатами?

Рындин перед самой отправкой всучил Лопатину две гранаты-«лимонки».

— Только теоретически.

— Теоретически — это мало! — без насмешки сказал Иноземцев и потряс за плечо прикорнувшего на полу старшину разведчиков, белокурого парня, сонно дышавшего розовыми детскими губами.

— Чехонин! Возьмите у товарища интенданта второго ранга две гранаты.

«Да, этот все знает,— усмехнувшись над собой, подумал об Иноземцеве Лопатин. — И то, что я беспартийный, и поэтому, значит, не батальонный комиссар, а именно интендант второго ранга, и то, что я рад развязаться с моими гранатами и, стало быть, излишне спрашивать моего согласия».

Чехонин, не вставая с полу, взял у Лопатина из рук в руки гранаты и на бечевках подвязал их к поясу рядом с четырьмя, уже висевшими там. Пересев на полу поудобней, он прислонился головой к коленке Лопатина и снова заснул. Шапка свалилась с его головы, и Лопатин невольно залюбовался на его золотые есенинские кудри. Этот синеокий парень вообще был чем-то похож на Есенина, такого, каким застал его Лопатин, впервые приехав в Москву.

Лопатин не часто думал на войне о своем возрасте, а сейчас подумал. Этому прислонившемуся к его коленям парню было самое большее двадцать два, а спящий он казался еще моложе. «Женись я раньше и иначе, у меня уже мог быть такой сын»,— подумал о себе Лопатин. И спросил у Иноземцева:

— А вам сколько — тридцать три?

Иноземцев кивнул.

— И двое детей, да? — Лопатин имел привычку спрашивать вот так, утвердительно, и часто угадывал.

— Двое. Вам что, всю анкету заполнить или только семейное положение?

— Я же вам заполнял?

— Положим, так. — Иноземцев поднялся. — Схожу посмотрю на погоду! Чехонин, пропустите!

Перешагивая через спящих, он дошел до трапа и исчез, а поднявшийся, чтобы пропустить его, Чехонин, попросив разрешения, сел рядом с Лопатиным.

— Вы, товарищ майор, товарищу капитан-лейтенанту больше про его детей не говорите.

— А что с ними, погибли? — Лопатин с досадой подумал, что без нужды, просто так, взял и ковырнул в чужой ране.

— Нет, в Сибири. Пока он в госпитале лежал, его жена их к своей матери отправила. А сама с ним осталась: пошла санитаркой в госпиталь. А он теперь гонит ее к детям, а она не едет, хочет быть здесь, при нем. Каждый раз, как с операций приходим, ждет капитан-лейтенанта на пирсе. Она к нему, а он ей: «Еще не уехала?..» И мимо... Не может ей простить, что она к детям не едет. Характер на характер. Придем с операции — увидите.

— Красивая?

— Не знаю, не заглядывался,— строго ответил Чехонин.

Через час Рындин вызвал Лопатина наверх. Взошла луна, и качка заметно уменьшилась.

— Кто ее звал, какого хрена она явилась? — мотнул Рындин головой в сторону луны: за шуткой чувствовалась тревога — светлая ночь не благоприятствовала операции.

Было так светло, что Лопатин хорошо видел лица обоих — и Рындина и Иноземцева. Рындина, наверно, за это время выворотило наизнанку. Его толстое лицо стало таким белым, что густые сросшиеся брови казались нарисованными. Иноземцев хмуро сосал трубку, зажав ее ладонью, чтобы не попадали брызги.

Лопатину показалось, что они перед его приходом объяснялись.

— Вот чудак,— кивнув на Иноземцева, сказал Рындин. — Настаивал, чтобы, пока он операцию проводит, я на охотнике в море болтался, прикрывал его.

— И что я тебе за прикрытие? — повернулся он к Иноземцеву. — Пушка на охотнике все равно одна, второй у меня в кармане нет!

Иноземцев упорно молчал, явно не одобряя, что Рындин впутывает в их разговор третьего лишнего.

Но Рындин гнул свое:

— В самом деле, совесть у тебя есть — предлагать мне, чтобы ты воевал, а я при сем присутствовал?

— Я изложил вам свое мнение,— не принимая товарищеского тона, сказал Иноземцев. — Ваше дело приказывать!

— А что еще приказывать? Как сказал, так и будет! — обрубил Рындин.

— Скоро подходим. Разрешите идти готовить людей? — сухо спросил Иноземцев.

— Идите.

Оставшись вдвоем с Лопатиным, Рындин разоткровенничался:

— Видали, что за человек? Хоть бы сообразил, что я в свою последнюю операцию иду, настроения бы не портил! — Он даже сплюнул за борт от обиды. — Себя самого считает природным разведчиком, а если я воюю без постной рожи, со смехом и с песней во весь голос, значит, я уже не разведчик, просто мне везет, что цел! А операций, между прочим, мы с ним провели так на так — по двенадцати. И сегодня и у него и у меня — чертова дюжина.

— А я, назло приметам, считаю число тринадцать как раз счастливым,— сказал Лопатин.

— А я об этом даже и не думаю,— рассмеялся Рындин. — Счастливое число — вообще дурость! Счастливый человек — другое дело... Вот вы, например, счастливый человек. Сегодня здесь, на Ледовитом, а какой-нибудь месяц назад были на Черном, в Одессе!

Лопатин ответил, что видеть эвакуацию Одессы было не такое уж счастье.

— Но ведь эвакуация-то прошла на ять! По крайней мере, судя по тому, что вы нам сами рассказывали при первой встрече. Или тогда наврали, а теперь совесть зазрила?

— А вы полегче на поворотах! — сердито сказал Лопатин. — Все, что рассказал вам тогда, могу повторить и сейчас, слово в слово. Но счастливым человеком себя не чувствовал. Ни дураком, ни уродом не был.

Удивленный этой вспышкой Рындин, не найдясь, что ответить, схватился за свой здоровенный бинокль и сделал вид, что он что-то разглядывает в море, хотя разглядывать, кажется, было нечего, а Лопатин, отвернувшись от него и глядя в летевшую по борту воду, снова, в который раз, вспомнил ту свою последнюю одесскую ночь, когда уходили в Севастополь.

Немцы запоздало бомбили опустевшую гавань, горели пакгаузы. Катера грузились при мерцающем дымном свете пожаров. Начальник одесской морской базы, высокий хладнокровный бо-

родатый моряк, неторопливо постукивая каблуками по бетонному пирсу, подошел к иронически наблюдавшему за бестолковой бомбежкой генералу Ефимову и небрежно бросил руку к козырьку:

— Товарищ командующий, разрешите пригласить вас перекусить...

— Пошли! — Ефимов широким жестом захватил всех, оказавшихся рядом, и первым вошел в стоявший тут же, у пирса, опустевший домик командного пункта. Там, внутри, не было ровно ничего, кроме накрытого белоснежной скатертью стола с бутылками и бутербродами. Стол стоял как вызов судьбе и немцам. Все, не садясь, выпили по стакану вина, глядя в красные от пожара окна. И Ефимов и моряк понимали, что этот их последний не то ужин, не то завтрак на пирсе — щегольство и даже мальчишество, но в тоже время он — и последняя их молчаливая пощечина врагу, только сейчас, с опозданием на сутки, опасливо подходившему к окраинам вымершего города.

Дожевав бутерброды, все спустились по трапу на плясавший под ногами катер. У Ефимова были тяжелые, свинцовые от усталости глаза. Вспышка озорства прошла. Впереди был Севастополь, а позади — два месяца боев по колено в крови и все-таки, несмотря на всю эту кровь, оставленная Одесса...

— Так-то, товарищ корреспондент,— сказал Ефимов, дернул контуженой головой и невесело посмотрел в глаза Лопатину своими свинцовыми глазами. И отсвет пожара на миг сделал их кровавыми...

Нет, какое уж тут счастье! Просто люди делали все, что могли. Такое чувство действительно было. Но под ним — горечь, залитая в душу по самую пробку.

Лопатин так долго молчал, что Рындин, наверное решив, что он обиделся, подошел, положил ему руку на плечо и сказал, что насчет вранья он пошутил, хотя с кем не бывает — и разведчик иной раз наврет как сивый мерин, и у писателей не без этого.

Лопатин кивнул и объяснил, что вспомнил про Одессу и задумался, поэтому и молчал.

Рындин, забыв свою тяжелую руку на плече у Лопатина, глубоко вздохнул:

— Жалко ребят! — Ребятами он называл всех хороших, по его мнению, людей — от солдата до генерала. — Как они теперь там, в Севастополе? Из осады в осаду! И когда вы их еще уви-

дите... Вот и я,— он еще раз вздохнул,— сам напросился под Москву, а сегодня стою всю дорогу, травлю за борт и думаю: прощай, Заполярье, прощайте, дружки-разведчики, прощай, подводная холера — капитан-лейтенант Иноземцев. Со всеми ругался, а всех жалко! И никакое Информбюро не скажет, когда вас снова увижу... Фронт-то какой! Махина! — воскликнул он, наконец освободив плечо Лопатина и широко раскинув руки. — Отсюда до Севастополя! И людей на нем — нет числа, и умирают каждый день многие тысячи... А мы тут как песчинки. Лазаем в разведки из-за какого-нибудь мостика или трех пушчонок и радуемся, словно золотое яичко снесли... А кто умрет завтра, а кто в самый последний день — не нам выбирать. А кто доживет до конца — с того чарка! Так, что ли, товарищ Лопатин?

Спросил и, словно устыдясь своей растроганности, во всю глотку гаркнул на луну:

— Ну что ты прямо, как фара, в глаза лепишь!

Море и небо сейчас, при свете луны, были почти одного и того же густого, ровного серого цвета, и только на горизонте, где смыкались два их серых полотнища, появилась чуть заметная пятнистая чернота.

— Что это? — показал на нее Лопатин.

— То самое, куда идем, Норвегия.

Судя по всему, дело шло к высадке. Палуба заполнилась белыми фигурами разведчиков.

«Теперь уже скоро»,— подумал Лопатин, и мысль, что через пятнадцать или двадцать минут он сойдет на землю, где нет наших, а есть только немцы, смутила его своей непривычностью.

Иноземцев поднялся на палубу последним и сразу подошел к Рындину. Отойдя в сторону, они поговорили о чем-то, и Рындин подозвал Лопатина:

— Может, останетесь на охотнике, больно уж ночь светлая?

Лопатину захотелось сказать «да», но он сказал «нет», понимая, что Рындин ничего другого и не ждет, а свой вопрос задал по настоянию Иноземцева.

— Ну, что я тебе говорил? — отойдя от Лопатина, сказал он Иноземцеву таким громким шепотом, что его мог не услышать только глухой.

У берега было мелководье и камни, охотник не смог подойти вплотную — сходней не хватило, их нарастили досками, и двое краснофлотцев из команды влезли в ледяную воду и страховали перебегавших по доскам разведчиков, чтобы они выбрались на берег сухими.

Но Лопатин все-таки ухитрился окунуть в воду одну полу маскхалата. Она скоро замерзла и гремела на ходу, как жестяная, все пятнадцать километров, что они шли пешком по берегу.

И этот звук, казавшийся самому Лопатину неправдоподобно громким и отовсюду слышным, вспоминался ему потом, пожалуй, чаще, чем все остальное, происходившее с ним в ту ночь.

22

Когда морской охотник, взяв обратно на борт разведчиков, возвращался в Полярное, зарево подожженных немецких складов и взрывы боеприпасов провожали его еще целый час. Потом стало тихо. Под утро, когда уже были в своих водах, огибая с севера Рыбачий полуостров, качка совсем прекратилась. Рындина больше не травило, но он был в дурном настроении — злился, что его последняя диверсия обошлась без боя с немцами.

— Видите,— сказал он, подойдя к Лопатину,— шутил про чертову дюжину, а на поверку так оно и вышло — плюнуть и растереть!

Он сердито сплюнул за борт:

— Разве я об этом мечтал, когда шел?

Теперь, когда возвращались, Лопатину тоже, задним числом, начинало казаться, что и он не об этом мечтал. Когда опасность миновала, сделалось обидно, что немецкие патрули удрали в горы, не приняв боя, и разведчикам оставалось только жечь и крушить все, что у немцев было там, на этом мысу.

— А у вас раньше так бывало? — спросил Лопатин у Рындина.

— Один раз еще хуже было. Высадились, как говорится, не на тех координатах, два часа пустые скалы подметали клешами и отбыли восвояси. Но это когда было, а теперь прощальная гастроль — и такая неудача!

— Почему считаете, что неудача? — спросил Иноземцев. Он и до этого стоял рядом, облокотившись о поручень и глядя в воду, но молчал так упорно, что казалось, промолчит до самого Полярного.

— Не повоевал напоследок,— сказал Рындин.

— Задание выполнили полностью и без потерь,— сказал Иноземцев. — Я лично, наоборот, считаю, что удача.

— Для тебя удача, для меня неудача,— вздохнул Рындин и спросил Лопатина, долго ли еще он пробудет здесь, на севере.

Лопатин сказал, что нет, уже получил вызов и, как только напишет корреспонденцию и согласует ее у них, в морской разведке, сразу уедет в Москву.

— Жаль,— сказал Рындин,— а то еще раз-другой сходили бы тут без меня с Иноземцевым, он бы вам рекомендацию в партию дал. Как, Иноземцев, дал бы корреспонденту рекомендацию?

— Если, сколько положено для этого, вместе прослужили бы — дал,— сказал Иноземцев.

— А сколько положено? — спросил Рындин.

— А что, вы не знаете?

— А ей-богу, не знаю. Знал, да забыл. Месяц в одной части, что ли? Я теперь пехота, теперь мне с вами не служить...

И, присвистывая, пошел по палубе.

— А вы рапортов не подавали ехать под Москву? — спросил Лопатин у Иноземцева.

— Нет. Я воюю где прикажут.

— А вернуться на подводный флот не думаете?

— Об этом не мне думать,— сказал Иноземцев так угрюмо, что стало ясно: думает все время.

— Вот видите,— сказал Лопатин,— напрасно вы меня оберегали, не хотели спускать с борта. Все обошлось даже без выстрела...

— Я вас не оберегал,— сказал Иноземцев. — Просто боялся, что отстанете, придется или задерживаться из-за вас, или людей с вами оставлять. Не знал, что вы так хорошо по горам ходите. А что без выстрела, то почему я именно о вас должен думать? Почему у вас о себе такое представление, раз на вас, как и на мне, военная форма?

Лопатин ничего не ответил, подумав об Иноземцеве, что он правильный человек и что, когда подают в партию, рекомендации надо просить у таких, как он, а не у тех, кто готов дать ее любому...

Помолчав и сочтя, что достаточно поставил Лопатина на место, Иноземцев сказал миролюбиво:

— С выстрелами или без — раз на раз не приходится. Рындин считает, что если вы один раз в операцию с ним пошли, так он виноват перед вами, что боя не было. А люди рады, что задание выполнили — и без выстрела. На их жизнь всего этого еще хватит...

В Полярном Лопатин высадился первым, не дожидаясь Иноземцева и Рындина; у них оставались там, на охотнике, свои дела.

С Рындиным попрощался, а с Иноземцевым договорился прийти к нему в морскую разведку с очерком, чтоб он посмотрел.

— Когда придете? — спросил Иноземцев.

Лопатин сказал, что послезавтра.

Иноземцев помолчал, прикидывая что-то в уме.

— Если до обеда — застанете. — И отвернувшись от Лопатина, окликнул Чехонина: — Чехонин! Выводите и стройте личный состав.

Уже идя по пирсу, Лопатин вспомнил свой разговор с Чехониным там, на охотнике, про жену Иноземцева.

По пирсу, навстречу Лопатину, медленно шла женщина, в сапогах, полушубке и платке. Руки у нее были засунуты в карманы полушубка, а лицо было красивое, равнодушное, скучающее. Замороженное лицо, но, если его оттаять, еще неизвестно, что будет, может, оно окажется все в слезах.

Женщина шла по пирсу медленно-медленно, как будто боялась слишком рано дойти до того конца его, где стоял охотник.

Поднимаясь в гору по широкой циркульной лестнице, которую хорошо знают все, кто бывал в Полярном, Лопатин не удержался и оглянулся.

Внизу по пирсу строем шли разведчики, а на оставшемся позади них пустом куске пирса совершенно одна стояла женщина. Она стояла одна, и Лопатин долго не мог оторвать от нее взгляда, смотрел на нее, а думал о несчастьях в собственной жизни.

Потом на пирс поднялся Иноземцев. Женщина шагнула к нему и ожидающе вынула руки из карманов. Но он не обнял ее, а остановился, руки по швам, словно стоял перед строем. Что-то коротко сказал и пошел мимо нее по пирсу. Она постояла не поворачиваясь, лицом к морю, потом повернулась, заложила руки в карманы полушубка, догнала мужа и пошла с ним рядом. Они шли там, внизу, на фоне моря, и Лопатин хорошо видел: они идут, не касаясь друг друга плечами...

На узле связи его ждала новая телеграмма. Редактор требовал срочно, еще до отъезда, написать и передать по телеграфу материал о летчиках-истребителях, прикрывавших Мурманск, наверное, считал, что это могло пригодиться в связи с налетами на Москву.

Истребители, охранявшие Мурманск, исправно делали свое дело, но в самолет к ним за спину не залезешь, а писать с чужих слов всегда трудно. Потратив на это три дня, Лопатин засел за отложенный очерк о морских разведчиках и, дописав его, понес визировать.

Открыв дверь в знакомую комнату, он, к своему удивлению, увидел Рындина. Рындин сидел не за столом, а на столе, взгромоздясь на угол толстой ляжкой, и, дымя самокруткой, всей лапой, страницу за страницей, с хрустом листал какой-то иллюстрированный журнал. Наверное, английский или американский, с пришедшего недавно конвоя. Махорочный дым стоял до самого потолка.

— Вот какие у нас дела,— сказал он, слезая со стола.— Вот какие дела...— мрачно повторил он еще раз и, пройдясь по комнате, сгреб журнал и сунул Лопатину.

— Посмотрите! И откуда они, дьяволы, столько красивых баб берут, а главное, те сниматься в таком виде соглашаются...— сунул журнал и снова заходил по комнате.

Он был так явно не в себе, что Лопатин понял: все, о чем Рындин мечтал, накрылось — начальство взяло обратно согласие на его перевод в морскую пехоту под Москву, и он теперь бесится. Пожалев его, Лопатин не стал расспрашивать.

— Я, правда не по своей вине, на три дня опоздал — мы условились с Иноземцевым, что я зайду раньше. Он сегодня будет?

Рындин так резко повернулся к Лопатину всем своим массивным телом, что затрещал пол.

— А вы что, еще не в курсе наших дел?

И, увидев по лицу Лопатина, что не в курсе, сказал:

— Застрелили Иноземцева. Только что с поминок вернулся. Еще не спал и не брился...— И, словно надо было кому-то доказывать, что он еще не брился, потрогал толстой волосатой рукой сначала одну, потом другую щеку: — Видите...

Потом опять сел на стол и рассказал, как все получилось.

Его самого, оказывается, на три дня задержали, чтобы ввести преемника в курс дела, а Иноземцев в это время пошел на катере в Норвегию в условленном месте принять на борт двух наших, уже месяц находившихся там. Они не вышли в назначенное время. По закону надо было отвалить, но он все еще ждал их. В это время в скалах, в километре от фиорда, началась перестрелка. Услышав ее, Иноземцев пошел на риск: взял с собой группу и углубился навстречу выстрелам. Отходивших к берегу разведчиков спасли, перехвативший их немецкий патруль перебили, но в перестрелке Иноземцев был убит наповал.

— Вот сюда пулей,— сказал Рындин и ткнул себя пальцем между бровями.— Тело, конечно, не оставили, вынесли. Тем более что с ним Чехонин был... И старшину второй статьи Андреечева тоже убили, и тоже тело вынесли. Да вы его знаете!

Лопатин смотрел на Рындина, стараясь вспомнить эту фамилию.

— Знаете,— повторил Рындин. — Когда мы с вами ходили, помните, вы сорвались, где сильно переметено было, а краснофлотец, что с вами рядом шел, помогал вам обратно выбраться. Помните?

— Помню.

— Вот это Андреечев и был. Ему Иноземцев с самого начала приказал вас страховать. Он и страховал. Вот так... — помолчав, сказал Рындин и опять слез со стола и заходил по комнате. — Выпили крепко и покойника ругали, когда выпили.

— За что?

— За то, что умер... Инструкция строгая: раз в назначенный срок люди на тебя не вышли — отваливай! А нарушил, пошел на риск — умер!

Услышав это, Лопатин сказал, что Иноземцев был не похож на человека, склонного идти на риск, нарушая инструкции. Он, Рындин,— да, а Иноземцев — нет. Во всяком случае, по первому впечатлению...

Но Рындин перебил, не дав договорить:

— Вот и ерунда. На риск, если хотите знать, он чаще меня шел. Только я любил об этом трепаться, а он никогда. — И, посмотрев на Лопатина красными, еще пьяными глазами, добавил: — Все пишете, пишете о нас... Пишете, что первое на ум взбрело, а кто из нас какой, так и не знаете...

Он походил по комнате и, глядя не на Лопатина, а себе под ноги, сказал:

— Жена его как предчувствовала... Ни за что уезжать от него не хотела. Страстно его любила. Трижды ей литер оформлял, даже разговаривать с ней перестал. Дождалась все-таки... На поминках ни слезы не уронила... Это я понимаю — горе. Я бабьим слезам не верю...

— Наверное, уедет теперь к детям,— сказал Лопатин.

— Не знаю, не спрашивал... — Рындин по-прежнему глядел себе под ноги.

— А вы когда теперь едете? — спросил Лопатин.

— А я теперь, выходит, не еду. Рапорт обратно взял. Так что передавайте от меня привет Москве. Сами-то вы едете?

— Попытаюсь еще сегодня, поездом.

— Значит, проститься с нами пришли?

— Не только. — Лопатин объяснил, что договорился с Иноземцевым показать ему свой очерк.

— Давайте мне,— сказал Рындин, протягивая руку. Но когда Лопатин вынул из полевой сумки очерк, покачал головой: —

Я насчет этого ненадежный, если складно написано — обязательно увлекусь и какую-нибудь военную тайну не вычеркну. За одну статью в «Красном флоте» уже имел выговор. Пойдем вместе прямо к Сидорину — этот через свои очки ничего не проморгает...

Он сунул в карман черных флотских, заправленных в сапоги брюк кисет с махоркой и, грузно скрипя ступеньками, полез вместе с Лопатиным на верхний этаж к капитану первого ранга Сидорину.

23

За всю корреспондентскую жизнь Лопатина у него еще не было такого бешеного в смысле работы времени, как этот декабрь под Москвой, куда он вернулся в первый день нашего контрнаступления.

Когда фигура Лопатина в нескладно, по-бабьи сидевшем на нем слишком длинном полушубке появлялась вечером в коридорах «Правды», где теперь на четвертом этаже ютилась и «Красная звезда», дежурившие по номеру, радуясь, что он снова благополучно вернулся, с ходу поили его чаем и забрасывали вопросами: «Как там? Далеко ли прошли за Клин? Сильно ли разбит Калинин? Много ли видел на дорогах побросанных немцами танков и машин?» Он входил в кабинет к редактору доложить о поездке, а через пятнадцать минут уже шагал по машинному бюро, пятная пол оттаявшими валенками. Он не решался диктовать сидя, боялся заснуть.

Просидев три дня под Волоколамском, пока город не взяли, и написав еще один очерк, Лопатин вылетел на южный участок фронта к Одоеву. Когда он прилетел туда, город был уже занят; по улицам проходили тылы освободившей его кавалерийской дивизии.

У самолета подломился костыль, его надо было менять; волей-неволей пришлось заночевать в Одоеве.

Город был сильно разбит поочередно немецкими и нашими бомбежками и на треть сожжен немцами при отходе. Во всех, даже целых, домах были выбиты стекла. По заваленным снегом улицам медленно шли люди, они останавливались около домов — своих и чужих, заглядывали внутрь через разбитые вдребезги стекла, пожимали плечами, некоторые плакали. Кое-где мелькали непривычно выглядевшие вывески учреждений и частных парикмахерских, с надписями на русском и немецком языках. Наконец Лопатин добрался до здания райисполкома и зашел к председателю, который уже полдня как вернулся сюда вместе с первым вошедшим в город эскадроном.

Это был пожилой, легко, не по-зимнему, одетый человек, властный, громкоголосый, закрученный делами и удрученный зрелищем бедствий, постигших его родной город. В комнате стояла полутьма. Выбитые стекла были залатаны фанерой; одна женщина домывала пол, другая — растапливала печку. Кроме стола и стула, в комнате ничего не было, но в соседней комнате не было и этого — несколько посетителей теснилось там, стоя или сидя на подоконниках.

— Жалко, раньше не пришли,— сказал председатель, отдавая Лопатину его удостоверение. — Хорошие люди были — секретарь подпольного райкома и еще двое оставленных тут нами товарищей.

— А где они?

— Уехали в штаб корпуса — сведения о немцах давать.

— Жаль,— посетовал Лопатин и добавил, что, наверное, с кем поговорить найдется — в соседней комнате ждут приема несколько человек...

— Человеки, да не те! — сердито хлопнув по столу рукой, ответил председатель странной фразой, значение которой стало понятно, только когда в комнату вошел первый из ожидавших приема. Это был инженер горкомхоза, который, как выяснилось из последующего разговора, пустил при немцах выведенный из строя городской водопровод. Он пришел не по вызову, а сам, и держался спокойно, кажется не чувствуя себя особенно виноватым. Председатель райисполкома принял его наскоро, выслушал, стоя сам и не приглашая садиться, и, недружелюбно сказав: «Ладно, идите, мы с вами еще разберемся», отпустил.

— А с чем вы еще будете разбираться? — спросил Лопатин, когда инженер вышел.

— Как с чем? — поднял на Лопатина глаза председатель райисполкома. — Работал на немцев, сам сознается!

— Но водопровод-то, наверно, не только немцам был нужен, а и городу? — возразил Лопатин.

Председатель райисполкома посмотрел на него сердито, но неуверенно. «Ну что ты ко мне привязался? — было написано на его лице. — Оказался бы на моем месте, поглядел бы я на тебя».

— Я же говорю: будем еще разбираться,— неопределенно сказал он вслух и вызвал следующего из ожидавших — заведующего городской пекарней; он пек хлеб при немцах и, по первому впечатлению Лопатина, был прохвостом. Вслед за ним через комнату председателя прошли еще трое людей, остававшихся в городе на своих службах все время, пока в нем были немцы,— монтер с электростанции, врач из городской больницы

и какая-то женщина, работавшая в карточном бюро и с рыданиями говорившая, что хотя она и кандидат партии, но что же ей было делать, когда у нее на руках грудной ребенок и мать-инвалидка!

— Что тебе делать было — не знаю, а что ты в партии была — об этом забудь! — сказал председатель райисполкома, судя по всему знавший и жалевший эту женщину и все-таки твердо уверенный в правоте своих слов.

— Что же мне теперь делать? — продолжала рыдать женщина. — Нам хоть карточку-то дадут теперь?

— Иди бабам помогай, другие комнаты мой, а то весь райисполком в навозе, как будто Мамай прошел,— помолчав, сказал председатель и добавил ту же фразу, которой заканчивались все его разговоры: — Потом разберемся!..

— Слушайте,— сказал Лопатин уже глубокой ночью, вернувшись после обхода города в райисполком и пристроившись часика на два поспать рядом с председателем, в его кабинете, на двух брошенных на пол тюфяках. — Вот вы все говорите: «Потом разберемся, потом разберемся». А как мы будем потом разбираться?

— В чем разбираться? — усталым голосом спросил в темноте председатель.

— Ну вот хотя бы тут у вас,— сказал Лопатин. — Ведь какая-то часть населения здесь оставалась...

— Примерно до половины,— отозвался председатель,— а точней потом разберемся... — уже механически повторил он ставшую привычной за день фразу.

— Предположим, половина,—сказал Лопатин,— значит, несколько тысяч человек. Это же не деревня, где есть хотя бы спрятанные, закопанные запасы продовольствия, а все-таки город. Хлеб пекли в пекарнях, продукты давали по карточкам, воду брали из колонок, свет получали с электростанции... Нельзя же себе представлять, что вот сегодня пришли немцы, а завтра людям уже не нужно ни воды, ни хлеба, ни света — ничего!

— Насчет света ерунда! — прервал Лопатина председатель. — Электростанция — военный объект, посидели бы и на лучине! А монтер просто шкура: имел шанс взорвать — и струсил!

— А вы бы взорвали?

— Безусловно.

Председатель сказал это так просто, что Лопатин поверил ему.

— Ну, а эта женщина? Ведь какая-то выдача хлеба — я ходил по городу, спрашивал,— по нищенским нормам, но все же и при немцах продолжалась?

— Ну, была! — отозвался председатель.

— Или тот же водопровод... Я вот, например,— застрянь я здесь в положении этого инженера, не знаю, как бы поступил, честно вам говорю!

— А я, думаете, все знаю? — вздохнув, сказал председатель. — Я ведь тоже не чурка, заметил, как вы на меня смотрели, когда я говорил, что потом разберемся... А как иначе? У меня есть указание выявить всех до одного пособников фашистских оккупантов, и я его выполню, будьте покойны. У меня совесть есть! Жрать не буду, спать не буду, а выполню.

— Это я понимаю,— сказал Лопатин,— но кого считать пособником? Вот вопрос, в котором надо разобраться!

— Вот видите, как до дела дошло, и вы сразу на мой язык перешли — надо разобраться! А когда разбираться — сейчас или потом? — И Лопатин почувствовал, как председатель в темноте усмехнулся.

— Не знаю,— помолчав, сказал Лопатин,— знаю одно: не хочется, чтобы к радости примешивался испуг! За эти дни я много где был; и у людей, которые встречают войска, в глазах радость, а от вас уже несколько человек вышло с испугом в глазах...

— А у некоторых и должен быть испуг в глазах,— жестко сказал председатель.

— У некоторых, да! — так же жестко, нажав на слово «у некоторых», ответил Лопатин.

— Вот и напишите в свою газету то, что вы мне говорите,— сердито сказал председатель.

— И напишу,— принимая вызов, ответил Лопатин.

Несколько минут оба лежали молча, устав спорить и не в состоянии заснуть. Потом председатель заворочался, вздохнул и сказал:

— Вот вы ко мне пристали с этой женщиной... А теперь я вас спрошу: как, по-вашему, бывают или не бывают неразрешимые противоречия?

— По-моему, бывают.

— А как вы их разрешаете?

— То есть как?

— А вот так — оно неразрешимое, а вы обязаны его разрешить. Как тогда?

Лопатин не знал — как тогда? Так и не ответив на этот вопрос, он долго лежал в темноте с открытыми глазами, вспоминая то эту навзрыд плачущую женщину из карточного бюро, то Арабатскую Стрелку и ту, другую женщину, черную и тихую,

с ее бесстыдно простыми словами про обещанные немцами деньги.

Да, конечно, когда все это, и черное и белое, вот так очевидно, как ему преподнесла судьба, очевидно как на ладони — тогда проще. А если не так очевидно? А если не как на ладони, а как в двух зажатых кулаках и неизвестно, что из какого вытащишь? И все-таки, все-таки...

Он заснул с этим упрямым «все-таки» в душе и так и привез его с собой в Москву.

За всю поездку в Одоев война не напомнила ему о себе ни единым выстрелом, ни малейшей опасностью, но от этого было не легче, а трудней. Пройдя сквозь опасность, легче потом стоять на своем. На этот раз опасностей за плечами не было. Если были — то впереди.

Не заходя к редактору, чтобы тот не сбил его, Лопатин заперся и к вечеру написал очерк «В освобожденном городе». Он постарался, хотя бы мягко, провести свою вчерашнюю мысль о радости и испуге, испуге напрасном, потому что после восстановления нормальной жизни в каждом освобожденном городе мы сумеем быстро и правильно сделать различие между действительными пособниками фашистов и людьми, которые вынуждены были оставаться на своей работе в интересах населения. Злясь на себя, Лопатин по нескольку раз исправлял и смягчал каждую, казавшуюся ему мало-мальски резкой, формулировку, он боялся, что любая из них может поставить под угрозу весь очерк.

— Уже знаю, что ты вернулся,— сказал редактор, когда Лопатин с очерком в руках вошел в его кабинет,— но приказал тебя не отрывать. Есть одна важная новость для тебя, но давай сначала прочтем.

Фразу насчет новости Лопатин пропустил мимо ушей — наверное, еще какая-нибудь поездка, которую редактор считает особенно интересной,— и, став у него за плечом, стал следить, как тот читает очерк.

Редактор поставил сначала одну птичку, потом вторую, потом третью, жирную,— против слова «испуг». Поставил, повернулся к Лопатину, словно желая спросить его: что же это такое? Но раздумал и уже быстро, не ставя никаких птичек, дочитал очерк до конца.

— Хорошенькая теория,— сказал он, бросив на стол очерк и быстро зашагав по комнате. — Большой подарок немцам сделал бы, напечатав твое творение...

— Почему подарок?

— Почему? — переспросил редактор, останавливаясь перед Лопатиным и закладывая большие пальцы за ремень. — Ну давай кого-нибудь еще позовем, пусть почитают, может, у меня ум за разум зашел... — Он уже подошел к столу, чтобы нажать кнопку звонка, но передумал. — Нет уж — пожалею тебя, забирай! — сказал он, складывая очерк вчетверо и протягивая Лопатину. — И выбрось это из головы, и вообще выбрось... Все равно в собрание сочинений не войдет...

— А все-таки почему? — не беря очерка, упрямо спросил Лопатин.

— А потому,— сказал редактор,— что немцы возьмут твой очерк и перепечатают во всех своих вонючих оккупационных листках, мол, не бойтесь, дорогие оккупированные граждане, милости просим, служите у нас, даже если потом опять попадете в руки Советской власти, все равно ничего вам за это не будет...

— А по-моему, не перепечатают. Какой им расчет перепечатывать? Наоборот, им больше расчета внушить, что как только мы придем, то всех, кто при немцах оказался на какой-нибудь работе или службе, вольно или невольно,— всех подряд за решетку...

— Это по-твоему,— не найдя, что возразить, сказал редактор. — Скажи, пожалуйста: одни виноваты, другие не виноваты, третьим чуть ли не благодарность за то, что они служили у немцев, надо объявлять... Ты только подумай, к чему ты, по сути, призываешь в своей статье...

— К тому, чтобы всех не стригли под одну гребенку, только и всего.

— А гребенка тут и должна быть только одна — служил у немцев или не служил! Время военное, все эти «с одной стороны, с другой стороны» надо отставить по крайней мере до победы.

— Допустим,— упрямо сказал Лопатин,— а все-таки как надо было поступать этому инженеру-коммунальнику, о котором я пишу?

— Не знаю,— отрывисто сказал редактор. — Не надо было оставаться или не надо было на работу являться... Самому думать, как поступать. А раз остался, пусть теперь расхлебывает кашу...

И вдруг Лопатин совершенно забыл и то, как он выстругивал свой очерк, чтобы там не было ни сучка ни задоринки, и то, как он заранее решил не ввязываться в бесполезные споры: слова редактора насчет расхлебывания каши взбесили его.

— Слушай, Матвей! Как тебе не стыдно! Что значит «пусть расхлебывает»? Что же, эти люди виноваты, что ли, что мы отступили почти до Москвы? Мы отступили, а они пусть расхлебывают?

— Надо было отступать вместе с армией,— отрезал редактор, злясь от сознания собственной неправоты.

— Матвей...

— Что Матвей?

— А то, что у тебя пять корреспондентов в окружении остались, не сумели выйти, а ты хочешь, чтобы эта женщина с грудным ребенком и матерью-инвалидкой вместе с войсками ушла?! Ты хочешь, чтобы от границы до Москвы все успели на восток уйти, когда немцы летом танками по сорок километров в сутки перли... Кому ты говоришь? И ты, и я это своими глазами видели! А теперь «пусть расхлебывают», да? Что ты передо мной-то дурака ломаешь, извини, пожалуйста.

— За «дурака» могу извинить, а за настроения твои другой бы на моем месте тебя по головке не погладил,— сказал редактор, останавливаясь перед Лопатиным и глядя ему прямо в глаза.— И я бы не погладил, если бы немного похуже тебя знал.

— А ты не гладь.

— А ты не нарывайся! То, понимаешь, намекает, что мы немцам лишние потери приписываем, то всепрощение проповедует... Укороти язык, а то пожалеешь.

— А я знаю, с кем разговариваю,— сказал Лопатин, тоже прямо глядя ему в глаза.— Я с тобой, а не с Кудриным разговариваю...

Кудрин был работник редакции, у которого с началом войны открылась малопочтенная страсть сообщать по начальству разговоры корреспондентов. Он надеялся благодаря этому подольше пастись в аппарате, но не разгадал характер редактора и пулей вылетел на фронт.

— И на том спасибо,— поворачиваясь спиной к Лопатину и снова начиная мерять шагами комнату, сказал редактор.— Но если хочешь знать мое, лично мое, мнение,— повернулся он из угла кабинета,— разговор твой не ко времени. Увидел пять взятых городов и расчувствовался, а мы, между прочим, не Берлины берем, а под Москвой еще сидим, если глядеть правде в глаза. Рано разнюниваться! Сейчас без железной руки не только то, что отдали, не вернем, но и то, что вернули, между пальцев упустим. Жаль, тебя Сталин не слышит, он бы тебе в два счета мозги вправил!

— Не знаю, не уверен,— сказал Лопатин.

— Не знаешь? — яростно переспросил редактор, и на его лице промелькнуло такое выражение, что Лопатину показалось — редактор знает что-то такое, чего не знает он. — В общем, хватит! — сказал редактор. — Совесть надо иметь! Когда вам от меня достается — это вы знаете! А что мне за вас бывает — это одна моя шея знает! — Он сердито хлопнул себя по шее. — Забирай к чертовой матери свой очерк и считай, что у нас не было этого разговора. — Редактор снова схватил очерк со стола и на этот раз, почти скомкав его, сунул Лопатину. — Забирай, иди и высыпайся, завтра под Калугу поедешь!.. Подожди! — воскликнул он, когда Лопатин был уже у дверей. — Позвони домой, совсем из памяти выскочило — к тебе жена приехала.

— Алло! — раздался в трубке густой бас Гели, когда Лопатин набрал знакомый номер.

— Здравствуйте,— сказал Лопатин. — Ксения дома?

— Сейчас позову,— сказала Геля. — Сюня с дороги моет голову.

Лопатин, наверно, минуты три ждал у трубки, пока в ней раздался голос жены.

— Ну где ты пропадаешь, иди скорей домой,— с капризной нежностью сказала она таким тоном, словно он задержался в магазине.

— Сейчас буду,— выдохнул в трубку Лопатин, которого, несмотря на разозливший его тон жены, как всегда при звуках ее голоса, охватило торопливое желание поскорей увидеть ее.

Он медленно ехал по ночной Москве, останавливаемый фонариками патрулей, и думал о неразберихе своей семейной жизни. За последние два месяца он почти приучил себя к мысли, что на сей раз война, кажется, развела их окончательно, но вот, неизвестно как и почему, жена вдруг вернулась в Москву, ему сказали, что она моет голову, он услышал ее знакомый голос из знакомой квартиры, и — пожалуйста, готово, его снова тянуло к ней, как глупое бревно по течению.

Что ему было делать с ней, все еще молодой, красивой и глупой, и с собой — уже немолодым, некрасивым и умным, а в общем-то, наверное, тоже глупым, раз он не только женился на ней, но прожил с нею пятнадцать лет?

Наконец машина миновала последний патруль, и Лопатин подъехал к своему дому. Жена встретила его в дверях точно такая, какой он ожидал ее увидеть: в купальном халате, с мокрыми распущенными по плечам волосами и бисеринками пота на белом выпуклом лбу без единой морщинки.

— Не через порог, не через порог, а то поссоримся,— сказала она, когда он обнял ее, и, отступив на шаг, потянула его внутрь за собой, так что он сразу почувствовал все тепло и всю силу ее тела.

24

Пили чай далеко за полночь вместе с Гелей. До этого Лопатин с женой два часа провели вдвоем, и Ксения имела добродушно-самодовольный вид человека, целиком исполнившего свой долг и уверенного, что к ней теперь можно испытывать только одно чувство — благодарность. Самое глупое, что это было близко к истине.

Дом вторую неделю топили, и Лопатин сидел за столом в пижаме, которой не надевал с начала войны, и в туфлях на босу ногу. Сидел обалдевший и отуманенный, не способный даже на свои обычные подтрунивания над Гелей.

За чаем Лопатин услышал, что его жена, работая завлитом театра, за время их разлуки наконец почувствовала себя вполне самостоятельной и нужной не только мужу, но и другим людям личностью, которой он не давал ей стать, пока был с ней рядом.

Он выслушал эту тираду молча. В их жизни так уж повелось, что, от времени до времени устраиваясь куда-нибудь на работу, она всякий раз почему-то считала, что делает это в пику мужу.

— Я знаю, что ты в душе недоволен,— говорила она,— но я не вправе принадлежать только тебе и забывать, что я тоже человек.

Он же как раз, наоборот, бывал доволен, когда она работала: тогда у нее оставалось меньше свободного времени и в доме говорилось меньше глупостей, чем обычно. Потом, через полгода, ей надоедало работать, и она начинала рассказывать длинные взбалмошные истории о том, как ее не ценят и не понимают, и Лопатин с тоской предвидел, что пройдет еще месяц, она уволится, и человеком, не понимающим и не ценящим ее, опять окажется он сам.

То, что его жена еще с конца прошлой зимы снова начала работать, не удивило Лопатина. «Но почему она и сейчас, почти год спустя, все еще довольна своей работой? И почему, судя по ее словам, ею тоже довольны? Кто ей там ворожит и почему? — подозрительно думал сейчас Лопатин, глядя на жену. — Все-таки удивительно красивое у нее лицо».

Он вспомнил, как в первые два-три года после женитьбы все силился привести в соответствие то, что болтала Ксения,

с тем одухотворенным, загадочно-красивым выражением лица, с которым она несла свою чепуху.

И, вспомнив об этом, с печалью подумал о дочери, от которой третьего дня пришло в редакцию еще одно короткое письмо; в нем, как и в прежних, было достаточно взрослого понимания войны, чтобы не просить отца приехать.

В свои четырнадцать лет она, кажется, уже составила собственное суждение и о матери, и об отце. Иногда, еще до войны, он ловил на себе ее удивленный взгляд: почему он без матери — один, а при матери — другой, не похожий на себя.

«А она похожа на меня»,— подумал Лопатин и с горечью попробовал себе представить, что творится в душе девочки, которая знает, что отец на войне и если даже хочет, то не может быть с нею, а мать вполне может, но, неизвестно почему, не хочет. Едва он успел подумать об этом, как жена сама заговорила о дочери.

— Завтра нам с тобой вдвоем нужно будет обязательно написать ей письмо.

Когда она говорила «обязательно», это вовсе не значило, что она это сделает.

— Я ей напишу про наш театр. Ей будет интересно, как ты думаешь?

Лопатин неопределенно хмыкнул.

В этот момент томившаяся молчанием Геля, на свое несчастье, решила вступить в разговор.

— Я считаю,— сказала она,— что Сюня права.

«Еще бы»,— подумал Лопатин. С тех пор как он помнил Гелю, Сюня всегда была права.

— Да, права! — с апломбом, басом повторила Геля. — Я вам уже один раз говорила это — Сюня правильно сделала, что отправила Ниночку вместе со школой. В такое время, как сейчас, детей надо принципиально приучать к самостоятельной жизни.

— Права она или не права, но что вы-то понимаете в этом — что нужно и чего не нужно детям? Помолчали бы по крайней мере, сделали бы мне личное одолжение! — желчно сказал Лопатин.

— Опять ты грубишь Геле,— сказала Ксения. — Когда ты от этого отвыкнешь? Неужели, если у человека не удалась личная жизнь, надо непременно тыкать его в это носом.

— Это у нас с тобой личная жизнь не удалась,— брякнул Лопатин,— и не без участия Ангелины Георгиевны,— кивнул он на Гелю.

Это было несправедливо: Геля появилась, когда их жизнь уже все равно не удалась.

Геля звякнула чашкой о блюдце и гневно вышла из комнаты. В другое время Ксения не спустила бы этого мужу, но сейчас ее так распирало желание выболтать все, что она знала о своем театре, что она и после ухода Гели продолжала журчать как ни в чем не бывало, пока подкошенный многодневным недосыпанием Лопатин не начал клевать носом.

— Ну вот, всегда, когда я начинаю говорить не о твоих, а о своих делах, тебя клонит ко сну,— вспыхнула она, но тут же сменила гнев на милость: — А может быть, ты и правда хочешь спать. ты, наверно, устал. — Ей только теперь пришла в голову эта простая мысль.

25

Утром, когда Лопатин проснулся, Ксения еще спала. Вчера ему показалось, что в доме тепло, но с утра батареи были как лед. Он прошел босиком из спальни в коридор, сунул ноги в валенки, поверх пижамы надел в рукава полушубок и в таком виде отправился к себе в кабинет. Против обыкновения, он уже несколько дней не прикасался к дневнику. Вытащив из кармана клеенчатую тетрадку, он стал вкратце записывать свои встречи [illegible] разговоры в Одоеве. Но ровно через пять минут жена ото- [illegible] от этого занятия.

— Ну, какая пыль,— бухнувшись на тахту, воскликнула она таким тоном, словно Лопатин забыл выбить эту пыль к ее приезду. — Уже пишешь! Неужели раз в жизни нельзя с утра поваляться в постели, как все нормальные люди!

Лопатин пробормотал, что все нормальные люди как раз не валяются с утра в постели, и, наморщив лоб, чтобы не потерять нить важных для него мыслей, попытался дописать еще несколько фраз под жужжание жены, не обращавшей внимания ни на его занятия, ни на выражение его лица. Обхватив руками колени и раскачиваясь на тахте, она продолжала вчерашний рассказ о своем театре,— оказывается, она прилетела сюда не одна, а с Евгением Алексеевичем.

Евгений Алексеевич, как еще вчера понял Лопатин, был новым директором их театра; он прилетел в Москву, чтобы вывезти какой-то впопыхах забытый, а теперь нужный до зарезу реквизит. А Ксения прилетела с ним, чтобы привезти из Москвы новые пьесы, тоже, по ее словам, нужные до зарезу. Одна из этих пьес репетировалась здесь в единственном оставшемся в Москве театре, говорили, что она хорошая и что ее написал один военный корреспондент, у Ксении, как назло, вдруг выскочила из памяти его фамилия.

— Говорят, молодой и симпатичный, с усиками. Ты его знаешь! Он тоже у вас. Какой он? Правда, симпатичный, можно с ним разговаривать? — приставала она к мужу.

— Можно,— продолжая писать, буркнул Лопатин, вспомнив своего молодого и щеголеватого сослуживца. — Немного пижон, но в общем ничего.

— Хоть бы ты когда-нибудь о ком-нибудь хорошо отозвался!

— А чего мне о нем хорошо отзываться,— усмехнулся Лопатин. — Он молодой и красивый, а я старый. Пойдешь к нему за пьесой, еще влюбишься, чего доброго!

— Вечно у тебя глупости на уме. Перестань сейчас же писать!

— Ну, перестал...

— Слушай, а может, ты сам напишешь нам пьесу? Почему бы тебе не написать нам пьес[illegible]? — [illegible] подпрыгнула на тахте от радостно озарившей ее идеи. — Да нет, ты просто обязан нам это сделать.

— Кому обязан, почему обязан? Ну почему я вдруг обязан писать вам пьесу?

— Нельзя быть эгоистом,— сказала Ксения. — Ты вп[illegible] можешь написать пьесу, значит, это твой долг! Мало [illegible] тебе не хочется!

— Да я отроду пьес не писал!

— Я тоже до прошлой зимы никогда не была завлитом,— победоносно сказала Ксения.

Не найдясь, что возразить против такого аргумента, Лопатин махнул рукой.

— Ладно, я подумаю...

— И нечего думать! Попросишь у своего редактора отпуск, полетишь вместе со мною и за месяц напишешь там пьесу. Гораздо лучше, чем все твои корреспонденции! Все равно они приходят к нам, когда мы все это уже слышали по радио.

Последнее замечание жены окончательно разозлило Лопатина: ему вспомнился и вчерашний разговор с редактором, и погибшие товарищи, и то, какой ценой доставались иногда корреспонденции...

— Никакого отпуска просить я не буду,— сказал он,— и никуда с тобой не полечу.

— Ну и грубо.

Лопатин вздохнул и вспомнил, что ему сегодня с утра надо являться к редактору и не то лететь, не то ехать под Калугу.

— Долго ли ты здесь пробудешь? — спросил он.

— Не знаю. Как будут дела у Евгения Алексеевича. Я полечу обратно вместе с ним.

— А то мне надо сегодня поехать дня на два, на три...

— Куда поехать?

— На фронт.

— Глупости! — сказала Ксения.

— Не глупости, а приказание редактора.

— Не может быть! Он был вчера так мил со мною, когда я говорила с ним по телефону, он же отлично знает, что я к тебе приехала. Я просто возьму трубку и позвоню, чтобы он тебя никуда не посылал, пока я здесь.

Угроза была глупой, но реальной.

— Сейчас напьемся чаю, и я поеду,— сказал он, пресекая разговор.

— Хорошо,— сказала Ксения. — Я теперь уверена, что у тебя тут что-то появилось без меня.

— Война у меня появилась без тебя,— угрюмо сказал Лопатин. — Война, понимаешь!

У него был смешной вид — в пижаме, валенках и полушубке, но жена прекрасно знала, что, несмотря на этот смешной вид, решение его бесповоротно, и сочла за благо сделать то, что всегда делала в таких случаях,— заплакала. Ей вовсе не так уж безмерно хотелось, чтобы он остался, но она просила, а он не остался; от этого страдало ее самолюбие, и слезы были отчасти искренними. Впрочем, она всегда плакала без затруднений, легко и красиво.

Чай пили в глубоком молчании. Лопатин сидел по одну сторону стола, а Сюня и Геля — по другую. Пока он брился и одевался, они уже успели перемолвиться и теперь восседали против него, обиженные и страдающие от собственного решения не говорить за столом ни слова.

— Ну ладно, до свидания,— крикнул Лопатин, уже надев ушанку и стоя в коридоре.

Жена сорвалась с места, подбежала и порывисто и жадно поцеловала его в губы, прошептав: «Только потому, что на фронт, иначе бы и не прикоснулась к тебе».

Уже спускаясь по лестнице, Лопатин вспомнил, что из-за всей этой болтовни так и не поговорил с женой о том, о чем больше всего хотел поговорить, — о дочери. «Ладно, вернусь и поговорю,— подумал он. — Не уедет же она, в самом деле, за эти два-три дня».

Газета вышла поздно, редактор только что встал и сидел за столом невыспавшийся, с набухшими веками.

— Можешь пока не ехать,— сказал он Лопатину. — Пошлю вместо тебя Гурского. Он давно просится. А ты вместо него посидишь здесь на правке, одну-две передовые дашь. Вчера сгоряча не сообразил, что, раз приехала жена, надо дать человеку пожить в Москве.

— Ничего, она еще побудет здесь,— не желая менять своего решения, сказал Лопатин,— а я съезжу и вернусь.

— Смотри, как знаешь, но не задерживайся. Доберись до Калуги, первый материал в зубы, и назад,— сказал редактор, решивший, что Лопатин хочет поехать, чтобы загладить их вчерашнюю размолвку, и довольный этим. — Прямо сейчас поедешь?

Лопатин кивнул.

— Тогда зайди в фотоотдел. Туда к ним от меня пошел клише брать для своей газеты Васильев, армейский редактор. Он тебя захватит до Тулы. А в Туле — наш Тихомиров и наша «эмка».

Лопатин зашел в фотоотдел и действительно застал там укладывавшего в полевую сумку пачку клише худого батальонного комиссара в плохо сшитой горбатой шинели. Лицо у батальонного было злое и желтое.

Когда Лопатин попросил подвезти его, батальонный поморщился и сказал, что выедет в Тулу только в четырнадцать — через три часа.

— Хорошо,— сказал Лопатин. — А где мне найти вас через три часа?

Батальонный почему-то заколебался и спросил, знает ли Лопатин, где Ваганьковское кладбище.

— Конечно,— недоумевая, ответил Лопатин.

— Если будете там, у ворот, ровно в четырнадцать, возьму вас. — Батальонный застегнул полевую сумку, снова поморщившись, посмотрел на Лопатина, надел ушанку и ушел не прощаясь.

Возвращаться домой было уже ни то ни се, и Лопатин скоротал два часа в редакции, выиграв подряд семь или восемь партий в шахматы у всех, кто попал под руку.

Потом, вскинув на плечо полупустой вещевой мешок, дошел до трамвая и с пересадкой к четырнадцати добрался до Ваганькова. У ворот кладбища стояла небрежно обмазанная белой маскировочной краской фронтовая «эмка» с цепями на колесах. «Эмка» была заперта, возле нее никого не было — шофер куда-то ушел. Скинув с плеча мешок и приткнув его к подножке, Лопатин стал прохаживаться возле машины.

Кругом было пустынно. Мимо Лопатина в ворота въехали сани, запряженные тощей клячей. На санях стоял гроб, сбитый из горбыля с большими щелями. Рядом с гробом сидела замореная женщина в платке, повязанном поверх шляпки. Проехали сани, потом, свистя тяжелой одышкой, прошел пожилой, хорошо одетый мужчина, таща за собой на веревке санки с детским гробом. И снова долго никто не входил в ворота кладбища и не выходил из них.

Наконец из ворот вышел батальонный комиссар, похожая на него, такая же худая, как он, до синевы заплаканная девушка лет восемнадцати и рослый хмурый шофер. Он отпихнул ногой мешок Лопатина и полез в машину.

Батальонный жестом показал Лопатину, чтобы тот устраивался впереди, а сам с девушкой сел сзади.

— Подъезжай сначала к управлению тыла,— приказал батальонный шоферу.

Лопатин сидел впереди и думал о том, что люди по-прежнему умирают и просто так. Сзади него тихо переговаривались отец и дочь.

— Если совсем не будут топить, переезжай к тете Нине,— говорил отец.

— Не хочу, она к маме так ни разу и не пришла,— ответила дочь.

— Ты же знаешь, что она болеет.

— Не хочу, она каждый кусок будет считать,— упрямо повторила дочь.

— Так кусок-то твой,— сказал отец. — Я вам с ней буду весь аттестат переводить. Она будет не вправе.

— Все равно не хочу,— так же упрямо повторила дочь.

— Ну, как хочешь,— вдруг согласился он.

Потом они заговорили так тихо, что Лопатин некоторое время ничего не слышал. Потом девушка горько всхлипнула и сказала:

— Верно, мама красивая лежала в гробу, как будто не болела?

За спиной Лопатина установилось молчание и послышался хриплый звук, перешедший в кашель. Отец боролся со слезами.

— Не надо, папа, не надо, ну прошу тебя, не надо... — умоляюще сказала девушка, и звуки кашля за спиной Лопатина затихли.

«Вот у них горе,— подумал Лопатин о людях, сидевших за его спиной,— а у нас с Ксенией так, маета... Хотя если убьют — тоже поплачет».

Машина остановилась на улице Горького, около здания Музея Революции, окна его были забиты деревянными щитами.

— Сейчас перейдешь на ту сторону,— как маленькой, стал объяснять отец дочери, открыв дверцу машины,— и зайдешь вон в тот подъезд, в первый, в бюро пропусков. Там позвонишь Филиппову по двадцать седьмому, скажешь, кто ты, и он тебе закажет пропуск. Я его предупредил.

— А если он меня не возьмет? — сказала девушка.

— Возьмет, он мне обещал. Он мне вчера сказал, что им нужны машинистки.

— А если не возьмет? — снова спросила девушка.

— Не возьмет — напишешь,— сухо сказал отец и, не вылезая из машины, обнял и поцеловал ее. — Ну иди, иди...

Она вышла из машины, и он, прильнув к стеклу, проследил за нею, пока она не перешла улицу и не скрылась в подъезде управления тыла.

— Поехали,— сказал он.

Машина пересекла занесенную снегом и нерасчищенную Красную площадь, свернула по набережной на Полянку и выехала на шоссе. Батальонный комиссар сидел сзади и упорно молчал.

За Подольском закипел радиатор, шофер остановил машину, открыл дверцу, полез за заднее сиденье, с грохотом вытащил оттуда ведро и побежал за водой. Пока он доливал воду, из радиатора вырывались столбы пара и под сильными порывами морозного ветра, переломившись, отлетали в сторону.

Когда шофер наконец завернул пробку радиатора и влез в машину, Лопатин решился повернуться к своему спутнику.

— Может, пересядете вперед, товарищ Васильев?

— Не надо,— сделал тот слабое движение рукой. — Если хотите, сами пересядьте на заднее.

Он подвинулся на сиденье, и Лопатин сел рядом с ним — туда, где недавно сидела его дочь.

— Сволочи люди,— вдруг ни с того ни с сего сказал Васильев. — Настоящие мародеры! Было бы на фронте, пострелял бы своей рукой.

— Я одного по уху зацепил, когда вы вперед ушли,— сказал шофер.

— Зацепил, а что толку? Все равно были мародерами и останутся...

— А что, в чем дело? — спросил Лопатин, чувствуя, что пришло время поддержать разговор.

— За все дай! — сказал Васильев. — За место — дай! За то, чтобы могилу вырыли,— дай! За то, чтоб сегодня, а не завтра похоронили,— дай! Даже за то, чтобы землей засыпали,— дай!

Как будто можно землей не засыпать. А хотя с них все станется — не дашь, так и не закопают! Вытащат гроб из земли, в сторону поставят и кого-нибудь другого на этом месте похоронят, и опять — дай! Дай хлеб, дай сахар, дай табак! Дай водки! Дай, дай, дай!

— А если не дать? — сказал Лопатин.

Васильев печально и зло усмехнулся:

— На кладбище не заходили?

— Нет.

— И хорошо сделали. По неделе прямо на снегу гробы стоят, как в очереди — кто последний, я за вами! Это у тех, кто не дал. Не дал, потому что нету. Кто же пожалеет дать, если есть? Этим и пользуются, сволочи. Был бы я московским комендантом,— помолчав, сказал он,— сократил бы патрули и выделил наряды бойцов на кладбищах могилы копать. Ничего бы не составило. А так собралась — ряшка к ряшке — бесстыжая компания из пьяных инвалидов и просто жуликов, пользуются сложившимся положением, нашли себе теплое местечко — кладбище!

Раздражение на какую-то минуту даже заставило его забыть о собственном горе.

— Жена за меня беспокоилась,— сказал он после молчания,— а хоронить мне ее пришлось. Пока сообщили, пока доехал, только и осталось, что похоронить. Еще спасибо, что отпустили под предлогом командировки, а то лежала бы там в очереди. — Его передернуло от собственных слов. — Дочь-то у меня видели какая — безрукая... Горе — а они дай, дай, дай, дай! Как злые попугаи: копают — матерятся, опускают — матерятся. Ни стыда нет, ни совести, только глотка и брюхо. — Он снова надолго замолчал.

Лопатин с пронзительной печалью подумал, что жизнь и смерть идут своим чередом и какие-то люди жадно урывают себе куски и на жизни и на смерти. «Жуки-могильщики»,— подумал он. Что ж, бывает и похуже! Кормятся и вокруг госпиталей, и вокруг этапных пунктов, и на станциях — при билетах, и в столовых при миске супа, на которую до того в обрез отпущено, что неизвестно, что выловить в свою пользу, а все-таки вылавливают, догола, до воды!

Что же, раньше, до войны, этого не было? Или он, как слепой, ходил и не видел? Или во время войны, когда, кажется, всему этому уж и вовсе не место, наоборот, его стало больше? Или испытания войны всколыхнули в людях так много сильного и чистого, что нечистое сразу лезет в глаза, как пятна на снегу?

Где тут правда? И как это будет после войны: неужели то же будет?

Впереди расстилалось обледенелое, скользкое, серо-белое накатанное шоссе; по сторонам в сугробах мелькали и пропадали деревни. Километров за сорок до Тулы шофер притормозил: на обочине шоссе валялись перевернутые повозки и грузовики.

— Еще недавно, видите, докуда танки Гудериана добирались? — выходя из оцепенения, сказал Лопатину Васильев. — Вон из той лощины шоссе простреливали. А сейчас мы — под Калугой. Может, даже взяли. Я когда вчера в Москву выезжал, шли бои на окраинах.

Прошел еще час, и «эмка» въехала в Тулу.

Лопатин бывал здесь до войны, но сейчас город трудно было узнать — он был весь перегорожен рогатками и баррикадами из обрезков полосового железа, болванок, ржавых газовых труб и прессованной металлической стружки — всего, что на скорую руку сгребли на старых заводских дворах и для прочности местами прихватили сваркой.

Проехав по окраине города мимо неприметных одноэтажных домов, в которых размещался штаб армии, армейский редактор высадил Лопатина у маленького чистенького домика, где квартировал корреспондент «Красной звезды» батальонный комиссар Тихомирнов.

Лопатину пришлось довольно долго помолотить в дверь, прежде чем ему открыл Тихомирнов — в валенках и без пояса.

— Знал бы — подождал, не обедал,— радушно встретил он Лопатина,— но борщ еще не остыл, и сто граммов найдутся! Странно подумать, но мы с тобой не видались с финской! Надолго ли к нам?

— Пока не возьмете Калугу. Или ты ее уже взял?

— Не так-то скоро сказка сказывается! Давай сперва заложи базис, а потом уж требуй информации. Информация все же надстройка!

Пока Лопатин ел борщ, казавшийся ему на диво хорошим, Тихомирнов, скинув валенки и удобно, по-турецки, подсунув под себя ноги в шерстяных носках, сидел напротив, на кровати, на фоне коврика с прудом и лебедями, и ласково смотрел на Лопатина своими черными, вкрадчивыми, девичьми глазами. У этого поповича, в пятнадцать лет ушедшего из отчего дома в комсомольцы и задолго до войны, еще в тридцатом, на раскулачивании, получившего свою первую пулю, была обманчивая внешность ласкового бездельника. На самом же деле он был человек хотя и веселый, и умевший удобно устроить свою жизнь в любой

обстановке, но при этом неутомимый в работе и беспощадный к себе и другим. Редактор только и делал, что на летучках ставил его в пример.

Лопатин доел борщ и принялся соскребать со сковородки пшенную кашу с жареным луком. Встретившись взглядом с Тихомирновым, он улыбнулся:

— Хорошо живешь, Алеша Попович! Расскажи, как твои дела? Как дезориентируешь своим тихим видом остальную пишущую братию и как потом вставляешь ей фитили? Или ты переменился?

— Да в общем, нет. — И Тихомирнов со смехом начал рассказывать, как, испуганные его оперативностью, от него теперь ни на шаг не отходят скопившиеся в Туле корреспонденты газет, ТАСС и радио.

Лопатин смеялся, слушая Тихомирнова, и, только доскребя кашу и закурив, вернулся к тому, с чего начал, — как с Калугой?

Тихомирнов спустил ноги с кровати, вынул из планшетки карту и стал объяснять обстановку: две дивизии прорвались к Калуге еще позавчера и дерутся за город, но между Калугой и Тулой пока что слоеный пирог, дороги перерезаны отходящими немцами, и связь со своими только по воздуху.

— Сейчас к вечернему докладу должен вернуться из-под Калуги офицер связи. Тут летает один, капитан из оперативного: другие и бьются, и горят, и путаются, а он каждый день, как несгораемый, улетает и возвращается с донесением. Ты ляг, поспи, а я схожу в оперативный, узнаю. Завтра днем, если обстановка позволит, и мы с тобой будем в Калуге. На «эмке», подозреваю, не пробьемся, а один У-2 на двоих как-нибудь выцыганим!

26

С утра, вопреки метеосводкам, была метель. Со связного аэродрома в снежную пелену поднялось сразу шесть У-2 — четыре с летевшими на передний край офицерами связи и два с корреспондентами.

Сначала, в первые полчаса полета, за пеленой снега в воздухе были видны очертания двух других У-2, но потом и они исчезли. Самолет летел больше часа, и, по расчету времени, ему пора было оказаться где-то около самой Калуги, но внизу ничего похожего не было видно. Машину болтало то над лесом, то над снежными полями, то над пепелищами деревень — повсюду было пусто и не видно ни жителей, ни войск. Постепенно у Лопати-

на возникло противное ощущение, что летчик и сам уже не знает, где летит. Наконец, помотавшись над большим лесом, самолет сел на выходившую к опушке просеку. С просеки вдали смутно просматривалась колокольня. Летчик, как и предполагал Лопатин, не имел представления, где они сели. Сел потому, что блуждать дальше не позволяло горючее — бензину оставалось мало.

— Ладно,— сказал Тихомирнов, когда они сели. — Я схожу на разведку в деревню, узнаю. Если будете знать название деревни,— со злым спокойствием обратился он к летчику,— это для вас достаточный ориентир, чтоб хоть в Тулу вернуться?

— Достаточный,— сказал смущенный летчик.

— Смотрите, а то еще раз сядете — сами ориентироваться пойдете.

— Я с тобой пойду,— предложил Лопатин.

— А какой смысл? Узнать название — я и один узнаю, а если увижу немцев, один тоже скорей убегу — как-никак помоложе тебя лет на пятнадцать.

Тихомирнов подтянул пояс на полушубке и взял автомат.

— Если за час не обернусь — летите не дожидаясь, значит, немцы застукали. А будете ждать — и до вас доберутся. — Он улыбнулся с трудом, как показалось Лопатину, и, повесив на шею автомат, пошел, увязая в глубоком снегу.

Вернулся Тихомирнов через час с четвертью. Видневшееся вдали село с колокольней называлось Подгорное, летчик сразу же нашел его на карте. До Тулы было всего семьдесят километров, бензину хватало. Жители рассказывали, что утром через деревню прошел отряд немцев, человек сто — половина обмороженных.

— Сравнительно повезло,— сказал Тихомирнов. — Могли сесть и хуже. Ничего не поделаешь, вернемся в Тулу. — И добавил, не заботясь, слышит или не слышит его летчик: — Не люблю растяп. Можно бы попробовать дотянуть и до Калуги, но с этим боюсь!

И ему и Лопатину казалось, что неудачи этого дня уже позади, но не тут-то было. На просеке лежал глубокий снег. Как ни форсировал летчик мотор, самолет буксовал и не трогался с места. Тихомирнов ругал себя за то, что не взял из деревни мальчишек, которые просились проводить его до самолета. Промаявшись минут десять, решили выходить из положения: летчик остался в кабине, а Лопатин и Тихомирнов вылезли и стали раскачивать самолет за крылья. Он двинулся с места, но сразу так быстро, что они не успели вскочить в него. Летчик проехал пятьдесят метров, развернул самолет и снова за-

стрял. Так повторялось раз за разом: если летчик брал с места медленно — самолет останавливался и застревал в снегу, а если брал быстро — Лопатин и Тихомирнов не успевали вскочить.

— Снимем полушубки,— сказал Тихомирнов. — Попробуем без них.

Они засунули полушубки в кабины и, подперев спинами крылья самолета, стали раскачивать его. На этот раз, когда самолет сдвинулся, они успели догнать его, вскочить на крылья и, уже на взлете, ввалиться в свои кабины. С Лопатина градом лил пот. Он отдышался только у самой Тулы; садились там уже в темноте, едва не напоровшись на телеграфные столбы.

В штабе армии им сказали, что из утренних шести самолетов их вернулся первым. Один свалился на лес, не долетев до аэродрома; летчика и офицера связи повезли в госпиталь. Второй — с корреспондентами — сел на вынужденную, и корреспонденты звонили, что добираются обратно попутными средствами. Об остальных ничего не было известно, очевидно, тоже заблудились в снегопаде и где-то сели... Пока Тихомирнов выяснял все это у адъютанта начальника штаба, в комнату быстро вошел маленький человек в громадном, обсыпанном снегом полушубке. У него было красное лицо и заиндевевшие брови; щурясь от света, он вытирал их багровой обмороженной рукой.

— Был? — вставая за своим канцелярским столом, спросил адъютант.

— Был! — радостно ответил человек в полушубке. — Прямо на окраину приземлился, на футбольное поле. Уже больше полгорода освободили!

— Значит, поздравляю с Красным Знаменем! У командующего слово твердое, раз был — значит, все!

— Начальник штаба у себя? — не отвечая, спросил человек в полушубке.

— У себя, проходи,— ответил адъютант.

Человек в полушубке, тяжело переступая ногами в заснеженных валенках, скрылся в дверях кабинета.

Это и был тот самый несгораемый капитан, который снова благополучно вернулся, на этот раз из самой Калуги.

— Ты иди отдыхай, а мне придется его подождать,— сказал Тихомирнов Лопатину. — Надо дать в редакцию хоть какую-то телеграмму. Вот черт, добрался все-таки!

Лопатин один вернулся в комнату Тихомирнова, лег на кровать и только теперь почувствовал, что не может ни согнуться, ни разогнуться — кажется, он надорвался, ворочая самолет. В живо-

те была такая боль, словно все кишки, одну за другой, перерезали тупым ножом.

«Ничего себе поездка!» — сердито подумал Лопатин и вдруг пожалел, что не остался в Москве. До сих пор, вспоминая о жене, он думал о своем отъезде без сожаления — будь что будет! — а сейчас ему опять бессмысленно показалось, что еще что-то можно поправить, хотя он сам не мог бы себе ответить, что поправить, как поправить и, главное, стоит ли поправлять? Он просто-напросто малодушно хотел видеть жену. Вот и все.

Тихомирнов появился через час вдвоем с неожиданно приехавшим из Москвы Гурским. Значит, он все-таки выпросился сюда, под Калугу!

— П-прибыл в качестве резерва главного командования,— с порога сказал Гурский, протирая платком свои толстые очки. — Б-буду завтра вместо тебя брать Калугу.

— Почему вместо меня?

— А т-тебя вызывает редактор. Как всегда, срочно, немедленно, аллюр т-три креста!

— А почему?

— Не знаю. Хотел п-поставить по команде «смирно» и спросить, но потом вспомнил, что он дивизионный комиссар, а я ряд-довой, необ-бученный, и раздумал.

— Ты сегодня поедешь? — спросил Тихомирнов Лопатина. — Если на его машине,— кивнул он на Гурского,— то она сейчас в гараже. Будет готова через два часа.

— Врет,— сказал Гурский. — Послал мою машину куда-нибудь за п-продуктами и за водкой. Я его знаю...

— В общем, будет через два часа,— не подтверждая и не опровергая, сказал Тихомирнов. — Все-таки вы, черти, аристократы,— сказал он, обращаясь одновременно и к Лопатину и к Гурскому,— когда какую-нибудь деревню Пушкино брать, для этого мы, постоянные, а как Калугу, так одного за другим гастролеров присылают.

— А ты н-не жалуйся,— сказал Гурский. — Во-первых, у тебя, п-по моим сведениям, в Туле уже есть красивая баба...

— Предположение, не подтвержденное фактами.

— А что ты отп-пираешься, ты же холостой! И вообще, ты везде как сыр в масле катаешься!

— Вот не дам тебе водки, тогда будешь знать, как со мной разговаривать,— сказал Тихомирнов.

— На т-такую крупную подлость ты не способен.

— Значит, через два часа будет машина? — прервал их Лопатин.

— К трем ночи доберешься,— сказал Тихомирнов. — А то, может, до утра останешься?

— Раз ехать, поеду сегодня,— сказал Лопатин, снова подумав о жене.

Через час, когда старушка — хозяйка дома поджарила им толстую деревенскую яичницу, а Тихомирнов, вопреки своим угрозам, поставил на стол бутылку сырца, в комнату ввалились еще двое корреспондентов, те самые, что сели на вынужденную и добирались попутными средствами. Один из них был до невозможности неразговорчивый и этим не похожий на всех остальных фотокорреспондентов, фотограф Хлебников из «Правды», а другой — специалист по передовицам — красивый крупный бровастый мужчина по фамилии Туликов. В Москве он сидел всю оборону безотлучно, на фронт из редакции своей московской газеты вырвался всего во второй раз и, в противоположность видавшему виды Хлебникову, задыхался от желания поскорей выложить события сегодняшнего дня. Он был одновременно и заносчив и простодушен, и, когда, покончив с собственными фронтовыми испытаниями, вслед за этим завел разговор о шестнадцатом октября в Москве, Гурский насмешливо прицелился в него через свои толстые очки белобилетчика.

Туликов, который после вынужденной посадки уже выпил где-то по дороге, а придя к Тихомирнову, сразу картинно хватил чайную чашку разбавленного сырца, витийствовал за столом, громя тех, кто, услышав по радио, что положение ухудшилось, тут же, шестнадцатого октября, бежал из Москвы. К его природной горячности примешивалось двойное возбуждение — от пережитого и выпитого. Всех, кто уехал из Москвы, он называл «куйбышевцами» и «ташкентцами» и говорил о шестнадцатом октября так, словно в этот день между всеми уехавшими и всеми оставшимися пролегла черта всемирно-исторического значения.

— Мы им этого не забудем,— говорил он, теребя свои ненатурально большие, густые светлые брови. — Хотя, когда они благополучно вернутся, они наверняка захотят поставить все на прежние места! Сейчас они отсиживаются, но потом они захотят прийти на место тех из нас, кто погиб, и на их костях делать карьеру.

— А что же, п-по вашему,— вдруг подал реплику Гурский,— на месте тех, кто п-погиб, должны быть поставлены стеклянные колпаки и мемориальные плиты? Скажем, вот вы п-погибаете, а вместо в-вашего редакционного стола у вас в кабинете ставят м-мемориальную плиту? Мне интересно, как именно вы себе это п-представляете?

— Я представляю себе,— сгоряча не обратив внимания на иронию Гурского, сказал Туликов,— что на тех, кто бежал из Москвы в эти дни, должно быть выжжено на всю жизнь клеймо.

— А г-где именно? — спросил Гурский.

— Да подожди ты, не мешай,— сказал Тихомирнов. — Видишь, человек в запале...

— Я не мешаю ему, просто мне интересно выяснить п-практически, где он намеревается ставить свое к-клеймо: если на лбу, то это обезобразит некоторых моих знакомых, в т-том числе и женщин, если же он будет делать это несколько п-пониже п-поясницы, то это значительно п-практичней, и в ряде случаев я готов его п-поддержать!

— Бросьте вы шутки шутить! — наконец-то поняв иронию, крикнул Туликов. — Вы паясничаете, а я серьезно говорю!

— Ну, если серьезно — жаль. Я до сих п-пор имел наивность считать, что вы говорите не серьезно. А если серьезно... П-подождите! — Взяв карандаш, Гурский постучал по столу. — Вы же сами просили: серьезно! Теперь п-послушайте! Кто вы такой, Туликов, если говорить серьезно? Может быть, вы Талалихин или Гастелло? Может быть, вы истребитель танков или рядовой пе... пе... пе... — он хотел сказать — пехоты, заикнулся сильней обычного и, махнув рукой, сказал: — В общем, солдат? Кто вы т-такой и что, собственно, произошло от того, что вы остались в Москве, а не уехали? Десять тысяч д-дворников осталось в Москве: девять с половиной тысяч п-потому, что им не было приказано уезжать, несколько сот — чтобы воровать в пустых квартирах, а несколько десятков — в-вполне допускаю — потому, что они ничего не имели против п-прихода немцев. Так чем вы лучше этих дворников?

— Ну, знаете, за это морду бьют,— сказал Туликов.

— Прошу извинения, вы меня не п-поняли,— спокойно сказал Гурский. — Я говорю о том громадном большинстве вп-полне п-порядочных дворников, которые, как вы, не уехали потому, что им этого не приказали. Так чем вы лучше их? Почему они не сидят и не п-произносят речей за водкой, которой, кстати, у них нет, потому что она в Москве стоит восемьсот рублей литр, а вы сидите и п-произносите речи? Что случилось? Вам п-приказали, и вы остались писать свои п-передовые. А другим п-приказали, и они уехали. А третьим не п-приказывали, но они все-таки уехали... Как ни прискорбно, но на фронте тоже д-далеко не всегда и не все отходили только по п-приказу. Попробуйте-ка п-представить, как сейчас себя чувствуют те, кто остался, например, в Смоленске.

— Я никогда не верил, что Москву возьмут,— горячо сказал Туликов.

— А они, м-может быть, тоже до п-последней минуты не верили, что Смоленск возьмут... — сказал Гурский и вздохнул.

И Лопатин, услышав горький вздох этого ядовитого человека, вспомнил свои собственные споры с редактором из-за статьи про Одоев...

— Чего же вы хотите в конце концов? — озадаченно спросил Туликов.

— Я хочу очень п-простой вещи: чтобы вы думали немножко б-больше, чем этот стул или стол. — При этих словах Гурский снова постучал карандашом по столу.

— Ладно, мне наплевать на все эти ваши шуточки, черт с вами. Ответьте мне прямо на вопрос — почему, например, вы не уехали?

— Н-не знаю,— пожал плечами Гурский. — Во-первых, мне редактор сказал как-то очень неопределенно: «Может быть, вы тоже п-поедете в К-казань?» — а я не люблю, когда мне говорят «м-может быть». Во-вторых, тут я с вами согласен, я т-тоже не верил, что немцы возьмут Москву...

— Вот видите, а другие не верили и бежали. Об этом и речь!

— А я, между п-прочим, не знаю, п-почему я не верил,— сказал Гурский. — П-просто так, не верил, и все! Хотя шестнадцатого октября в это вполне можно было п-поверить. И я не осуждаю людей, которые п-поверили в это...

— Напрасно,— сказал Туликов. — Кто не верил в то, что мы не сдадим Москвы, тот не верил в победу.

— П-простите, но это не одно и то же.

— А вы допускаете, что мы бы отдали Москву и все-таки победили?

— Вп-полне. И могу даже п-привести вам на п-память соответствующую цитату из от-течественной лит-тературы...

— Только без исторических аналогий,— лежа на кровати, впервые вмешался в разговор Лопатин, знавший, что Гурский, историк по образованию, любит блеснуть своей эрудицией.

— Хорошо, хенде хох! — кротко улыбнулся Гурский и высоко поднял обе руки.

— Эх, до чего же вы все умные,— оглядываясь кругом, сказал Туликов. Хотя с ним не спорил никто, кроме Гурского, он понял, что сочувствие не на его стороне. — А я вот до гробовой доски не прощу тем, кто бежал в октябре. Не прощу, и все тут!

Гурский молча пожал плечами.

— Какая чепуха,— сказал Лопатин. — Не забуду! Не прощу!

По нашей русской отходчивости и забудем, и простим даже и тем, кому прощать не надо!

В комнату вошел редакционный шофер с вещевым мешком в руках.

— Куда поставить, товарищ батальонный комиссар? — обратился он к Тихомирнову и сказал, что паек получен полностью, за исключением подболточной муки.

Гурский, как всегда, был прав — Тихомирнов посылал машину за пайком. Через пять минут Лопатин, покряхтывая, поднялся, простился с товарищами, оделся и вышел к машине.

— Слушай, д-дружок,— тихо и серьезно сказал ему Гурский, в накинутом на плечи полушубке вышедший проводить его к машине. — Не обижайся, что я вместо тебя п-приехал. Я, п-правда, сюда еще раньше п-просился, но тогда он отказал. А сегодня вдруг сам вызвал: п-поезжайте заменить! По моим сведениям, у него вч-чера ночью целый час сидела т-твоя жена и закапала ему слезами все сукно на столе. П-по-моему, у тебя там, в семье, дело совсем д-дрянь, поэтому он и п-переиграл: меня сюда, а тебя — вместо меня. И даже велел п-передать, что ты можешь сегодня ночью, не являясь в редакцию, ехать п-прямо домой, к жене. А к нему — только завтра. Это было так неп-похоже на него, что я даже взд-дрогнул! Ты извини, что я каркаю, но я не хотел, чтобы ты являлся к ней домой в состоянии всеобщего и п-полного разоружения. Извини, но я в дружбе человек т-тяжелый...

— А легких, их пруд пруди! — сказал Лопатин и, несмотря на то что у него кошки заскребли на сердце, благодарно пожал руку Гурскому.

27

Всю дорогу до Москвы Лопатин пролежал на заднем сиденье машины. Боли в животе не то стали слабее, не то он к ним привык.

«Кажется, ничего особенного, а полежу день, и вовсе пройдет»,— успокоенно подумал он, поднимаясь по лестнице к себе домой.

Дверь открыла Геля, она была одета в халат Ксении и в ватник поверх него. В зубах у нее дымилась свернутая из газеты козья ножка.

— А где Ксения? Спит?

— Она улетела. — При всей неприязненности их отношений с Лопатиным в голосе Гели не было торжества.

— Ну и черт с ней! — неожиданно для себя хрипло крикнул Лопатин, швырнул в угол вещевой мешок, прошел в комнату и сел, не раздеваясь, только расстегнув на два крючка полушубок.

Геля опустилась напротив него, продолжая дымить самокруткой. Кажется, она ожидала расспросов.

— Что смотрите на меня, Ангелина Георгиевна? Считаете, что я расстроен? — с вызовом спросил Лопатин.

— Она изменяла вам раньше и изменяет сейчас,— необычно тихим голосом сказала Геля, отвернувшись от Лопатина и глядя куда-то в угол. — А вы...

— А я знаю все это не хуже вас,— инстинктивно и мгновенно солгал он, защищаясь от подробностей. Всего он не знал, хотя догадывался, но сейчас ему показалось, что он всегда и все знал. Впрочем, теперь это уже не имело того значения, какое имело бы еще вчера. По крайней мере, так он считал в ту минуту.

— Согрейте мне чаю, и, если он будет крепкий и быстро, обещаю не обижать вас сегодня, честное слово.

Геля послушно поднялась и вышла, а он позвонил редактору.

Редактор долго не подходил, секретарша несколько раз говорила: «Еще минуточку!» — наверное, в редакции подписывалась последняя полоса. Наконец в трубке послышался недовольный голос редактора:

— Чего не спится? Семейная жизнь надоела? Могу вызвать!

— Вызывай,— сказал Лопатин. Его голос помимо воли дрогнул, и редактор услышал это.

— Хорошо. Машину отпустил?

— Отпустил.

— Сейчас пришлю. — Редактор повесил трубку.

Геля вернулась и, разлив по стаканам чай, села напротив Лопатина.

— Нате курите,— протянул он ей пачку «Беломора».

— Спасибо, я уже привыкла к махорке.

— Ответьте мне, но только честно, почему вы вдруг сейчас мне это сказали? — спросил Лопатин, радуясь, что он довольно удачно имитирует спокойствие. — Вы поссорились с ней?

— Не больше, чем много раз до этого.

— Тогда почему же?

— Не знаю,— сказала она,— наверное, мне просто надоело столько лет смотреть на все это. А потом, я сегодня поглядела в зеркало и вспомнила, что я ваша ровесница. Видите? — Она приподняла со лба свои пестрые крашеные волосы — и показала седые корни.

— А какое отношение имеет одно к другому?

— Не знаю. Очевидно, имеет. — Она помолчала. — Хорошо, если я не сказала вам ничего нового.

Лопатин услышал за окном гудок машины и встал.

— Опять уедете на фронт?

— Должно быть, а что?

— Если я съеду от вас, я занесу ключи к вам в редакцию.

— А чего ради вы съедете?

— Кажется, я устроюсь сестрой-хозяйкой в одно место. Ведь вы не собираетесь высылать мне аттестат?

— Не собираюсь.

— И никто не собирается. А мне жрать надо. И кроме того, чувствовать себя нужной не только нашей с вами дамочке!

Она впервые на памяти Лопатина так сказала о Ксении.

«Да, они сильно поссорились,— подумал Лопатин,— надолго, может, навсегда. Бывает в жизни и так».

— Оставьте мне ваш «Беломор», не скупитесь,— густо закашлявшись, сказала Геля, когда Лопатин, вставая из-за стола, потянулся за пачкой,— а то я с этой махоркой совсем превратилась в мужика. Вы спросили, почему я вам сказала? Может быть, потому, что война, и во время войны все это как-то... — Она не договорила. — Если я съеду, я тут все приберу и запру. Не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь.

Лопатин надел ушанку, застегнул полушубок и вышел вместе с ней в коридор.

— Вы способны объяснить мне,— спросил он, уже взявшись за ручку двери,— ну, чего она пошла вчера к редактору клянчить, чтоб я вернулся? Чего ради была эта комедия? — Говоря это, он почувствовал прилив злости от мысли об еще предстоявшем ему объяснении с редактором.

— А вы что, только сейчас узнали, что у нее семь пятниц на неделе? — зло, вопросом на вопрос ответила Геля. — То, что я дура, вы старались мне дать понять довольно часто, а то, что она дура, так за пятнадцать лет и не заметили?

Лопатин молча кивнул ей и вышел. А она, не затворяя двери, посмотрела ему вслед и, вынув из кармана халата предназначенное ему Сюнино письмо, полное лжи и душевной сумятицы, изорвала его на мелкие кусочки своими желтыми, прокуренными пальцами.

Когда Лопатин вошел в редакторский кабинет, все полосы были уже подписаны, номер ушел в машину, но редактор, по старой газетной привычке, еще не ложился спать, ожидая, когда выпускающий принесет первую пачку пахнущих краской газет.

В редакции шутили, что редактор не ложится спать, пока не понюхает газету. Шутили, впрочем, с оттенком уважения: редактор знал свое дело, а это ценят и в тяжелых начальниках.

— Прибыл? Садись, сейчас нам чаю дадут,— сказал редактор, увидев входящего Лопатина, и всем телом потянулся в кресле. — И как это только тебя жена отпустила?..

— Она улетела.

Редактор присвистнул, хотел сказать что-то резкое — он не привык лезть за словом в карман,— но вошла секретарша с чаем, и он остановил себя. Пока она стелила на стол салфетку и ставила на нее чай и галеты, он смотрел на Лопатина и вспоминал, как именно в это время и именно на этом месте, где сидит сейчас Лопатин, сидела вчера ночью его жена.

До вчерашнего дня редактор не знал жены Лопатина. Она была непричастна ни к их делам, ни к их дружбе. Он знал, что у Лопатина есть жена — красивая и много моложе его. Вот и все. Вчерашняя встреча оставила у него в памяти впечатление какого-то длинного сумбура. Он еще цинично подумал тогда, что, наверно, у этой красивой и слезливой женщины есть свои приятные для мужа стороны, но разговаривать с ней утомительно. Рыдала, говорила о том, сколько семей на ее глазах уже разрушила война, умоляла вызвать ее мужа в Москву, чтобы и у них не случилось того же самого... А теперь, когда вызвал,— нате, здрасьте — улетела!

— Ну, что будешь теперь делать? — спросил редактор, когда секретарша вышла.

— Продолжу жизнь на казарменном положении. — Лопатин не преуменьшал и не преувеличивал своей горечи: еще не понимая, какой будет его жизнь, он знал — такой, как была, уже не будет. Чувство бесповоротности притупляло боль.

— А может, отпустить тебя — слетаешь к ней сам дня... — редактор хотел расщедриться и сказать — на три, но характер взял свое,— дня на два?

— Спасибо, нет.

— А чего она приходила сюда, ко мне, можешь объяснить?

— Не могу,— сказал Лопатин. Ему было стыдно сразу за все — за свой вызов, за ее приход, за время, украденное у этого занятого и усталого человека на нелепый разговор с нелепой бабой. — А отпуск дня на четыре, если сочтешь возможным, все же мне дай!

— Зачем?

— Съезжу к дочери, она со школой в деревне, под Горьким.

Редактор задумался. В его строгой душе была слабая струнка. Единственный сын через неделю кончал курсы младших лей-

тенантов, и редактор почти каждый вечер боролся со стыдным желанием снять трубку, позвонить своему старому товарищу в управление тыла и хотя бы на первое время устроить судьбу сына так, чтобы поменьше бояться за его жизнь. Он старался оправдаться перед самим собой тем, что он-то лично никогда не отступал перед опасностями, наоборот, искал их. Так неужели у него нет права подумать о сыне? Но в последнюю секунду каждый раз рука так и не дотягивалась до трубки.

Просьба Лопатина застала редактора душевно обезоруженным.

— Хорошо, поезжай,— сказал редактор. — Можешь даже послезавтра, если завтра к вечеру новогоднюю передовую сдашь. И еще тут от Гурского кое-что осталось — пройдись, поправь до отъезда. — Он протянул целую пачку гранок и, еще раз мысленно проверив себя, не дает ли поблажки Лопатину, повторил: — Поезжай! Только постарайся привезти оттуда, из Горького, какой-нибудь тыловой материал для газеты.

Лопатин укоризненно посмотрел на него: ну зачем такая скаредность? Ведь из четырех суток почти двое уйдут на поезд туда и обратно.

— Привези, учитывая наши с тобой отношения: чтобы комар носу...

Лопатин кивнул:

— Ладно, чтобы комар носу...

Он перестал следить за собой, и лицо его сделалось печальным.

— У меня есть немножко водки. Может, хочешь выпить? — спросил редактор.

— Спасибо. С горя не пью,— сказал Лопатин. — Пойду спать. — И вышел, разминувшись в дверях с выпускающим, несшим пачку свежих газет.

Зайдя в свою редакционную комнату, он скинул валенки и лег на койку, заложив руки за голову.

На койке Гурского, с которым они и здесь, в «Правде», жили на казарменном вместе, валялся вверх корешком раскрытый том «Наполеона» Тарле, а из-под подушки торчал рукав наспех засунутой сорочки и кончик галстука.

«Сейчас, наверное, уже поднимаются там с Тихомировым, чтобы лететь под Калугу»,— вспомнил Лопатин, посмотрев на подходившие к шести стрелки стенных часов.

Решение повидать дочь родилось неожиданно, но теперь казалось необходимым. Он попробовал представить себе свидание с ней. Конечно, она будет рада и немножко горда — отцы не часто приезжают туда к ним с фронта.

А дальше? Говорить ли ей о случившемся? И вообще, что говорить ей о матери? И как? Девочка и так несчастлива.

«Теперь я все это поправлю»,— безотчетно подумал он и, злясь на собственное легкомыслие, строго спросил себя: как и когда?

Его мысли прервал телефонный звонок.

— Василий Николаевич, редактор приказал вам зайти к нему,— сонным голосом сказала секретарша.

Редактор, с которого соскочила вся усталость, стоял с телефонной трубкой в руке и, поставив на кресло ногу в хорошо начищенном тонком хромовом сапоге, весело ругался по телефону:

— Ну и что же, что фельдсвязь! А ты вдобавок к фельдъегерям и моего человека посади. Нет, вот именно что завтра, то есть, верней, уже сегодня! Чтобы он днем был, по крайней мере, в Новороссийске. Уговорил? Ну спасибо, спокойной ночи. — Он быстро брякнул на рычаг телефонную трубку. — Наши войска сегодня начали высадку в Керчи и Феодосии, ты подумай только! Кого же теперь туда послать, а? — Он повернул свое быстрое лицо к Лопатину. — Самолет пойдет через два часа. В восемь, с аэродрома фельдсвязи. Как, не соблазняет? Крым! А? Был там в плохое время, теперь попадешь в хорошее! А к дочери съездишь, как только вернешься, даю слово. Чего молчишь?

— Испытываю твое терпение,— усмехнулся Лопатин. — Прикажи поднять кого-нибудь, у кого сорок первый номер сапог, и заставь отдать мне. У меня здесь только валенки, а в Крыму, чего доброго, дождь...

ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ

1

Возвращаясь на редакционной «эмке» из-под Ржева, Лопатин на объезде у Погорелого Городища попал под утреннюю немецкую бомбежку, перележал ее в снегу и панюхался гари от разрывов.

Если б за пять минут до этого успели обогнать по обочине колонну порожних грузовиков, тоже шедших к Москве, попали бы в самую кашу. Два передних грузовика разбило в щепки. Но не обогнали, и обошлось — перележали.

Как ни глупо, а могли отдать концы на этом объезде, уже на пути к Москве, после того, как за две недели на фронте так ни разу и не подсунулись под близкий обстрел. Везло. А впрочем, не только везло. Если не врать самому себе, то на этот раз, после Сталинграда, он поехал сюда, под Ржев, без большой охоты. Устал от чувства опасности и никуда особенно не совался.

После бомбежки отъехали уже десять километров, а внутри все еще ныло от страха. Он остановил водителя и, чтобы избавиться от нытья под ложечкой, выпил с ним по глотку из фляги и закусил мерзлым сухарем. Стоял мороз, и — вслух — считалось, что по этой причине и выпили.

Когда Лопатин к вечеру добрался до редакции, которая еще весной вернулась на свое прежнее место, на Малую Дмитровку, редактора не было. Оказывается, он улетел под Котельниково, где немцы пытались прорваться к Сталинграду. Секретарша сказала, что редактор с утра перед вылетом вызывал к себе Гурского и Гурский все знает.

— Подите к нему!

— Прибыл? П-посиди или п-полежи. — Гурский, не вставая из-за стола, показал рукой на диван. — Д-дописываю п-передовую. Сейчас в последнем абзаце сок-крушу третий рейх, отнесу и п-поговорим...

Он подвинул по столу папиросы:

— Д-дыми в пределах гуманности. А то все т-толкутся, все д-дымят, а я сижу тут и к-кашляю — слабогрудое городское дитя. Фортку открывать — холодно.

Он говорил все это, не отрывая глаз от бумаги и продолжая писать, навалясь широкой грудью на стол; все, кто приезжал с фронта, действительно толклись у него и по делу, и без дела, просто чтобы послушать его остроты.

— Сок-крушил,— сказал он через несколько минут, собрал листки, вышел — и тут же вернулся и сел рядом с Лопатиным.

— Чего он меня держал там и чего вдруг вызвал? — спросил Лопатин о редакторе.

— Д-держал, как я д-догадываюсь, чтобы ты написал об освобождении Ржева, а вызвал потому, что перспектива пока отодвигается. Отб-бывая на фронт, п-приказал, чтобы ты написал что-нибудь обобщающее на д-два подвала: та зима и эта. Год н-нынешний и год м-минувший. Могу подарить тебе это название лично от себя. Ну, как вы т-там наступали?

Лопатин пожал плечами.

— П-посредственно?

Лопатин не ответил. Его покоробило. В общем-то, это была правильная оценка того, что происходило на Западном фронте, но само слово «посредственно» никак не сочеталось с теми отчаянными усилиями во что бы то ни стало продвинуться еще на километр или на два, которым он был свидетель в последние дни.

Гурский усмехнулся его молчанию. Он привык к своей коробившей других безапелляционности и гордился ею.

— Зато могу тебя порадовать,— сказал он,— т-там, под К-котельниково, ф-фрицам уже не светит п-прорваться к Сталинграду. Начали бить им м-морду и продолжаем по н-нарастающей. П-попросился поехать с редактором, но он приказал сидеть здесь и п-писать передовые по его ук-казаниям оттуда. К-каждому свое. Где заночуешь?

— А мой номер в «Москве» за мной? — спросил Лопатин.

— За т-тобой, куда же ему деться.

— Тогда поеду в «Москву» — писать.

— Н-не торопись,— прощаясь, сказал Гурский. — Вид у т-тебя усталый, и, если завтра не сдашь, мир не рухнет. Заг-гон есть.

Хотя он и был на двенадцать лет моложе Лопатина, но привычно говорил с ним как старший, советов которого надо слушаться. Заботливый к тем, кого любил, он взамен хотел нравственной власти.

— Да,— уже простившись, вспомнил он, — письмо от д-доче-

ри. — Порылся в ящике стола, вынул и отдал Лопатину письмо. — Завтра расскажешь мне, к-как она там живет.

В гостинице «Москва» хотя и экономно, но топили. Три недели назад, когда Лопатин вернулся из Сталинграда и редактор устроил его сюда, топили только на двух этажах, теперь — на трех. Народу прибавилось. Об этом ему сказала дежурная по шестому этажу, которой он отдал одну из двух привезенных с фронта банок американской тушенки.

Дежурной хотелось отблагодарить его, и она спросила, не нужно ли второе одеяло. А когда он сказал, что не нужно, предложила постирать и подшить ему к утру подворотничок.

Он пошел в номер, разделся, отнес ей гимнастерку и, вернувшись, залез в кровать под одеяло и полушубок и стал читать письмо, полученное от дочери.

Это пришедшее из Сибири, из Омска, письмо было результатом тех последних перемен в его личной жизни, которые хотя и надвигались давно, но разразились, как запоздалый дождь, лишь в этом году: между двумя его поездками на фронт, весной, к нему в Москву приехала жена и заявила, что выходит замуж.

Еще с ее прошлогоднего, декабрьского, нелепого приезда в Москву ему было ясно, что ту жизнь, какой они жили, вряд ли разумно длить дальше. Но у него не было ни времени, ни окончательной решимости ставить самому так называемые точки над и, о которых с такой легкостью говорят люди, наблюдающие со стороны чужое неустройство. Времени не было, потому что была война, на которую он ездил, как заведенный, то на один фронт, то на другой, а окончательной решимости не хватало, потому что в деревне, под Горьким, жила их общая дочь, продолжавшая получать письма от них обоих и хотя чувствовавшая неблагополучие, но не знавшая его меры.

Во всяком случае, так ему до поры до времени казалось.

Была еще одна причина. Уже зная, что его жена живет вдали от него с другим человеком, он все еще продолжал высылать ей аттестат. С кем бы она там ни жила, деньги, наверное, были ей нужны, и самому писать, что им надо развестись, значило бы напоминать, что он может лишить ее этих денег. Ему претила эта мысль, связанная с другой: а вдруг она из-за этих денег пойдет на какую-нибудь совсем уж унизительную ложь.

Но весной она сама свалилась ему как снег на голову. Может быть, у нее были и какие-то еще дела в Москве, но сказала, что приехала, только чтобы объясниться с ним, прежде чем выйти замуж за другого.

Он только накануне вернулся из Крыма, злой, мрачный, натерпевшийся горя и страха на Керченском полуострове. И, уже

вернувшись, не то чтобы понял — понимал и раньше, а шкурой чувствовал, что смертен и мог пропасть ни за понюшку табаку. Все заготовки для корреспонденций, все, ради чего мотался там, в Крыму, с места на место, пошло коту под хвост. Писать в газету было нечего и не о чем. Редактор при всей своей жадности к материалам даже не спросил, что привез. Только при встрече крепче обычного пожал руку, молчаливо поздравляя, что остался жив.

Он-то остался. Но из головы не выходили другие...

И это состояние его духа, наверное, повлияло на их встречу с женой, приехавшей в Москву для объяснений в каком-то слепом ко всему окружающему, самодовольном ощущении собственного благородства.

Она приехала прямо в редакцию рано утром, сразу с поезда. Он ночевал в редакции, но ключ от их квартиры был у него.

Вахтер позвонил снизу, разбудил еще спавшего Лопатина и сказал, что к нему просит разрешения пройти женщина, Ксения Сергеевна.

Лопатин наспех оделся и спустился в вахтерскую.

Она демонстративно покорно стояла, прислонясь к стене с чемоданом в руках. Он взял чемодан.

— Ключ от квартиры у тебя? — спросила она.

Он кивнул.

— Может быть, поедем домой?

— Сначала поднимемся,— покосившись на вахтера и не говоря ни «да», ни «нет», ответил он. И, поискав глазами, сунул чемодан под канцелярский стол, за которым сидел вахтер. — Пусть пока постоит.

Они поднялись на третий этаж, в комнату, где он в ту весну жил, когда приезжал с фронта. Она огляделась и села на край стула.

— Теперь, когда мы вдвоем, может, ты все-таки поцелуешь мне руку? — спросила она.

Это было из какой-то пьесы. Он не помнил из какой, но помнил, что из пьесы, и это раздражило его, напомнило, что она завлит театра и живет с директором, которого зовут Евгением Алексеевичем.

— Почему не дала телеграммы, я бы тебя встретил. Было бы все же умнее,— сказал он.

Она замялась, и он подумал, что, если она приехала в Москву не одна, а он бы ее встретил, все вышло бы не умнее, а еще глупее.

— Может быть, все-таки поговорим дома, а не здесь — в канцелярии?

— Я здесь живу,— сказал он.

— Ты догадываешься, зачем я приехала? — спросила она, подняв на него глаза. Она была все так же красива, и этого по-прежнему нельзя было не заметить.

— Нет, не догадываюсь,— сказал он.

Это была правда. Всю свою жизнь с нею он почти никогда не мог догадаться, что ей придет в голову в следующую минуту.

— Я пришла просить, чтобы ты снял с меня грех и отпустил меня,— не дождавшись ответа, сказала она. — Я должна выйти замуж за Евгения Алексеевича.

Сказала «пришла», а не «приехала»,— наверное, заранее обдумала. Грешницы не приезжают, а приходят.

Он еще раз посмотрел на нее, на ее изящно и грустно изогнувшееся на стуле знакомое тело, и удержался от грубости, не сказал: «Ну что ж, раз должна — так и выходи!» Промолчал.

В конце концов, при чем тут она? Во всем виновата не она, а вот это ее тело, которое он целых пятнадцать лет любил рассудку вопреки. «И не мог оторваться от него, не мог отлипнуть»,— с презрением к собственной слабости подумал он о себе.

Она смотрела на него, а он молчал. Ей казалось, что он злится или, как она мысленно привыкла выражаться, «закусывает удила», а он, наоборот, смягчился, удивленный мыслью о собственной вине. Раньше раздраженно привык считать ее виноватой в том, что в нужном ему теле жила ненужная ему душа, равнодушная к тому, чем он жил и что делал, занятая только собой, да и собой-то — по-глупому.

Да, все так, но он-то умный, а не глупый, он-то что сделал, чтобы все это не длилось пятнадцать лет?

«Теперь уже шестнадцать»,— поправил он себя, потому что, несмотря на разрыв в прошлую зиму, их все еще что-то связывало. И не он, умный, а она, глупая, клала сейчас всему этому конец.

— Ты должен быть спокоен за меня,— не выдержав молчания, сказала она. — Я выхожу замуж за хорошего человека. — И зачем-то расстегнула планшетку. У нее была теперь не сумка, а планшетка, разозлившая его дамская дань военному времени. Может быть, хотела показать ему фотографию хорошего человека, за которого выходила замуж?

Он подумал об этом с иронией, но остановил себя: а почему непременно за плохого? Ведь и ты считал себя хорошим. И жил с ней.

Но фотографию хорошего человека ему видеть не хотелось, и, наверное, это выразилось на его лице. Она со вздохом застегнула планшетку.

— Неужели так и будем разговаривать с тобой здесь?

— А где же еще? — сказал он без вызова, с удивившей ее мягкостью. И добавил, что сделает все, как она хочет. Если хочет, чтобы прямо сейчас пошел с нею в загс, пойдет туда. Если хочет, чтобы написал заявление о разводе, напишет и отдаст ей.

У нее выступили слезы; простота, с которой он согласился сделать то, зачем она ехала, расстроила ее. Она хотела именно этого, но хотела, чтобы это было как-то по-другому.

«Вот такая она и всегда — без царя в голове»,— подумал он с глухим отзвуком давно умершего и, значит, все еще не до конца умершего чувства к ней.

— Лучше напиши,— вытерев слезы, сказала она.

Он сел за стол, написал и, оставив ее одну, сходил к помощнику редактора заверить подпись и поставить печать. Он не был уверен, необходимо ли это, но не хотел, чтобы потом оказалось, что ему надо делать что-то еще.

Когда он положил перед Левой Степановым бумагу и сказал: «Заверь», тот, макнув ручку в чернила, поднял глаза и долго смотрел на него. Возвращаясь, он еще чувствовал на себе этот сочувственный взгляд. Всего-навсего первый из многих. Наверное, и другие будут считать, что такие немолодые и некрасивые не оставляют женщин. Что женщины уходят от них сами.

Он вошел в комнату и отдал своей бывшей жене удостоверенную редакционной печатью и вложенную в редакционный конверт бумагу.

Она взяла эту бумагу с печатью, расстегнула планшет и, положив ее туда, снова застегнула.

«Вот так все и кончается»,— подумал он о прожитых с нею годах. Те, какими они были с нею, они кончились, а тех, какими они могли быть без нее, уже не будет. Он с чувством потери чего-то невозместимого вспомнил себя тогдашнего, тридцатилетнего. Его, тогдашнего, уже не будет — ни для какой другой женщины. Теперь будет только он теперешний, немолодой и не по адресу истративший свои душевные силы. И поэтому не верящий в ту часть себя, которая не война и не работа.

— Сядь, поговорим, ты ведь хотела,— сказал он, садясь на койку и накидывая на плечи полушубок. Его знобило. Он только умел казаться, но не умел быть каменным.

— Нет, я буду ходить, мне так легче,— сказала она и со скорбным лицом и сплетенными за спиной руками стала говорить разные глупости, выношенные заранее, в дороге.

В сущности, это было длинное предисловие к просьбе отпустить ее с богом. И оно имело какой-то смысл раньше, перед этим, а не теперь, когда он уже отпустил ее. Но ей было жаль

оставлять при себе все эти заранее приготовленные и теперь уже бессмысленные слова.

А он слушал и думал: «Нет, она ехала сюда в поезде все-таки не вдвоем, а одна — чтоб прорепетировать все это, нужно было время и одиночество».

Она говорила о себе, всегда понимавшей его. И о нем, никогда ее не понимавшем. О своих жертвах, принесенных ради него. О том, как она рядом с ним постепенно перестала быть самою собой и как только теперь, без него, снова чувствует себя человеком.

Все это было не ново. Новым было только одно: у нее в планшете лежал кусок бумаги с печатью, за которым она приехала, и она выясняла отношения, которых уже не существовало, забыв о том единственном, что еще продолжало существовать между ними,— об их дочери, которую ни она, ни он не видели уже десять месяцев, после эвакуации школы. Он так и не смог выбраться туда, под Горький, а она так и не удосужилась съездить.

Он не спорил. Того, чем все это в прежние времена кончалось, всегда одинаково — в постели, сейчас уже не могло быть. Он молчал и ждал, когда она все-таки заговорит о дочери, но она думала и говорила только о себе.

Он снял трубку и попросил по телефону, чтобы ему дали на час редакционную машину.

— Куда ты собрался? — спросила она, остановившись посреди комнаты.

— Хочу отвезти тебя домой. Скоро начнется работа, будут приходить люди.

При слове «домой» она вдруг посмотрела на него старым, тем взглядом. Может быть, подумала, что он хочет, чтобы и этот разговор кончился тем же, чем кончались прежние. И кто знает, как бы она поступила, если бы он захотел этого сейчас? Какую форму торжества над ним выбрала: сказав «нет» или в последний раз сказав «да»?

— Может быть, достать тебе бронь на билет у нас в редакции? — спросил он, встретив ее взгляд.

— Мне ничего не надо, у меня все есть.

— Тогда я тебя отвезу. — Он вынул из кармана и отдал ей ключ от квартиры.

В машине оба молчали. Молчали и поднимаясь по знакомой лестнице. У дверей в квартиру остановились, и он поставил чемодан.

— Как мы поступим с Ниной? — спросил он о дочери. Спросил, хотя всю дорогу в машине думал об этом и уже решил, как поступить.

— Я думаю, что пока ничего не надо писать,— неуверенно ответила она, и у нее снова легко навернулись слезы.

— Пока — что? — спросил Лопатин. — Пока ты не решишь или пока я не решу? Пока — что? — повторил он.

Он знал, что есть еще и другие «пока». Пока идет война, пока его не убьют или пока он не останется жив на этой войне. Пока она сама не поймет, насколько ей будет мешать в ее новой жизни пятнадцатилетняя дочь, если взять ее к себе. Наверное, будет мешать, но насколько?

— Я еще ничего не решила,— сказала Ксения, не вытирая глаз и просительно глядя на Лопатина, словно ему ничего не стоило отложить этот разговор.

— А я решил. Я напишу ей, что мы разошлись с тобой. Ей пятнадцать лет, и она должна все знать. Не думаю, что это особенно удивит ее.

— Все равно для девочки это будет ужасное горе.

— Ничего,— сказал он. — Кругом нее сейчас гораздо больше всякого другого, более ужасного горя, чем это.

— Тогда я тоже напишу ей.

— Это твое дело. Я напишу ей и постараюсь с ней повидаться. А потом отправлю в Омск к сестре, если сестра согласится взять ее до конца войны.

— Не знаю, я должна подумать. Я могу захотеть взять ее потом к себе. Ты должен учитывать эту возможность, когда будешь писать ей или говорить с нею.

— Я не напишу и не скажу ей о тебе ничего плохого. — Он хотел добавить, что дочь не дура и достаточно насмотрелась на их отношения. Но удержался. Уже решил, что не отдаст ей дочь и сумеет сделать это, потому что его желание не отдать ей дочь сильнее ее желания взять дочь к себе. И, чувствуя свою силу, не захотел быть грубым.

— Не знаю,— беспомощно махнула она рукой. — Поступай как хочешь. Ты и так сделал все, чтобы отдалить ее от меня.

Он промолчал, хотя это была неправда. Он никогда и ничего не делал для того, чтобы отдалить от нее дочь. Он просто был ей ближе, чем мать, и это началось давно, с тех пор, как девочка пошла в школу и начала делиться с ним, а не с ней главным из того, что происходило в ее маленькой, отгороженной от них жизни.

— Хотя я чувствую себя сейчас виноватой перед тобой, но виноват все равно ты,— сказала она с полными слез глазами.

Ну что ж, в этом была доля правды!

— Будем считать, что так,— сказал он и, поцеловав ей руку, пошел вниз по лестнице.

— Вася! — окликнула она его, когда он уже спустился на два марша.

— Что? — остановившись, спросил он.

Она смотрела на него, свесившись через перила.

— Спасибо, что ты на меня не сердишься. И больше не высылай мне аттестата, не нужно.

— Хорошо, не буду. — Он, не оборачиваясь, пошел вниз.

2

Так он расстался со своей женой, которая с тех пор прислала ему три письма и в первом из них заверенную у нотариуса копию свидетельства о разводе.

Третье, осеннее письмо было уже не из Казани, а из Ташкента. Оказывается, ее мужа перевели туда, тоже директором, но в другой театр. Она писала, что рада этому переводу. Новое место, новые люди, и ничто не напоминает ей о прежнем.

«Ну и радуйся, пожалуйста. Я-то тут при чем?» — сердито подумал он тогда, осенью, прочитав это письмо. Но все равно ответил на него, как и на два первых, что жив, здоров, все нормально. У него не было причин обижать ее, не отвечая на ее письма. Пускай они не особенно умные, но ведь это при тебе, казалось бы, умном человеке, она так и не поумнела за пятнадцать лет совместной жизни...

С дочерью он сделал все, как решил. Вызвал по редакционному телефону на переговорную в Омске свою старшую, замужнюю, но бездетную сестру. Докричался до нее, объяснил в нескольких словах, что произошло, и получил разрешение прислать дочь.

— Только если она сама захочет, слышишь? — кричала на него по телефону сестра. — И чтоб Ксения носа к нам не совала — выставлю! И сам не качайся,— снова крикнула она. — Слышишь?

— Слышу, слышу,— сказал он. — Уже не качаюсь, хватит.

Сестра знала, что он два раза, еще до войны, собирался расстаться с Ксенией, да так и не расстался. Дождался войны.

Сестра была учительницей математики, и была замужем тоже за учителем математики, и там, в Омске, работала в одной с ним школе тридцать пять лет, с девятьсот седьмого года. Ксению она знала, но не любила и, наезжая в Москву, останавливалась не у брата, а у своих знакомых.

Видела несколько раз и девочку. В последний раз — когда ей было двенадцать лет. И, уезжая к себе в Омск, на вокзале бесцеремонно сказала на прощание Лопатину:

— На тебя наплевать, нисколько тебя не жалею,— что посеял, то и пожал. А за девочку страшно. Жаль, что нет закона: отнимать детей у тех, кому они не нужны.

Когда Лопатин сказал по телефону, что вышлет на дочь аттестат, а кроме того, постарается отправлять посылки, сестра ответила:

— Разумеется! Кормить-то ее надо! А как у нас — сам догадываешься. Присылай все, что сможешь. Не бойся, кроме нее, ни на кого не истрачу.

Можно было этого и не говорить, но по своему самоедскому характеру все-таки сказала! Еще потом, после войны, заставит читать целый гроссбух — сколько было получено и на что истрачено!

Ничего не поделаешь, такая уж была она — не подходи, ушибешься,— его старшая сестра Анна Николаевна, которую с детства любил и с детства боялся, а теперь собирался отправить к ней свою дочь.

Писать дочери о том, что произошло, он не стал. Попросил ехавшего в эти дни через Горький в Балахну в командировку по бумажным делам начальника издательства захватить на обратном пути дочь. Написал ей короткую записку, чтобы приехала повидаться, пока он здесь, в Москве, и послал ей вызов. Оформить его было сложно, но редактор, в свое время обещавший, но так и не отпустивший Лопатина съездить к дочери, теперь, как ни трудно, устроил этот вызов.

Девочка приехала растерянная и счастливая. Первое, что спросила, пока ехали с вокзала в редакцию:

— А где мама?

Но когда отец объяснил, что матери нет в Москве, понимающе кивнула:

— Я так и подумала, а то бы ты вместе с ней написал.

Ехала и смотрела по сторонам на московские улицы, на закамуфлированные, перекрашенные дома, на ежи, на сохранившиеся, еще не разобранные по сторонам от проезжей части Садового кольца баррикады... Сказала:

— Всем у нас так хочется в Москву...

Он привез ее не домой, а в редакцию, в ту комнату, где неделю назад объяснялся с ее матерью.

Утром с помощью товарищей он перетащил сюда из других комнат диван и два пустых канцелярских шкафа — отгородил ей закуток.

— Поживешь тут два-три дня со мной на казарменном положении.

Дочь счастливо кивнула, и по глазам ее было видно, что она готова не два-три дня, а хоть до конца войны жить тут с ним рядом на казарменном положении. И он почувствовал себя таким виноватым перед нею, хоть плачь.

— А подольше нельзя? — не удержалась и спросила она.

— Нельзя,— ответил он. Потому что и в самом деле было нельзя. Шли бои на Харьковском направлении, и, если б не дочь, он улетел бы туда сегодня же, а не через два дня, как договорились теперь с редактором.

Он начал напрямик, с самого трудного, с рассказа о том, что произошло между ним и ее матерью. Но разговор этот оказался проще, чем он думал. Хотя что значит «проще»? Для него, может, и проще, а как для нее — неизвестно. Проще оттого, что она не плакала? Но она вообще никогда не плакала.

Она выслушала и спросила:

— Мама не оставила для меня письма?

— Не оставила. Сказала, что напишет тебе.

— А как ты думаешь, она не вернется?

Можно было ответить просто: думаю, что не вернется. Но надо было договаривать все до конца, и он сказал, что сам не хочет, чтобы ее мать возвращалась к нему.

— Совсем не хочешь?

— Совсем не хочу.

Она поняла, что он говорит правду. Сидела молча, потом спросила:

— Ты совсем не знаешь ее мужа?

— Совсем не знаю,— сказал он и добавил: — Хочу надеяться, что он хороший человек.

Она пожала плечами, как старшая, с которой заговорили, как с маленькой.

Он ожидал, что самым трудным будет уговорить ее ехать в Сибирь к тете Ане, но она отнеслась к этому со взрослым пониманием безвыходности своего положения.

— Хорошо, я поеду. — И спросила, долго ли идут туда письма.

Он не мог толком ответить. Сестре за время войны писал всего два раза, а ее письма получал, возвращаясь с фронта, не зная, сколько они пролежали в редакции.

— Я буду оттуда писать маме, хорошо? Ты не возражаешь? — спросила она.

И, поспешив ответить: конечно, нет, не возражает, он даже не понял сразу, каким важным был этот вопрос, оставлявший ее с ним и отделявший их обоих от матери.

Нет, разговор об отъезде в Сибирь оказался не самым трудным. Самое трудное наступило на третий день утром. Ему надо было улетать; внизу у подъезда дожидался в машине летевший вместе с ним фотокорреспондент, а у дочери был билет на уходивший в Сибирь вечерний поезд. И уже ничего нельзя было поделать ни с его командировкой, ни с ее отъездом. Гурский обещал посадить ее в поезд и договориться с проводниками. И не приходилось сомневаться, что он сделает все это не хуже, чем сам Лопатин. А все-таки в последние минуты, когда наспех пили чай с бутербродами втроем — он, она и Гурский,— на лице дочери, таком взрослом до этого, вдруг с детской откровенностью выразилось страстное желание, чтобы не уезжали ни он, ни она, чтобы все продолжалось так, как было в эти два с половиной дня — может быть, самые интересные во всей ее жизни. Она прожила их вместе с ним, со своим отцом, здесь, в редакции, окруженная добрым любопытством всех этих военных людей, с которыми он знакомил ее в длинных редакционных коридорах и которые сами заходили в его комнату, чтобы взглянуть на жившую у него на казарменном положении дочь, а потом начинали при ней говорить с ним о своих делах: где кто был, что написал и кому и на какой фронт снова надо лететь или ехать...

«А вдруг все-таки можно остаться здесь и хотя бы дождаться тебя? — говорили устремленные на Лопатина глаза дочери. — Может быть, все-таки можно? Ну, как-нибудь».

Он даже пожалел, что, наверно, поступил как-то не так, дав ей прожить эти два с половиной дня здесь, в редакции. Но что было делать? Он допил стакан чая и поднялся.

Она тоже встала, жалко опустив плечи.

— П-послушай меня, Н-нина! — сказал наблюдавший за ними обоими Гурский. — Я ч-чувствую, что ты хотела остаться у нас здесь работать, ск-кажем, курьером.

— Да! — Она вздрогнула от неожиданности и подняла на Гурского недоверчивые глаза.

— П-понимаю твое желание,— сказал Гурский. — Тем более что я сам начал эту бод-дягу в редакции чет-тырнадцати лет от роду. Но сейчас время военное, немцы до сих пор не так уж д-далеко от Москвы, и ни твой отец, ни я, ни даже наш редактор, хоть он и д-дивизионный к-комиссар, не можем оставить у себя на раб-боте несов-вершеннолетнего ребенка, тем более д-девочку. Ты в какой класс переходишь, в д-девятый?

— В девятый. Я уже сдала по двум предметам.

— Вот и поезжай в Сибирь к т-тетке, сд-дай там по всем оставшимся п-предметам и п-переходи в свой д-девятый класс. А мы пока отгоним фрицев п-подальше от Москвы и б-будущим

летом, когда тебе будет шестнадцать лет, вернемся к этому вопросу. Ясно?

Она улыбнулась сквозь слезы. Она все-таки плакала. Никогда не плакала, а сейчас плакала.

— И не реви, п-пожалуйста, раз тебе ясно. Твой отец уезжает не на к-курорт, а на в-войну, и не по собственной п-прихоти, а по п-предписанию начальства. Он должен быть спокоен за тебя. А чтобы он был спокоен, ты должна жить у тетки в Сибири и кончать свой девятый класс. Твой отец гораздо лучше п-пишет, чем г-говорит, а я, наоборот, гораздо лучше говорю, чем п-пишу, хотя и заик-каюсь при этом. Поэтому говорю тебе коротко и ясно то, что он сказал бы д-длинно и н-неясно. Ты мне дашь адрес, и, как только он вернется с фронта, я тебе дам т-телеграмму и подпишусь: «Д-дядя Б-боря». Ты мне нравишься, и я хочу быть твоим д-дядей. А к-кроме того, советую тебе слушать по вечерам радио. Как только твой отец из-под Харькова пришлет нам свою п-первую корреспонденцию, мы ее напечатаем, и ее сразу же п-передадут по радио. И ты б-будешь знать, что он жив и зд-доров.

— Я знаю,— сказала она.— Мы в школе всегда слушали по радио.

— Тем более. Может быть, ты не усп-пела этого заметить, но я люблю твоего отца и не хочу, чтобы ты п-провожала его слезами. В-возьми себя в руки и пошли — проводим его. П-потом я буду сидеть и работать, а ты будешь сидеть и ч-читать, п-потом мы с тобой пооб-бедаем, а вечером я п-провожу тебя и только п-после этого займусь своими личными д-делами.

Когда спускались с лестницы, Гурский шел впереди, а Нина сзади него, рядом с Лопатиным. Одной рукой она крепко держала отца за руку, а в другой несла его шинель.

Так вдвоем, ее с шинелью в руках и Лопатина, которого она держала за руку, и щелкнул у подъезда редакции Гриша Кулаковский, вместе с которым Лопатин, уже в шестой раз подряд, ехал на фронт.

— Когда вернемся и проявлю пленку, пришлю тебе,— обещал он Нине.— И повернулся к Лопатину: — Вася, в какой раз мы с тобой едем вместе? В шестой или в седьмой?

— В шестой,— сказал Лопатин.— Не крутись, поехали!

Ему хотелось скорей уехать. Он боялся, что девочка может не справиться с собой. Так оно и вышло.

Когда Кулаковский уже залез в глубь машины и пришел черед садиться Лопатину, дочь отчаянно повисла у него на шее. Он ждал, что она сама оторвется, но она не отрывалась, и ему пришлось, взяв ее за плечи, оторвать от себя. Несколько раз поцеловав ее мокрое, несчастное лицо, он быстро сел в машину и

захлопнул дверцу. Машина вильнула по узкому редакционному двору, и он, повернувшись, уже не увидел дочери.

— Любит тебя! — сказал Кулаковский.

— Что? — не расслышав, занятый своими мыслями, переспросил Лопатин.

— Говорю, любит тебя!

Лопатин ничего не ответил, хотя, вспомнив прожитую жизнь и сравнив то, что он успел сделать для дочери, с тем, чего не успел или не сумел, надо было бы ответить: «Не за что!»

Они с Кулаковским прилетели на Юго-Западный фронт, когда в воздухе уже запахло бедой, и в последнюю ночь перед тем, как замкнулось кольцо харьковского окружения, добрались в две разные армии, действовавшие одна южней, другая северней Харькова. Препирались перед этим — так или наоборот,— кому — в какую.

В результате ты жив-здоров до сих пор, а его нет! Погиб вместе с двумя своими аппаратами — стареньким ФЭДом и новенькой трофейной «лейкой», которой щелкнул перед отъездом во дворе редакции тебя с дочерью.

«Так и не вернулся, не проявил той пленки»,— подумал Лопатин, лежа сейчас, через полгода после всего этого, под одеялом и полушубком в отапливаемом, но все равно холодном номере гостиницы «Москва» и читая пришедшее от дочери письмо.

Дочь писала, что у нее все отметки четыре или пять, что она кончила медкружок и через двое суток на третьи ходит дежурить в госпиталь ночной санитаркой.

«Наверное, клюет после этого носом на уроках»,— улыбнулся, читая письмо, Лопатин.

Письмо было бы совсем хорошее, если б не приписка, что «тетя Аня не пишет, потому что приболела, лежит, передает тебе привет. Только что ставила ей банки». Значит, и банки научилась там ставить! А сестра больна. Раз лежит — дело серьезное: такие, как она, пока с ног не свалятся, не лягут.

Уже засыпая, он с раздражением подумал о Ксении: есть у девочки мать, здоровая, еще молодая баба, а ребенка пришлось навязать на шею старой больной женщине. И хотя до конца войны ничего другого, чем то, что он сделал, сделать было нельзя, у него все равно оставалось чувство какой-то нелепой вины, словно у девочки могла быть не эта, а другая мать, словно он когда-то давно мог выбрать ей в матери кого-то другого...

Проснувшись, съев выдававшийся в гостинице по талонам на завтрак винегрет и выпив чаю, Лопатин сел отписываться. Писал весь день до вечера и весь следующий, почти не выходя из номера. Писать было трудно, потому что наступление было

трудное. Наступали, ради того чтоб любой ценой приковать к себе стоявших против Москвы немцев, не дать им перебросить резервы на юг, где у них все сыпалось и трещало по швам. И если бы можно было вот так откровенно и написать про это, все сразу стало бы на свое место. Но как раз об этом и нет права писать. Во время войны такая откровенность за гранью дозволенного.

На второй вечер Лопатин позвонил Гурскому. Редактор еще не вернулся с фронта.

Лопатин попросил отсрочки, сказал, что, наверное, перекрестит все написанное и с утра начнет в другом разрезе. Назовет «Вторая зима» и напишет про один полк, в котором был. О том, как в снегу по горло три дня брали превращенную немцами в узел обороны совхозную усадьбу и все же взяли ее!

— Н-насколько я понимаю,— сказал Гурский по телефону,— редактор ожидал, что ты возьмешь п-пошире.

— А у меня пошире не выходит. Выходит как раз поуже! Скажи мне, как, по-твоему, название? И можно ли сдать послезавтра утром?

— Н-название не самое гениальное, а н-насчет «м-можно», то с т-тех п-пор, как редактор п-перевел тебя в писатели, можешь ссылаться на т-творческие т-трудности. В пределах суточного оп-поздания, б-больше все равно не сов-ветую!

Гурский положил трубку, наверное очень довольный собой.

Слова насчет перевода в писатели были его обычным ёрничеством.

В поле зрения, или, точней, притяжения редактора Лопатин попал случайно. Он всегда много ездил и в одну из таких дальних поездок, когда вдруг начались халхин-гольские события, оказался рядом с ними и своим будущим редактором — в Чите. А уже через сутки вылез из самолета в Монголии в своем штатском костюмчике, который впервые в жизни предстояло сменить на военную форму.

В финскую войну редактор вспомнил о нем и вытребовал к себе в армейскую газету. А в начале этой войны, уже не спрашивая согласия, призвал как командира запаса и забрал в «Красную звезду».

У редактора не было ни времени, ни охоты читать книги, которые Лопатин писал до их встречи. Главным для него было, что Лопатин работает с ним уже на третьей войне, а писатель или не писатель Лопатин — он не размышлял. Да и, по правде говоря, настоящими писателями считал только тех немногих, кого все знают, о ком услышишь на каждом углу. К ним он и относился как к писателям, старался, чтобы они почаще писали в газету, а если они оказывались на фронте, давал телеграммы

своим корреспондентам, чтобы по возможности берегли писателей от пули и отправляли их материалы в Москву раньше собственных.

Лопатин хорошо знал все это и не стремился стать для редактора «писателем».

«А там, после войны, будет видно, кто на что способен,— думал он иногда, перелистывая свои фронтовые тетради, которые вел по возможности регулярно и знал им цену. — Хватило бы духу да не разбиться бы где-нибудь по дороге на самолете! А материала — хватит!»

В этой последней мысли присутствовала доза яду: мол, некоторым другим, кто по-другому, чем ты, ездит, может и не хватить. А тебе-то хватит!

Перемену в отношении к себе редактора Лопатин заметил после возвращения из Сталинграда. Он высидел там в 62-й армии безотлучно почти два месяца. Переправился через Волгу в конце сентября, а уехал в ноябре, после того, как Юго-Западный и Сталинградский фронты соединились у Калача и взяли немцев в кольцо. Дождался этого там, в Сталинграде, и накануне отъезда передал по военному проводу последний очерк о людях, продержавшихся до конца на своих последних сталинградских «пятачках».

До этого послал из Сталинграда еще четыре очерка — тоже больше о людях, чем о событиях. Потому что, по сути, люди и были тем главным событием, которое произошло в Сталинграде. Событием было то, как они воевали и, несмотря ни на что, выстояли.

За это время у Лопатина два раза возникал соблазн попроситься в Москву, как говорят в таких случаях, «отписаться». А в сущности, передохнуть от опасности. Но он преодолел себя и высидел. И наверное, оттого, что дольше, чем когда-нибудь, просидел в одном месте, по многу раз встречаясь с одними и теми же людьми, глубже понял их и лучше написал про них — сам это чувствовал.

Очерки перепечатали в «Правде». И передали по радио. Редактор, встретив Лопатина в Москве, поздравил с высокой оценкой его очерков «наверху». Так именно и выразился. И сказал, что приказано издать их отдельной книжкой. И что Алексей Николаевич Толстой, с которым он говорил по телефону, тоже похвалил очерки, назвал их художественными.

Потом вдруг предложил отпуск на месяц.

— Посажу тебя под Москвой, в Архангельском: напишешь нам что-нибудь совсем художественное, чтобы печатать с продолжениями.

Под «совсем художественным» редактор подразумевал что-нибудь с вымыслом, например повесть.

«Совсем художественное» Лопатин писать был не готов и от кабалы такого отпуска скрепя сердце отказался. Вместо этого просто неделю передохнул: до поездки на Западный фронт сидел в редакции и правил чужие материалы.

После своих «художественных» очерков Лопатин стал в глазах редактора писателем. Не таким известным, как те, другие, но все-таки писателем. Над этим и язвил Гурский.

Лопатин провозился над корреспонденцией еще день и утро, но все не мог найти концовки, когда Гурский позвонил ему снова.

— Имей в виду, прибыл с фронта и сп-прашивал п-про тебя. Сказал ему, что раб-ботаешь над словом, обт-тачиваешь художественные детали. Но д-дольше, чем до вечера, обтачивать не советую! Если какие-нибудь заминки с п-пейзажем, в крайнем случае я впишу. Ты же знаешь: я мастер п-пейзажа. К-какой-нибудь там колко п-похрустывающий снежок или обнаженно беззащитные б-березки,— п-пожалуйста, могу б-бесплатно!

3

Лопатин привез корреспонденцию поздно вечером.

Редактор встретил его недовольно:

— Что-то ты завозился не по-газетному.

И сразу стал читать за своей конторкой написанное Лопатиным. Прочел до конца, пошевелил губами, прикидывая, как это влезет в макет номера, и, без колебаний перекрестив красным карандашом полторы страницы, сказал:

— Поставим завтра четырехколонником.

Потом воткнул своим красным карандашом вопрос перед названием «Вторая зима».

— Считаешь, что хорошо назвал?

— Считаю, что хорошо.

— Не соответствует содержанию,— недовольно сказал редактор. — Обобщения-то у тебя не получилось!

— Не получилось,— согласился Лопатин.

— Какая же это «Вторая зима»? — Редактор перечеркнул название «Вторая зима» и поставил вместо него «В одном из полков». — Вот теперь — соответствует. Ожидал от тебя большего. Но в общем, вышел из положения.

Слова «вышел из положения» значили, что редактор и сам понимает трудности, которые стояли перед Лопатиным, но не хо-

чет говорить с ним на эту тему, недоволен чем-то еще, кроме корреспонденции. Чем именно недоволен, выяснилось ровно через минуту, после того как он подписал и отправил материал в типографию.

— Как это понять? — спросил он, порывшись на столе и сунув Лопатину под нос какую-то бумажку. — Сам не мог попросить? Решил на меня нажать? Так имей в виду: эта бумажка для меня пустой звук!

— А я ничего не собираюсь просить,— сказал Лопатин. — И им объяснил, чтоб не писали,— откажешь.

— А ты за меня не решай, откажу или не откажу. Если для дела надо — не откажу. Только зачем в обход?

Он был не на шутку обижен, и Лопатину пришлось объяснить, как было дело с этой бумагой из Комитета кинематографии. После возвращения из Сталинграда ему прислали сценарий киноновеллы, написанный по одному из его сталинградских очерков. В сценарии было много галиматьи. Тот, кто его сделал, не нюхал фронта, и Лопатин не подписался под этим сочинением.

Тогда председатель комитета предложил, что попросит редактора об отпуске: пусть Лопатин съездит на несколько дней в Ташкент и там, на месте, с режиссером исправит в сценарии все, что нужно.

Лопатин отказался, сказал, что он завтра уезжает на фронт, а когда вернется, все, что сможет, поправит в Москве.

— А они все-таки написали. У них горит с этим боевым киносборником. Так что ты зря раскипятился.

— Ты знаешь, как я к тебе отношусь? Только поэтому,— сказал редактор.

В его устах это было извинением — в той предельной форме, на которую ок был способен.

— А раз хорошо относишься, не будь подозрительным.

— А ты меня не учи.

— А я старше тебя, вот и учу.

В глазах редактора на секунду мелькнуло что-то, вдруг заставившее Лопатина вспомнить, как в начале их знакомства на Халхин-Голе после какого-то препирательства редактор поставил его по стойке «смирно». Потом, когда они подружились, он отрицал это и говорил, что не помнит такого случая, но такой случай все-таки был. И, вспомнив этот, все-таки бывший с ним, случай, интендант второго ранга Лопатин улыбнулся, глядя на стоявшего перед ним дивизионного комиссара.

— Чего скалишься?

— Радуюсь, что набрался храбрости — нагрубил старшему по званию.

— Скоро новые звания введут,— сказал редактор.

— Хочешь стать генералом? — спросил Лопатин.

— Мало интересуюсь,— сказал редактор.

Этому, положим, Лопатин не поверил! Генералом стать редактор хотел.

— А за тебя действительно буду рад, когда присвоят тебе майора вместо интенданта. Интендант — как-то глупо для корреспондента,— сказал редактор.

Спорить не приходилось.

— Как дела там, где ты был? — спросил Лопатин.

— Дела хорошие,— сказал редактор. — Танковую группу Гота не только остановили, но и наполовину перемололи. А то, что от нее осталось, еще день-два — и погоним обратно! Выпить по сто грамм не хочешь?

Такое можно было услышать от него раз в год по обещанию.

— Я-то всегда готов,— сказал Лопатин.

— Пойдем. — Редактор быстро, словно боясь по дороге передумать, пошел впереди Лопатина в другой конец кабинета и открыл дверь в закут, где он наспех два раза в день принимал пищу и спал свои четыре часа в сутки. Пустой чай он пил прямо в кабинете с утра до ночи.

Войдя в закут, редактор сел на койку, потянулся к шкафу, достал оттуда водку, начатую банку с пастеризованными огурцами, два стакана и одну вилку.

— Открой,— скомандовал он Лопатину, сунув ему в руки бутылку.

— Вижу, дело нешуточное,— кивнул Лопатин на огурцы. Он знал, что эти пастеризованные огурчики были единственной гастрономической прихотью равнодушного к еде редактора. — Неплохо б еще и хлеба, если он есть, конечно.

— Забыл,— виновато сказал редактор и вытащил из шкафа тарелку с несколькими кусками хлеба и маслом.

Лопатин подождал, не достанет ли он нож, но о ноже редактор забыл. Вынув из кармана складной ножик, Лопатин намазал толстым слоем масла кусок хлеба и кивнул на бутылку:

— Разрешите приступить?

— По половине,— сказал редактор. — Вдруг вспомнил, что у меня день рождения. Тридцать девять.

— От жены телеграмму получил? — спросил Лопатин.

— Получил.

— Когда?

— Утром, как прилетел.

шие всю дорогу, гремевшие навстречу эшелоны с нефтью сильней всяких сводок напоминали Лопатину о фронте, от которого он пока что все удалялся и удалялся. И было как-то не по себе, что едешь не в ту сторону, соблазнившись этим неожиданным отпуском от войны.

Лежа у себя на верхней полке, он вспоминал, где и сколько был с начала войны. Вышло, что ездил на фронт девятнадцать раз, а в Москве из полутора лет пробыл меньше трех месяцев. Подсчитывал в самооправдание; конечно, должность военного корреспондента не самая трудная на войне; другие люди как начали войну, так и воюют до сих пор там, где пришлось, не ездя ни в какую Москву. Но верно и другое: и в самой Москве, и дальше нее, в тылу, много военных людей, с такими же шпалами на петлицах, как у тебя, все еще служат вдали от фронта; когда пошлют, тогда и поедут. Каждому свое. Дали отпуск, и пользуйся им.

Перед тем как лечь спать, он вышел в коридор покурить. Стоял у окна и посматривал на женщину, которая стояла у соседнего окна и тоже курила.

Женщина была молодая и красивая, и он вспомнил о Ксении, которая теперь в Ташкенте. Встречаться с ней он не собирался, но мог и встретиться: киностудия, театр, а можно и просто так где-то столкнуться...

«Ну и увидимся, что ж из того? Для меня это теперь ничего не значит. Не должно значить»,— подумал он и снова посмотрел на молодую и красивую женщину у соседнего окна. Кто знает, куда и почему она едет. Может, от мужа, может, к мужу. И не помнит сейчас о себе — что красивая, думает о чем-то совсем другом, и кажется — невеселом...

А действительно красивая! Он оглядел ее с головы до ног. Хорошо бы встретить в других обстоятельствах такую, как эта. Для него, конечно. Для нее навряд ли он в свои годы и со своей внешностью мог представлять какую-нибудь ценность.

Она тоже несколько раз полуоборачивалась и смотрела на него. Смотреть было не на что. Может, обратила внимание на орден Красного Знамени и две нашивки за легкие ранения...

Он не любил свою неказистую, как он сам считал, внешность. И когда-то, в первые годы жизни с Ксенией, даже испытывал глупую, как ему теперь казалось, благодарность к ней за то, что она, такая красивая, вышла замуж за него, такого некрасивого.

Но все равно ему было приятно, что его снова и снова тянет сейчас смотреть на эту стоявшую у соседнего окна женщину. В самом этом желании было радовавшее его чувство свободы от прошлого. Он даже суетно пожалел, что рядом с Красным Знаменем

у него нет на груди второго, довоенного ордена — «Знак Почета» — за участие в экспедиции, снимавшей со льдины папанинцев. Он потерял этот орден после переправы на лодке из Крыма, когда, уже на Тамани, в одних подштанниках грелись в хате, а все, что развесили сушиться на дворе, разнесло в клочья прямым попаданием бомбы. И гимнастерку и орден. Подал потом в Москве заявление о замене, но пока не заменили.

Поглядывавшая на него женщина, докурив папиросу, ушла, должно быть, спать. И он тоже вернулся в свое купе с намерением завалиться до утра.

Но заснуть не пришлось. Занявший еще с утра освободившуюся верхнюю полку напротив Лопатина капитан, летчик, начал его расспрашивать: кто да что. А когда узнал фамилию, сказал, что читал его сталинградские очерки, один даже вырезал из «Звездочки» и возит с собой. Полез в планшет и в самом деле достал вырезанный очерк — тот, в котором Лопатин писал о связистке, убитой в день, когда она получила письмо с Северо-Западного фронта от своего пропавшего без вести еще в сорок первом году мужа. Утром получила с полевой почтой это письмо, которое несколько месяцев шло из-под Новгорода в ее родное село в Забайкалье, а оттуда — в Сталинград, и, счастливая, показывала его Лопатину, а днем поползла восстанавливать перебитую линию и погибла.

Лопатина поразило и совпадение — все в один день! — и то, как переживали ее смерть, казалось бы, ко всему привыкшие люди. Он написал в очерке о том, как переплетаются на войне счастье и несчастье. И как вдруг почувствовавший себя счастливым человек находит в душе силы не беречь себя, а, наоборот, пойти навстречу опасности.

Восстановить перебитую связь могли послать и кого-то другого. Но пошла навстречу опасности именно эта женщина — сразу же, никого не спросясь.

— Вы сами лично с ней говорили? — спросил авиационный капитан, хотя из очерка было ясно, что Лопатин с ней говорил.

— Лично,— сказал Лопатин.

— Красивая она?

— Довольно красивая.

— Хорошая женщина,— сказал капитан и вздохнул так, что Лопатину показалось, что его попутчик сейчас заговорит о том, своем, собственном, из-за чего вздохнул.

Но капитан не заговорил, молчал.

— На чем летаете? — спросил Лопатин.

— На «дугласах»,— сказал капитан. — К партизанам ходим.

Лопатин, еще ни разу не летавший к партизанам, стал рас-

спрашивать, какие там, в партизанском краю, площадки, какая с ними связь и какая сигнализация при посадках.

Поговорили об этом еще полчаса и, не возвращаясь к тому, с чего началось, заснули.

Вечером следующего дня, когда поезд после долгой стоянки на узловой станции Арысь наконец тронулся, Лопатин, не заходя в купе, стоял у окна и смотрел на станционные огоньки.

— Что смотрите, товарищ майор? — спросил капитан. — Знакомая станция?

— Станция знакомая,— сказал Лопатин. — Но смотрю не поэтому. На огни. Отвык, что без затемнения.

— И я, пока пять дней там, в деревне, жил, где у меня жена в эвакуации,— свет, правда, слабый — керосин, и не в каждой избе, а все-таки вечером ходил, смотрел, как окошки светятся...

Капитан снова вздохнул о чем-то своем и снова, кажется, был готов заговорить об этом, но не заговорил...

Они простились с капитаном на станции Ташкент. Стояла ночь. Поезд остановился где-то на путях, капитан предложил помочь донести вещи, но Лопатин сказал, что его обещали встретить у вагона, и остался ждать.

Капитан пожал ему руку, откозырял и пошел. За его широкой спиной на ходу мотался влево и вправо тощий вещмешок, а в руке приплясывал пустой чемодан.

«Все, что у него с собой было, наверно, оставил там, в деревне, где у него жена в эвакуации»,— подумал Лопатин.

На путях и повсюду кругом лежал снег, было неправдоподобно холодно для Ташкента. Вагон был в самом хвосте поезда, и Лопатин, положив у ног вещи, долго топтался на морозе, пока увидел двух спешивших к нему людей.

Один, наверное, был здешний корреспондент «Красной звезды» — подполковник Губер, которого Лопатин никогда не видел в глаза, только знал о нем, что он после тяжелого ранения признан ограниченно годным и второй год служит в Ташкенте. В редакции обещали дать ему телеграмму с номером вагона. А вот кто второй — высокий в штатском?

— Товарищ Лопатин, Василий Николаевич? Не обознался? — подходя к Лопатину, спросил широкоплечий подполковник и протянул руку. — С прибытием! Губер, Петр Федорович.

Высокий, остановившийся сзади него, шагнул из-за его спины и, каким-то рыдающим, нечеловеческим голосом вскрикнув: «Вася!», обнял Лопатина.

Все было неузнаваемо в этом человеке. И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдо-

подобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он, как слепой, тыкался сейчас в лицо Лопатину. И все-таки это был он, именно он — Слава, Вячеслав Викторович, старый товарищ и одно время, в их литературной молодости, даже покровитель Лопатина, человек, с которым он и хотел и боялся встретиться здесь, в Ташкенте.

— Я вчера принес Петру Федоровичу стихи для вашей газеты и узнал, что ты приезжаешь, и он великодушно согласился взять меня с собой,— продолжая держать за плечи Лопатина своими тоже не прежними, неуверенно подрагивающими руками, говорил Вячеслав Викторович, стараясь усилить свой голос до знакомых медных труб. — И надеюсь, что мы поедем отсюда прямо ко мне и ты будешь жить у меня, сколько тебе заблагорассудится.

— В офицерском общежитии по телеграмме редакции место оставлено,— выжидательно сказал Губер.

— Петр Федорович,— снова стараясь дотянуть голос до прежних медных труб, сказал Вячеслав Викторович,— я уже просил вас не упоминать об этом общежитии.

— Докладываю обстановку, как она есть,— с оттенком досады сказал Губер.

— Я тебя очень прошу, только у меня. — Вячеслав Викторович повернулся к Лопатину и снова положил ему на плечи свои подрагивающие руки. — Я не понимаю вообще, о чем мы тут разговариваем?

И хотя он произнес последние слова с вызовом, в вызове этом было что-то неуверенное, похожее на просьбу о прощении, хотя Лопатину нечего было ему прощать. И Лопатин сказал: «Спасибо, конечно, поедем к тебе». И попросил Губера отказаться от брони в офицерском общежитии.

Они проехали в казенной «эмке» Губера по заметенному снегом Ташкенту и остановились между двумя одноэтажными домами, у низкой арки ворот.

— Прошу и вас ко мне на огонек, Петр Федорович,— сказал Вячеслав Викторович, когда они вышли из «эмки».

— Благодарю, нет,— довольно резко ответил Губер, так, словно ему предлагали это уже не в первый раз. — Когда выспитесь, заеду за вами, договоримся о дальнейшем. В одиннадцать не рано?

— Не рано, спасибо,— сказал Лопатин.

Губер откозырял и полез в «эмку».

И что-то натянутое в этой маленькой сцене заставило Лопатина вспомнить, как месяца четыре назад, в Москве, Гурский сказал ему:

— Слушай, п-прояви гум-манизм. Там у редактора лежат ст-тихи твоего д-друга, которые прислал наш корреспондент из Ташкента, а он уп-перся и не хочет п-печатать.

Лопатин сходил к редактору, но тот ничего не желал слышать.

— Мне его стихи из Ташкента не нужны. Пусть попросится поехать от нас на фронт — попробуем, пошлем. А из Ташкента — нет!

Какой-то оттенок того разговора с редактором Лопатин почувствовал сейчас в отношении Губера к Вячеславу Викторовичу. Наверное, не хотел брать его с собой на вокзал...

«Эмка» отъехала, стрельнув из-под колес снегом, и Вячеслав Викторович, рассеянно проводив ее взглядом, повернулся и показал Лопатину на ворота.

— Я там... со двора. Только не поскользнись, у нас темно, я пойду первым.

Комната, в которую они вошли, пройдя перед этим по закоулкам длинного двора, была довольно большая. Голая, без абажура, лампа горела вполнакала под самым потолком. Было полутемно и холодно. У одной стены стояла накрытая паласом широкая продавленная тахта, у другой — шкаф. Посреди комнаты — обеденный стол и несколько стульев.

Кажется, здесь была еще одна комната: Лопатин заметил дверь, полуприкрытую занавеской на деревянных кольцах.

— Раздевайся,— сказал Вячеслав Викторович. — Клади прямо сюда. — И сам бросил на тахту знакомое Лопатину довоенное заграничное демисезонное пальто, теперь сидевшее на нем как на вешалке.

Лопатин поставил вещи и, скидывая на тахту полушубок, вспомнил прежний кабинет Вячеслава там, в Москве, с большими окнами и ярко-желтыми простенками, в которых висели старые теребеневские лубки войны двенадцатого года. Там тоже была широкая тахта, и ее накрывал спускавшийся со стены ковер. И в этой нынешней комнате, на вытертом паласе, словно память о прошлом, висела шашка. Одна, но все-таки висела!

— Не опрокинь там кашу. — Вячеслав Викторович, подойдя к тахте, развернул узбекский ватный халат и вынул из него кастрюлю. — Еще горячая,— сказал он, потрогав ее, и поставил на стол. — Сегодня у меня сравнительно ничего, тепло, верно? Подтопил к твоему приезду. А вообще скверно. Зима лютая, нездешняя, и угля нет, хоть воруй! А может, тебе все же холодно?

Он снова подошел к тахте и, взяв халат, накинул его на плечи Лопатина.

— Грейся, он еще теплый от каши. Хорошая вещь эти халаты! У меня три. Ими и спасаюсь, когда угля нет. Особенно по

утрам холодно, когда утренний намаз совершаешь. Хоть не мойся! А помнишь, какая жара стояла в Пянджикенте тогда, в тридцать четвертом году?

Лопатин помнил, какая тогда стояла жара, но гораздо лучше помнил другое: как, попав тогда в Среднюю Азию, черной завистью завидовал Вячеславу, который перед этим, во время боев с басмачами, целую неделю находился при штабе Кавдивизии у знакомого ему и воспетого им потом в стихах комдива.

«Что же все-таки случилось с ним? И как могло случиться именно с ним?» — подумал Лопатин, садясь за стол напротив Вячеслава Викторовича, который, виновато пожимая плечами, говорил ему, что не успел добыть ничего существенного.

— Могу тебя приветствовать только тем, что видишь на столе.

На столе была каша, хлеб, банка с бычками в томате и бутылка портвейна.

— Могу пополнить,— сказал Лопатин. — Имею кое-какие запасы.

— Пополнишь через три дня, когда будем встречать с тобой Новый год. А сегодня мои хлеб-соль, какие есть! — Вячеслав Викторович налил по стакану портвейна. — До сих пор не верю глазам, что ты сидишь передо мной. Но, как говорят братья узбеки, «хоп майли» — так оно и есть!

Он чокнулся с Лопатиным и первым выпил.

— Как ты располагаешь — спать или разговаривать? Я по-прежнему полуночник!

— На первый раз могу соответствовать,— сказал Лопатин. — В дороге выспался почти до отказа.

— Тогда проговорим до утра! А потом положу тебя спать там, у мамы, на мамину кровать... — Вячеслав Викторович кивнул на дверь с занавеской.

Это было как раз то, о чем не решался спросить у него Лопатин с первой минуты, как вошел в эту комнату, где не было следов ни женских рук, ни женского дыхания. Он знал, что мать Вячеслава тогда, в августе сорок первого, тоже уехала с ним в Ташкент; уехала и его жена Ирина. Но жены могло и не быть с ним. Она и до войны то бывала, то не бывала... А мать...

— Что с мамой? — спросил Лопатин, боясь того ответа, который услышал.

— Умерла три месяца назад. На той самой кровати, на которой будешь сегодня спать. Сразу! Даже «скорая помощь» не успела приехать. От старой грудной жабы, которой она всегда страдала. Климат ей почему-то не подходил, хотя врачи, наоборот, говорят, что перемена климата помогает... А ей не подходил! Плохо переносила жару. Того лета почти не застала, это выдержала,

а в сентябре умерла... Мама часто вспоминала тебя... И всех других, кого она любила. Она ведь одно из двух — или любила, или не любила... Я всегда завидовал в ней этому. Сердилась на вас, на тех, кого любила, что не пишете мне писем сюда, и на меня, что я вам не пишу писем туда. Я пробовал ей объяснить, что в сложившихся обстоятельствах не могу писать тебе первым. Но она не желала этого понимать. Говорила: ну, так пусть он напишет первым... Только не думай, что я хотел получать от вас письма. В какие-то минуты хотел, но чаще не хотел. Особенно от тебя!

— Почему «особенно»? — спросил Лопатин.

— Потому что ты старше меня, а не моложе. И перед тобой нет даже того оправдания, к которому я в минуты слабости прибегаю, думая о своих учениках. А иногда я думаю, что они вообще никогда ничему у меня не учились. А если и учились, не желают помнить об этом.

— Почему? — Лопатин внутренне вздрогнул от неподдельной горечи сказанного. — Ты в свое время так много хорошего сделал для них, что свинья тот, кто это забудет! Я как раз недавно встретил на фронте, в дивизионной газете, этого твоего любимца, которому ты предрекал особенно много... И он поминал тебя добрым словом.

— Он два раза писал мне,— сказал Вячеслав Викторович.

— А ты?

— А я два раза ответил. Оба раза одно и то же: спасибо, что ты помнишь меня... Больше мне нечего было ему написать. Если желаешь знать правду, вчера, услыхав, что ты приедешь, я полночи думал: как мне быть? Может, вообще не попадаться тебе на глаза? А потом не выдержал. Наверно, наслушался там, в Москве, издевок по моему адресу?

Лопатин кивнул.

— А теперь я хочу объяснить сам.

Но хотя сказал, что хочет объяснить, долго ничего не объяснял. Сидел и молчал, уперев локти в стол и обхватив голову руками.

А Лопатин сидел напротив и смотрел на эти исхудалые, подрагивающие руки.

Нет, Вячеслав не был похож на человека, струсившего на войне, но счастливого тем, что он спасся от нее. Он был не просто несчастен, он был болен своим несчастьем. И те издевки над ним, которые слышал Лопатин в Москве, при всем своем внешнем правдоподобии были несправедливы. Предполагалось, что, спасшись от войны, он сделал именно то, чего хотел. А он, спасшись от войны, сделал то, чего не хотел делать. И в этом состояло его несчастье.

Да, да, да! Все против него! Он всю жизнь писал стихи о мужестве, и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в гражданской войне, и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам и считался старым другом пограничников, и его кабинет был до потолка завешан оружием. И в тридцать девятом году, после того, как почти бескровно освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, вернулся в Москву весь в ремнях, и выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война — уж кто-кто, а он на нее — первым!

И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте.

Было не с ним одним; было и с другими такими же сорокалетними, как он. И на фронт не ездили, а просто эвакуировались, уехали. Приняли близко, некоторые даже слишком близко, к сердцу советы сберечь себя для литературы и получили разные брони. Но другим как-то забыли это, спустили — кому раньше, кому позже. А ему — нет, не забыли! Слишком уж не сходилось то, чего от него ждали, с тем, что вышло...

«Но ведь и он сам тоже, наверное, ждал от себя другого, чем вышло? И не может этого ни забыть, ни простить себе,— думал Лопатин, глядя на молча сидевшего Вячеслава Викторовича. — Иначе о чем говорить и зачем говорить?»

— Можешь мне не верить,— наконец оторвав руки от лица и положив их перед собой на стол, сказал Вячеслав Викторович,— но я правда заболел тогда. Страшно, глупо, может быть, для кого-то неправдоподобно, но заболел. Когда наш эшелон там, не доезжая Минска, разнесло в щепы и я вылез из-под откоса, среди стонов, среди кусков людского мяса, только что бывших людьми, я понял, что не смогу сесть на другой поезд и ехать еще раз через все это — туда. Меня рвало раз за разом, до желчи, до пустоты, я не мог преодолеть себя. Я вернулся в Москву с этой трясучкой, которая и до сих пор не прошла. И врачи мне сказали, что я болен, что у меня после шокового потрясения... — Он употребил латинское название болезни, которое Лопатин где-то слышал. — Я не просил; они сами, видя мое состояние, отправили меня на комиссию и демобилизовали.

«Не был бы ты известный писатель, на комиссию, может, и послали б, а демобилизовали бы вряд ли! Отправили бы на первое время в тыловые части, с ограниченной годностью»,— жестоко подумал Лопатин, не из неприязни к Вячеславу, а просто так, для точности. В таких вещах он любил точность.

И Вячеслав Викторович словно угадал его мысли:

— Не думай, я понимаю, что с кем-то другим могли бы и по-другому. Но со мной так. И наверно, правильно. Ты можешь сказать, что еще не поздно, что я могу попроситься и мне разрешат поехать в какую-нибудь армейскую газету. Наверно. Но я не могу. И не потому, что цепляюсь за жизнь. Не цепляюсь. Совершенно не хочу жить. Но боюсь самого себя. Боюсь во второй раз того же позора. Я не могу перешагнуть не через страх смерти, а через ужас этой боязни за самого себя. Что ты молчишь, как проклятый? Что я еще должен тебе сказать, чтобы ты сам наконец заговорил?!

Он выкрикнул это с такой жаждой, чтобы его кто-то оправдал, нашел для него слова утешения, что Лопатину стало не по себе от сознания, что у него нет за душой таких слов.

— Тебе надо поменьше вспоминать обо всем этом,— сказал Лопатин,— и побольше работать. Раз не можешь преодолеть себя, делай то, что можешь. Другого выхода нет. Я, во всяком случае, не вижу.

— Я работаю,— сказал Вячеслав Викторович. Он ждал чего-то другого, а не этих простых слов. — Я работаю,— повторил он. — Сижу здесь и пишу стихи о войне. Пишу дрянь. И сам понимаю, что дрянь, потому что не могу, сидя здесь, писать о войне не дрянь.

«Ну так пойди служить, коли пишешь дрянь»,— чуть было не сказал Лопатин.

— Не пишется о войне — пиши о другом.

— Я пишу. Почти каждую ночь пишу о другом. Пишу книгу про собственную свою жизнь, никому сейчас не нужную.

Так и осталось непонятным, про что сказал «никому не нужную» — про эту книгу или про свою жизнь?

Наверное, надо было попросить его что-нибудь прочесть из этой книги. Наверное, он ждал этого. Но Лопатин не попросил. Дай бог, если это хорошо! А если плохо?

Та решимость отчаяния, с которой Вячеслав сказал ему правду о себе, ставила в глазах Лопатина этого оказавшегося таким слабым перед лицом войны человека намного выше людей, которые вели себя низко, но при этом жили так, словно с ними ничего не случилось, и, легко согласившись, чтобы вместо них рисковал жизнью кто-то другой, сами продолжали существовать, сохраняя вид собственного достоинства.

И все-таки правда Вячеслава о себе была только его правдой, а не вообще правдой. Вообще-то, перед лицом войны он хотя и мучился этим, все-таки жил неправедной жизнью. И это тоже была правда. И более важная.

И, полный добра к этому человеку, Лопатин все равно не мог перешагнуть в своих чувствах через эту главную правду. И тот чувствовал это.

Вячеслав Викторович разлил портвейн до конца — вышло еще почти по стакану — и молча выпил, с поспешностью человека, с трудом удерживающего себя от этого.

«Уж не спиваешься ли ты вдобавок ко всем своим несчастьям?» — с тревогой подумал Лопатин.

— Не злоупотребляешь?

— К счастью, нет такой возможности,— сказал Вячеслав Викторович. — С трудом выклянчил сегодня, под тебя, эту бутылку. Водка на черном рынке, наверно, сам знаешь почем. Пью на свои, своих мало, а в шутах и прихлебателях ни при ком не хожу, пока удерживаюсь.

Житейская горечь, с которой он это сказал, напомнила Лопатину, как этот человек и умел и любил пить, а еще больше любил поить других, и именно на свои!

— А мало — не оттого, что бездельничаю. Книгу пишу по ночам, а днем тружусь по мере сил, больше, чем когда-нибудь. И по радио выступаю, и чужие стихи перевожу, и песни для кино пишу. И в окружной военной газете начинающих консультирую. И свое старое всюду, где могу, читаю. Старое еще помнят! Не бездельничаю, напрасно подумал.

— А я и не думал,— сказал Лопатин.

— Расскажи лучше о себе. От других слышал много, хочу от тебя. Только сперва съедим кашу, пока теплая. — Вячеслав Викторович снял крышку с кастрюли.

Они съели кашу — Лопатин без особой охоты, а Вячеслав Викторович с жадностью человека, привыкшего есть не досыта. Доел кашу, макнул корку хлеба в соус, оставшийся на дне банки из-под бычков, и вытер ее досуха.

Лопатин молчал, ему не хотелось рассказывать о себе. Во всяком случае, о том, чего, наверно, ждал Вячеслав: где был, что видел, где ранили, за что орден... Что-то мешало рассказывать сейчас об этом. Все равно что сытый голодному — о еде. Сделал вид, что не понял вопроса, и сказал о своей личной жизни, что окончательно разошелся с Ксенией.

— Я знаю,— сказал Вячеслав Викторович. — Встретил ее не так давно на улице; сама сказала. Горда, что разошлась с тобой, как она выразилась, по-хорошему. А я тоже один.

Этого можно было и не объяснять. И так видно, что он один.

— В прошлом году, когда попал сюда, Ирина прибыла меня жалеть, но я выставил. Если бы просто так, наверно бы, не выставил. Но уж слишком откровенно было написано на ее богома-

терпом лике, что явилась совершить христианский подвиг. Отбыла и вновь живет собственной жизнью вдали от меня. Наверно, война правильно делает, когда занимается хирургией. Хотя и прошла мимо меня, но это в моей жизни отрезала.

«Насчет отрезала верно,— подумал Лопатин,— а что прошла мимо — неправда. Ни мимо кого она не прошла! Хочешь не хочешь, а война все равно теперь в каждой жизни. И в чьей-то трусости, и в чьей-то храбрости, и в чьих-то попытках жить как ни в чем не бывало».

— А впрочем, в моем положении не мне судить других людей, в том числе и Ирину,— с вымученным смирением добавил Вячеслав Викторович.

— Это не разговор,— сказал Лопатин. — Судить может каждый каждого. И — как бы это поласковей выразиться? — только недалекие, что ли, люди могут считать, что если они раз в жизни поступили храбрей других, это на всю остальную жизнь делает их судьями чужих поступков. Не приемлю такого взгляда! Человек на войне и судья и ответчик. И считать себя только тем или только другим нельзя! Сорок первый год почти по каждому из нас так стукнул, что кости до сих пор трещат!

И, лишь сказав это, понял, как важно было сказанное для Вячеслава.

— Тебе тоже было очень страшно тогда, в начале? — с детской простотой спросил он.

— Еще бы нет! — сказал Лопатин, вспомнив, как на третий день войны начинал ее в тех местах, до которых не доехал Вячеслав, и как много раз за эти первые дни ему было до судорог страшно, и как он не мог побороть страх и, может, так и не поборол бы, окажись один, а не вместе с другими, тоже боявшимися смерти, но делавшими свое дело людьми. И как он все-таки постепенно, именно постепенно, научился подавлять в себе это чувство страха, все дольше находясь среди людей, продолжавших делать свое дело. Так это было с ним и на Западном фронте, под Могилевом и Ельней, так было и после этого, в Крыму и в Одессе...

Лопатин повторил вслух то, о чем думал, и рассказал, как в последнюю ночь, когда уже шли из Одессы в Севастополь на эсминце, генерал Ефимов вдруг посреди этой бессонной ночи стал на память читать старые стихи Вячеслава про басмачей.

— Мы несколько раз с ним встречались здесь, в Средней Азии,— сказал Вячеслав Викторович. — Он здесь и бригадой командовал, и начальником училища был. Говорили даже, хотя он сам этого не подтверждал, отшучивался, что, когда в Афганистане свергли Амманулу-хана, ходил туда на помощь во главе

какого-то сводного мусульманского полка. Смеялись, что главная трудность была во время намазов; бойцы его со всех сторон прикрывали, чтобы никто не увидел, что он не мусульманин. В остальном-то внешность у него была подходящая для Востока. Он и голову тогда брил.

— И сейчас бреет,— сказал Лопатин, вспомнив Ефимова, его бритую голову, кирпичное скуластое лицо и спускавшиеся ниже уголков рта азиатские усы.

— Да, интересно, какой он теперь...

— Наверно, сумею передать ему от тебя привет,— сказал Лопатин. — Отсюда поеду через Каспий на Кавказский фронт. Он там армией командует. Надеюсь быть у него.

Вячеслав Викторович молча смотрел на Лопатина. Может быть, в первом порыве хотел сказать: возьми и меня с собой туда, к Ефимову! Кажется, хотел. Но не сказал и долго, тяжело молчал. Потом спросил погасшим голосом:

— Ну, а в самом Ташкенте-то у тебя что? Губер, сколько его ни спрашивал, так ничего и не сказал; на пять суток — и все! Я терялся в догадках. Уж не Ксению ли отбивать приехал?

Лопатин объяснил, зачем он приехал в Ташкент.

Они заговорили о киностудии: где она, как туда проехать, какие там снимаются картины и что за человек режиссер, с которым предстоит иметь дело Лопатину.

Разговор, который, казалось, никогда не кончится, вдруг сам собой кончился.

— Пора все-таки спать,— сказал Вячеслав Викторович. — Сейчас уложу тебя. —И снова повторил: — На мамину кровать,— так, словно кроме этих детских слов нет и не будет никаких других.

5

Наверное, Вячеслав Викторович ничего не трогал в комнате матери после ее смерти. Как все было, когда она жила, так все и осталось. Но она, пока жила, жила не собой, а сыном, и эта комната после ее смерти больше напоминала о сыне, чем о ней. О его, а не о ее жизни на земле.

Лопатин лежал на этой маминой кровати, узкой, старой, с никелированными шарами, может быть купленной здесь, но точно такой же, на какой она спала в Москве. Бывая сначала в одной их московской квартире, потом в другой, ему случалось заходить к ней в комнату. Она любила разговаривать с ним.

Квартиры были разные, а над кроватью висели те же самые фотографии Вячеслава. И здесь, над этой кроватью, они висели на тех же местах.

Лопатин лежал на этой кровати под старым, посекшимся ватным одеялом, заправленным в чистый пододеяльник. И пододеяльник был чистый, и простыня, и наволочка на подушке. Вячеслав всегда был заботлив к друзьям, таким и остался. Бог знает, на чем спит сам, в той комнате, на своей продавленной тахте, а здесь все чистое. Даже неудобно было ложиться, не помывшись с дороги, в такую чистую постель.

Он сказал об этом, когда Вячеслав провожал его спать, но тот махнул рукой:

— Авось ничего не набрался в дороге. А греть воду все равно не на чем. Завтра в баню сходишь. Губер тебя устроит в комендантской; у них там хорошо, чисто.

Нет, Вячеслав тоже не спал; сначала Лопатину показалось, спит, но потом услышал, как он тихо, наверно в ночных туфлях, шатается там, за стеной, взад и вперед по своей холодной комнате.

Лопатин вспомнил, как Вячеслав в тридцать восьмом году несколько месяцев ходил осунувшись, напряженный, притихший, ходил так, словно заранее прислушивался к тому, что с ним может случиться.

А случиться могло! Был арестован один из его старых знакомых, военный с громким именем. До того как это стряслось, Вячеслав с детским тщеславием любил к месту и не к месту называть его имя, преувеличивая свою близость к нему, и все это могло плохо кончиться. Но эта беда, как тогда казалось, почти неотвратимая, прошла мимо него. А совсем другая и неожиданная через три года обрушилась там, где он меньше всего думал ее встретить,— на войне. И даже не на войне, а по дороге на войну.

Лопатину показалось, что он нашел слово, точнее других выражавшее все, что произошло с Вячеславом. Именно беда! И тем горшая, что через такую беду человек может переступить только сам, остатками собственной воли. Через такую беду его на чужих плечах не перетащишь.

Но мучиться с тем, как решить эту задачку, можно долго, и ответов в конце задачника не один, а два. Или примириться, что не способен к тому, чего ждал от себя, и успокоиться, жить, как люди живут. Как дурные люди живут, имеется в виду! Или разбежаться и прыгнуть через неведомое, хуже — через ведомое, через то, перед чем уже один раз остановился. Перепрыгнуть он боится, но и примириться не может. Когда так — еще не все потеряно.

Лопатин лежал, смотрел на фотографии, висевшие над кроватью, и думал, что, наверно, и на эти фотографии Вячеславу бывает тяжело смотреть. На одной из них он, четырнадцатилетний гимназист, с отцом и матерью. Мать сидит на гнутом венском

стуле, в косынке милосердной сестры. А отец, снятый во время приезда с австрийского фронта, перед своей гибелью в пятнадцатом году, стоит во весь рост в офицерских сапогах с твердыми голенищами, в форме штабс-капитана, с «Георгием» и «Владимиром» с мечами и бантом. Такой же высокий, как Вячеслав, и похожий на него.

Фотография готовила к другому, к войне, а не к Ташкенту, и воспитание, казалось бы, тоже. Даже в двадцатые годы Вячеслав не просил мать, чтобы убрала эту всегда висевшую у нее на самом виду фотографию. И, вспоминая свое неблагополучное, как он в то время выражался, дворянское происхождение, даже тогда говорил об отце с оттенком гордости. А потом, после тридцать седьмого года, когда в школах стали учить историю уже не по Покровскому, а по Шестакову, очень любил вспоминать, что происходит из старой служилой дворянской семьи, и про этот «Георгий», и про «Владимира» с мечами и бантом у отца, погибшего под Перемышлем. И про то, что мать работала милосердной сестрой в земском санитарном поезде...

Старуха была независимая и строгая. Дорожила тем, что могла бы и сама себя содержать, и еще накануне войны заведовала отделом в исторической библиотеке. За словом в карман не лезла, могла сказать в глаза человеку: «Не нравитесь вы мне». И сына могла одернуть при людях, если его слишком заносило в рассказах: «Слава, не ври, пожалуйста!»

При этом безгранично его любила, как может рано овдовевшая женщина любить единственного сына.

И в свою очередь много для него значила.

Пожалуй, даже в своей путаной семейной жизни он оказался неподатливей, чем можно было от него ожидать, потому что мать оставалась рядом и было на кого опереться.

«Как она сама-то пережила все, что с ним случилось? Не укоротило ли это ее дни? — подумал Лопатин, прислушиваясь к шагам в соседней комнате. — Все еще ходит... Плохо, когда человек одинок!» Зная Вячеслава, понимал, что какая-нибудь женщина, наверно, иногда ночует у него или он у нее, но это дела не меняет, все равно одинок! Знал это по себе. Ксения последние годы тоже, в сущности, была не женой, а женщиной, то приходившей по ночам к нему, то позволявшей ему приходить к ней.

Всякая чужая жизнь в конце-то концов открывается через свою собственную, даже непохожую, и он подумал о собственной молодости.

Не было в ней, в этой молодости, ни отца, которым можно молча или вслух гордиться, ни семейных традиций. Была только ранняя забота о хлебе насущном и беготня по урокам, начиная

с пятого класса реального училища. Была вдовая мать, слабая здоровьем, добрая и беспомощная, две младшие сестры и старшая, уехавшая вслед за ссыльным женихом в Сибирь...

Была нелюбимая должность счетовода в Московском коммерческом банке и в первую мировую войну освобождение от военной службы — и по близорукости, и как единственного сына, кормильца семьи.

А потом, после революции, все та же служба, в том же, только по-другому называвшемся, месте, полтора голодных пайковых года в Москве и по настоянию матери, из-за нее и младших, тогда еще незамужних сестер, переезд к родственникам в Саратов, где, считалось, будет сытнее.

Революция и гражданская война прошли как-то мимо него, среди забот о близких и куске хлеба для них. Только в двадцатом году, когда кончалась гражданская война и он после двух с маху написанных и, к его удивлению, напечатанных стихов попал работать в губернскую газету, ему, двадцатичетырехлетнему ровеснику многих тогдашних начдивов и комбригов, в новой обстановке, среди новых людей показалась скудной и почти напрасной вся прожитая им до этого жизнь.

Вспоминая молодость, он с горечью шутил над собой, что поздновато признал Советскую власть. В шутке была доля правды. Молодость вспоминалась как какое-то ни то ни се.

И в Москве в двадцать третьем году, когда вернулся, похоронив мать, тоже поначалу было ни то ни се. Хотя он к тому времени уж научился писать на газетную полосу, но бессмысленно продолжал лезть в поэты. И добился — выпустил свою первую и последнюю книжку незавидных стихов. Именно к той поре и относилось начало его знакомства с Вячеславом, от доброй души хвалившим его и подкармливавшим.

А после стихов напечатал вымученный подражательный роман, и злился, что его ругают, и топтался в редакциях, перебиваясь случайными заработками, и пропивал их не в лучшей компании. И только к тридцати годам, когда, все еще не найдя себя, уже начинал чувствовать себя потерянным, само время заново ткнуло его носом в газетную полосу.

Смеясь, говорил потом о себе: я дитя первой пятилетки! А на деле так оно и было! С первых поездок по стройкам и началось то настоящее, что потом стало смыслом жизни. Попал в колею, из которой уже не вытащили никакие соблазны. Из дурного беллетриста стал газетчиком, из мало кому нужного человека — нужным, и все чаще до зарезу, до того, что — из поездки в поездку, из одного конца страны в другой. И даже удивился, когда летом тридцать четвертого года, вернувшись с зимовки, вдруг

узнал, что за три книги очерков принят в Союз писателей. Главным в жизни были поездки, а книги сложились из них как-то сами собою...

Все это было давным-давно, целых восемь лет назад. На съезде писателей выступал бежавший из Германии Фридрих Вольф и говорил о германском фашизме. Осенью в Сталинграде Лопатин вспоминал это выступление со странным чувством. Тогда, в тридцать четвертом, фашисты, про которых говорил Вольф, были где-то далеко, там, у себя в Берлине, а мы — у себя в Москве. А в Сталинграде все стало впритык! В двух соседних разбитых бомбами домах: в одном — мы, в другом — они!

А Вячеслав все ходил там, за стеной. Тогда, в тридцать четвертом, на съезде, он тоже выступал и тоже, как и немец Вольф, говорил об угрозе войны...

6

Когда Лопатин встал, проспав до одиннадцатого часа, Вячеслав Викторович уже сидел одетый и допивал чай.

— Только хотел тебя разбудить, объяснить, где я ключ оставляю. Ухожу на радио. Пей чай без меня, а ключ вот. — Он показал на лежавший на клеенке ключ. — Когда Губер за тобой приедет, запри снаружи и сунь за наличник над дверью. Ко мне тут местная старушка три раза в неделю ходит, Анна Августовна, по-моему, из бывших баронесс, хотя почему-то не призналась мне, скрывает. Наводит после меня порядок и варит из чего придется клейстер-зуппе на два дня. Полкастрюли оставляет мне, завернув в халат, как вчера кашу, чтоб зря керосин не тратил, а полкастрюли в бидончик — и домой. Суп, он же и зарплата, в которой ныне господствуют натуральные формы. Белье тебе с дороги постирает, если имеешь свое мыло. У меня кончилось, предстоит идти и доставать... Не могу привыкнуть, что мамы нет. Первый месяц тыкался без нее по дому, как маленький, не знал, где что. И спросить некого.

Говоря это, он отвернулся, надел пальто и, не оглядываясь, вышел.

Подполковник Губер появился в одиннадцать, минута в минуту, и, когда Лопатин спросил про комендантскую баню, сказал, что предусмотрено, прямо туда и поедут. Сам по расписанию должен был мыться позавчера, но воздержался, чтоб сходить вместе.

— После бани можем заехать сразу и на продпункт получить по вашему продаттестату.

— Еще не могу, рано,— сказал Лопатин. — Набрал в Москве вперед до тридцатого включительно. Теперь только под самый

Новый год могу взять. А вместо продпункта забросьте меня на киностудию, у меня там дела.

— Я знаю. В телеграмме редактора было о цели вашего приезда.

— А чего ж вы Вячеславу Викторовичу не сказали?

— Не имел таких указаний. — Губер чуть заметно улыбнулся — не то над собой, не то над редактором.

— И вчера сюда к нему отказались зайти. Что у вас с ним, плохие отношения, что ли? — спросил Лопатин.

— Откуда! Просто неловко было перед ним. Организовал летом, к годовщине войны, его стихи для газеты, послал,— не напечатали без объяснения причин. Понял так, что поздно пришли. Заказал еще одни. Я, конечно, не знаток в этом, но, по-моему, вышли неплохо, все правильно. А в ответ получил телеграмму: больше не проявляйте инициативы, занимайтесь прямыми обязанностями. Он пришел ко мне позавчера с новыми стихами, а я мнусь... И правду сказать неловко. И врать не умею. Как после этого идти к нему в дом?

В комендантской бане, когда, помывшись, отдыхали в предбаннике, Губер пожаловался на редактора, что тот оставил без последствий его просьбы вернуться к фронтовой работе: «Работайте там, куда посланы». Вот и весь ответ!

Зная редактора, Лопатин подумал, что само желание Губера после тяжелого ранения вернуться обратно на фронт записано ему как плюс, но, наверно, интересы газеты стали поперек. Тем, как Губер работает здесь, редактор доволен, а если забрать его, надо искать другого. Но где найдешь другого, хорошего, который захочет вместо него с фронта в Ташкент? А плохого не надо.

— Боюсь, как бы вам не пришлось дожидаться, пока ранят кого-нибудь и направят сюда на излечение,— сказал Лопатин.

— Сам уже думал об этом. Но как-то неудобно дожидаться такого случая. Вы, вернувшись в Москву, все же напомните ему еще раз.

— Будет сделано! — сказал Лопатин. Хотя в результате сомневался. Дружба дружбой, а в этом случае редактор может поставить на свое место, и даже с удовольствием. Не суйся не в свои дела! Вот если бы Губер никуда не просился, сидел бы тут тихо, наверно бы, заело: как так, сидит второй год в тылу и молчит, не просится на фронт?

— Сын недавно из школы пришел,— сказал Губер,— и потребовал от меня, чтоб фамилию сменил. Ему кто-то в школе сказал, что отца из-за немецкой фамилии обратно на фронт не пускают. Спрашиваю: кто сказал? Молчит! Глупо, но не радует.

— А что, у вас в роду кто-нибудь из обрусевших немцев? —

спросил Лопатин. — Я одного Губера, москвича, комиссара полка, в ополченской дивизии под Старой Руссой встречал. Там он потом и погиб. Не родственник?

— Если москвич, навряд ли! Вообще-то я привык себя хохлом считать. Мать — из селян Херсонской бывшей губернии, отец — механик на Николаевском заводе. Я Петр Федорович, он Федор Федорович. А откуда такая фамилия, черт ее знает! Не привык задаваться этим вопросом. В прежние времена о таких вещах не думали. Ни я, ни вы. А сыну приходится думать. Стал даже, по детской глупости, выяснять у меня родословную, но я дальше деда Федора сам ничего не знаю. Боюсь, как бы не проходить до конца войны с медалью «20 лет РККА»,— сказал Губер, натягивая через голову гимнастерку. — В гражданскую — пуля, в эту — осколок, а на груди — только за выслугу лет. Пока терпимо, но если так и до конца войны, как потом детям объяснишь,— почему?

Губер довез Лопатина до старой мечети, где была теперь киностудия, помог выписать в проходной пропуск и уехал, забрав литер, чтобы заранее взять место на ашхабадский поезд.

Губер не сказал Вячеславу, зачем приезжает Лопатин, а на студию, оказывается, позвонил еще вчера, и здесь ждали и сразу провели к режиссеру в просмотровый зал.

Лопатин пожал в темноте руку какому-то человеку, который сказал какой-то тоже невидимой женщине: «Соня, предупреди, чтобы остановили, как только ролик кончится!»

Дверь открылась и закрылась, кто-то вышел. Режиссер придержал Лопатина за локоть, чтобы в темноте не промахнулся мимо стула.

На экране шла хроника. Непривычная, странно беззвучная. Несколько солдат, поднявшись с земли, бежали по экрану в атаку. Сняты были в спину, на экране помещалось всего несколько человек, и столбы разрывов вдали были настоящие. Все было снято по правде, в бою, а не так, как иногда снимают уже после боя, когда дымы во весь экран не от снарядов, а от дымовых шашек, а люди сняты не в спину, а в лицо, как будто оператор в момент атаки может лежать впереди наступающей цепи!

Через экран пробежало еще несколько солдат. Вдали, на горизонте, появилось еще два бесшумных дыма, от разрывов.

— Вот так далеко друг от друга и бегут в атаку? — спросил в темноте режиссер.

— Не часто приходилось это видеть, но, в общем, так! — сказал Лопатин. — Эти кадры настоящие, сняты в бою.

— И мне показалось, что настоящие. Уже несколько дней сижу, смотрю разную хронику, готовлюсь к съемкам картины. Заспорили тут с военным консультантом... — Режиссер недосказал, о чем заспорили. Ролик кончился, и в просмотровой зажегся свет.

— Будем знакомы. Зовут меня Ильей Григорьевичем, как Эренбурга,— не примазываюсь к его славе, а просто чтобы вам легче было запомнить. — Режиссер во второй раз протянул Лопатину руку, теперь уже при свете.

Он был очень широкий в плечах, крупный и, наверное, до войны грузный, а сейчас похудевший, как и многие другие недоедавшие люди, с копной черных, начинающих седеть волос и с такой густой щетиной на лице, как будто собирался отпускать бороду.

— Такой собачий холод стоит в Ташкенте — городе хлебном, что даже бриться неохота, как на зимовке... — сказал он, погладив щетину.

— А вы бывали на зимовке? — быстро спросил Лопатин с журналистской дотошностью, из-за которой иногда без нужды ставил людей в неловкое положение.

— Был один раз, когда снимал...

Режиссер назвал картину, которая шла перед войной и как раз понравилась Лопатину своей достоверностью. Он еще подумал тогда, что снимавшие ее люди наверняка сами зимовали. «А теперь вот готов снимать про войну по такому липовому сценарию? Сам, что ли, этого не понимает?» — сердито подумал Лопатин о режиссере.

— Знаю, что приехали с нами ругаться,— сказал режиссер. — Как, прямо сейчас начнем или сначала посмотрим пробы актеров, и тогда уж все разом?

Лопатин не совсем ясно представлял себе, что такое «пробы актеров», но согласился.

— Соня, пойди заряди пробы,— распорядился режиссер, не оборачиваясь и продолжая смотреть на Лопатина. — Вот вы какой! Я, когда читал ваши корреспонденции, думал, вы моложе меня. Я с девятьсот второго...

— Я старше,— сказал Лопатин. И опять быстро спросил о том, что зацепило его любопытство: — Из-за чего у вас разногласия с военным консультантом и кто он?

— Разногласия по двум вопросам. Во-первых, у меня метраж новеллы по вашему очерку определен в три части, а он хочет, чтобы я делал четыре. Требует, чтоб в картине все каждый раз повторяли полученное приказание. Наверное, так и есть в жизни, но картина из-за этого выйдет на целую часть длиннее. А я не хочу. Да и не могу. Во-вторых, требует, чтобы пошили новое об-

мундирование. У нас только старое, застиранное, бывшее в употреблении. И шить не из чего, да и не убежден, что это нужно. А он хочет, чтобы все были с иголочки и хороши собой...

— А кто у вас консультант?

— Помощник коменданта города.

— На фронте не был?

— Говорят, что уже два его рапорта завернули. Хотел быть, но пока не был.

— Тогда понятно. Лучше взяли бы консультантом нашего здешнего корреспондента, подполковника Губера. И умный, и кадровый, и, главное, на фронте побывал.

— Так кто ж его знал! Кого выделили, того и взяли. Выбирать-то особенно не из кого: военных тут чем дальше, тем меньше! Я сам когда-то, как ни трудно в это поверить, глядя на меня сейчас, год служил в кавалерии. Был на польском фронте, в тех же местах, что и Бабель, только не подозревал тогда о его присутствии. Но то было другое время и другая война, и на собственные кавалерийские воспоминания, да еще мальчишеские, давние, опираться рискованно.

— Пусть давние, а все-таки это существенно,— сказал Лопатин.

— Существенно-то существенно,— задумчиво сказал режиссер. — Но опасно мысленно подставлять одну войну под другую. Ту — под эту... За такую ошибку можно и в искусстве дорого заплатить!

— Илья Григорьевич, пробы заряжены, можно смотреть! — крикнула в дверь все та же Соня, так быстро метавшаяся взад и вперед, что Лопатин не разглядел ее.

— Ну что ж, с богом, крутите,— сказал режиссер. И они с Лопатиным стали смотреть то, что он называл пробами.

На экране несколько раз подряд возникал все один и тот же кусочек диалога из очерка Лопатина: связистка говорила комбату, что ее муж воскрес из мертвых, и давала читать письмо. Она в тот день всем давала читать это письмо, и Лопатину — тоже. Счастье ее выглядело таким несбыточным, что ей казалось: люди не могут поверить в него, пока не прочтут своими глазами письмо от ее воскресшего мужа.

Лопатин с болью за эту женщину снова вспомнил сейчас, как все это было. Актрисы были непохожи на нее, но все равно напоминали о ней, о том, как не на экране, а на самом деле она рассказывала все это комбату и совала ему письмо от мужа.

Один и тот же кусочек повторился три раза. Комбата все время играл один актер, а связистку — три разных актрисы, по-разному говорившие одни и те же слова.

— Вот такие у нас кинопробы,— сказал режиссер, когда зажегся свет. И спросил Лопатина, какая из актрис ему кажется более подходящей. — Комбат у нас один. Хотим или не хотим другого — все равно будет он! Мужиков мало, выбирать не из кого. А с женщинами — давайте решать, какую.

Лопатин сказал, что первая из трех актрис ему не понравилась: говорит слишком громко, красиво, ненатурально. Не так, как люди в жизни. А между двумя остальными он затрудняется выбрать.

— А я как раз боялся, что вам Чекрыгина понравится,— сказал режиссер. — Вдруг вы любитель монументальных форм на экране: чтоб голос — так уж голос, чтоб вид — так вид! И сойдетесь во вкусах с нашим консультантом,—ему-то как раз она понравилась. Вот это, говорит, действительно женщина с большой буквы! Девка-то в жизни хорошая, но очень уж ее тянет показать на экране свою стать. А тут еще перестаралась от волнения, даже заявила мне: если не возьму на роль, бросит кино и уйдет на фронт. Ну что ж, пусть идет, коли не треплется. Молодая, незамужняя и бездетная...

— Зачем же вы так с маху: «Пусть идет!» — Лопатина задела не понравившаяся ему простота, с какой это было сказано. — Вопрос-то деликатный.

— Почему деликатный?

– А потому что все вопросы, от которых зависит жизнь человека,— деликатные вопросы. И если война делает их слишком простыми, что в этом хорошего?

— Правы, — сказал режиссер. — Но и я прав. И не рубил сплеча, как вы решили, а не раз думал над этим. Наше искусство жестокое! Когда человек бесталанный и при этом порядочный, ох как трудно ему, бедному, веря, что способен что-то совершить, ходить без дела. Мужчин-актеров снято с брони и ушло на фронт — счету нет! Ну. а если женщина сама взяла и решила пойти, в чем моя деликатность должна заключаться? Отговаривать? Или снимать её в фильме, хотя она и не годится, только чтобы на фронт не пошла? Не уверен в вашей правоте. Если решила, пусть идет. А если сболтнула, корить ее за это не приходится, но и говорить не о чем. Скажите лучше, какая из остальных двух актрис, по-вашему, ближе к истине?

Лопатин, поколебавшись, сказал, что, наверно, обе могут играть. Одна из двух ему понравилась больше другой, но, вспомнив слова режиссера о «жестоком искусстве», он решил не брать греха на душу случайным выбором.

— Раз так, думаю, утвердим на роль Матвееву, ту, что ви-

дели последней. Они с Богдановым лучше будут сочетаться в кадре по контрасту.

Лопатин не очень понимал, что это такое — сочетаться в кадре, и молчал. Потом спросил:

— По-моему, у вас там все до одного с противогазами?

— Да. Консультант нам напоминал, что так положено. И тут он, кажется, прав.

— Что положено, прав,— сказал Лопатин. — Да ведь не носят, совсем бросили их носить на второй год войны. И насчет касок... Каски, конечно, не противогазы, без них солдат не обходится, вещь нужная. Но и каски не каждую минуту на голове. Тем более во время многодневных боев. Да еще когда люди сидят в землянках, в блиндажах, вообще в укрытиях.

— Вот мы и перешли к делу,— сказал режиссер. — Крушите, не стесняйтесь. А я буду на карандаш брать. Только давайте перейдем отсюда в монтажную; товарищи, я вижу, в дверь заглядывают, ждут очереди смотреть материал. Был бы я один — давно б меня вытурили, но из уважения к вам, как фронтовику, пока сдерживают свой праведный гнев.

Они перешли в монтажную, маленькую комнату, по стенам заставленную жестяными коробками с пленкой. Лопатин потянулся за папиросами. Там, в просмотровом зале, не пришло в голову закурить, было неудобно, а здесь потянуло.

— А вот с этим придется потерпеть,— остановил его режиссер. — Там-то как раз можно, а здесь нельзя: пленка. Зато теплей. Топят скверно, как всюду, но кубатура малая — к концу работы надышим. Давайте свирепствуйте.

Лопатин вынул из полевой сумки сложенный пополам сценарий, разогнул его и начал «свирепствовать». В таких делах он и до войны не отличался человеколюбием. Гордился в собственных очерковых книжках точным обращением с фактами и презирал литературное вранье — первый признак приблизительного знания предмета.

А в сценарии, написанном по его очерку, вранья было хоть отбавляй. Особенно его разозлило, что сценарист, прежде чем дать погибнуть героине, зачем-то заставил попасть ее в плен, давать высокопарные ответы на длинном и глупом допросе, а потом каким-то чудом бежать, бросив в немцев гранату, которую они, дураки, конечно, не догадались у нее отобрать.

— Вы прямо как бульдог,— одобрительно сказал режиссер. — А нельзя ли все-таки не так, по-глупому, но оставить этот допрос? Написать его по-другому и другими словами?

— Нельзя.

— Почему нельзя?

— Потому что не знаю этого. В плену не был, на допросах не отвечал. А о том, чего не знаю, не пишу. Как пленных немцев допрашивают, видел, а как они допрашивают — не знаю.

— Хорошо, давайте напишем, как пленного немца допрашивают, раз вы это знаете,— примирительно сказал режиссер. — Чего-то такого тут не хватает. Хотелось бы все-таки своими глазами увидеть на экране врага, пускай пленного...

— Ладно, потом подумаем,— отмахнулся Лопатин и, не смягчаясь, продолжал терзать сценарий, пока не дошли до последней страницы.

— Ну вот и надышали! — рассмеялся режиссер. — Мне, по крайней мере, жарко. Сценарист нам с вами, к сожалению, попался неудачный, один из тех, про которых говорят: способный, очень способный, способный на все! Печет сценарии, как блины, стремясь доказать свою необходимость, чтобы не разбронировали. Этот испек в Москве, а сейчас печет уже следующий в Алма-Ате. Жалею, что получил из Москвы готовый. Если б я сам писал, наверно, меньше бы наворотил. А теперь слушайте меня! Не стану называть себя мастером, но дело свое знаю. И если вы воображаете, что можно просто так, без всяких изменений перепереть на экран ваш очерк,— заблуждаетесь! Многое из того, что невозможно снять, придется убрать, а вместо этого придумать и добавить то, что можно снять.

Лопатин хотел перебить, сказать, что не собирается ничего придумывать, но режиссер остановил его:

— И давайте больше не ругаться; начнем править. Прямо с первой страницы. Не годится? Зачеркнули! Давайте думать, как сделать такое, чтоб годилось. Вот у вас в начале очерка написано, как перед рассветом, еще в темноте, тащат из-под откоса воду с Волги. Волги у меня здесь нет, волжский откос взять негде. Развалины трех домов, мимо которых у вас тащат воду, построить не могу. И времени нет, и рабочих-декораторов на всю студию осталось шесть человек. Остальные на фронте. У вас написано: «еще в темноте». Темноту снимать не могу, зрители на экране ничего не увидят. Вот и давайте вместе думать, как сделать, чтобы было не там и не так, как у вас, по-другому, а настроение и смысл оставить те же!

Они думали вместе несколько часов подряд, но переделали только первые страницы.

— У меня всего пять дней, считая сегодняшний,— сказал Лопатин.

— Ничего, дальше пойдет быстрей,— сказал режиссер. — Если понадобится, прихватим и ночи. На сегодня хватит, обалдели, пойдем ко мне домой, пообедаем. Наркомовских ста граммов

нам в тылу не положено, но сковородку картошки жена обещала на хлопковом масле. Кстати, ничем не хуже подсолнечного.

— Спасибо, согласен,— сказал Лопатин.

Ему нравился и этот не склонный давать себя в обиду человек, и перспектива поесть у него дома жареной картошки. Правда, лучше бы с водкой. Как ни дышали, а он здорово промерз в этом каменном мешке.

7

Они шли пешком по неузнаваемому, занесенному снегом Ташкенту, по узким, кривым переулкам Старого города, в безлюдье и темноте, мимо бесконечных одинаковых глиняных дувалов.

Режиссер, наверно, хотел отвлечься от мыслей о работе и стал вспоминать Москву двадцатых годов. Оказывается, он приехал туда на три года раньше Лопатина, осенью двадцатого, после ранения на польском фронте.

— И сейчас, конечно, подголадываем,— сказал режиссер,— но тогда голодали намного круче. Да и жрать в восемнадцать лет больше хотелось, чем теперь, в сорок. Но все равно — куда только меня не носило на пустой желудок! Днем учился на курсах политпросвета, а вечерами осваивал культуру. Пролетарскую и непролетарскую. Коллонтай видел на диспуте о свободе любви. Маяковского много раз, Есенина тоже. А Блока — только раз, когда он весной двадцать первого приехал в Москву. Мог бы два! У него подряд два чтения стихов было, но на второе я не пошел, прошлялся со знакомой барышней, считал, что это могу и не успеть, а Блока еще увижу. А он взял да помер!

— Как он читал? — спросил Лопатин про Блока.

— Независимо! Как будто ему ни до кого нет дела. Стоит и сам себе вслух читает. Но особенного впечатления тогда на меня не произвел. Я все ждал, что он «Двенадцать» прочтет, а он как раз их и не прочел.

— А я, когда в двадцать третьем приехал в Москву, увлекался Есениным,— сказал Лопатин,— и гордился, что лично знаком, хотя таких знакомых, как я, у него были тысячи. Как-то под Одессой комиссар полка, где я был, ночью наизусть читал мне его стихи. И я подумал о нем, что, будь он жив, наверно, в эти дни, для нее роковые, писал бы стихи о своей России и ездил бы на фронт — пускали или не пускали, все равно бы ездил! Да и лет к сорок первому году ему было бы не так уж много — всего сорок шесть! А вот Блока почему-то не могу представить себе в наше время. Хотя он и дальше других заглядывал в буду-

щее, но в этом его прозрении было что-то предсмертное: словно сам уже знал, что все его мысли не о том, что будет при нем, а о том, что будет после, без него...

— Не знаю. Над этим не думал,— сказал режиссер.— Но когда недавно, уже здесь, брал читать у одного эвакуированного ленинградца записные книжки Блока, поразила бессмыслица: как так, первый поэт России сидит целый год войны где-то под Пинском, в болотах, в какой-то военно-строительной команде табельщиком. Тянет эту дурацкую лямку на войне, про которую говорим, что она чуждая интересам народа. Кому это было нужно? Ему навряд ли! России тоже.

— Чуждая-то чуждая,— сказал Лопатин,— а три миллиона народу на ней в землю легло. Как с этим быть? Может, он при всем отвращении к войне чувствовал потребность разделить общую судьбу? Не просился, но и не откручивался, хотя, наверно, при старании мог. А в итоге, по теории наименьшего зла, табельщик в Пинских болотах! По этой теории с людьми почти всегда происходят нелепости...

Лопатин прошел еще несколько шагов, искоса поглядывая на своего спутника, и, остановившись, спросил:

— Что с вами?

Он еще в начале пути заметил, что, хотя режиссер старается идти быстро, ему это трудно; сильно нагнувшись вперед, закинув руки за широкую, словно надломленную в пояснице спину, он разговаривал на ходу с тем чуть заметным напряжением, с которым люди говорят, когда превозмогают боль.

— Какие-то соли в позвоночнике, никому не нужные, мне во всяком случае. Профессор, который взялся меня перед войной лечить, был прямо-таки в восторге от этих солей, даже в клинике студентам показывал, как редкий экземпляр. А теперь он главным хирургом на Ленинградском фронте, его клиника в Томске, а я здесь. Состою в переписке. Рекомендует ходить, так что вы не сбавляйте шагу. Ходить мне больно, но полезно.

Лопатин прибавил шагу. Когда много знаешь, иногда от этого только хуже! Писал в свое время о медиках, якшался с ними и догадывался, что болезнь, над которой шутит его спутник, ничего хорошего не обещает.

— Простите за настырность,— сказал он,— но, может быть, вам с вашей болезнью все же поехать в эту томскую клинику?

— Имел уже в письме такой совет. Совет хороший, но профессия наша в этом смысле поганая. Чтобы мне работать, одного меня недостаточно, нужна в придачу студия, хотя бы в мечети. И лампы-пятисотки, и съемочная аппаратура, и монтажные столы, и операторы, и осветители. А студию эвакуировали не

в Томск, а сюда. И правильно сделали, потому что здесь вдвое больше солнечных дней в году, а для кино это не последнее дело! А вы что думаете, война еще надолго, да? — вдруг спросил он, и Лопатин понял, что этот человек сам хорошо знает, какая у него болезнь. — Пятнадцатый месяц здесь, вместе со студией. Без работы жизнь была бы жалкая, а с работой терпимая. Есть, конечно, среди нас и плакальщики: считают, что раз от фронта далеко, то им остается только молиться за победу. А мне молиться некогда — работы много... Вот мы и пришли!

Они остановились у низкой деревянной калитки в глиняном дувале.

— Живем в узбекской семье,— нагибаясь и первым проходя во двор, сказал режиссер. — Старик вахтер с нашей же студии пустил жить, в комнату сына. Невестку с детьми взял к себе — целый детский сад, а нас пустил.

Они пересекли дворик и вошли в маленькую, чистенькую комнатку с низким потолком и маленьким окошком.

В комнате было двое. На тахте лежал с книжкой в руках мальчик, а в углу, над керосинкой, стояла женщина.

— Ну как, Женька, твоя картошка? — спросил режиссер.

Лопатин подумал, что он обращается к мальчику, но оказалось, к жене. Женщина повернулась.

— Сейчас будет готова. — И протянула Лопатину теплую руку. — Раздевайтесь, у нас здесь можно. Здесь не студия.

В студии так и просидели весь день: Лопатин не снимая полушубка, а режиссер — надетого поверх ватника пальто.

Режиссер повесил полушубок и пальто на вбитые в дверь гвозди и, посмотрев на Лопатина, сказал сыну, отложившему при их появлении книжку:

— Смотри-ка, Ромка, такой же орден, как у дяди Левы! Иди, знакомься.

Мальчик подошел к Лопатину и, глядя не на него, а на орден Красного Знамени, сунул ему руку.

— Только теперь чувствую, как намерзлись у вас там,— сказал Лопатин.

— Да, у нас там ледник. — Режиссер расстегнул ватник. Под ватником у него был байковый лыжный костюм. — Спасаемся, кто как может,— показал он на свои летные меховые унты, завязанные выше колен сыромятными ремешками. — Остаток былой роскоши после съемок в Заполярье. Садитесь на тахту.

Лопатин сел на тахту рядом с мальчиком и оглядел комнату.

Кроме тахты в комнате стоял стол с задвинутыми под него двумя стульями и накрытый клеенкой комод, служивший кухонным столом.

Ниша в стене, куда узбеки обычно кладут ватные одеяла, была прикрыта ситцевой занавеской — наверно, служила гардеробом.

Между тахтой и стенкой был засунут тюфячок,— должно быть, на нем спал мальчик. На подоконнике лежала стопка книг. Вот и все, что было в комнате.

Была еще керосиновая лампа-«молния» на столе, и керосинка на комоде, и самая настоящая, времен гражданской войны, похожая на футляр от швейной машинки, железная печка-«буржуйка», в углу комнаты, с трубою, выведенной в стену. «Буржуйка» горела, и на ней грелся чайник.

— Тоже продукция нашей студии,— сказал режиссер, заметив, что Лопатин смотрит на «буржуйку». — Отснял ее в прошлой ленте и по этому случаю получил от дирекции в личное пользование. А вместе с ней — мешок угля. Премия в нашем быту почти Нобелевская!

Режиссер присел к столу и, наслаждаясь теплом, расстегнул последний крючок ватника.

Лопатин продолжал оглядывать комнату, удивляясь тому, какая она чистенькая. Потолок низкий, керосинка, «буржуйка», лампа-«молния», от которой стоит круг на потолке и тянется кверху ниточка копоти, а комната все равно белая.

— Удивляюсь тому, какая у вас комната беленькая,— сказал он вслух.

— Мы с Ромкой тут ни при чем,— сказал режиссер. — Жили бы вдвоем без матери — была бы черненькая. Это она у нас — Наталка-полтавка! — все время то белит, то подмазывает, как у себя на хуторе!

— Ладно болтать! Лучше редьку на стол поставь,— сказала женщина.

Погасив керосинку, она подошла к столу, поставила сковородку с жареной картошкой и быстрым движением, закинув за голову руки, заткнула шпилькой выбившиеся сзади из пучка волосы.

Ее ловко скроенная, маленькая, сильная, спортивная фигурка дышала такой женской прелестью, что это делало привлекательным и ее лицо, сначала показавшееся Лопатину неприметным и даже некрасивым.

Она поправила волосы, села за стол напротив Лопатина и подперла щеку кулаком, как дети на уроке.

— Вот теперь разгляжу вас, а то было некогда!

Режиссер поставил на стол глубокую тарелку с крупно нарезанной зеленой маргеланской редькой и, садясь, спросил:

— Ели когда-нибудь этот овощ?

— Ел,— сказал Лопатин. — Я здесь до войны бывал... Но с тем большим удовольствием...

Он подцепил на вилку большой кусок, густо посолил и с наслаждением почувствовал знакомый свежий солоноватый вкус этой хрустевшей на зубах маргеланской редьки. Десять лет назад он ел ее здесь впервые, после весеннего плова с молодым урюком. Была весна, но день был жаркий; сидели над арыком, отыскав такое место, где продувало,— «нашли ветерок», как говорят узбеки. И рядом сидел и хрупал этой редькой Вячеслав, тогда счастливый, а теперь несчастный.

— Вообще-то она у меня беспризорница,— сказал режиссер про свою маленькую жену, после того как дружно съели всю редьку и всю картошку и Лопатин, не кривя душой, похвалил хозяйку. — Вынул ее из котла и женился. Помните, асфальтовые котлы, в которых они тогда в Москве, в начале нэпа, любили греться. Вот в таком котле и нашел ее, грязную, как чумичка, когда делал политпросветскую короткометражку о беспризорниках. Потом помыли, как в «Путевке в жизнь», и кое-как уговорили на детдом. А через восемь лет встретил эту барышню на Москве-реке — искал типаж для несостоявшейся картины из жизни спорта,— а она при стечении публики прыгала с вышки в воду и, представьте себе, вылезла и узнала меня. И тут же в три дня, не долго думая, женила на себе. Женька, не толкайся, как беспризорница.

— Совершенно нечаянно тебя толкнула,— сказала маленькая женщина и чуть-чуть улыбнулась уголками рта.

— Сначала подумал, что сниматься хочет, для этого и замуж за меня пошла. Нет, смотрю: год живем — не просит снимать ее, два года живем — не просит, нарушает все традиции нашего советского кино. Даже перед своими товарищами режиссерами стало неудобно...

— Никогда не мечтала о кино,— сказала женщина, которую он называл Женькой. — На велосипеде гоняла, пловчихой была. Одно время даже о цирке, об акробатике думала. А в кино снялась только раз — и то со спины. Вместо его актрисы с обрыва в холодную воду прыгала!

— А где вы сейчас работаете? — спросил Лопатин. Что-то в этой женщине не позволяло думать, что она может сейчас не работать.

— В Наркомпросе. Я физкультурный техникум кончила, до войны преподавала физкультуру в школе, с перерывом на год. — Она кивнула на сына. — А здесь совсем другим занимаюсь. Тут, на вокзале, есть эвакопункт для детей — мы их там обрабатываем, распределяем и в детские дома передаем или в семьи.

Я вас, между прочим, видела. Вы с этим длинным поэтом московским и еще с каким-то военным шли через вокзал вчера ночью. Обратила внимание на ваш белый полушубок,— улыбнулась она. И кивнула на мужа. — Очень хочу для него такой достать.

— Неужели и сейчас еще так много детей, что вы там и днем и ночью дежурите? — спросил Лопатин.

— Все еще много,— сказала она. — Там на фронте наступают, а дети все еще сюда едут. Им уже направление дано — они и едут! В первое время за Ромку боялась,— снова кивнула она на сына,— как бы чего не затащить... Такая пропахшая всеми дезинфекциями домой к ним приходила, что они от меня шарахались! А вообще, мне эта работа по душе. Может, оттого, что сама когда-то беспризорницей была... Он ведь не шутит,— улыбнулась она мужу,— все это правда, что из котла. А что я полтавчанка — шутит! — сказала она после коротенькой паузы и с каким-то другим, новым выражением лица. — У него почему-то как мазанки, так Полтава! Я из-под Белгорода, папа и мама умерли от тифа, младшего брата соседи на время взяли, а я поехала на поезде к тетке, а тетки нет, умерла! Поехала обратно и сама заболела тифом... Слава богу, сейчас сразу гасим каждую вспышку. А то при такой огромной эвакуации даже страшно представить...

— Ну-ну, чего ты? Брось расстраиваться,— сказал режиссер, так опасливо и нежно погладив жену по плечам, что Лопатин подумал: наверно, ей солоно приходится там, на работе. — Расскажите-ка лучше вы нашему Ромке, за что орден получили. Все равно заставит у вас спросить.

Лопатин покосился на сидевшего рядом мальчика. Пока говорила мать, он не слушал. Доев картошку, сидел за столом и читал учебник. Как видно, в этой маленькой комнатке, где жили так тесно друг к другу, каждый привык заниматься своим делом, не мешая другим.

Лопатин задумался: как покороче ответить? Тогда, прошлой зимой, чего только не было в реляции редактора — представляя по совокупности, вспомнил чуть ли не все поездки на фронт...

— Наградили за то, что на подводной лодке плавал,— сказал Лопатин.

— Долго? — спросил мальчик.

— Двадцать дней.

— И много потопили?

— Ничего не потопили,— сказал Лопатин. — Мы не для этого ходили, а мины ставили в неприятельских водах. В два порта зашли под водой, мины там поставили и вернулись.

— И так ничего и не потопили? — снова спросил мальчик.

— Так ничего и не потопили.

— Наш Ромка счет только на боевые награды ведет — прямой и ясный,— сказал режиссер. — Я по этому счету, раз сижу в Ташкенте, человек безнадежный. Мой старший брат, дядя Боря, хотя военная профессия у него, по мнению Ромки, плевая — художник в маскировочной роте, все же имеет медаль «За боевые заслуги». А младший брат матери, дядя Лева — человек в нашей семье самый выдающийся, недавно прислал письмо, что орден Красного Знамени заработал,— как у вас! Танкист! Начал войну водителем, а теперь командир взвода. До войны был такой оторва, что дальше некуда. В башке ничего, кроме мечты иметь свою машину. Бросил вуз, законтрактовался на Север, к черту на кулички, за длинные рубли, привез их, меня выдоил, в долги залез, на двух работах вкалывал — механиком в гараже и на частной службе, через день возил академика, верней, его жену, и все-таки перед самой войной купил себе «форда́». Старый, конечно. Отремонтировал, неделю покрасовался за рулем и пошел на войну. А теперь, с Ромкиной точки зрения, образец для подражания. Да так оно и есть на нынешний день!

— У дяди Левы еще медаль «За отвагу» есть,— сказал мальчик, недовольный, что отец, не вспомнив об этой медали, как бы поставил дядю Леву на одну доску с Лопатиным.

— Пока бог милует наше семейство! — сказал режиссер. — У старшего брата должность не самая рискованная, а Левка — танкист!

— А вы у танкистов бывали? — спросил мальчик.

— Мало,— сказал Лопатин.

У танкистов он действительно бывал мало, но, как горят танки, видел, и видел близко.

— Роман, доставай свой тюфяк. Твое время кончилось!

Мальчик нехотя встал с тахты.

— А я пойду,— сказал Лопатин.

— Наоборот, предлагаю заночевать, а утром прямо от нас — на студию,— сказал режиссер.

Лопатин посмотрел на него с недоумением. Четвертому человеку здесь было явно не на что лечь, разве что на стол.

— Женька скоро на свое дежурство уйдет. А мы ляжем с вами на тахте, валетом,— объяснил режиссер.

Лопатину захотелось остаться здесь, в этой обжитой теплой комнатке, но он вспомнил о другом, неблагополучном доме, в котором ночевал вчера и в который нельзя было не вернуться.

— Нет, я пойду,— сказал Лопатин. — Я обещал Вячеславу Викторовичу, он будет тревожиться.

— Тогда одевайтесь,— сказала жена режиссера. — Пойдем вместе на трамвай. Мне до вокзала, а вам на четыре остановки раньше.

Она надела поверх лыжного костюма толстую вязаную фуфайку, поверх фуфайки — солдатский ватник и, заправляя волосы под ушанку, улыбнулась:

— Никак не лезут! Придется стричься,— и, быстро поцеловав уже улегшегося на раскладушку сына, вышла вместе с Лопатиным. — Я возьму вас под руку, ладно?

А когда прошли вдоль дувалов молча шагов сто, вдруг крепко прихватила пальцами руку Лопатина и спросила:

— Вы правда мало бывали у танкистов?

— Правда. Сначала их самих было мало. Потом как-то все не выходило. А потом Сталинград — там держались не танками. Почему вы спросили?

— Психую из-за брата... Позавчера у нас из карантина брали малыша. Вдруг, чудом, нашлись отец и мать. Отец танкист; после госпиталя один глаз цел, а другой, и все остальное, и лицо, и шея такие, что нет сил смотреть. Он к ребенку, а ребенок в ужасе от него! Ромка радуется — орден, орден! Илья ему вторит. А у меня в глазах это лицо! Хочется сказать им: да помолчите вы, не говорите о нем, не сглазьте! А сказать нельзя!

— Да, сказать нельзя. — Лопатин снова вспомнил, как горят танки, и несколько секунд стоял и молчал.

— Пойдемте! Ну, что вы стали? О чем вы думаете? У вас-то у самого ничего плохого не случилось? — снова беря его под локоть, спросила женщина. Спросила так, словно могла помочь. — У вас-то кто на фронте?

— Кроме меня, никого. Если вы о родственниках. А друзья — почти все.

Они молча прошли еще сотню шагов.

— Евгения Петровна!

— Да? Что? — не сразу ответила женщина.

— Вот вы второй год на этом эвакопункте. Скажите, много детей по дороге сюда, до Ташкента, не выдерживают...

— Умирают, да?

— Да.

— Некоторые умирают. А другие — как без вести пропавшие. Про тех, кого больными снимают по дороге, на станциях, иногда подолгу не знаем, живы или умерли...

— А те, что сюда приезжают, в каком виде?

— Кто приезжает, почти всех ставим на ноги. Знаете, кого больше всех жаль, каких детей? Тех, кого уже во второй раз с места сорвали, а иногда и в третий. Сначала из-подо Львова —

под Ростов. Оттуда на Кавказ, потом сюда! Наверное, надо было бы сразу сюда, но ведь кто же все знал заранее? Эти дети какие-то совсем себя потерявшие, в их голове все спуталось. У таких организм хуже борется с болезнями...

Они вышли к трамваю. Лопатину казалось, что в такой поздний час трамваи в Ташкенте пустые, как это бывало до войны. Но они шли, наоборот, битком набитые: люди ехали в ночную смену на военные заводы. Первый трамвай пришлось пропустить: негде было даже висеть. На второй все-таки сели и стали проталкиваться вперед. Но их растащило, и Лопатин уже не видел за головами и спинами маленькую, потерявшуюся среди них женщину, только слышал ее громкий заботливый голос, объяснявший, где ему надо слезать и куда идти.

Оборвав в давке два крючка полушубка, он выбрался из вагона на остановку позже, чем надо, и пошел обратно вдоль трамвайных путей.

Вячеслав Викторович был не один. Напротив него, лицом к двери, сидела Ксения.

— А я тебя уже два часа жду! Мешаю Вячеславу Викторовичу работать,— едва Лопатин вошел, сказала она и пошла ему навстречу, знакомым жестом полураскрыв руки.

Он поцеловал ее, кажется впервые в жизни равнодушно, и сел за стол рядом с нею.

Вячеслав Викторович встал и вышел в соседнюю комнату.

— Как ты себя чувствуешь? Ты что-то похудел и скверно выглядишь,— сказала Ксения таким тоном, словно ему ничего не оставалось делать без нее, как только худеть или скверно выглядеть.

Должно быть, на лице Лопатина промелькнуло раздражение, и Ксения заторопилась объяснить, зачем она пришла.

— Мне нужно было встретить тебя именно сегодня, потому что ты должен завтра у нас пообедать. Ты должен познакомиться с Евгением Алексеевичем и увидеть, как мы здесь живем.

Ему непонятно было, почему он должен идти к ним обедать, и знакомиться с ее Евгением Алексеевичем, и смотреть, как они живут.

— Я не могу завтра у тебя обедать,— сказал он.

— Почему?

— Буду занят на киностудии до самого вечера.

— Тогда поужинаешь. Мы недалеко. Все равно ты придешь сюда ночевать; зайдешь перед этим к нам и поужинаешь.

Лопатин молчал. С самого начала было глупо говорить ей, что он не сможет обедать, потому что занят. А теперь неизвестно, что говорить.

— Хорошо, я приду прямо с киностудии, в половине десятого — в десять.

Он вынул из кармана гимнастерки карандаш и записную книжку, открыл на чистом листе и положил перед Ксенией.

— Напиши адрес.

Ксения написала адрес и, отдав книжку, сидела и молчала. Наверно, ждала, что он будет отказываться, и приготовилась объяснять ему, как она хорошо все придумала и почему он не смеет этого портить. А теперь не знала, что говорить. Ничего другого не было приготовлено.

Он тоже безжалостно молчал. Пусть сама говорит, если хочет.

— У нас одна комната, но гораздо теплее, чем здесь, у него,— наконец сказала Ксения.

Он ничего не ответил, встал и снял с гвоздя свой полушубок, чтоб накинуть ей на плечи.

— Не надо, мне пора идти. — Она поднялась.

Вячеслав Викторович вышел из комнаты матери и, оценив обстановку, взял с тахты шубу Ксении и подал ей.

Лопатин стал надевать полушубок. Взглянув на него и поняв, что ему не хочется провожать свою бывшую жену, Вячеслав пришел на выручку.

— Не одевайся, я сам провожу Ксению. Если через проходной двор, то это совсем рядом, я знаю, а ты на обратном пути запутаешься!

Он надел пальто и старую, вытертую шапку с длинными ушами, которую Лопатин когда-то привез ему из Заполярья, и, пропустив вперед Ксению, вышел.

На этот раз обошлось без объятий. Обидевшись, что Лопатин так легко согласился не провожать ее, Ксения только протянула ему на прощание руку.

«Интересно, пригласила она его на завтра? — оставшись один в комнате, подумал Лопатин о Вячеславе. — Если пригласила — будет проще. А может, и не пригласила. До войны было бы странно — вот так прийти, меня пригласить, а его — нет. А сейчас, здесь, в эвакуации, наверное, ничего странного — лишний рот!»

Вячеслав Викторович вернулся быстро, не прошло и десяти минут.

— Жаловалась мне на тебя,— сказал он, стаскивая пальто и шапку.

— Так и знал.

— И на что жаловалась, знаешь?

— Тоже знаю. Жаловалась, что сам же оттолкнул ее от себя, а теперь, когда она, несмотря на все, стремится сохранить хорошие отношения, не выражаю достаточных восторгов.

— Почти так. Ты умный!

— Вряд ли. Просто знаю ее как свои пять пальцев, но для этого большого ума не требуется.

— Невезучий ты,— сказал Вячеслав Викторович.

— Наоборот, везучий,— сказал Лопатин. — Лучше поздно, чем никогда.

8

На следующий день Лопатин закончил работу на студии раньше, чем думал. В начале девятого, проработав десять часов подряд, режиссер сказал:

— До закладки дошли! — и вынул из сценария крышку от папиросной коробки, про которую утром сказал: пока не дойдем до нее, не встанем. — Перевыполнять не будем, а то завтра недовыполним.

Так Лопатин оказался у Ксении в девять часов — раньше, чем думал.

Ксения открыла после нескольких звонков. Она была в надетом поверх платья халате.

— Проходи в нашу комнату,— сказала она и распахнула первую из трех выходивших в прихожую дверей. — Я сейчас...

Она вышла, а он стал не спеша раздеваться, чувствуя, что в этой квартире топят.

По стенам длинной прихожей всюду — и над вешалкой, и над дверьми, и в простенках — висели акварели. При слабенькой лампочке было не разобрать, какие это акварели — хорошие или плохие, но все здешние, с барханами, с саксаулом, с весенней, покрытой маками степью, с цветущим урюком.

Он разделся и вошел в большую комнату, с буфетом, высокими стульями и большим столом, на котором стояло сейчас пять приборов. Но вся эта мебель была сдвинута в сторону, не так, как она, наверное, стояла раньше, когда здесь была столовая. А к освободившейся стене приткнулись двуспальная кровать и платяной шкаф.

На стенах комнаты, так же как и в прихожей, висели акварели. Там не разобрать какие, а тут хорошие. Старая Средняя Азия! Арбы, верблюды, караваны, всадники, лошади. Под двумя акварелями, висевшими пониже, на одной из которых был изо-

бражен пригнувшийся к луке седла казак с нагайкой, а на другой — табун лошадей, Лопатин разобрал подпись: «Каразин»,— и вспомнил, как в молодости читал полные занятных подробностей книжки этого превосходного акварелиста, участника туркестанских походов.

Кто-то живший раньше в этой квартире любил Среднюю Азию, собирал эти картинки Каразина, да так и оставил их здесь.

— Кто здесь жил раньше? — спросил Лопатин, когда вошла Ксения, уже без халата, в знакомом нарядном платье, которое с большой суетой шилось к последнему перед войной Новому году и было готово, конечно, в последнюю минуту.

— Вот так ты всегда,— сказала Ксения. — Неужели нечего больше спросить?

— Придет в голову — спрошу о другом, а пока это самое интересное.

— А разве тебе не сказал Вячеслав, где мы живем?

— Не спрашивал у него. Только сейчас заинтересовался, глядя на картинки.

— Нам очень повезло,— сказала Ксения. — Это дом военного ведомства; здесь жил генерал — начальник училища, вдовый, со своим взрослым сыном, тоже военным. Он получил какое-то назначение и уехал перед самой войной, а сын — как только началась война. И все их вещи остались здесь. Они отдали ключи от квартиры в КЭЧ. Это...

— Не объясняй, я знаю, что такое КЭЧ.

— И так все это и стояло. А потом, когда сюда эвакуировался из Москвы театр и некуда было поселить актеров, местные власти не знаю уж, позвонили или телеграфировали генералу на фронт, как быть с его квартирой, и он дал в ответ телеграмму, буквально такую — у нас в театре все ее знают наизусть: «Артистов уважаю. Считал бы для себя позором селить их в голых стенах. Чем богат, тем и рад! Милости прошу в мою хату. Иван Ефимов». Говорят, он всегда так подписывается — имя и фамилию полностью.

— Я знаю этого человека,— сказал Лопатин.

— Ну вот...

Кажется, Ксения хотела сказать то, что привыкла говорить в подобных случаях: «Вот так и всегда, знаешь, а не рассказываешь!» — но остановилась. Помешала вовремя пришедшая в голову мысль, что они теперь не муж и жена.

И Лопатин тоже не сказал того, что сказал бы раньше, что, наверно, скоро увидит человека, в квартире которого живет Ксения.

— После его телеграммы все оставили, как было, и заселили. Дали по одной комнате нашему народному СССР — его сейчас нет, он в Алма-Ате на съемках, нашему худруку и директору. Сначала прежнему, а теперь, когда на его место пришел Евгений Алексеевич, нам! Ну зачем ты спросил — смотри, сколько мы времени потеряли! А я так рада, что ты раньше пришел. Вчера не захотел со мной говорить, а теперь все равно придется.

— Кто еще будет? — кивнув на стоявшие на столе пять приборов, спросил Лопатин.

— Еще наш худрук и одна моя знакомая. Она сама напросилась. В восторге от твоих сталинградских очерков и хотела тебя увидеть. Евгений Алексеевич с худруком могут немножко задержаться — здешнее правительство еще не было на нашем новом спектакле, а сегодня позвонили, что придут. Они очень любят наш театр, но такие все занятые!

— Я рано явился, у тебя, наверно, не все готово,— сказал Лопатин, хорошо знавший, что у нее никогда и ничего не бывает вовремя готово. — Иди на кухню, докančивай, а я посижу.

— Ничего, там Ника на кухне доделает. — Ксения, очевидно, имела в виду свою знакомую. — Я ей сказала, что хочу с тобой поговорить, она понимает такие вещи.

— Ладно, давай говорить. О чем будем говорить? О дочери?

Ксения огорченно посмотрела на него. Хотела начать не с этого, а приходилось с этого.

— Я получила от нее письмо, очень хорошее. Показать?

— Покажи.

Она пошла к кровати и вынула из-под подушки письмо. Это была ее привычка — совать под подушку письма и потом перечитывать их по ночам. Один раз, лет пять назад, он, вернувшись раньше ее и ложась спать, наткнулся на одно такое письмо. Попались на глаза первые строчки, и сунул обратно, не стал дальше читать. Спит теперь на другой кровати, с другим человеком, а привычка прежняя — письма под подушкой!

Письмо от дочери и правда было хорошее — сдержанно-доброе, такое, какие пишут сильные слабым. Вначале писала, что получила от отца телеграмму, что он вернулся из Сталинграда, а дальше коротко о себе — что у нее все хорошо, пусть мать не беспокоится.

Лопатин дочитал письмо и отдал.

— Я считаю, что мы ничего не должны с тобой решать до конца войны,— сказала Ксения. — Я посоветовалась с Евгением Алексеевичем, и он тоже так считает.

Лопатин удержался от вспыхнувшего в нем несправедливого раздражения. Ну да, посоветовалась, а с кем же еще ей теперь советоваться, если он ее муж? Вот она с ним и советуется.

— А что нам с тобой решать? — сказал Лопатин. — Если до конца войны со мной что-нибудь случится, решать придется уже не нам с тобой, а вам с ней: ей скоро шестнадцать.

— С тобой ничего не случится, нечего об этом и думать!

— А раз нечего и думать — значит, она останется со мной. А все остальное: как быть с нашей квартирой, где и кому жить,— все это действительно решим после войны.

— Мне не нужно от тебя никакой квартиры,— порывисто сказала Ксения. — У Евгения Алексеевича есть в Москве квартира.

Лопатин знал, что порыв ее искренний. Житейская расчетливость, а тем более алчность не были ей свойственны. Но порыв этот — сейчас. И Евгений Алексеевич — сейчас. А что будет с нею и с ее Евгением Алексеевичем, когда кончится война, никому на свете, в том числе ей самой, не известно.

И, не желая ловить ее на слове, Лопатин промолчал.

— Ну хорошо. Не будем говорить о том, что после войны,— сказала Ксения. — Но могу я весной пригласить сюда Нину, когда начнутся фрукты? Чтобы она тут пожила? Я говорила с Евгением Алексеевичем, он согласен. Ты увидишь и поймешь, какой он хороший человек.

— Вполне допускаю, что он хороший человек. И что он согласен. Я не согласен.

— Почему? Я все обдумала.

— Все, кроме такой мелочи, что весной она еще будет учиться и ей нужно кончить девятый класс.

— А летом?

— И летом не надо этого делать. У тебя свой дом, своя жизнь. Зачем путать девке голову, приглашать ее в свидетели? Я не хочу этого.

— А если я напишу ей сама?

— Пиши. Думаю, что она не согласится,— сказал Лопатин с уверенностью в том, что их дочь, похожая на него, а не на свою мать, поступит так, как поступил бы на ее месте он сам.

— А ты не подумал, что у тебя тоже могут произойти перемены в жизни? — спросила Ксения.

— Пока не предвижу.—Лопатин ответил, не вкладывая в эти слова никакого второго смысла, но Ксения поняла их по-своему.

— Я так не хочу, чтобы ты на меня сердился,— сказала она. — Нехорошо это говорить, но я правда очень счастлива.

— И отлично. И пойми наконец, что я вполне доволен своим нынешним положением. Попробуй себе это представить.

— Ты говоришь неправду. — На глазах у нее выступили слезы. — Говоришь, чтобы я не чувствовала себя виноватой.

Снова здоро́во! Так он и знал — он ей уже не нужен, но ей все еще хочется, чтобы она была нужна ему!

— Послушай, Ксюша,— сказал он, и она вздрогнула и напряглась — так давно не слышала этого обращения. Он называл ее так не в минуты мужской нежности, а во время все более редких вспышек того просто-напросто человеческого доброго чувства к ней, которое она с годами истребила в нем почти без остатка. — Рассуди сама: ну зачем бы я пришел к вам в дом, если бы продолжал хотеть тебя как женщину? — «Хотеть» было не его слово, а ее, и он употребил это ее слово, чтобы она лучше поняла. — Для чего? Чтобы понюхать в чужом доме — нельзя ли его разорить? Это было бы с моей стороны просто-напросто подло! Но предположим, что человек слаб, хотя я не думаю этого о себе. Зачем же приглашать сюда меня, который, по-твоему, все еще неравнодушен к тебе? Если так — это вряд ли красиво с твоей стороны!

Она протестующе воздела руки.

«Ну как ты мог обо мне так подумать?» — говорил этот жест, хорошо знакомый и превосходно отработанный, особенно в платье без рукавов.

— А раз не так, то больше и разговору об этом нет! — сказал Лопатин, так и не дав ей сопроводить жест словами. — Теперь, когда мы все с тобой выяснили, обещаю, что весь вечер буду хорошим.

Однако он слишком рано дал это шутливое обещание. Прежде чем стать хорошим, пришлось еще раз побыть плохим.

Ксения вдруг стала у него допытываться, как хоронили в Москве внезапно умершую Гелю и почему Лопатин, не жаловавший Гелю, оказался на ее похоронах. Ей написала об этом событии одна из тех московских баб-бабарих, которые бестолково топтались рядом с Лопатиным, пока он ругался с так и не дорывшими вовремя могилу пьяницами, ругался, вспоминая, как год назад проклинал ему этих могильщиков редактор армейской газеты, только не на этом, Даниловском, кладбище, а на другом — Ваганьковском.

Одна из баб-бабарих, когда наконец дорыли могилу, опустили в нее гроб и Лопатин бросил на крышку в изголовье мерзлый комок земли, вдруг вскрикнула: «Ах, не надо туда, где лицо, ей больно!» И Лопатин сейчас со злостью подумал, что, наверно, эта самая дурища и описала потом Ксении похороны.

— Мне написали, что ты у нее даже в больнице был перед смертью. — На лице Ксении выразилось суетное любопытство, о причинах которого он догадывался.

Он никогда не любил крашеную и прокуренную женщину, которая паслась в их доме во время его отъездов, а порой портила и дни приездов, и смутно подозревал, что она бывала наперсницей Ксении в периоды ее увлечений. Он не испытывал благодарности за тот приступ откровенности, в котором Геля когда-то, в декабре сорок первого, вдруг выложила ему все, что думала о его жене. Но когда приехал после Сталинграда и застал в редакции принесенную какой-то санитаркой записку от этой женщины с просьбой зайти к ней в больницу, где она «понемножку помирает»,— пошел. Считал, что люди не шутят такими вещами, что, наверно, так оно и есть. И не ошибся. Записка прождала его больше недели, и, когда он пришел в больницу, санитарка, та самая, что относила записку, шепотом у двери в палату сказала, что Ангелина Георгиевна не жилец на свете, у нее рак — через день-два кончится.

Войдя в палату, он увидел ее, с отросшими на целый вершок от корней седыми волосами и неузнаваемо, как щепку, исхудавшую. Может быть, десять дней назад, когда писала записку, она что-то хотела сказать ему. Зачем иначе было писать? Но теперь уже ничего сказать не могла. Поглядела на него не то виноватыми, не то удивленными умирающими глазами — уже не думала, что он может прийти,— прошептала что-то бессвязное, чего он так и не понял, и снова впала в забытье. Наверное, ей делали обезболивающие уколы.

Он постоял и ушел. А через два дня та же самая санитарка, решившая, что, раз он приходил в больницу, значит, он близкий покойнице человек, разыскала его в редакции и сказала, что Ангелина Георгиевна преставилась нынче утром и надо ее забрать и похоронить.

Он узнал в редакции у сведущих людей, как это делается, сказал им, что умерла его родственница — иначе было неловко просить о помощи,— и ему помогли сделать все, что требовалось. Достать гроб, грузовик и вручить кому следовало соответствующую мзду.

А потом было кладбище и три пришедшие туда, кроме него, незнакомые ему московские интеллигентные старухи, которым он по глупости сказал, что был у покойной в больнице. И вот — результат! Этот никому не нужный разговор с Ксенией.

— Удивляюсь, как ты все-таки к ней поехал? Ты же так не любил ее!

— При чем тут любил, не любил? — сердито сказал Лопатин. — Написала, что умирает, вот и поехал.

— А почему она тебе написала? — не унималась Ксения. — Чего она хотела, что она тебе сказала?

— Не знаю, почему написала,— сказал он. — Был по твоей милости знаком с ней, вот и вспомнила. Умирала одна, как собака, поэтому и написала. Чего тут непонятного?

— Зачем ты так грубо о ней?

— Я не грубо. А ты не суетись. Человек умер, а ты суетишься. — Лопатин посмотрел своей бывшей жене прямо в глаза и зло добавил: — Ничего она мне про тебя перед смертью не сказала, напрасно суетишься.

— А что она могла тебе обо мне сказать? — с вызовом спросила Ксения.

— А раз нечего было сказать, чего ты суетишься? — повторил он все так же зло.

— И все-таки не знаю, зачем ты к ней поехал,— упрямо сказала она, все еще не в состоянии расстаться с продолжавшей тревожить ее мыслью. — Наверно, я тебя никогда до конца не понимала.

— Что правда, то правда,— угрюмо сказал Лопатин.

После нелепого разговора о покойнице ему захотелось встать и уйти. И может, он и сделал бы это, если б не вдруг раздавшийся в дверях женский голос:

— Ксения! Требуется твоя помощь.

Он оглянулся и увидел в дверях молодое женское лицо, показавшееся ему знакомым.

Ксения сорвалась с места и побежала к двери.

— Сейчас, сейчас, извини, пожалуйста.

Она была рада и этому голосу, и возможности улизнуть из комнаты. Раньше, пока Лопатин был ее мужем, она, попав в тупик и не зная, что говорить дальше, начинала или плакать, или плохо себя чувствовать. Но теперь, в ее новом положении, и то и другое было бессмысленно.

Лопатин с усмешкой подумал об этом, когда за нею закрылась дверь. И в этой простой мысли была частица радовавшего его чувства освобождения от прошлого.

9

Через минуту в комнату вошла женщина, позвавшая Ксению. Вошла на высоких каблуках быстрой походкой. И Лопатин почему-то, неизвестно почему, сразу заметил эту ее особенную, быструю походку. У нее были чуть-чуть широкие для женщины плечи, задорно посаженная голова с короткой мужской стрижкой и скуластое, словно заранее чему-то смеющееся лицо.

Теперь, когда она не заглянула, а вошла, Лопатин узнал ее. Это была та самая женщина, которая стояла и курила у окна в поезде.

— Здравствуйте,— она подошла к поднявшемуся ей навстречу Лопатину. — Вы Василий Николаевич, а я Нина Николаевна. Можно сокращенно — Ника. Ксения сказала, чтобы я посидела с вами или постояла, если вы не хотите сидеть.

Лопатин отметил про себя, что Ксению здесь звали Ксенией, а не Сюней. Ее новый муж сделал то, чего он так и не смог сделать,— заставил расстаться с этим кошачьим именем — Сюня.

— Я вас почему-то не сразу узнал,— сказал Лопатин,— хотя в поезде неприлично пялился на вас.

— Постриглась после приезда, наверно, поэтому. А я вас узнала раньше, чем вы пришли. По карточке, которая у Ксении. Хотя вы на ней в штатском и моложе, но все равно узнала того майора, с которым мы глазели друг на друга в вагоне.

— Я-то понятно. А вы-то чего?

— Были причины. А сегодня сама напросилась к Ксении, потому что захотела с вами познакомиться, и приволокла свой пай. Теперь почти все так друг к другу ходят. Курицу — правда, очень худую.

Она смешно сморщила нос и улыбнулась.

— А с чего вам вдруг вздумалось со мной знакомиться? — спросил Лопатин тем бесцеремонно дерзким тоном, который иногда брал в разговорах с сознающими свою красоту и самоуверенными женщинами. Этот тон как бы предупреждал: да, знаю — не нравлюсь и вряд ли могу понравиться вам; но как раз поэтому остерегайтесь говорить при мне глупости или пошлости — может достаться на орехи!

— Вздумала с вами познакомиться, потому что прочла ваши корреспонденции из Сталинграда. А потом Ксения, держа в руках вашу карточку, так долго объясняла мне, почему она вас бросила, хотя вы и храбрый, и умный, и вообще предел совершенства, что я так ничего и не поняла. А я люблю все понимать.

— А чего тут понимать? Надоел, вот и бросила. Что, не бывает, что ли?

Наверно, женщина, сказав «бросила», ждала, что он возразит. Но он не возразил.

— «Брошена» — придуманное слово. Разве я цветок или письмо?» — насмешливо, нараспев, процитировала она. — Кстати, Ахматова сейчас здесь, у нас в Ташкенте.

— Уже наслышан об этом,— сказал Лопатин. — И стихи эти читал, когда мне было столько, сколько вам.

— Вряд ли. Мне двадцать девять. Даже двадцать девять и три четверти, так что считайте, уже тридцать!

— Тогда, стало быть, на несколько лет раньше. Скажите-ка мне лучше, Ника,— Лопатин произнес ее имя с оттенком иронии,— не страшно вам называться Никой? Не слишком ли это величественно именоваться богиней победы, особенно в военное время?

— Мне не страшно,— сказала она. — А если вам страшно, можете называть меня Ниной Николаевной.

— Хорошо, я подумаю над обоими вариантами, — без улыбки сказал Лопатин. — И простите мне мое невеселое любопытство: почему вы сейчас одна, а в поезде были другая? Такая, словно с вами что-то стряслось. Я пялил на вас глаза не только потому, что трудно было не пялить, но еще и потому, что подумал: с этой женщиной у соседнего окна что-то случилось.

— Сейчас я другая, потому что, наверно, не умею быть одинаковой. А там, в вагоне, мне правда было тяжело, потому что...

— Не объясняйте, если не хотите.

— Наоборот, хочу объяснить, иначе бы не заговорила. Просто думаю, как сказать покороче. Я ездила к отцу, а он лежит в Кзыл-Орде в госпитале для безнадежных. Вы знаете, есть такие госпиталя. Они, конечно, по-другому называются, но на самом деле... Знаете?

— Знаю.

— В таком, откуда уже сами не могут выйти. Только иногда их берут, а иногда не берут. Он и с руками и с ногами, но у него после раны полный паралич, он уже никогда не встанет, а его жена хочет его взять. А он не хочет. И она написала мне, чтобы я приехала и помогла его уговорить.

— Уговорили? — спросил Лопатин.

— Нет, он не хочет, жалеет ее. Она еще молодая: ей и теперь всего тридцать пять. Он ушел к ней пятнадцать лет назад. И я все эти годы ненавидела ее из-за мамы. Но она хочет его взять. Она уже год там живет, снимает комнату и ходит к нему каждый день. И теперь, когда врачи окончательно сказали, что уже ничего не изменится, решила его взять. А он не соглашается. И ничего нельзя сделать, какой-то тупик. Мне стыдно, что я ее столько лет ненавидела, хотя раньше считала, что это правильно. А сейчас не уверена: смогла бы я так, как она? Может, и не смогла бы.

— А почему считаете, что не смогли бы?—спросил Лопатин.

— А я всегда боюсь думать о себе лучше, а потом оказаться хуже. А вы разве не боитесь?

— Нет. Но вас, кажется, понял.

— Ну и хорошо, если поняли. А я ехала в поезде и думала об отце: как девчонкой, в первые годы после того, как он ушел от нас, желала ему из-за мамы хоть какого-нибудь несчастья. Не такого, конечно. А у него, наоборот, после того, как он ушел от нас, до самой войны всегда все в жизни было хорошо. И когда я увидела вас, как вы стоите у окна с этими двумя вашими нашивками за ранения и с орденом, я подумала: почему так? Почему отец в первый же день, как только оказался с ополчением на фронте, был так страшно ранен? Один осколок — и все! И уже ничего, никогда не будет хорошо. А вот стоит у окна человек, куда-то едет, наверно, к семье, и уже два раза был ранен, и поправился, и выглядит здоровым, и новенький орден получил, и лицо довольное, и, наверно, все у него хорошо. Почему так? И почему у отца, у которого все всегда было хорошо, вдруг сразу, в один день, в одну секунду все стало так безнадежно? Вот видите, хотела сказать коротко, а сказала длинно и глупо, как будто смотрела на вас и желала вам зла. Я совсем не желала вам зла. Но все равно — вот именно так нелепо и думала, как говорю вам. А потом оказалось, что это вы и ничего особенно хорошего вас не ждет. Просто у вас вид такой, словно с вас все как с гуся вода,— усмехнулась она. — Я забыла папиросы на кухне, у вас есть?

Лопатин дал ей закурить.

— Наверно, в вас есть что-то располагающее к женским исповедям.

— Не терплю исповедей,— сказал Лопатин,— тем более женских. И самого слова «исповедь» не люблю: в нем есть что-то заранее заготовленное. А вы просто что подумали, то и сказали. Какая же это исповедь? Тем более женская? Женские исповеди обычно предназначаются бабам в штанах. При всех своих недостатках к ним не принадлежу. Исповедуйтесь-ка лучше, давно ли начали дымить?

— Недавно, уже в войну. Заметно?

— Заметно.

— А вы?

— Я с пятого класса реального. Сначала или в уборной, или в рукав.

— А в войну не стали больше курить?

— Наоборот, меньше. Не всюду и не сразу достанешь курево.

— А все-таки, когда опасно, сильней хочется курить?

— Как-то не связываю одно с другим. Когда опасно, боюсь, а когда хочется курить, курю, если есть чего.

— Мне нравится, как вы со мной говорите.

— Очень рад.

— Скажите, Василий Николаевич...

Кажется, она хотела спросить что-то важное, но в это время позвонили в коридоре, и она вышла открыть дверь.

«Сейчас увижу ее мужа»,— подумал Лопатин о Ксении, совершенно не представляя себе, каким будет этот человек. От Ксении можно было ожидать чего угодно, и муж мог быть каким угодно.

Вслед за вернувшейся в комнату женщиной, которую Лопатин мысленно продолжал называть Никой, вошла еще одна женщина, немолодая и непомерно высокая, и мужчина среднего роста, казавшийся рядом с ней маленьким.

У нового мужа Ксении, крепкого красивого блондина, было здоровое и спокойное лицо здорового и уверенного в себе человека. Он выглядел ровесником Ксении. Так, наверное, и было.

Лопатин сделал шаг навстречу высокой женщине, но она, неуклюже махнув на него рукой и не поздоровавшись, громко сказала, почти крикнула:

— Сейчас я вернусь! — и исчезла за дверью.

А новый муж Ксении пошел навстречу Лопатину и протянул ему холодную крепкую руку.

— Здравствуйте, Василий Николаевич. Веденеев! Рад, что вы согласились прийти к нам.

Лопатин покосился на Нику. Она стояла, сморщив свой смешливый нос. Кажется, ее забавляло, что она присутствует при этой встрече.

«Ну что ж, присутствуй, раз не осталась там, в передней, как сделала бы на твоем месте другая женщина»,— подумал о ней Лопатин и, протягивая новому мужу Ксении папиросы, сказал:

— Я тоже рад. И давайте для начала закурим и поставим все на свое место. Я не потерпевший, вы не ответчик, а все, что произошло, к общему благу. На том и будем стоять, сидеть и пить водку, если она у вас окажется.

— А теперь будем знакомиться с вами, Василий Николаевич,— снова входя в комнату, сказала высокая женщина таким громким голосом, после которого в комнате сразу наступила тишина. — Я напудрила свой нос и считаю, что достаточно хороша для первого знакомства.

— Здравствуйте, Зинаида Антоновна,— целуя ее большую, покрасневшую от мороза руку, сказал Лопатин. — Давно хотел и даже два раза надеялся с вами познакомиться, но не вышло.

— Только не врите, пожалуйста. Терпеть не могу, когда про меня врут, что я кусаюсь, брыкаюсь и вообще ведьма. Если бы хотели, познакомились бы. Я добрая и тщеславная ведьма и никогда не кусаю тех, кому действительно нравлюсь. — Она первая рас-

хохоталась собственным словам громким мужским смехом и отказалась от предложенной Лопатиным папиросы. — Не курю, хотя, наверно бы, мне это пошло. Особенно трубка. — Она снова хохотнула и бесцеремонно, с ног до головы оглядела Лопатина. — После ваших корреспонденций с фронта считала, что вы геройский брюнет с усами. А вы нормальный интеллигент из дореволюционных студентов, похожий на моего мужа. Сколько вам лет?

— Сорок шесть.

— Столько же, сколько ему. И он тоже на фронте, начальником медсанбата. Врет мне в письмах, что это совершенно неопасно. Врет, да?

— Иногда врет,— сказал Лопатин.

— Это хорошо, что вы не соврали,— сказала она. — Старшим не надо врать, а я старше вас, мне пятьдесят три.

Она выглядела моложе, но что-то в ее пронзительно-умном лице с горбатым мужским носом и копной седых волос мешало сказать ей, что она выглядит моложе своих лет. Это было одно из тех лиц, которым придает обаяние старость, а не молодость.

— Я в первый раз видел вас на сцене давно, еще до революции, в «Макбете»,— сказал Лопатин.

Она довольно хмыкнула:

— С галерки?

— С галерки.

— В этом слове есть какая-то театральная тайна, что-то неотразимо привлекательное для нас, артистов. Почему-то хочется, чтобы тебя до старости помнили именно те, кто в молодости толокся на галерке. Воспоминания об артисте, увиденном с галерки, чем-то похожи на любимую вещь, купленную когда-то на толкучке. Логика отсутствует, но похоже.

— Зинаида Антоновна теперь наш худрук,— сказал новый муж Ксении.

— Но они скоро выгонят меня обратно в актрисы,— снова хмыкнула она. — Потому что я твержу им, что театр — это храм, и не позволяю ходить по сцене в валенках. Даже на черновых репетициях.

То, что она теперь худрук, пожалуй, было единственным, чего не знал о ней Лопатин. Все остальное знал. И если бы не был занят мыслями о том, как выглядит новый муж Ксении, конечно, как она только заглянула в дверь, сразу узнал бы в ней ту одинаково ошеломлявшую остротой своей игры и в трагедиях и в фарсах актрису, которую многие в Москве считали то слишком резкой, то слишком эксцентричной, но которая на самом деле была просто-напросто великой. И оставалась великой актрисой, даже когда проваливалась. А это с ней тоже бывало.

Вот и сейчас она пришла в этот чужой Лопатину дом, в эту чужую комнату, и в доме и в комнате все сразу стало каким-то другим. Что-то до этого забытое вдруг стало самым важным. А что-то, казавшееся самым важным, оттеснилось в сторону. Она, как на сцене, в театре, вдруг растолкала в стороны всех других, приготовившихся играть в этой комнате свои, другие роли. И все, что, не будь здесь этой великой актрисы, наверно, бросалось бы в глаза Лопатину, стало незаметным и незначительным.

Теперь он только мельком заметил, как обменивались между собой понимающими взглядами Ксения и ее новый муж, и как Ксения с понятной, но все-таки чуть-чуть смешной торжественностью поставила посредине стола довольно большое блюдо с пловом, и как она заколебалась, кого рядом с кем посадить.

Ксения весь ужин радовалась тому, как они красиво, по ее мнению, расстались и красиво теперь встретились. Хотя одно было неизбежным, а другое вышло случайно. И они просто-напросто не причинили друг другу лишнего зла. Только и всего.

Но и эти мысли о Ксении только минутами появлялись у Лопатина и сразу же исчезали, и даже инстинктивно тревожившее его молчаливое внимание рядом с ним сидевшей Ники было все-таки чем-то вторым, не самым главным за этим столом.

А главным была все равно вот эта сидевшая напротив него, давно знакомая ему по сцене немолодая и некрасивая женщина, с мужским орлиным носом, смотревшая ему прямо в глаза с таким откровенным и жадным интересом, словно она не смотрела, а ела ложкой все, что думал и говорил он, отвечая на ее вопросы.

Ксения сначала посадила актрису рядом с Лопатиным, но Зинаида Антоновна, задав ему два или три вопроса, поднялась и обменялась местами с посаженной напротив него Никой, сказав, что Нине Николаевне, наверное, все равно, а она не умеет говорить с людьми в профиль.

Она называла всех сидевших за столом — и Нику, и Ксению, и ее нового мужа — только по имени и отчеству. Лопатин вспомнил слышанный еще до войны в Москве рассказ, что она в театре всегда зовет по имени и отчеству даже студийцев, мальчишек и девчонок, и посреди разговора спросил, правда ли это.

— Разумеется! Я привыкла к напраслинам, но это как раз правда,— сказала она. — А кто дал мне право, работая в одном с ними театре, обращаться к ним как-то по-другому, чем они обращаются ко мне,— возраст, должность, звание или относительно бóльшая, чем у них, известность? Что? Неужели вам не стыдно перед другим человеком, когда вы по собственному произволу присваиваете себе право называть его как вам вздумается — на «ты» или «вы», по имени или по имени-отчеству, а у

него по отношению к вам этого права нет: вы заранее мысленно лишили его этого права! Не выношу — «Петька», «Колька», «поди», «принеси»,— и мне никто не Колька, и я никому не Зинка — ни в пятьдесят, ни в двадцать. Не люблю произвола! Терпеть не могу! — не сказала, а крикнула она в лицо Лопатину.

И внутренняя сила этого выкрика так далеко отстояла от всего, казалось бы, частного и не для всех обязательного, о чем она только что говорила, что Лопатин ощутил за этим давно и стойко выстраданную мысль, имевшую отношение не к именам и отчествам, а к жизни.

— Зинаида Антоновна, по-моему, вы даже напугали Василия Николаевича,— услышал он насмешливый голос Ники.

— Он фронтовик, ему нельзя пугаться никого, даже меня! — хохотнула своим мужским смехом Зинаида Антоновна и удержала мужа Ксении, пытавшегося налить ей водки. — Я уже сказала вам раз и навсегда: не поите меня водкой. Лучше добавьте мне плова, я от него добрею!

Подложив ей плова, он все еще продолжал держать бутылку в руке.

— Ну, всего одну — за фронтовиков! И за вашего мужа, и за Василия Николаевича, и вообще за всех.

— Не буду, это бессмысленно! Им все равно не станет от этого легче.

Она перевернула свою рюмку вверх дном и снова уперлась глазами в Лопатина.

— Ответьте мне, но только правду: вы сами, своими руками, убивали немцев?

— Может быть,— сказал Лопатин. — Но не думаю.

— Как это понять — не думаете?

— Очень просто. В начале войны несколько раз вместе с другими стрелял в немцев из винтовки, а этой осенью один раз из пулемета, но не уверен, что именно я попадал в них.

— Теперь поняла. А вам хотелось, чтобы их убивал не кто-то другой, а вы сами?

Лопатин пожал плечами и сказал, что он как-то не думал об этом в применении к себе. Думал обо всем, вместе взятом: что фашистов необходимо убивать, потому что иначе не победишь, и что хорошо, когда мы их убиваем, а сами остаемся в живых, и плохо, когда все получается наоборот. Об этом он, в сущности, и пишет всю войну. Конечно, не только об этом, но почти всегда и об этом, потому что это и есть война.

— Поняла,— сказала Зинаида Антоновна. — Но ответьте: испытали бы вы удовлетворение или даже наслаждение, если бы

точно знали, что не кто-то другой, а именно вы убили одного или нескольких фашистов?

— Удовлетворение — пожалуй... А слово «наслаждение» мне не нравится, мало подходит к войне.

— А как же быть со словами «есть упоение в бою»?

— Не знаю, как быть с этими словами, впрочем, как и со многими другими, написанными на эту тему,— сказал Лопатин. — Я не перечитывал своих корреспонденций, но думаю, что слова «упоение» в них нет. Не приходило в голову...

Ему показалось, что она не просто спрашивает, а допытывается до чего-то очень важного для нее самой, и он, отвечая, испытывал, еще не до конца понятное ему самому, чувство ответственности за каждое сказанное слово.

— И еще вот что скажите мне. — Она продолжала внимательно смотреть прямо в глаза Лопатину. — Вот вы фронтовик...

— Для точности, я не совсем фронтовик,— перебил Лопатин. — Я человек, по долгу службы бывающий на войне...

— Ну, человек, бывающий на войне, ответьте мне: что значит для вас решимость умереть за родину? Какое чувство за этим стоит?

— Это не чувство,— сказал Лопатин. — Да и «решимость умереть» — не совсем те слова, и даже совсем не те... Как это так — решимость умереть? Решимость умереть — это из области самоубийства. На войне точнее говорить о решимости сделать все, что от тебя зависит, в условиях, когда это грозит смертью. Иногда — вероятной, и как крайность — почти неизбежной. Какое чувство стоит за этим? Наверное, все-таки желание жить, даже перед лицом неизбежности. Без этого до самого конца остающегося чувства нет и самопожертвования.

— Так, значит, чувство все-таки есть?

— Значит, все-таки есть,— согласился Лопатин. — Я говорю не о себе, а просто думаю сейчас вдвоем с вами.

Лопатин услышал, как облегченно вздохнула Ксения,— боялась, что он взорвется! Помнила по себе, как это с ним бывало, когда она приставала к нему, и боялась, не понимая разницы между собой и этой женщиной, между ее и своими вопросами.

— У вас сделались злые глаза,— сказала Зинаида Антоновна. — Это потому, что я вас заставила думать о том, о чем вы не хотите или устали думать. Не злитесь на меня! Я мучаю не вас первого, потому что ставлю здесь, в Ташкенте, пьесу о войне, не имея о ней собственного представления. Я уже стара и хорошо знаю, как страдают и как умирают люди, и как они узнают о смерти других людей, и как боятся за их жизнь, но всего этого

недостаточно, чтобы поставить пьесу о войне. Мне нужно знать о войне что-то еще, и я добиваюсь это знать! Мне нравится пьеса, мне кажется, что она честная, я уверена в чувствах автора, но не уверена в произносимых со сцены словах. Иногда в самих словах, а иногда в том, как их произносят на репетициях актеры.

— Вот на вас и проверили некоторые из этих слов, заставили вас поработать для нашего театра! — сказал новый муж Ксении. — Тут у нас — открою секрет — молодая актриса, исполнительница главной роли, только что вернулась с фронта. Была три месяца во фронтовой бригаде и очень активно ведет себя на репетициях — все знает и всем объясняет. А Зинаида Антоновна со свойственной ей деликатностью...

— Мне не свойственна деликатность,— огрызнулась на мужа Ксении Зинаида Антоновна. — Вы прекрасно знаете, как я затыкаю рты и заслуженным и народным, если они на репетициях, как тетерева на току, начинают слушать только самих себя. Но я люблю потрясенных людей. А Лидия Андреевна вернулась с фронта потрясенная. И я прислушиваюсь к ее потрясенности, для меня это звук войны!

— Вы, как всегда, увлекаетесь,— сказал муж Ксении.

— А я предупреждала вас, что буду увлекаться, когда вы на свою голову уговаривали меня стать худруком. Я предупреждала вас, что я нелепая и никогда не буду лепой. И не собираюсь быть лепой. И вы еще раскаетесь, что связались со мной, как уже не раз раскаивались другие.

— Ничего, выдюжу,—спокойно сказал муж Ксении и как ни в чем не бывало повернулся к Лопатину: — Насчет наслаждения убивать немцев — это как раз наша вернувшаяся с фронта актриса. Она где-то там стреляла из орудия и сама видела, как снаряд попал на дороге в машину с немцами и поубивал их. Во всяком случае, так она рассказывает. Ну и, главное, конечно,— о своих чувствах по такому поводу.

Лопатин усмехнулся, хорошо зная, как все это происходит в таких случаях. Актрису вместе с ее товарищами после выступления, наверно, повезли куда-нибудь на спокойный участок, на позиции тяжелой артиллерии, и там, в зависимости от калибра, километрах в трех или в пяти от передовой дали ей дернуть за шнур, произвести выстрел по заранее подготовленным данным. Снаряд разорвался на каком-нибудь обстреливаемом нашим беспокоящим огнем участке немецкой фронтовой дороги. И если повезло — во что-то попали,— наши артиллерийские наблюдатели донесли с передовой на огневую, где дергала за шнур актриса, об удачном попадании.

Он ничего не сказал вслух, всего-навсего усмехнулся. Но Зинаида Антоновна гневно вцепилась в его мимолетную усмешку и стала требовать, чтобы он сказал то, что подумал.

И он сказал то, что подумал. И хотя человеколюбиво удержал себя от иронии, даже ни разу не улыбнулся, она все равно почувствовала недосказанное и заорала на него:

— Не смейте смеяться, слышите! Не смейте смеяться над нею! Даже если она немножно приврала, все равно она вернулась потрясенная! И всем нам было важно это слышать. Не ее слова и даже не ее вранье, если оно было, а ее потрясенность!

В той страстной убежденности, с которой она выкрикивала все это, была и частица нелепости, и частица беззащитности. Она была беззащитна в этом споре с ним, но с такой страстью искала правду, что ему вдруг показалось, что она, не знающая о войне и десятой доли того, что знает он, способна в конце концов силой этой страсти и таланта доискаться чего-то такого, чего он сам, при всем своем знании войны, еще не доискался и не доищется. И ему уже не хотелось ни спорить с ней, ни доказывать, что дважды два — четыре, ни подшучивать над той приехавшей с фронта и привиравшей актрисой.

— Что вы на меня уставились? — спросила она, накричавшись. — Наверное, считаете, что я легковерная дура?

— Уставился на вас с такой же любовью, как когда-то с галерки, и даже с еще большей,— сказал Лопатин. — А легковерных людей я люблю. И уж если выбирать одно из двух — люблю их куда больше, чем тех, кто с таким трудом верит другим, что перестает верить себе.

Она беззащитно смахнула слезу в уголке глаза.

— У вас злой ум и доброе сердце!

Сказала так громко и решительно, на всю комнату, как будто подписала окончательный приговор Лопатину, сидевшему напротив нее и ждавшему этого. И Лопатин невольно улыбнулся — не над ней, сказавшей это, а над собой. Вовсе у него не злой ум; просто он любит точность, вот и все. Вот если бы против нее сидел не он, а Гурский — все было бы в точку: доброе сердце при озлобленном уме. И там, где она это вычитала, так и стоит — не «злой», а «озлобленный».

— Не улыбайтесь,— сказала Зинаида Антоновна. — Это не я придумала, это у Пушкина, в «Путешествии в Арзрум».

— Я знаю.

— Вы вообще много знаете. Так делитесь! Тем более что вы уже не вернетесь сюда и я вас не увижу,— сказала она и, совершенно забыв о присутствующих, стала расспрашивать Лопатина о разных подробностях фронтовой жизни.

У нее был этот дар — забывать о присутствующих, он был не всегда удобной для других частью ее душевной силы.

Вопросы были разные — и удивлявшие Лопатина своей проницательностью, и удивлявшие своей наивностью. Но и в этой наивности тоже присутствовала сила души, не боящейся наивных вопросов, тот глубокий интерес к людям, при котором стремление знать важней самолюбивой боязни показаться глупой.

Лопатин отвечал, как умел и мог. Он уважал людей, которые не боятся спрашивать.

— Мне сказали, что вы живете здесь у... — Она назвала фамилию Вячеслава Викторовича. — Как вы к нему относитесь?

— Я люблю его,— сказал Лопатин.

— Любили или любите?

— Люблю.

— А я разлюбила. Он меня обманул. Терпеть не могу чувствовать себя мужчиной, а при нем чувствую.

Лопатин подумал о муже Ксении; как относится к нему эта женщина? Ее собственный муж намного старше его — и на фронте, а этот молод, здоров — и здесь. Что оправдывает его в ее глазах? Наверно, та работа, которую он делает рядом с ней. Что же еще? Наверно, он хорошо работает в этом театре. И это защищает его от нее.

— Будь вам ваши сорок шесть на той германской войне, вы были бы ратником второго разряда или прапорщиком военного времени,— вдруг сказала она Лопатину.

— Возможно,— сказал он, подумав про себя, что на той войне до этого возраста могла и не дойти очередь. Все-таки та война при всей ее тяжести была другая война, чем эта, и даже к самому концу вычерпала на фронт меньше людей, чем эта уже сейчас, на полдороге. И к возрасту было другое отношение, чем сейчас. Сорок шесть лет не были тогда возрастом, в котором объясняют, почему ты не на войне. А сейчас этот вопрос существует в отношениях между людьми. Существует и за этим столом.

— Я подходил по возрасту, но у меня было освобождение от призыва,— сказал он. — И в гражданской тоже не участвовал.

— Как раз собиралась вас об этом спросить.

— Не участвовал,— повторил Лопатин и впервые за последние полчаса повернулся к сидевшей рядом с ним Нике.

— Что? — спросила она, словно он не просто повернулся, а вслух сказал ей что-то, чего она не расслышала.

У нее было странное лицо, как будто она вернулась откуда-то издалека и не знает теперь, что ей здесь делать.

— Ничего,— ответил Лопатин. Вспомнил, что сидел, как невежа, отвернувшись от вас, извините.

— Это я виновата,— сказала Зинаида Антоновна.

— Ничего вы не виноваты,— сказала Ника. — Наоборот, я благодарна вам, что вы заставили Василия Николаевича говорить о войне. А я не могла. Собиралась спрашивать его, а вместо этого рассказывала сама. И как всегда, о себе.

Говоря это, она продолжала смотреть на Лопатина все такими же странными, издалека вернувшимися глазами.

— Бойтесь этой молодой женщины, Василий Николаевич,— сказала Зинаида Антоновна. — Она сейчас так хорошо смотрит на вас, что мне стало за вас страшно.

— За что вы меня так? Почему меня надо бояться? — спросила Ника.

— Потому что вы смелая. Вам не жаль себя, но не жаль и других,— сказала Зинаида Антоновна так же, как до этого сказала Лопатину про доброе сердце и злой ум. Сказала так, словно опять поставила свою подпись под приговором.

Лопатин поднялся.

— Может быть, вас проводить? — спросил он у Ники, сообразив, что, кроме него, она единственная, кому или сейчас, или немножко позже нужно уходить из этого дома.

— Спасибо, я заночую здесь.

— Она будет ночевать у меня,— сказала Зинаида Антоновна. — Я боюсь за нее, когда она поздно уходит. Ей очень далеко ехать, а потом очень далеко идти.

Лопатин стал прощаться.

— Благослови вас бог, если он есть,— сказала Зинаида Антоновна, когда он наклонился, чтобы поцеловать ей руку.

— Вдруг мы и правда здесь уже не увидимся,— вздохнув, сказала молчавшая почти весь вечер Ксения. — Можно, я тебя поцелую?

Она потянулась и поцеловала Лопатина в лоб, прошептав при этом: «Все было так хорошо».

— А мы с вами, наверно, еще встретимся,— как-то непонятно, мимоходом сказала Ника, пожимая Лопатину руку.

— Я пойду провожу вас через проходные дворы, это гораздо ближе,— уже в передней предложил муж Ксении и полез в рукава шубы.

— Не стоит,— сказал Лопатин. — Я обойду, тут все равно недалеко...

Но муж Ксении уже влез во второй рукав шубы, и останавливать его было неудобно.

Они вышли вместе. Ночь была тихая и морозная. Под ногами хрустел снег. Муж Ксении молча шел через проходные дворы, шагая чуть впереди Лопатина, показывая ему дорогу.

Кто его знает, о чем думает сейчас этот молчаливый человек. Неизвестно, какой он сам. Известно только одно: Ксения при нем стала лучше, чем была до него. Промолчала сегодня почти весь вечер, не мешала другим говорить о чем-то другом, кроме нее.

Лопатин с усмешкой вспомнил о своих напрасных стараниях научить ее сначала думать, а потом говорить. «Я так и не научил, а этот, очевидно, научил. Интересно — как? Поколачивает он ее, что ли, чтоб не болтала? Не похоже, но кто их знает? Иногда и самому хотелось с отчаяния отлупить ее, чтоб не трещала над ухом. А у этого помалкивает — и ничего! Еще и смотрит на него при этом влюбленными глазами. А может, вообще все проще простого: его любит, а тебя никогда и не любила? Какая это любовь при полной неспособности подумать о другом человеке, что для него хорошо и что плохо? Вот уж о чем она никогда не думала. А теперь, наверное, думает».

Когда подошли к дому, где жил Вячеслав Викторович, и остановились проститься, так и не сказав друг другу по дороге ни слова, муж Ксении по-старомодному снял шапку.

— Разрешите откланяться. — И, пожав Лопатину руку, в последний момент добавил: — Хочу, чтоб вы знали только одно. Если вдруг сложатся обстоятельства, при которых для вашей дочери окажется необходимым жить здесь, с нами, я вполне готов к этому.

Сказал, повернулся и пошел.

Лопатин стоял и глядел ему вслед.

Обстоятельствами, которые могли вдруг этого потребовать, была война, на которой тебя могли вдруг убить. Об этом и шла речь. Что ж, спасибо и на том...

10

— Ну, кто у них там был? — спросил открывший дверь Вячеслав Викторович. — Ты долго засиделся.

И когда Лопатин ответил, что засиделся потому, что был долгий и интересный для него разговор с Зинаидой Антоновной, невесело усмехнулся.

— Когда-то и у меня бывали с ней долгие разговоры. Когда ставила до войны спектакль, для которого я писал ей интермедии в стихах. Умеет вымотать все кишки из человека, покуда он ей интересен. А потом пройдет мимо него, задрав свой бушприт к небу, словно никогда и не знала. Безмерно талантлива, но жестока. И берет на себя право быть судьею чужих поступков, не заботясь вникать в причины. Когда-то была влюблена в меня по

уши. Не по-женски, а, как это говорят, по-человечески. А теперь еле здоровается.

Лопатин молчал. Два человека в один и тот же вечер в двух разных домах одного и того же города, на расстоянии сказали друг другу все, что они друг о друге думали. И ему не хотелось быть третьим лишним в этом жестоком заочном споре.

— А Нику ты еще увидишь,— сказал Вячеслав Викторович. — Будет у меня на Новом году.

— То-то она мне сказала на прощание, что мы еще встретимся.

— Будет,— повторил Вячеслав Викторович. — И ее увидишь, и того, кто при ней состоит. Он тоже будет. Еще неделю назад бутылку коньяку и банку консервов принес, свой пай.

— А что она из себя представляет, по-твоему? — спросил Лопатин, с удивившей его самого силой неприязни подумав о неизвестном ему человеке, с которым она придет сюда на Новый год.

— Представляет из себя женщину, которую трудно не заметить, что с тобой и произошло,— сказал Вячеслав Викторович. — Достоинства — что самостоятельная; кончала театральный институт, но хорошей актрисой не стала, а плохой не захотела быть. Заведует в театре костюмерной. А кроме того, шьет и перешивает, говорят, хорошо,— бабы к ней в очереди. Кормит этим себя, сына и мать. Сюда придет самостоятельно, свой пай внесла за себя сама. А недостатки? Терпит около себя дешевого человека. И боюсь, как бы не кончилось тем, что стерпится — слюбится. Хотя, по-моему, сама уже поняла, что дешевый... А впрочем, где их тут, у нас, возьмешь — дорогих? Дорогие — сам знаешь где! — горько, с нотой самоуничижения добавил он и усмехнулся.

— А сын от кого? — спросил Лопатин.

— Надо думать, от бывшего мужа, но при мне не распространялась о нем. Вообще не болтлива... Как твоя Ксения в своем новом быту?

— Довольна жизнью.

— Черт ее знает,— сказал Вячеслав Викторович. — Иногда годами думаем о женщинах, что они не такие, какие нам были нужны, а потом вдруг возьмешь и подумаешь: а может, мы не такие, какие им были нужны? Все-таки каждая невышедшая жизнь — дело обоюдное. Будь ты сам другой, могло бы и выйти!

— Не знаю. Меня на раскаяние не тянет.

— И присутствие нового мужа не зацепило?

— Не зацепило,— сказал Лопатин, которого зацепило совсем другое.

Когда эта молодая женщина смотрела на него там, за столом, своим странным, словно издалека вернувшимся взглядом, ему показалось, что она одинока и свободна. Оказывается, нет. И не одинока и не свободна. И придет сюда послезавтра на Новый год с каким-то «дешевым», как выражается Вячеслав, человеком. Не одна, а вдвоем.

Он прошелся по комнате и взял в руки лежавшую на столе толстую конторскую книгу. Открыл и увидел на открытых страницах длинные строки, написанные тем ровным и твердым разборчивым почерком, которым Вячеслав всегда перебеливал свои стихи.

— Может, все-таки прочтешь? — спросил Лопатин, закрыв книгу.

Вячеслав Викторович не ответил. Отодвинулся от стола вместе со стулом так далеко, что только подрагивавшие кончики пальцев остались лежать на самом краю, сидел и смотрел на Лопатина, словно решая что-то гораздо более важное, чем прочесть или не прочесть ему сейчас то, что переписано в эту тетрадь. Потом сказал:

— Позавчера сам думал об этом, но боялся тебя. А сейчас не боюсь. Наверно, потому, что ты пьяный.

— Я не пьяный,— сказал Лопатин. — Больше говорили, чем пили.

— Значит, показалось. Но все равно прочту. — Вячеслав Викторович пододвинул к себе по столу конторскую книгу и стал перелистывать ее. — В общем-то, все вытекает одно из другого, но пока все вразброд. Вспоминаю то один год своей жизни, то другой. А прочту тебе «Гамбург»,— сказал он, остановившись и разогнув книгу, чтобы удобнее было читать.

Слово «Гамбург» заставило Лопатина вспомнить прежние стихи Вячеслава, написанные шесть лет назад. Они назывались как-то по-другому, но были о том, как пароход, на котором плыл Вячеслав, останавливался в Гамбурге, уже при фашистах.

Глава из книги, которую Вячеслав Викторович читал Лопатину, была написана белым стихом. Лопатин не то что не любил белых стихов, но, слушая их, имел привычку всегда, когда это выходило, мысленно превращать их в прозу.

Так он начал слушать и сейчас, не изменяя своей разрушительной привычке.

Но через несколько десятков строк это мысленное превращение стихов в прозу у него вдруг перестало выходить.

Глава была вовсе не о Гамбурге тридцать шестого года, когда Вячеслав делал там остановку на пароходе, а о Гамбурге двадцать третьего, в котором Вячеслав не был. И даже не о Гам-

бурге, а о том, чем было тогда для его двадцатилетней души это последнее вооруженное восстание на Западе, последний раскат мировой революции, о которой до этого все еще продолжали думать, что она не остановится на границах России.

Вячеслав писал не множественно, не о других; он писал: «я». В стихах было щемящее чувство обманутости Западом, от которого ждали другого. И горькие строки о себе самом. О том, как много он чувствовал и как мало успел. Были прямо с чтения вслух запомнившиеся Лопатину строчки о гражданской войне:

Не рублен клинками и тифом не тронут,
По горло в воде не прошел Сивашами,
Всего и успел, что душой прикоснулся...

Раньше, в прежних своих стихах, наоборот, старался создать впечатление, что прикоснулся к гражданской войне не только душою, но и телом, настаивал на этом, а здесь с запоздалой горечью писал, как было.

В поэме несколько раз повторялись строки о какой-то русской женщине там, на последних умирающих баррикадах Гамбурга. Она появлялась то просто как женщина, которую могут убить, то как вложенная в ее тело частица нашей души, трагически присутствующей при этом последнем баррикадном бое там, на Западе.

Вячеслав читал негромко и ровно, непохоже на себя прежнего. Дочитал, закрыл свою конторскую книгу и ничего не спросил.

В том, что услышал Лопатин, было стремление разобраться в самом себе, более высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя — какой ты,— которым были одушевлены прежние, даже самые хорошие, стихи Вячеслава.

Но Лопатин не сказал всего этого, просто похвалил:

— По-моему, хорошо. — И спросил про женщину: — Кого ты вспоминаешь? Наверное, Ларису Рейснер? Она писала тогда корреспонденции из Гамбурга.

— Да, ее.

— Ты ведь знал ее. — Лопатин хорошо помнил, как Вячеслав рассказывал ему о своем знакомстве с Рейснер.

— Нет, не знал,— сказал Вячеслав Викторович. — О ней много знал, а ее — нет. — И поднял глаза на Лопатина: — А что, говорил тебе, что знал?

Лопатин кивнул.

— Нет, не знал. Но захотелось, чтобы она прошла в стихах через этот двадцать третий год. Гамбург был последней револю-

цией, которую она видела, перед тем как умереть от тифа. Ты не поклонник белых стихов...

— Все равно хорошо,— сказал Лопатин.

Он смотрел через стол на Вячеслава, на его знакомое исхудавшее красивое лицо, с высоко приподнятыми сейчас бровями, словно он чему-то внутри себя удивился, когда услышал: «хорошо». Смотрел на это все равно, что бы ни было, дорогое лицо, дорогое раньше и дорогое сейчас, и думал, что с этим человеком надо что-то сделать. Неизвестно что, но надо!

Вячеслав Викторович задумчиво барабанил своими худыми пальцами по захлопнутой конторской книге со стихами, и Лопатин, глядя на него, вспомнил его слова в первый вечер, что он пишет книгу о своей жизни, которая никому не нужна.

Как может быть никому не нужна жизнь человека? Совсем никому не нужна? И как может быть никому не нужна книга, если она написана о жизни человека? Даже если ему самому кажется, что его жизнь никому не нужна? И вообще, что нужно и что не нужно? Не слишком ли просто мы и самим себе, и другим отвечаем на этот вопрос? Да, может быть, сейчас эта поэма про Гамбург и про двадцать третий год не нужна и даже трудно представить себе, чтобы ее сейчас напечатали. Может быть, и ты сам, если б тебе решать, не напечатал бы ее сейчас. Все так! Но наверно, когда самому человеку кажется, что он пишет никому не нужную книгу, но он все-таки пишет ее, находит в себе удивительную силу писать то, что, как ему кажется, в эту минуту никому другому не нужно,— странно, если бы это действительно оказалось никому не нужным! Странно, если бы нравственная сила, заставляющая в такие минуты человека все-таки писать, делать не что-то другое, а писать, и писать так хорошо, как он только может, так и пропала бы даром. Наверное, такая сила не может, не должна пропадать даром — в этом было бы что-то слишком несправедливое!

— Что молчишь? — спросил Вячеслав Викторович. — Я не жду подробностей. Можем перейти на другую тему... Едешь точно второго?

Лопатин так и не успел ответить. В дверь послышался резкий стук, и Вячеслав Викторович вернулся с одетым в шинель, застегнутым на все пуговицы Губером.

— Василий Николаевич, нам с вами необходимо ехать в штаб округа. Я сдавал на узле связи материал и получил телеграмму от редактора. Приказано соединить вас с ним по телефону.

— Поехали. — Лопатин стал надевать полушубок; он сидел за столом, накинув его на плечи.

— Нет, уж вы лучше портупею и пистолет сверху,— сказал Губер. — Дежурный по штабу округа может придраться. У нас тыловые строгости.

Лопатин снова снял полушубок, расстегнул ремень с оттягивавшим его пистолетом и, надев полушубок, стал затягивать поверх него ремень, не попадая в дырки.

— А портупея у вас где?

— А черт ее знает где. Где-то оставил! Не то в Москве, не то в Сталинграде. Без портупеи хожу.

Губер только вздохнул. Запасной портупеи для приезжего корреспондента «Красной звезды» у него не было предусмотрено.

— Долго его не держите,— попросил Вячеслав Викторович, провожая их до дверей. — Я его буду с чаем ждать. И вас тоже, если на этот раз зайдете.

— Покорно благодарю,— сказал Губер. — К сожалению, не от нас зависит. Сколько продержат на телефоне.

Только когда вышли, сели в «эмку» и поехали, он сказал Лопатину то, чего не сказал при Вячеславе Викторовиче,— что телеграмма была срочная и строгая. «Непременно сегодня же любой час ночи обеспечьте разговор телефону».

— Что-нибудь новенькое,— усмехнулся Лопатин. — Загонит куда-нибудь в обратном направлении.

И спросил у Губера:

— Как у вас тут с самолетами на Москву?

— Если есть погода, идут почти всякий день. Я уже справился у оперативного дежурного. И насчет связи тоже его предупредил. Обещали помочь, думаю, до утра не просидим.

«Эмка» притормозила на перекрестке.

Военный патруль с автоматами вел посреди мостовой двух задержанных гражданских. Видимо, задержание было серьезное, оба патрульных шли с автоматами на изготовку.

— Балуются в эту зиму у нас в Ташкенте,— сказал Губер. — Уголовники стянулись. Зима ожидалась теплой. За месяц несколько грабежей и убийств. Последние дни, правда, их крепко прижали. Проверяют, ловят, при любой попытке вооруженного сопротивления приказ коменданта: пулю в лоб! Одна банда убила в разных местах трех офицеров, находившихся после госпиталей в отпусках по болезни. Убили, раздели и в их обмундировании прибыли сюда, в теплые края, действовать.

— Поймали? — спросил Лопатин.

— Этих поймали! Верней, перебили. Отстреливались, на пощаду, понятно, не рассчитывали.

«Да уж какая тут пощада!» — подумал Лопатин.

Его передернуло от мысли об этих трех убитых где-то в разных местах офицерах. Сначала война загнала им в тело пули или осколки. Потом их выносили с поля боя, везли в медсанбаты, оказывали по дороге первую помощь. Потом оперировали, зашивали, говорили: «Будешь как новенький!» Потом везли подальше от войны, на восток, долечиваться. Потом выписали с отпускными билетами — повидаться с родными, перед тем как вновь на войну. А потом какая-то сволочь где-то ночью в глухом переулке убила и раздела. И то, что сняла с мертвых и надела на себя, надела для того, чтобы убить еще кого-то!

— Так что комендатура тут у вас жесткая? — спросил он вслух.

— А какой же ей еще быть,— сказал Губер. — Сами знаете: война не идиллия. Нигде не идиллия. И здесь, в тылу, тоже. Считается, что сюда за этот год больше миллиона людей приехало. И половина из них осела в Ташкенте. А в таком море чего только не плавает — все есть. Тут сейчас военной комендатуре — и не ей одной — работы с головой! Всякой работы, в том числе и такой, чтоб рука не дрогнула.

Сказав это, Губер рассмеялся. Он редко смеялся, и это было тем более неожиданно.

— Меня тут, как старого строевика, хотели в комендатуру сманить на помкоменданта. И я дал понять, что согласен. Решил про себя: раз редактор на фронт не пускает, легче от них, из комендатуры, через полгода вырвусь! Но его запросили — и сразу крест! Наверно, подумал, что я тихой жизни ищу!

Уже почти подъезжая к самому штабу округа, они увидели еще один патруль. Этот шагал не по мостовой, а по тротуару и без задержанных.

В знакомом Лопатину по тридцатым годам старом здании штаба округа было холодно. Холодно в коридорах и на лестницах, холодно и в большой пустой приемной перед кабинетом командующего.

Поднявшись из-за стола, адъютант сказал, что командующий уехал на бюро ЦК, но по докладу оперативного дежурного разрешил корреспондентам «Красной звезды» воспользоваться связью в свое отсутствие.

— Пока присаживайтесь!

Он снял трубку и назвал по телефону знакомый Лопатину прямой междугородный «Красной звезды», по которому дежурили стенографистки. Несколько раз за войну Лопатину удавалось дозваниваться им из разных мест по этому номеру.

— Как со связью? — спросил адъютант.— Корреспонденты здесь.

Лопатин посмотрел на часы: половина третьего ночи.

«Да, поздно они сидят здесь на бюро ЦК, как мы в редакции с номером».

Адъютант был молоденький и старанием строго держать себя напомнил Лопатину Велихова — адъютанта покойного Пантелеева. Где он теперь, этот Велихов, и какой стал? И куда и с кем отходил потом из Симферополя — на Севастополь или на Керчь? И жив ли после всего этого, или убит, или потонул?

Раздался телефонный звонок.

— Дают редакцию,—сказал адъютант и задержал телефонную трубку в руке, не зная, кому отдать — Лопатину или Губеру.

Лопатин потянулся к трубке, но Губер шагнул вперед и сам взял ее, и, когда уже взял, Лопатин мысленно выругал себя за бестактность — нельзя было лишать Губера возможности самому доложиться по телефону редактору. Наверно, не так часто это бывает!

— Говорит Губер, прошу дивизионного комиссара. Звоню по его приказанию.

Редактор говорил с Губером недолго — минуту, но, кажется, похвалил его.

— Есть! Будет сделано. Передам второй материал в таком же духе,— сказал Губер. — Есть! — И протянул трубку Лопатину.

— Как дела? Еще не закончил? — без предисловий спросил редактор.

«Так оно и есть, сейчас вызовет в Москву»,— подумал Лопатин. И сказал, что работы осталось на три дня, не закончил, но, если надо, готов прервать.

— Раз не закончил, прерывать не надо,— вопреки ожиданиям, сказал редактор. — Когда в Красноводск, второго?

— Второго утром.

— Так и выезжай. Не задерживайся, обстановка не позволяет.

— Мне все ясно, товарищ дивизионный комиссар,— сказал Лопатин, хотя ему было как раз неясно, зачем редактору потребовалось вызывать его к телефону.

— Поздравляю вас с наградой! — вдруг на «вы» сказал редактор, и в голосе его прозвучала торжествующая нота. — По представлению редакции, Военным советом Сталинградского фронта награждены орденом Красной Звезды.

— Благодарю,— сказал Лопатин.

Полагалось сказать: «Служу Советскому Союзу», но в телефонную трубку почему-то не получилось.

— Наводил справки. Ефимова там, где ты будешь, очевидно, встретишь. Вопросов нет?

Лопатин вдруг вспомнил лицо Вячеслава в тот первый вечер, когда они заговорили с ним о Ефимове. Лицо человека, которого всего один шаг отделял от мольбы: «Возьми меня с собой!»

— Вопросов нет, есть предложение.

— Какое еще предложение? — недовольно спросил редактор. Там, в Москве, верстали номер, и он спешил.

Лопатин стал торопливо объяснять ему про Вячеслава — что тот просится поехать с ним вместе на фронт от «Красной звезды». Если редактор согласится на это и свяжется с Политуправлением округа, наверное, можно будет тут, на месте, выдать ему обмундирование и предписание до Тбилиси. А туда, в Тбилиси, в штаб Закавказского округа, фельдсвязью прислать на него, как на корреспондента «Красной звезды», предписание в действующую армию.

— Он сможет сделать для нас и хорошие стихи, и очерк,— говорил Лопатин, боясь, чтобы редактор не перебил его на полуслове. — Я буду все время с ним и отвечаю за его поведение на фронте.

Редактор, против ожидания, не перебил. Лопатин кончил, а он еще молчал — наверное, думал. Но, помолчав и подумав, наотрез отказал.

— Тебе некогда будет с ним возиться. У самого хватит работы. Будет много работы! Много! Понял меня? А он, если просится на фронт, пусть пишет мне в Москву. Попросится — решим. — И, без паузы добавив: — У нас еще одна потеря, девятая, Хохлачев полетел стрелком на штурмовике и сгорел,— не попрощавшись, положил там, в Москве, трубку.

Хохлачева этого Лопатин лично не знал — его только недавно перевели в редакцию из фронтовой газеты. Забрали после того, как редактор прочел во фронтовой и перепечатал у себя его очерк о полетах на бомбежки стрелком-радистом. За этот очерк и взял к себе в редакцию. Поставил на летучке в пример другим и послал к летчикам. И он полетел на штурмовике за корреспонденцией для «Красной звезды»...

Почему редактор вдруг сказал об этом Лопатину под самый конец разговора, на прощание,— кто его знает? Может, после просьбы о Вячеславе захотел напомнить, что война есть война, а не экскурсия на фронт, и нечего на себя брать лишнее — отвечать еще за кого-то, когда неизвестно, что потребуют от тебя от самого!

— Сообщил, что Хохлачев, новый наш корреспондент, погиб на штурмовике,— сказал Лопатин Губеру, положив трубку.

— Не знал его,— коротко ответил Губер и, поблагодарив адъютанта, вышел вместе с Лопатиным из приемной. И только

уже там, когда шли по гулкому холодному коридору вдвоем, спросил, какой был ответ редактора на предложение Лопатина.

— Отказал.

— Я так и думал,— сказал Губер.

И Лопатин по его тону почувствовал, что совершил неловкость: говоря с редактором, за Вячеслава попросил, а про стоявшего рядом, около трубки, Губера, что он хочет на фронт,— ни слова! «Да, некрасиво вышло»,— подумал он. И так прямо и сказал об этом Губеру:

— Извините меня, некрасиво вышло, что за него при вас просил, а о вас самом промолчал. Как только вернусь в Москву, исправлю это — даю слово!

Губер кивнул, но ничего не ответил.

— С выездом в Красноводск остается в силе? — сухо спросил он уже на улице, когда вышли из здания округа.

— Остается в силе,— сказал Лопатин.

Он думал, что Губер поедет в машине вместе с ним и можно будет по дороге как-то еще смягчить неловкость. Но Губер в машину не сел, сказал, что живет недалеко от штаба округа и хочет перед сном пройтись. Приказав шоферу отвезти Лопатина, руку на прощание пожал, но в глаза не смотрел; как видно, и в самом деле рассердился...

Лопатин ехал в машине рядом с замерзшим и недовольным водителем и думал: как просто и быстро решаются во время войны вопросы за спиной ничего не подозревающего человека. Раз-два, и готово! И уже не вернешься к этому. Хотя от того или другого решения могла зависеть вся дальнейшая судьба Вячеслава. И даже не в смысле жизни и смерти — можно поехать на фронт и остаться жить, а можно и здесь, в Ташкенте, заболеть и помереть,— а в каком-то еще более важном смысле: как ему дальше жить, какой жизнью?

И хотя редактор по телефону имел полное право сказать свое «нет!», все-таки в том, что вот так: раз-два, и готово! — было что-то обидное.

11

Вячеслав Викторович открыл дверь в пальто, накинутом на плечи поверх нижнего шерстяного белья.

— Извини, не стал ждать тебя с чаем — замерз.

Он лег на свою продавленную тахту, накрывшись пальто поверх двух одеял.

— Чай,— кивнул он на стол, на котором стоял завернутый в халат чайник. — Когда развернешь, кинь на меня еще и халат, что-то лихорадит.

Лопатин развернул чайник, укрыл Вячеслава Викторовича поверх пальто халатом и налил себе стакан чаю.

— Чай жидкий, кончается,— сказал Вячеслав Викторович.

Чай был действительно жидкий, но еще горячий. Лопатин отпил полстакана и, чтобы не забыть, пошел во вторую комнату, вынул из чемодана, принес и положил на стол осьмушку чая.

— А тебе в дорогу?

— Хватит, еще одна осьмушка есть.

Лопатин допил стакан и жадно налил еще. Ему тоже все время было холодно. И там, в штабе округа, и в машине, и здесь.

— Зачем тебя вызывали к телефону? Какие новости или перемены? — спросил Вячеслав Викторович, когда Лопатин дохлебал второй стакан чая.

— Перемен нет,— сказал Лопатин. — Еду утром второго в Красноводск. А новости... — Он помедлил с ответом и сказал то, чего не сказал Губеру: — что награжден орденом Красной Звезды.

— Поздравляю. — Вячеслав Викторович как был, в одном белье, вылез из-под одеял, пальто и халата и обнял Лопатина. — Совершить, что ли, грех, изъять из новогодней складчины? Обмыть-то надо.

— Не надо, не греши. Послезавтра на Новом году заодно и обмоем.

Вячеслав Викторович недовольно повел головой — очень хотел согрешить, но спорить не стал и залез обратно на тахту подо все наваленное на себя.

— Какой он хоть из себя, ваш знаменитый редактор? — спросил он.

И хотя вопрос был естественный, Лопатин с удивлением подумал, что Вячеслав даже не представляет себе, как выглядит человек, только что по телефону решавший его судьбу.

Он усмехнулся и сказал, что их редактор довольно обыкновенный с виду дивизионный комиссар тридцати девяти лет от роду. Не так давно, всего пять лет, носит военную форму, но выглядит в ней вполне по-военному. Роста среднего, поджарый, особых примет не имеет. Разве что одну: почти все, что бы ни делал, делает с ненормальной быстротой. При уме и характере академической образованностью не отличается; один из тех людей, которые всю жизнь сами себя образовывают, как говорится, без отрыва от производства.

— А как ты думаешь,— помолчав, спросил Вячеслав Викторович, ни разу не улыбнувшийся, пока Лопатин полусерьезно-полушутя говорил все это,— вот я два раза посылал ему туда свои стихи. И он — теперь мне это уже ясно по физиономии Гу-

бера — оба раза не напечатал. Как по-твоему: он сам-то читал мои стихи? Как ты думаешь?

— Не знаю, думаю, читал,— ответил Лопатин, думавший совсем не об этом — сам или не сам читал редактор стихи Вячеслава,— а о том, как бы все вышло, если бы редактор вдруг согласился и тут же сразу, как это у него водится, стал бы звонить о Вячеславе в Политуправление округа. А этот вот лежащий сейчас на своей продавленной тахте, под одеялами, пальто и халатом, плохо себя чувствующий и плохо выглядящий человек, формально освобожденный от службы в армии по какому-то там пункту о неполной пригодности, в ответ на твое предложение ехать вместе на Кавказский фронт вдруг взял бы да не поехал!

И даже не отказался бы прямо, а уклонился. По многим — сразу — причинам, которых в таких случаях хватает у человека. Что тогда? Решил сам — за него и без него,— что он готов ехать, и даже солгал, что просится, а потом бы оказалось, что все не так!

— То, что я скажу тебе сейчас, практически бессмысленно,— это уже невозможно сделать,— после молчания сказал Лопатин, глядя на Вячеслава Викторовича. — И все-таки ответь мне: если бы я мог вот здесь, сейчас, обмундировать тебя, оформить документы и второго уехать отсюда на Кавказский фронт вдвоем с тобой, как бы ты решил для себя этот вопрос?

Вячеслав Викторович сел на тахте, потянув за собой одеяло, пальто и халат и прислонившись спиной к стене. Сейчас, когда он вот так прислонился к стене, стало видно, какие худые, выпирающие ключицы у него там, под грязным шерстяным бельем.

— Тебе будет странно,— сказал он,— но я сам один раз уже подумал об этом.

— И даже знаю когда. Когда я говорил тебе, что, может, попаду в армию к нашему общему знакомцу — Ефимову. Так?

— Да. Подумал, но смолчал, понимая, что это невозможно, не от тебя зависит. Не стал напрасно сотрясать воздух: ах, как бы я хотел поехать! Чувства стыда не потерял. Кое-что про меня — правда, но это клевета.

— Укройся,— сказал Лопатин,— тебе холодно.

— Мне не холодно. Только налей мне чаю — неохота вставать.

Лопатин налил стакан, подал ему и сел на край тахты.

— Еще не остыл. — Вячеслав Викторович отхлебнул глоток. Он сжимал стакан в руках, согревая им ладони. — Скажи мне, пожалуйста. Несколько раз удерживался от того, чтобы спросить у других, а у тебя спрошу: тот П. А., который иногда пишет у вас в «Звезде» очерки из действующей армии,— неужели это

тот самый, которого таким смертным боем били в начале тридцатых за все, что бы он ни написал. И за идеализм, и за пацифизм, и за псевдогуманизм, и еще черт знает за что! И просто за некоторые странности его письма. Неужели он?

— Он самый,— сказал Лопатин. — Странностей его письма я и теперь не поклонник, но сам он в моих глазах выше всех похвал. Начал с ополчения, дослужился до пехотного капитана и на второй год войны, когда никто уже и не думал, где он и что он, а если и думал, считал, что этот, уж конечно, в эвакуации,— прислал в редакцию свой первый очерк, написанный от руки и без напоминаний, что он писатель. Прислал не как иногда мы, грешные,— из штаба фронта, с пометкой: «Действующая армия», а прямо с переднего края и без пометки. Пометку уже в редакции поставили. Напечатали первый — прислал второй. После второго забрали в редакцию в приказном порядке. Не только без его просьб, но и без согласия. С тех пор ездит от нас и пишет. Наши ребята-корреспонденты стараются подгадать поехать с ним в паре. Любят молодой любовью и называют между собой «Тушиным».

— Сам его видел? — спросил Вячеслав Викторович.

— На войне не приходилось. Только раз — в редакции. Съехались с разных фронтов, выпили три чайника чая с колбасой, которую добыл нам один неравнодушный к литературе старший политрук, и обменялись сапогами. За чаем выяснилось, что мне мои велики, а ему его жмут. Между прочим, и сейчас в его сапогах.

Лопатин говорил все это, ощущая жестокий для Вячеслава смысл сказанного, но все равно говорил. Да, вот так оно все вышло с тем, другим человеком, и пусть слушает, терпит, раз спросил.

— Много неожиданного,— сказал Вячеслав Викторович, продолжая греть руки о стакан, и еще раз повторил: — Много неожиданного.

«Да так ли уж много! — подумал Лопатин. — Это правда, что часто и много за эти годы войны говорим, что не ожидали того и не ожидали этого! Говорим о событиях, говорим о людях, говорим о хороших и о дурных поступках. Но все-таки почему так уж много неожиданного? Может, надо поменьше удивляться? Может, бывало и так, что плоско, скудно, недальновидно думали о жизни, о людях и обстоятельствах? Конечно, проще всего все, что вышло не так, называть неожиданным. Назовешь — и вроде бы уже не надо над этим думать! Хотя думать, наверное, все же надо! И с этим П. А., по сути, так ли уж все неожиданно? А почему, если человек, хотя и ошибался, не подличал, хотя и били,

не хныкал, хотя и любил и понимал людей как-то странно по-своему, по-иному, чем другие, но любил и сам оставался человеком,— почему от него нельзя было ждать, что пробьет час — и станет «Тушиным»? А не станет «Тушиным», наоборот, кто-то другой, про кого говорим теперь, что это для нас неожиданно, только потому, что сами раньше неглубоко думали: от кого и чего ждать?»

Лопатин вспомнил, что надо предупредить Губера: пусть оставит при себе тот разговор с редактором, который слышал в штабе. Говорить сейчас Вячеславу об ответе редактора не надо. Получится: вроде бы уже попросил за него и умыл руки, а что дальше — не твое дело!

Надо другое: вернуться из этой поездки в Москву и вдолбить там редактору, что такие таланты, как Вячеслав, на земле не валяются. Что ты должен его взять с собой в поездку, пускай на первый раз в короткую, не самую трудную. И дело не только в тех стихах или в очерке, которые он привезет с фронта; хорошие или нет — неизвестно. А в том, как дальше жить и писать такому непустячному для литературы человеку. Генералы тоже не все красиво выглядели в сорок первом. Но многим дали оправдаться. И оправдались.

Только так и надо с редактором о Вячеславе, с глазу на глаз. С глазу на глаз — Матвей понимает такие вещи. И чаще, чем о нем думают.

Вячеслав Викторович, продолжавший сидеть все в той же позе с остывшим стаканом чая в руках, вдруг оторвался от стены, слез с тахты, сунул ноги в растоптанные домашние туфли и, надев поверх белья узбекский ватный халат, ушел в переднюю. Через минуту он вернулся, одной рукой придерживая у горла полы халата, а в другой неся четвертинку.

— Все-таки не прощу себе, если, первым узнав, не обмою с тобой твой орден. — Он поставил четвертинку на стол и принес с подоконника горбушку черного хлеба и банку с горчицей. — Водка чужая, но в растратчиках не останусь. За два дня достану что-нибудь равнозначное.

Вячеслав Викторович вернулся к подоконнику и принес оттуда два, как показалось Лопатину, немытых стакана, не садясь за стол, разрезал горбушку и намазал свою половину горчицей.

— Тебе тоже намазать?

— Мажь.

Вячеслав Викторович снова пошел к подоконнику и принес солонку, в которой было немного соли на дне, взял оттуда щепоть и густо посолил поверх горчицы оба куска хлеба. Потом открыл четвертинку и разлил пополам водку.

— Поздравляю. — Он дотронулся до стакана Лопатина. — Будь жив до конца! Главное — жив!

И выпил до дна, не садясь.

Лопатин кивнул и молча в два приема выпил свою долю, переполовинив хлебом с горчицей. Горчица была такая крепкая, что проняла сильней водки.

Вячеслав Викторович сел за стол, опустив голову.

— Я сегодня днем задремал и видел маму, что она кормит нас с тобой пельменями, а это к счастью. К твоему — она тебя любила,— подняв от стола глаза и глядя в лицо Лопатину, сказал Вячеслав Викторович. — Когда вернешься в Москву и увидишь, что есть возможность взять меня с собой в поездку на фронт, прежде чем окончательно договариваться, пришли мне телеграмму. Какую-нибудь условную, чтобы не поставить меня в неловкое положение, ну, скажем: «Как твои дела?» А я, если решусь ехать, отвечу: «Хочу увидеться». Договорились?

— Нет, не договорились,— сказал Лопатин, который, услыхав это, вдруг почувствовал, что, наверно, все-таки прав не он, а редактор со своими суконными словами: «попросится — решим». — Знай заранее: все, что будет в моих силах, там, в Москве, сделаю. Но без условных телеграмм. Захочешь ехать — так и напиши! А я напоминать тебе о таких вещах не буду. Не хочу.

— Ну что ж, может, ты и прав. — Вячеслав Викторович выговорил это с видимым трудом.

— Да, в данном случае прав я,— сказал Лопатин.

— Ты стал другим, чем помню тебя,— сказал Вячеслав Викторович. — Не знаю, хуже или лучше, но другим.

Лопатин молчал. Глядел на него и не жалел о сказанном. Потому что нельзя такие вещи начинать не с того конца, с какого надо их начинать! Страна вправе решить за кого-то, что надо его сберечь, отставить от войны. Даже от такой, как эта. Но никто, никакой человек не вправе сам отставлять себя от войны...

И как ни тяжело дать почувствовать это Вячеславу, сидя через стол от него и глядя ему в глаза, а все-таки пришлось дать почувствовать. Иначе все, что будет дальше между ним и тобой, будет неправдой...

12

— Вася, вставай. За тобой машина пришла.

Лопатин, плохо соображая спросонок, спустил ноги с постели и увидел в дверях одетого в пальто Вячеслава Викторовича.

— А ты куда собрался?

— Никуда. Просто мерзну сегодня.

Он распахнул пальто, под пальто был ватный халат.

— Только что слушал сводку, сводка хорошая: под Котельниковом захватили сорок противотанковых орудий.

— А который час?

— Уже девять,— продолжая стоять в дверях, сказал Вячеслав Викторович. — Пожалел тебя будить: спал как сурок.

В комнате и правда было зверски холодно, и Лопатин стал поспешно одеваться.

— Чай я уже подогрел, опоздаешь не так намного,— сказал Вячеслав Викторович и вышел.

Лопатин одевался и злился на себя, что проспал. Вчера они с режиссером проработали тринадцать часов подряд — с восьми утра до девяти вечера — и к концу совсем обалдели. Хотели сделать побольше, чтобы сегодня, под Новый год, закончить пораньше. Но как бы ни обалдели вчера, опаздывать сегодня неловко. А до начала работы надо еще заехать на продпункт получить перед Новым годом хлеб и вообще что дадут. Потом уже времени не будет. Хорошо, что Губер прислал машину.

Кинув на шею полотенце, Лопатин вошел в соседнюю комнату. Там за столом сидел какой-то человек в пальто. Не успев разглядеть его, Лопатин кивнул и прошел в переднюю.

— Даже вода за ночь замерзла,— сказал Вячеслав Викторович, стоявший за кухонным столом спиной к Лопатину.

Вода в умывальнике была ледяная. Когда Лопатин плеснул себе за шею, показалось, что кто-то сунул за ворот сосульку.

— Что ты делаешь? — спросил Лопатин, увидев, что Вячеслав Викторович переливает над кухонным столом что-то из большой бутылки в маленькую, пол-литровую.

— Керосином делюсь с тем юношей, которого ты видел. — Вячеслав Викторович кивнул в сторону комнаты. — Будет мне па орехи от моей баронессы. Но ничего не попишешь, придется пережить! — Он посмотрел на свет обе бутылки. — Ладно, семь бед — один ответ. — И долил маленькую доверху. — Пришел попросить полведра угля. А где у меня уголь? Ребенок у него замерзает. Родил, дурак, наследника, нашел время! Жена не работает, кормит и при этом еще болеет, а сам, лопух, только и умеет сочинять стихи, которые нигде не берут. Устроил его редактором в издательство. Вместо того чтобы отредактировать да сдать, в час по чайной ложке переписывает чужую книгу. А жена с ребенком гибнут.

Он скатал обрывок газеты и заткнул бумажной пробкой отлитый керосин.

Когда они вернулись в комнату, «лопух» сидел на прежнем месте за столом.

— Будем знакомы,— сказал Лопатин, с интересом глядя на этого переписывавшего чужие книжки человека.

— Рубашкин. — «Лопух» поднялся, чтобы пожать Лопатину руку, и снова сел.

Лопатин принялся хлебать чай, искоса поглядывая на него. Перед ним стоял стакан, значит, Вячеслав напоил его чаем.

«Лопух» был худой беловолосый юноша с длинными, давно не стриженными, прилипшими к худым вискам волосами и в очках, таких толстых, что было сразу понятно, почему он не на фронте.

— Вячеслав Викторович,— с запинкой, словно пересилив себя и в то же время с внутренним вызовом сказал «лопух». — Я слышал через дверь все, что вы обо мне говорили.

— Ну и шут с тобой, что ты слышал,— сказал Вячеслав Викторович, сердито ходивший по комнате. — Поделился со своим старым другом тем, что ты лопух. Могу добавить — способный, хотя и — правой рукой за левое ухо! — сам все это прекрасно знаешь, что дальше?

— Ничего. Просто хотел, чтобы вы знали, что я все слышал.

— Знаю, что ты принципиальный, мог не напоминать мне. Такой принципиальный,— это Вячеслав Викторович сказал, уже обращаясь к Лопатину,— что не способен, спуская последнее барахло на базаре, хотя бы поторговаться из-за него! Идет на толкучку и со своей принципиальностью приносит с базара жене вдвое меньше картошки, чем мог бы. Забирай керосин и иди. Передай привет своей Лиле. Сегодня не могу, а завтра зайду к вам. Ты прямо на киностудию едешь? — обратился Вячеслав Викторович к допившему чай и поднявшемуся из-за стола Лопатину.

— Нет, сначала к вокзалу, на продпункт.

— Тогда прихвати его с собой. Он там, у вокзала, не доезжая квартал, живет. А то еще разобьет по дороге, растяпа, керосин. Когда ты вернешься?

— Договорились сегодня до семи работать. Думаю, к восьми буду.

— Тем лучше. — Вячеслав Викторович проводил их обоих в прихожую. «Лопуха» выпустил за дверь, а Лопатина придержал, сказав на ухо: — Абсолютно все спустил на толкучке, чтоб семью кормить. Под пальто — рубашка. Сил нет на них смотреть. Завтра чего-нибудь соберем им после Нового года. Не все же гости дотла сожрут?

— Может, я когда получу, хлеба отрежу? — спросил Лопатин.

— Не надо. Я завтра сам.

Сев в машину, «лопух» поставил между колен бутылку с ке-

росином и держал ее двумя руками в грязных белых штопаных шерстяных перчатках, кажется женских.

Лопатин ехал рядом с ним и вспоминал: где он раньше слышал эту фамилию — Рубашкин? И все-таки вспомнил. Слышал ее от Вячеслава до войны, что есть у него в семинаре такой студент Литературного института — Рубашкин; несколько стихов его напечатали, а первой книжки никак не может издать. Куда ее ни сунешь — всюду по каким-нибудь параметрам не подходит! Значит, это и был тот самый довоенный Рубашкин.

— Сколько вашему ребенку? — спросил Лопатин.

— Четыре месяца, четыре! — зло повторил «лопух», словно его не спросили, а ударили.

«Ребенка уже во время войны придумали, умники. — Лопатин сознавал несправедливость своей мысли, но все равно сердился от невозможности помочь. И вдруг подумал: — А что, если можно помочь? Если все-таки можно?»

Ему вспомнились слова режиссера о мешке угля, который он получил как премию от студии, когда кончил картину. «Вот закончу работать над сценарием и попрошу у них там за это два ведра угля. Без объяснения причин. Попрошу, и все!»

— Если можно, остановите здесь,— попросил «лопух».

— Прижмитесь к тротуару,— приказал Лопатин водителю.

«Лопух» вылез и, сказав «до свидания», еще стоял у открытой дверцы машины. Первый не протянул руку, дожидался, чтобы это сделал старший.

«Воспитанный мальчик»,— подумал Лопатин, пожимая его ледяную руку, с которой тот поспешно стащил свою штопаную перчатку. Наверно, правда, что не умеет торговаться на толкучке. И вдруг спросил:

— Это ваш дом?

— Да.

— А какая квартира?

— А зачем вам?

— Спросил — значит, хочу знать.

— Четырнадцатая.

— Ладно, до свидания,— сказал Лопатин и захлопнул дверцу.

Когда, получив все, что полагалось, на продпункте, они с опозданием на пятнадцать минут подъехали к студии, водитель сказал, что подполковник велел узнать у Лопатина, до какого часа он будет здесь.

— До семи. А что?

Водитель объяснил, что подполковник хотел заехать сегодня завезти билет на ашхабадский поезд и проститься, потому что сам уезжает сегодня в командировку во Фрунзе.

— Передайте, что до семи наверняка буду,— сказал Лопатин и, вылезая, прихватил с собой вещевой мешок с продуктами.

— А вы оставили бы мешок, товарищ майор. Подполковник сказал, чтоб, если захотите, я отвез на квартиру.

— Спасибо, раз так. — Лопатин бросил мешок обратно в машину.

Работа была в самом разгаре, когда в монтажную вошел Губер.

— Во-первых, билет,— сказал он, поздоровавшись с режиссером и Лопатиным.

— А во-вторых, кажется, будем прощаться? — сказал Лопатин, засовывая билет в карман гимнастерки.

— Пока еще нет,— сказал Губер. — Виноват, но приказано оторвать вас от работы.

— Кем это приказано? — сердито спросил режиссер.

— Позвонили от товарища Юсупова. Просили привезти Василия Николаевича к нему в ЦК.

— Ну уж тут сам бог велел,— развел руками режиссер. — Поезжайте, а я без вас пока сметаю дальше на живую нитку. Потом вместе посмотрим. Никогда с ним не встречались?

— Никогда.

— Поезжайте, вам будет интересно. Жаль только, заранее не знали, по-другому бы работу построили. Ладно, что делать!

Делать было действительно нечего, оставалось ехать.

— Зачем это он меня вдруг вызвал? — спросил Лопатин, когда они с Губером сели в машину.

— Раз вызвал, значит, понадобились ему. Мне приказали, чтоб сам вас в ЦК доставил. Ничего не имеете против?

— Не сердитесь на меня за тот разговор по телефону, ладно? — сказал Лопатин.

— За тот разговор не сержусь. А что про свой орден не сообщили, сочли меня мелким человеком,— обижен, не скрою. Если б сказали, хотя и скромно, обмыли бы у меня дома. Все же в одной газете работаем.

— И за это. Не прав перед вами. А откуда вы узнали?

— Оттуда же, откуда и всегда. От редактора. К вашему сведению, когда кто-нибудь в редакции орден получает, он всем прочим дает по телеграмме, чтобы знали, завидовали и старались. Нате вчерашнюю газету, самолетом пришла. Посмертная корреспонденция Хохлачева напечатана.

Лопатин взял газету и увидел на четвертой полосе напечатанную подвалом корреспонденцию, о которой шла речь. Значит, Хо-

хлачев еще раньше, до гибели, летал на штурмовку и, уже написав корреспонденцию, полетел еще раз... Фамилия была в рамке, но о смерти — как погиб — ничего не было. Слишком много людей каждый день умирает на фронте — если про всех печатать, заняло бы все четыре полосы. И для своего не стали делать исключения. Правильно, конечно. Только под корреспонденцией поставили дату, когда была написана, и пометку: «Задержана доставкой».

— Машина за вами придет второго, в десять ровно,— сказал Губер. — Билет у вас. Место верхнее. Но вагон, думаю, будет неполный. Оттуда, от Красноводска, всегда набито, а туда, до конца, до Каспия, последнее время мало кто едет. Главным образом гражданские; влезают и вылезают по пути.

— А вы много ездили по этой дороге? — спросил Лопатин.

— Ездил, но не так много. Округ-то необъятный — целая страна.

— А зачем теперь во Фрунзе?

— В пехотное училище. Первого будет выпуск, приказано дать заметку. Ваше дело — воевать, наше — ковать кадры,— усмехнулся Губер.

Они вышли у здания ЦК; Губер довел Лопатина до дверей и остановился:

— Пропуска вам не надо, пропустят по документу. Обратно на киностудию доставят. А я откланяюсь. Иначе на поезд не успею.

— Значит, Новый год — во Фрунзе, без семьи? — спросил Лопатин.

— Выходит, так. Но, откровенно говоря, жена не против этой командировки. Есть от нее задание — по дороге во Фрунзе на станции Мерке, пока поезд стоит, сахару для ребят купить. Там сахаром торгуют, и сравнительно дешево. Можно было бы сменять, говорят, за вещи больше сахару получишь, чем за деньги, но форма этого не позволяет! Жена здесь продала отрез на шинель и сапоги на толкучке и с собой деньги дала. У меня ведь кроме того сына, о котором рассказывал, еще двое — трех и двух лет. Не говорил вам?

— Не говорили.

— Первая жена умерла, а на второй поздно женился, под самую войну.

Кабинет, в который вошел Лопатин, был похож на другие такие кабинеты, где ему приходилось бывать во время довоенных поездок. Только больше, чем обычно, стояло телефонов и на письменном столе, и на длинном, для заседаний.

У дальнего конца этого очень длинного стола сидели два человека. Когда Лопатин вошел, они поднялись ему навстречу. Оба были в полувоенном. Один, бритоголовый, невысокий, но из-за неимоверной ширины в плечах и тяжести всей фигуры казавшийся все равно огромным, был узбек, второй, в роговых очках,— русский.

— Здравствуйте, товарищ Лопатин,— сказал узбек, сделав несколько шагов навстречу Лопатину, и обеими своими тяжелыми, очень большими руками потряс его руку и отпустил.

Русский, в очках, выступив из-за спины Юсупова, коротко и крепко тряхнул руку Лопатина и назвал свою фамилию, имя и отчество. Фамилии Лопатин не расслышал, а имя-отчество запомнил: Сергей Андреевич.

— Садитесь.

Юсупов сделал округлый жест рукой. Фигура и лицо у него были тяжелые, мощные, а движения легкие, округлые.

Лопатин присел к столу, на котором кроме телефонов стоял поднос с чайником и несколькими пиалами.

— Будем пить чай,— сказал Юсупов и, взяв чайник и пиалу, потонувшую в его огромной руке, налил в нее немножно чая, открыв крышку чайника, вылил чай обратно, еще раз налил и еще раз вылил обратно и только на третий раз, налив пиалу до половины, поставил перед Лопатиным.

Он делал все это традиционно неторопливо, словно сидел с гостями в узбекской чайхане. После Лопатина налил русскому в очках, Сергею Андреевичу, и последним — себе.

— Пьете зеленый чай?

— Люблю,— сказал Лопатин.

— Я тоже. Ташкентцы больше пьют черный, а мы, ферганцы,— зеленый. Сегодняшнюю сводку слышали?

— Слышал. Хорошая сводка.

— И у нас тоже неплохая. — Юсупов похлопал тяжелой ладонью по лежавшей перед ним на столе пачке листов. — Вчера на двенадцать часов ночи завершили годовой план по двадцати трем видам военной продукции и начали работать в счет будущего года. На одиннадцати заводах. Из них до войны только один был военный. Четыре переоборудовали, а шесть поставили на пустом месте. Ни от одного эвакуированного завода не отказались, все приняли. А несколько сами забрали. Когда эшелоны с оборудованием на станции Арысь скопились. Знаете Арысь?

— Знаю,— сказал Лопатин.

— Оттуда налево — к соседям, а направо — к нам. Пока соседи колебались, могут ли принять, мы забрали все направо — к себе. Объяснили, что у нас теплей! Дольше можно на станках

под открытым небом работать, прежде чем крышами накроем.— Он довольно усмехнулся, как человек, тогда, прошлой осенью, удачно перехитривший кого-то.— Понял из ваших очерков, что вы там, в Сталинграде, были на заводах, на Тракторном и «Красном Октябре». Так?

— Был.

— А сегодня у нас побудете. Есть у нас завод, на котором выпускаем мины для «катюш». Выдал две тысячи шестьсот мин сверх годового плана. Там через час начнется митинг, попросим вас поехать рассказать о Сталинграде. Выступите вы и Герой Советского Союза сержант Турдыев. Он здешний, у него на этом заводе жена и сын работают. Не слышали о нем в Сталинграде?

— Слышал,— сказал Лопатин, вспомнив фамилию разведчика-узбека, считавшегося погибшим.— Значит, он не погиб?

— Не погиб. Отдыхает здесь после госпиталя. Он по-узбекски расскажет, а вы по-русски. Хоп?

— Турдыев и по-русски неплохо рассказывает,— сказал молчавший до этого Сергей Андреевич.

— Может и по-русски. Это у него еще интересней получается,— усмехнулся Юсупов.— Он первый герой-узбек, который к нам после госпиталя приехал,— мы обедать не пошли, ждали, когда его прямо с поезда сюда привезут. Сидел на вашем месте и рассказывал нам, как в Сталинграде «языков» таскал. Такой же здоровый, похожий на меня. Только с большими усами.— Юсупов показал, какие усы у этого Турдыева.— Не только немца — буйвола может на спине притащить. Спрашиваю: как ты, Турдыев, там, во взводе разведки,— один узбек, все остальные русские, как с ними жил? Отвечает: «Хорошо жил. Узбек — узбек поругается, уже война кончится — помнить будет! Русский — узбек поругается, пять минут прошло, говорит: «Юлдаш, закуривай»,— уже все забыл! Русский человек хороший», говорит. Спрашиваю: какая у тебя там работа была, в разведке? Тяжелая? «Очень тяжелая,— говорит.— Восемьдесят — сто килограмм — очень тяжелая». Я сначала не понял, почему восемьдесят — сто килограмм? Объясняет: «Иногда, бывает, такой тяжелый попадается, волокешь язык — тяжелый язык!»

Юсупов рассмеялся, и, когда он рассмеялся, Лопатин увидел, какие у него набрякшие подглазья. Забавное воспоминание было всего-навсего минутой отдыха среди бессонной, невпроворот, работы. Его лежавшие на полированном гладком столе большие рабочие руки тоже показались Лопатину в это мгновение усталыми, отдыхающими. И он вспомнил, что этот человек, ставший секретарем ЦК, в молодости был грузчиком на хлопковом заводе

и таскал на своей широкой спине шестипудовые мешки. Когда-то начинал жизнь с этого.

— Сегодня утром были ваши товарищи с киностудии, просили лес для постройки декораций. Но мы им столько леса, чтоб Сталинград построить, дать не можем.

— Да этого и не нужно,— сказал Лопатин. — Только два блиндажа надо построить, чтобы было правдоподобно.

— Вижу, плохой вы дипломат,— улыбнулся Юсупов. — Подво́дите своих товарищей! Но немного леса все равно дадим, раз обещали... Отсюда послезавтра на Кавказ?

— Да.

— Недавно наша делегация с подарками туда ездила. Там старый наш земляк армией командует.

— Я знаю, Ефимов,— сказал Лопатин.

— Правильно, Ефимов. Откуда знаете?

— В начале войны был у него в Одессе.

— А здесь не бывали?

— Нет.

— Жаль. Его здесь до войны тоже интересно было видеть. Много лет здесь служил. Каждый наш обычай знал. Мог с красноармейцем на его языке говорить — с узбеком, с киргизом тоже, с туркменом тоже. По-таджикски не говорил, правда, но понимал. Один раз спросил его: «Иван Петрович, откуда время берете — столько всего понимать?» Ответил мне: «Обязан все понимать по долгу службы». Неправду о себе сказал — не только по долгу службы! Очень умный, очень партийный человек. Не все так хорошо, как он, понимают! Принимал нашу делегацию у себя в армии, спросил у них, как здоровье, как доехали, сначала по-русски, потом по-узбекски. Думаете, этого не знают? Уже в каждом кишлаке знают! Когда посылали подарки, советовались со стариками, что послать. Кишмиш, урюк послали, кисеты женщины сшили из хан-атласа. А Ивану Петровичу несколько дынь послали зимних, хорезмских. Он дыни любит. Поспорили со стариками из-за халатов. Мы говорим: зачем на фронте халаты? А они говорят: как мы без халатов поедем? И оказались правы. Привезли сто халатов. Иван Петрович вызвал из частей снайперов и роздал им халаты. Там, на Кавказе, полушубков нет, а снег есть. Снайперы укоротили халаты и под шинели поддели. Передайте, если увидите, Ивану Петровичу салям! От Усмана Юсупова.

На столе зазвонил телефон, и Юсупов поднял трубку.

— Я. Да, второй день жду, когда перестанете от меня скрываться... — сказал он злым голосом и остановился, не захотел продолжать при постороннем. — Подождите у трубки. — Положив

трубку на стол, Юсупов поднялся и снова, как при встрече, округло, двумя руками пожал руку Лопатину. — Жаль, что так быстро уезжаете. Помните, как Маркс говорил про эксплуататоров? Эксплуататоры находят такие возможности для эксплуатации, которые не подскажет самый изощренный ум, а только бытие! А из нас, оказывается, плохие эксплуататоры. Слишком поздно про вас узнали!

Он сделал несколько шагов, провожая Лопатина, и, улыбнувшись, прижал руку к груди. Но улыбка далась ему с трудом. Он был уже во власти других чувств.

— Поехали на завод,— коротко, даже поспешно сказал Лопатину Сергей Андреевич.

Они пошли через длинный кабинет к дверям, а Юсупов вернулся к телефону. Лопатин невольно оглянулся. Юсупов шел к телефону медленно, но в его мягкой тяжелой походке чувствовалась сдерживаемая ярость. И последние его слова, которые услышал Лопатин, выходя из этого кабинета, начатые таким же, как походка, медленным от ярости голосом, посреди фразы перешли в крик:

— Ожидаете от меня, что соглашусь покрывать ваши безобразия? Побоюсь за свою шкуру? Не побоюсь! Будем судить! Судить будем как дезертира!

— Крут Усман! Но и ноша на плечах тяжелая,— сказал Лопатину Сергей Андреевич, пока они шли по коридору ЦК. — До войны было нас пять секретарей, а сейчас двенадцать. И на всех работы хватает. За полтора года войны приняли по эвакуации больше миллиона человек. И всем нужна крыша, а новой крыши — ни одной, кроме заводских. Да еще эта зима подгадила, потребовала топлива вдвойне против расчетного. Выдаем уголь только на производстве, по талонам и в мизерном количестве. А многие гузапаей топят. И ее почти всю сожгли. Знаете, что такое гузапая?

— Стебли хлопчатника, если не путаю.

— Не путаете. Раньше в городе никто об этом и не подумал бы, а сейчас в снопики вяжут и на базаре торгуют. Да еще дерут за них.

— А вы сами давно здесь? — спросил Лопатин, когда они вышли на улицу и сели в машину.

— Два года.

Сергей Андреевич вынул платок и, сняв очки, протер их. Без очков его лицо показалось Лопатину совсем молодым.

— Сколько вам лет? — спросил Лопатин. — Если не секрет.

— Какие секреты от корреспондентов, тем более военных? Возраст призывной — тридцать. И на действительной был и по

ВУСу — числюсь полковым комиссаром запаса. Но здесь у нас не та работа, чтобы с нее отпрашиваться: не хочу эту, хочу другую! Могут не понять. — Сказал о себе и своей работе без малейшего оттенка того извиняющегося тона, в который впадают люди, желающие уверить, что они рвутся на фронт — только пусти их! — Забыл спросить, какая-нибудь помощь от нас до вашего отъезда требуется?

— Да нет, спасибо. Все в порядке. Хотя... — Лопатин запнулся; было неловко просить о такой вещи секретаря ЦК, но он все-таки попросил: — Если бы можно было достать два-три ведра угля...

— Для ваших хозяев? Вы у кого остановились?

Лопатин сказал, что остановился у Вячеслава Викторовича, и объяснил, для кого нужен уголь, добавив, что, может, его просьба не по адресу...

— Как раз по адресу,— сказал Сергей Андреевич. — Кто же еще вам полмешка угля даст, когда его и по талонам кот наплакал? — Он вынул блокнот и записал фамилию и адрес «лопуха». — А как ваш хозяин, Вячеслав Викторович, живет? Он давно у меня не был.

— В каком смысле? — спросил Лопатин, подумавший сначала, что речь идет об устройстве быта, и не любивший клянчить ни за себя, ни за других, если считал этот быт сносным. А у Вячеслава он был сносным.

— Конечно, не в бытовом,— сказал Сергей Андреевич. — В бытовом, знаю,— сыт. Чтобы такие, как он, были по нынешнему понятию сыты, сделали все, что могли. В душевном смысле спрашиваю.

— В душевном — средне,— сказал Лопатин.

— Почему средне?

Лопатин коротко объяснил, стараясь не уронить Вячеслава в глазах этого человека, который, очевидно, был и будет причастен к его судьбе.

— Понятно,— сказал Сергей Андреевич. — Хотя другой человек на его месте мог бы и не мучиться. Не так уж он здоров и молод, чтоб непременно быть на фронте. А здесь у нас старается делать все, что может. И печатается, и выступает, и откликается на все просьбы. Даром свой тыловой хлеб не ест. Но душа есть душа, вы правы. Что чужая душа — потемки, неверно. Но и со своим аршином в нее лезть нельзя.

Он сказал о Вячеславе так, что Лопатин вдруг подумал: а может быть, его собственные мысли про Вячеслава — что с ним непременно нужно что-то сделать — неверные мысли? Почему с ним нужно что-то делать? И все-таки нужно! Потому что он

сам все равно чувствует себя несчастным, что бы там ни говорили о нем другие люди...

— Сейчас этот пустырь минуем, повернем, и начнется завод. — Сергей Андреевич вдруг счастливо, как-то по-детски улыбнулся. — Вчера с Алексеем Николаевичем Толстым ездил на авиационный. Всегда, когда дела позволяют, стараюсь с ним съездить, если он где-то выступает. Глубоко неравнодушен к нему со школьных лет. Я же еще молодой, первую часть «Хождения по мукам» в шестом классе школы прочел. Вот у кого действительно — русский язык! Заслушаешься, когда выступает! Вроде по должности уже и не к месту, а продолжаю робеть перед писателями, перед вашей недосягаемой для меня профессией.

Машина остановилась. Лопатин увидел через стекло длинную, припорошенную снегом саманную стену и примыкавший к ней саманный барак с надписью: «Проходная».

— Вот и приехали,— сказал Сергей Андреевич. — Год назад тут еще огороды были...

После митинга Сергей Андреевич дал Лопатину машину доехать до киностудии, а сам вместе с Турдыевым остался еще на заводе. И Лопатин был рад, что едет обратно один и дорога до киностудии длинная — через весь Ташкент.

Бывают люди, которым, чтобы выйти из состояния душевной потрясенности, нужно говорить самим и слушать других. Лопатин не принадлежал к их числу.

Когда с ним происходило что-то важное, ему надо было сначала перемолоть это в себе самом, не слыша ни собственного, ни чужого голоса. Так было и сейчас. После всего увиденного им там, на заводе, он чувствовал себя человеком, на плечи которого вдруг во второй раз свалилась война, еще одна, вторая война, на которой все другое, свое, но все равно война, со своим сорок первым, со своим сорок вторым...

Все, с чем он до сих пор сталкивался во время этой первой за войну тыловой поездки,— и беда Вячеслава, и расспросы актрисы, хотевшей сказать со сцены правду о войне, и готовность режиссера работать, не считаясь с болезнью,— все это, хотя и не теряло своего значения, было всего-навсего малой частью той, как он, может быть нелепо, мысленно называл ее, второй войны, происходившей здесь, на этом заводе, на этом вдруг увиденном им поле боя, которое как на фронте: пока не увидал его своими глазами, все равно не поймешь, какое оно, хотя и до этого и слыхал, и знал, и вроде бы удивляться нечему...

Он ехал с завода, сохраняя в себе самое главное — это чувство. А цепкая профессиональная память пока выхватывала только подробности, то одни, то другие. Усатое веселое лицо Турдыева, который рассказывал о войне с такой выпиравшей из него силой жизнерадостности, словно он все еще не мог привыкнуть к тому, что живой после того, как его, в сущности, уже убили. И это же усатое лицо, вдруг состарившееся, залитое слезами, когда он вспомнил, как два километра тащил на спине от немцев своего раненого напарника, какого-то Васю, и дотащил, и уже в окопе положил на снег, и перевернул глазами вверх — а он мертвый. И лицо женщины, слушавшей это стоя совсем близко, перед большим продольно-строгальным станком, со станины которого они говорили, лицо, искаженное ужасом, словно ей вдруг показали «похоронку» на мужа. И другие лица — русские и нерусские, худые, грязные, закопченные. И внезапно вспыхнувшее воспоминание о шеренге, построенной там, в Сталинграде, под волжским откосом, из остатков получавшего гвардейское знамя полка, где были тоже усталые, тоже и русские и нерусские лица. И хотя там, в Сталинграде, были одни мужские лица — а здесь и женские и детские,— все равно это вспомнилось. Не по сходству, а по какому-то более глубокому чувству общности между тем и другим. И в конце митинга директор завода — высокий молодой генерал, подхвативший под мышки и приподнявший так, чтобы их все увидели, двух совсем маленьких, тощеньких подростков, и его осекшийся хриплый голос: «Вот они, наши герои, сверх плана...» Голос человека, который хотел сказать что-то еще, но испугался себя, своего дрогнувшего голоса... И тапочки-самоделки из брезента и кусков автомобильного ската на ногах у женщин. И заледенелые горы стружки во дворе на выходе из цеха. И курганы шлака до крыши литейной. И перед митингом шепот на ухо хмурого пожилого человека, парторга: «Хотя и холодно, скиньте полушубок, пусть видят». И после первой секунды недоумения, почему скинуть,— собственное чувство, что ты вправе говорить здесь не потому, что ты корреспондент или писатель, а потому, что был в Сталинграде и у тебя Красное Знамя и нашивки за ранения, и для этих людей сейчас, здесь, это намного важней всего остального, бывшего до сих пор во всей твоей жизни...

— Ну, какое представление составили себе об Усмане? Мужик из ряда вон выходящий, верно? — спросил режиссер, когда Лопатин вошел в монтажную.

— Составлять представление за пятнадцать минут не берусь. А ощущение... — Лопатин хотел было сказать, что главное ощущение от встречи с Юсуповым то, что этот человек там, на своем

месте, показался ему необходимой частью войны. Но, подумав, не сказал. Не хотелось говорить лишних слов. Ответил коротко: — В общем, понравился. Давайте работать.

— Где же вы пропадали, если были у него всего пятнадцать минут? — недовольно спросил режиссер.

Лопатин объяснил, где он был.

— Мы один раз снимали на этом заводе,— сказал режиссер. — Массовку для киносборника. Пока снимали, в суете не поняли, а когда сами же посмотрели на экране, как все это выглядит — и обстановка на заводе, и люди,— даже не стал спорить, когда мне сказали, что эти кадры не для картины, пусть полежат. На экране все сразу наружу вылезает, вся тяжесть происходящего: смотреть — сил нет! Вот вы побывали на заводе, увидели своими глазами. — Режиссер подвинулся вместе со стулом, освобождая рядом с собой место Лопатину. — И теперь лучше поймете мое чувство. Вот здесь, за этим столом, при вас даю сегодня зарок: доделаю нашу с вами короткометражку, а потом — пусть гром и молнии! — пока сам хотя бы ненадолго не съезжу на фронт, не стану больше делать лент о войне! Не смогу!

— Давайте работать,— повторил Лопатин.

13

— Пожалуй, к вечеру-то потеплело,— сказал режиссер, когда они вместе вышли на улицу. — Или мы так в нашей мечети намерзлись?

— Нет, действительно теплее,— сказал Лопатин. — Даже люди по-другому идут, чем утром.

— Значит, передать моей беспризорнице, что честно, но зря употребил все усилия привести вас к нам на Новый год?

— Выходит, так. Спасибо.

— Из спасибо шубы не сошьешь. Пошли бы к нам, глядишь, я б из вас еще и на Новом году что-нибудь нужное вытянул. Завтра-то — последний день!

— Да, завтра — последний день...

— Закончим,— сказал режиссер. — У нас с вами другого выхода все равно нет. Встретимся завтра ровно в десять. За последние сорок дней на фронте так все вверх тормашками перевернулось, что с радости выпить, конечно, хочется! Но все же не перебирайте! Вы на трамвай?

— Да.

— А я потопал к себе. — Он протянул руку Лопатину. — С наступающим вас! — И уже хотел идти, но задержался. — По-

думайте сегодня, на Новом году, как бы наделить в нашем фильме людей теми чувствами, которые сами сейчас испытываем. Фильм-то выйдет самое раннее в марте; к этому времени, наверно, уже и Донбасс будет свободен, и Ростов! А у нас с вами только о том, чтоб ни шагу назад! Вас не беспокоит, как это будут смотреть?

— Не беспокоит. У нас в фильме — октябрь месяц. Еще и речи нет о наступлении. Как же людям дать чувство того, о чем они еще не знают?

— Ну не чувство — предчувствие,— сказал режиссер.

— И в предчувствиях надо знать меру. Наделить всех предчувствиями победы — самое простое. У кого-то они были, у кого-то их не было. Если всех наделить предчувствиями, будет неправда. Не было этого в октябре. Настроение стоять до конца было, а этого не было.

— И все же не упрямьтесь, подумайте.

— Ладно, подумаю,— сказал Лопатин. И пошел к трамваю.

Шел, думая о своих корреспонденциях. Кто их знает, как они будут выглядеть вместе, если когда-нибудь, после войны, доведется собрать их в книгу? В одной — одно настроение, в другой — другое. В одной отступаем, в другой стоим, в третьей наступаем... Какая же еще между ними связь, кроме самого хода войны?

— Василий Николаевич, да остановитесь же наконец! Никак вас не догоню,— услышал он за спиной женский голос. И обернулся.

Перед ним стояла Нина Николаевна, в ушанке, валенках и перепоясанной офицерским ремнем цигейковой шубе. Несмотря на шубу, она казалась тонкой — может быть, из-за этого туго перехватившего ее талию широкого ремня. В одной руке она держала кошелку, а другую, без варежки, протягивала Лопатину.

Лопатин пожал ей руку, отпустил и стоял перед нею, не зная, что делать, радостно глядя на нее. Что бы там ни сказал Вячеслав о человеке, который при ней состоит и который будет с нею на Новом году, а все равно и весь день вчера, и весь день сегодня ему хотелось ее увидеть. Даже когда не думал о ней — некогда было думать,— все равно хотел видеть. Так это было, и ничего с этим не сделаешь.

Она сунула руку в карман шубы. И вторая рука тоже была в кармане. Свою кошелку — Лопатин не успел заметить когда — она продела под локоть и теперь стояла, засунув обе руки в карманы, и с каким-то вызовом смотрела на Лопатина. Потом спросила:

— Вы рады видеть меня?

— Рад.

— И я очень рада. Это я руки в карманах так гордо держу — для независимости. Я вообще люблю ходить руки в карманы. А на самом деле очень рада вас видеть и уже давно вас жду. Сначала на студии, в коридоре, мерзла, ждала. Я тут свой человек: они нам в театр дают разную одежку, а я им — нашу театральную — для съемок. Ждала вас, пока не прошли мимо со своим режиссером. Не хотела при всех общаться. Выскочила вслед за вами, а вы вцепились друг в друга и говорите, и говорите, насилу дождалась. Совсем меня заморозили!

— Откуда вы и куда? — невпопад спросил Лопатин, продолжая стоять перед ней.

Она улыбнулась беспомощности, с которой он это спросил.

— Откуда? Я вам уже сказала: со студии с вашей; дожидалась вас тут. Сначала придумала себе на сегодня дело, которое могла сделать и в другой день, а потом, сделав его, дожидалась вас. И вчера и сегодня все время хотела вас видеть. А куда? Вы-то сами куда?

— Я хотел на трамвай, ехать к Вячеславу Викторовичу. Я все эти дни у него.

— Вот и хорошо,— сказала она. — И мне почти туда же. Только не на трамвае. Хватит у вас пороха пешком — тут часа полтора?

— Пороха хватит. Только б вы не замерзли!

— Ничего со мной не случится — не замерзну и не растаю. Пойдемте. Я больше люблю за руку, чем под руку.

Она надела варежку и протянула ему руку.

— Давайте вашу корзинку,— сказал Лопатин.

— Не надо, сама понесу. Она ничего не весит — в ней только два дамских счастья, которые надо еще до Нового года занести по назначению. Одно — укороченное, а другое — надставленное, потому что лежали у хозяек с разных времен. Одно с длинной моды, другое — с короткой. А в талии оба пришлось убирать. Худеют женщины.

Она на ходу повернула лицо к Лопатину.

— Кого-нибудь за эти дни спрашивали обо мне, да?

— Спрашивал.

— Сразу поняла, когда вы не удивились моей болтовне про платья. И что костюмерной заведую и что дамочкам шью — все вам доложили, да? У кого спрашивали?

— У Вячеслава Викторовича.

— Это мне повезло. Он добрый человек. Ну и что он вам еще сказал обо мне, кроме того, что я портниха с высшим образованием?

— Сказал, что с вами живут мать и сын, что вы их сами содержите и что он не знает, кто был вашим мужем.

— В общем, верно. И это все, что он вам сказал про меня?

— Нет, не все.

Она несколько шагов прошла молча.

— Так вот, Василий Николаевич, на Новом году у вашего друга я не буду. И пришла для того, чтобы вам это сказать. Потому что много думала о вас эти два дня и почему-то верила, что и вы тоже хотите меня видеть, и надо вас предупредить, что я не буду. А всех других предупреждать необязательно, обойдутся. И выходит, что я вас сейчас провожу до вашего друга и пойду там по соседству по своим портняжным делам и больше мы с вами в этом году уже не увидимся. Только в будущем, если вы этого захотите.

— Захочу,— сказал Лопатин,— но я послезавтра утром уезжаю.

— Неужели послезавтра? А я почему-то считала, что позже. Спрашивала Соню, монтажницу, и она сказала, что вы будете работать до второго.

— До второго — в том смысле, что второго уже уеду. Дальше. — Лопатин запнулся. Что-то помешало ему сказать «на фронт», и он сказал вместо этого «дальше».

— А я подумала, что вы будете до третьего, раз работа до второго. Вот как все глупо,— сказала она печально. — Мне легче было решиться не видеться с вами на Новом году, пока я думала, что еще два дня впереди. Ну да все равно, я уже решила.

Сказала эти последние слова уже не ему, а себе. И кивнула сама себе — подтвердила. Потом остановилась и спросила:

— Я-то в валенках, а вы в сапогах. Вам-то не холодно?

— Ничего, я на два шерстяных носка. Да и не так уж тут холодно.

— А портянок не носите?

— Не ношу. Так и не научился подвертывать.

— Мой муж тоже носки носил, хотя им портянки выдавали, но они бабушке на тряпки вручались. А ремень остался с довоенного времени и, как видите, пошел в дело.

Может быть, она ждала, что он спросит ее о муже, но Лопатин не спросил, шел молча, продолжая держать ее за руку.

— Владелец ремня жив и здоров, служит в армии, но пока не воюет, пока на Дальнем Востоке,— сказала она, пройдя несколько шагов. — Уехал в начале сорокового года отсюда, из Среднеазиатского округа, туда строить, как я понимаю, укрепления — он военный инженер. Предполагалось, что обживется там, на месте, и вызовет семью. А потом не вызвал, дал мне вольную.

А я в свою очередь ему. С тех пор мы здесь сами по себе, а он там сам по себе.

— Женился?

— В конечном итоге женился. После того как я вместо заявления в партбюро написала ему, что может на все четыре стороны... Война как-то сгладила, а тогда была ужасно зла. Не люблю, когда водят за нос. Разные бывают «жди меня!», бывают и такие. Вы, по-моему, правдивый человек?

— По-моему, да,—сказал Лопатин. — В принципе, да.

— Так вот, объясните мне, как это там у вас на фронте происходит; одной рукой письма домой, а другой... Только не думайте, я очень хорошо понимаю и даже знаю, что здесь у нас истосковавшиеся, исстрадавшиеся да просто иногда готовые с ума спятить от одиночества женщины часто возводят напраслину на тех, кто там, па фронте... И все-таки там очень много всего этого, разве не так?

— Не так,— сказал Лопатин.

— А как?

— А так, что я, например, почти не сталкивался с этим. Оговариваюсь, не знаю, во время затишья и в тылах, может быть, всего этого больше, и даже гораздо больше. А когда бои — кто может этим заниматься? Кому до этого? Бывает, конечно, но я очень редко видел, чтоб людям на передовой и поблизости выпадало на долю такое счастье, очень редко.

— А вы все-таки считаете это счастьем?

— Все-таки считаю счастьем. В исполнении желаний, если они обоюдные, все-таки всегда есть доля счастья.

— А как у вас у самого за полтора года войны бывало с этой долей счастья?

— На фронте — никак. Никогда и никак. Не так все это на фронте, понимаете вы, не так, как думают здесь ваши исстрадавшиеся женщины, о которых вы говорите.

— Не мои они, а ваши! И не нам отсюда, а вам оттуда надо думать, как сделать, чтобы они с ума не сходили. Отпуска бы, что ли, хоть какие-нибудь придумали, чтоб знали твердо, что раз в год, на неделю, приедут к ним! Господи ты боже мой, иной раз душа болит, когда говоришь с такой несчастной женщиной, которая наслушалась всего про всех и ругает своего мужа чуть ли не последними словами, что он и такой и сякой, а душа у нее трепещет от сладкой надежды, что у нее-то, у нее-то все будет не так, как говорят про других! И утешаешь ее и успокаиваешь. А сама думаешь про свое собственное: и никакой войны еще не было, и всего полгода-то и пробыл там, на Дальнем Востоке, один, без меня... Так, может, я лгу, когда других успокаиваю? Вот почему

и вас спросила — не из-за себя, а из-за других. Для меня-то, к счастью, вся эта история еще до войны прокрутилась, быстро, как в кино. И кончилась. И я иногда думаю: слава богу, что до войны, а не во время, обиднее было бы! Я рада тому, что вы мне сказали. Рада, что не так уж лгу, когда кого-то утешаю. И поймите, когда про фронт сплетничают, говорят пакости — если люди мало-мальски хорошие,— это все у них только сверху! А поскрести — под этим такая вера, надежда и любовь...

— Не с того конца начали, поэтому и разговор получился нелепый,— сказал Лопатин.

— Конечно, нелепый. Думала, что спросите меня про мужа, а вы не спросили, пришлось самой рассказывать. А когда рассказала, стало неловко, не по себе. Вот так неуклюже и перешла на общие темы. Слава богу, что как-то выбрались из этого! Я позавчера сидела около вас, и слушала все, что вы говорили, и, конечно, наблюдала за вами. Мне сначала казалось, что вы должны были злиться, сидя там, у Ксении. Согласитесь, в общем-то, положение ваше было глупое.

— В общем, соглашаюсь.

— И вам надо было злиться на себя, что вы пришли. А вы не злились. Вы ее что, совершенно разлюбили?

— Видимо, так.

— А когда поняли это?

— Вот позавчера и понял. И что не злился, вы правы. А не злился еще и потому, что было интересно говорить с Зинаидой Антоновной. Для меня это был неожиданный подарок. А тут еще вы сидели рядом и меня слушали.

— Да уж чуть в ухо не дышала,— рассмеялась она. — Старалась обратить на себя ваше внимание, но ничего не получалось. Все внимание только нашей Зинаиде Антоновне, больше никому. А я, если хотите знать, сама туда хожу только из-за нее. Она всегда умная, и с ней всегда интересно. И как-то легко, хотя и непросто, потому что ей палец в рот не клади! Люблю умных женщин.

— Я тоже.

— Я еще и сегодня должна зайти к ней на четверть часа и думаю об этом с удовольствием. Изобрела ей новый накладной, очень красивый воротник на ее старое платье, надо только подшить — он у меня тоже тут, в кошелке,— но я уже заранее знаю, что, пока буду подшивать ей воротник, она за пятнадцать минут наговорит мне кучу умных вещей. Иногда даже хочется записывать — такие интересные вещи она говорит! Грех, что их никто не записывает!

— А новый воротничок, который вы ей изобрели, при всем том имеет, однако, существенное значение? — улыбнулся Лопатин.

— Конечно! Она там сидит, ждет меня, а как же? Разве вы позавчера не заметили, как она хорошо была одета? У нее всего две-три вещи, но все хорошие, со вкусом.

— Как-то не заметил,— сказал Лопатин. — Даже не подумал об этом.

— Вот так и всегда,— рассмеялась она. — Как умная женщина, так сразу перестают замечать, что на ней надето. А на мне что было надето, заметили?

— Заметил позавчера. А что в поезде — не помню.

— В поезде было холодно,— сказала она. — И я совсем о другом думала. Иногда думаешь о том, что на тебе надето, а иногда не думаешь. И наверное, когда думаешь об этом, то и другие больше замечают. А когда сама не думаешь, то меньше... Очень устала за эти дни. И в театре было много работы, и дома. Уезжала к отцу, все бросила, а наобещала к Новому году много. Пришлось все эти почи строчить и перекраивать... Война войной, но — как принято у портных говорить про всех других женщин — дамы, не только перешивающие, но и шьющие к Новому году, все-таки есть. Больше, правда, перешивающих. Устала, а тут еще вы со своим проклятым режиссером никак не появляетесь. Даже задремала, чуть со стула не свалилась там, в коридоре, пока вас ждала.

Она тихонько пожала ему руку и мимолетно улыбнулась.

— Может быть, сядем на трамвай? — спросил Лопатин.

— Из-за того, что я устала, да?

— Да.

— Пойдем. Идти я никогда не устаю. Если бы мы раньше вышли, я бы три часа с вами проходила, а не полтора. Скажите, вот вас занесло на этот Новый год в Ташкент, а в прошлый Новый год где вы были?

— На фронте.

— Расскажите, как это было?

— Никак не было,— сказал Лопатин. — Прошлый Новый год я проспал.

— Как так проспали?

— Очень просто. Полетел тридцать первого из Москвы на юг, чтобы поспеть написать о нашем десанте в Керчи, но до места не долетели, сели по дороге на вынужденную, на полевой аэродром. Немного подломались при этом. В самолете намерзся, пока садились — натерпелся страху. Там, где приземлились, нашлись, как водится, добрые люди, накормили, отогрели и приткнули спать, обещали поднять перед Новым годом. Не знаю, уж

как там было: не растолкали — я накануне ночь не спал — или забыли, но проснулся на рассвете уже в сорок втором году. Рассказ неинтересный, но выспался здорово.

— А я не люблю интересных рассказов,— сказала она. — Когда особенно интересно рассказывают, мне всегда кажется, что при этом придумывают. А вы рассказали, и я чувствую, что все так и было. Кто же станет придумывать, что он Новый год проспал?

— А, чего только люди не придумывают! — сказал Лопатин. — Иногда такое сами на себя наклепают — неизвестно, что потом делать. Один фотокорреспондент в пьяном виде, хвастаясь, какой он находчивый, рассказал о себе, что въехал зимой в освобожденную деревню, когда трех казненных немцами партизан только что сняли, веревки обрезали. И как он заставил, чтобы эти мертвые тела опять на несколько минут подвесили, чтобы он мог сделать снимок. Чуть под горячую руку не попал за этот поклеп на себя под трибунал за кощунство. Хорошо, что я был с ним и знал, что не делал он этого, не было ничего подобного!

— Все равно свинья,— сказала она, вдруг остановившись.

— Конечно, свинья,— сказал Лопатин. — Наврал на себя в пьяном виде, но, значит, где-то в башке у него все же гнездилось. Если бы не гнездилось, так и на язык бы не попало. Дал ему по роже за это вранье и никогда больше с ним не ездил.

Она как-то неуверенно посмотрела ему в лицо. Наверное, до этого считала, что он не способен дать по роже. Он уже не впервые в жизни сталкивался с этим заблуждением.

— А что на самом деле сделали с этими людьми, снятыми с виселицы?

— На самом деле сфотографировали их там, как они лежали, на снегу, а потом зарыли в братской могиле. Этого уж мы не видели, дальше поехали.

— А эти трое, они были мужчины? — Она задала вопрос осторожно, словно боясь прикоснуться к этому.

И он понял, что ей стало страшно от мысли, что это могли быть женщины.

— Эти трое были мужчины. Снятую с виселицы женщину я тоже видел, но в другом месте. Вот это уж совсем невозможно простить, никак! Это так навсегда и останется неотомщенным.

— Почему останется неотомщенным? — не поняв, спросила она.

— А как это может быть отомщено? Что ж, мы придем в Германию и будем там женщин вешать?

— Я понимаю,— сказала она после молчания. — А все-таки после всего, что даже здесь знаешь о войне, после всего, что они

сделали, как-то странно подумать, что не все может быть отомщено. Мне никогда до сих пор не приходило это в голову.

— А я, наоборот, много думал об этом,— сказал Лопатин. — Особенно после поездки, про которую вам рассказывал,— что проспал по дороге Новый год,— когда был потом в Керчи и видел там за окраиной города керченский ров. Это не ров, собственно говоря. То есть ров, но противотанковый. А немцы в нем расстреляли несколько тысяч человек и еле-еле присыпали землей, а где и не присыпали. И вот я стоял там и думал, что как это ни страшно и как ни требует отмщения, но в нашем сознании, что за такое ты никогда не сможешь и не будешь мстить полною мерою, есть чувство собственного превосходства. И собственной силы, которой ты никогда не воспользуешься так, как они воспользовались. Я говорю не о победе, а о мести: око за око, зуб за зуб — об этом!

— Мой отец ничего не говорил мне о фронте, когда я была там, сидела возле него. Когда ходила там через палаты, слышала, как другие — тоже лежачие, такие же тяжелые, как он,— говорили друг с другом о войне, а он ни слова! Спросила его теперешнюю жену, Зою,— я стала ее там звать Зоей, а она меня Ниной, как-то сразу, обоюдно так вышло,— почему отец ничего не рассказывает о войне, наверное, ему тяжело вспоминать, а она говорит: «Он же ничего не знает! Он же на ней всего полдня был! Они утром заняли окопы, а через несколько часов немцы стали обстреливать, и его ранило. Он же ничего не знает, ничего не может сказать...» И в этом было что-то такое ужасное для меня — что он, на всю остальную жизнь безнадежно искалеченный человек, даже войны-то не видел,— что я заплакала, когда это услышала. Хотя, в общем-то, какая разница, все равно... И наверное, так со многими,— помолчав, сказала она.

— Конечно, со многими. Если в оборону попадают и сидят на одном месте, даже на переднем крае, все это не так быстро происходит. Сегодня одного ранят, завтра — другого, послезавтра — третьего... А если свежую, еще не бывшую на фронте часть сразу бросают в наступление, то, конечно, после нескольких часов войны и даже после первого ее часа многие обречены на госпиталя; уже везут их в обратном направлении... Может быть, вам позавчера показалось, что я слишком ядовито отозвался об этой актрисе с ее восторгами,— как она пушку за шнур дергала...

— Нет, мне не показалось. Я молчала, но я была с вами согласна.

— Упоение, наслаждение, восхищение — все это не те слова, не люблю словоблудия вокруг войны,— сказал Лопатин. — «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага» — вот это дей-

ствительно слова о войне, которые из войны вышли и на войну вернулись песней. И притом самоходом, без помощи радио. По радио какой-то мудрец убоялся их передавать: как бы солдат там, на фронте, не испугался, услышав, что ему до смерти четыре шага!..

— Василий Николаевич. — Она снова остановилась, и он понял, что она снова спросит что-то важное, она уже два раза так останавливалась, когда хотела спросить что-нибудь важное.

— Что?

— Я получила сегодня телеграмму от этой Зои. Пишет, что забрала отца к себе: «Новый год встретим вместе, дома».

— Значит, все-таки уговорила она,— сказал Лопатин.

— Значит, уговорила. Я с утра все думаю над этой телеграммой. Она пишет «вместе», а я знаю от него самого, что он не хочет жить вот так — без рук, без ног, без движения — всю остальную жизнь. Когда я была у него одна, без нее, он мне сказал: «Если б ты знала, как я хочу освободить ее от себя». Это он говорил не о том, чтобы остаться в госпитале, наверное, он и сам понимал, что она в конце концов возьмет его. Это он говорил о смерти, что хочет освободить ее от себя, то есть умереть. Как по-вашему — можно желать смерти близкому человеку?

— Если спрашиваете меня о себе, не знаю,— сказал Лопатин. — Если спрашиваете меня обо мне, я бы мог желать, если бы был убежден, что этот человек сам хочет смерти и не видит другого выхода. Но это ведь очень трудно до конца понять, хочет жить человек или не хочет; или ему это только кажется, и он сегодня говорит то, чего не скажет завтра. Мы привычно отказываем людям в праве умереть, когда им не хочется жить. Хочет человек жить или не хочет, мы все равно будем делать все, чтобы он жил. Привыкли думать, что так это и должно быть, хотя иногда приходит в голову: на все ли случаи жизни это правило? На фронте я слышал много рассказов, в большинстве правдивых, о том, как люди, истерзанные тяжелыми ранами, обреченные, которые считают, что им все равно уже не жить, и не хотят мучиться, как они просят своих товарищей, грубо говоря, прикончить их, а если красивее — помочь расстаться с жизнью. Убить, прервать мучения. И сам один раз своими ушами слышал такую просьбу. Так вот, делают это или не делают, но они никого не удивляют там, на войне, такие просьбы — избавить человека от лишних часов или дней мучения. Ну, а если человек мучится не полсуток, а полгода или несколько лет? Не вижу ничего жестокого или неправедного в том, чтобы желать человеку исполнения его желаний. Желать, чтоб умер, если он хочет умереть. А кроме того,— вы простите меня, речь идет о вашем отце,— но если задуматься над его словами, что он хочет освободить от

себя эту женщину, за такими словами стоит многое: не только любовь к ней, но где-то еще и мысль о ней самой, которая при всей ее решимости жертвовать собой одновременно может и хотеть, чтобы он жил как можно дольше, и не хотеть этого. И он в своем положении не может не думать об этом.

— Я, когда уезжала оттуда, сказала ей, что у нас под Ташкентом тоже есть один такой госпиталь. Что, если перевезти отца сюда? Может быть, ей будет легче, если, кроме нее, не мама, а хотя бы я буду ходить к нему дежурить. Она грубо мне на это ответила. И я не осуждаю, она права. «Был здоровый и целый — не делилась им с вами. А теперь, когда остался без рук, без ног,— начну делиться? Что я, б...., что ли,— так и сказала про себя. — Я отняла его у вас, я и буду с ним горе мыкать». И все-таки взяла его к себе. А я вспоминаю, как он говорил мне, что не хочет жить, и хочу, чтобы было так, как он хочет.

Все это время она как остановилась, так и стояла, не двигаясь. А теперь, спохватившись, потянула Лопатина за руку:

— Идемте. Когда у вас послезавтра уходит поезд?

— В одиннадцать пять.

— А какой вагон?

— Сейчас посмотрю.

Он расстегнул полушубок, достал из гимнастерки билет и чиркнул спичкой, прикрыв ее ладонью от ветра.

— Седьмой.

— Если мы до этого не увидимся, я приду вас проводить.

— Спасибо,— сказал Лопатин, подумав про себя, что его еще никогда не провожала на фронт женщина.

В начале войны он дважды уезжал на фронт, когда Ксения еще не была в эвакуации, но оба раза без проводов. В первый раз она была в таких растерзанных чувствах, что он не взял ее на вокзал, а велел дочери успокоить ее, хотя она потом говорила, наоборот, что осталась из-за дочери. А во второй раз она не провожала его, потому что они поссорились,— кто-то сказал ей, что он мог бы еще на день задержаться в Москве, но не задержался! И никакие другие женщины тоже никогда его не провожали. Эта будет первая за войну, если придет на вокзал.

Она вдруг остановилась возле какого-то дома.

— Василий Николаевич, я совсем обнаглела: хочу оставить вас ровно на пять минут... Надо занести в этот дом платье. Ничего не мерить — только отдать! Подождете меня, потопчетесь немножко?

— Конечно, потопчусь,— сказал он.

Она постучала в выходившее на улицу парадное, ей открыли, и она исчезла за дверью.

Засунув руки в карманы полушубка, Лопатин ходил взад и вперед перед парадным, в котором она скрылась, и думал о том, что же это? Все это? И ее приход туда, на студию, и эта прогулка по городу не под руку, а за руку? И то, как она сразу сказала, что не будет сегодня на Новом году, и то, как напросилась провожать к поезду? И самое главное, ее слова о том, как она хотела его видеть и вчера и сегодня? Слова, сказанные так, могли быть одним из двух: или чистой правдой, или самообманом, выдумкой — женщины умеют себе выдумывать несуществующее. Но она не казалась ему человеком, способным на самообман. А обманывать не себя, а его — зачем ей это? Чего ради? Оставалось поверить, что все это правда, что она хотела видеть его и вчера и сегодня, хотя поверить в это было почему-то трудно.

Он-то не обманывал себя! Он, топающий сейчас мимо подъезда, в котором она скрылась, он, в своем полушубке, ушанке, в очках, в сапогах, надетых на два шерстяных носка, он — такой, какой он есть, ходивший здесь взад и вперед,— был влюблен в эту женщину. Так это было или так это стало за тот час, что они шли сюда по улицам Ташкента. Но как раз поэтому и трудно было поверить, что она тоже и вчера и сегодня хотела его видеть! Слишком уж неожиданно и слишком хорошо! Просто захотела его видеть, потому что ей было интересно с ним. Это он еще позавчера понял, что у нее есть любопытство к нему, а любопытство тоже чувство, способное толкнуть одного человека к другому!

Он ходил руки в карманы и, как мог, защищался от самого себя, от своего желания поверить, что нет, это не просто любопытство, не просто интерес к приехавшему с фронта человеку.

«Почему она не хочет быть сегодня на Новом году у Вячеслава? Потому что она должна быть там не одна и она знает, что я это знаю, и не хочет быть с ним при мне? И не может быть одна, без него?»

Ну, это все твои собственные объяснения. Она-то не стала ничего объяснять. Сказала «не приду», и все.

Он подумал, что в ее характере есть что-то вынужденно мужское, приобретенная где-то на жизненной дороге решимость вести себя по-мужски. Такую решимость чаще всего воспитывают в себе не очень счастливые женщины по необходимости, из чувства самозащиты.

Он вспомнил, как она говорила, что ее отец бросил мать, когда ей было четырнадцать лет. Четырнадцать! Время, когда

дети отказываются понимать, что все по-своему правы, и остаются с кем-то против кого-то. Так это было с ней тогда. Так это и сейчас с твоей собственной дочерью. Так или почти так.

Он подумал о ее отце, которому, наверное, сейчас лет пятьдесят пять или около этого, раз ей двадцать девять, и о себе самом, который всего на десять лет моложе ее отца.

Да, над этим стоило подумать, очень стоило! И он бы, наверное, подумал, но она выскочила из парадного, громко захлопнув за собой дверь, и сразу схватила его за руку.

— Пошли! Я все-таки на две минуты задержалась, вы это заметили?

— Не заметил,— сказал он. — Ходил тут взад-вперед и думал.

— О ком думали, обо мне?

— О вас! Что вы моложе меня на семнадцать лет.

— Посчитали правильно! Я тоже вчера вспоминала вас и сосчитала, что вы старше меня на семнадцать лет. Что дальше?

— А дальше — вы выскочили, хлопнули дверью, и мы опять идем по вашему Ташкенту. Хотя, впрочем, он, наверное, не ваш?

— Нет, как раз мой. Отец с матерью переехали сюда, когда мне было всего два года. С тех пор так и живу здесь — так что мой! И поэтому живем тут намного легче тех, кто приехал. В своей квартире, даже, можно сказать, в собственном домике. Точней, в полудомике. Полдомика, построенного отцом, мама продала, когда я училась в институте. А знаете, что я вчера сделала? — Она снова остановилась, как уже несколько раз до этого. — Я вчера вечером у нас в театре, в красном уголке, взяла подшивку и перечла все, что вы написали из Сталинграда. И еще один очерк, самый последний, под ним стоит: «Западный фронт». Но он не такой хороший, мне он меньше понравился...

— Мне тоже.

— Я прочла подряд все эти ваши сталинградские очерки, и мне даже захотелось пойти к вам и сразу спросить о некоторых вещах.

— За чем же дело стало? — сказал Лопатин. — Вернулся вчера в половине десятого со студии, Вячеслава Викторовича не было, и сидел играл сам с собой в шахматы. Вот и зашли бы!

— А вы что думаете, это было бы так просто — зайти к вам? Совсем не так просто для меня.

— Я пошутил,— сказал Лопатин.

— А я серьезно. Очень много было вчера вопросов к вам, а потом как-то повылетело из головы. Скажите, а когда вам самому там, в Сталинграде, было страшнее всего?

— Когда в первый раз переправлялся.

— Почему? Потому что еще не знали, как все там будет?

— Да, отчасти поэтому. И вообще не люблю воды. Она не земля, на нее не ляжешь. В конце октября, когда пришлось еще два раза переправляться, тоже оба раза боялся. Оказался в дивизии, которую немцы как раз в те дни отрезали от всех других; сидеть в ней было можно, а передавать в Москву ничего нельзя — связь осталась только по радио. Пришлось переправиться с правого на левый берег — в штаб фронта, передать материал с узла связи и снова ехать в Сталинград, уже не в эту дивизию, а на другой участок, где был командный пункт армии и при нем — связь. Два дня, пока писал и передавал свой очерк, провел в штабе фронта, и уже не тянуло обратно через Волгу. Пришлось заставить себя...

— А почему вы обо всем этом ни в одном из очерков не написали?

— Почему не написал? Написал, не удержался! — усмехнулся Лопатин. — Но редактор вырезал это место. Момент был как раз тяжелый, по Волге вот-вот должно было пойти «сало». И он не захотел давать подробностей про наши трудности с переправами. Потом, в Москве, отдал мне уже набранную и перекрещенную красным карандашом колонку: «На, оставил тебе твои личные переживания для будущих сочинений».

— А я бы, наверно, не только на переправе — я как раз воды не боюсь,— а вообще всегда помнила бы об опасности.

— Ну что ж, это нормально. Я тоже, где бы ни был: и в Сталинграде и не в Сталинграде, всегда каким-то кусочком затылка помню об опасности и боюсь ее.

— Почему затылком?

— Не знаю почему. Может, у других по-другому, а у меня так! Какое-то чувство, что этот страх у меня не во лбу, а где-то в затылке. Если бы во лбу, он бы больше мешал.

— Вы совсем серьезно говорите со мной или при этом еще немножко и шутите? — спросила она. — Со мной это опасно. Я в таких вещах доверчива до глупости.

— Нисколько не шучу,— сказал Лопатин. — Постоянный страх, верней, память об опасности, сидит у меня в затылке. А внезапный страх — тут уж именно страх, а не память — в минуту действительной опасности вдруг возникает под ложечкой. Такая вдруг пустота, словно трое суток голодал. И всегда так было, не только на войне.

— А как же вы писали про женщину, которая погибла там, в Сталинграде, про связистку,— я прочла весь очерк, и у вас там ни в одном месте нет, что ей было страшно, что она чего-нибудь боялась. Почему?

— Очень просто почему. Потому что нельзя швыряться словом «страх», когда пишешь о войне. Поставь его немножко не там и не так — и оно уже обидное и даже позорное. У меня есть принцип, и я его соблюдаю: если человек, совершивший что-то, о чем я пишу, сам говорит мне о страхе, который он испытывал при этом, я вправе написать с его слов, что он чувствовал. Но если он сам ни слова не говорит о том, как ему было страшно, я никогда не допытываюсь и не додумываю за него, боялся он или не боялся. Сам человек может сказать о том страхе, который он испытал, а другой за него не имеет права. Это слишком деликатная материя. И я вот говорю вам сейчас о чувстве страха в затылке или под ложечкой, но это я сам говорю о себе, и за мной остается право сказать это или не сказать — уж как я захочу! Но я бы, например, не хотел, чтобы кто-нибудь написал про меня, что я там, в Сталинграде, писал свои очерки, трясясь от страха. Вы понимаете разницу между словами «мне было боязно» и словами «он испугался»? Между самооценкой и осуждением со стороны.

— Это я понимаю,— сказала она. — Я не понимаю другого. Как бы я смогла, оказавшись там, на фронте, делать все, что делала женщина, о которой вы писали? У меня такое чувство, что я бы этого не смогла. Не набралась бы мужества делать все то, что делают женщины на фронте. Не только эта женщина, а вообще.

— Когда думаете о фронте и о том, что вы смогли бы там и чего не смогли, никогда не думайте вообще. Ни о фронте, ни о женщинах на фронте. Пребывание на фронте — понятие настолько растяжимое, что иногда об этом забывают, а иногда, наоборот, этим пользуются. Вот вы говорите «женщины на фронте»... Ну что общего между той женщиной на фронте, про которую вы у меня прочли, и другими в ее положении — связистками, санитарками, сестрами, в самом пекле войны: в батальонах, на передовых медицинских пунктах — и тоже женщиной на фронте, ну, скажем, машинисткой в продовольственном отделе во втором эшелоне тыла фронта? И то и другое называется «действующая армия». И то и другое — фронт. И та и другая женщины. Но разве можно говорить и думать о них вообще! А у вас здесь, в тылу? Как можно одинаково, вообще, думать о женщинах, из которых одна уже вдова и мать нескольких сирот, и живет, и работает впроголодь, да еще и кровь отдает, чтобы получать донорскую карточку и подкармливать детей! А другая живет за спиной у прочно забронированного мужа. Разве это одно и то же? Разве можно одинаково говорить про них про обеих, что они там, в тылу? Мы тут, на фронте, а они там, в тылу! Хотя

война все время то ломает, то перевертывает что-нибудь и на фронте и в тылу. Муж той машинистки в продовольственном отделе тыла фронта, о которой я сказал, потому что вспомнил реальных людей,— муж ее командовал батальоном, выходил из двух окружений и сейчас жив и здоров и командует полком. А его жена, которую он еще в начале войны в Киеве пристроил машинисткой в этот продовольственный отдел, была вместе с другими раздавлена танками под Богодуховом. И она, и все, с кем она вместе служила, и их грузовики, и автобусы, и их ведомости, и их пишущие машинки — все было там под Богодуховом расстреляно, сожжено, стерто в порошок. Война с людьми шутит такие шутки, что и в сыпнотифозном бреду не приснятся!

— А вы болели сыпняком? — спросила она.

— Болел, когда все болели, в двадцать первом году.

— А я брюшным тифом болела в тридцать третьем, чуть не умерла... Помните, когда в тридцать третьем голод был на Украине? Оттуда и началась эпидемия и сюда к нам докатилась...

— Еще бы не помнить,— сказал Лопатин. И, вздохнув, подумал о том, каких только бед не валилось нам на головы за эту четверть века. И последняя из них — война, от которой он никак не может сегодня отцепиться. Все возвращается и возвращается к ней, хотя, казалось бы, сегодня, в этот новогодний вечер, с этой женщиной, на улицах этого далекого от всех фронтов города естественней было бы говорить о чем-то другом.

Они были уже недалеко от дома, где жил Вячеслав Викторович, и Лопатин, занятый своими мыслями, только мельком, как на вдруг возникшее механическое препятствие, взглянул на шедшего им навстречу и остановившегося прямо перед ними высокого человека. Человек резко остановился и так же резко, метнувшись дальше, остался у них за спиной.

Что-то произошло, но Лопатин так и не понял, что, и вопросительно посмотрел на женщину, продолжавшую идти рядом с ним, держа его за руку.

— Что? — непроизвольно спросил он.

— Ничего. — Она повернула к нему свое спокойное лицо. — Думаю над тем, что вы мне говорили. А что? — в свою очередь спросила она.

— Нет, ничего.

Он посторонился, чтобы пропустить двух женщин, несших вдвоем тяжелую кошелку и занимавших весь тротуар, и, посторонившись и взглянув на дом, мимо которого они шли, сообразил, что еще тридцать шагов — и будут ворота, ведущие во двор к Вячеславу.

— Вот мы и пришли,— сказал он так растерянно, что она улыбнулась.

— Если вам нравится со мной ходить, можем в будущем году, завтра, повторить. Я зайду за вами на студию, и мы пойдем пешком до моего дома. Это от студии в ту сторону столько же, сколько мы сегодня шли в эту. Я зайду за вами в семь часов — раньше не смогу из-за работы,— а если вы еще не закончите, подожду вас, как сегодня. А вы отпроситесь у своего Вячеслава на весь последний вечер. Он отпустит, он добрый! Можете сказать, что идете ко мне, а можете не говорить — как хотите! Могу и сама зайти к нему, отпросить вас. — Она улыбнулась.

— Ничего, сам управлюсь,— сказал Лопатин.

Она говорила о завтрашнем вечере, а он думал о том, куда и с кем она пойдет сегодня на Новый год.

Они остановились и стояли у арки ворот. Она отпустила его руку и, посмотрев на него, сказала:

— Я длинная, но вы все-таки выше меня.

— Вы теперь к Зинаиде Антоновне? — спросил Лопатин.

— Да.

— Можно, я провожу вас до нее?

— Нет,— сказала она. — Теперь я уже не пойду, а побегу, все мое время вышло. А бегать я люблю одна! Я провожу вас сама до вашей двери, а потом побегу проходными дворами. Пошли, а то некогда.

Она крепко взяла Лопатина под локоть.

Они остановились у двери Вячеслава. Две выщербленные каменные ступеньки и дверь, когда-то обитая клеенкой, от которой остались только застрявшие на гвоздях лохмотья пакли.

«Да, неподходящее место для объяснений»,— подумал он и, зная, что уже не спросит этого вслух, все-таки мысленно, впервые не на «вы», а на «ты», спросил:

«А все-таки куда же ты сегодня уходишь от меня? Где будешь ты, пока я буду здесь, за этой дверью?»

Хотя она сказала ему, что ей пора бежать, сейчас она молча стояла перед ним с кошелкой в руках и глядела на него, никуда не торопясь.

— Я рада, что вы меня ни о чем не спросили,— сказала она. — Мне не хотелось сегодня отвечать ни на какие вопросы. Шла с вами и думала: «Неужели что-нибудь спросит?» До завтра. С Новым годом вас!

Она поставила на снег кошелку и вдруг — Лопатин даже не заметил, когда она успела снять их,— оказавшись без варежек, голыми теплыми руками обняла его за шею и быстро и нежно поцеловала в губы. Еще раз, уже отдаляя свое лицо от его лица,

прошептала: «С Новым годом!» — схватила кошелку, повернулась и не пошла, а побежала через двор.

Лопатин несколько раз безответно постучал в дверь и, толкнув ее, вошел в переднюю.

— Это ты, да? — крикнул ему из комнаты Вячеслав. — Заходи, я нарочно не запер, чтобы не отрываться, руки в муке.

Он стоял у стола и раскатывал бутылкой тесто для пельменей. Сколько его знал Лопатин, это всегда было одно из его любимых занятий.

— Наслаждаюсь,— сказал он. — Давно не лепил! Имею для тебя новости.

— Какие? — подумав о редакции, спросил Лопатин.

— Твоя прекрасная незнакомка Нина Николаевна будет, а ее верный оруженосец только что приходил и забрал свой пай без объяснения причин. Спросил его про нее, будет ли она, и услышал в ответ, что это его не касается! Будет или не будет — ее личное дело! Из чего заключил, что она-то, к его неудовольствию и к твоему удовольствию, будет. Ну что за мужчины пошли, диву даюсь! — рассмеялся Вячеслав Викторович, продолжая раскатывать тесто. — На морде трагедия написана — впору топиться! А за паем все же не забыл, явился. И мало того, что явился! Когда ему впопыхах не тот коньяк дал, не его, а твой, не проморгал, заметил, что на звездочку меньше! Уже с порога вернулся, чтоб заменил ему. Кое-кто, конечно, будет расстроен сегодня, что он не споет нам романсов по просьбе публики, придется, на худой конец, мне самому вместо него петь! А в общем, бог с ним, с крохобором! И чего она в нем нашла, кроме голоса?

— Она тоже не будет,— сказал Лопатин.

— Откуда ты знаешь?

Лопатин объяснил, откуда он это знает. И, помолчав, спросил:

— Он что, высокого роста?

— Высокого. А что? Видел его?

— Думаю, что видел,— сказал Лопатин.

Да, конечно, это и был тот высокий человек, который вдруг остановился перед ними и понесся дальше. И кажется, он даже держал что-то в руках. А ничего не пришло в голову про него, наверное, потому, что когда он остолбенело остановился, то рука женщины, которой она держала тебя за руку, даже не дрогнула. Если бы дрогнула, ты бы заметил! Нет, не дрогнула. И лицо не переменилось — какое было, такое и осталось. Поэтому тебе и показалось, что ничего не произошло, хотя на самом деле произошло!

— Ну, она-то за своим паем не придет,— продолжая катать тесто, сказал Вячеслав Викторович. — Эта не такая... Да у нее и пай уже необратимый. — Вячеслав Викторович кивнул на стол. — Ее мука, а мои — рабочие руки! Придется ради справедливости десятка два заморозить между окнами и завтра ей доставить.

Он вытер руки о белую рубашку, обвязанную вокруг пояса вместо фартука.

— Дай затянуться.

Взял у Лопатина недокуренную папироску, затянулся и отдал обратно.

— Не представляешь себе, как я рад, что будем встречать этот Новый год вместе с тобой. В конце концов, кто еще, кроме нас, будет и кто не будет — бог их люби!

15

Чемодан и вещевой мешок Лопатина были уже в вагоне. До отхода поезда оставалось десять минут.

Впервые за все дни в Ташкенте светило солнце. На перроне таял снег, вода капала с вагонных крыш.

Вячеслав Викторович и режиссер разговаривали, стоя у подножки. А сам Лопатин и Нина Николаевна, отвернувшись от поезда и от суетившихся возле него людей, стояли поодаль, на краю платформы, впритык к остановившемуся с другой стороны товарному составу с наглухо закрытыми красными вагонами.

Стояли перед одним из этих красных вагонов, держась за руки, и молчали, словно боясь сказать под конец что-то лишнее, чего уже не надо и нельзя было говорить.

Все, что было с ними обоими с той минуты, как она вчера в семь, как обещала, пришла за ним туда, на студию, все, что произошло с ними вчера вечером, и ночью, и сегодня утром, казалось Лопатину сейчас, здесь, на перроне, перед самым отъездом, таким неправдоподобным, что он продолжал удивляться тому, что все это все-таки было и эта женщина все еще продолжала быть рядом с ним, стояла здесь на платформе, касаясь его плечом и сжимая своей рукой его руку.

— Стою как дурак и не знаю, что сказать вам.

— И я тоже не знаю. Вы напрасно рассердились на меня вчера, когда я сняла с вас очки.

— Я не рассердился, просто я, как все близорукие люди, боюсь за очки. Испугался, что вы их уроните. Без очков какая-то беззащитность...

— Вот именно,— сказала она.— Мне и хотелось поцеловать вас в ваши беззащитные глаза, без ваших умных очков. Сейчас мы будем прощаться, я опять это сделаю и не уроню их, не бойтесь. Я ловкая, я никогда ничего не роняю и не бью.

Он снял очки и сунул их в карман гимнастерки. Хотя носил их всю жизнь, ему сейчас вдруг стало жалко себя за это.

— Вы теперь до конца войны уже не вернетесь сюда, а я не уеду отсюда. Как же мы с вами увидимся? Никак! Это очень нелепо, но мне кажется, что мы с вами больше не увидимся. И не надо про письма! Я сама уже про них подумала, но нам не надо ничего обещать друг другу. Так хочется обещать, и все-таки не надо. Воздержимся, ладно?

— От чего, от писем?

— Нет, от обещаний писать письма. Не боюсь ни молчания, ни неизвестности, а обещаний боюсь.

Она потянула его к себе за руку и, обняв другой рукой за шею, несколько раз поцеловала в лицо, а потом потянулась губами и поцеловала в губы. Лицо у нее было печальное, но спокойное.

— Возвращайтесь к своему вагону, а я пойду. Нет, пойду,— повторила она, когда он попытался удержать ее за руку.— Вам осталось всего пять минут. Идите и прощайтесь с вашими друзьями, а я пойду...

Он задержал и поцеловал ее руку. И она приостановилась с выражением какой-то нерешительности на лице, подняла руку и мягко провела ладонью по его лицу сверху вниз и, отвернувшись, быстро пошла по перрону все дальше и дальше от него.

Продолжая смотреть ей вслед, он поспешно вытащил из кармана очки. Но ее все равно уже не было видно в толпе, заполнявшей перрон.

Он повернулся и пошел к стоявшим у его вагона Вячеславу Викторовичу и режиссеру.

В только что простившейся с ним женщине было что-то самоотверженное, какое-то упорное стремление взять все самое трудное на себя и поменьше оставить на долю другого. И он испытывал чувство щемящей благодарности к ней, смешанное с недоумением и страхом: как это так, не увидеть ее больше? Что за нелепость!

— А где Ника? — спросил Вячеслав Викторович, увидевший, что Лопатин подходит один.

— Ушла.

— Вот за это люблю,— сказал Вячеслав Викторович.— Это настоящая женщина. Пришла, забрала его от нас, увела на рас-

стояние пистолетного выстрела, сказала ему все, что хотела, вернула его нам, а сама ушла. Как и не было! Молодец.

Да, по крайней мере по внешности так все оно и было. Сегодня рано утром, когда он уходил из ее дома, еще раз повторила ему, что придет проводить его, будет у вагона за четверть часа до отхода. И ровно за четверть часа пришла и, поздоровавшись с провожавшими мужчинами, взяла его за руку и увела с собой, а теперь вернула.

Режиссер стоял и улыбался тому, что говорил Вячеслав, а тот смотрел на Лопатина своими добрыми, ничего не спрашивавшими глазами. Так ничего и не спросил, ни у себя дома, пока собирали вещи, ни когда ехали сюда, ни здесь, когда приехали первыми и стояли у вагона вдвоем. И даже теперь, молчаливо, глазами, не спрашивает: «Ну, как все у вас было?» И спасибо за это, потому что не хочется отвечать ни вслух, ни молча, никак!

— Все, что мы с вами перемарали,— сказал режиссер,— сегодня и завтра сам продиктую машинистке: без меня не разберет. И пошлю вам одну машинописную копию в Москву.

— На редакцию.

— На редакцию. Только не пугайтесь, когда будете переворачивать страницы. На студии чистой бумаги нет; печатаем на оборотной стороне старых монтажных листов. С одной стороны будет наш с вами сценарий, а с другой — какие-нибудь «Дети капитана Гранта», так что не спутайте! Помогли вы здорово, а что у вас больше нет ни одного дня — к лучшему. Признаться, люблю, когда автор — занятой человек и не сидит над душой. Поедете на фронт, будете там свое дело делать, а я здесь — свое. На свой ответ и на свою голову!

— Только смотрите: насчет противогазов, касок и прочих букв устава вашему военному консультанту больше не поддавайтесь.

— Теперь не поддамся,— сказал режиссер. И обнял Лопатина. — Вам пора, уже зеленый...

Лопатин обнялся с ним и обернулся к Вячеславу.

— Иди, стань на первую ступеньку,— сказал Вячеслав. — А то тронется...

Лопатин поднялся на первую ступеньку и, держась за поручень, видел теперь лицо Вячеслава, глядя сверху вниз, а не снизу вверх, как обычно.

Вячеслав был без шапки. Радуясь солнцу, он снял ее и сунул в карман. Его большая голова с густыми, зачесанными назад волосами отливала серебром. Лопатину только сейчас бросилось в глаза, как сильно он поседел за время войны.

— Когда ты вернешься в Москву? — спросил он, глядя снизу вверх в глаза Лопатину.

— Не знаю,— сказал Лопатин,— у нас никогда этого не знаешь. Будем для верности считать — через месяц-полтора.

— Когда приедешь в Москву, застанешь мое письмо,— сказал Вячеслав Викторович. — Будет тебя ждать.

Лопатин ничего не ответил, кивнул. Если письмо будет написано, значит, оно придет в Москву и будет там ждать. Все, что могли оба сказать, уже давно сказано. И Вячеслав ни одним словом не возвращался к этому. Вернулся только теперь, в самую последнюю минуту.

Состав дернулся и медленно пополз вдоль платформы.

Режиссер остался на месте. Стоял, закинув руки за широкую сутулую спину, и смотрел вслед. А Вячеслав еще шел рядом с вагоном, держась за поручень. Шел, все шире и шире шагая, наконец, оторвав руку, остановился, вытащил из кармана шапку и помахал ею вслед.

Лопатин, не заходя в купе и не раздеваясь, стал у окна в коридоре.

Мягкий вагон был такой же старый, обшарпанный, в каком он ехал в Ташкент. Все было такое же или почти такое же. Не хватало только женщины, которая сейчас выйдет из соседнего купе, станет у другого окна и будет курить, изредка почему-то, неизвестно почему, поглядывая на тебя.

За окном тянулись окраины Ташкента. Вдалеке низкие корпуса какого-то завода — отсюда не понять,— может быть, того самого... Ближе — глинобитные дома и дувалы, а еще ближе, сходясь и расходясь, пересекая друг друга, бежали рельсы.

Лопатин вспомнил, как они шли с секретарем ЦК по заводскому двору вдоль узкоколейной новой ветки и секретарь рассказывал ему, как зимой сорок первого, во время самого большого потока эвакуации, собрали в Ташкенте много тысяч дехкан со своим инструментом — мотыгами и кетменями — и через две недели, сделав новые выемки и новые насыпи, проложили три новые нитки станционных путей, совершили, казалось бы, невозможное — вдвое увеличили емкость Ташкентского железнодорожного узла, на котором разгружались завод за заводом.

Наверное, все-таки способность совершать немыслимое рождается из потребности в том, чтобы оно совершалось. И эта потребность, а не только собственная смелость толкает людей на подвиг. До зарезу необходимый. Да и вообще, верно ли называть подвигом то, что совершают без необходимости? Дерзостью, удальством — да, но не подвигом! Наверное, в мирное время никому не пришло бы в голову делать многое из того, что сей-

час считаем естественным и что когда-нибудь потом будет казаться невозможным, хотя оно и делалось. Все-таки война — как труба Страшного суда — заставляет человека почувствовать себя голеньким, держащим ответ за все им сделанное перед чем-то великим. Заставляет его страстно желать, чтобы праведных дел оказалось за ним все-таки больше, чем грехов. Все это, конечно, только если он верит. Не в бога, а во что-то, что намного важнее его собственной жизни, и это что-то, в общем-то, судьба его страны. Та или другая. А война — действительно Страшный суд! Чего уж страшнее этого суда, на котором отвечаем и за все, что успели сделать, и за все, чего не успели. А тот, кто надеется, что его лично на этот Страшный суд не вызовут — забудут или не успеют,— вот тот действительно грешник перед всеми другими! Тому по всей справедливости — только в ад! Хотя по некоторым не видно, чтобы даже отдаленно задумывались над этим. Скорее наоборот, рассчитывают жить в послевоенном раю и гадают, через сколько времени он для них на чужом горбу и крови начнется, подумал Лопатин, вспомнив об одном говорливом человеке, не понравившемся ему на Новом году у Вячеслава. Так не понравившемся, что, самое малое, хотелось треснуть его пистолетом по лысой макушке, чтоб хоть не говорил про победу и не вскакивал первым, поминая мертвых, когда сам от головы до пяток состоит из глубокого равнодушия ко всему, кроме собственного стремления остаться целым.

А кто-то все равно его любит и радуется, что он жив и здоров и останется живым и здоровым. И кто-то, какая-то женщина, и может быть не только та, с которой он пришел на этот Новый год, а еще какая-то, другая или третья, спит с ним, и слушает его исповеди, и одобряет его желание жить вместо других...

Лопатин думал об этом, глядя в окно на соседние, сходившиеся все ближе и ближе к одной нитке пути. Думал с несвойственным ему ожесточением, без того хладнокровия, с которым обычно напоминал себе в минуты гнева, что люди бывают разные, на том и стоит земля.

Сейчас этого хладнокровия не было. В конечном итоге это была мысль о себе самом, уезжавшем снова на фронт, и о женщине, которую он полюбил и которую оставлял здесь, поблизости от этого человека. И от других, таких, как этот. Да, да, было сейчас в его чувствах что-то от той слепой мужской злости, с которой думают на фронте о молодых мужчинах, задержавшихся тут, в тылу, недалеко от женщин, которых не увидишь до конца войны! С правом или без права, с основанием или без основания, справедливо или несправедливо, но приходит минута, когда думают... Вот и к нему пришла эта минута.

«Не рановато ли,— усмехнулся он над собой. — Хоть бы до фронта доехал!»

Поезд замедлил ход и остановился на разъезде. Навстречу мимо — на зеленый свет — тяжело грохотал на стыках эшелон с нефтяными цистернами. Первый из тех, что будут теперь идти навстречу, днем и ночью, все четверо суток, до самого Красноводска.

Губер еще в первое утро, когда мылись в бане, говорил о диверсионной группе, сброшенной немцами осенью в песках под Чарджоу, чтобы взорвать единственный железнодорожный мост через Амударью, перерезав эту нефтяную нитку из Красноводска. Группу сбросили слишком далеко в песках. И ее там же, в песках, и встретили, когда ей оставались сутки ходьбы до моста...

«Да, всего одна тонкая нитка»,— подумал Лопатин, вспомнив этот рассказ.

Эшелон с нефтью прошел, и поезд снова тронулся. Слева уже не бежали навстречу полоски рельсов. Сразу за шпалами — откос и переметенная снегом степь...

Лопатин пошел в купе, где расчерчивали пульку, готовясь играть в преферанс, трое его соседей — два железнодорожных начальника, ехавших до Чарджоу, и военврач, ветеринар, сходивший еще раньше на станции Каган.

Военврач выглядел стариком, а форма на нем была новенькая, топорщившаяся, словно он первый раз ее надел. Его только что призвали, и он ехал под Бухару, где стояла кавалерийская часть.

— Предшественник мой дорапортовался, чтобы его на фронт послали, а меня — на замену. Может, по старости лет так и не призвали бы, да один старый кавалерист в штабе округа увидал меня и вспомнил по гражданской войне. Проверили, живой ли я,— живой! Вызвали, предупредив, что по возрасту вправе не согласиться...

— А сколько вам? — спросил Лопатин.

— Шестьдесят второй пошел. А как можно не согласиться? Я бы сам давно заявление подал, но неловко было на казенное довольствие претендовать! Силы уже стариковские, а паек как молодому, который на том же довольствии намного больше тебя сделает. Но раз вызвали, то конечно!

Он говорил все это, заканчивая расчерчивать пульку толстым синим карандашом на сложенной вчетверо вчерашней газете. Другой бумаги не было. В голосе его чувствовалось довольство судьбой и интерес к предстоящей службе.

Железнодорожники пригласили Лопатина четвертым, и они играли в преферанс весь день и вечер, закончив последнюю, пятую пульку только глубокой ночью.

Лопатин проснулся, как ему показалось, рано. И только посмотрел на часы, понял, что проспал четырнадцать часов и за окном не светает, а начинает темнеть. Поезд стоял в степи, на разъезде. Было слышно, как с другой стороны тяжело грохает на стыках встречный состав,— наверное, опять с цистернами.

Никого из соседей не было, они сошли, и вместо них никто не сел.

Покашливая и что-то бормоча себе под нос, проводник заметал мусор.

Вчера Лопатин его не видел. И в Ташкенте, когда садился, и потом по дороге, когда пили чай, видел старую женщину-проводницу.

Заметя мусор в совок и так и оставив совок и веник на полу, проводник вздохнул и присел на диван. Видимо, ему трудно было нагибаться. Он посмотрел вверх и увидел проснувшегося Лопатина.

— Если желаете, можете на нижнее место перейти,— сказал проводник.

— А новые пассажиры не сядут?

— Пока на этих перегонах — навряд ли... Кипяток есть; если чай имеете, можете сами заварить или мы заварим.

Лопатин слез с полки и вынул из чемодана осьмушку чая.

— Заварите, пожалуйста.

— Так не давайте,— строго сказал проводник. — Отсыпьте на газету, сколько вам надо, столько и заварим. По вашему вкусу и возможностям. А то...

Он не договорил, но было и так понятно, что он хотел сказать.

Лопатин не стал спорить. Достал из полушубка газету, оторвал кусок и насыпал туда чаю, чтобы заварки хватило на двоих.

— Заварите, попьем вместе.

Проводник ничего не ответил. Закрутил газету фунтиком, чтобы ни одной чаинки не выпало, и ушел. Лопатин уже и сходил помылся, и достал из чемодана хлеб и сахар к чаю, а проводник все не шел. Пришел только через полчаса и поставил на столик чайник и один стакан.

— Никакого жару нет,— сказал он недовольно. — Чай, если его крутым кипятком не запаришь, ни вкусу, ни цвету. А вместо угля — пыль.

— Вы чего себе-то стакан не взяли? — спросил Лопатин. — Попили бы вместе.

— Мы уже чай пили в свое время,— сказал проводник так, что Лопатин не понял: правда ли он пил чай и больше не хочет или не желает пользоваться приглашением. — А вот, замечаю, вы курящий. — Проводник кивнул на коробку «Казбека», которую Лопатин выложил на столик вместе с хлебом и сахаром. — Если угостите — закурю.

Лопатин распечатал и протянул ему коробку.

— Чай не пьете, так хоть присядьте.

Проводник присел, понюхал папиросу, оценивая табак, примял мундштук и не спеша закурил.

— За курево на все иду, все отдаю. Хлеб на табак менял. Хлопковый жмых выдавали — тоже менял: тем более жуешь его, а от него во рту вата. Жена бранит, говорит, и так высох с этого курева, лучше бы про свое питание думал. А что об нем думать, если после него закурить нечего...

Лопатин посмотрел на проводника. Он и правда был сухощав и худ, но не голодной худобой вдруг отощавшего человека, а природной, оставлявшей впечатление стариковской крепости.

— А где жена? — спросил Лопатин. — Вы ташкентские или ашхабадские?

— Жена здесь, со мной,— сказал проводник. — Мы теперь с ней и ташкентские и ашхабадские... Только считается, что живем в Ташкенте, а с поезда не слазим. Раньше как ездили? Неделю в поезде, неделю дома. А теперь одна подсмена — три недели в поезде, неделю дома. Раньше два проводника на один вагон, а теперь то же самое на два вагона. На меня и на нее — мягкий, этот, и восьмой — жесткий. Раньше в том вагоне, в жестком, два проводника и в этом два — я и напарник. А теперь вместо всех их я да жена. А их троих нет — на войне! Про других точно не знаю, говорят, пропали, а напарник мой пока живой, домой письма пишет.

— А у вас в семье как? — спросил Лопатин.

— Мы не многодетные — сын да дочь. Сын воюет, невестка гуляет, дочь мужа ждет. Правда, пока судьба милует — оба живые. Жена дочь жалеет, про зятя говорит: «Пусть у него будет рана, хотя бы тяжелая, пусть непригодным признают, только б вернулся к ней!» А я ей говорю: «Дура ты, дура, рану — кто ее отмерит, чтобы для войны был непригодный, а для всего другого еще пригодный?» Она у меня верующая. Говорю ей: «Лучше не молись об этом, а то вернется ни для чего не пригодный». А вас куда ранило? — вдруг спросил он.

Или только теперь увидел у Лопатина нашивки на гимнастерке, или и раньше хотел спросить об этом, а собрался сейчас.

— Меня легко,— сказал Лопатин. И, прижав пальцем веко, на ощупь показал пересекавший веко и подбровье маленький шрам. — Царапина...

— Царапина-то царапина,— согласился проводник. — Да угоди пониже — быть без глазу. А еще куда?

— Второй раз — контузия. Тоже легкая.

— Контузия хуже всего,— сказал проводник. — Об ней больше помнишь, чем об ранах. Я сам на той войне два раза раненный был, об них и не вспоминаю, а об контузии помню. Нагинаться начинаю — и вдруг в голову ударит! Может, просто года мои уже не те, а все равно думаю на контузию.

Он докурил папиросу до картона и поднялся.

— Возьмите в запас,— протянул Лопатин коробку.

— Спасибо. Лучше еще к вам зайду, раз вы одни,— сказал проводник. — А то ездим, ездим с женой взад-вперед, говорим, говорим с ней, сколько за всю жизнь не говорили, и все про одно и то же. Вместе и вместе, и некуда друг от друга деться! Отдыхайте. Чайник я вам оставлю, можно будет и подогреть после.

Он вышел, а Лопатин ехал и думал об оставшейся там, в Ташкенте, женщине, которую мысленно называл «она», так и не научившись ни вслух, ни про себя называть ее Никой.

«Зовите меня как хотите»,— сказала она ему ночью, почувствовав, как он в очередной раз запнулся, прежде чем назвать ее тем именем, к которому она привыкла, но которое почему-то не выговаривалось у него, казалось ему каким-то придуманным, не шедшим к той естественной простоте, которая так влекла его в ней.

«Зовите меня как хотите — на «вы», на «ты», Ниной, Тоней, хоть Машей, как вам нравится, так и зовите. Только не запинайтесь, как сейчас. Придумайте то, что вам понравится, и уже не запинайтесь...»

Но он так и не придумал. Продолжал говорить ей то «вы», то «ты», то просто обращался к ней без имени. Он был ошеломлен свалившимся на него счастьем. Долгим или недолгим — неизвестно. Может быть, даже уже кончившимся, но все равно — счастьем!

Он вспомнил, с какой силой отталкивания она сказала там, на перроне, что боится обещаний. Вспомнил и подумал: да, может быть, и так. Может быть, его счастье — уже кончившееся счастье! Хотя он сам в это не верит и хотя он сам не боится обещаний и готов был бы их дать, если бы их ждали, а не защищались от них.

Там, у себя дома, утром с какой-то необидной простотой и нежностью, вдруг заторопив его, чтобы он уходил, пока не проснулся ее сын, она пошутила, что, если считать с того утра, когда она села в Кзыл-Орде в вагон, в котором он ехал, ровно неделя, как они знакомы. Целая неделя! Для военного времени это, кажется, принято считать достаточно долгим. А потом сказала серьезно, что если уж считать, то лучше всего считать так: все начинается с того, как мы с вами встретились в вагоне, и кончается на том, как мы с вами простимся у вагона. А насколько все это существенно, будет время подумать: у вас — в поезде, у меня — дома.

Слово «существенно», которое она употребила, было не ее слово, а его. Она перед этим задала ему вопрос, не ревниво, по-бабьи, а с каким-то товарищеским ожиданием, что не солжет, а скажет правду:

— Вот вы год один, без жены. Что же, у вас ни с кем ничего не было?

— Всякое бывало.

— Это хвастливо звучит, даже не похоже на вас.

— Ну, было что-то,— сказал он. — В Москве, а не на фронте. Несущественное для обеих сторон. Странно, если бы было иначе...

— Вот и я, как вы, тоже считала странным, если бы было иначе,— сказала она с чуть заметным оттенком вызова, словно торопясь еще раз напомнить ему, что считает себя на равных с ним, мужчиной. — Только с той разницей, что заранее не знала, существенно это или несущественно. Что несущественно, только потом понимала, а вы, наверное, заранее знали, что несущественно?

— Да, знал заранее.

Вот и все, что он от нее услышал о годах ее, как она иронически выражалась, вольной, безмужней жизни. Больше ничего об этом не говорила — ни до, ни после.

Хотя нет, еще раз все-таки сказала. Вдруг спросила его:

— А помните, когда вы уходили от Ксении, мои слова, что мы с вами, наверно, еще встретимся?

— Помню.

— Я уже знала тогда, что не наверно, а непременно. Я очень хотела вас снова увидеть и уже решила в ту минуту, что приду на Новый год одна. Хотя вам сказали, что приду вдвоем, да?

— Да.

— А я уже тогда решила, что приду одна, и сделала так, чтоб прийти одной. И собиралась на Новый год одна и только потом, перед тем как прийти к вам на студию, поняла, что не

хочу вас видеть на людях. Хочу, чтобы я была одна и чтоб вы были один. И не пошла встречать с вами Новый год. Для меня Новый год было то, как мы с вами тогда шли по улице. Это было мне гораздо важней, чем все другое. Я вас так и не спросила, как вы встретили Новый год.

— В общем, хорошо,— сказал он.

— У меня, когда мы шли тогда с вами, было желание вытащить вас к себе, но я понимала, что это будет нечестно перед Вячеславом Викторовичем, что вам нельзя в тот вечер его бросать, а если я буду вас звать и вы не пойдете, это будет плохо, а если поддадитесь мне и пойдете — тоже будет плохо, потому что вы не должны этого делать. И я ничего вам не сказала. А почему вы меня не спросите, как я встретила Новый год? Хотя я знаю, почему вы не спрашиваете.

— Раз знаете, оставьте при себе,— сказал Лопатин.

— Нет, не оставлю. Я пошла к Зинаиде Антоновне, пришила ей воротник, потом отнесла еще одно платье, и оттуда меня на машине довезли до самого дома — чего только не готовы сделать за платье под Новый год! Мы посидели с мамой и с Марьей Григорьевной ровно до двенадцати часов, выпили по рюмке сладкой наливки, которая была спрятана у мамы, и я легла и заснула. Так устала за все эти дни: и в театре — шили семь костюмов к премьере, и со всем этим новогодним перешиванием так мало спала, что сразу легла и без всякого труда заснула. Вот так я встретила Новый год! По-моему, очень хорошо. И перед сном долго о вас не думала, просто подумала, что завтра вас увижу, и заснула с этой мыслью. А не спросили вы меня потому, что не были до конца уверены в чем-то важном для вас. И это действительно важно. Так вот, я хочу, чтобы вы знали: я ни о ком больше не думала и ни о ком больше не помнила уже в конце того вечера, когда сказала вам, что мы, наверное, увидимся. Все остальное вас не касается, а это, по-моему, важно.

Он поверил тогда ее словам. Понял, что так оно и было. Главное, он чувствовал, что она действительно совершенно не думает о том человеке, который еще недавно намеревался на ней жениться. Она вела себя так, словно его и не было на свете.

Сейчас, когда он вспоминал ее, ему то казалось, что он знает о ней слишком мало, то казалось, что слишком много. И наверное, и то и другое было правдой. Она жила труднее, обременительнее, чем он считал, когда впервые ее увидел и услышал первые разговоры о ней. И он понял, что она далеко не все говорит о себе людям, не считает это нужным. Непривычна жаловаться и даже, наоборот, любит создавать впечатление, что живет легче, проще, лучше, чем на самом деле.

Оказалось, она не просто содержит мать и сына, как сказал об этом Вячеслав, а что ее мать настолько больной человек, что уже давно не выходит из дому и не всегда в состоянии встать и открыть дверь. И Лопатину и ей, когда они пришли, открывала дверь не ее мать, а соседка, ленинградка, Мария Григорьевна.

И оказалось, что этой соседке, сорокалетней женщине, вывезенной сюда уже во время блокады с тремя дочерьми, старшей из которых тринадцать лет, отдана единственная большая комната оставшейся половины дома, а две другие комнатки совсем крохотные. И, судя по некоторым приметам быта и отношений, Лопатин безошибочно почувствовал, что единственный мужчина в этом доме — Нина Николаевна. А все остальные: родные, и неродные, и ташкентские, и ленинградские — все, в общем-то, на ее иждивении. Она ими всеми командует, но она на них всех и батрачит.

Она не говорила ни ему, ни, наверно, другим, что они живут с этими ленинградцами одной семьей, но они жили именно одной семьей, и она была главным кормильцем этой семьи.

И с отцом, ушедшим от ее матери, было, наверное, еще сложней, чем она говорила, потому что ее мать оказалась не просто оставленной женщиной, а женщиной, которая, не вынеся горя, стала почти инвалидом. И уже давным-давно, с тех пор, как это случилось, жила прислонившись к дочери, слабая — к сильной.

И история с мужем, уехавшим на Дальний Восток, тоже была не досказана до конца.

Лопатин сидел в ее крошечной, чистенькой, оклеенной обоями комнате, где кроме швейной машинки стояла еще и пишущая,— оказывается, она еще и печатала, когда у нее хватало времени и была работа. И она сказала, что раньше это была не комната, а чулан; когда приехали ленинградцы, она все-таки захотела иметь свой угол и сама утеплила этот чулан, положила еще один слой толя на крышу, оклеила обоями — и вот теперь живет.

— Я все умею,— сказала она. — Иногда такое нахальное чувство, что вообще все на свете умею. А муж все равно бросил!

Сказала, словно в наказание за собственное хвастовство. И разговор, наверно, не пошел бы дальше; но Лопатин вспомнил предвоенные годы на Дальнем Востоке — как нелегко было приезжему человеку найти себе там, в приграничье, жену — и спросил про ее бывшего мужа:

— А на ком он там женился?

Тогда-то и оказалось, что все было куда хуже, чем она поначалу сказала: муж дважды обманул ее. Сначала сказал, что его отправили на Дальний Восток без его согласия, а потом выяснилось, что поехал, имея возможность не ехать. Устроил так, что уехал один, объяснив, что будет готовиться к приезду семьи, а на самом деле через три месяца к нему поехала отсюда, из Ташкента, женщина, с которой у них все было уже заранее решено!

— Отдыхал с ней от меня,— усмехнувшись, сказала она про бывшего мужа и про эту женщину. — Я прямолинейная, с такими устают. Это не случайно, что и маму бросили, и меня. Что-то есть, значит, в нас такое... В чем-то, наверное, сами виноваты, что нас бросают. С одной стороны, готов был носить на руках, а с другой — любил, чтобы «принеси, подай»... А я и на руках не любила, чтоб меня носили, и чтоб «принеси, подай» мне говорили, тоже не любила. Хотела жить наравне. Больше любила чинить электричество, чем мыть посуду. Мыла, конечно. Но не любила. И разговорами его мучила о том, что он делает, и о том, что я делаю. И как мне жить? Когда, окончив театральный институт, поняла, что актрисы из меня не вышло, набралась мужества и пошла заведовать костюмерной. А ему хотелось, чтоб уж раз не актриса, так сидела бы дома! Хотелось, вернувшись домой, быть царем природы и отдыхать на лоне... А со мной не получалось... Долго не могла простить ему того, как он трусливо от меня уехал. Как будто не знал меня, что отпущу на все четыре стороны по первому требованию. Только не вздумайте меня жалеть, я не жалуюсь, я просто откровенна с вами...

Это верно, она была откровенна с ним. О чем-то не хотела говорить и не говорила, но, если что-то говорила, не останавливалась на полдороге. Когда он спрашивал ее — отвечала правду, иногда без размышлений, а иногда помолчав, преодолев внутреннее сопротивление.

И его спрашивала обо всем — и о нем самом, и о жизни, и о войне — с прямотой, требовавшей правды.

И он говорил правду — и о себе и о войне. Говорил и такое, что обычно оставлял при себе.

— Сколько еще, по-вашему, будет идти война?

Обычно в ответ на этот вопрос он только пожимал плечами: кто может точно сказать, сколько еще будет идти война? Но она спросила, и он вспомнил не о Сталинграде, а о Ржеве и Вязьме, которые после полутора лет войны все еще под немцем, и от них до Москвы по-прежнему в шесть раз ближе, чем до Берлина. И без раздумий сказал ей то, что подумал,— три года! Навряд ли меньше.

— А скажите, вот сейчас мы уже лучше стали воевать, чем немцы, или нет?

На фронте таких вопросов не задавали. Знали сами о себе, где неудача, а где успех, что сумели, а что не сумели, когда воевали лучше, а когда хуже немцев. Иногда вслух хвастались, но про себя знали все как есть.

— По-моему, пока еще не лучше.

Ответил так, словно обязан был отчитаться перед ней в том, над чем сам много и тяжело думал после последней своей поездки на Западный фронт.

— А у вас не бывало так, что вот вы вернулись с фронта и вам не хотелось бы снова на фронт? Хотелось бы жить где-нибудь здесь?

— Нет, жить где-нибудь здесь еще ни разу за войну не хотелось. А не ехать на фронт, остаться в Москве хотелось. Несколько раз. Два раза, во всяком случае. Когда возвращался после тяжелой поездки, а писать было нечего.

— Почему?

— Потому что бывает так! Настолько неудачно воевали, что нечего писать или почти нечего. От нас же не этого ждут...

Она целый час подряд расспрашивала его о войне, а потом вдруг сказала:

— Может быть, стыдно говорить самой о себе, но вы же ни от кого другого не узнаете, а мне давно хочется вам сказать, чтобы вы знали: я по два раза в месяц, с самого начала войны, сдаю кровь и буду, пока не кончится война, делать хотя бы это. Вы, конечно, знаете, что за это дают дополнительную донорскую карточку.

— Знаю,— сказал Лопатин.

— Я тоже ее получаю. Подумала, вдруг вы об этом не знаете, об этих карточках, и выйдет, что я вам одно сказала, а другого нет.

Потом, это уже когда он уходил от нее, заговорила о себе и своем сыне:

— Я не хочу, чтобы он вас видел, не потому, что мне будет стыдно перед ним. Мне было бы нисколько не стыдно рассказать ему про вас. Но дети очень любят спрашивать — что дальше? А мне пока нечего ему ответить. И жаль забивать его бедную голову, она и так...

Она не договорила на этот раз. Чуть не впервые за все время не договорила, но он понял и спросил у нее, как она объяснила мальчику то, что произошло между ней и его отцом.

— Очень просто,— сказала она,— как все было, так и объяснила! Сначала объяснила так, чтобы он мог понять в свои пять

лет, а недавно, когда ему исполнилось восемь, объяснила еще раз.

И, сказав про своего сына, спросила Лопатина о его дочери:

— Решили не отдавать ее?

— Решил.

— И не отдадите?

— Не отдам,— ответил он и, вспомнив свою дочь в ее счастливые дни в Москве, в редакции, среди его товарищей по войне, подумал, как, наверное, трудно бывает сыну этой женщины. Какие трудные вопросы ставит перед ним в его восемь лет жизнь там, в школе. «Где твой папа?» — «На фронте». — «А твой папа?» — «Мой папа на фронте». — «А твой папа?..» Как он, которому мать недавно все еще раз объяснила, отвечает сейчас на этот вопрос про папу?

Эта женщина в последние минуты перед уходом из ее дома сделалась так дорога ему, что он, хотя и уезжал на фронт, был почти готов заговорить с ней о будущем. Но что-то еще более сильное, чем это желание, удержало его. Не только мысль о разнице в годах. Удержало еще что-то. И это «что-то» была опасность обидеть ее молчаливым предположением, будто она именно этого и хотела, чтобы он перед уходом от нее заговорил о будущем.

Она могла тоже думать о будущем, а могла и не думать. А могла не хотеть думать из чувства самозащиты. И это было именно то, о чем нельзя было спросить ее. Почти обо всем остальном можно, а об этом нельзя.

Среди ночи она, улыбнувшись,— эта улыбка послышалась ему в ее голосе — сказала, что, оставшись одни, люди, которые собираются и дальше быть людьми, всегда ищут, если только они не трусы. Одни ищут безгрешно, другие грешно, но все равно ищут! И добавила:

— Только не считайте меня циничной. Я действительно так думаю. И лучше уж самой быть кузнецом своего счастья или несчастья, чем какой-то безответной наковальней, по которой жизнь бьет как попало, чем и как ей вздумается.

И, помолчав, снова улыбнулась, он снова услышал эту улыбку в ее голосе:

— Вы не мавр, конечно. Никакой вы не мавр! Но — она его за муки полюбила... что-то почти такое есть и у меня к вам. Если бы вы были какой-то другой, и по-другому говорили о войне, и не с войны приехали бы сюда, и не были бы до этого всюду, где вы были,— не знаю, что бы я чувствовала к вам и как бы все у нас было. Наверно, не так. Даже уверена, что не

так. Я вам говорю правду. Может быть, вам это неприятно, но это правда.

Нет, ему не была неприятна эта правда. Он и сам понимал, что он для нее — человек с войны. Приехавший с войны и снова уезжающий на войну! Он подумал не об этом, а о слове «ищу». Да, она искала в нем чего-то важного, необходимого для нее. Может быть, даже чего-то, без чего не могла дальше жить. Искала? Да. Но нашла ли?

Ему-то казалось, что он нашел, а ей? «Боюсь обещаний...»

Он ехал уже вторые сутки, а у него в ушах все сидели эти прощальные слова, которыми она как бы хотела на всякий случай освободить его от себя. А он не хотел освобождения! И вся сложность происшедшего состояла не в том, что он разлучился с ней, а в том, что так и не разлучился! В том, что он вез с собою эту женщину. Вез с собою всю ее, с ее душой, с ее телом, с ее голосом, с ее улыбкой, с ее бесстрашной привычкой говорить и отвечать правду, с ее нежеланием заглядывать в будущее и с ее руками, неожиданно шершавыми и все-таки нежными, с ее припухшими на подушечках, исколотыми пальцами. Первое, поразившее его прикосновение этих пальцев к своему лицу он тоже вез с собой.

На первой станции за Ашхабадом стоял под погрузкой воинский эшелон. В теплушки по сбитым из досок накатам заводили лошадей — наверное, собирались переправлять туда, на Кавказ, какую-то кавалерийскую часть. На всех станциях и разъездах шли и шли навстречу эшелоны с бакинской нефтью. Шли, напоминая о войне. Шли с таким упорством и постоянством, что у Лопатина вдруг возникла странная и даже дикая мысль: как будто где-то на самом берегу Каспийского моря, у берега, где формируются эти составы, стоит на путях какой-то могучий человек и, упираясь в них, беспрерывно толкает их один за другим. Уперся на том конце и толкает!

В последней газете, которую Лопатину удалось купить в Ашхабаде, сводка сообщала о наступательных боях на Среднем Дону, южнее Сталинграда и на Северном Кавказе. До этого в прежних сводках о военных действиях на Кавказе сообщали глухо, не называли почти никаких населенных пунктов, а на этот раз говорилось о взятии внезапным ударом Моздока и Малгобека.

На станции Джебел, за пять часов до Красноводска, проводник привел в купе лейтенанта из транспортного отдела НКВД. Лейтенант представился и, попросив у Лопатина документ, удостоверяющий его личность, вынул из планшета переданную по

селектору телефонограмму редактора: «Корреспонденту «Красной звезды» Лопатину. Явитесь Красноводске дежурному воздушных перевозок. Срочно вылетайте».

В первую секунду, когда заглянувший в купе раньше лейтенанта проводник сказал: «Товарищ командир, вам телеграмма» — «телеграмма», а не «телефонограмма», — в голове мелькнула шальная мысль, что это не от редактора, а от нее. Но телефонограмма была от редактора и напоминала, что ты уже не в отпуску и должен спешить!

Поезд пришел в Красноводск ровно в двенадцать, а в два часа с минутами Лопатин уже сидел сверхкомплектным пассажиром в фонаре фельдъегерского самолета связи СБ, который каждый день, если была погода, летал через Каспийское море из Красноводска то в Баку, то в Тбилиси — в зависимости от задания и пассажиров.

Лопатину вдвойне повезло. И в том, что он успел на этот самолет, и в том, что самолет шел сегодня прямо до Тбилиси. Это укорачивало дорогу на целые сутки. Правда, уже перед вылетом Лопатин слышал обрывок разговора между оперативным дежурным и летчиком — погода портится, можно и не дойти. Но летчик все-таки полетел, сказав, что, если облачность прижмет и начнется обледенение, он вернется. Самолет долго пробивал облачность, набирая высоту, а потом, так и не пробив ее вверх, стал пробивать вниз. Пробил в последнюю секунду, у самой воды, и пошел на бреющем. Над Каспием стояла туманная зимняя сырость, в свинцовой воде плавали льдины...

Глядя на эту опасно близкую свинцовую воду, Лопатин подумал о Вячеславе. Если б редактор, тогда по телефону, позволил, а Вячеслав решился, обстоятельства уже сейчас, по дороге, разлучили бы их. Летчик смог бы взять только кого-то одного, оставив другого там, в Красноводске...

16

В Тбилиси, в штабе Закавказского фронта, Лопатин узнал, что наши войска еще вчера взяли Нальчик и Прохладную и продвигаются к Минеральным Водам.

Корреспондент «Красной звезды» Кутейщиков уже уехал туда, в наступавшую Северную группу войск, взяв с собой в машину корреспондента ТАСС. Но зато «эмка», принадлежавшая ТАСС, только вчера вышедшая из ремонта, должна была догонять фронт, и ее водителю было оставлено приказание — дождаться в Тбилиси Лопатина и ехать с ним и с прибывшим пака-

нуне из Приморской группы войск вторым корреспондентом ТАСС, которого теперь в связи с обстановкой тоже перебрасывали в Северную группу.

Все это Лопатин узнал в редакции фронтовой газеты, явившись туда прямо с самолета. Тассовца он не застал, тот должен был вернуться только к ночи, но «эмку», на которой предстояло ехать, нашел в гараже и приказал водителю быть готовым к выезду завтра, в восемь утра. Дорога предстояла длинная, через Крестовый перевал, про который говорили, что машины через него идут, но он сильно заметен снегом.

Оставив чемодан и вещевой мешок в одной из редакционных комнат, около дивана, который ему отвели для ночлега, Лопатин пошел по городу.

Вечер был холодный и ветреный. Затемненный военный Тбилиси казался непохожим на себя. Но Лопатин, уже шесть лет не приезжавший сюда, раньше и бывал и жил здесь по неделям и, несмотря на затемнение, знал, куда надо идти, чтобы добраться до улицы Вардисубани, до того знакомого ему дома, о котором он подумал еще в самолете, когда подлетали к Тбилиси.

В этом старом доме на улице Вардисубани жил человек, которого он знал в этом городе лучше всех других, еще с конца двадцатых годов, со своей первой поездки в Грузию, в Чиатуры. Знал его жену и его детей и несколько раз останавливался у него, приезжая сюда.

С последнего приезда Лопатина в Грузию, с осени тридцать шестого года, они не виделись и не переписывались, но он слышал от других, что Виссарион жив и здоров. А прошлой осенью увидел его стихи, напечатанные в «Известиях», и порадовался, как они хорошо переведены на русский.

Если Виссарион сейчас в Тбилиси и дома, он будет рад. И его жена, Тамара, будет рада. В этом Лопатин не сомневался. Только дома ли он? А может быть, в армии? Стихи в «Известиях» были посвящены бросившемуся с гранатами под танк и погибшему лейтенанту-грузину, и под ними стояло: «Действующая армия». Может быть, он и сейчас там?

Но одиночество сильней сомнений: походив по неузнаваемо темному городу, Лопатин остановился перед знакомым домом. На лестнице было темно. Он поднялся на второй этаж, держась за перила, и, еще раз мысленно проверив себя, направо или налево дверь, которая ему нужна, нащупал ее, как слепой, и нажал на звонок.

Никто не ответил — или не работал звонок, или никого не было дома. Он постучал, сначала коротко, потом несколько раз подряд, громче и сильнее.

За дверью послышались шаги, и знакомый громкий голос Виссариона спросил по-грузински:

— Кто это, кто пришел? Кто пришел? — сердито повторил там, за дверью, Виссарион.

— Это я, Лопатин! — сказал Лопатин и, шагнув в открывшуюся дверь, оказался в объятиях невидимого в темной передней Виссариона Георгиевича, над именем-отчеством которого он когда-то шутил: почти Белинский!

Они обнялись, и Виссарион, подхватив его под мышку своей длинной рукой, потащил за собой по коридору в глубь квартиры.

— Не ушибись,— сказал Виссарион. — Я и в темноте все помню, а ты, наверное, уже не помнишь.

Они свернули из длинной передней направо в коридорчик и вошли в маленькую комнату напротив кухни. В этой комнате раньше жила младшая дочь Виссариона — Этери.

Теперь там стояла знакомая Лопатину мебель, собранная со всего дома. Широкая тахта и одна книжная полка из кабинета Виссариона, туалетный столик из спальни, обеденный стол и два стула из столовой.

— Нигде не топим, а здесь топим печку. — Виссарион помог Лопатину снять полушубок и, усадив на тахту, сам сел наискось от него на стул.

— Хорошо выглядишь! Смотри, два раза ранен был! Поздравляю! — Это относилось к ордену.

Виссарион немножко, самую чуточку, заикался. Когда он говорил по-грузински, Лопатин не замечал этого, а когда по-русски — замечал.

— Привет тебе из Москвы от Бориса, от Гурского,— сказал Лопатин, вспомнив, как Гурский, тоже давно знавший Виссариона, перед отъездом из Москвы просил: «Чем ч-черт не шутит, если в-встретишь в Тбилиси сванскую башню, которая называется Виссарионом, п-поклонись ему от меня и п-проверь, не догнал ли он м-меня за эти годы по з-заиканию».

Не сван, а кахетинец, Виссарион, сложенный с какой-то особенной каменной прочностью, в самом деле был похож на сванскую башню. Большие ноги, большие руки, широкие плечи, большая голова на крепкой, сильной шее. Таким он был шесть лет назад, таким оставался и сейчас. Только немного полысел — и, должно быть, недавно, потому что одной рукой все поглаживал голову, поправляя редкие волосы, прикрывавшие лысину. Наверное, еще не привык к ней.

— Я читал его статьи,— сказал Виссарион о Гурском. — И твои. Он редко пишет, ты больше.

— А я твои стихи видел осенью в «Известиях».

— Это песня. Ее перевели как стихи, а это песня. Я написал ее на фронте на собственную музыку. Несколько раз ездил на фронт начальником фронтовых бригад. Я теперь служу в нашем комитете по делам искусств. — Виссарион вздохнул так, что Лопатин невольно улыбнулся.

В былые годы Виссарион не любил служить: говорил, что служба не дает ему писать стихи, почему-то они приходят в голову по утрам, как раз когда надо идти на службу.

— Как Тамара, как дети? — спросил Лопатин, когда через две двери на кухне послышались женские голоса.

— Все здоровы,— сказал Виссарион. — Сейчас я позову Тамару. Мы сегодня с ней первый день совсем одни в этой квартире. Наши дети уехали.

И, не став объяснять, куда уехали дети, поднялся, вышел и вернулся, подталкивая перед собой жену, которая, судя по выражению ее лица, совсем не хотела сюда идти. И, только увидев Лопатина, радостно вздохнула и пошла ему навстречу, вытирая руки о фартук.

— Здравствуйте, Тамара,— сказал Лопатин, целуя ее руку.

С Виссарионом они были на «ты», а с его женой так с первой встречи и остались на «вы».

— Здравствуйте, мой дорогой,— сказала она, целуя его в лоб. — Вы даже не знаете, как я вам рада! Виссарион, негодяй, вытащил меня из кухни, ничего не сказав. Сказал только: «Сейчас я кого-то тебе покажу!» Я не хотела идти, думала, к нему кто-то по делу... Садитесь, пожалуйста, сейчас будем ужинать.

Она говорила все это с какой-то материнской одновременно и радостью и печалью. И, глядя на Лопатина, стиснув руки, незаметно для себя тихонько поламывала пальцы.

Ее прекрасное, тонкое лицо похудело и заострилось. Огромные черные глаза казались еще огромнее от набежавшей под ними синевы.

«Да, вот кто переменился за эти годы,— подумал Лопатин. — Вот на ком сразу видно, что на эту семью обрушилась война!»

— Как ваша девочка? Она теперь уже большая,— спросила Тамара, продолжая смотреть на Лопатина своими прекрасными печальными глазами.

— Скоро шестнадцать.

— А где она?

— Сейчас в Омске, у моей старшей сестры.

— Это хорошо, это далеко. А как ваша жена? — спросила Тамара.

Виссарион приезжал в Москву всегда один, она не бывала с ним и знала и о девочке и о жене Лопатина только со слов мужа. И хотя не было никаких причин не сказать ей все как есть, что-то остановило Лопатина от прямого ответа. В грузинских семьях редко расходятся, особенно когда есть дети, а если это все-таки происходит, относятся к этому как к трагедии.

И Лопатину почему-то не захотелось говорить сейчас этой женщине, с ее и без того печальными глазами, правду о себе и своей жене.

— Она в эвакуации,— сказал он вместо этого.— В Ташкенте.

— Тоже хорошо, далеко,— сказала Тамара.

И когда она во второй раз сказала «далеко», он подумал, что еще недавно, пока не началось наше наступление, Тбилиси от фронта отделял всего только Крестовый перевал да еще сотня километров за ним... Путь, который ты собираешься завтра проделать за один день...

— Очень похудела. Она не больна? — спросил Лопатин, когда Тамара вышла.

— Нет, не больна,— сказал Виссарион.— Я водил ее к врачу, он говорит, что не больна, просто... — И, не договорив, что «просто», спросил, на сколько Лопатин приехал в Тбилиси.

Лопатин объяснил, что завтра утром едет через Крестовый перевал догонять наступающую армию.

— Да, слава богу, наступаем,— сказал Виссарион.— Когда немцы осенью оказались на Эльбрусе, я каждый раз с ума сходил, когда думал об этом. Они уже на Кавказском хребте, а сзади — Турция! Иногда казалось, что стоишь в коридоре между двумя стенками и упираешься в одну руками, в другую — спиной, и, если одну руку отпустишь, все на тебя упадет. Я, конечно, не военный человек...

— Все мы не такие уж военные,— махнул рукой Лопатин.— Объясни, пока Тамара не вернулась: где дети, что с ними?

— Георгий в армии, десять дней назад был у нас, переночевал дома. Закончил в Кутаиси курсы младших лейтенантов и поехал на фронт. Сегодня, когда мы с Тамарой вернулись из деревни, нашли под дверью записку: наверное, кто-то ехал обратно и занес. Только несколько слов и полевая почта, на которую мы можем ему писать.

Виссарион полез в пиджак и, вынув записку сына, прочел номер полевой почты.

— Не знаешь такой полевой почты? — с надеждой спросил он.

— Пока не знаю, но, может, буду знать,— сказал Лопатин. — Повтори. — И, достав записную книжку, записал полевую почту. — Когда же его успели взять в армию? — словно спохватившись, удивленно спросил он, вспомнив осень тридцать шестого года и тоненького, как прутик, двенадцатилетнего школьника, по настоянию кого-то из гостей позванного к взрослому столу и читавшего звонким, детским, даже еще не начавшим ломаться голосом стихи Бараташвили «Синий цвет» сначала по-грузински, а потом, в переводе Пастернака, по-русски. Как-то не укладывалось в голове, что этот тоненький, читавший стихи мальчик мог успеть быть призванным, закончить курсы, стать младшим лейтенантом, уехать на фронт и прислать оттуда отцу с матерью записку с номером своей полевой почты.

— Призвали в июне. — Виссарион стал загибать пальцы: — Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь... Тамара сосчитала: когда он переночевал дома, ему всего одного дня не хватило до восемнадцати с половиной.

— А Этери? — спросил Лопатин.

— Отвезли ее в деревню, к старшему брату Тамары, к Варламу. Ты его встречал у меня, его вино всегда пили и сегодня будем пить... Он давно звал, просил. Все-таки он агроном, и деревня не город. А школа там тоже есть. Хотел, чтобы девочка лучше кушала.

— Ей что, пятнадцать? — спросил Лопатин.

— Почти шестнадцать, как твоей девочке. Она только на три недели моложе. Мы с тобой когда-то считали.

Лопатин не помнил, чтобы они считали, когда родились их дочери, а Виссарион помнил. И в том, что Лопатин забыл об этом, было что-то русское, а в том, что Виссарион помнил, было что-то грузинское. Тот какой-то особый оттенок пристрастия к детям, который Лопатин не раз чувствовал в самых разных грузинских семьях.

— Из-за нее и поехали в деревню? — спросил он.

— Сначала собирались из-за нее... А когда уже собрались, оказалось, что едем на поминки. Варламу пришла похоронная на сына...

— У него, по-моему, двое,— сказал Лопатин.

— Двое. Старший в прошлом году весной погиб в Крыму, товарищи рассказали, что потонул. А этот, младший, Валико... За него уже давно беспокоились, писем не получали, а тут получили извещение, что он еще в ноябре на перевале погиб... Не написали, на каком перевале, написали «на перевале». Но, я думаю, наверно, на Марухском. Написали: «Погиб смертью храбрых». А может быть, просто замерз мальчик... Варлам, ко-

гда получил извещение, совсем сошел с ума, хорошо, что мы к нему приехали. Тамара хотела после поминок увезти Этери обратно, думала, когда такое горе в семье, нельзя на них взваливать заботу о девочке, но Варлам ни за что не захотел отпускать. Плакал, просил: «Оставьте мне хотя бы ее! Мы совсем одни!» И девочка его пожалела, пришла к Тамаре и сказала: «Мама, я пока останусь у них...» Свою девочку там оставили, вернулись сюда утром, привезли немного кукурузы, вина, лобио. Все-таки в деревне лучше живут, чем здесь... Я подумал сейчас: вдруг бы ты вчера приехал и нас не застал! Как хорошо, что сегодня...

Лопатину снова послышались через дверь женские голоса на кухне, и он спросил:

— Тамара там не одна?

— Они вдвоем,— сказал Виссарион. — Мы сегодня позвали Мишу с женой. Там Тамара и Маро варят харчо. И лобио будет, ты, я знаю, любишь лобио. Миша все время в городе; хотелось немножко их угостить тем, что привезли из деревни. Миша скоро тоже придет.

Виссарион сказал «Миша» как о хорошо знакомом Лопатину человеке; неудобно было спросить: а кто этот Миша? Но Лопатин не вспомнил и все-таки спросил.

— Михаил Тариелович,— сказал Виссарион. — Ты сидел с ним у меня за столом в свой последний приезд. По-моему, два раза.

И когда он сказал — Михаил Тариелович, Лопатин сразу вспомнил человека, о котором шла речь. Он был инженер-путеец, служил на Закавказской дороге, дружил с писателями и сам немножко писал стихи, и даже хорошие, как утверждал любивший хвалить своих друзей Виссарион. Тогда, в тридцать шестом году, этот человек был самым старшим за их столом.

— Он будет рад тебя увидеть,— сказал Виссарион. — Я не все читаю, а он все подряд. Все, что кто-нибудь написал во время войны, все читал. Ночью приходит с работы — и читает. Несколько раз говорил мне о тебе. Скажи, ты счастлив или несчастлив? Как у тебя дома?

— Дома никак. Но счастлив,— сказал Лопатин.

И Виссарион, не спрашивая, как и почему счастлив, сказал:

— Дай тебе бог.

Виссарион был мужчина и знал: можно и нужно спрашивать друзей, почему они несчастливы, но вряд ли стоит спрашивать, почему они счастливы...

Они сидели молча, и Лопатин, глядя на Виссариона, думал о том, о чем уже не раз думал за войну, во время встреч с людь-

ми, которых давно не видел. Война придавала какую-то дополнительную значительность тому хорошему, что было раньше между двумя давно не встречавшимися людьми.

— Многих нет из тех, с кем мы сидели с тобой за этим столом,— после молчания сказал Виссарион и несколько раз задумчиво пристукнул по столу кулаком, словно считал тех, кого нет.

Стол этот — не такой, как сейчас, а раздвинутый, длинный — раньше стоял там, в темной теперь большой столовой. И за ним сидело по многу людей.

Виссарион разжал кулак и недоуменно положил свои сильные руки на стол ладонями вверх, словно безмолвно спрашивая: как это могло случиться, что их нет, людей, сидевших за этим столом? Потом убрал руки и, видя, что Лопатин закурил, потянулся за папиросой.

— Я слышал, в Москве перед войной несколько человек из тех, кого мы с тобой знали, вернулись.

— Несколько вернулись,— сказал Лопатин.

— У нас пока никто.

О некоторых людях, чье исчезновение казалось тогда особенно непонятным, сейчас, во время войны, ходили по Москве упорные слухи, что они тоже вернулись и где-то воюют; даже говорили, что кто-то видел их своими глазами на фронте. И этим слухам очень хотелось верить. И хотелось рассказать о них помрачневшему Виссариону. Но в дверь постучали, и стук гулко отдался в большой пустой квартире.

Виссарион продолжал сидеть неподвижно.

— Это Миша,— сказал он после того, как в парадном еще раз постучали, и пошел открывать.

Михаил Тариелович, вошедший в комнату вместе с Виссарионом, молча обнял поднявшегося ему навстречу Лопатина и молча сел за стол. Он почти не изменился, и раньше был таким худым, что, казалось, не мог похудеть еще больше.

Он был одет тщательно, как человек, собравшийся в гости, в старый отутюженный костюм и белую рубашку с крахмальным воротничком и черным шелковым галстуком. У него была белая серебряная голова и казавшееся темным от соседства этой белизны худое, тонкое лицо. И Лопатин вспомнил, как много и красиво пил когда-то здесь, за столом, этот немногословный немолодой человек со строгим лицом грузинского святого.

— Очень рад снова видеть вас гостем нашего дорогого Виссариона,— сказал он, глядя на Лопатина своими задумчивыми глазами. — Для меня большая радость, что мы снова вместе с вами попробуем его хлеб и его вино. А завтра Мария Ираклиевна и я будем рады, если вы найдете время посетить наш дом.

Он сказал все это на том прекрасном и в его устах звучавшем даже чуть-чуть изысканно русском языке, на котором говорили многие грузинские интеллигенты его поколения,— и Лопатин вспомнил, что, кажется, он после гимназии кончал в Петербурге Институт инженеров путей сообщения. И не акцент, которого не было у него вовсе, а только неповторимые интонации в построении фраз обличали в нем грузина.

— Спасибо, но не смогу, завтра утром уеду,— сказал Лопатин.

— А если мы попробуем удержать вас у себя на несколько дней? — сказал Михаил Тариелович и, едва успев договорить эту такую обычную для довоенного Тбилиси фразу, мягко улыбнулся в ответ на отрицательный жест Лопатина. — Все понимаю. Как говорят теперь в авиации: от винта!

— Завтра к вечеру должен добраться, самое малое, до Орджоникидзе,— объяснил Лопатин.

— Дай бог остаться живыми всем, кто там сейчас воюет,— сказал Михаил Тариелович по-грузински и повторил по-русски. — Вы, помнится, немножко понимали тогда по-грузински?

— Очень немножко. Если б вы не перевели, понял бы только два слова: дай бог! — сказал Лопатин.

— Тогда не будем вас испытывать,— мягко улыбнулся Михаил Тариелович и заговорил о последней сводке, которую только что слушал дома по радио; судя по ней, наши войска начинают обходить Минеральные Воды с севера. Хотя полностью представить себе всю картину трудно.

— А полностью представить себе всю картину иногда и на фронте трудно. Завтра еще нет, а послезавтра буду уже там,— сказал Лопатин.

В нем вдруг прорвалось то нетерпение, которое он испытывал с утра, после принесенной в поезд телефонограммы. Все, что с ним было, было хорошо, но теперь уже пора быть там и что-то делать.

Тамара вошла в комнату со скатертью и тарелками.

— А где Маро? — спросил у нее Михаил Тариелович.

— Не беспокойся, придет и твоя Маро. Уйдите отсюда, покурите. Там темно, но я думаю, вы не испугаетесь? А мы пока накроем на стол. Не люблю, когда вы на это смотрите.

Мужчины вышли в темную переднюю.

Пока в руке Лопатина догорала спичка, от которой все трое прикурили, он увидел знакомые книжные полки во всю длину передней. Раньше они были набиты книгами, а сейчас — наполовину пустые. Так, по крайней мере, показалось в полутьме. «Продает? Хотя кому? Кто их сейчас покупает? Или сжег в печ-

ке то, что не так нужно? — подумал Лопатин о Виссарионе. — Чего только не происходит с книгами во время войны...»

Из передней было слышно, как женщины звякают посудой.

— Бедный Варлам,— вздохнул Михаил Тариелович. — С тех пор как ты мне это сказал, все время думаю о нем.

— Просто с ума сходит,— сказал Виссарион. — Когда провожал нас на поезд, отвел в сторону Тамару и заплакал: «А может быть, мы нашего Валико заживо похоронили? Почему так долго извещения не было? Может быть, это неправда. А мы уже отказались от него, похоронили...» Так, бедный, плакал...

— И все-таки у него остается надежда, если он так говорит,— сказал Михаил Тариелович.

— Нет,— сказал Виссарион. — Если бы у него была надежда, он бы сказал: «Не верю! Не буду его поминать, не буду ничего делать!» Это не надежда, это отчаяние. Когда ему его Нина неудачно родила девочку, и девочка умерла, и доктора сказали, что у них больше не будет детей, он говорил ей: «Не плачь. Бог дал тебе двух сыновей, чего ты еще хочешь от бога?» А теперь смотрю на него и не могу удержать слез. Вспоминаю, как он, когда Реваз родился, бросал в воздух тарелку и стрелял, разбивал на лету! Как он, когда Валико родился, стоя вместе со мной под окном родильного дома, говорил: «Не уйду, до ночи буду стоять, пока не покажут сына!» И такие люди теперь одни. Нашу Этери удержали у себя, просили не уезжать.

— Скажи, Виссарион, вот брат твоей жены обоих сыновей отдал и обоих потерял, а бывает у вас так, что откручиваются от фронта, откупаются? Неприятно спрашивать, но как раз сегодня в штабе фронта слышал скверный разговор об этом. Прости, что спросил тебя, но больше некого; там не захотел ввязываться в этот разговор.

— Конечно, откупаются,— сказал Виссарион. — Конечно, бывает. А разве у вас, в Москве, не бывает?

— Сам не сталкивался с этим, но допускаю, что и там бывает,— сказал Лопатин.

— И у нас бывает. Подлые люди везде есть. И слабые люди везде есть. И готовые на все из-за денег везде есть. И готовые на все из-за своих детей везде есть... В городе бывает, в деревне — не слышал. В деревне все, кого призвали, идут. Когда мы сидели на поминках у Варлама, я посмотрел на Тамару и увидел по ее лицу, что она думает уже не о Варламе, не о его горе, а о нашем мальчике, о нашем Георгии. Что с ним, где он, что с ним будет? Думает о своем горе — что его нет с нею. «Боже мой! — подумал я. — Не могу позволить, чтобы ты сидела и умирала рядом со мной от страха за нашего мальчика. Я дол-

жен что-то сделать, я мужчина! Я всегда делал все, чего бы ты ни попросила, никогда ничего не боялся сделать для тебя. Неужели я сейчас не могу сделать этого для тебя? Я должен вернуть тебе твоего мальчика живым и здоровым, иначе ты умрешь у меня на глазах. Я должен это сделать, если я мужчина! Но если я мужчина, я не могу этого сделать, ты понимаешь? Вот в чем трагедия: если я мужчина!» Я смотрел на Тамару, а потом стал смотреть на соседей Варлама; я смотрел на них и знал, что почти каждая женщина уже лишилась или мужа, или сына, или брата. Почти все, кого там прошлой зимой призвали, попали в Крым, и похоронные пришли почти всем сразу, в июле. И Варламу на его старшего, на Реваза, и его соседям! Каждый день приходил почтальон. Я смотрел на них, собравшихся на поминки к Варламу, и на свою жену, которая сидела рядом со мной и умирала от страха за своего сына. А я, мужчина, ничего не мог сделать! Ты понимаешь это?

— И так до конца войны ничего и не сможешь сделать,— вдруг сказал Михаил Тариелович. — Пока он не вернется и не обнимет мать.

— Виссарион, идите к столу,— раздался голос Тамары. — А то мы уже накрыли и слышим, что ты говоришь. А ты говоришь лишнее, не надо этого говорить.

17

Мужчины вернулись в комнату, и Михаил Тариелович познакомил Лопатина со своею женой, которую тот никогда раньше не видел.

Мария Ираклиевна была высокая немолодая женщина, наверное, ровесница своего мужа. На ее лице было выражение какой-то отчужденности. Здороваясь, она продолжала думать о чем-то своем. У ворота ее глухого темного платья была приколота большая серебряная брошь с бирюзой, не драгоценная, но драгоценной старинной работы. Наверно, наследие какой-нибудь прабабушки, жившей во времена Грибоедова, одна из тех вещей, что носят всю жизнь и про которые думают, что только она и может быть вот так приколота к платью у такой женщины, как эта.

— Садитесь сюда. — Тамара показала Лопатину его место. — А ты, Виссарион, принеси вино.

Виссарион вышел, поманив за собой Михаила Тариеловича, должно быть, вино предстояло налить из бочонка.

— Давно, с начала войны, не пил вина,— сказал Лопатин, с удивлением подумав, что это и в самом деле так.

— Чачи нет, не осталось,— сказала Тамара. — Но по-моему, вы раньше любили вино?

Это была правда — Лопатин когда-то любил вино. Но теперь ему казалось, что это было бог весть когда. Он окинул глазами стол. На столе стояла покрытая крышкой фарфоровая миска, наверно, с харчо, о котором говорил Виссарион. На одной тарелке лежали кукурузные лепешки — мчади, привезенные с собой из деревни, на другой — полкруга деревенского сыра. Был еще соусник с чем-то темным, наверно, с ткемали, и салатница, полная красного, горячего, только что снятого с огня лобио.

По мирному времени это был бедный стол, а по-военному — богатый. Такой, за который теперь не часто садились люди. У приборов стояли граненые стаканы, ничего, кроме них. Виссарион и до войны любил пить из этих стаканов, по-крестьянски. Шутил, что рюмки падают у него из рук, что надо крепче обнимать вино, всей рукой сразу, а не двумя пальцами!

Мария Ираклиевна села, а Тамара, махнув рукой Лопатину, чтобы не поднимался, сама не садилась, ожидая мужчин. Стояла и недовольно оглядывала стол. Хотя понимала, что теперь он богатый, все равно, по старой памяти, продолжала считать его бедным.

Поймав ее взгляд, Лопатин хотел сказать, что все очень хорошо и что он будет с наслаждением есть приготовленное ее руками лобио, но вдруг вспомнил, что как раз вот такое красное лобио в былое время почти никогда не ставили на стол при гостях. Это семейная еда, а для гостей ее варят, когда похороны или поминки... Вспомнил и ничего не сказал.

— Вы уже два раза ранены,— сказала Тамара, задумчиво глядя на Лопатина. — Бедная девочка, она уже два раза могла вас лишиться.

Ничего не знала о его семейной жизни, но женское чутье подсказало ей вспомнить его дочь, а не его жену.

Виссарион и Михаил Тариелович вернулись из кухни. Виссарион нес в руках две темные бутылки со старыми, полусорванными этикетками восьмого номера — кахетинского. Эти наклейки ничего не значили, потому что вино, конечно, было деревенское. И то, что у Виссариона в руках были две бутылки, тоже ничего не значило. Он любил много пить, но не любил, когда на столе стояло много посуды. Потом принесет еще.

— Ты пил у меня это вино,— последним садясь за стол, сказал Виссарион. — Это то самое вино, которое ты пил. Год

на год не приходится, но этот год как раз неплохой для вина, если бы...

Он не договорил, что́ если бы, и стал разливать вино по стаканам. Он вел стол, как всегда, не спеша и не медля, с отличавшей его искренностью. Правда, сказанная стоя, со стаканом в руке, по закону стола приобретала как бы особую, условно приподнятую форму. Но внутри нее продолжало сохраняться то чувство меры, без которой похвальное слово, поочередно обращенное ко всем сидящим за столом, превращается в бессмыслицу и вздор.

Две принесенные с кухни бутылки сменились еще двумя, а потом еще двумя, и Лопатину показалось, что Виссарион уже сказал все, что должен был сказать по праву хозяина стола. И он хотел перебить его и взять слово, чтобы выпить за их уехавшего на фронт сына, но Виссарион, догадавшись, не дал.

— Я благодарю тебя за то, что ты хотел сказать, но пока не кончилось вино... — Он долил вина женщинам и опорожнил последнюю бутылку, налив доверху стаканы мужчинам. — Пока не кончилось вино, мы выпьем за победу. Ничто, кроме нее, не вернет нам с войны наших детей. В том числе и нашего дорогого Гоги. В том числе,— повторил он и выпил до дна.

Лопатин подумал, что это последнее вино, но Виссарион, не присаживаясь, ушел, взяв с собой бутылки, и вернулся с одной, полной.

— А это самое последнее вино,— разливая его по стаканам, сказал он,— выпьем в память тех, кого нет. — Сказал это по-русски и, опустив голову, повторил по-грузински и выпил стакан, оставив на дне несколько капель. Вылил из стакана эти несколько капель вина на кусок лепешки и съел его, стоя за столом, все так же опустив голову и ни на кого не глядя.

Несколько мгновений все молча стояли над столом. Лопатин знал этот грузинский обычай — вот так пить за ушедших, смочив хлеб несколькими каплями вина. Но раньше, до войны, ему это чем-то напоминало причастие, в котором тоже хлеб и вино. А сейчас почувствовал, что в этом есть что-то еще более горькое, великое и простое, напоминавшее обо всем том, что уже полтора года всякий день и час происходило на войне. И рядом со всем этим, происходившим на войне, евангельская история становилась просто историей еще одного самопожертвования, совершенного когда-то одним человеком ради других людей. Уже полтора года войны разные люди по-разному повторяли это самопожертвование, спасая ценой своей жизни жизнь других людей, ложась вместо них в землю без всяких надежд

на вознесение, ложась безвозвратно, часто безвестно, а порой и бесследно.

Виссарион, когда пил за живых, сказал о победе. И так оно и было. Лопатин не представлял себе, когда будет эта победа и какой она будет, но мысль о жизни — и о чужой и о своей собственной — все равно связывалась с мыслью о победе. И в конце-то концов и то, что было под Москвой, когда немцы уже почти дошли до нее, и то, что произошло в Сталинграде, для многих людей, в том числе и для него, было самым настоящим воскресением из мертвых!

Учась в пятом классе реального училища и бегая по урокам, он уже не верил в бога. Но какие-то евангельские понятия, застрявшие с тех пор в голове, так и оставались для него незаменимыми в духовном смысле. Не в смысле духа божьего, а в смысле его собственного человеческого духа.

Так было и сейчас. Он думал о живых и мертвых, стоя над этим столом, а на ум приходило: и «смертию смерть поправ», и «неси свой крест», и «воскресе» из мертвых, и даже те тридцать сребреников, которые получает современный Иуда, чтобы послать на войну сына одной матери вместо сына другой. Потому что без этого «вместо» нигде ничего не бывает, все равно вместо одного идет в тот же час кто-то другой...

Едва опустились за стол, как Михаил Тариелович, опередив Лопатина, снова поднялся и, налив стаканы до половины оставшимся в бутылке вином, сказал:

— За твое здоровье, Виссарион. Пью неполным стаканом, прости меня.

— А что тебе остается делать, когда не хватило вина? — сказал Виссарион. — За хозяина, у которого не хватило вина, можно не пить.

— В дни мира, но не в дни войны,— сказал Михаил Тариелович. — Будь счастлив, Виссарион. — И выпил свой стакан так медленно, как будто он был полным.

Виссарион поблагодарил и, не садясь, вышел из комнаты. Тамара улыбнулась Лопатину:

— Это он пошел искать для вас. Он думает, что у нас еще есть немножко чачи. Но ее нет. Когда мы узнали о несчастье бедного Варлама, я взяла ее с собой в поезд. Виссарион выпил и немного поспал. Он говорит про Варлама, что Варлам был как сумасшедший. Но когда он узнал о несчастье Варлама, он сам был сумасшедший, не помнит, что говорил и что делал. Василий Николаевич, что это за ужас был, этот Крым и эта переправа оттуда, на которой тонули дети! Шестнадцать погибших в одной деревне. И все там. И половина из них мальчики!

— У тебя все мальчики,— хмуро сказал Михаил Тариелович. — Мальчик в восемнадцать лет не мальчик, а мужчина.

— Все равно,— сказала она. — Как это могло быть сразу, в одни и те же дни!

— Так вышло, что призыв из этой деревни почти весь попал туда с нашей грузинской дивизией... — Михаил Тариелович, как показалось Лопатину, испытывал неудобство оттого, что здесь говорилось только об этом.

— Я был там, Тамара,— сказал Лопатин. — В то самое время.

— Я читал все, что вы писали в «Красной звезде»,— сказал Михаил Тариелович,— но об этом ничего вашего, по-моему, не читал.

— А чье вы читали об этом? — спросил Лопатин. — Вы об этом вообще ничего не читали. Слухом земля полнится — вот и все, что вы об этом знаете. И все, что знал бы я, если бы не видел своими глазами.

— Расскажите,— впервые за все время сказала жена Михаила Тариеловича.

— Простите, нет желания,— сказал Лопатин.

— И вы все, что там было, видели? — спросила Тамара, облокотясь на стол и пристально глядя в глаза Лопатину.

— Всего, что там было, наверно, никто не видел,— сказал Лопатин. — А того, что я видел, с меня достаточно.

Но она продолжала все так же, подперев лицо рукой, испытующе смотреть на него.

— И может быть, вы видели там этих мальчиков? Видели погибшего сына Варлама. Он был такой красивый, храбрый мальчик. Его младшего брата призвали, а Реваз ушел сам, добровольцем.

— Все может быть,— сказал Лопатин, подумав про себя, что и правда все может быть.

Да, он мог видеть мальчиков, о которых думает эта женщина. И среди них мальчика, который был ее племянником и, оказывается, ушел добровольно, не дожидаясь, когда его призовут. Он мог видеть их, потому что был как раз в этой дивизии, когда все началось, был и видел, как гибли кругом под обстрелом и бомбежкой и эти мальчики, и обросшие многодневной щетиной, одетые в шинели грузинские крестьяне, немолодые, но казавшиеся еще старше от этой многодневной щетины. И видел потом общий поток отступления. Поток оглушенных неожиданностью происшедшего людей, спешивших вырваться из окружения, скорей пересечь открытую, беззащитную, похожую на страшный полигон для бомбежки, обычно безлюдную, а тут

усеянную живыми и мертвыми степь Керченского полуострова. Да, он видел там отступавших по ней людей — русских, и украинцев, и азербайджанцев, и армян, и грузин,— все они шли по ней, все приникали к ней под бомбами. Да, он мог видеть там и ее мальчиков из села Каспи, откуда она вернулась с поминок. Но ему не хотелось говорить об этом. Он был благодарен переменившемуся времени. То, что происходило теперь в Сталинграде, и на Дону, и в Сальских степях, и здесь, на Кавказе, помогало не то что забыть — забыть этого нельзя,— но хотя бы отложить куда-то на будущее мысли, почему тогда под Керчью все так получилось. Время оттесняло их потому, что, как бы там ни было, все равно на войне сегодняшний день важнее вчерашнего.

Он вспомнил бомбежку там, в степи, в первый день трагедии, когда еще не поняли, чем это кончится, как он ехал с коноводом из штаба армии в дивизию, и как их застала в открытой степи эта бомбежка, не на передовой, а еще в тылах, и как под этой бомбежкой рота застигнутого на марше пополнения, плохо обученные люди, вместо того чтобы пошире разбежаться по открытой степи и лечь порознь, ложились кучками, словно они могли еще чем-то помочь друг другу, если будут вместе. И хотя это было вопреки инстинкту самосохранения — это был тоже инстинкт, еще более сильный: не оказаться одному перед лицом смерти, быть рядом с кем-то. Они с коноводом спешились. Сначала хотели лечь на землю, держа лошадей на длинном поводу, но, напуганные воющим пикированием «юнкерсов», лошади плясали и рвали поводья. И лечь было нельзя, потому что лошади бы убежали, а надо было ехать дальше. А стоять было страшно даже между двумя лошадьми. Коновод сделал такое движение, словно хотел взять у него повод и дать ему возможность лечь. Но как ни тянуло Лопатина броситься на землю, он не принял этого молчаливого самопожертвования и продолжал стоять вместе с коноводом, стараясь прикрыться лошадьми и борясь с ними, чтобы не вырвали поводьев. И оттого, что лошади бесновались и было трудно их удержать, хотя бомбежка еще продолжалась, необходимость делать что-то еще, а не только бояться за свою жизнь, уменьшала страх...

Виссарион вернулся с недовольным видом.

— Я искал для тебя чачу. Где-то она была, в какой-то бутылке. Правда, немного. Ты не знаешь? — спросил он Тамару.

— Нет, не знаю.

— У вас все такое же вкусное ткемали,— сказал Лопатин, обмакнув кусочек лепешки в подливку.

— Это не мое,— сказала Тамара. — Я не варила в этом году.

— Хотите, я прочту вам стихи? — спросил Лопатин.

Он снова вспомнил, как их мальчик Гоги читал тогда стихи Бараташвили. Лопатин тоже помнил их наизусть и тоже любил их, и ему захотелось прочесть их сейчас матери этого мальчика за этим столом, как живое напоминание о нем, о том, что он был здесь и снова будет. Он так и сказал:

— Я прочту то, что читал когда-то ваш Гоги. Тогда он читал, теперь я, а в следующий раз будет снова он. А я приеду послушать.

Он слыхал от грузин, что стихи, которые он собирался прочесть, переведены далеко от подлинника, но все равно хотел прочесть именно их:

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

Он прекрасен без прикрас,
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.

Это цвет моей мечты,
Это краска высоты,
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

Это синий, негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.

Сейчас, за этим столом, стихи звучали совсем не так, как они звучали когда-то. Тогда это были стихи рано умершего Бараташвили, написанные о собственной судьбе и предугаданной смерти. А теперь это были стихи не о том, что было сто лет назад, а о том, что сейчас, о собственной судьбе и собственной смерти.

Конечно, они напоминали об этом и тогда, но не с той остротой, совсем не с той остротой, что сейчас...

Он закончил и по глазам Тамары понял, что она чувствует то же, что и он, и думает не о Бараташвили, а о сыне.

— Еще,— сказал Виссарион. — Я люблю, когда ты читаешь стихи.

И хотя Лопатин не думал раньше читать этих строф из слышанной недавно в Москве поэмы одного из их общих с Виссарионом друзей, но стихи Бараташвили, все это синее и голубое в них вдруг напомнили ему строчки: «Синий, синий...»

И, еще не ведая, что творит, он начал читать прямо с этих строчек:

Почему в глазах твоих навеки
Только синий, синий, синий цвет?
Или сквозь обугленные веки
Не пробьется никакой рассвет?

И тогда, из дали неоглядной,
Из далекой дали фронтовой
Отвечает сын мой ненаглядный
С мертвою горящей головой:

«Не зови меня, отец, не трогай,
Не зови меня, о, не зови!
Мы идем нехоженой дорогой,
Мы летим в пожарах и крови.

Я не знаю, будет ли свиданье.
Знаю только, что не кончен бой.
Оба мы — песчинки в мирозданье,
Больше мы не встретимся с тобой...»

— У него сын погиб,— сказала Тамара.

Она безошибочно поняла, что эти стихи не могли быть написаны о ком-то другом. Могли быть написаны только о своем сыне и своем горе.

— Да,— сказал Лопатин, казня себя за то, что прочел их.

— Бедный Павел,— сказал Виссарион. — Значит, правда, что его сын погиб. Я сразу понял, когда ты начал читать. Сколько ему было лет?

— Восемнадцать,— сказал Лопатин, понимая, что чем дальше он будет отвечать на вопросы, тем будет тяжелее, но не отвечать было уже нельзя. Не отвечать значило думать на их глазах о смерти их сына, бояться похожего.

— А где это было? — спросил Виссарион.

— Под Москвой. Он называл мне это место, но я забыл.

— А кем он был? — снова спросил Виссарион.

— Младшим лейтенантом.

Потом молчали. И было в этой потрясенности людей, думавших и о чужом и о своем, что-то глубоко человеческое. Такое

же глубоко человеческое, как и в непривычно звучавшем слове «дети». Дети — об ушедших на фронт. Да, дети. Да, не отмененное, а только оттесненное войной, грустное в своей силе, горькое в своих предчувствиях, но все-таки нормальное, именно нормальное человеческое чувство ценности человеческой жизни. И даже не ценности, а бесценности и невосстановимости никак и ничем.

— Скажи, сколько обычно человек в пехотном взводе? — вдруг спросил Виссарион.

— Человек сорок — пятьдесят,— сказал Михаил Тариелович. Он был участником первой мировой войны и, наверно, вспомнил о ней.

— Сейчас нет,— сказал Лопатин. — Сейчас двадцать пять — тридцать. А в ходе боев, конечно, меньше.

Насколько меньше, остановился, не сказал. Да и как это сказать, когда понимаешь, почему спрошено.

— Ну, пусть двадцать пять,— сказал Виссарион. — Все равно не могу понять, как он может командовать двадцатью пятью людьми, когда ему нет девятнадцати лет.

Сказал о сыне с такой тоской в голосе, что Лопатин понял: когда полгода назад сын пошел не прямо на фронт, а на пехотные курсы младших лейтенантов, может быть, Виссарион и помогал, и где-то в глубине души хотел хоть немножко отодвинуть сына от смерти этими курсами, а сейчас вдруг представил себе, как ему там на фронте, как он командует двадцатью пятью солдатами, которые почти все старше его. Хотел отодвинуть от смерти, а может быть, наоборот, придвинул к ней. «Об этом скажет свое последнее слово только война»,— подумал Лопатин и увидел глаза Тамары, тревожно смотревшие на Виссариона.

Нет, в этом доме все совсем не так, как кажется с первого взгляда! Еще неизвестно, кто из них двоих больше умирает от страха и тревоги за сына, он или она, и кто из двоих сильней, и кто из них первым найдет в себе силы жить дальше и поведет за руку другого, если, не дай бог, и в этом доме случится беда.

Виссарион прослезился, вытер глаза рукой и сказал:

— Иногда завидую Мише. Оказалось, что он больше мужчина, чем я.

— Бо́льшим мужчиной, чем ты, невозможно быть, Виссарион. — Михаил Тариелович улыбнулся, не принимая того горького тона, которым сказал это Виссарион. — Просто мой Вахтанг — давно мужчина, и давно в армии, и давно на войне. А твой Гоги еще год назад был мальчиком. И ты, мужчина, еще не можешь привыкнуть к тому, что он тоже мужчина. И мы с Маро пять лет назад не могли привыкнуть, что наш Вахтанг сам поднимается в воздух. Как так, без нас, сам поднимается в воздух?

«Так вот откуда «от винта»! — подумал Лопатин. — Значит, его сын летчик. О том, что сын Миши на фронте, Виссарион, когда пил за здоровье их семьи, сказал, а кто он, не сказал».

— Где он у вас летает? — спросил Лопатин.

— В Ленинграде. Он в морской авиации,— сказал Михаил Тариелович. — Он, как и я, немножко ленинградец: я был перед началом той войны, а он стал в начале этой. А вы не были в Ленинграде? По-моему, я ничего вашего не читал.

— Не был,— сказал Лопатин. — Два раза собирались послать туда, но в последний момент отправляли на другие фронты.

— Как у Блока,— сказал Михаил Тариелович. — «Жизнь без начала и конца, нас всех подстерегает случай». Почему смеетесь? Не любите Блока?

— Нет, собственным мыслям.

Лопатин усмехнулся потому, что, услышав эти строчки Блока, вспомнил редактора, в кабинете у которого его обычно «подстерегал случай», и подумал, что редактор, наверно, не читал Блока. «Двенадцать», конечно, читал, а что-нибудь другое — навряд ли.

— Нет, я люблю Блока,— сказал он вслух. — И как раз «Возмездие» больше всего.

— Помните? «Стоит над миром столб огня...» — прочел Михаил Тариелович и остановился, ожидая, что Лопатин подхватит. Но Лопатин не подхватил, и он дочитал до конца строфы сам:

И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

Дочитал и остановился. Лопатин смотрел на женщин. Они молча сидели рядом, чем-то похожие, а чем-то непохожие друг на друга. Может быть, тем, что одна из них была матерью воина, а другая — матерью ушедшего на войну мальчика. Две грустные грузинские женщины, и у каждой из двух — своя грусть. У одной — старая, устоявшаяся и при всей своей глубине и силе все равно уже привычная. А у другой — новая, только что возникшая, режущая, как битое стекло.

Да, именно так, как у Блока:

И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон...

Хотя у него сказано совсем не о том, но, наверно, в этом и есть главный смысл поэзии. Сказано об одном, а думаешь о другом. Сказано о других, а думаешь о себе.

— Мне надо идти. — Лопатин поднялся.

Виссарион стал удерживать его, предлагал остаться заночевать, и он подумал, что Тамара, наверно, как это бывало раньше, присоединится к мужу. Но она не присоединилась, сказала:

— Отпусти его, Виссарион. Если он останется у нас ночевать, ты не дашь ему покоя. А ему нужно поспать перед дорогой.

Сказала не как о госте, которого по правилам гостеприимства надо удержать в доме, а по-матерински просто, словно он был не сорокашестилетним человеком, а товарищем ее сына, уезжавшим туда же, куда уехал он. И, прощаясь в темной передней, при свете огарка, обняла и перекрестила уже одетого в полушубок Лопатина.

Михаил Тариелович с женой жили через три дома, и, простившись с ними, Виссарион пошел дальше провожать Лопатина.

— А у тебя есть ночной пропуск? — спросил Лопатин.

— Есть,— сказал Виссарион. — Я же теперь служащий, могут вызвать в любую минуту. — И, пройдя несколько шагов, спросил: — Как думаешь, попадешь к нам в Тбилиси, когда будешь возвращаться с фронта?

— Навряд ли. Если дела пойдут хорошо, скорей всего полечу в Москву прямо оттуда, где окажусь. И так вышло целое кругосветное путешествие. Даже опоздал к началу наступления. Ответь мне, Тамара верит в бога?

Виссарион ответил не сразу. Несколько шагов шел молча, потом сказал:

— Не говорил с ней об этом. Но думаю, сейчас верит. Раньше не верила, а сейчас верит. Как и многие. Иногда и самому хотелось бы верить. И жаль, что не можешь,— добавил он, снова помолчав.

«Да, это верно,— подумал Лопатин. — Иногда жаль, что не можешь. Несколько раз за войну было жаль, когда думал, что уже не выберешься и не увидишь с того света, как все будет дальше».

— Выезжаешь в восемь? — спросил Виссарион, когда они уже дошли до редакции и остановились у подъезда.

— В восемь.

— Правильно, лучше не задерживаться. Как там со снегом на Крестовом перевале?

— Говорили, что лежит, но машины идут. Чистят и пробиваются.

Они молча обнялись. И Виссарион уже после этого еще на секунду задержался — кажется, хотел сказать про сына, чтоб постарался увидеть его! Наверно, так. Хотел, но не сказал, повернулся и пошел.

18

По дороге на перевал несколько раз застревали в снегу или стояли и ждали, когда пробьются застрявшие впереди машины. Но все-таки, выехав в восемь, к двум часам дня добрались до перевала.

Старый курортный ресторанчик был наполовину заметен снегом снаружи. А когда вошли в него, оказалось, что и внутри под выбитыми окнами намело сугробы. И все-таки в углу в полуразвалившемся очаге горел огонь, и несколько человек, сгрудившись у очага, жарили на палочках шашлыки.

Лопатин прихватил из машины опустевший за дорогу вещевой мешок, и они втроем — с тассовцем и водителем — тоже пристроились внутри — перекусить. Перекус был небогатый: сухари и кусок сыра да холодный чай во фляжке у тассовца.

Трое жаривших шашлыки грузин — водители шедших через перевал грузовиков — сначала потеснились у огня, а потом протянули по палочке шашлыков. Отказаться не было сил, и Лопатин с наслаждением сжевал несколько тощих кусочков полусырой, пропахшей дымом баранины. К несчастью, не оказалось ничего выпить — ни вина, ни водки ни у них, ни у поделившихся с ними хозяев огня.

Съели шашлыки, запили чаем и, поблагодарив, поехали дальше. Теперь уже вниз и почти без задержек. Водитель тассовской «эмки», молоденький солдат-грузин, гнал вовсю по петлявшей туда и сюда дороге. До перевала он был неразговорчив, переживал, что не удается никого обогнать, а теперь, показав свою удаль, рискованно обогнав два десятка машин, повеселел и стал рассказывать, как хорошо было здесь все до войны. Лопатин знал это, но не перебивал. Слушать, как здесь все хорошо было раньше, было почему-то приятно.

— Братья есть? — спросил Лопатин.

Оказалось, что нет. Есть четыре сестры, а сын он единственный. «Еще один мальчик,— подумал о нем Лопатин, вспомнив вчерашние разговоры. — И тоже единственный, как у Виссариона. И тоже на какой-то тбилисской улице боятся за него. Хотя и с меньшими основаниями, чем Виссарион. Одно дело — младший

лейтенант в пехоте, другое дело — водитель у корреспондентов. Но мать и сестры все равно боятся именно за этого. И я бы, наверно, несмотря на все доводы рассудка, боялся за него, будь он моим сыном. Все-таки хорошо, когда у тебя никого нет на фронте. И когда не ты сам думаешь о ком-то, а кто-то другой — о тебе. Сестра думает, дочь думает... И еще та женщина в Ташкенте... С Ташкентом два часа разницы; сейчас там шесть, уже вечер...»

Он уже знал, что не напишет ей письма, пока не вернется в Москву. И не только потому, что неизвестно, сколько оно пройдет полевой почтой отсюда, с Кавказа, в Ташкент, а еще почему-то. Словно он будет вправе написать ей, только еще раз съездив и еще раз вернувшись...

Тассовец спал, нахлобучив ушанку, отвалясь головой в угол машины. На поворотах его тяжело, всем большим телом, бросало от одной к другой стенке, но он не просыпался. Его голову мотало из стороны в сторону, но на молодом лице была написана полная безмятежность. А глаза были так крепко зажмурены, словно он дал зарок проспать до конца всю дорогу. Так самоотверженно спят после бессонной и счастливой ночи, проведенной с женщиной.

Вечером, в темноте, заправляясь бензином на окраине Орджоникидзе, уже решили было там и заночевать, но, пока заправлялись, разговорились с подъехавшим к заправке на другой «эмке» капитаном из дорожного управления фронта, и тот сказал, что, по его сведениям, штаб Северной группы войск находится или в Прохладном, или около и он думает быть там к ночи.

Лопатин, как это водилось с ним, когда он добирался до фронта, пожадничал и спросил у водителя, в силах ли тот ехать дальше.

— Почему не в силах? Они тоже из Тбилиси едут! Машина одинаковая — «эмка». Мы их на перевале обогнали, у них радиатор кипел, у нас — нет. Раз они доедут, мы доедем!

И в двенадцатом часу ночи все-таки доехали.

Проснувшийся в Орджоникидзе тассовец предлагал водителю поспать, повести вместо него машину, но тот не уступил руль и через силу, но доехал до Прохладного сам.

Ночевать воткнулись прямо в комендатуре. Искать ночью что-нибудь другое сил уже не было, хотя комендант подтвердил, что второй эшелон штаба Северной группы войск находится еще здесь, в Прохладном, а командование перебралось на пятнадцать километров дальше в сторону Минеральных Вод. В одной половине дома помещалась сама комендатура, а в другой, на нарах,

сбитых во всю длину, вповалку спали люди. Там и примостились на ночь.

Водитель хотел ночевать в машине, боялся ее оставлять, но Лопатин проявил несвойственную ему в начале войны, но за полтора года приобретенную настойчивость и добился разрешения загнать машину во двор комендатуры. Водитель слил воду, заполз на нары между Лопатиным и тассовцем и заснул раньше, чем лег.

Когда Лопатин проснулся, было уже светло. Ни водителя, ни тассовца не было — наверно, поехали выяснять обстановку.

Лопатин сел и спустил ноги с нар. Рядом с ним сидел всклокоченный человек — должно быть, тот самый, который ночью мешал ему спать, несколько раз будил его, крича сквозь сон и раскидывая в стороны руки. Один раз даже засветил со всего маху по физиономии.

Лопатин искоса посмотрел на него, потирая ушибленную, до сих пор болевшую скулу.

— Здорово вы пихались во сне,— сказал он. — Сдачи хотелось дать.

— Возможно,— сказал сосед. — Сплю беспокойно.

У него на петлицах были значки военюриста, запекшаяся ссадина во всю щеку и под глазом огромный отек от ушиба.

— Часом, не сами себя стукнули во сне? — спросил Лопатин.

— До этого не дошло. Наяву навернулся, когда приземлялся под бомбежкой.

— Сильно бомбят?

— Не особенно. Но вчера не повезло.

Они познакомились, и военюрист объяснил Лопатину, как ему вчера не повезло, а верней, повезло. Не повезло другим. Вчера утром, только что выехав отсюда, из Прохладного, в сторону фронта, они попали со своей «эмкой» под бомбежку. «Эмка» сгорела, а всех трех его спутников — председателя трибунала, машинистку и водителя — убило прямым попаданием у машины, там, где легли. Он тоже выскочил из машины рыбкой, но в другую сторону, чем они, и только ударился лицом о мерзлую землю.

— Вчера задержался, чтобы похоронить их,— сказал военюрист. Он, покривясь от боли, усмехнулся, но на его наполовину белом, наполовину сине-багровом лице вышла не улыбка, а гримаса. — Поеду теперь работать, как в первые дни Советской власти. Все законы у меня сгорели и кодексы тоже. И трибунал убитый.

Из дальнейшего разговора, когда выпили по кружке чая, выяснилось, что этот военюрист — прокурор в армии Ефимова —

будет сегодня добираться до своих. Штаб армии к ночи был в районе взятого вчера утром поселка Советское, в тридцати пяти километрах на северо-запад отсюда.

— Поедем вместе,— сказал Лопатин. — Мой товарищ вернется, уговорю его. Я тоже хочу прямо к Ефимову.

Тассовец, который, как и предполагал Лопатин, ходил за информацией, вернувшись, сказал, что наступление по прямой на Минеральные Воды вчера замедлилось: немцы усилили сопротивление, но правее, в обход Минеральных Вод, по-прежнему идет быстрое продвижение.

— Как раз у вашего Ефимова,— добавил он, зная из вчерашних разговоров, что Лопатин знаком с Ефимовым.

— Вот давайте прямо с утра туда и махнем,— сказал Лопатин.

Но тассовец не хотел махнуть туда прямо с утра, а хотел, наоборот, задержаться в Прохладном, где через час должен был начаться траурный митинг, после митинга сходить на узел связи, а потом сообща разобраться с машинами, чтобы им, тассовцам, двигать дальше уже на своей, а краснозвездовцам — на своей.

Однако Лопатин, заранее вбив себе в голову что-нибудь связанное с работой, не любил отступать и, уломав тассовца, добился своего. Договорились, что Лопатин сразу после митинга все-таки поедет к Ефимову и завтра к вечеру вернется сюда, а тассовец, оставшись здесь, напишет и отправит свой материал о митинге в Москву. Он считал, что это важней, чем несколько строк о взятии еще какого-нибудь населенного пункта, и по-своему был прав.

Водитель поехал добывать горючее, а Лопатин пошел на митинг вместе с прокурором и тассовцем.

Когда дошли до привокзальной площади, митинг уже начался. На грузовике с откинутым бортом стоял худой батальонный комиссар. Он говорил с непокрытой головой, стискивая в руке ушанку и от волнения напрягая голос так, словно площадь была очень большая, хотя она была маленькая.

Рядом с батальонным комиссаром в кузове грузовика стояли мужчины и женщины в гражданском, те, кто должен был выступить вслед за ним. Вокруг грузовика стояла толпа, тоже гражданских. Не так уж много, но на этой маленькой площади казалось, что их все-таки много.

С утра морозило. Площадь была в ямах и выбоинах, затянутых тонким, ломавшимся льдом. Грязный снег был разъезжен колесами и растоптан людьми.

Люди, собравшиеся на площади, были оборванные, истощенные, придавленные оккупацией, еще не распрямившиеся от нее.

Такие, словно не только по этому грязному снегу, лежавшему на площади, а по ним самим проехала колесами и прошла ногами война.

Говоривший с грузовика батальонный не был опытным оратором, из тех, кто заранее знает, что и в каком порядке надо сказать. Он перескакивал с одного на другое, возвращался, вспоминал забытое, повторял сказанное, то запинался, то переходил на крик, то забывал фамилии убитых немцами людей и замолкал, утыкался в список и заново повторял их. Но во всей его неумелой, неораторской речи было что-то, что сильнее всякого умения говорить: он говорил об убитых и замученных с такой силой сострадания, словно сам только что воскрес из мертвых и вылез из могилы, где лежал вместе с ними, словно всего, что было, могло не быть, словно кого-то еще можно было вскресить, позвать обратно, сюда, к живым людям, оттуда, из противотанковых рвов и известковых ям, где они были закопаны.

К концу его речи Лопатин оказался гораздо ближе к грузовику. Пока батальонный говорил, толпа надвигалась, все теснее обступая грузовик.

Наконец, истратив весь голос, словно его и надо было весь до конца истратить здесь, на площади, перед этими людьми, словно после всего сказанного он уже никому не будет нужен, батальонный сорванно, хрипло прокричал: «Смерть немецким оккупантам!» — и поднял зажатую в руке шапку, но не надел, а наотмашь вытер ею глаза и без голоса, одними губами сказал что-то стоявшему рядом с ним мужчине в гражданском — должно быть председателю райисполкома. И тот, тоже стащив шапку и как-то отчаянно мотнув головой, стал громко одно за другим добавлять имена и фамилии людей, еще недавно живших здесь, на этих улицах, вокруг этой площади, а сейчас уже неживых. Называл сначала фамилии, а потом каждый раз полностью имена и отчества, словно читал какой-нибудь документ, хотя говорил по памяти. И, вставив между двумя мертвыми слова: «А еще...» — снова называл фамилию, имя и отчество. И опять «а еще», и опять фамилия и имя-отчество. И опять «а еще». И от этого «а еще» казалось, что он никогда не кончит.

После него говорила старая женщина, похожая на учительницу. Начала ровно, спокойно, даже заглядывала в бумажку. Потом заплакала. Снова прочла несколько фраз по бумажке и снова заплакала и, махнув рукой, отвернулась.

А потом взрослые подтолкнули вперед девочку. На ней была шинель с обрезанными полами и солдатская ушанка, наверно доставшиеся с какого-то мертвого, потому что живые солдаты не носят при себе по две шинели и ушанки, чтобы давать их

девочкам. Из-под ушанки у нее торчали в стороны две косички. Лицо было спокойное, а руки она, как только вышла, заложила назад за спину, как будто собиралась читать стихи на школьном вечере.

Она говорила, держа руки за спиной, и лицо у нее было спокойное, и голос тоже. Ровный, тонкий, хорошо слышный, мертвенно-спокойный голос, которым она рассказывала оттуда, с грузовика, как немцы повесили ее отца и мать и как все это было, потому что все это было у нее на глазах. И говорила о них: не отец и мать — а каждый раз называла их: папа и мама. И в том, как она их называла — папа и мама,— этим своим тонким, хорошо слышным голосом, было что-то невыносимое.

Толпа начала шевелиться и всхлипывать. А она все повторяла оттуда, с грузовика, своим тонким, ровным голосом: папа, мама, папа, мама.

Уже давно ехали по степи, а у Лопатина в ушах все еще стоял этот голос.

Прокурор, сев в машину, долго молчал, а потом сказал, что вчера днем, когда хоронил товарищей, встретился с врачами, производившими эксгумацию сваленных в известковые ямы взрослых и детских трупов; врачи говорят, что эти люди были умерщвлены каким-то еще неизвестным способом; есть уже два показания жителей, что у немцев работала какая-то газовая машина смерти...

— Что за машина? Никогда раньше не слышал,— сказал Лопатин.

— Неизвестно, какая машина. Пока не захватили. Но двое показали, что она была здесь. А медицинская экспертиза заставляет думать, что смерть наступила от удушья.

Прокурор замолчал, и Лопатин не стал больше расспрашивать про эту газовую машину. Он уже привык, что на войне, где всегда в достатке действительно страшного, вдруг то здесь, то там вспыхивали слухи о всяких страстях-мордастях, в которые он обычно не верил: то об отравленных пулях, то о фашистских смертниках, прикованных цепями к пулеметам...

«Газовая машина»,— подумал он и мысленно перевел на немецкий во множественном числе: газмашинен. И оттого, что сначала перевел, а потом мысленно произнес по-немецки, в этом слове появилось что-то реальное и неумолимое: «Газмашинен»...

Они ехали все дальше и дальше по голой степи. И чем дальше ехали, тем все ближе надвигалась на них война своими уже привычными приметами. Санитарный автобус, грузовики с пу-

стыми снарядными ящиками — это оттуда, навстречу. Потом жиденькая колонна пленных — человек в двадцать с двумя конвоирами — тоже оттуда. Потом неполная, человек в пятьдесят, рота — должно быть, пополнение — туда. Воронки справа от дороги, потом слева, потом опять справа. И около одной из них — торчащая из-под снега черная нога. Испуганно шарахнувшаяся в сторону от машины собака с костью в зубах. Немецкий танк со свороченной башней, а немного подальше, прямо на дороге, сгоревший бронетранспортер, тоже немецкий.

Чувствовалось, что наступление шло здесь пока что без больших боев. Наверно, немцы поспешно отходили, прикрываясь подвижными заслонами.

Объехав бронетранспортер, обогнали солдата, шедшего, опираясь на дрючок, в сторону фронта. Лопатин приказал водителю остановиться и, открыв дверцу, спросил дохромавшего до машины солдата, куда он идет.

Солдат объяснил, что имел вывих ноги; идет из госпиталя, догоняет свою часть. И, не дожидаясь дальнейших вопросов, полез в карман за медицинской справкой.

— А где она, ваша часть? — не став смотреть справку, спросил Лопатин.

Солдат махнул рукой вперед.

— Говорят, вчера в Советском была. Скоро развилок будет с указателем: «На Соломенское». А мне от этого развилка влево.

Соломенское был тот пункт, где, как предполагалось, сегодня, с утра, находится оперативная группа армии Ефимова, и Лопатин сказал солдату, чтобы садился в машину — подвезет его до развилки.

Солдат был из тех, кого в армии числят старичками, и оказался словоохотливым. Пока ехали пять километров до развилки, он, радуясь собеседникам, отвечал на вопросы Лопатина о первых двух днях наступления, дальше он ничего не знал, потому что как раз подвихнул ногу, а потом рассказал про себя, что в молодости на гражданской воевал здесь же, недалеко, в Ногайской степи, в отрядах по борьбе с бандитизмом, а в эту войну уже два раза ранен и имеет «За отвагу»; что сам из-под Барвенкова, вдовый и бездетный, жена померла перед самой войной, а хата, как написали соседи, от немца сгорела; только это и успели ему написать, перед тем как немцы во второй раз заняли Барвенково, и теперь у него одна дума: после войны найти где-нибудь вдову при хате и присоединиться к ней.

— Если смерть миную,— добавил он строго, без улыбки. — Смерть — салопница; она, жадюга, кого хочешь подгребет, ей все

годны. Главное, чтоб не зря пропасть. Сперва доказать, а после умереть. Так и так, если живой будешь, все равно не навсегда! В мои года даже при лучшем настроении больше двух десятков навряд ли прожить! Я, когда в бою, располагаю так: чему быть, того не миновать. Располагаю так: хоть трясись, хоть пой, хоть плачь, а уж от пули не уйдешь, коли она вышла тебе. По одному веку всем дадено, а двух веков никому не жить. Раз напал враг, надо что-то с ним делать. А что с ним сделаешь? Не ты его, так он тебя.

Он говорил все это без удальства, с верой в правоту и силу своих слов. Хотя, конечно, говорил не в первый раз и не первому человеку, и чувствовалось, что считает свои слова поучительными для других. Но в то же время это был его собственный, действительный взгляд на жизнь и смерть. Взгляд, в соответствии с которым он поступал на войне так, а не иначе.

«Да, так и есть, раз враг напал, надо что-то с ним делать,— подумал Лопатин. — Короче, сколько ни думай, не скажешь».

Он вспомнил великую актрису, хотевшую знать, как ей там, в Ташкенте, ставить пьесу о войне, и без самоуничижения подумал, что, как ни старался, все-таки не сумел дать ей почувствовать то, что сам чувствовал сейчас, слушая этого солдата, самого главного на войне человека, который в конечном счете сам за себя решает, как ему быть: лечь или подняться, выстрелить или не выстрелить, побежать или устоять. И при всей вере в силу приказа, и даже при всем значении этой веры — все равно это так!

У развилки лежал на боку длинный немецкий штабной автобус. На его продырявленной осколками крыше какой-то остроумец выцарапал штыком: «Что такое, вас ис дас? Немцы драпают от нас!» А рядом была прибита дощечка с указателем: «На Соломенское».

Солдат вылез и, прихрамывая, пошел по переметенной снегом дороге налево, а машина поехала направо, к Соломенскому.

По дороге уже без указателя, наугад, свернули еще раз вправо и ошиблись: выехали не к Соломенскому, а к трем домикам у подножия круглого, похожего на курган холма; в них стоял штаб дивизии.

До этого все по дороге было или разбито, или сожжено, а эти домики были пощажены войной. Но война была здесь ближе, чем там, по дороге. Вышли из машины, и сразу стало хорошо слышно, как невидимые отсюда, за холмом, отрывисто бьют наши пушки. Где-то совсем близко были их огневые позиции.

Майор, начальник штаба дивизии, посмотрев документы Лопатина, сказал, что они заблудились, взяли километров на во-

семь вправо. Чтобы попасть в Соломенское, в оперативную группу штаба армии, надо возвращаться и брать влево. Но если Лопатин хочет увидеть командующего армией, то командующий как раз здесь. Приехал в их дивизию, потому что остановилось продвижение. Немцы впереди, на рубеже Горькая балка, оказывают сопротивление. Если по прямой — в трех километрах. Командующий с командиром дивизии на наблюдательном пункте, на следующей высотке, в двух километрах отсюда.

— Как обогнете наш курган, прямо перед собой ее увидите. Если поедете,— добавил майор.

— Поеду,— сказал Лопатин.

Ехать сразу же туда, вперед, не хотелось, но что-то не позволяло остаться тут, не доехав до командующего армией, который там.

— Повнимательней только,— сказал майор.— Он снаряды бросает, бьет беспокоящим. А так не запутаетесь, дорога одна!

Прокурор остался в штабе дивизии, а Лопатин сел в машину и поехал. И как только выехал из-за кургана, понял, что путаться и правда негде. Впереди, в двух километрах, полого поднималась еще одна высотка, с длинным кирпичным строением у подножия.

По сторонам от наезженной в неглубоком снегу колеи попадались воронки с разбросанными вокруг них черными комьями вывороченной земли.

Лопатин опустил стекло и, высунувшись, смотрел вперед. Он боялся обстрела. С отвычки боялся больше обычного и знал, что боится.

Вдали справа были видны огневые позиции нашей артиллерии. Она стреляла вперед, за высотку. И хотя это били свои пушки, все равно в их выстрелах было что-то тревожное. Тоже с отвычки.

В кирпичном строении у подножия высотки, наверное, была раньше животноводческая ферма. Все стекла выбиты, ворота сорваны; к одной стене привалена гора занесенного снегом навоза, к другой приткнулись «эмка» и «виллис».

Лопатин приказал водителю приткнуть машину рядом с ними и, взяв с сиденья полевую сумку, которая до этого лежала в чемодане, надел ее через плечо поверх полушубка.

— Товарищ майор, зачем здесь остановились? Такой подъем — почти до верха можем взять! — азартно предложил водитель.

— Верю, что можете, но все-таки ждите меня здесь,— улыбнувшись его задору, сказал Лопатин и стал подниматься по склону.

Он поднялся вдоль провода связи почти до вершины и уже видел головы и спины людей, стоявших на гребне в неглубоком змеевидном окопе. Один из них, смотревший туда, за высотку, оторвался от бинокля и повернулся. А в следующую секунду позади Лопатина разорвался первый снаряд.

До окопчика было шагов тридцать, и, наверное, надо было попытаться добежать до него. Но Лопатин бросился плашмя на землю, больно ударившись грудью о свою неловко подвернувшуюся под ребра полевую сумку.

Немцы били по высотке. Снаряды рвались то ближе, то дальше. Лопатину несколько раз казалось, что этот снаряд последний, и он загадывал, что если этот снаряд последний, то его уже не убьют и вообще все в его жизни будет хорошо. В разные дни войны он по-разному думал и о своей жизни, и о своей смерти. Но сейчас, думая и о жизни и о смерти, думал о той женщине в Ташкенте...

Но снаряды продолжали рваться, и когда наконец наступила тишина и он, еще не решаясь встать, оглушенно приподнялся с земли на локтях, то увидел, как сверху, из окопчика, к нему бежит человек.

— А мы думали, вас убило,— радостно улыбаясь, сказал подбежавший капитан. — Пойдемте, командующий приглашает на НП.

Лопатин оглянулся: полевая сумка лежала на снегу с оторванным ремнем. Он поднял ее и пошел вслед за капитаном.

— Здравствуйте, Василий Николаевич, милости прошу,— сказал Ефимов, когда Лопатин, потеснив людей, набившихся в узком окопе, подошел к нему. — Узнал вас издали перед началом артналета. Реакция у вас хорошая. Первый близко разорвался!

Он снял папаху и, ударив ею о колено, стряхнул комочки земли.

— Неприятно было — в землю носом почти у цели,— сказал Лопатин.

— На войне вообще мало приятного.— Ефимов надел папаху на свою бритую голову и повернулся к стоявшему рядом с ним полковнику: — Знакомьтесь, наш хозяин, командир дивизии полковник Шелыганов. А это товарищ Лопатин из «Красной звезды», о котором доложил нам с вами ваш начальник штаба. Мой одесский соратник! Позвоните, Андрей Иванович, артиллеристам, проверьте, как подготовлен огонь. Надо начинать.

Полковник пошел по окопу, а Ефимов сказал Лопатину:

— Рад увидеть живым и здравым!

— И я рад! — сказал Лопатин. И неожиданно для себя добавил: — А я у вас дома был.

— Где дома? — спросил Ефимов так, словно у него не было и не могло быть никакого другого дома, кроме войны.

— На бывшей вашей квартире в Ташкенте. Я через Ташкент ехал.

— Ну и как там, не набезобразничали товарищи артисты? Картинки мои висят?

— Висят.

— Что докладывают? — повернулся Ефимов к подошедшему командиру дивизии.

— Докладывают, что готовы. «Катюши» подъехали и стали на позицию.

— Тогда с богом. Командуйте. — Ефимов с биноклем в руках облокотился на бруствер окопа.

Лопатин тоже выглянул. Впереди видна была змеившаяся по лощине полоса льда, похожая на реку.

А за этой полосой льда виднелись дома.

— Это и есть Горькая балка? — спросил Лопатин стоявшего рядом с ним адъютанта.

— Да,— сказал тот. — И протока — Горькая балка, и поселок — Горькая балка. Должны взять его сегодня.

Впереди было видно движение подходивших к заледенелой протоке цепочек пехоты и слышалась пулеметная стрельба. Артиллерия пока молчала.

«Какое же сегодня? Восьмое? — подумал Лопатин. — Если считать с утра девятнадцатого, с той бомбежки по дороге в Москву, на объезде у Погорелого городища,— двадцать дней без войны. Да, так. И так и не так. Потому что...»

Он не успел додумать. Сзади ударили «катюши». Их чиркавшие прямо над головой желтые стрелы с ревом падали там, впереди, все плотней загораживая черным забором взрывов еще минуту назад хорошо видный поселок Горькая балка...

МЫ НЕ УВИДИМСЯ
С ТОБОЙ...

1

Дочь приехала к Лопатину в госпиталь, в Тимирязевку, когда все опасное было уже позади. Да и вообще все самое опасное было там, в армейском госпитале, под Шепетовкой, где он лежал первые две недели после ранения. А когда его перевезли сюда, в Москву, он уже был вполне жилец на этом свете.

Сюда, в одну из офицерских палат Тимирязевки, дочь привез Гурский. Обычно он вырывался из редакции накоротке через два дня на третий, чаще при всем желании не выходило, и Лопатин удивился его появлению сегодня, второй день подряд.

— Что вы там, забастовку, что ли, редактору объявили? — спросил Лопатин, увидев Гурского в халате, нацепленном на одно плечо, поверх синей редакционной спецовки, в свою очередь надетой поверх его любимого рыженького пижонского костюмчика.

— Как себя ч-чувствуешь? — продолжая стоять в дверях, спросил Гурский. — П-почему сегодня лежишь, а не ходишь?

— Потому что вчера им опять не понравилась моя плевра. И лечащий дружески посоветовал полежать впритык до комиссии, а то не выпишут.

— Так что появление п-прибывшей издалека особы женского пола не подорвет твое п-пошатнувшееся?

«Неужели она так-таки явилась в Москву и он приволок ее сюда?» — подумал Лопатин о своей бывшей жене и сказал, что его здоровье теперь может выдержать все, что угодно.

— Тем более что я п-привез совсем не то, что ты п-подумал,— усмехнулся Гурский и, притворив дверь и оборотясь назад в коридор, сказал: — Он в п-полном п-порядке, заходи.

В палату вошла дочь — длинная, широкоплечая, неузнаваемая, похожая на себя прежнюю только своим прежним детским лицом — больше ровно ничем. Шагнула в дверь, на секунду остановилась, перемахнула палату своими голенастыми ногами и,

затормозив на полном ходу, обхватила отца руками сзади, под подушкой. И, почувствовав ее осторожность, Лопатин вспомнил, что она уже второй год ходит на дежурства ночной санитаркой в госпиталь, там у себя, в Омске, поэтому и обняла через подушку, и боится прижаться, только тычется губами в щеки.

— Не бойся, как бы сама не запищала! — сказал он, крепко прихватывая ее за плечи и с удовольствием чувствуя, что он уже почти здоров и руки у него все такие же сильные, какими она помнит их с детства.

— Не запищу,— счастливо сказала она, оторвалась и посмотрела на него своими зелеными круглыми материнскими глазами на детском лице. И все-таки, нет, не на таком уже детском, каким оно было два года назад, когда она провожала его под Харьков. Лицо стало шире и заострилось в скулах, и губы стали шире — уже не детские, а женские губы. «Большая, совсем, совсем большая девочка!» — подумал Лопатин.

Продолжая глядеть на него, она несколько раз подряд моргнула, но не заплакала.

— Не д-дочь, а кремень! — сказал Гурский, подсевший на табуретку с другой стороны койки. — У меня, старого циника, п-понимаешь, очки вспотели, а она не п-плачет.

Он снял очки и стал протирать их носовым платком — кто его знает, шутил или серьезно, с ним никогда не знаешь до конца.

— А я никогда не плачу,— сказала Нина с вызовом в голосе. И, смутившись, добавила: — Больше никогда не плачу. — Вспомнила, наверное, как тогда, в сорок втором, уткнулась отцу в шинель и зарыдала при том же самом Гурском, которому сейчас сказала, что никогда не плачет.

— В общем, близко к истине,— сказал Лопатин, глядя в неизвестно как попавшие сюда вдруг из Омска зеленые круглые глаза дочери и вспоминая обильные и незатруднительные слезы ее матери.

— Кто тебя привез?

Лопатин повыше подтолкнул под себя подушки и сел на кровати.

— Сюда — Борис Александрович,— сказала Нина, поворачиваясь к Гурскому.

— Не Борис Александрович, а дядя Боря. Мы с т-тобой договорились об этом всего д-два года назад, не так давно, чтоб уже забыть.

Она улыбнулась. И Лопатин улыбнулся вместе с ней, подумав, что в ее семнадцать — пятнадцать — это очень давно.

— Сюда д-доставил я, а в Москву наш с тобой редактор,— сказал Гурский.— Вызвал меня в кабинет час назад и сказал: «Г-гурский, сегодня каким-то поездом должна приехать из Омска дочь Лоп-патина. Я ее вызвал, и ее отправили. Но я п-потерял листок, где записан этот поезд. Найдите ее и отвезите к Лопатину. Но при этом п-помните, что за вами к двадцати часам п-передовая».

Но не успел я выйти от него, как мне п-позвонил вахтер, что меня ждет внизу какая-то б-барышня. А поскольку своим б-барышням я кат-тегорически запретил переступать п-порог редакции, я сразу п-понял, что это твоя дочь и у нее хватило ума самой добраться до редакции.

— Я бы и госпиталь сама нашла,— сказала Нина.

— Этого я уже не доп-пустил, и вот она перед тобой. Вы поговорите, а я п-перекурю в коридоре. Тем более что мне полезно подумать над п-передовой. Такие вещи он никогда не забывает, это не бумажка с п-поездами.

Гурский оглядел палату, спавшего завернувшись с головой в одеяло левого соседа Лопатина и сидевшего в халате на своей койке правого соседа, с интересом слушавшего их разговор.

— Майор, будь человеком, п-пойдем покурим вместе мой «Казбек», если к-курящий.

— Курящий, но капитан,— поднимаясь с койки, сказал сосед справа.

— Ну так будешь майором! В таких случаях важно не ошибиться в п-противоположную сторону.

Они вышли.

— Этот отсыпается за три года войны,— кивнув на спящего соседа, сказал Лопатин,— железа набрал в себя за троих, а нервы так и не расшатал. Абсолютно невредимы.

— Я сама, когда дежурила, удивлялась, как некоторые спят. Одни совсем не могут спать, а другие спят и спят,— сказала Нина.

— И я, несмотря на боли, сначала все спал. Как объясняли врачи — от потери крови.

— Я знаю. А какие боли, отчего?

— Отчего боли бывают? Оттого что болит.

Он хотел отшутиться, но она строго прервала его:

— Папа, не говори со мной, как с мамой! У лечащего врача спрошу, если сам не объяснишь. Расскажи все сначала.

Ее слишком уж требовательная серьезность чуть не заставила его улыбнуться.

— Ладно, сначала так сначала! Но чтоб не повторяться — что и от кого ты уже знаешь?

— Ничего я ни от кого не знаю. Я же прямо с поезда,— сказала она укоризненно.

— А Гурский? — спросил он, подавив в себе желание погладить ее по волосам.

— Твой Гурский только шутит. «Сейчас увидишь своего отца-молодца. Он в п-полном п-порядочке и все тебе лично д-доложит». — Она сердито передразнила Гурского, но не выдержала и улыбнулась тому, как это хорошо у нее вышло. — Я только знаю наизусть твою телеграмму: «Получил сквозное пулевое грудь, переправлен Москву, всякая опасность миновала. Не верь никаким болтовням. Отец». Так? — спросила она, выпалив наизусть телеграмму.

— Так. И цени, что написал как взрослой,— прямо тебе, а не тетке.

— И правильно. И хорошо, что я без нее получила. Я потом два дня ее готовила.

— Сдала она? Сильно? — с тревогой спросил Лопатин, помнивший краеугольный характер своей старшей сестры и не представлявший, чтоб ее нужно было к чему-нибудь готовить.

— А что ты думаешь? — горько, по-взрослому сказала Нина. — Конечно, сдала. Знаешь, как сейчас учителям?

— Догадываюсь.

— У нее в классе, где она классной руководительницей, больше чем у половины уже отцов нет. А она двадцать шестой год в этой школе, и все считает и считает, скольких ее бывших учеников убили. Она почти про всех знает, ей говорят. Недавно пришла домой и заплакала — из-за какого-то Виктора Подбельского,— что его убили в сорок пять лет, что он второгодник, из самого ее первого после революции выпуска, что у него уже внуки. А потом перестала плакать и говорит: «Теперь мне сто лет». Я говорю: «Тетя Аня, какие же вам сто лет?» — «Нет, говорит, теперь, после этого, мне сто лет. И я больше жить не хочу. Буду жить, потому что нужно, но не хочу». И Андрей Ильич,— вздохнула Нина и остановилась.

— Что — Андрей Ильич? — спросил Лопатин.

Андрей Ильич был муж его старшей сестры.

— По-моему, он потихоньку умирает,— сказала Нина. — Но по нему не так заметно, он все время больной, как я приехала. А тетя Аня, она, знаешь, в этом году вдруг... — Она подыскивала, как бы получше объяснить отцу это «вдруг», а он все равно не мог поверить, что сестра стала другой, чем та, к которой он привык.

Дочь замолчала и выжидающе посмотрела на него. И он рассказал ей о том, что с ним было, помня, что Гурский курит и ждет в коридоре.

История с ним вышла довольно глупая, хотя и не такая уж редкая для этой весны. Отправив во время осады Тарнополя две корреспонденции по телеграфу, он после взятия города был вызван в редакцию и поехал в Москву с третьей, начерно написанной статьей в полевой сумке. Глупость состояла в том, что, боясь напороться на бандеровцев, он не рискнул ехать глядя на ночь с другими корреспондентами из-под Тарнополя в штаб фронта — перенес на утро. Корреспонденты накануне ночью проехали благополучно, а он среди бела дня нарвался на обстрел в лесу. Незнакомый шофер, которого ему дали, чтоб добраться до штаба фронта, вместо того чтобы гнать дальше, махануЛ из «виллиса» в кювет, а он, еще не успев схватиться за баранку, получил пулю в грудь. И на том бы и окончил свои дни, если бы не шедший сзади «студебеккер» с какой-то командой. Солдаты открыли огонь из автоматов по лесу. Бандеровцев, как видно, было кот наплакал; они смылись, шофер вылез из кювета, случившийся в команде санинструктор перебинтовал грудь; через три километра стрелка с крестом показала налево, на какую-то медицину, и через двадцать минут — на стол!

— Рана удачная,— заключил он. — Навылет и без особых последствий, кроме потери крови. Уже через две недели отправили сюда, в Москву, это говорит само за себя, тем более тебе — медичке. А телеграмму дал, потому что в Москве языки длинные и — чтоб страшней — любят отсчитывать от сердца: еще бы на сантиметр левее или правее — и все, конец! Вот и дал на всякий случай!

— А почему у тебя боли потом были? — спросила Нина. — Пневмоторакс получился?

— Смотри какая дошлая! Нет, миновала чаша сия. А боли были потому, что плеврит. А потом где-то прохватило,— может, в самолете, пока сюда везли,— кашель, а кашлять мне и до сих пор еще нельзя. И курить нельзя, и неизвестно, когда будет «льзя». А очень хочется.

— Еще бы! — Она погладила его по голове, как маленького.

— Слушаю тебя про тетю Аню,— сказал Лопатин, возвращаясь мыслью к старшей сестре. — Не верю, что надо было ее готовить к тому, что я ранен. Не в ее натуре такие нежности.

— Ну и не верь, а я знала, что надо. Она весь день в школе держится, и дома, при Андрее Ильиче, держится. А при мне не может. При ком-то же надо? Она тебе письмо со мной прислала, но про себя ничего не пишет, все только про меня, чтоб ты не оставлял меня в Москве: это мне вредно, тем более если ты опять

на фронт уедешь, а мама за это время вернется, что я вам не мячик,— и так далее.

— Ты что, читала? — спросил Лопатин.

— Она мне сама дала. Сказала: «Испытывать твое любопытство не собираюсь — на, читай». А я совершенно и не собиралась оставаться в Москве.

Она вынула из старенького школьного портфельчика, с которым пришла, письмо и отдала отцу. Он взял и положил на табуретку под очешник.

— Потом прочту. В Москве оставаться не собираешься, а что ты собираешься?

— Побуду немножко у тебя, вернусь, кончу школу, пойду на курсы сестер — на дневные, потом поработаю еще два-три месяца там же у нас, в Омске, в госпитале — меня обещали взять. Стану настоящей хирургической сестрой и уйду в армию. А что?

— Ничего,— сказал Лопатин, прикинув, через сколько же все это будет: через месяц кончит школу, потом курсы медсестер и эта практика в госпитале... Значит, к началу будущего — сорок пятого... — Остается только одно — ускорить дело.

— Какое дело? — не поняла она.

— Известно какое! Которое на войне делают. Чтобы такие, как ты, при всем желании на нее не попали. Не успели. Не удивляйся. Не только у вас, и у родителей могут быть дурацкие мечты. У вас одни, у нас — другие. От матери писем не получала?

— Последнее время нет,— сказала Нина. Она не хотела говорить с ним о матери. — А ты что, против того, чтобы я кончила курсы медсестер и пошла на фронт? Вот уж никак от тебя не ожидала.

— Наверное, нет, не против,— сказал Лопатин,— просто не привык еще к этой мысли. Два года не видел, была маленькая, стала большая. Растерялся.

— Ну да, растерялся!

— Кто тут у вас раст-терялся? — входя, спросил Гурский.

— Папа,— сказала Нина.

— Я бы тоже на его месте раст-терялся. Прощался с какой-то тощей козявкой, нос да косички, а теперь одних ног п-полтора метра. Не красней, д-дурочка, много ног — это хорошо, если только они не за счет головы. Ну, и довольно о твоей внешности. Посмотри на меня и зап-помни на всю жизнь, что внешность — дело десятое. А теперь слушайте меня. — Он усмехнулся над собой, но все-таки произнес эту, хорошо знакомую Лопатину, фразу, которая значила, что Гурский уже все решил — и за себя, и за других. — Ее план, который она изложила мне п-по дороге, а

тебе, очевидно, еще нет: если тебя не выпишут раньше ее отъезда, жить здесь в госпитале и раб-ботать временной санитаркой. Мой план — в принципе одобрить ее п-план, но внести коррективы. П-поскольку она приехала из Сибири, немытая как чушка, я немедленно сажаю ее в «эмку», где лежат ее скромные, как говорили в таких случаях в старину, п-пожитки, и везу к себе домой, где моя мама, Берта Б-борисовна, кормит ее всем, что у нас есть, моет ее всем, что у нас есть, и кладет спать на двух креслах и одном ст-туле. Д-девочка, запомни на всю жизнь, что запк ост-танавливать нельзя, они от этого б-болеют и в конце концов умирают. Завтра утром, как только п-проснется редактор, я объясню ему твое желание, и он позвонит начальнику госпиталя, без которого никто тебя здесь не ост-тавит. Наш редактор — генерал, а генералы обладают даром уб-беждения. Не возражай мне, тут нет ничего неудобного, ты же просишься в санитарки, а не в премьерши ансамбля песни и п-пляски! Твой отец останется здесь и до завтрашнего утра будет думать, что ему с тобой делать д-дальше. А ты поедешь ко мне и будешь до завтрашнего утра есть, мыться и сп-пать у меня дома, в п-промежутках удовлетворяя нездоровое любопытство моей мамы, Берты Б-борисовны. Лично я сп-пособен удовлетворить чье угодно любопытство, кроме маминого. Посмотрим, как с этим сп-равишься ты. Ну так к-как? — повернулся он к Лопатину.

— Ты, как всегда, умней всех.

— Спасибо. Мое тщеславие удовлетворено, и мы удаляемся, потому что мне некогда, п-передовая есть п-передовая.

Нина, поднявшаяся, когда вошел Гурский, подсела к Лопатину на кровать, поцеловала его и тихо спросила:

— Ты согласен, так все будет правильно?

Он ничего не сказал, только кивнул.

— П-пошли. — Гурский взял за руку Нину и двинулся к дверям, но остановился. — Тебе пришло в редакцию п-письмо от ее матери, и я хотел было вернуться и отдать его тебе втихую, без твоей дочери, но в последний момент уст-тыдился, это было бы не по-товарищески по отношению к ней. — Он отпустил руку Нины, подошел к Лопатину и отдал ему письмо Ксении. Судя по толщине конверта, наверное, длинное. Лопатин посмотрел на дочь, и ему показалось, что она тоже заметила толщину конверта.

— Это она, наверное, тебе про обмен квартиры. Она мне еще три месяца назад написала про это, просила, чтоб я на тебя подействовала.

В голосе ее был недетский холодок.

— П-пошли. — Гурский снова взял ее за руку и потянул за собой из палаты.

2

Лопатин положил письмо Ксении на табуретку, туда же, где лежало письмо сестры, и, закрыв глаза, вспомнил дочь маленькой, семилетней, когда они с Ксенией отводили ее первый раз в школу. У нее и тогда были длинные-предлинные ноги, и он дразнил ее жирафой, но она не обижалась: жирафы ей нравились за то, что они быстро бегают. А потом она стала нескладным подростком, у которого все было не так, как хотелось матери. «Ну почему, почему? — говорила Ксения. — Я во время своих мучений думала только о красивом, а она все больше и больше похожа на тебя».

Родила она легко, едва успев доехать до родильного дома, но, вспоминая роды, всегда повторяла слово «мучения», оно ей нравилось, а то, что ее дочь похожа на Лопатина, не нравилось потому, что у нее с самого начала все было задумано по-другому, чтобы Нина была похожа на нее и все обращали на это внимание.

А теперь Нина была не похожа ни на кого из них двоих. Вдруг снова появились длинные ноги, только не тогдашние тонкие, как у жеребенка, а стройные и сильные, как у бегуньи, и вся стать не материнская — с покатыми плечами и доброй ленью,— а какая-то задорная, размашистая. А лицо — как групповой фамильный портрет.

Лопатин усмехнулся. Вся нелепость их семейной жизни с Ксенией, вся их несоединимость друг с другом, словно в насмешку, отпечатались на лице дочки: прекрасные глаза Ксении и между ними его, лопатинский нос. Да, не повезло девке с этим носом, хорошо бы не оседлывать его еще и очками, обойтись без этой наследственности. Он уже раз спрашивал ее в письме, как с глазами. Отвечала, что хорошо. Но может быть, все-таки послать ее к окулисту, пока она будет здесь в госпитале?

А тогда в школу они с Ксенией вели ее за руки, один за одну, другой за другую. И Ксения потом любила вспоминать этот день, а если на нее нападала меланхолия, говорила, что это был последний счастливый день в их семейной жизни.

Это была неправда. Счастливые дни в определенном смысле этого слова были у них и потом, иначе не прожили бы еще семь лет. А счастливых дней в том идеальном смысле, который имела в виду Ксения, уже давно не было и до этого. Просто была запомнившаяся Ксении умильная картинка: папа и мама, держа один за правую руку, другая — за левую, вели дочку в первый класс школы начинать новую жизнь. Вели каждый за свою руку и думали об ее будущем каждый по-своему.

И еще Ксения любила говорить, что ей потому так вспоминается этот день, что он, Лопатин, постепенно лишил ее радости — следить за тем, что происходит с девочкой в школе. «Да»,— без раскаянья подумал Лопатин. Сначала и не думал лишать, а потом как-то само собой постепенно вышло, что лишил. После ее глупых, а в сущности, безнравственных разговоров с учителями все, что было связано со школой, раз и навсегда взял на себя. Да и не так уж это было и трудно. Сладкая возможность говорить об этом как о лишении стала для Ксении привычной и вполне заменила ей то, чего она лишилась.

Он подумал о ее письме, которое ему предстояло прочесть.

Да, конечно, живя с ней, по каким-то пунктам он никогда ей не уступал. Таким пунктом была работа, те не подлежавшие семейному обсуждению четыре часа в день, когда Ксения могла хоть кулаками стучать в запертую дверь его комнаты, грозя слезами, ссорой, уходом — чем ей заблагорассудится. Таким пунктом были его поездки, иногда далекие и долгие, от которых, уже решившись, он никогда потом не отказывался, хотя перед каждой из них выяснялось, что она не желает оставаться без него одна — вначале это было вполне искренне, впоследствии — вполне неискренне. Но где кончилось одно и началось другое, он затруднился бы ответить.

Третьим пунктом была дочь и то, что он считал ее воспитанием. Оно сводилось к тому, чтобы стараться быть справедливым и не становиться на сторону дочери только потому, что она твоя дочь; знать, что она думает, то есть требовать от нее правды, и самому говорить ей правду. Во всяком случае, о себе. В сущности, он хотел, чтобы их дочь стала им, а не Ксенией. И его жена, хотя и не сразу, поняла это.

Вот, пожалуй, и все пункты, где он стоял на своем, и, сколько ни пробовала сдвинуть его Ксения, так и не сдвинула.

А вся остальная их жизнь шла через пень-колоду, в духе полного взаимонепонимания, как пошутил когда-то Гурский, заставший клочок их семейного быта в первое лето войны.

В невеселом старом анекдоте, кончавшемся утренней просьбой женщины: «Ну, а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь», было что-то, горько напоминавшее ему его собственную семейную жизнь. Так это бывало и у них — только не просьба, а требование: «Ну, а теперь скажи мне, что ты меня уважаешь!» И сколько раз он все исполнял это требование, исполнял уже в ту пору, когда тянуло ответить: «Нет, не уважаю». Но как после такого ответа жить вместе завтра и послезавтра?

Чем беспощадней он думал сейчас о своей жизни с Ксенией, тем ясней ощущал, что одно из двух: или безнравственно вспо-

минать так о женщине, с которой прожил пятнадцать лет, или, раз не можешь вспоминать о ней по-другому, значит, безнравственно было жить с ней — если не с самого начала, то с какого-то дня и часа. Есть что-то непростительно рабское в многолетней власти чужого тела над твоей, чужой этому телу, жизнью.

«Но отлетела от любви душа, а тело жить одно не захотело»,— вспомнил он читанные ему вслух на фронте стихи одного из нынешних молодых поэтов. Вспомнил и усмехнулся простоте решения задачки. В жизни у него вышло потрудней, душа-то отлетела, а тело все-таки захотело жить и дальше, и еще долго и унизительно хотело. Унизительно не потому, что домогался,— нет, этого не было, с этим все, как говорится, было у них хорошо. Но в самом этом «хорошо» было тоже что-то унизительное, какая-то — черт ее знает — игра в жмурки с человеком, на которого потом, развязав глаза, смотришь как на что-то чужое и несовместимое с тобой.

Мысли были не новые, только более жестокие, чем обычно. Приехавшая сегодня девочка с ее желанием, кончив курсы медсестер, ехать на фронт, была оправданием его стойкости в той прежней семейной жизни. Но рядом с собственной стойкостью собственная слабость казалась еще очевидней. А письмо Ксении хочешь не хочешь — все равно надо читать, а прочитав его, что-то делать, потому что письмо толстое, а толстые письма она пишет, когда для нее надо что-то сделать.

Скосив глаза на письмо, он бессмысленно представил себе, что Ксении вообще не было. Просто-напросто не было, нет и не будет — ни раньше, ни теперь, ни потом.

Он резко повернулся на койке, чтоб взять письмо, и чуть не вскрикнул: ребро почти срослось, но при каком-то, еще не уловленном до конца, движении давало себя знать — задевало плевру.

Оттягивая необходимость читать письмо Ксении, он спачала взял все-таки письмо от сестры.

«Я рада, что она едет к тебе, она учится хорошо и, если не задержишь ее дольше недели, школу кончит нормально. Не вздумай оставлять ее с собой. Думай о ней, а не о себе. До сих пор тебе это удавалось. Ты будешь уезжать и приезжать, а она — болтаться без тебя в Москве, куда в любой момент может явиться ее мать. Наедине с этой проблемой ей пребывать еще рано. Пусть возвращается, кончает школу и идет на курсы медсестер. Влияние не мое, а хирурга из госпиталя, где она дежурила, но я одобряю. Иногда слышу, что мы, педагоги, до войны как-то не так воспитывали своих учеников. Не уверена в этом. Заранее воспитывать в детях готовность убивать себе подобных не бра-

лась и не берусь. Бралась и берусь воспитывать в них только честь и совесть, которые продиктуют им, как поступать в жизни, в том числе на войне. Столкнулась с людьми, думающими иначе, в том числе с человеком, который при этом считает себя педагогом, а меня пацифисткой. Скажи свое мнение об этом своей дочери. Она склонна считать, что прав он, а не я, потому что он воевал, он инвалид войны, а я — не воевавшая и не нюхавшая войны старуха. Что не воевавшая — верно, что не нюхавшая войны — неправда: нюхала и нюхаю ее каждый божий день. Медики — не педагоги. Медики всегда правы. Тем более когда война. Пусть идет в медики. Я — за это. Не давать живому делаться мертвым — самая бесспорная профессия. Письмо дам прочесть твоей дочери. Обо всем этом с нею не раз говорено. Мой Андрей Ильич шлет тебе привет, он, к сожалению, плох. Нина объяснит тебе. Будь здоров. Анна».

«Интересно, кто этот инвалид войны из педагогов, не новый ли директор их школы, с которым Анна Николаевна уже успела схлестнуться?»

Лопатин вспомнил, как вскоре после его женитьбы Анна Николаевна, остановившись у них в Москве, вечером выслушала первую исповедь Ксении, а утром съехала от них к своим знакомым.

Ксения плакала и говорила, что ни в чем не виновата и ничего не понимает.

Лопатин поехал объясняться с сестрой, которая заявила ему, что нежелание его жены разобраться в собственных чувствах, прежде чем вываливать их на первого попавшегося родственника, есть не что иное, как привычка жить за чужой счет,— не за счет чужого кармана, а за счет чужой души, что еще хуже.

Выслушав это, Лопатин спросил ее: «А что ты сказала Ксении?» — «Сказала, что я дура, не способная выдерживать рассказы жен об их отношениях с их мужьями. И она с сожалением посмотрела на меня как на действительную дуру, которая лишает себя в жизни самого интересного. А тебе скажу другое: думаю, что вы с ней — люди, живущие по разным духовным законам, и тебе предстоит одно из двух: или найти в себе силы и заставить ее жить по твоим духовным законам, или поднять руки вверх. Что-нибудь третье вряд ли возможно!»

Тут она ошиблась. Вышло как раз третье. Ксения продолжала жить по своим духовным законам, а он — по своим. Другой вопрос, что его старшая сестра не считала это жизнью.

Нет, судя по ее письму, тетка не так уж сдала, как показалось племяннице. Может быть, девочке било в глаза несоответ-

ствие между силой духа и слабостью плоти и у нее появилось материнское чувство по отношению к больной старухе? Перед соблазном побольше взять на себя сильные натуры беззащитней слабых.

Да, сильная. Так ему казалось по некоторым письмам дочери, показалось и сегодня. Хотя война перетолкла на его глазах в одной ступке все поколения, все-таки хуже всего он знал тех, кому сегодня еще нет полных семнадцати, тех, которые в большинстве своем еще не были и, дай бог, не будут на войне! Как увидеть и понять войну их глазами? Что-то он уже понял из ее писем, пришедших за эти годы из Сибири; что-то, но далеко не все. Там, на дежурствах в госпиталях, главным звуком войны для этих девочек был стон раненого. Салюты — это по радио. А ночью в палате — стон и бормотание, вопль боли, клокотанье предсмертной пены в горле. И, слыша этот, именно этот звук войны, все-таки решение — на курсы сестер, а потом — на фронт. Так что же там, внутри, под этой решимостью? Жажда участия в чем-то самом-самом трудном и самом-самом страшном, последствия которого — все эти костыли, культи, дренажи, гной, перевязки с отмачиванием, со скрипом зубов? Боязнь разминуться пусть с самым тяжелым, но и с самым главным в жизни, не пропустить его? Или просто желание быть не хуже отца и там, где он? Или, наконец, какой-то уехавший на фронт добровольцем мальчик, провожая которого поклялась оказаться там же, где он, и верит, что это возможно? Война идет уже скоро три года, а представления, какая она на самом деле и как мало на ней зависит от собственного выбора,— все еще нет.

3

— Василий Николаевич, в шахматы не сыграете?

Лопатин открыл глаза. Оказывается, он, задумавшись, так и полусидел на койке с закрытыми глазами, словно это помогало лучше вглядеться в душу дочери.

Над ним, держа под мышкой шахматную доску, стоял вернувшийся после долгого перекура капитан.

— Нет, Миша, сейчас не сыграем. У меня еще почта не дочитана. — Лопатин взял с табуретки письмо Ксении и кивнул на продолжавшего похрапывать под одеялом соседа. — Сыграйте с полковником, ему пора и побудку объявить.

— Мне с ним неинтересно,— сказал капитан. — Я ему фору даю, а вы меня, как фриц в сорок первом, бьете и бьете; закаляете мою волю к победе.

— Коли так — на ночь глядя сыграем партию. Закалять, конечно, закаляю, но до выписки побед надо мной не ждите. Когда у вас комиссия?

— Сейчас сказали, как и у вас,— через три-четыре дня.

— Тем более. Перелома в наших с вами военных действиях не произойдет.

— Не думал тогда о вас в Крыму, что вы так сильно в шахматы играете,— сказал капитан.

— Не думали, потому что я казался вам старым, не способным ни на что лопухом, а вы мне — нахальным адъютантиком. Только потом, когда везли Пантелеева и вы над ним полдороги проплакали, понял, что вы другой, чем сначала подумал.

— А я часто вспоминаю Пантелеева,— сказал капитан.— Особенно этой весной, когда Крым обратно брали, часто думал — как его нам теперь не хватает.

— А не приходило вам в голову, как ему тогда не хватало вас, теперешних? С вами, с теперешними, Крыма-то, наверное, не сдали бы! А с вами, с тогдашними, пришлось сдать. А как было сделать, чтобы все мы с самого начала войны оказались не тогдашними, а нынешними,— не берусь ответить. Хотя иногда фантазирую — пересаживаю на машине времени всех нас с нашим нынешним опытом обратно, в начало войны,— и не сдаю немцам Крыма. Да и многого другого.

— В шахматы и то обратно ходов не берут. А на войне тем более,— сказал капитан. — Раз не будете со мной играть, пойду в коридор, кого-нибудь поймаю. — И, уже направляясь к дверям, спросил: — А ваша дочь в шахматы играет?

— В письмах не сообщала, но все возможно. Завтра спросите сами.

— С вашего разрешения, спрошу.

— Можно и без разрешения.

— Смотрите, Василий Николаевич, я ведь неженатый.

— Спасибо, что напомнил, теперь буду следить в оба,— улыбнулся Лопатин, с запоздалым удивлением подумав, что его дочери семнадцать и для нее, как это ни странно, уже может иметь значение, женат или не женат этот двадцатипятилетний гвардии капитан Велихов, с его тремя пулевыми ранениями и с его тремя орденами и золотой звездочкой в несгораемом ящике в канцелярии госпиталя.

Десять дней назад он явился из другой палаты в эту с костыликом и шахматной доской под мышкой:

— Товарищи офицеры, разрешите обратиться. Тут сестричка мне доложила, что кто-то из вас имеет не то первую, не то вторую категорию по шахматам.

— Насчет второй не знаю, а первую когда-то имел я,— сказал Лопатин. — А вы?

— А я уж было за вторую зацепился, но война помешала. Сыграем?

— Сыграем,— ответил Лопатин и, пока, сев на табуретку и прислонив к стене костылик, капитан расставлял шахматы, внимательно смотрел на него. Этого человека Лопатин где-то видел. Но что-то мешало узнать его: то ли выбоина под глазом в скуле, придававшая странную асимметрию его пригожему лицу, то ли халат и костыль, то ли фронтовая бывалость в повадке и хрипотце голоса, не совпадавшие с мелькнувшим в голове воспоминанием. И только когда капитан протянул на выбор зажатые в кулаках пешки, совсем близко увидев его молодые, намного моложе остального лица глаза, Лопатин вдруг и сразу вспомнил все.

— Скажите, Велихов, я не ошибаюсь, это действительно вы? — спросил он, хотя уже знал, что не ошибся.

И, достав из-под подушки, надел очки, которые иногда снимал, потому что устаешь целыми днями лежать в очках.

— Вот теперь и я бы сразу вас узнал,— обалдело сказал Велихов. И долго и осторожно тряс ему руку.

Да, как ни странно, это был все тот же Велихов, ставший из свежеиспеченного адъютанта при большом начальстве командиром стрелкового батальона в той же самой своей, некогда Особой крымской армии, в сорок первом отдавшей, а теперь в сорок четвертом обратно взявшей все тот же самый Симферополь.

Там, в третий раз за войну, тринадцатого апреля этого года он был ранен в ногу на той самой улице, по которой они в сорок первом ночью везли убитого Пантелеева. Где и как был ранен — рассказал в первый же день, а что, ворвавшись в Симферополь в голове своего батальона, получил за это золотую звездочку — только на третий, объясняя, почему он, капитан, попал в эти палаты для старших офицеров, где по большей части лежат от майора и выше. Было в этом нынешнем Велихове что-то заядлое, когда он говорил о войне. Беспощадно ругал себя и других за все, что в разное время не смогли или не сумели, хотя был не дурак и понимал, что войне за один день не научишься. И в шахматы тоже играл заядло, холодея от страсти и упрямо веря, что в конце концов хоть одну партию, а выиграет. И хотя ему оставалось до выписки всего несколько дней, но, чтобы наиграться до упаду, добился своего и перевелся вчера к Лопатину на освободившееся место. И была в его страсти к шахматам не только любовь к самой игре, а еще и какая-то сила заведенной на всю войну пружины.

И жалко было сейчас отказать и не сыграть с ним партию, и не так уж хотелось читать толстое письмо Ксении. Но надо было заставить себя и прочесть.

Письмо Ксении начиналось просьбой никуда не уезжать. «Я сначала ужасно переволновалась за тебя, когда узнала, впрочем, думаю, ты все понял из моей телеграммы».

Из ее телеграммы он понял, что она со старанием сочинялась и, наверное, не раз читалась по черновику знакомым. В телеграмме было написано, что, как бы ни складывались их отношения, она всегда беспокоилась за него и всегда молила и будет молить бога, чтоб он остался жив и невредим. В бога она не верила, но «молить бога» было сейчас модно — во всяком случае, среди актрис. Вот она и молила.

Теперь в письме предполагалось, что он уже успел выздороветь и готов снова ехать на фронт, но не должен делать этого, пока она не приедет в Москву. «Дождись меня, потому что дело, из-за которого я приеду, слишком важное для нас обоих». Слишком важное для них обоих дело сводилось к тому, что он должен теперь же заняться вместе с ней обменом квартиры. Ему предстояло вселить к себе — в две комнаты из трех — каких-то людей, которые жили в одной квартире с ее нынешним мужем,— у него в Москве была не квартира, как она раньше говорила, а комната,— а Ксения должна была, получив взамен две комнаты этих людей, съехаться со своим нынешним мужем и жить с ним, как она выражалась, в человеческих условиях. Оказывается, накануне отправки этого письма ее нынешний муж вернулся из Москвы, куда летал по делам, связанным с возвращением их театра, и она выписала ему на бумажке все, о чем ему надо поговорить с Лопатиным, как мужчине с мужчиной, в связи с предстоящим квартирным обменом, но, «узнав, что хотя ты и выздоравливаешь, но все еще лежишь в госпитале, Евгений Алексеевич из-за своей щепетильности не захотел тебя беспокоить. А я приеду — и побеспокою, уж такая моя доля». В том, как она об этом писала, чувствовалась досада на излишнюю щепетильность ее Евгения Алексеевича.

Как следовало из дальнейших объяснений, она считала, что Лопатин должен ей помочь, потому что это нужно для ее счастья с ее новым мужем и для счастья ее дочери.

По началу письма Лопатину казалось, что Ксения вообще забыла об их дочери, которой тоже предстоит где-то жить. Но нет, оказывается, все-таки вспомнила.

«Не знаю, может быть, после войны мы с тобой будем уже не нужны ей, может быть, она полюбит кого-то и выйдет замуж».

Прочитав это, Лопатин усмехнулся: коли негде жить, так, конечно, лучше всего — замуж, да поскорее. «А если нет,— писала Ксения,— если я еще буду ей нужна, то я всегда приму ее к себе, где бы и как бы я ни жила, пусть хоть в одной комнате, пусть хоть сидит у меня на голове, все равно сделаю это без колебаний, потому что мать есть мать».

«А почему — в одной комнате и почему — на голове? — с вдруг вспыхнувшим раздражением подумал Лопатин. — Почему на голове, когда она собирается меняться и жить вдвоем со своим теперешним мужем в трех комнатах? Почему — на голове? Потому что ей, матери, так и не пришла в голову самая естественная мысль, что одна из трех комнат, которые, к их великому и нечастому в Москве счастью, были у них троих до войны,— это комната ее дочери, из которой ее дочь может захотеть и не захотеть уехать.

Да, конечно, Ксения и не злая, и не жадная, и не грубая, и если на нее найдет соответствующий стих, то может, тем более у кого-нибудь на глазах, неделю смиренно ходить на цыпочках, поить в кровати молоком, заплетать косички и, пока не надоест, играть в дочки-матери. Играть — да! Но написать про себя «мать есть мать»?!»

Лопатин вспомнил исхудалую, маленькую, как ребенок, казахскую старуху, которую он видел в поезде, когда полтора года назад зимой ехал в Ташкент. Она была такая маленькая, что почти не верилось, что ехавшие с нею две рослые женщины — обе от нее, и шестнадцатилетний мальчик, высокий, выше ее на голову, самый младший ее сын,— тоже от нее, и набившиеся все вместе в одно купе еще три девочки и два мальчика — внучки и внуки — тоже от нее, что вся эта семья — от нее. Глядя на нее тогда, он подумал, что она отдала им все, что все они — здоровые, крепкие — вышли из нее, и поэтому она и осталась вот такая маленькая, исхудавшая, без живота, без груди, почти без тела; и все, что у нее еще было,— лишь остаток того, что она отдала им, почти ничего не оставив себе. Он даже записал тогда эту поразившую его мысль о жертвенности материнства, на которую натолкнулся среди войны. Тогда записал, а сейчас вспомнил, подумав о Ксении. «Мать есть мать». Какая ты ей мать, хотя ты ее и родила когда-то и даже почти два месяца кормила сама, пока не появилась одна из твоих кукушек-подруг и не убедила за один присест, что ты испортишь этим грудь...»

Все эти всколыхнувшие прошлое мысли надо оставить при себе, но об остальном, о сути письма, придется говорить с дочерью, и хорошо, что она приехала.

Хотя письмо Ксении, особенно под конец, рассердило Лопатина, в практическом смысле она по-своему была права. Война идет три года, и неизвестно, сколько еще продлится, он жив, дочь выросла, его бывшая жена вышла замуж и собирается вместе с мужем и театром вернуться из эвакуации в Москву,— стало быть, следует, не откладывая до конца войны, определиться, кто, где и как намерен жить дальше.

В последнее время московский быт Лопатина складывался между поездками на фронт и не совсем так, как ему думалось весной сорок второго года, когда он, давая вольную жене, сказал, что их московская квартира будет не нужна ему до конца войны. Она уже давно была нужна ему, не до зарезу — но нужна. На казарменном положении в редакции уже давно никто не жил, в гостинице «Москва», где когда-то на шестом этаже ютились корреспонденты, теперь москвичей уже не селили. В последние два своих приезда с фронта, осенью и зимой, он жил у Гурского, который еще не привез тогда из эвакуации мать. Короче говоря, выйдя из госпиталя, после которого сразу на фронт не пошлют, жить в Москве будет негде, хотя придется где-то сидеть и писать — и обещанный редактору рассказ, и никому, кроме себя, не обещанные дневники, запущенные из-за ранения и из-за того, что уже полтора месяца, никогда не оставаясь один, лежишь между кем-то и кем-то. Ему хотелось вернуться домой, в свой кабинет, спать там на своей привычной тахте и скрипеть перышком за своим привычным столом. И плевать он хотел на все остальное! Горечь давно успела превратиться в оскомину, а с оскоминой жить можно. В последний год от возвращения в квартиру его удерживали только собственные слова, когда-то сказанные Ксении. Он не привык неаккуратно обращаться со словами.

Сегодняшнее письмо Ксении при всех его глупых подробностях упрощало дело. Как быть с остальным, следовало подумать, но — явится Ксения или не явится, уедет или не уедет он на фронт до ее появления в Москве,— чтоб перебраться из госпиталя домой, в свой собственный кабинет, не оставалось никаких, самому себе придуманных, препятствий.

Сосед справа, полковник-артиллерист, уже не спал и, сидя на койке, прилаживался, как понадежнее стать на костыли,— собирался выйти. Он, так же как и Велихов, был ранен в ногу, но потяжелее.

— Долго же вы спали,— сказал ему Лопатин.

— А что еще делать, когда войны нет? — Полковник, приладясь к костылям, встал на них. — Пошкандыбаю, разведаю, где лежит командир нашего батальона связи, некто Трофимов, подполковник. Не встречались с ним, когда бывали у нас в армии?

— Нет,— сказал Лопатин.

С подполковником Трофимовым он не встречался, так же как и с этим полковником-артиллеристом, так же как и с тысячами других людей, составлявших ту армию, в которой он бывал. Сколько ни пробудь даже в одной и той же армии — все узнанное там лишь крупица неузнанного.

— Интересно понять, где теперь, после Крыма, наша армия,— сказал полковник. — Из одного письма усмотрел, что на Белорусских фронтах. «Приезжай,— пишут,— поправляйся. Дышим самыми полезными для здоровья запахами: елкой и березой». Намекнули, что не кипарисами.

Полковник проковылял из палаты в коридор, а Лопатин подумал, что хорошо бы, когда начнется летнее наступление, угадать именно в их армию, которая дышит теперь елкой и березой. Тех, кто остается жив, война чем дальше идет, тем чаще возвращает к прошлому. И не такая уж случайность, что здесь, в госпитале, оба твоих соседа из двух армий, в которых бывал раньше. Когда на всех других фронтах уже затихало, самые последние и жестокие весенние бои вели в Крыму как раз обе эти армии — и та, из которой полковник, и та, из которой Велихов,— и, если обойти госпиталь, наверное, каждый третий долечивающий раны офицер сейчас оттуда, из Крыма.

Все, о чем он думал сегодня после встречи с дочерью, вышибло его из привычной колеи войны, а мысли, пришедшие сейчас, вновь вернули туда. Да, еще последний день весны, еще не лето; он оглядел палату, где вольготно стояли всего три койки и куда при нужде можно воткнуть еще три.

«И воткнут! Начнется наступление, и, как только начнется, набьют до отказа все госпиталя, и легкими, и тяжелыми, и безнадежными...»

Он, сам не желая того, вдруг вспомнил свой первый разговор с той женщиной, о которой уже давно старался не думать,— разговор об ее отце и о госпитале для безнадежных.

4

На следующее утро, сразу после выхода газеты, приехал невыспавшийся редактор, не заходя к Лопатину, поговорил с главным и лечащим врачами и все перевернул по-своему.

— Тоже мне, придумали с Гурским — две умные головы — ерунду какую-то,— вместо приветствия сказал он. — Я не для того тебе дочь из Сибири вызывал, чтоб в санитарки пристраивать.

— А ты бы меня спросил, прежде чем вызывать.
— А чего тебя спрашивать? Не рад?
— Рад.
— А если рад, поезжай и живи с ней у себя на квартире. Ключи твои, которые у нас в АХО лежали, велел отдать ей.
— А мне когда прикажете отбыть на квартиру, товарищ генерал? — спросил Лопатин.
— Тебе через три-четыре дня. Я уже договорился. Последние рентгены и прочее сделают — и отпустят. А она, чем тут горшки носить, пусть пока там уберется. Небось у тебя там хлев!
— Кто его знает,— пожал плечами Лопатин.
Прошлым летом, когда он был на фронте, Ксения, не застав его в Москве, завезла ему в редакцию сделанные ею вторые ключи и записку, что прибрала квартиру. Так что квартира была убрана. Но произошло это без малого год назад. И как убрана — неизвестно.
— Дочь приберет — и переедешь,— сказал редактор. — Захочешь оставить ее у себя в Москве — оставишь. Надо будет что-то сделать для этого — сделаем. Врачи отпускают тебя с условием пока не выходить. На это время харчей подкинем. Да и коммерческие магазины работают, а деньги у тебя, как я понимаю, раз книга вышла, есть.
Лопатин рассмеялся. Редактор и Гурский, с их любовью решать за других, были два сапога пара!
— Подумал, как бы ты мною командовал,— не в редакции, а где-нибудь на фронте. Интересно!
— Если пошлют на фронт, могу к себе вызвать. Там увидишь, интересно или неинтересно. А пока берись за рассказ. Еще не начал?
— Пока нет.
— Тем более. Поезжай домой и берись! На фронте тишина, а в газете — пусто. Самое время для рассказа на пять-шесть подвалов, с продолжениями. А то, пока рассусоливаешь, начнутся события, все полосы забьют, и рад бы — да некуда!
Редактор наморщил лоб, силясь вспомнить что-то еще, что нужно было сказать Лопатину, и, помолчав, все-таки вспомнил:
— Как себя чувствуешь?
— Со вчерашнего дня совсем хорошо. Спасибо, что дал возможность увидеть дочь. Хорошо понимаю, насколько это недоступно для девяноста девяти из ста, оказавшихся в моем положении. И она тоже понимает...
— «Спасибо» на полосу не поставишь,— сказал редактор. — Нужен рассказ. Раз не можешь его тут начать — хотя бы начни над ним думать.

На том и расстались. А ровно через трое суток после этого Лопатин вместе с дочерью ехал из госпиталя к себе на квартиру, в которой, считая с внезапного приезда и такого же внезапного отъезда Ксении в декабре сорок первого, не был два с половиной года. Странное это было чувство, чем-то похожее на возвращение с войны. Привык к мысли, что не вернется в свою квартиру до конца войны. А теперь выходило так, словно не дотерпел.

В госпиталь его привезли лежачего, на санитарной машине. Сквозь проливной дождь тогда не было видно ничего, кроме крыш и верхних этажей домов. А сейчас ехал, сидя рядом с дочерью в «эмке», правда, с закрытыми стеклами, чтобы не простудиться после плеврита. Но за этими стеклами Москва была летняя, теплая, женщины шли в платьях и без чулок — то ли радовались нахлынувшему вдруг лету, то ли хотели сберечь чулки до осени. Где их сейчас возьмешь, чулки?

За эти три дня он мало видел дочь. И когда она по вечерам, замаянная уборкой, добиралась к нему в госпиталь, поскорей гнал ее обратно — спать, откладывая предстоящие серьезные разговоры на потом, когда окажутся дома.

И сейчас, пока ехали через Москву, говорили о сегодняшнем, житейском.

— В коридоре и на кухне, где крашеные полы, совсем хорошо отмылось,— говорила дочь. — А в комнатах паркет — никак не оттирается, сколько ни мыла. Кухонным ножом скребла, все равно черный! И много паркетин совсем повылетало. Василий Иванович вчера помогал мне, прибивал.

— Конечно, повылетало,— не оборачиваясь к ним, сказал водитель. — Два лета взаперти пересыхал. А из трех зим только эту, можно считать, топили, вот и повылетало.

— Спасибо,— сказал Лопатин.

— Не за что,— по-прежнему не поворачиваясь, сказал Василий Иванович. — Вижу, старается, а не умеет.

Василия Ивановича Лопатин знал еще с финской, где он возил на «эмке» редактора. А в эту войну, когда у редактора появился ЗИС, по Москве на ЗИСе его не возил. Остался при своей, чиненой-перечиненой, но всегда исправной «эмочке» и возил на ней на фронты то редактора, то корреспондентов. Был он человек хмурый и немолодой, ездил на бронеавтомобиле еще в первую мировую, и к Лопатину, как к своему ровеснику, относился снисходительней, чем к другим. Слово «старается», сказанное им про дочь Лопатина, означало высшее одобрение.

Но Нина, не понимая его характера, оправдывалась, что там, в Омске,— и дома у тетки, и в госпитале — полы всюду краше-

ные, и она их умеет мыть так, чтоб и чистые были, и в щели не затекало, а здесь, с паркетом, ничего не вышло.

— А в кранах такая ржавая вода... — говорила она,— еле дотерпела, пока ржавчину спустила: воды-то жалко.

И Лопатин вспомнил, что там, в Омске, у сестры они таскали воду ведрами из колонки.

Доехав до дому и поблагодарив Василия Ивановича, Лопатин стал вместе с дочерью подниматься к себе. По этой же лестнице два года назад, проводив Ксению до дверей и так и не зайдя с нею в квартиру, он спускался вниз, и она глядела ему вслед.

Отобрав у отца, Нина сама волокла вверх по лестнице тяжелый чемодан. Там, в госпитале, она еле-еле запихнула в него, поверх еще отдававшего дезинфекцией обмундирования, все книги, за месяц притащенные отцу Гурским.

Лопатин впервые с начала войны возвращался домой в штатском костюме, который дочь, вычищенный и выглаженный, привезла ему в госпиталь вместе с рубашкой, бельем, ботинками и шляпой. Костюм оказался впору, и Лопатину было даже приятно, что война ничего с ним не сделала — и не усох, и не раздался,— такой же, каким был. Только странно, что все лежит не там, где привык: пистолет в заднем кармане брюк, а не на ремне; очешник с запасными очками — не в правом нагрудном кармане гимнастерки, как всегда, а в пиджаке, в боковом; документы не в левом нагрудном, а во внутреннем — пиджачном.

«Оказывается, привычка к обмундированию начинается не с того, как в нем выглядишь, а с того — где что лежит...» — усмехнувшись, подумал он. Если бы сейчас продолжал курить, полез бы за папиросами и спичками в брюки, а не в карманы пиджака...

Дочь открыла дверь другим ключом, чем он помнил. Значит, Ксения в прошлом году не только заказала вторые ключи, а и врезала другой замок.

«Смотри какая хозяйственная, даже не похоже,— подумал Лопатин. — Кто это ее надоумил? Новый муж, что ли?»

Подумал мимоходом, но, когда вошли в квартиру, пришлось вернуться к этой мысли. Как объяснила Нина, на том колечке с ключами, которые ее мать оставила в редакции, ключа было два — от входной двери и от комнаты Лопатина, которая отроду на ключ не запиралась. В ней была только задвижка изнутри, которую Лопатин когда-то собственноручно приделал после того, как Ксения взяла в привычку выяснять с ним отношения по утрам, пока он сидел и писал. А теперь она, оказывается, врезала замки не только во входную дверь, а и в двери его кабинета, соб-

ственной комнаты и даже в двери третьей, маленькой комнаты, которая называлась у них столовой, хотя на самом деле с первого же дня их жизни здесь была комнатой дочери, а в столовую превращалась лишь изредка, по вечерам, когда приходили гости, и Нина перебиралась из нее учить уроки, а иногда и спать, в комнату отца.

— Когда мы в первый раз пришли сюда с дядей Борей, я даже растерялась, не знала, что делать,— сказала она.

«Все-таки приучил ее называть себя дядей Борей»,— отметил про себя Лопатин. И вспомнил, как однажды, когда они оба в один день уезжали на разные фронты, Гурский сказал: «Д-давай условимся: если вдруг дашь дуба ты, я уд-дочерю твою д-дочь. А если дам д-дуба я, т-тебя удочерит моя мама...»

— Он ужасно рассердился,— сказала Нина про Гурского,— спустился в машину, и они вместе с водителем взломали дверь. Я сначала поспорила с ним, что не надо, что я буду спать у тебя, но он сказал, что не потерпит никаких «мюнхенов»! И стал ломать дверь. А я замолчала, потому что вспомнила, как ты, когда пишешь, не любишь, чтоб у тебя сидели над душой. Когда я уеду, ты можешь вставить этот замок обратно, чтобы мама не обижалась...

— И не подумаю,— сказал Лопатин. — Ее-то комнату, надеюсь, не взламывали?

— Нет, конечно.

— Ну и слава богу,— сказал Лопатин, подумав, что изложенная Ксенией в письме идея насчет обмена двух комнат возникла у нее, стало быть, еще в прошлом году.

Он прошел на кухню, потом в столовую, потом в свою комнату — всюду была наведена чистота.

Взяв за спинку стоявшее у письменного стола кресло, он покачал его — попробовал, не расшаталось ли,— и сел, привычно опершись локтями на стол.

Давно уже он не сидел за этим столом, почти два с половиной года!

Приучив себя к бездомности, было легче не менять заведенной, казалось уже на всю войну, колеи: с фронта — в редакцию, из редакции — на фронт! А вот так, привычно положив локти на стол, хотелось задержаться тут и никуда больше не ехать...

— Я тебя всего несколько раз видела в военном,— сказала Нина, стоя перед ним и внимательно разглядывая его. — А все равно никогда там, в Омске, не вспоминала тебя в штатском. Не знаю, по мне, наверное, было бы стыдно, если б ты был не на войне...

— Это, положим, ересь.

— А мне все равно было бы стыдно. Может, приляжешь?

— Нет уж, с вашего разрешения, посижу. Для того и приехал, чтобы вот так сесть и посидеть.

— Ты сиди, а я приготовлю позавтракать. Утром ничего не успела, проспала. Так люблю спать — даже совестно. В поезде столько спала, что все удивлялись.

Она вышла из комнаты. А он остался один и несколько минут просидел, глядя на висевшую над столом старую фотографию, на которой снялся вместе с тремя пограничниками и одним штатским во время переписи тысяча девятьсот двадцать девятого года, на Памире. Он тогда попал в первую в своей жизни переделку, и, если б не эти трое пограничников, все бы кончилось плохо. Ему впервые пришлось стрелять из винтовки и слышать, как рядом кричал от боли раненый. На другой день они снялись на память впятером — шестой лежал в лазарете.

Рассказывает или не рассказывает потом человек о таких вещах, молчит или врет — все равно впервые пережитый страх остается в глубине памяти. И даже то нелегко приобретаемое свойство, которое называем привычкой к опасностям, совсем не привычка, а насильственно выработанная в себе готовность к встречам с ними. И сколько бы ни повторялась опасность, душа все равно содрогается перед ее очевидностью. Другое дело ноги, руки, губы, голос... другое дело не позволить им подгибаться, трястись, дрожать, заикаться от страха. Это и есть та выдержка, которую иногда спешим окрестить в своих корреспонденциях бесстрашием, награждая им, как орденом: одних — при жизни, других — после смерти.

«В прошлом году немцы начали свою летнюю кампанию пятого июля,— подумал Лопатин. — Если и этим летом начнется не раньше, можно успеть заняться дневником. Сегодня только третье июня...»

Он пододвинул к себе по столу перекидной календарь. Календарь был старый, сорок первого года, и последнее число, до которого он был перевернут, было двадцать седьмое декабря, когда он в последний раз работал за этим столом. Вернее, попытался с утра работать, а потом пришла Ксения, а потом, в середине дня, уехал на фронт, под Калугу.

Хорошо помня, что это календарь сорок первого, а не сорок четвертого года, он все-таки придвинул его к себе и стал листать назад, пока не долистал до третьего июня.

На этой страничке календаря было две записи, сделанные его рукой: «Позвонить Пугаченкову сегодня же» и «Сходить за билетами в театр». И сбоку почерком Ксении, круглыми боль-

шими буквами, против записи о Пугаченкове — «это как раз можно и потом», а против записи про театр — «а вот это действительно не забудь».

Кто такой был этот Пугаченков, звонить которому за девятнадцать дней до начала войны он считал необходимым, а Ксения — необязательным, сейчас он — хоть убей! — не помнил. А билеты в театр он взял, и они были с Ксенией в тот вечер на «Норе», и он хорошо помнил, как всю дорогу домой и дома она говорила о том, как разворошил ей душу этот спектакль и как мучительны для нее ассоциации между той жизнью на сцене и их жизнью — дома.

Лопатин слушал и злился. Никаких ассоциаций у него не возникало. На сцене была одна неудачная семейная жизнь, а у них дома — тоже неудачная, но совсем другая. А Ксения все жужжала и жужжала про свои ассоциации.

— Ну ладно,— сказал он наконец. — Я — Хельмер, а ты — Нора. Согласен. Что дальше?

— Я совсем не хотела тебя обидеть,— сказала она, хотя именно этого и хотела.

Да, тогда, третьего июня, была последняя из их предвоенных вечерних ссор и последнее из ночных примирений. Можно, конечно, называть такие вещи и по-другому, но суть от этого не меняется.

Он стал один за другим выдвигать ящики письменного стола. Стол был старый и вместительный. Когда-то, когда они начинали свою семейную жизнь в одной комнате, в Сокольниках, стол был у него за все про все! И рукописи, и книги, и папиросы, и рубашки, и белье, и носовые платки — все было в этих ящиках. Потому что всю остальную комнату заполнила собой Ксения, которую он тогда любил и которая неслышно парила где-то сзади него, не мешая ему работать.

Это уже потом она научилась входить на цыпочках с каким-то особенным, старательным скрипом, который невозможно было не услышать, и, приложив палец к губам,— неизвестно для чего, просто как условный знак того, что она боится ему помешать,— подолгу бродила вокруг него, разыскивая что-то, как потом выяснялось, вовсе не так уж ей и нужное.

Но это все стало потом и было так долго, что казалось, иначе никогда и не было. Но когда-то было иначе — может быть, недолго, но все-таки было...

В ящиках стола, которые он открывал один за другим, все было на месте. Так они и дожили, все эти ящики, с их нетронутым содержимым до нынешнего, четвертого лета войны. От сто-

ла припахивало керосином, наверное, Нина плеснула его на сырую тряпку, когда протирала ящики. Значит, все вынимала, но обратно положила так, как лежало.

В самом нижнем ящике справа, на дне, лежала большая канцелярская папка, завязанная на тесемки. В ней были письма Ксении за все пятнадцать лет их довоенной жизни. Он думал, что она забрала свои письма. Оказывается, нет. Кто знает почему? Может, ее нынешний муж ревнив,— везти их с собой в Ташкент не захотела, а порвать пожалела, потому что жалела себя. Со всей написанной в них правдой и ложью письма как-никак были частью ее самой — вот и пожалела!

Когда они переехали в эту квартиру, он сначала предложил Ксении ту комнату, которая потом стала его кабинетом. Она была квадратная и казалась самой уютной. Но Ксения выбрала себе для спальни другую, побольше и выходившую окнами не во двор, а на улицу Горького. Она очень радовалась, что они будут жить на улице Горького, и в первый год после того, как переехали, любила вставлять в разговоры: «Нам совсем недалеко, мы прямо тут, на улице Горького». Или: «От нас, с улицы Горького, рукой подать до всех театров!» Или что-нибудь еще в том же духе...

Его и самого ошарашило, когда ему тогда, в тридцать восьмом году, дали эту квартиру. Сначала «Знак Почета» за участие в экспедиции, снимавшей со льдины папанинцев, а еще через неделю, после одиннадцати лет жизни втроем в одной комнате, в Сокольниках, вдруг эта квартира, по комнате на каждого.

— Идем, буду тебя кормить,— неслышно войдя в комнату и сзади положив ему на плечи руки, сказала дочь.

— Сейчас...

— О чем ты думаешь?

— Вспоминаю, как мы когда-то переезжали в эту квартиру...

— Я пока убирала, ни о чем не думала,— сказала она.— Только думала, чтобы все поспеть. Терла и терла, мыла и мыла. А потом, когда вчера легла,— я здесь у тебя на тахте легла — перед тем как заснуть,— я почти сразу же заснула — все-таки перед тем как заснуть, стала смотреть на потолок, там есть трещинка, около карниза, в углу, она уже так и была, когда мы переехали сюда, я ее запомнила.

— Я тоже запомнил,— сказал Лопатин.— Не одна ты тут в потолок смотрела...

Он пошутил, не поняв, что она собирается сказать ему что-то важное. А она, не заметив или не захотев заметить его шутки, повторила:

— Я ее очень хорошо запомнила. И пока вчера не заснула, смотрела на нее и думала: неужели у нас дома все не могло быть иначе? Неужели правда так с самого начала и не могло быть иначе? — повторила она с тоской.

— Не знаю,— ответил ей Лопатин. — Как — иначе? Что под этим понимать? Если бы, например, я из-за своей близорукости записался в белобилетчики и уехал не на войну, а в эвакуацию вместе с вами,— то твоя мама не ушла бы? Не знаю, может быть, и так. Во всяком случае, когда я собирал вещи, у меня мелькнуло в голове что-то похожее...

— Неужели ты уже тогда думал об этом? — прервала его Нина.

— Нет, думал я совсем о другом: сколько буду добираться до Минска. Но твоей маме стало плохо, она не поехала на вокзал, и у меня возникло дурное предчувствие. А кроме предчувствия, ничего не было.

— Ну, ты не мог иначе, но мама же, мама же могла иначе! Она же могла остаться в Москве!

— Остаться в Москве она не могла — во всяком случае, после пятнадцатого октября, когда всех жен у нас в редакции отправили в эвакуацию. Другое дело, что вы с ней могли бы оказаться в эвакуации в одном месте, а не в разных.

— А я, например, не жалею, что все так вышло,— с вызовом сказала Нина.

— Верю. Но кроме догадок, что могло и чего не могло быть, есть и другой способ размышлений о прошлом: что мы сделали правильно и что неправильно? Думаю, что твоя мама, уехав в эвакуацию отдельно от тебя, поступила неправильно. И это единственное, за что я ее осуждаю.

— А с тобой она поступила правильно, когда бросила тебя? Это, по-твоему, правильно?

— Я не хотел возвращаться к этому разговору,— сказал Лопатин. — Но раз уж заговорили, договорим до конца. Бросить можно ребенка, калеку, беспомощного старика. Человека, который здоров и находится в здравом уме и твердой памяти, не бросают — от него уходят. Иногда он этому пробует помешать, иногда — нет. Я не пробовал.

Он думал, что она спросит — почему? — но она не спросила, спросила другое:

— Ты сейчас не хотел бы, совсем не хотел бы, чтоб мама вернулась к тебе обратно?

— Нет, не хотел бы.

— А когда она только что ушла, когда ты меня вызвал летом к себе? Ты был такой печальный. Ты и тогда не хотел, что-

бы она вернулась обратно? Ты мне тогда правду сказал, когда я тебя спрашивала?

— Правду. Веселого было мало. Но чтоб обратно — нет, и тогда не хотел.

— Я очень рада,— воскликнула она с поразившим его воодушевлением. — Я переживала за тебя, когда получала от нее письма, что у нее все хорошо! А ты никогда не писал мне этого. И мне было обидно за тебя, когда я думала, что у нее все хорошо, а ты в это время хочешь, чтобы она вернулась к тебе. Я несколько раз собиралась тебя спросить. Но как об этом — в письме? Верно?

— Верно. — Он подумал, что за эти два года и у него было такое, правда короткое, время, когда он мог бы написать, что у него все хорошо, но как написать об этом в письме дочери? Да и что понимать под словом «хорошо»? Дочь рада, что ты не унижен и уже не любишь женщину, которая перестала любить тебя, хотя эта женщина — ее мать. Но одно дело — хорошо одному, без ее матери, а другое дело — хорошо с женщиной, которой она не знает. Это совсем другое «хорошо», способное превратиться в испытание для ее собственной любви к тебе.

— Часто ли ты пишешь матери? — спросил Лопатин, насильственно обрывая непрошеные мысли,— проблемы, как отнесется его дочь к его счастью с другой женщиной, уже давно не существовало, не было ни проблемы, ни счастья, ни женщины... И бессмысленно возвращаться к несуществующему.

Дочь пожала плечами:

— Когда она мне пишет, я всегда отвечаю. В этом году она написала мне три письма, и я на все три сразу ответила. Она что, жаловалась тебе на меня?

— Один раз.

— На что?

— На то, что ты только отвечаешь на ее вопросы, а сама никогда ни о чем у нее не спросишь.

— А я ни о чем не хочу ее спрашивать.

— Почему?

— А потому, что я никогда бы не ушла от человека, который на войне. Никогда бы, ни за что бы не ушла! О чем же мне ее спрашивать? А ты: «Почему, почему?» — У нее дрогнули губы, но она не заплакала. Ей было обидно, что он ее не понял и вдруг — с этими письмами — оказался заодно с матерью, вдвоем против нее одной.

— Ладно,— сказал Лопатин и, вынув из кармана пиджака прочитанное в госпитале письмо Ксении, положил перед дочерью. — В конце концов, как отвечать тебе на письма твоей мате-

ри — твое дело. Но вот письмо, которое касается нас обоих, и, как отвечать на него, нам придется решать вместе. И как отвечать, и как быть.

Она вынула письмо из конверта, развернула, начала читать, но, оторвавшись после первых же строчек, посмотрела в глаза отцу.

— А скажи, если б вот сейчас мама все бросила, что у нее там, и приехала к тебе, и попросила прощения, и обещала, что с этого дня все будет по-другому,— что бы ты сделал?

Лопатин не мог понять причины этого взрыва. Может быть, несмотря на всю внешнюю черствость, которую она проявляла к матери, ей вдруг захотелось чуда? Или наоборот, еще не читая письма, она хотела заранее знать, что он не предаст ее представлений о нем своею внезапной слабостью?

— Плохо представляю в этой роли твою маму, еще хуже — себя. Теперь я уже не мог бы жить вместе с ней. Думаю, что и она тоже. А тебе, значит, иногда еще приходит в голову соединить нас? Не стоит об этом думать. Никто из нас не станет счастливей. И ты тоже. Подумай лучше над тем, что в этом письме. И не бойся читать его, в нем просто дела, которые надо решать.

Она опустила глаза и стала читать письмо, а он смотрел на нее и думал, что, хотя еще не может отвыкнуть от чувства, что он большой, а она маленькая, все равно он обязан быть откровенным с ней. Иначе рано или поздно нарушится то, что ей сейчас всего дороже,— возможность без колебаний говорить ему все, что она думает.

И хотя того, о чем он должен ей сказать, уже не существует, все равно это как камень за пазухой. И от него надо избавиться.

— Прочла. Ну и что? — Нина засунула письмо в конверт, и в ее голосе Лопатину послышался какой-то еще непонятный ему вызов.

— А то, что нам с тобой предстоит над этим подумать, только и всего. Но сначала о другом. Полтора года назад я полюбил одну женщину. Потом из этого ничего не произошло. Но это было. И я должен тебе об этом сказать.

— А мама мне писала об этом.

У него было такое чувство, словно его ударили по лицу и исчезли, прежде чем он успел обернуться.

— О чем писала? — Он с трудом заставил себя сказать эти слова спокойно.

— Об этом. Что ты приехал в Ташкент в таком хорошем настроении, что, кажется, даже наспех влюбился в какую-то ее подругу и что она ужасно радовалась за тебя.

Он усмехнулся и простоте этого вдруг происшедшего объяснения, и глупости своего положения.

— Но я тогда всему этому не поверила. — Дочь заметила его усмешку.

— Почему?

— Она как-то так обо всем этом написала, что я не поверила.

— Это было не так, как она тебе написала, но было.

— Ну и очень хорошо. Если бы я знала, я бы меньше тебя жалела. Я иногда прямо до слез тебя жалела за то, что тебя никто, кроме меня, не любит.

Она сказала это так самопожертвованно, что ему пришлось встать и пройтись по комнате, чтобы скрыть от нее выражение своего лица.

— Вижу, с тобой не пропадешь. — Он поцеловал ее сзади в коротко подстриженный, мальчишеский затылок.

— Конечно, не пропадешь,— не поворачиваясь, сказала дочь. — А что, она тебя тоже любила?

— Мне казалось, что да.

— А почему же у вас с ней ничего не вышло?

Он не ответил, только пожал плечами.

— Не знаю, как это может быть. Какое-то дворянское гнездо! Все друг друга любят, и ничего у них у всех не выходит!

— А ты что, сердишься? Хочешь меня заново женить, что ли?

— А разве это правильно, когда у тебя одна я и больше никого? Вот ты последний раз уезжал на фронт, кто тебя провожал? Никто?

Он кивнул. Это была правда, его никто не провожал ни в последний, ни в другие разы, когда он уезжал на фронт. С того зимнего утра, в Ташкенте, когда он уезжал на Кавказский фронт, больше никто не провожал.

— Разве это правильно? — повторила она, когда он кивнул.

— Если говорить серьезно, то большинство людей, ушедших на фронт, проводили всего раз, когда они ушли. И встретят тоже один раз, когда вернутся, если будут живы. Так что жалеть меня не за что.

— Это я знаю. Это я все знаю,— запальчиво сказала она. — Но ведь у тебя такая работа, что ты все время ездишь и возвращаешься. И не потому, что не хочешь быть на фронте, а потому, что у тебя такая работа. Да?

— В общем, да. Хотя, чтоб не врать, могу вспомнить случаи, когда возвращался в Москву без прямой необходимости. Мог бы

задержаться еще, но не задерживался. Бывало, правда, и по-другому, не хочу клепать на себя.

— Ну и что? Разве это называется «возвращаться домой», когда у тебя и дома-то никакого не было? Я еще понимаю, когда немцы были под Москвой, когда всех эвакуировали — и кто хотел, и кто не хотел. А в последнее время все едут сюда! Едут и едут! У дяди Бори даже мама приехала. Ей семьдесят лет, а она приехала. И уже третий месяц живет в Москве. Он мне говорил — кто только сюда не едет! Даже те, кого он вообще не пустил бы обратно в Москву.

— Значит, обсуждали этот вопрос и с ним?

— Конечно, обсуждали. А ты все один и один. Уезжаешь — один, приезжаешь — один.

— Ну что ж, перебирайся ко мне, чтоб я был не один.

— Зачем ты это говоришь? Ты же понимаешь, что я не могу. Если б я была маленькая или если бы я, наоборот, была уже старая, я бы, конечно, приехала. Но я же сказала тебе, что окончу курсы и поеду на фронт. И ты согласился, что это правильно.

— Этого я, положим, не говорил.

— Нет, сказал. Не прямо, но сказал. Думаешь, я не понимаю твое выражение лица? Не дразни меня, пожалуйста, а то я разревусь и потом сама себе этого не прощу. Лучше приезжай хоть на неделю к нам в Омск, и я тебя сразу женю.

Она встала и, сделав вид, что поправляет свои вихры, кажется, все-таки смахнула слезинку.

— А сейчас, ровно через пять минут по твоим часам, приходи есть. Я солью воду с картошки, а все остальное готово, я накрыла на кухне,— добавила она, уже уходя. — Мне все время неудобно, что мы взломали эту дверь в столовую, которую мама заперла, даже не хочется туда заходить.

— Чепуха. Взломали и взломали! — сказал Лопатин.

5

Картошка оказалась сваренной так, как он любил, в мундире. И он чистил ее, обжигая пальцы и перекатывая из руки в руку. Была еще банка простокваши, с которой он любил есть картошку, особенно по утрам. Нина купила эту простоквашу и пучок укропа на базаре.

— Не знаю, чего она выдумала — сейчас меняться,— говорила Нина, сидя против отца и тоже чистя горячую картошку. — Почему не могла до конца войны оставить тебя в покое? Сама

же писала мне, что у нее все есть и ей ничего от тебя не надо, а теперь, выходит,— надо.

— Не брани мать, тем более за глаза. В этой квартире раньше или позже кто-то должен перестать жить — или она, или я. И я должен пойти ей навстречу, вопрос только — в каких пределах. Глупо все время повторять себе: «пока идет война», «если будем живы». Если не будем живы, не об чем и говорить. Значит, следует считать, что мы с тобой будем живы и вернемся с войны.

Она потянулась и стиснула в ладонях его лежавшую на столе руку. Это была молчаливая благодарность за слова «мы с тобой».

И он задним числом выругал себя за то, что так неожиданно просто согласился с нею, хотя это согласие, если она успеет попасть на войну, может стоить ей жизни.

— Так вот,— сказал он, гоня от себя слишком далеко заводившие мысли,— когда кончится война, нам с тобой надо будет где-то жить. Необязательно со мной, ты можешь захотеть жить и отдельно. Но чтобы жить, нужно иметь угол, этот или другой. Когда ездишь по освобожденным от немцев местам, сатанеешь от количества развалин! Такое чувство, что еще лет двадцать после войны будем жить в них. Вот почему я сторонник того, чтобы твою маленькую комнату не отдавать каким-то людям, с которыми мама с бухты-барахты решила ее менять. По-моему, так.

— А по-моему, пусть она меняется, а я как-нибудь проживу. Если пойду после войны учиться, буду жить в общежитии. Не надо ей мешать, пусть делает как хочет. А то приедет и начнет объяснять, почему ей это нужно, и обижаться и домучает тебя до того, что ты все равно согласишься, только бы она отстала! Я же знаю! Бог с ней, с этой комнатой, не нужно мне ее, только бы она тебя не мучила.

Лопатин улыбнулся:

— Знаешь ты об нас обоих, конечно, много, жили у тебя на глазах. Но боюсь, что я переменился за эти годы к худшему, и меня не так-то легко замучить. Однако, застанет ли меня в Москве твоя мама, или мне придется писать ей — я честно изложу ей твое мнение, хотя и не согласен с ним.

— А ты считаешь, что мама может уже не застать тебя в Москве?

Лопатин чуть было не ответил, что он уже давно взял за правило не размышлять заранее над тем, как поступит ее мать. Все равно не угадаешь. Но вслух сказал только, что все может случиться.

— А как ты думаешь, когда тебе разрешат снова ехать на фронт?

— Считай, что меня уже выписали в команду выздоравливающих. Сколько в ней держат солдат после такого ранения, как у меня? Недели три-четыре?

Она подумала и кивнула.

— А когда, по-твоему, кончится война? Много раз слышала, что это глупый вопрос, и я сама знаю, что глупый, но я все равно всегда всех спрашиваю.

— Какой бы ни был глупый,— сказал Лопатин,— а никуда от него не денешься. И сам себе отвечаешь на него по-разному. Бывает, что зеленая тоска возьмет, а сейчас наоборот — вспомнил, как за эту зиму и весну проперли от Киева до Карпат, и подумал: чем черт не шутит, вдруг еще в этом году допрем и до Германии! И дочь моя Нина Васильевна и курсы медсестер кончит, и практику после них пройдет, а на войну, к моей радости, уже не успеет. Когда кончится война, не знаю, и врать не могу. А когда ты кончишь свои курсы, давай подсчитаем!

— А чего считать? Начало занятий первого июля, выпуск двадцать пятого декабря, все уже известно.

— С годовыми отметками за десятый класс не засыпешься из-за поездки ко мне?

— Не засыплюсь. Я и в поезде все время занималась.

— А говорила — спала.

— И спала. А когда не спала, занималась. И сейчас посуду помою, поставлю суп варить и начну заниматься.

— И намерена быть именно хирургической сестрой?

— Они нужней всего... А у меня твердая рука.

— Откуда ты это взяла?

— Зоя Павловна сказала мне, что у меня руки хирурга. Я много раз хирургическим сестрам перевязки помогала делать, и даже кровь переливала, и сама гипсовые повязки накладывала. А у Зои Павловны при таких операциях была, что другим девочкам дурно делалось, а у меня голова ни разу не закружилась. Так не боюсь крови, что сначала сама удивлялась.

— Я тоже не боюсь,— сказал Лопатин. — Один раз в начале войны пришлось у раненого размозженные четыре пальца руки перочинным ножом отрезать; они на коже висели. Попросил — и пришлось.

Он хотел добавить, что все оказалось зря, потому что этого раненого почти тут же добили немцы, но удержался, не сказал. А то опять начнет расспрашивать о тех первых днях вой-

ны, о которых пока записано только в дневнике — про запас, на будущее, если оно будет.

— Это когда ты из окружения выходил? — спросила Нина.

Он кивнул.

— Зоя Павловна тоже в начале войны была в окружении, в Прибалтике. Она даже в плену три дня была, когда на их медсанбат немцы напали, а потом убежала и, переодетая, из окружения выходила. Ее муж был командир медсанбата, и, когда война началась, она только дочь к родным в Омск отправила, а сама осталась с ним. И ее мужа убили. Прямо при ней. Я один раз по-дурацки ее спросила — как это было? А она посмотрела на меня и говорит: ну, как? Вот мы стоим с тобой сейчас в трех шагах друг от друга, обе живые, дверь стукнула, ты повернулась туда, а потом обратно, а меня уже нет. Вот и все. Что тебе еще объяснять!

Лопатин уже знал из писем дочери об этой Зое Павловне, которая, как видно, за последние два года стала играть важную роль в ее жизни. Уже знал, что она — ведущий хирург того госпиталя, где его дочь все эти два года по три раза в неделю дежурит ночной санитаркой, знал, что ее дочь — ровесница и подруга его дочери и что они все делают вместе — и занимаются в школе, и ходят на дежурства,— но с тем, о чем сейчас заговорила Нина, еще не сталкивался ни в письмах, ни в разговорах.

— Расскажи подробней про свою Зою Павловну. Тем более что решение на будущее ты, очевидно, приняла под ее влиянием?.. Такая же судьба запроектирована ею и для собственной дочки?

— Да.

— Так я и думал. И ни в чем тебя не упрекаю. Но хочу понять, почему ты сблизилась с ней и отдалилась от тетки?

— Я не отдалилась. Просто у тети Ани нет на меня сил — ни разговаривать со мной, ни слушать меня, ни самой говорить,— ни на что нет сил. С тех пор как Андрея Ильича вернули из больницы, не став делать операции, она все поняла и живет в ужасе, что останется без него. Делает все, как всегда, а думает только об этом. Как глухая. А Зое Павловне всегда все можно сказать. Правда, времени у нее очень мало, но они живут с Олей прямо в госпитале; раньше там в школе-десятилетке была комната для уборщицы, а теперь эта комната их, они в ней живут. Я у них и уроки с Олей учу, уже не иду домой после ночного дежурства, а сижу до школы, до второй смены. Немножко спим, конечно, клюем носами, а потом опять учим.

«Да,— услышав это, подумал о дочери Лопатин,— пожалуй, в том ожесточении против матери, с которым ты приехала, сыграло свою роль и это горькое сравнение их с собою; они — мать и дочь — и ты — дочь без матери...»

Из рассказа Нины он понял то, чего не мог понять сначала: почему эта женщина-хирург, начав войну на фронте, потом осела в Омске. Конечно, хирурги нужны везде, но характер этой женщины заставлял предполагать, что она должна стремиться на фронт. И оказывается, так оно и было, она несколько раз подавала рапорт, но ее не отправили.

«И причина тому — те три дня, что она была в плену, прежде чем бежала, все они, эти проклятые три дня! — подумал Лопатин, сопоставляя одно с другим. — И на фронт из-за этого на всякий случай не отправляют, и в звании неизвестно почему — а на самом деле все поэтому же — не повышают, держат в капитанах медицинской службы, и, случись — представят к ордену,— где-нибудь да засохнет!»

А в женщине этой была, видимо, такая нравственная сила, что непонятные Нине, а может, и ее собственной дочери, но, конечно, хорошо понятные ей самой затруднявшие ее жизнь обстоятельства не пригнули ее к земле, с уважением подумал о ней Лопатин и чуть было не рассмеялся, когда после всего этого серьезного разговора Нина вдруг стала расхваливать ему свою Зою Павловну, как это умеют делать только влюбленные в кого-нибудь дети. Оказывается, у нее и удивительно легкая походка, и вообще она самая красивая женщина во всем госпитале, и, несмотря на свои тридцать восемь лет, самая стройная, прямо как девушка, особенно в халате и шапочке, но и без шапочки она тоже красивая, и седых волос у нее почти нет, и к ней очень идет, что она стрижется под мальчика! — при эти словах Лопатин, покосившись на дочь, подумал, что и ее стрижка — тоже от желания быть похожей на женщину, в которую она влюблена и на которой, кажется, не прочь женить своего отца.

Он улыбнулся, но Нина в увлечении не заметила этого и все продолжала говорить про свою Зою Павловну — и про то, как она много читала, и даже и сейчас успевает читать, и что ей нравится, как пишет он, Лопатин, потому что у него получается ближе к истине, чем у многих других.

— Значит, ты твердо решила стать медиком?

— Да. Потому что медицина — единственное действительно полезное дело,— выпалила Нина.

— Так-таки единственное?

— Да, единственное.

— Это Зоя Павловна так говорит?

— Нет, она так не говорит. Это я сама считаю. Потому что в медицине мне все ясно.

— А в других профессиях все неясно?

— Неясно. Когда я приехала в Омск, я, глядя на тетю Аню, как она тетрадки дома проверяет, сначала думала, что стану учительницей, а сейчас не хочу.

— Почему?

— А потому, что я не понимаю. Вот наш новый директор школы за два года войны из бывшего учителя, из лейтенанта запаса, стал командиром полка, у него два ордена, он четыре раза ранен: три — легко, а последний раз — тяжело, у него ногу отняли, у нас в госпитале, он поэтому и попал к нам в школу. Я его еще в госпитале видела и разговаривала с ним. Он замечательный человек, и тетя Аня тоже замечательный человек, раз она еще до революции за Андреем Ильичом в ссылку, в Сибирь, поехала. И сколько у нее учеников было — все ее уважают. А сейчас она дошла до того, что хочет уходить из школы. Они с директором, с Николаем Петровичем, на педагогическом совете поспорили: он — одно, она — другое, он — одно, она — другое...

— Она мне написала,— сказал Лопатин.

— Она не все тебе написала. Он просто трясется, когда вспоминает начало войны, что мы не готовы были к ней: «Это мы, говорит, учителя, неправильно воспитывали, не так надо было воспитывать. Я, говорит, это уже в войну на своей шкуре понял, когда мальчишками командовал, которые, ничего не успев сделать, гибли!» А тетя Аня говорит: «Ну, если, по-вашему, нужно было так детей воспитывать, как немцы воспитывали,— слуга покорная! Не участвовала в таком воспитании и участвовать не буду. Я, говорит, во что верила до войны, в то и верю, и буду верить, и никакие фашисты меня в этом не могут переубедить, как бы они хорошо ни воевали и сколько б они стран ни заняли. Чтобы победить зверя, я другого зверя воспитывать не хочу и не буду!»

— И вся эта баталия у них на педсовете разгорелась? — с удивлением спросил Лопатин.

— Нет, там только началось. Там у них началось с разговора, что вот разделили мальчиков и девочек, сделали раздельное обучение, и Николай Петрович хвалил это и говорил, что, если б еще до войны это сделали, лучше бы воевали, а тетя Аня вскинулась — что мы не для того делали революцию, чтобы снова устраивать женские и мужские гимназии! С этого у них все началось, а потом Николай Петрович пришел вечером сам к нам домой,— это уже недавно было, но еще лед был, скользко, у нас от трамвая далеко, целый километр, он на костылях пришел,— и

стал говорить, что он ее уважает и не хочет, чтобы она подрывала свой авторитет, и хочет поговорить с ней не на педагогическом совете, а по душам. А она опять вскипулась: «Если, говорит, мы на педагогическом совете не будем говорить по душам, то какие же мы после этого педагоги!» И пошла, и пошла! Он все-таки с ней простился, а она даже не простилась. А я знала, что скользко, боялась, как бы он не упал на костылях, и провожала его до трамвая. Он всю дорогу молчал. Наверное, не хотел мне про тетю Аню что-нибудь плохое говорить без нее. Только когда уже трамвай подходил, вдруг сказал: «У нее, говорит, женские и мужские гимназии из головы не выходят, а у меня из головы не выходят мои солдаты, которых если бы мы, начиная со школы, по-другому к войне готовили — может быть, половина из них была бы живая,— вот чего у меня из головы не выходит! У нее ее гимназия, а у меня — это!»

— А ты что ему сказала? — спросил Лопатин, который и по сей день, думая о начале войны, чувствовал себя человеком, пытающимся решить задачу со слишком многими неизвестными.

— Ничего не сказала. Подержала костыль, помогла сесть в трамвай, и он уехал.

— А подумала что?

— Подумала, что ничего я не понимаю в этом. И тетя Аня замечательная, и он замечательный. А если бы на месте тети Ани был мужчина, он бы его, наверное, костылем ударил, так они друг с другом спорили. Буду хирургом, вот и все! После того как его проводила, я окончательно, на всю жизнь решила, что никем другим не буду, только хирургом.

— Ну что ж, молодец,— сказал Лопатин. — Только не знаю, как теперь мне прикажешь быть. Может, бросить свою профессию и пойти на курсы санинструкторов, чтоб на старости лет не попадать в трудные положения, не мучиться над тем, кто прав, а кто не прав?

В его голосе прозвучала жесткая нота, которую Нина еще ни разу не слышала, когда отец разговаривал с ней. Слышала только, когда он разговаривал с другими.

— Может быть, я не права,— сказала она,— но я все равно хочу быть хирургом, больше никем. — Начала виновато, а кончила твердо, как отец.

— Ты права, считая, что на войне нет ничего бесспорней профессии хирурга, и вообще медика. Но хочу, чтоб ты знала: даже война не освобождает людей от необходимости думать. И пока она идет — приходится думать. И когда она кончится, тоже придется. Желание стать медиком достойно похвалы, но мне не понравилось, что ты связываешь это с нежеланием думать.

— А все-таки, как ты считаешь: кто прав, тетя Аня или Николай Петрович?

— В данном случае мне важней будет знать, как считаешь ты,— сказал Лопатин.— И хотя над такими вещами проще не думать — думай сама и, придя к собственным выводам, скажи мне. И тогда мы с тобой или согласимся, или вступим в спор. Ты ведь уже вышла из того возраста, когда считала, что я все знаю лучше всех. Сейчас я, по-твоему, что-то знаю лучше тебя, а что-то — хуже. Разве нет?

— Да,— сказала Нина.

— А теперь приступай варить суп и готовить уроки, если ты способна это совмещать. А я пойду к себе и попробую сесть за стол и нацарапать хотя бы начало рассказа, который обещал редактору.

6

Он пошел к себе в комнату, но не сел за стол и не принялся за рассказ, а вместо этого, не расшнуровывая, поддев под задники, сбросил ботинки, повесил на стул пиджак и лег на тахту. Лег и лежал так, не двигаясь, наверное, целый час, закинув руки за голову и глядя в потолок. Женщину, которая, по словам его дочери, была и хорошей, и умной, и даже красивой, он не знал и не хотел видеть, а хотел видеть совсем другую женщину, которую знал и, на свою беду, не мог забыть. Ругал себя и мысленно ставил в глупые и смешные положения — словом, не покладая рук трудился над тем, чтоб ее забыть, а забыть не мог, хотя ничего другого не оставалось.

Когда зимой сорок третьего года он прощался с Никой в Ташкенте на вокзале, загадав, что напишет ей первое письмо, только возвратясь в Москву, он не думал, что его поездка на Кавказский фронт будет короткой, но и не представлял себе, какой длинной она окажется. Он вернулся в Москву лишь на четвертый месяц, побывав до этого на всех южных фронтах, а под конец, неожиданно для себя, еще и на Воронежском. Во время вторичного захвата немцами Харькова, в третий раз за войну выходя из окружения, несколько суток месил весеннюю грязь и, вернувшись наконец в Москву, сказал редактору, что сразу же садится за корреспонденцию, а на самом деле весь первый вечер и ночь сидел и писал письмо в Ташкент: выяснилось, что наутро будет оказия,— в Чирчик под Ташкентом ехал в отпуск к семье фотокорреспондент Витька Брагин, парень непутевый, но верный, из тех, что, если обещали, расшибутся. Он обещал, если к пяти утра у Лопатина будет готово пись-

мо, доставить его в Ташкент прямо по назначению, из рук в руки.

Лопатин писал это письмо долго и трудно, помня, что ему скоро сорок семь, а ей тридцать, помня, как она сказала ему на прощанье — «давайте воздержимся от обещаний писать письма»; писал, понимая, что у нее до его приезда была и после его отъезда продолжалась своя собственная жизнь — и не до конца ему известная, и ничем не связанная с его жизнью, кроме одной короткой близости и нескольких долгих разговоров.

И все-таки писал, потому что и об этой короткой близости, и об этих долгих разговорах думал как о счастье, которое должно повториться. Это и предстояло сказать в письме, объяснив, почему считает себя вправе писать ей об этом он, проживший долгую жизнь с другой женщиной, разведенный, имеющий взрослую дочь, уже далеко не молодой и начинающий все больше уставать от войны человек.

К пяти утра письмо было дописано и отдано.

В ответ на объяснения Лопатина, как лучше всего доставить письмо, Брагин только отмахнулся:

— Не беспокойтесь, Василий Николаевич, гад буду, если не отдам ей в собственные руки, тем более если молодая и красивая!

По лицу его было видно, что он не больно-то верит, что женщина, которой пишет Лопатин, может быть молодой и красивой.

Брагин улетал рано, до начала рабочего дня, и Лопатин не удержался, напросился проводить его до аэродрома на «эмке», которая все равно возвращалась в редакцию. Ехал с ним на аэродром, словно хотел проделать сам какую-то часть пути вместе с этим письмом, уже лежавшим в полевой сумке у Брагина. Мало того, не удержался и несколько раз снова принимался объяснить, как там, в Ташкенте, сразу же найти ее в театре. Такая прыть в человеке, которому оставалось всего ничего до пятидесяти, наверное, забавляла двадцатипятилетнего Брагина. Окажись потом все хорошо, Лопатин, наверное, вспоминал бы эти подробности с улыбкой. Но когда все вышло наоборот — и эта ненужная поездка на аэродром, и собственная суетливость во время нее выглядели чем-то беззащитно-смешным.

«Гадом» Брагин не оказался и письмо отдал в собственные руки. Вечером, уже после начала спектакля, прорвался за сцену, когда Ника помогала там переодеваться перед выходом какой-то артистке.

«Зовут точно, как вы сказали,— Нина Николаевна, спросил — сразу отозвалась, письмо отдал, объяснил, что через две недели могу зайти взять у нее ответ, но она сказала, что сама

сразу отправит по почте. Высокая, худощавая, а больше ничего не разобрал, у них там за сценой темновато, а еще раз зайти — времени не было»,— наспех отрапортовал Лопатину вернувшийся через семнадцать дней Брагин. За опоздание из отпуска на двое суток его вызывали утюжить к редактору. А после утюжки в тот же день загнали на Карельский фронт. Он совершил психологическую ошибку, привез справку, что проболел; редактор в таких случаях предпочитал повинные.

К приезду Брагина письма от Ники еще не было. Прошла неделя, еще неделя, Брагин, замаливая грехи, уже прислал из-под Мурманска снимки оленьих упряжек, на которых там вывозили раненых. Напечатали и эти его снимки, и следующие. А из Ташкента по-прежнему ничего не было.

Лопатин попросил дежурную стенографистку поднять его ночью, когда подполковник Губер будет передавать из Ташкента свою очередную заметку по Туркестанскому военному округу. Две ночи Губер ничего не передавал, а на третью спавшего полуодетым у себя в кабинете Лопатина разбудили звонком из стенографического бюро, и он, назвав Губеру место работы, имя, отчество и фамилию, попросил узнать там, в театре, жива ли она, здорова и работает ли на прежнем месте.

Еще через несколько дней благоволившая к Лопатину старшая стенографистка утром принесла ему три машинописные строчки, отрезанные от сданной в набор заметки Губера: «Передайте Лопатину, жива, здорова, работает прежнем месте, извещена о его запросе, сообщила об отправке ему письма двадцать пятого апреля. Губер».

Выходило, что письмо это идет из Ташкента, если оно идет, а не пропало, почти месяц. Если не пропало! Он ухватился за эту мысль и решил, прождав еще три дня — до месяца ровно, дать телеграмму, что письмо пропало. Но оно пришло в редакцию утром на следующий же день.

Его письмо ей было одним из тех, на которые женщине приходится отвечать «да» или «нет». И она ответила ему «нет». Он спрашивал ее, готова ли она, несмотря на все препятствия, которые есть и могут возникнуть в будущем, несмотря на продолжающуюся войну, на продолжающуюся разлуку, на ограниченные и неопределенные возможности их встреч в ближайшие месяцы, а может, и годы, несмотря на то, что у них обоих дети и у каждого своя память о прошлом; несмотря на то, что неизвестно, когда судьба и их собственные усилия соединят их в одном городе и под одной крышей,— несмотря на все это, готова ли она считать, что они все равно вместе, а не порознь? Готова или нет? И она ответила — нет!

По письму чувствовалось, что она не щадит себя — скорей наоборот. Она писала, что после отъезда Лопатина вернулась в ту жизнь, какой жила до его приезда. В этой жизни был и снова появился человек, которого она не любит, но который тем не менее появился. И она заново свыклась с этой жизнью как с меньшим злом.

«За те дни, что вы были у нас в Ташкенте, вы помогли мне поверить в себя, при вас я стала сильней и считала, что уже не вернусь к тому, из чего вы помогли мне вырваться. Но когда вы уехали, из меня словно выпустили воздух. Все, что я говорила про себя и про вас тогда зимой, была правда. Но то, что я пишу вам сейчас, тоже правда. Я не хочу быть для вас второй Ксенией, а той, какой я хотела быть, из меня не вышло. Не пишите мне. Будет стыдно не отвечать вам, но отвечать не буду».

Таким было ее, год назад полученное и много раз потом перечитанное, письмо. Тогда, в прошлом году, вопреки ее просьбе, он все-таки написал ей письмо, совсем короткое, короче некуда: «Так тому и быть. Прощайте». Написал, чтоб знала: понял и поставил крест. А теперь, через год, выходило, что крест на всем этом поставлен давным-давно, а могила, оказывается, еще не засыпана.

Вспоминая, как там, на ташкентском вокзале, в последнюю минуту он, заторопившись, снял очки и она целовала его в лицо и в глаза, он снова ощущал жалкую беспросветность своей тоски по этой женщине, из которой, как бы она ни кляла себя, все равно не вышло бы второй Ксении. А крест все-таки поставлен. И в глаза тогда поцеловала, как покойника, словно знала, что дальше ничего не будет.

Думать обо всем этом можно было сколько угодно, радости это не прибавляло, сил тоже, а закалять волю, никому не показывая, что у тебя на душе кошки скребут, не требовалось. Никто этим не интересоваля.

В квартире было тихо. Потом чуть слышно звякнула на кухне Нина, наверное крышкой от кастрюли,— снимала пену с супа.

Он встал с тахты, надел пиджак, сел за письменный стол и вынул из ящика стопку бумаги — не слишком толстую и не слишком тонкую, такую, какую до войны любил класть перед собой, когда садился писать что-то новое. Никто не стоял над душой, можно было писать не торопясь, и он тем разборчивым и спокойным почерком, каким писал, когда не торопился, вывел заголовок: «Ночь как ночь».

Может быть, и даже наверное, редактор ждал от него чего-то другого, связанного с более существенными событиями, но ему хотелось написать просто-напросто о том, что делает и о

чем думает командир роты в те несколько ночных часов, которые у него остаются до назначенной на рассвете атаки.

Этой весной ему довелось провести ночь с таким погибшим наутро лейтенантом, и он дал себе слово написать о последних мыслях человека, не знающего своей завтрашней судьбы...

7

Перед отъездом дочери в Омск, рано утром, когда Лопатин по привычке уже встал, а Нина, просидевшая накануне допоздна над учебниками, еще спала, принесли телеграмму из Омска. Лопатин вскрыл телеграмму с тяжелым чувством: ничего хорошего ждать не приходилось.

В телеграмме было всего пять слов: «Вчера похоронила Андрея Ильича. Анна». И за этими пятью словами — решимость все до конца взять на себя. Телеграфировала не когда умер, а когда похоронила, когда уже поздно спешить к ней на помощь. А за пятью словами — вся жизнь, прожитая с человеком, к которому в девятьсот седьмом году, тридцать семь лет назад, невестой, поехала делить с ним ссылку. И теперь на всю остальную жизнь — одна: приедет ли к ней твоя дочь или ты сам — все равно одна. Он подумал не о ближайшем, а о дальнейшем: что делать с сестрой, когда кончится война. Брать ее к себе — нет, не уедет! Ни от тех двух комнат в деревянном старом доме на окраине Омска, в которых прожила всю жизнь, ни от могилы. И от школы своей, бывшей первой женской гимназии, никуда не уедет, а будет там работать, пока не умрет или не выгонят.

— А я испугалась, что ты куда-то ушел, хлопнула дверь, а потом тишина,— неслышно войдя в комнату, сказала за его спиной Нина.

Он обернулся. Она стояла босиком в одной рубашке. Глаза у нее оставались испуганными, словно он, стукнув дверью, уехал на войну.

— Пойди оденься и приходи. Ты мне нужна,— сказал Лопатин.

— Сейчас, только чайник поставлю.

— Потом. Сначала оденься и приходи.

Он еще раз прочел телеграмму. Она была отправлена из Омска вчера утром. Значит, хоронила она своего Андрея Ильича позавчера, а скончался он, выходило, не то седьмого, не то шестого, в день открытия второго фронта в Европе. «Дождался — и помер»,— усмехнулся Лопатин этой несуразной мысли,

пришедшей в голову неизвестно от чего, наверно, от воспоминаний о разговорах про второй фронт с людьми, которых уже нет на свете. И было бы в этом, в том, что они уже отвоевали свое и их нет на свете, что-то несправедливое, чего уже никакой второй фронт не поправит и никакая победа не воскресит.

А сами воспоминания возникли после вчерашнего вызова к редактору, спросившему, когда он сдаст рассказ и когда отправит дочь. Лопатин сказал, что рассказ сдаст завтра утром, а дочь отправит завтра вечером.

— Это правильно,— сказал редактор и окинул Лопатина с ног до головы быстрым, оценивающим взглядом. — С утра, прежде чем привозить рассказ, заезжай в госпиталь, можешь дежурную машину взять, пусть тебе там еще раз рентген сделают и все, что требуется. Если не застанешь меня в редакции — я, возможно, буду в Генштабе,— рассказ оставь, но сам сиди дома, не отлучайся. Ясно?

— Ясно.

Действительно, все было ясней ясного. Редактор предвидел в ближайшем будущем разворот событий и ехал в Генштаб знакомиться с обстановкой и искать в ней подтверждения своим догадкам.

В редакции вчера было многолюдней обычного: по коридорам ходили вызванные с разных фронтов корреспонденты; чтобы они зря паслись в Москве — редактор не любил, значит, собирался куда-то отправить.

— Зачем он тебя вызывал? — спросила Нина, когда Лопатин вчера вернулся домой.

— Торопил, чтобы рассказ сдал.

— А еще?

— А еще — не знаю. Поживем — увидим.

Оказывается, это «поживем — увидим» так встревожило ее, что сегодня, услышав стук двери, она прибежала в одной рубашке.

Вернулась она быстро, умытая, причесанная и одетая, с видом человека, готового в дорогу.

— Я все-таки на всякий случай поставила чай.

Он кивнул и протянул ей телеграмму.

— А можно я полечу? — спросила она. — Надо помочь ей все сделать. Там у нас это очень трудно.

Услышав это, он понял, что она одновременно и прочла, и не прочла телеграмму. Поняла, что в ней смерть, а тех слов, которыми было написано про эту смерть, не поняла. Она продолжала держать в руках телеграмму и смотрела на отца.

— Наверно, сегодня уже нельзя полететь? А может быть, все-таки можно?

— Прочти еще раз,— сказал он.

Она прочла еще раз и поняла.

— Уже похоронила,— сказала она пораженно. — Почему же она...

— Не вызвала нас с тобой на похороны? — договорил за нее Лопатин. — Наверно, потому, что знала из нашей с тобой телеграммы, что я недавно из госпиталя, а ты сегодня выедешь в Омск. Не захотела срывать меня, как она считает, с постели или сокращать наше свидание с тобой. Наверное, так. Как это у нее водится, подумала о нас, а не о себе.

— Что же теперь нам делать?

— Делать, как собирались: тебе ехать к ней в Омск, а мне сидеть и ждать, когда придет моя очередь ехать на фронт.

— А ты не сможешь сделать, чтоб я к ней не поехала, а полетела?

— Попробовал бы, если б речь шла о том, чтоб успеть к похоронам. А сейчас и вряд ли выйдет, и мало что изменит. Будешь ты у нее на третий день после похорон или на седьмой — дело уже не в этом, а в намного более трудном. Ты должна заменить ей то, чего заменить нельзя. Но это не на несколько дней.

— Я понимаю.

— Ты больше уважаешь, чем любишь тетю Аню, и я могу это понять, потому что так и у меня самого. Но нравственные долги надо платить, и иногда долго. До конца жизни.

— Я понимаю,— повторила Нина.

— Это должна понять не только ты, но и те люди, к которым ты в последнее время там привязалась. И твоя подруга, и ее мать, если она действительно такая, какой ты мне ее изобразила.

— Она лучше меня,— сказала Нина. — Она, когда я приеду, наверное, скажет мне то же самое, что ты.

— А ты, приехав туда, должна понять: любимый или тягостный, но все равно, пока ты там, в Омске, у тебя теперь только один дом. Я не приглашаю тебя менять планы на будущее. Если война еще не кончится, а ты окончишь свои курсы и добьешься отправки на фронт, никто — ни я, ни твоя тетка — не вправе тебя останавливать. Но пока этого не случилось... Если я сказал тебе что-то, с чем ты не согласна,— возражай сейчас, не оставляй на потом. Мы можем долго не увидеться, и если я буду думать, что ты со мной согласна, а ты будешь думать, что я не прав,— это хуже всего.

— Нет, я согласна,— сказала она. — Я уже думала об этом.

— О чем?

— О том, как будет, когда Андрей Ильич умрет. Только я не думала, что так быстро.

Она сказала это с тем спокойствием, которое приобретают люди, привычные к виду смерти. У нее, ночной няни, эта привычка была. В памяти у Лопатина вдруг встало все, что она ему говорила о госпитале, о своих дежурствах, о раненых,— какие они, что говорят, как ругаются, как плачут, что рассказывают о войне и о чем не хотят рассказывать. За эти дни для него стало ясно, что она куда больше знает о войне, чем он представлял себе раньше. Знает и намного глубже, и намного обыденнее, чем это приходило ему в голову.

— Он думал, что еще поживет несколько месяцев. Перед моим отъездом, когда тетя Аня ушла, а я была дома, он меня позвал и говорит: «К осени вы с Анной Николаевной останетесь вдвоем, она совершенно не умеет думать о самой себе, подумай об ней ты».

— Что ты ему ответила?

— Ну конечно, глупости, которые все говорят: зачем он так и что он еще выздоровеет. Долго чего-то плела ему, даже самой стыдно стало, а он — ни слова, только постучал по табуретке у изголовья пальцем и остановил меня. Даже «замолчи» не сказал, просто постучал.

И Лопатин отчетливо представил себе мужа своей сестры, умирающего там, в Омске, на постели, рядом с которой стояла табуретка с лекарствами и каким-нибудь питьем. Представил себе, как от него, и прежде худого как мощи, осталась только тень человека, молчаливая и, наверно, бестрепетная перед лицом смерти. И, говоря с девочкой о предстоящем ему, он не изменил привычке всей жизни и назвал жену так, как они всегда говорили друг о друге за глаза и при других людях: Андрей Ильич, Анна Николаевна.

— И все-таки он считал, что проживет до осени,— сказала Нина.

«Кто его знает, что он считал,— подумал Лопатин, глядя на дочь. — Может быть, наоборот, считал, что умрет со дня на день. А сказал тебе про осень, чтобы ты без колебаний ехала к отцу. Как проникнуть не в свою душу? Гораздо чаще делаем вид, что умеем это, чем хотя бы приближаемся к такому умению. В чужой душе все равно что в темноте в чужой комнате — пойди найди там иголку на полу! Пока найдешь — перевернешь и переломаешь половину того, что всю жизнь стояло на своих местах».

— Ты сегодня плохо выглядишь,— прервав его мысли, сказала Нина.

Но он поднял на нее глаза так, словно не слышал.

За чаем, видя, что отцу не хочется разговаривать, Нина тоже молчала. Только когда уже стала мыть чашки, а он все еще сидел на кухне и грыз пустой мундштук, спросила:

— Ты не думаешь, что тебя могут послать туда?

— Куда?

— На второй фронт.

— Не думаю. На это лето нам хватит своих забот. А если надумают посылать и туда — то вряд ли меня. Других вопросов по второму фронту нет?

— Что ты сердишься?

— А я не на тебя. Мне вчерашние гости своим вторым фронтом плешь проели.

На дочь он действительно не сердился. Хотя она за последние четыре дня, наверное, раз десять спрашивала его про второй фронт, но это был просто молодой, жадный интерес к тому, чего так долго ждали, и не высказанное вслух детское желание, чтобы ее отца, побывавшего почти на всех фронтах, теперь послали бы и туда, в Европу.

Он отвечал на ее вопросы терпеливо и, вытащив большой довоенный «Атлас командира РККА», показывал ей по нему, где высадились англичане и американцы и куда успели продвинуться на этом маленьком полуострове в Нормандии.

Но вчера его и в самом деле разозлили с этим вторым фронтом неожиданно свалившиеся на голову гости. Были они оба, и муж и жена, славные и легкие в общежитии люди и, только что вернувшись из эвакуации, спешили возобновить старые московские знакомства.

С ним Лопатин когда-то учился, а потом, когда тот стал писателем, любил его книги, поражаясь завидному умению, отряхнув со своих ног прах обыденщины, превращать самое заурядное в жизни в пленительно-красивое, безотчетно печальное и чуть-чуть загадочное. Этот человек и в разговорах, и в своих книгах был так добр к людям, что порой казалось — он не хочет огорчать ни себя, ни других столкновениями с действительной тяжестью жизни. Но, даже иронизируя над этим, Лопатин все равно любил его утешительные повести и рассказы. И разлюбил только в годы войны. Не прежние, а новые, написанные ничуть не хуже, чем раньше, но в чем-то самом главном несовместимые с той войной, какую он знал. Его вчерашний гость видел кусочек войны, в самом начале, и, кажется, не слишком близко. Ни годы, ни здоровье, давно оставлявшее желать лучшего, не предписы-

вали ему непременно быть на фронте, но он все-таки поехал туда от одной из газет и вскоре вернулся, так ничего и не написав,— наверно, не сладив с противоречием между той жизнью, в которую воткнула его война, и той, которой привыкли жить герои его прежних книг.

А потом, когда началась уже не первая летняя, а решительная осенняя эвакуация Москвы, он, добросовестно отдежурив свое на крыше в ночи немецких бомбежек, уехал в эвакуацию, а там, вдали от войны, сладив с противоречием, с которым не мог сладить вблизи, начал печатать свои утешительно-прекрасные рассказы, не столько о самой войне, сколько о связанных с ней приездах и отъездах, разлуках и встречах. И хотя Лопатин невзлюбил эти рассказы, он вчера заранее дал себе зарок не ввязываться в споры и не обижать человека, который хочет утешить своих читателей. Что ж делать, каждый утешает по-своему, и есть много людей, которые ответно любят смотреть именно в такие добрые, печально полузакрытые на правду глаза.

Гость пришел с неначатой коробкой «Казбека» и, хотя Лопатин сказал, что пока не курит, все равно оставил ее.

— Ничего, когда закуришь, начнешь с них!

А жена его притащила еще теплый яблочный пирог, который и ели с чаем. Принесла как милое напоминание о своей довоенной стряпне и гостеприимстве. Лопатин ел и хвалил ее пирог, а она счастливо улыбалась своим добрым, когда-то круглым, как блюдечко, а за войну сильно похудевшим лицом и, перебивая мужа, болтала, перескакивая с одной темы на другую, но так ни разу и не вспомнив вслух Ксению, наверно считая, что причинит этим боль Лопатину.

И все было бы хорошо, если б, когда и допили чай, и доели пирог, гостям не вздумалось перед уходом заговорить о втором фронте.

— Скажи, Вася,— ты все эти годы намного ближе к войне, чем мы,— что ты думаешь о высадке союзников?

Лопатин ответил то, что думал: будь эта высадка в сорок втором, он считал бы ее даже самопожертвованием. Случись это в прошлом году, особенно до Курской дуги, встретил бы эту новость с огромным облегчением, потому что не боится признаться — до самой Курской дуги жил в тревоге, не пойдут ли немцы ломить нас и в третий раз, на третье лето. А теперь, на четвертое лето войны, конечно же, как и все, рад и счастлив, что эта высадка в Европе наконец произошла. С нетерпением слушает и вечерние и утренние сообщения, но никаких особенных чудес от всего этого не ждет.

— А что ты называешь чудесами?

— Чудесами? Ну, например, если б немцы так перепугались этой высадки, что завтра же поснимали с наших фронтов половину своих войск и перебросили их на Запад. А мы быстро расшлепали бы оставшуюся половину и оказались в Берлине! Но в такое чудо я, к сожалению, как раз и не верю!

— А я как раз в него и верю,— возразил гость и стал развивать мысль, что все именно так и будет; немцам ничего другого не останется, как забрать с нашего фронта по крайней мере половину своих войск, а то и больше, и перенести главные усилия на Запад, как это было в конце первой мировой войны.

— В конце первой мировой армия кайзера чувствовала себя хозяином положения на Восточном фронте, и так оно и было, иначе мы бы не подписывали Брестского мира,— сказал Лопатин.— А сейчас, после Курской дуги и десяти месяцев нашего почти беспрерывного наступления, хозяевами положения здесь, на Восточном фронте, сделались мы. И немцы оставят против нас все, что они здесь имеют, все, до последнего солдата. И, несмотря на высадку союзников, нам все равно придется додалбливать здесь не четверть и не половину, а все, что стоит против нас. И твои сравнения с концом первой мировой совершенно ни при чем.

Но хотя самому Лопатину все это казалось очевидным, гостей он не пронял. Для них второй фронт был манной небесной, и они никак не могли расстаться с утешительной мыслью, что теперь, после высадки во Франции, главная война перекочует туда, на Запад. Раньше была здесь, у нас, а теперь будет там, у них, и на нашу долю останется не так уж много! Они на разные лады все повторяли и повторяли эту мысль, упрекая Лопатина, что он только из упрямства не хочет быть оптимистом.

А у Лопатина, который после всего виденного на войне дорого бы заплатил, чтобы стать оптимистом, все нарастало и нарастало раздражение против чего-то, что делало этот их оптимизм пустым и легким, как гнилой орех. В их преувеличенном восторге и преувеличенных надеждах было какое-то обидноглупое умаление всего, что происходило до этого, какое-то забвение безмерности всей той пролитой крови, ценой которой война была вытолкнута обратно, от окраин Ленинграда и Москвы и развалин Сталинграда, на ее нынешний передний край.

Они, эти люди, не понимали войны и не чувствовали всей силы того кровавого и страшного взаимного сцепления, которое сейчас держало и нас и немцев по обеим сторонам этого переднего края. Они не представляли себе, как немыслимо страшно

немцам, после всего, что они сделали, вдруг взять и расцепиться с нами, как невозможно им вдруг взять из окопа где-то на Украине или в Белоруссии солдата, который лежит там со своей винтовкой или автоматом и ждет каждую ночь, когда мы опять начнем, как невозможно им взять этого солдата и отправить его во Францию, оставив вместо него там, где он лежал и ждал, пустое, не заполненное никем другим место.

Лопатин молчал, но, должно быть, в его молчании чувствовалось ожесточение, и гости увяли. Она, собравшаяся уходить, стала целовать Нину и хвалить за то, что приехала к отцу, а он, обняв Лопатина, сказал:

— Ты так сердито молчал, что я даже подумал, неужели ты до того ожесточен войной, что тебя злит мой оптимизм.

— Злит,— сказал Лопатин. — И ожесточен я не войной, а твоим оптимизмом.

— Допускаю, что над оптимизмом можно шутить, но как можно на него злиться?

— Если он дешево стоит — можно. Прости меня, и не будем продолжать — поссоримся.

— Хорошо, не будем.

Пауза была замята поспешными и шумными прощаниями.

Таким был этот вчерашний разговор о втором фронте.

Когда Нина, помыв посуду, пришла к Лопатину в комнату, он уже написал телеграмму сестре и положил ее на стол вместе с деньгами.

— Пойди отнеси на телеграф. Перепиши на бланке и отправь. И деньги тоже отправь телеграфом. Остальное пошлю по почте, возьму завтра в сберкассе, а это — на всякий случай, вдруг сразу понадобятся.

Она пробежала глазами написанное в телеграмме, кивнула головой и рванулась к двери:

— Я быстро-быстро вернусь.

Но ему стало жаль отпускать ее от себя в этот последний день, и он поднялся из-за стола:

— Выйдем вместе. Ты на телеграф, а я пока схожу в редакцию отнесу рассказ.

— Подожди. — Она встревожилась. — Ты вчера говорил, что тебе дадут дежурную машину и ты еще до редакции съездишь в госпиталь на рентген.

— Ни на какой рентген я не поеду.

— Но ведь тебе редактор велел.

— Мало ли что он мне велел. Нет настроения ехать сегодня в госпиталь. Можешь меня понять?

— Могу, мне бы самой не хотелось.

— Сдам сегодня рассказ, на том и сойдет. А в госпиталь завтра, без тебя. Пошли!

Когда они дошли до угла своего дома, где ему надо было сворачивать направо — к редакции, а ей налево — к телеграфу, Нина нерешительно предложила:

— Может, я отправлю и приду в редакцию, подожду тебя там у вахтера, пойдем домой вместе.

— А вдруг редактор тут же с ходу захочет прочесть рассказ и высказать соображения? Что тогда? Сходи на телеграф и возвращайся домой. А я, как освобожусь, позвоню. И ты пойдешь мне навстречу — по правой стороне, если считать от тебя.

Она поцеловала его и махнула своими длинными ногами через перекресток к телеграфу, а он, с завернутым в трубочку рассказом под мышкой, отправился в редакцию, до которой, как это давно сосчитано, четверть часа ходу, а, впрочем, теперь, после госпиталя, немножко больше.

8

Редактор был на месте, но собирался ехать информироваться в Генштаб и читать рассказ не стал.

— Что у тебя за привычка? Обязательно ему нужно в трубку свернуть.

Он недовольно разгладил лопатинскую рукопись и, прочтя заголовок «Ночь как ночь», поморщился.

— Ночь как ночь, день как день! Все тянет заранее объяснить, что ничего особенного не произойдет. Раз ночь как ночь — чего ж тут читать? Или сам перемени, или пусть тебе Гурский за двадцать копеек придумает. А нет — я переменю. Бесплатно.

Он зашел в заднюю комнату и, скинув там свою синюю рабочую куртку, вернулся в генеральском кителе.

— Что тебе в госпитале сказали? Только не ври, имею возможность проверить.

— Не был я в госпитале.

— Возьми машину и съезди, пока меня нет.

— Не хочется. Дочь провожаю, обратно в Омск. Лучше дай машину свезти на вокзал. Сегодня провожу, а завтра с утра — в госпиталь.

— Смотри, тебе видней,— с запинкой сказал редактор и, ничего не добавив, первым вышел из кабинета.

Лопатин пошел к Гурскому. В начале войны, когда редакция дважды переезжала в другие большие дома с подвалами, превращенными в бомбоубежища, каждый раз считалось, что ее

старенькое здание, втиснувшееся между двумя дряхлыми деревянными домами, немцы непременно сожгут. Но с ним ровно ничего не случилось, и редакция со второго года войны снова благополучно теснилась в этом привычном доме, с его узкими длинными коридорами и маленькими теплыми комнатами в одной из которых был крошечный кабинетик Гурского.

— Все еще в штатском? — Увидев Лопатина, Гурский снял со стула подшивку газет. — Садись!

Все кругом, даже диван, на котором Гурский, если удавалось, любил подремать в разгар редакционного дня, было завалено подшивками.

— Поеду провожать — надену форму,— сказал Лопатин.

— Для переговоров с проводниками о доставке до Омска без усушки и ут-тряски?

— Да. Все-таки девчонка.

— Я, если позволит время и темп-перамент нашего редактора, тоже п-провожу ее. По правде говоря, сначала думал, что она смягчится и останется с тобой.

— Пока война — понятие «со мной» слишком неопределенное. Поэтому не уговаривал.

— Только не делай, пожалуйста, вид, что тебе так уж не терпится вп-перед, на Запад!

— Пока вполне терпится. Не прочь посидеть и спокойно пописать.

— Ну, это бабушка надвое сказала. Сп-покойной жизни нам не обещают. Вчера на улице Горького вст-третил знакомого по Сталинграду комбата, вместо левой кисти — п-протез. А замполита их полка, с которым ходили в батальон, оказывается, уже вт-торой год нет на свете. Ты, кстати, его знал, он тогда в Сталинграде всп-поминал, как ты был у него в Одессе.

— Знал,— сказал Лопатин и ничего не добавил. Не хотелось. Он уже давно боялся за Левашова, иногда почти не веря, что тот до сих пор жив. Было в этом человеке что-то гибельное, словно он с первого дня войны как рванул на себе ворот, так и шел — душа нараспашку — навстречу смерти.

— Вижу, расст-троил тебя,— сказал Гурский. — Мне там, в Сталинграде, п-показалось, что он — личность. Поэтому и спросил про него вчера.

— Не хочу сейчас об этом. Давай когда-нибудь в другой раз,— попросил Лопатин.

— К-как хочешь. Рассказ кончил?

— Лежит у него на конторке. Еще не читал, по название «Ночь как ночь», если ты не придумаешь другого, пригрозил заменить сам.

— Это оп-пасно. Откроешь утром газету, и своих не узнаешь. Вместо «Ночь как ночь» окажется какое-нибудь «Вчера перед рассветом». Он любит оп-перативные названия. Чтобы вчера произошло, а сегодня уже нап-печатали. Ладно, п-придумаю что-нибудь не до конца сокрушающее п-первоначальный замысел автора. Значит, дочь уедет, и ты опять один. Нехорошо...

— А ты не один? Тебе хорошо?

— Я теперь не один. Как тебе известно, я уже т-третий месяц живу со своей мамой, и это очень хорошо. И не только для меня, а и для тебя с твоей дочерью. Потому что мама, как я тебе только что собирался сообщить по телефону, подтверждает свое п-приглашение прибыть к ней на прощальный обед, который, по ее словам, у нее в основном п-получился, хотя она очень переживает, что, доставая п-продукты, я не п-полностью оправдал ее доверие. Имея в виду твою дочь, она говорит, что ребенок должен покушать перед д-дорогой, и подозреваю, что она еще завернет ей с собой все, что мы не д-доедим, если мы не д-доедим. Мне тридцать пять, я, в сущности, уже ст-тарый человек, и мне хотя бы иногда хочется есть пищу, приготовленную руками моей матери. А для нее — это просто п-потребность. Пока был жив отец, она там, в эвакуации, удовлетворяла эту свою п-потребность, до самого конца готовя ему пищу. В последнее время п-почти из ничего. Вп-прочем, догадываюсь, она в это «п-почти ничего» клала каждый раз кусочек души. Наверное, кусочек души, вложенный в пищу, п-придает ей какой-то вкус. Теперь, когда отец умер и она живет у меня, она страдает, что я ем в редакции. Я вижу, как на нее п-постепенно накатывает тоска, и по нескольку дней ломаю себе голову, как достать что-то, при помощи чего она п-попробует доставить мне радость. Иначе она просто умрет от горя... Как тебе известно, я в пятнадцать лет п-покинул своих родителей, вступив на путь пагубной для меня самостоятельности, и только теперь, на ст-тарости лет, начал понимать, почему я так любил отца и так люблю маму. Именно потому, что я их рано п-покинул. И хотя я всю жизнь считал, что они мне не т-так уж нужны, мне их всю жизнь не хватало. Они очень п-поздно меня родили, и им тоже меня не хватало, но они никогда не жаловались, и я, наверно, любил их за это еще б-больше. Даже противно, каким умным я делаюсь к ст-тарости...

— Старость — понятие относительное, тем более твоя,— сказал Лопатин.

— Верно. Но если ты имеешь в виду, что ст-тарше меня на двенадцать лет, то и слово «старше» тоже относительно. Просто ты прожил больше меня лет, но я жил один и почти всю жизнь

думал о ней сам с собой. А это вдвое ут-томительней. Одно дело пятнадцать лет п-подряд говорить с твоей Ксенией, а другое дело столько же, и даже больше, говорить с самим собой. При такой нагрузке я чувствую себя вдвое старше своих лет.

— Раз одиночество идет у тебя год на два — останови этот гибельный счет и женись.

— В п-принципе п-правильно. Но кажется, я буду и дальше продолжать тот неп-правильный образ жизни, к которому привык и которого не п-понимает моя мама. Самое смешное и одновременно п-печальное — ее вера, что она будет счастлива, если я женюсь. Выполняя сыновний долг, я, очевидно, должен был бы жениться на женщине, с которой будет счастлива моя мама. Но, зная себя, я знаю, что мог бы жениться только на женщине, с которой моя мама будет абсолютно несчастна. Сп-прашивается — зачем это делать?

— А какая женщина имеется в виду? Умозрительная или реальная?

— Ты знаешь, в этом вопросе я не т-теоретик. У меня недавно был практический повод подумать над этой проблемой, и повод внешне весьма п-привлекательный, надо отдать ему должное... Но, ты п-понимаешь, какая история — могу п-признаться только тебе,— в моей старой ожесточенной холостяцкой душе с годами накопилась какая-то нелепая п-потребность не то отцовства, не то мат-теринства. Нап-пример, хотя я понимаю, как это идиотски звучит, но мне кажется, что я не меньше твоего привязан к твоей дочери. А когда я п-после смерти отца привез в эти свои две пропитанные холостяцким духом смежно-п-проходные комнаты свою маму, я каким-то собачьим, умоляющим взглядом смотрел на соседей, чтобы они не расск-казали про меня моей маме чего-то такого, чего нельзя рассказывать д-детям. В пятнадцать лет покинув их обоих там, в Воронеже, а сейчас взяв маму к себе, когда ей уже семьдесят два, я исп-пытываю нелепое чувство, будто взял к себе давно б-брошенного мною ребенка, за которого я отвечаю и от которого прячу то, во что не следует посвящать д-детей. Это покажется тебе смешным, но я в последнее время стесняюсь п-приходить домой утром. Если я говорю, что до утра работал в редакции, она мне верит, но расстраивается — как я плохо выгляжу. И п-представь себе, бывает, вместо того, чтобы п-провести остаток ночи с женщиной, я где-то в три часа утра иду п-прямо из редакции домой к маме, размышляя по дороге о ст-транностях любви к родителям...

Гурский говорил о себе с той беззащитной печалью, которая — хочешь не хочешь — вызывает дурные предчувствия. И ес-

ли бы Лопатин услышал все это не здесь, в Москве, а где-нибудь на передовой, ему, наверное, стало бы не по себе.

— Чего ты? — спросил Гурский так, словно Лопатин прервал его на полуслове.

— Ничего. Ты говоришь о себе, а я думаю о себе. К которому часу велено быть?

— Поскольку в восемь уже надо сажать твою дочь в вагон, велено быть п-пораньше! В пять! И прошу иметь в виду, что к обеду, а тем более к праздничному, у нее не смел оп-паздывать даже мой отец. Хотя он не боялся ни бога ни черта и в свое время, а именно в конце прошлого века, отслужив д-действительную в к-кавалерии, по безумной любви похитил маму в Варшаве и вывез к себе в Воронеж, п-получив ее ок-кончательное согласие только где-то на полдороге. Они были невероятно разные люди. Наверно, так вот и надо жениться, чтобы всю жизнь быть счастливым. Как п-по-твоему?

— Быть счастливым не моя специальность,— сказал Лопатин.

— Только не заб-блуждайся насчет меня в лучшую сторону,— сказал Гурский. — Не думай, что я так уж расчувствовался. Просто мне лень сегодня работать.

— Хорошо, будем считать, что я тебе поверил. Чем это ты обложился? — Лопатин заглянул в верхнюю из лежавших на диване подшивок и увидел, что она за сороковой год.

— Смотрю, чем заканчивались в прошлом оп-перации, связанные с морем. В частности, в Норвегии, в Дюнк-керке и Дьеппе. Написал по заданию редактора обзор о высадке союзников в Нормандии, а теперь п-проверяю свои умозаключения историей вопроса.

— Ну и как? Не спихнут их немцы?

— По-моему, нет. Если бы мы, по их п-прогнозам, в сорок первом п-подняли лапки, то еще воп-прос, кто и где бы сейчас высаживался: англичане — во Франции или немцы — в Англии? Но поскольку мы тогда лап-пок не подняли, то теперь, по-моему, их уже не сп-пихнут. Чего усмехаешься?

— Вспомнил, как сам вчера спорил на ту же тему.

— С кем?

— С одним братом писателем, к чьим прелестям слога вы с редактором оба неравнодушны.

Гурский прищурился, секунду подумал и назвал имя.

Лопатин кивнул.

— А ты, оказывается, все-таки завистлив,— сказал Гурский. — И я знаю п-почему. У тебя не хватает вооб-бражения даже на заголовки. Рожаешь в муках какую-то скукоту, «Ночь

как ночь». А он к твоей ночи завернул бы такой эпитет, что редактор зак-качался бы от вост-торга...

— Я в глубине души всегда был завистлив,— сказал Лопатин. — Мне всегда казалось, что если я что-то знаю намного лучше, чем кто-то другой, то я должен и написать лучше, чем он. А это далеко не всегда получается. И в этом и состоит та обидная для нас, людей средних способностей, высшая несправедливость, которую имеем в виду, когда говорим про кого-то: талант есть талант! Сами про себя думаем, что мы и правильней, и умней его, и лучше, чем он, воспользовались бы таким божьим даром, а все же говорим «талант есть талант» не про себя, а про него.

— Если ждешь возражений, то их не будет, все п-правильно. Хотя мне тебя нисколько не жаль, несмотря на твои средние, по твоему мнению, сп-пособности.

Лопатин усмехнулся. Ему тоже не было жаль себя, ни сейчас, ни раньше. Во всяком случае, с тех пор, как — к годам тридцати с хвостиком — он определил для себя меру своих способностей и понял, что может и чего не может. Наверно, это и есть знать себе цену.

— Вот что делает с людьми длительное затишье на всех фронтах,— сказал Гурский. — Начинаем заниматься самоанализом, который эк-кономней было бы отложить до конца войны. А шляпу я бы на твоем месте не над-девал. Мне она идет, а тебе — нет!

— А вот моей дочери, представь себе, нравится,— сказал Лопатин и, надев шляпу, позвонил домой: — Я иду. Выходи.

— Подожди минуточку. — Нина несколько секунд невнятно говорила с кем-то, очевидно прикрыв рукой трубку, и потом звонко крикнула: — Я тоже прямо сейчас бегу навстречу.

— Смотрите, не оп-поздайте к обеду, мама этого не п-потерпит,— повторил Гурский.

9

Лопатин шел навстречу дочери по Малой Дмитровке и думал: с кем же она там говорила, прикрыв ладошкой трубку, кто мог забрести к ним в этот последний день?

Уже пересекая Пушкинскую площадь, он увидел быстро шагавшую Нину и рядом с нею Велихова — не того, в халате и тапочках, а одетого по всей форме — в новенькой фуражке и при орденах. И прежде чем они его заметили, подумал, что бесполезно лгать самому себе: да, ему и странно, и немножко страшно видеть их вместе — Велихова, перетянутого полевыми рем-

нями, с пистолетом на одном боку и планшеткой на другом, и дочь, скуластенькую, с неизвестно когда успевшими выгореть до соломенного цвета коротко остриженными волосами, широкоплечую, длинноногую, почти вровень с ним, но все равно такую же девчонку...

Они не держали друг друга под руку, но шли тесно, рядом, и по оживленному лицу дочери Лопатин почувствовал, как она довольна тем, что идет по Москве, как большая, вместе со взрослым человеком, офицером, на ордена и золотую звездочку которого оглядываются прохожие.

— Здравия желаю, товарищ майор,— останавливаясь перед Лопатиным, сказал Велихов, и, хотя при этом улыбнулся, щека у него болезненно дернулась, и Лопатин подумал, что Нина, наверное, слишком быстро тащила его навстречу отцу. Велихов был без палки, но, с тех пор как он ходил, опираясь на нее, прошла всего неделя.

— Здравствуйте, товарищ капитан! Виноват, майор! — поправился Лопатин. На погонах Велихова вместо четырех капитанских звездочек была одна майорская. — Когда это вы успели?

— Вчера получил документы о присвоении и назначение заместителем командира полка. Через час отбываю — поездом. Вещи оставил в камере хранения на Белорусском вокзале, а сам — к вам.

— Молодец, что зашли. Тем более еще и военную тайну выдали — где вас искать. С Белорусского вокзала, надо полагать, по направлению к Белоруссии движутся?

— Надо думать так,— весело сказал Велихов.

— А раз так, то зайдем к нам и выпьем посошок на дорогу, если мне дочь разрешит. Авось когда-нибудь и я двинусь по вашим стопам.

— Спасибо, Василий Николаевич, но я вас провожу до дому и — прямо на метро. Мое время уже вышло.

— Я Михаилу, когда он пришел и сказал, что уезжает на фронт, сразу предложила выпить рюмку на дорогу. Но он чего-то застеснялся...

— Я не застеснялся, а вы сказали, что вы со мной не будете. А что же я один...

— Правильно,— сказал Лопатин,— она же еще несовершеннолетняя. Хотя докладывала мне, что, как начинающий медик, пробовала в Омске разведенный спирт. Но неудачно — поперхнулась. Как с ногой? Не слишком быстро она вас тащила?

— Старался не отставать,— рассмеялся Велихов.

По наблюдениям Лопатина, все те три вечера, что Нина приходила к нему в госпиталь, Велихов то и дело попадался ей на глаза, несколько раз заговаривал с ней, а в последний день утром, когда Лопатин уезжал, помог ей упаковать отцовское обмундирование и книги и, хотя сам еще опирался на палочку, отнял у нее чемодан и дотащил до машины.

— Ну что, Миша,— сказал Лопатин, когда они подошли к подъезду и настало время прощаться.— Доберетесь до места службы, сообщите свою полевую почту.

— Я уже вашей дочери оставил,— чуть запнувшись, сказал Велихов, пожимая ему руку.

— Тем лучше. Надеюсь, она от меня не утаит. А я, если окажусь в тех краях, постараюсь добраться до вашего полка. Посмотрю, какой вы там, у себя. Я человек любопытный.

— А я, Василий Николаевич,— сказал Велихов,— когда кончится война, постараюсь добраться до вашего дома и, если Нина Васильевна не обзаведется к тому времени супругом, наберусь храбрости и посватаюсь. Если, конечно, будет на то разрешение...

— С разрешения не интересно,— сказала Нина, покраснев от собственной бойкости.

— Если долго провоюем, можете еще и на фронте успеть с нею встретиться,— сказал Лопатин. — Она ведь собирается кончать курсы сестер, и непременно после этого — на фронт! И не просто на фронт, а на передовую, желательно в санчасть полка, а еще лучше — в батальон!

— Не дай вам бог, зачем это? — сказал Велихов, так переменившись в лице, что Лопатину показалось, что сама мысль об этом была связана у него с каким-то происшедшим на его глазах, не забытым несчастьем. — Медицинская служба большая, зачем вам непременно в полк, а тем более в батальон?

С него словно ветром сдуло то веселое настроение, в котором он был до этого, и в голосе послышалась ничем не прикрытая тревога человека, слишком хорошо знающего войну.

— Извините меня, но вы же еще совсем девочка, как-нибудь и без вас там обойдется! Зачем вы своего отца волнуете, как вам не стыдно?

Нина стояла молча, закусив губу. Наверное, ей хотелось выпалить, что она все равно уже решила и все будет так, как она решила. Но она не сказала этого, сдержалась, потому что на самом деле была намного душевно старше, чем это казалось заместителю командира полка гвардии майору Велихову.

— Извините,— сказал он, в голосе его была все еще не прошедшая тревога. — До свидания!

И он осторожно пожал протянутую ему Ниной руку.

— До свиданья, Миша,— сказал Лопатин. — Если не свидимся на войне, а я съеду с этой квартиры, найдете меня через «Красную звезду».

Велихов, простившись, пошел дальше, вниз по улице Горького, к метро, а Нина хотела сразу войти в подъезд, но Лопатин, задержав ее, продолжал смотреть вслед Велихову. «Хоть бы этот остался жив»,— подумал он, подавляя в себе все не проходившую и не проходившую горечь от известия о смерти Левашова. Как ни приучай себя к мысли, что человек убит уже давным-давно, а все-таки он убит только сегодня, час назад, когда ты узнал об этом.

— Нагородил тут, думает, что напугал меня! — воинственно сказала Нина про Велихова.

— Что промолчала — молодец! А что хотел напугать — глупо! Не тебя пугал, а сам испугался за тебя. Думаешь, не страшно, хлебнув всего, чего он хлебнул, представить себе, что вот такая девчонка, как ты, которая хоть чуточку ему нравится, может оказаться там же, где он?

Она смотрела на отца, и он по ее глазам видел, что она только сейчас поняла, какую тревогу у него вызывает задуманное ею для себя будущее. Хотя бы и далекое, но все равно!

— Не сердись на меня. — Она дотронулась до его руки. — Пожалуйста, не сердись. Я понимаю, как тебе не хочется, чтобы это было, но ведь и ты меня понимаешь?

— В том-то и беда, что я тебя понимаю,— вздохнул Лопатин. — Пойдем собираться в дорогу: Гурский еще раз напомнил мне, что его мама ждет нас к обеду.

— Берта Борисовна! — воскликнула Нина. — Если бы ты знал, какими она меня котлетами накормила в первый день, когда я у них ночевала. Я еще никогда в жизни так вкусно не ела, честное слово!

— Значит, сегодня поешь так же вкусно второй раз в жизни,— сказал Лопатин.

— Почему ты сказал ему, что, может быть, съедешь отсюда? — спросила Нина, когда они поднялись по лестнице и подошли к дверям квартиры. — Из-за мамы?

— Даже сам не знаю, почему сказал. А впрочем, знаю. Хочется счастья. А квартира эта несчастливая для людей. И для нас тоже. Разве за исключением той недели, которую сегодня с тобой доживаем. С самого начала нашей жизни тут с твоей матерью все было далеко не так хорошо, как хотелось мне, а быть может, и ей. А для людей, что жили тут до нас, эта квар-

тира была куда несчастливей. Даже нельзя, стыдно сравнивать! И хотя, когда мы сюда переехали, ты была еще девочкой, я знаю, ты помнишь разговоры об этом. Разве нет?

— Помню, — сказала Нина.

— А осенью сорок первого, когда я, перед отъездом в Мурманск, зашел сюда забрать валенки, сама судьба мне снова напомнила обо всем этом... Вышел из двери в темноте, а передо мной — младший лейтенант, лет восемнадцати, почти как ты сейчас,— спичку зажег и светит. Смотрит на меня, на медную дощечку на двери и спрашивает: «Теперь вы здесь живете?» Короче говоря, по дороге на фронт зашел взглянуть на пепелище сын тех людей, что жили в этой квартире до нас. Верней, до того, как она почти год простояла опечатанная.

— А они?

— А их, как я понял, уже не было на свете. Он ничего не сказал о них, но так я понял по его молчанию.

— Но разве ты перед кем-то виноват, что тебе тогда дали эту квартиру?

— Очевидно, нет. Очевидно, я лично перед кем-то другим в том, что именно мне дали потом эту квартиру, не виноват. Но с этой нашей медной дощечкой — которую он пришел и увидел на бывшей своей двери — у меня все равно было чувство вины перед ним. Было и осталось!

— Так что же теперь делать?

— Очевидно, теперь уже делать нечего...

— А почему ты мне раньше ничего не рассказал об этом лейтенанте?

— А потому, что ты не была взрослой. А сейчас стала. И эта встреча сидит во мне, как ржавый гвоздь. И хотя мне трудно думать, что ты можешь оказаться на фронте, я рад, что ты храбро смотришь в будущее. Но вдобавок к этому не надо представлять себе ни собственную, ни чужую жизнь проще, чем она есть и будет... А для этого тоже нужна храбрость. Всю жизнь. И что самое трудное — всякий раз заново.

Они стояли перед дверью своей квартиры, и Лопатин видел, как у его дочери подрагивают плечи, словно она оказалась вдруг в холодном и незнакомом ей месте, озябла, но боится оглянуться и посмотреть, почему ей стало холодно.

— Мне стало так не по себе, просто ужасно,— сказала она, поймав взгляд отца.

— Я очень люблю тебя и верю в тебя,— сказал Лопатин.— Вот и все, чем пока могу тебя утешить. Ничего другого в запасе не имею.

Она стояла перед ним, расстроенная и примолкшая, но он не жалел об этом. Если у тебя вдруг возникает потребность выговориться перед семнадцатилетней девочкой, значит, что-то в ней самой разрешает тебе сделать это. И это и есть самое главное в ней, хотя она и чувствует себя сейчас несчастной и еле удерживается от слез.

10

С вокзала Лопатин возвращался один. Вопреки ожиданиям, Гурскому не удалось поехать проводить Нину. Они уже пообедали и собирались все вместе на вокзал; Нина, вызвавшись помочь матери Гурского, перетирала в соседней комнате посуду и кричала: «Сейчас, сейчас, еще минуту — и я готова!» — когда зазвонил телефон и Гурского вызвали к редактору.

— Обидно, но дальнейшие проводы отп-падают,—сказал он.— Приказано через четверть часа явиться пред его ясные очи. Хотя, видит бог, я, уходя, т-трижды переспросил его — нужен ли я сегодня.

— Зачем ты мог ему понадобиться, как думаешь? — спросил Лопатин.

— А я, так же как и ты, не люблю нап-прасно думать. Ты мне как-то говорил про свою Ксению, что никогда не можешь д-догадаться, какая идея п-посетит ее в следующую минуту. У меня с нашим ред-дактором аналогичное п-положение. Может быть, ему всего-навсего не понравились те п-пять заголовков, которые я ему оставил на выбор для твоего рассказа, и он, п-придумав собственный, спешит насладиться моим восхищением. А может, пока мы с т-тобой тут обедали, он решил послать меня на Д-дальний Восток или еще к-куда подальше...

На этот раз Гурский злился на редактора больше, чем обычно. Ему хотелось проводить Нину, и он явно не доверял способности Лопатина объясниться с проводниками вагона. Они уже прощались на улице, а Гурский все еще объяснял, как это надо делать:

— Снач-чала прояви нач-чальственную строгость, чтобы целость и сохранность т-твоей дочери имела госуд-дарственный оттенок, п-потом взывай к добрым чувствам и уже под к-конец мимоходом, как будто т-ты мог и не совершать этого, оставь им ту банку мясных к-консервов, которую я тебе вручил для этой благородной цели.

Начальственной строгости Лопатин не проявил. Если за годы войны и приобрел некоторый запас ее, то не для таких, ста-

вивших его в тупик, случаев. Но к добрым чувствам, как умел, воззвал и банку мясных консервов отдал.

Проводником вагона была пожилая, высокая, как гренадер, исхудалая женщина. Консервам она обрадовалась, а о своих пассажирах отозвалась коротко, но разнообразно:

— Всякие ездют! Люди и не́люди... В прошлый рейс один одного — пьяный — бутылкой, а тот его — из нагана... Сдали их: одного в Теогепеу, а другого — на кладбище. — Словом, насчет пассажиров успокоила, а про дочь сказала: — Если вдруг чего, к себе возьму. Сочувствую вам, товарищ фронтовик, что вы за свою дочь переживаете. А мне уже переживать не за кого — ни мужа, ни сына.

Костистые скулы ее горели нездоровым румянцем — не то трепала лихорадка, не то причиной был даровой глоток сырца или самогонки,— на свои деньги ей это не по карману.

Нина тревоги не проявляла, слушала разговор, как будто он ее не касался. И только в последнюю минуту, уже из окна вагона, высунувшись рядом с грудастой, во весь голос кому-то что-то кричавшей теткой, сказала потянувшемуся, чтобы услышать, отцу:

— Не беспокойся за меня, пожалуйста. Я же за тебя не беспокоюсь... А то, если ты начнешь беспокоиться, я тоже начну. В отместку!

Она просила его не беспокоиться, а он все равно беспокоился. Она пыталась шутить, а ему шутить не хотелось. И вместо того чтобы поддержать ее облегчавший прощание шутливый тон, он сказал ей серьезно и даже строго:

— Не будем врать друг другу. Ни в письмах, ни при встречах, ни при прощаниях — никогда! Поняла меня?

— Поняла тебя.

Она попробовала из уже двигавшегося вагона погладить его по голове, но не успела, коснулась только кончиками пальцев.

Она уехала и, наверное, сейчас проезжала те дачные места, где ее родители, когда она была маленькой, три лета подряд снимали комнаты. А Лопатин, выйдя на Театральной площади из метро, медленно шел вверх по улице Горького, обратно в свою, снова пустую, квартиру, про которую сказал сегодня дочери, что она не приносила людям счастья.

Поднимаясь по лестнице, он думал о сестре. Вот так же, как он, и она уже вернулась или вернется сегодня из школы там, в Омске, в квартиру, где никого нет. Нина приедет к ней только на пятые сутки, а до тех пор — пусто!

Да и когда вернется Нина, все равно недавняя смерть будет и днем и ночью ходить по этой навсегда опустевшей квартире.

Днем, когда люди входят и выходят, гремят посудой и скрипят дверьми, смерть будет ходить по квартире незаметней. А ночью ее будет хорошо слышно, потому что она и есть тишина.

Да, его сестре сейчас намного хуже, чем ему. Даже трудно сравнить, насколько хуже! В нее не стреляли, ее не бомбили, ее не ранили, не клали в госпиталь, не вынимали из нее пуль, ее просто убили смертью человека, без которого она не может жить. И она ходит там сейчас в школу и обратно домой, не живая и не мертвая, употребляя всю оставшуюся силу характера на то, чтобы этого никто не заметил.

Когда он рассказал сегодня Гурскому про сестру, тот, понизив голос, чтобы не слышала хлопотавшая в соседней комнате мать, ответил, что когда умер его отец и он поехал навестить мать, то вдруг понял, что ей просто не для чего жить одной. Она могла жить для отца, наверно, сможет жить для него, но для самой себя жить не сможет. Это и заставило его выхлопотать пропуск и вытащить ее к себе в Москву.

— То, что с нею еще к-какое-то время пробудет твоя дочь, как-то п-поможет ей,— сказал Гурский про старшую сестру Лопатина.

«Может быть, как-то поможет»,— подумал Лопатин тогда, а сейчас, поднимаясь по лестнице, подумал снова: «Вот именно — как-то! Как подставка с колесиками может помочь передвигаться человеку с отрубленными войной ногами. Как-то, но не больше того!»

Он вошел в квартиру и услышал, как льется вода. Подумав, что они с Ниной забыли закрыть кран умывальника, он дернул дверь ванной, но она не поддалась.

— Кто это? — сквозь шум воды раздался оттуда голос Ксении. — Это ты, Вася? Сейчас я домою голову и выйду.

Она еще что-то прокричала там, за дверью, сквозь шум воды, но он не расслышал.

— Ты меня слышишь? — Это он услышал.

— Слышу.

— Проводил Нину? Да?

— Да.

— Хорошо ее устроил в поезде?

— Да.

— Все остальное спрошу у тебя потом. Сейчас домоюсь и выйду.

Она стала говорить что-то еще, но он, преодолев первое чувство ошарашенности, пошел к себе в комнату, взял со стола принесенные ему вчера в подарок папиросы «Казбек», до которых решил не дотрагиваться до отъезда в армию, вынул папиросу и

закурил. Не так уж тянуло курить, просто захотелось сделать что-то такое, чего не собирался делать раньше.

Значит, она все-таки свалилась ему на голову, думал он о Ксении, и свалилась именно сегодня, и при этом уже знает, что Нина уехала и что он ее проводил.

Но помимо этих мыслей было еще что-то, подсознательно тревожившее его. Он не сразу понял — что? Но потом понял: шум воды там, в ванной,— привычный домашний, напоминавший об их жизни в этой квартире. Опасно напоминавший.

«Что это должно означать? Просто увидела, что газовая колонка работает, и решила помыться с дороги? Или хочет, чтобы я увидел ее во всем блеске? Или, несмотря на мое присутствие, решила в этот приезд жить не там, в комнате мужа, а здесь, подтверждая права, которых у нее никто не оспаривает...»

Но Ксения оставила ему на размышления меньше времени, чем он думал. Через пять минут она уже вошла к нему в кабинет, одетая в летнее, довоенное, чуть широкое ей теперь ситцевое платье и с распущенными по плечам, мокрыми после мытья волосами. И он вспомнил — не мог не вспомнить,— как в декабре сорок первого, в их последнюю встречу, которая была еще встречей мужа и жены, она вышла к нему вот с такими же распущенными, еще мокрыми после мытья волосами, только не в платье, а в домашнем халате. Вот и вся разница, если не считать, что она еще немножко похудела за те полтора года, что они не виделись. Видимо, не так сладко ей жилось. Впрочем, то, что она похудела, пожалуй, шло ей.

Войдя, она мимолетно поцеловала его в щеку горячими губами и заходила по комнате с тем деловым видом, который напускала на себя в минуты растерянности. Потом остановилась напротив и глубоко и горько вздохнула:

— Если бы я, как последняя дура, не поехала прямо с вокзала туда, в ту комнату, а приехала прямо сюда, я бы еще застала Нину. Я думала, что эти люди, про которых я тебе писала, про обмен, уже приехали, и хотела сразу поговорить с ними, но они со своей фронтовой бригадой еще болтаются где-то там. И меня как что-то ударило, и я бросилась сюда и узнала, что вы с Ниной только полчаса как сели в машину и уехали на вокзал. Я даже подумала догнать вас, но поняла, что все равно не догоню, и решила вымыться с дороги. Ты не представляешь себе, как грязно в поезде, стыдно было увидеться с тобой, не приведя себя в порядок! Я уже все знаю, соседи мне все сказали. И как Нина брала у них ведро и тряпку, и как тут все мыла и терла, перед тем как ты вернулся из госпиталя, и как вы тут жили, и как она бегала на базар покупать тебе простоквашу...

— На то они и соседи,— сказал Лопатин о тех соседях по площадке, которые давали Нине и ведро, и тряпку, и еще до войны всегда и все знали, иногда и то, чего не было.

— Какой у нее вагон?

— Обыкновенный.

Она горестно покачала головой:

— Будь я тут, ни за что бы не отпустила ее обратно!

Он ничего не ответил. Хорошо еще, что соседи, а с ними и она не успели узнать о смерти мужа его сестры, а то возник бы разговор еще и на эту, уж вовсе для нее безразличную, но благодарную тему.

— Ну как она? Как она? — не дождавшись ответа, спросила Ксения про дочь. — Мне иногда кажется, она за это время так повзрослела, что я ее не сразу узнаю.

«За это время» значило почти за три года! С июля сорок первого, когда она поспешила отправить ее в эвакуацию вместе со школой и с тех пор больше не видела.

— Сильно она выросла?

— Сильно,— сказал он и, посмотрев на Ксению, добавил: — С тебя, даже чуть повыше.

— А похожа на меня?

— Чем-то — да, чем-то — нет.

— Я ей три раза посылала фотографии и каждый раз просила прислать мне свою, она так и не прислала.

— Может, ей было не так просто там сняться, но все равно — нехорошо с ее стороны. Она мне об этом не говорила. Если б я знал, я бы попросил снять ее у нас в редакции и послал тебе. Не додумался, извини... — Сказал и вспомнил про взломанную дверь столовой. — И прости, пожалуйста, что мы тут с ней сокрушили без тебя замок.

— Чепуха, правильно сделали. Я же, когда приезжала в прошлом году, не знала, что ты окажешься здесь раньше меня и что она к тебе приедет и вы будете тут с нею жить... И вообще я тогда очень многого еще не знала,— сказала она с неопределенностью, за которой скрывалось какое-то значение — какое, он еще не понял.

— Как ты себя чувствуешь? Я вижу, ты уже куришь.

— Уже курю. Воздерживался, но, обнаружив тебя, от волнения закурил. — Он поискал на столе глазами пепельницу, которой не было, и, не найдя, примял и погасил в пальцах докуренную до мундштука папиросу.

Она посмотрела на него с недоумением, колеблясь, что означают его слова — иронию или неожиданную для нее откровенность. И села у стола в его кресло:

— Теперь давай поговорим!

Ему пришлось сесть напротив нее на край тахты, и его сердила непривычность для себя этого места в этой комнате.

— О чем поговорим? — спросил он, ожидая, что она сейчас заговорит о том, для чего явилась,— об обмене.

Но она заговорила совсем о другом:

— Я ужасно рада, что открылся этот второй фронт. Теперь, наверное, все гораздо быстрей кончится, и тебе после такого тяжелого ранения уже не придется никуда ездить.

Спорить еще и с ней — скоро или не скоро теперь все кончится — ему не хотелось, и он сказал только о себе, что почти здоров и ездить на фронт ему еще придется.

— Пятнадцатого сентября тебе будет сорок восемь,— сказала она. — А мне говорили, и я это сама знаю по нашему театру, когда у нас брали людей, что предельный возраст для фронта — сорок шесть.

— Предельный возраст призыва устанавливается для рядового состава,— сказал Лопатин,— и притом когда людей берут в армию, а не тогда, когда они уже служат в ней. А кроме того, я хотя и липовый, с точки зрения кадровых военных, но все-таки майор, и на меня твои соображения о возрасте не распространяются. Но возраст есть возраст, ты права, и свои сорок восемь я, разумеется, чувствую.

— Хотя выглядишь ты неплохо, я рада. — Она постучала по столу, чтобы не сглазить.

— Ничего удивительного. Отъелся и отоспался, кроме того, ежедневно моюсь и бреюсь, сегодня тоже.

— А как спишь?

— Как всегда, хорошо.

— А у меня последнее время бессонница.

— Почему?

— Слишком многое пришлось бы объяснять, а ты не любишь, когда я рассказываю о себе.

Она ожидала, что он все-таки спросит, но он не спросил. Смотрел на нее и думал, что, может, и не врет про бессонницу. Похудевшая и все еще красивая, но, несмотря на все свои прежние замашки, там, внутри, неуверенная. С чего бы это?

— Ты сказала — давай поговорим. Наверное, это действительно надо, причем нам обоим.

Она вскинула на него свои прекрасные круглые глаза и, как ему показалось, внутренне вздрогнула, может быть, в ожидании чего-то, чего он вовсе не собирался говорить.

— Начнем с твоего письма,— сказал он.

— Не хотелось бы начинать с этого,— сказала она.

— Почему?

— Люди эти не приехали, обещали и не приехали, обманули меня...

— Почему же — обманули? Наверно, не спросясь артистов, задержали на фронте всю их бригаду. Как-никак все же война.

— А меня все равно обманули, и война тут ни при чем,— полукапризно, полусердито сказала она. — Они мне испортили все настроение. Если хочешь знать, я еще в дороге загадала, что, если они не обманут и явятся, мы с тобой и с ними все сразу сделаем, чтоб уже ни о чем не думать. А если их не окажется, то и черт с ними — пусть все будет, как было.

— То есть?

— Пусть до конца войны все будет, как было.

— Зачем же ты морочила мне голову своим письмом? Мы тут с Ниной ломали головы, спорили, как быть, а теперь выясняется, что можно ждать до конца войны!

— А о чем вы с ней спорили? — пропустив остальное мимо ушей, спросила она.

— Спорили — соглашаться или не соглашаться менять с этими людьми не только твою, но и ее комнату. Оставлять или не оставлять уже взрослую, семнадцатилетнюю девку без своего угла? Поскольку ты сама об этом не подумала.

— Я ведь написала, что всегда, в любую минуту готова поселить ее у себя...

— На сколько — на неделю, на месяц? Извини меня, но это несерьезно.

— А что она сказала?

— Сказала: пусть все будет так, как хочет мама. Хочет менять две комнаты — пусть меняет!

— Она добрая девочка,— растроганно сказала Ксения. — Добрая, но девочка, все-таки девочка... А что ты решил?

— Решил сопротивляться и твоему напору, и ее доброте, но, если ты действительно откладываешь все это до конца войны, будем считать, что я ничего не решал.

— А у тебя тогда там, в Ташкенте, что-нибудь было? — вдруг спросила Ксения.

— Оставим этот разговор,— сказал Лопатин. — У кого из нас с кем, когда и что было... Вряд ли нам обоим задним числом так уж интересно знать это друг о друге.

— Мне сначала показалось, что было,— сказала Ксения. — Но потом, уже без тебя, я поняла по моей бывшей подружке, что, наверное, ничего не было.

— А почему бывшей? Вы что с ней, поссорились?

— Нет, просто от нас отселилась Зинаида Антоновна, живет теперь в другом месте. А она ведь ходила не столько к нам, сколько к ней. Ходит теперь к ней туда. Между прочим, вскоре после твоего отъезда она чуть было не вышла замуж.

— Кто? Зинаида Антоновна? — через силу пошутил Лопатин.

Ксения рассмеялась:

— Если бы в ее правилах было бросать мужей, то она бросила бы мужа только ради тебя, так ты ей понравился своей, как она после твоего отъезда выразилась, необыкновенной обыкновенностью. Я, грешным делом, так и не поняла, что это значит, но она ведь гений, и мы обязаны знать наизусть все ее изречения, даже непонятные.

— Может, и не гений,— сказал Лопатин,— но женщина, в присутствии которой хочется стать умней, чем ты есть. Желание, возникающее не так уж часто.

— При желании, наверно, сможешь увидеть ее здесь,— сказала Ксения,— она еще до моего отъезда улетела в Москву, чтобы отсюда съездить на фронт к мужу. Получила не то вызов, не то разрешение и не захотела ждать до конца августа, до сентября, когда мы все вернемся.

«Вернемся», очевидно, сказано про тех, кто уезжал в эвакуацию из Москвы в Ташкент. Ника для их театра — ташкентская, временная, и в понятие «вернемся» не входит. «И хорошо, что не входит»,— попытался солгать себе Лопатин.

«Значит, все они к концу августа, к сентябрю возвращаются сюда,— с трудом отбросив мысль о Нике, подумал он. — И Зинаида Антоновна, и все другие их артисты, и Ксения, и ее Евгений Алексеевич. Как же понять тогда ее готовность отложить до конца войны — еще недавно казавшиеся ей неотложными — квартирные дела? Как совместить одно с другим?» В этом было что-то опасное, как в том знакомом шуме воды, который он услышал, войдя в квартиру. Он смотрел на Ксению и ждал, потому что все, что она говорила до этого — и про Нику, и про Зинаиду Антоновну,— была только заполненная болтовней пауза перед чем-то важным для нее.

— Вот так и будем сидеть и молчать? — после того как они молча просидели друг против друга целую минуту, спросила Ксения, снова подняв на него свои круглые глаза. — Что у вас с Ниной за проклятая порода — что у тебя, что у нее! Никогда ничего не можете спросить сами, никогда не хотите знать, что со мной на самом деле: что написала, то и написала, что сказала, то и сказала — и все, и больше вам ничего не нужно! А по-

думать, что со мной может случиться что-то такое, о чем мне трудно заговорить самой, о чем меня надо спросить,— нет, на это вас никогда не хватало! Ну хорошо, я тебе скажу сама. У меня последнее время все плохо, а в самое последнее время — совсем плохо. Он меня совершенно не понимает.

С этого начались жалобы на нового мужа. Лопатин хотел остановить ее, но не остановил: понял — нужно или сейчас же встать и уйти, или сидеть и слушать ее, пока не выговорится. Уйти было проще, но неизвестно, что тогда делать потом. Остаться и слушать было трудней, но, наверно, правильней.

Оказывается, Евгений Алексеевич не понимал ее уже давно, чуть ли не с самого начала. Во всяком случае, когда Лопатин полтора года назад был в Ташкенте, Евгений Алексеевич уже не понимал ее.

— Но не могла же я объяснять тебе всего этого тогда,— сказала Ксения. — Наоборот, старалась сделать вид, что у меня все хорошо, чтобы ты был совершенно спокоен за меня.

Он еле удержал себя от иронического спасибо.

А потом, через полгода после приезда Лопатина, Евгений Алексеевич, оказывается, снял ее с должности завлита в театре.

— То есть как — снял? — не сразу понял Лопатин.

— Очень просто, у нас была неудача с одной, по-моему очень хорошей, пьесой; а потом они не взяли еще одну пьесу, которую я предложила, тоже хорошую. А потом я сама немножко переделала пьесу автора, которого не было в Ташкенте, и, по-моему, очень хорошо, а он приехал — и взбеленился. И человек, который называет себя моим мужем, не нашел ничего лучшего, как заявить мне, что ему придется взять на мое место кого-то другого. И взял вместо меня одну женщину — нет, ничего такого, просто старуха, которая, по его мнению, все понимает и умеет,— а меня перевел во вспомогательную труппу. И я теперь, как дура, выхожу на сцену, чтоб сказать несколько слов за весь вечер. А он, не краснея, говорит, что, слава богу, у меня благодарная для сцены внешность, а то он не мог бы сделать для меня и этого!

— Ты ничего не писала об этом.

— Не хотела! Думаешь, приятно — писать о таких вещах? Я хотела пойти завлитом в местный театр, и он при своих связях мог бы устроить это, но заявил мне, что их завлитша, хотя и оставляет желать лучшего, бедствует с двумя детьми на руках и у него не повернется язык говорить обо мне. Ровным счетом ничего не пожелал для меня сделать! Хотя я всегда и все для него делала, а жизнь с ним совсем не такая радость, как может показаться. У него диабет, и не просто, а тяжелый, он сам колет

себе инсулин, боится приступов, и я постоянно переживаю из-за него.

— И давно это у него?

— Давным-давно. Еще до войны. Я полюбила его, несмотря ни на что, но он об этом не хочет помнить.

«Значит, вот почему он при своем бравом виде и призывном возрасте оказался не на войне. И при встрече там, в Ташкенте, не стал сообщать мне о своей болезни —другой на его месте поспешил бы доложиться,— а этот — нет! — с чувством запоздалой симпатии к человеку, так или иначе, но отобравшему у него жену, подумал Лопатин. — Странно, что промолчала Ксения. Казалось, чего бы лучше тогда в Ташкенте объяснить своему первому мужу обстоятельства, оправдывающие ее второго мужа!»

— Удивительно, что ты мне сообщаешь об этом только сейчас,— сказал он вслух.

— Ничего удивительного. Я когда узнала, что ты приедешь в Ташкент, заранее решила, что непременно скажу тебе об этом, чтоб ты знал про него, что он не какой-нибудь тыловой ловкач. Но он мне запретил. А с ним не очень-то поговоришь! Вот ты сидишь сейчас, и я говорю тебе вещи, которые ты, может быть, не разделяешь, но ты сидишь и слушаешь, потому что ты человек другого воспитания. А он, если ему что-нибудь не нравится, и договорить не даст!

«Да, не давать тебе говорить — самое жестокое, что можно с тобой сделать,— подумал Лопатин о Ксении. — Я додумался до этого только к середине нашей совместной жизни, а он начал сразу закручивать гайки. И рядом с этим кремнем я со своими былыми вопиющими недостатками начинаю теперь казаться ей чем-то вроде облака в штанах — к сожалению, сорокавосьмилетнего».

Ему надоело сидеть, и он заходил по комнате. В былые времена она остановила бы его, но сейчас не остановила: ей не терпелось выговориться до конца.

Он ходил взад-вперед, а она продолжала говорить и, когда он поворачивался, почти всякий раз ловила глазами его глаза.

Последняя, самая крупная провинность Евгения Алексеевича, оказывается, состояла в том, что две недели назад, прилетев на несколько дней в Москву по делам театра, он не пошел в госпиталь к Лопатину.

— Ничего не взял на себя. Все самое трудное, как всегда, свалил на меня,— сказала Ксения.

А свалил на нее он, оказывается, объяснение с Лопатиным насчет обмена. Несмотря на все ее просьбы поговорить с Лопатиным, как мужчине с мужчиной, категорически отказался, ска-

зал, что у него есть хорошая комната и, если она хочет с ним жить, они будут жить в этой комнате до конца войны. А если она не хочет жить с ним в этой комнате, то у нее есть своя комната в квартире Лопатина и она может туда возвратиться — это ее дело! А он не пойдет к ее бывшему мужу, лежащему после тяжелого ранения в госпитале, с разговором об обмене комнат.

«Скажи пожалуйста, везет же ей на хороших людей!» — подумал Лопатин, усмехнувшись тому, как без колебаний, самодовольно отнес себя к числу хороших людей, на которых ей везет.

— Сказал мне, что ему, видите ли, стыдно и чтоб я зарубила себе это на носу. Так и выразился. И что не советует мне этого делать, потому что ему будет стыдно за меня! Он, оказывается, знает, что стыдно и что не стыдно, а я не знаю,— раздраженно говорила Ксения. — Мне плохо с ним, Вася, плохо. И самое плохое, что мне некому об этом сказать, кроме тебя.

В наступившей тишине она сообразила, что сказала что-то не то, и мгновенно заплакала. И ему пришлось доставать из кармана бриджей платок, потому что она не только плакала, но при этом растерянно оглядывалась, где бы взять что-нибудь, чем вытереть слезы.

— На, возьми,— сказал он, протягивая платок,— чистый. Нина погладила и сунула в карман, но я не пользовался.

Его слова о Нине, которая погладила ему платок, вызвали новый приступ слез. Приложив платок к лицу, она, плача и улыбаясь сквозь слезы, смотрела на него умиленно и радостно, как на что-то навсегда утраченное и вновь обретенное.

Лопатин помнил это ее выражение лица, которому она знала цену и которое появлялось у нее не часто, а только в самые драматические моменты их былых объяснений. Если б не помнил, его бы, наверное, проняло.

Еще раз пройдясь по комнате, он остановился и стоял не оборачиваясь. Стоял и думал: где же все-таки у человека эта пропасть между притворством перед другими и притворством перед самим собой? И всегда ли даже самый неискренний человек замечает этот свой прыжок через пропасть?

— Вася,— позвала она.

— Да? — Он повернулся к ней.

— Я подумала сейчас, что мы с тобой оба, наверное, не поняли друг в друге чего-то самого главного...

«Ну, вот и приехали туда, куда, оказывается, ехали с самого начала»,— подумал он, встретив ее ожидающий взгляд.

— Пойди в ванную, умойся, успокойся и приходи обратно, а то мне тебя жаль.

— Правда жаль? — сквозь слезы спросила она. — Правда жаль?

— Конечно.

И она, почувствовав по его голосу, что это действительно правда, все еще продолжая плакать, поднялась и несколько секунд стояла, кажется не решив, что делать,— обнять его, боясь, что он отодвинется, или послушаться, выйти и вернуться красивой и спокойной, взявшей себя в руки, такой, какой он когда-то любил ее после ее слез и раскаяний. Поколебавшись, она пошла к дверям, бросив на стол мокрый платок, но через два шага вернулась, чтобы взять его с собой. Наверно, ей показалось некрасивым оставлять здесь этот зареванный платок — неизвестно было, что потом с ним делать.

Лопатин ходил и думал над неожиданностью всего этого. Не так уж она корыстна, чтобы хотеть вернуть его себе только потому, что его имя за три года войны стало намного известней, чем раньше, и дальнейшая жизнь с ним может оказаться благополучней, чем жизнь с этим ее директором театра. И не настолько расчетлива, чтобы где-то еще по дороге обдумать все это до конца. Наверное, все гораздо проще: этих людей там, в той квартире, в самом деле не оказалось на месте, и ее что-то толкнуло поехать оттуда сюда, и уже здесь она вдруг подумала: «Господи! А что, если не возиться со всеми этими обменами, со всем этим неопределенным будущим, а что, если вдруг можно просто приехать в Москву и жить в этой квартире, как жили в ней до войны, жить, как многие другие люди, которые жили вместе до войны, а потом не жили вместе, а сейчас опять живут вместе; и никого ни о чем не просить, и ничего не добиваться; жить, как выйдет, снова с этим сорокавосьмилетним человеком». Наверное, все это и нахлынуло сейчас на нее, никогда не допускавшую мысли, что ее может не хотеть какой-то мужчина.

Она вернулась умытая, красивая и спокойная и села в его кресло, как школьница, положив руки на колени и всем своим видом показывая, что приготовилась слушать его.

А что ему было сказать, когда он думал совсем не о том, будут или не будут они снова жить вместе, потому что знал — не будут,— а думал совсем о другом: где ее вещи — оставила ли она их с дороги там или привезла сюда? В коридоре их не было видно, но чемоданы могли стоять и у нее в комнате. Он смотрел на нее, все ясней понимая, что ничего не должен ей говорить. Отвечать «нет» на исповедь женщины, у которой вырвались слова, которыми она, в сущности, предлагала тебе взять ее обра́тно,— значит совершать ненужную жестокость, а ненужная жестокость — одна из самых подлых вещей на свете. Лучше

просто не понять этой исповеди. Настолько не понять, чтобы ей самой потом было легче уверить себя, что она вовсе не это имела в виду. И вместо того «да», которого она ожидала, и того «нет», которого ему не хотелось произносить вслух, он спросил у нее, на сколько дней она приехала в Москву и где собирается жить,— там, у Евгения Алексеевича, или здесь, в своей комнате?

— Это зависит от тебя,— сказала она, еще не поверив, что продолжения того, начатого ею в слезах, разговора уже не будет.

— Почему от меня? Делай как тебе удобнее.

— А мне теперь нечего больше делать здесь, в Москве. Раз он... — «он», сказанное ею об Евгении Алексеевиче, прозвучало враждебно,— не хочет ничего делать до конца войны, а ты, кажется, сам не знаешь, чего ты хочешь, я одна взваливать все это на свои плечи не буду. Отмечу командировку — потому что хотя я теперь актриса вспомогательного состава, но новую пьесу я им из Москвы привезти должна, никто другой, кроме меня, этого, как выяснилось, не может,— достану билет и уеду.

— А где твои вещи, там или здесь?

— Здесь. А что? — с вызовом спросила она.

— Подумал, если ты оставила их там, а решила жить здесь, надо помочь тебе привезти их.

— Нет, они здесь,— сказала Ксения. — Я решила остановиться здесь. — И снова повторила: — А что?

— Хотел знать, чтоб не мешать тебе.

— Ты мне не мешаешь, это я тебе мешаю.

Мешаешь ты ей или мешает тебе она,— все это были слова, а нагая истина, стоявшая за этими словами, заключалась в том, что они — бывшие муж и жена, еще не так давно несколько лет подряд спавшие в этой квартире, иногда в одной комнате, иногда в разных,— должны были после перерыва в три года снова остаться в этой квартире на ночь и потом еще на несколько дней и ночей, пока она не уедет, жить здесь, встречаться и слышать за стеной друг друга. Он отчетливо, со знанием дела, на которое обрекала его память о прошлом, представил себе остаток нынешнего вечера здесь, в этой квартире, как все это может начаться, чем продолжаться и чем кончиться. А вслед за этим представил себе завтрашнее утро, именно утро, и вообще все, что за этим бессмысленно потянется, и от одного того, что, оказывается, все еще мог представить себе все это, обругал себя дураком. Мужчине под пятьдесят лет оказаться в роли соблазняемой невинности — чего уж дурее этого.

— Сделаем с тобой так,— сказал он вслух. — Пока ты здесь, я поживу в другом месте, у меня есть где жить.

— Но у меня тоже есть где жить, я могу уехать туда, если тебе так уж страшно в одной квартире со мной. Если хочешь,— Ксения улыбнулась,— могу дать подписку, что не буду соблазнять тебя.

— Спасибо, но боюсь поручиться за себя,— не удержавшись, усмехнулся он и, заметив промелькнувшее в ее глазах знакомое выражение, поспешил серьезно добавить: — Лучше на старости лет не устраивать в этой квартире квадратуры круга. Допускаю, что твой Евгений Алексеевич не прав, заставляя тебя откладывать квартирные дела до конца войны. Когда приедете вместе с ним осенью, соберемся и обсудим, как проще и лучше сделать.

Так почти незаметно он вернул ее обратно к нынешнему, чуть было не оставленному в мыслях мужу.

Она сидела, прибитая неожиданным и лишенным всякого драматизма оборотом дела. Сидела и ждала, не добавит ли он что-то еще.

— А теперь я пойду,— добавил он единственное, что ему оставалось, и, выйдя в переднюю, надел шинель и фуражку.

Она вышла вслед за ним и стояла, прислонившись к стене и скрестив на груди руки.

— Тебе правда есть куда сейчас идти?

— Да, есть. — Он подумал, что сегодня придется свалиться на голову Гурскому, а там будет видно.

— Ты идешь ночевать к женщине? — спросила Ксения понимающе-печальным голосом.

— Допустим, что так.

— Я уже думала об этом,— все так же печально-понимающе сказала Ксения.

— Да, извини, пожалуйста. — Он зашел в кабинет, взял со стола лежавшую там тетрадь дневника, в которой после долгого перерыва собирался, вернувшись с вокзала, сделать первую запись, и, подумав о Гурском, пошарил в ящике запихнутые туда, про запас, пол-литра водки. Сунув и то и другое в карманы шинели, покосился на папиросы, но не взял их — решил выдержать характер. Когда он снова вышел в переднюю, Ксения стояла в прежней позе, прислонясь к стене, скрестив руки на груди.

— Ну что ж, до свиданья.

— До свиданья,— глядя в потолок, чуть слышно сказала она.

Когда он захлопывал дверь снаружи, ему показалось, что она там за дверью заплакала.

11

В прихожей огромной барской, а теперь уже четверть века коммунальной квартиры, где жил Гурский, Лопатина встретила Берта Борисовна.

— Его еще нет! Он уже два раза звонил, что идет,— и все не идет. Идите, идите, я дам вам чаю. — Говоря все это, она шла впереди Лопатина подрагивающей, но все еще быстрой походкой по хорошо знакомому ему, широкому, похожему на крытый рынок, коридору, с обеих сторон заставленному столами, столиками, шкафчиками, этажерками, велосипедами, лыжами, сундуками, ножными швейными машинками,— всем, что не помещалось в комнатах.

— Как вы проводили свою Ниночку? Как она, бедная девочка, поехала? Хорошие ли с ней люди? Вагон, наверное, грязный, да? Хорошо, что это лето, а не зима, верно? — не давая Лопатину возможности ответить, спрашивала Берта Борисовна, посадив его за стол и заваривая чай. — Я бы сто раз умерла, если бы у меня была дочь, а не сын. Почему вы так спокойно сидите? Я бы все время, пока она едет туда, каждую минуту вскакивала. — Она первая рассмеялась над собственными словами и была довольна, что Лопатин тоже рассмеялся. — А зачем я спрашиваю, хорошие ли люди поехали с вашей Ниночкой? А почему с ней должны ехать плохие люди? Я когда ехала сюда из эвакуации, со мною ехали все такие хорошие люди, особенно одна женщина, что я скучала по ней в Москве, пока она не пришла. А теперь она ходит к нам так часто, что Боря уже сердится!

— Молодая?

— По-моему, молодая, но он говорит, что нет. Мужчины почему-то всегда хотят, чтоб женщины были гораздо моложе, чем они сами. Вы не замечали этого?

— Замечал,— улыбнулся Лопатин,— но у меня это уже два раза плохо кончилось.

— А вы попробуйте в третий. Или вы уже не хотите? — Говоря все это, она налила чай Лопатину и наконец присела сама.

— А себе? — Лопатин кивнул на ее пустую чашку.

— Я буду ждать Борю. Меня немножко беспокоит, что он позвонил и сказал приготовить ему три пары чистых носков и погладить носовые платки, трусы и майку. Как будто все это лежит нестираное и неглаженое! Когда мы жили в эвакуации в Барнауле с Бориным папой, мы тоже беспокоились. Но вы знаете, это легче, когда вы беспокоитесь сразу двое и все время

говорите друг другу — пожалуйста, не беспокойся! Глупо так думать, но мне почему-то казалось, что вот я приехала сюда — и он уже больше никуда не поедет.

— Ничего не поделаешь, вам придется привыкнуть к его отъездам,— сказал Лопатин. — Его не любит отпускать редактор, потому что он нужен здесь, по думаю, что он еще несколько раз до конца войны поставит на своем и съездит на фронт. Не знаю, что бы я ответил, окажись на вашем месте моя покойная мать, но, наверно, в таких случаях лучше говорить правду.

— Если бы Боря узнал, что я заговорила об этом с вами, он бы очень рассердился на меня! Но я вас не боюсь, а его боюсь.

— Я тоже,— улыбнулся Лопатин.

Она рассмеялась и потрогала чайник — не остыла ли заварка. Что бы она ни делала и что бы ни говорила, ею все равно владела мысль о сыне: через сколько минут он придет и что ей скажет про эти три пары носков, белье и платки, которые так срочно понадобились, что он позвонил про них по телефону.

— Остывший чай он не любит,— сказала она. — Очень горячий тоже не любит...

— А вы и рады, что он капризничает?

— Что он немножко капризный, вы правы. Но он очень заботливый.

— Это я знаю по себе,— сказал Лопатин и увидел Гурского, стоявшего в дверях за спиной матери. Он был в военной форме, которую держал не дома, а в редакции и надевал, только когда ездил на фронт. Но на этот раз неожиданно для Лопатина, привыкшего видеть его в гимнастерке без знаков различия, на плечах у него были полевые погоны с капитанскими звездочками.

— П-по-моему, вы меня хвалили. Можете п-продолжать.

— Хватит и того, что успел услышать,— сказал Лопатин. — Поздравляю с капитанским званием. Все-таки не выкрутился, забрил тебя редактор, дал четыре звездочки!

— Лучше бы он вст-тавил мне другие глаза, вместо моих минус п-пять! В последний раз в Рум-мынии, увидев меня без знаков различия, один наш бдительный подп-полковник хотел захватить меня в п-плен. И ред-дактор, рассвирепев, обещал превратить меня в кап-питана. Результат п-перед вами.

— Чай будешь пить? — спросила мать у Гурского.

— Поскольку все остальное мы п-прикончили за обедом, придется пить чай. Став кап-питаном, я п-попытался под это дело выставить редактора на сто грамм коньяку, который, по моим сведениям, у него имеется, но он объяснил мне, что его коньяк д-достоит до моего возвращения.

Лопатин ожидал, что Берта Борисовна спросит сына, куда он собрался, но она не спросила и стала наливать чай.

— Куда и на сколько едешь? — спросил вместо нее Лопатин.

— Пока п-предписание на неделю, место назначения — Ленинград, средство п-передвижения — довоенное, поезд «Красная стрела», отходящий,— Гурский взглянул на часы,— через пятьдесят две минуты. Известный тебе мастер фотоэт-тюдов на фронтовые темы, Виктор Брагин, находится внизу в «виллисе». Завезет меня на вокзал, а сам будет жать до Ленинграда своим ходом.

— Почему ты не пригласил его выпить чаю? — спросила у Гурского мать.

— П-приглашал, но, узнав, что у нас с тобой, кроме од-деколона, который я уп-потребляю только по п-прямому назначению, других спиртных напитков нет, он предпочел не тратить времени зря. П-пожалуйста, мама, собери мне тот маленький чемоданчик, с которым я приезжал к тебе в Барнаул. И кроме того, что я уже п-просил, положи ботинки, костюм, сорочку и галстук. Я схожу там, в Ленинграде, в т-театр. Я мог бы, конечно, уложить чемодан сам, но хочу доставить тебе уд-довольствие! — Он повернулся к Лопатину: — Не ожидал тебя здесь увидеть. Но все понял. П-прибыла твоя бывшая супруга, не так ли?

— Понял правильно,— сказал Лопатин.

— На том ст-тою. П-примитивная логика плюс метод исключения. И надолго она п-прибыла?

— На несколько дней.

— Мама, пока я буду в Ленинграде, пожалуйста, обрати свои материнские заботы на Лоп-патина. Он поживет у нас, забота о нем за тобой, а забота о харчах, насколько я его знаю,— за ним. Он вполне п-порядочный, и от него можно ничего не зап-пирать. К нему на квартиру явилась его бывшая жена, и, если он не намерен снова жениться на ней, ему надо где-то п-перебиться, пока она тут. Д-договорились?

— О чем ты спрашиваешь, Боря,— сказала из другой комнаты Берта Борисовна. — Конечно. Но у тебя тут столько галстуков, я даже не знаю...

— Положи один по своему выбору. И три п-пары носков. И учти, что мне п-пора.

Он повернулся к Лопатину.

— Я тебя провожу на вокзал,— сказал Лопатин.

Гурский кивнул. Он этого и ожидал.

Прощаясь, Гурский поцеловал мать. И в ответ на вопрос, когда его примерно ждать, поставил чемодан, который уже был у него в руке, и еще раз обнял ее.

— Т-ты у меня умпица. Другая на твоем месте зад-душила бы меня вопросами. Три п-пары носков обычно хватает мне на неделю.

— Куда ты едешь? — спросил Лопатин, когда они спускались по лестнице.

— Как уже сказано, в Ленинград. Но поскольку так срочно и без объяснения причин, думаю, что мне удастся открыть там военные д-действия. И не вооб-бражай, что моя мама считает, что я еду в Ленинград, чтобы ходить по т-театрам,— как бы не так! Она воспитанная женщина и знает, в каких случаях можно удовлетворять свое природное любопытство и задавать по три воп-проса в минуту и в каких не следует задавать их вообще. Берта Борисовна не так п-проста, как кажется, и в мое отсутствие может дать тебе разумные советы по любым вопросам, даже по такому, как разведка боем, которую предприняла твоя бывшая суп-пруга.

И Лопатин почувствовал, как в темноте на лестнице Гурский усмехнулся собственному звериному чутью.

— А что мне посоветует твоя мама, если это действительно разведка боем?

— Насколько я понимаю, моя мама считает, что один и т-тот же мужчина не должен по два раза жениться на одной и т-той же женщине.

Они сели в «виллис» и до вокзала уже не говорили на эту тему. На переднем сиденье, рядом с водителем, как обычно, рылся в своем вещевом мешке, пересчитывая на ощупь, сколько он взял с собой кассет, напарник Гурского в этой поездке — Витька Брагин, тот самый, который прошлой весной отвозил письмо Лопатина в Ташкент. Продолжать при нем начатый на лестнице разговор не хотелось. Он шуровал в своем мешке, а Лопатин с Гурским ехали сзади и молчали.

— Давно не видел вас, Василий Николаевич,— сказал Брагин, когда Лопатин с Гурским уже вылезали из «виллиса» у вокзала. — Как у вас с Ташкентом, порядок? Не зря я тогда старался?

Лопатин ничего не ответил, сделал вид, что пропустил мимо ушей. Обычно с горечью говорим, что на душе остался осадок — словно это и есть самое плохое. Но куда хуже, когда этот осадок вот так, как сейчас, взболтают и поднимут со дна души.

— Что означало в его п-простодушных устах прекрасное в своей универсальности понятие «п-порядок»? — когда они уже вышли на перрон, ревниво спросил Гурский, не любивший, чтобы кто-то знал что-то, чего не знал он сам.

— Ничего особенного. В свое время посылал с ним в Ташкент письмо, только и всего.

Гурский мог стать единственным человеком, с которым он, вернувшись прошлой весной в Москву, поделился бы тем, что было на душе, но как раз тогда Гурский был на фронте. А когда вернулся, все было отрезано, и задним числом не захотелось говорить даже с ним.

— Интересно, как там твой бывший друг? Ксения не рассказывала? — спросил Гурский о Вячеславе, о котором они уже не раз спорили. Эпитет «бывший» был отголоском этих споров: можно или нельзя ставить крест на таком человеке. При всей привязанности к Гурскому Лопатин не любил в нем этой ревнивой жестокости.

— Не привык к сочетанию слов «бывший друг», хотя оно и расхожее, особенно сейчас.

— А дружба с ант-трактом на войну, по-твоему, дружба? — спросил Гурский.

— Ты по-своему прав, но думаю, что он так и не попросился на войну не потому, что боится, а потому, что стыдится, просидев самое тяжкое время в кустах, теперь, когда дело пошло на лад, выскакивать из них с криком «ура!».

— Погоди... Пойдем по заг-границам, увидишь, как он п-преодолеет свою ст-тыдливость.

— Кто-то другой — да,— сказал Лопатин. — А он — нет.

— Ладно, ост-тавим этот разговор до проверки фактами. Во всяком случае, пока ты был под Тарнополем, а я, как тебе уже известно, летал на три дня — заметь, всего на три дня — в северные уезды Рум-мынии, где мы вступили в так ск-казать буржуазную Европу, я обнаружил там одного известного тебе деятеля литературного т-тыла, в новенькой форме, с трофейным п-пистолетом, и удивился, как он быстро п-поспел туда из К-куйбышева, где безвыездно проживал с октября сорок п-первого...

— Его встретил, его и клейми.

— А ты не злись на меня. Оставив на твою долю п-приятную возможность думать обо всех лучше, чем они есть на самом деле, мне пришлось, для равновесия, взять на себя неб-благодарную обязанность думать наоб-борот, только и всего. Ты, я вижу, не в своей т-тарелке. В чем дело?

— Все вместе,— сказал Лопатин. — Жаль сестру, тоскливо, что уехала Нина, глупо, что ссыпалась на голову Ксения, и вдобавок ко всему провожаю тебя. Еще час назад и в голову бы не пришло.

Они шли по перрону вдоль состава. Гурский ехал в первом вагоне, но он оказался не первым — между ним и почтовым

стоял еще один, служебный вагон, у которого толпились военные.

Военных было много у всех вагонов, но у других были и штатские, и мужчины и женщины, а тут — только военные.

— Довольно много нашего б-брата,— сказал Гурский,— «К-красная стрела» для меня символ чего-то молодого и д-довоенного. Было в этом даже нечто т-таинственное, никак не хотелось сп-пать, и все казалось, что ты вст-третишь в коридоре какую-то необыкновенную женщину и вообще п-произойдет что-то прекрасное, хотя на самом деле происходили только б-бутерброды и двести грамм к-коньяку. Но все равно, время шло, а это странное суеверие п-продолжалось. И все очень любили п-провожать друг друга на «Красную стрелу», не п-правда ли?

— Да, провожающих теперь немного,— сказал Лопатин. — И состав короче, чем до войны. Мне говорили, что путевое полотно оставляет желать лучшего. Там, где подолгу стоял фронт, местами вообще не едут, а ползут.

— Ты п-прозаик,— сказал Гурский. — П-подожди, я положу чемодан и выйду к тебе.

— Ну вот,— сказал он, выскочив налегке из вагона,— п-проводница, когда брала у меня билет, не узнала меня и не сказала: «А я вас помню еще до войны!» А я ее узнал, только она очень п-постарела и п-подурнела. Отчего так п-постарела и п-подурнела женщина, которой всего-навсего тридцать? Не только страшно сп-просить у нее, но страшно подумать. Один бог знает, что могло достаться на ее долю за эти три года! Мне жаль женщин, когда они стареют и д-дурнеют.

— Интересно, где наши начнут — на Карельском перешейке или где-то еще? — оглянувшись по сторонам, негромко сказал Лопатин.

— Оставь, пожалуйста, в п-покое войну. Мы при ней состоим и будем состоять, но сейчас у меня нет ни малейшего желания говорить о ней. Я беспокоюсь за тебя. У тебя приступ одиночества, и мне очень не нравится п-приезд Ксении. Когда у человека приступ одиночества, он способен на п-поистине идиотские поступки. П-пожалуйста, не совершай их до моего возвращения.

— Можешь быть спокоен — не совершу.

— Я был бы сп-покоен за тебя, если бы сам не совершил однажды поступка, которого до сих пор не прощаю себе,— мог жениться на той единственной женщине, на которой д-действительно должен был жениться, и не женился т-только потому, что во время п-подлого приступа одиночества со мной оказалась не она, а та, на которой я не должен был жениться. В итоге

я тот, кого ты видишь перед собой — не п-первой молодости мужчина, пут-тешествующий, как в ст-тарину говорилось, по личной надобности от станции до станции на первых попавшихся лошадях и п-привычно симулирующий, что так ему и надо. Хотя, может быть, ему надо совсем не так. Одиночество вещь не плохая, но его нельзя принимать лошадиными дозами. А у тебя, по-моему, именно такой оп-пасный момент. И не произноси, пожалуйста, никаких слов. Если я и д-достоин сожалений, оставь их при себе.

Поезд уже трогался. Гурский полез в вагон и повернулся к Лопатину, стоя на верхней ступеньке.

— А поллитровки ты достоин? — спросил Лопатин, идя рядом с вагоном.

— Вп-полне достоин, но у тебя ее нет...

Лопатин вытащил из кармана шинели бутылку и, продолжая идти рядом с вагоном, протянул ее Гурскому.

— Оказывается, я просто п-пошляк. Предавался словесному блуду, вместо того чтобы молча выпить с тобой. Но я накажу себя и п-привезу ее обратно нетронутой...

Поезд уже набирал ход, Лопатин отстал на полвагона, когда Гурский высунулся и крикнул:

— Если мама поместит тебя в моей к-комнате, а сама будет спать в п-проходной, не спорь с ней. И вообще не спорь с ней, п-потому что она лучше нас с тобой знает, что надо и чего не надо делать.

Поезд шел все быстрее. Молодая женщина, бежавшая за вагонами и кричавшая что-то свесившемуся с подножки лейтенанту, чуть не сбила с ног Лопатина, а потом сам он чуть не столкнулся с другой женщиной, заплаканной, неподвижно стоявшей посреди перрона с бессильно опущенными руками.

И подумал о том, о чем обычно старался не думать,— что и эта женщина, обессиленно стоявшая на перроне, и та, все еще продолжавшая бежать за вагонами, и он сам, и все они вместе, и каждый в отдельности могут уже никогда не увидеться с теми, кто уезжает сегодня в Ленинград на этой, так непохожей на довоенную, «Красной стреле».

12

За те пять дней, что Ксения провела в Москве, добывая, как она говорила, пьесу для театра, Лопатин виделся с ней еще два раза.

Первый раз — после того, как, переночевав у Гурского, понял, что все равно неизбежно надо идти к себе на квартиру,

потому что накануне вечером, кроме тетради и пол-литра водки, он не взял ровным счетом ничего, даже запасных очков.

Съездив, как приказал редактор, с утра в госпиталь и сделав рентген грудной клетки, по словам врачей достаточно благополучный, чтобы при желании считать себя практически здоровым, он прямо из госпиталя позвонил домой.

Ксения, как он и ожидал, к телефону не подошла. Было одиннадцать утра, и она, наверное, бегала по Москве. Все складывалось как нельзя лучше, и он по дороге из госпиталя в редакцию решил заскочить домой на редакционной «эмке», побросать вещи в чемодан и сразу же закинуть его к Гурскому.

Но Ксения оказалась дома и была в том холодно-враждебном настроении, которое он хорошо знал и которого в былые времена у нее хватало на два и даже на три дня, вплоть до очередного бурного объяснения, слез и всего последующего.

Сейчас во всем этом не было никакого смысла, но привычка брала свое.

— Извини, не думал, что застану тебя. Я звонил. Никто не ответил.

— Телефон твой, а не мой. Я не подхожу к нему.

Насчет телефона она, конечно, сказала неправду. Наоборот, скорей всего, решила остаться на эти дни здесь потому, что в комнате у ее нынешнего мужа, помнится, не было телефона. Но само по себе для начала ссоры это звучало неплохо. Сказать в ответ что-нибудь про телефон значило ввязаться с ней в спор, и Лопатин промолчал, прошел в кабинет и стал собирать вещи.

— Все-таки решил скитаться по чужим квартирам,— сказала Ксения в открытую дверь его кабинета, пока он собирал чемодан. — А я-то думала, у тебя хватит ума понять, что вчерашний разговор больше не повторится.

Лопатин продолжал молча собирать чемодан.

— Я сегодня с утра подумала,— по-прежнему через открытую дверь сказала Ксения,— что, наверно, ради твоего удобства мне следует перебраться туда, к Евгению Алексеевичу, но потом решила не потакать тебе — с какой стати? Это ведь ты, а не я, не можешь пробыть пять дней в одной со мной квартире! Так ты и скитайся, раз тебе это нравится. Достаточно я терпела твой характер, пока жила с тобой, теперь у меня на это нет ровно никаких причин. Ровно никаких причин,— повторила она еще раз, когда он уже вышел из кабинета с чемоданом в руке.

— Разумеется,— миролюбиво согласился он и двинулся к двери.

— Не забудь запереть свою комнату, а то потом окажется, что у тебя что-нибудь пропало, сам же куда-нибудь засунешь и забудешь, а я буду виновата.

Он ничего не ответил и открыл наружную дверь.

— Может быть, ты скажешь мне хотя бы до свиданья?

— Конечно. Как раз и собирался это сделать. До свиданья!

И не успел закрыть за собой дверь, как Ксения сама с треском захлопнула ее изнутри.

Таким было их утреннее свидание, после которого он никак не ожидал еще одного, но оно все-таки произошло, и тоже утром, в день отъезда Ксении.

Откуда она узнала, что он живет у Гурского, он так и не выяснил. Очевидно, звонила в редакцию и кто-то сказал ей.

— Василий Николаевич, вас просит к телефону какая-то женщина,— приоткрыв дверь в комнату, где он спал, сказала Берта Борисовна. — Я сказала ей, что вы еще спите, но она сказала, чтобы я вас разбудила. Она сказала, что вы будете жалеть, если я вас не разбужу.

— Раз буду жалеть, сейчас подойду.

Натянув брюки и надев на босу ногу шлепанцы Гурского, он вышел и взял трубку.

— Извини, пожалуйста, что я тебя разбудила,— сказала Ксения,— но я через час уезжаю, и ты мне нужен. Всего на несколько минут, но очень нужен.

— Раз нужен, сейчас оденусь и приеду,— сказал Лопатин и, наспех побрившись, через полчаса был у нее.

Судя по виду Ксении, она была в каком-то, непохожем на нее, растерзанном состоянии. В передней стояли два собранных чемодана, лицо у нее было нездоровое, бледное, с синевой под глазами.

— Ты не больна?

— Больна. Сядем, посидим перед дорогой. — Она села на чемодан, показав ему на другой: — Садись!

— Ничего, я постою.

— Сядь, пожалуйста, а то меня ноги не держат.

Он сел и, глядя на нее, подумал, что на этот раз она недалека от истины.

— Что случилось?

— Ничего не случилось... Кроме того, что я уезжаю из своего дома, неизвестно для чего, зачем и к кому. Я хотела, чтобы ты услышал об этом от меня самой, сейчас, здесь, а не потом от кого-то другого.

Он смотрел на нее и, кажется, начинал понимать, чего она хотела. Когда-то раньше она хотела, чтобы он был виноват

в том, что она ушла от него к другому человеку. Теперь она хотела, чтобы он был виноват в том, что она возвращается к этому человеку. Вот и все! Она хотела, чтобы она была опять права, а он опять не прав. И хотя он старался подавить в себе это чувство, ему было жаль ее. Человек, который всю жизнь, всегда и во всем считает виноватым не себя, а других, по-своему тоже несчастлив.

— Как твои московские дела? Сделала все, что собиралась?

Она помедлила с ответом, кажется, колебалась — сказать или не сказать.

— Да, сделала! И то, что собиралась, и то, чего не собиралась. Как говорите вы, мужчины, когда говорите между собой про нас, сегодня ночью жила с тем, у кого выпрашивала пьесу для нашего театра, и теперь отвезу эту пьесу своему мужу, который послал меня за ней сюда. Не испытала от этого никакой радости. Но пьесу везу. И хочу, чтобы ты знал, что, если б тогда, в тот первый вечер, ты отнесся ко мне хоть чуть-чуть по-человечески и остался бы здесь — ничего этого бы не было. Мы не сидели бы сейчас с тобой вот так, напротив друг друга, на этих двух чемоданах. Я, как всегда, во всем виноватая, и ты, как всегда, ни в чем не виноватый. Вот и все! — Она встала с чемодана. — А теперь можешь пожелать мне доброго пути...

«Да, конечно,— уже поднявшись и стоя перед нею, подумал Лопатин. — Твой нынешний муж виноват в том, что ты сюда поехала, а твой бывший муж — в том, что ты жила этой ночью с кем-то третьим. И все-таки помимо всей этой, давно знакомой, дикой логики в глазах у тебя есть что-то такое... Словно то, что раньше вряд ли бывало для тебя таким уж несчастьем, на этот раз было действительно несчастьем, словно ты вдруг испытала унижение, от которого еще не можешь оправиться. И я, даже сейчас не веря тебе и имея на это право, данное мне долгой общей с тобой жизнью, все-таки глупо жалею тебя».

— Я провожу тебя, если хочешь,— сказал он вслух.

— Проводят и без тебя,— сказала Ксения. — И чемоданы возьмут, и на машине отвезут, и в вагон посадят, и поцелуют, если позволю... Со всем этим все обойдется и без тебя. И даже лучше, чем с тобой. Я ведь не за этим тебя позвала, а потому, что хотела... даже сама теперь не знаю — чего я хотела? Проститься, наверное, хотела.

Она протянула ему руку, не как обычно, заранее приподнимая ее навстречу губам для поцелуя, а неуверенно, просто так. И он пожал эту руку со все еще не прошедшим чувством жалости и вышел. И уже на лестнице понял, что за все время, наверное, не сказал ей и двадцати слов.

Таким было их второе, а вернее, третье свидание, после которого он хотел было вернуться жить к себе, но не вернулся. На следующий же день после отъезда Гурского появилось сообщение о боях, начавшихся на Карельском перешейке. Через два дня в «Красной звезде» напечатали его первую корреспонденцию оттуда, за ней — вторую. И Лопатин поддался на уговоры матери Гурского, которая не хотела отпускать его. У нее была неистребимая потребность о ком-то заботиться, а вечерние разговоры с Лопатиным утоляли часть ее тревоги за сына.

Редактор, как только начались бои на Карельском перешейке, потерял интерес к Лопатину. Наверное, торопя его тогда и с рентгеном, и с рассказом, он держал в запасе мысль о Карельском перешейке. Но туда послать не успел, вместо Лопатина поехали другие, а чего-нибудь еще в ближайшие дни не предвиделось, и ему было не до Лопатина.

С рассказом, над которым корпел Лопатин, дело не вышло. Сначала редактор, морщась от неудовольствия, стал крестить его красным карандашом так, чтобы из четырех подвалов вышло два, а когда Лопатин заупрямился, а с Карельского перешейка одна за другой пошли корреспонденции, сказал, что теперь рассказы ему в газете ставить некуда:

— Отдай куда-нибудь в журнал!

Лопатин отдал. И благо пока что никому не был нужен, сидел у Гурского и писал дневник: наверстывал упущенное.

Через неделю, залатав последние прорехи в дневнике, он обвязал крест-накрест бечевкой две толстые общие тетради и пошел к редактору попросить спрятать их в сейф в дополнение к уже лежавшей там пачке.

Редактор тетради взял и прикинул в руке на вес.

— За столько времени мог бы написать и побольше. Считая госпиталь, проболтался без дела больше двух месяцев...

И, сказав это, положил тетрадки в сейф.

— Надеюсь, как и в прежних, ничего нецензурного нет,— усмехнулся он. — Ни контрреволюции, ни мистики, ни порнографии? Не подведешь меня под монастырь?

— Контрреволюции нет твердо. Порнография попадается, когда привожу особо запомнившиеся вершины художественного мата на всех ступенях служебной лестницы. А мистика, разумеется, присутствует. Какая же война без мистики! Иногда встретишь спустя год или полтора знакомого пехотного комбата, и оказывается, он так и трубит в своем полку, и жив, и не ранен,— разве это не мистика?

— Завидую тебе,— сказал редактор,— пишешь и пишешь, и когда-нибудь еще напечатаешь все это. А от меня только эти

подшивки и останутся. — Редактор кивнул на неизменно лежавшие у него под руками, на полке, подшивки газет, которые он вытаскивал для справок и сравнений по десять раз на дню.

— А ты не прибедняйся,— сказал Лопатин. — Эти подшивки газет, от первого до последнего дня войны, может, еще будут стоить подороже наших книг.

— От первого и до последнего... Не знаю, еще не думал об этом. Рано,— сказал редактор и, взглянув на часы, на которых было ровно двенадцать, спросил Лопатина: — Ты чего пришел?

— Как чего? Принес тебе тетради.

— А еще чего?

— А больше ничего...

— Ну и ступай домой, без тебя дел много. Все еще у Гурского живешь?

— Все еще у Гурского.

— Готовься переезжать. Выборг взяли, Гурского отзываю. Теперь обойдемся там и без него...

Так было днем. А в девять вечера позвонили из редакции и сказали, чтобы Лопатин немедленно явился. И он, явившись к редактору, узнал, что завтра утром едет на Третий Белорусский фронт на новом «виллисе», на который недавно пересел бывший личный водитель редактора Василий Иванович.

— Все же ты после госпиталя, а он пожилой и аккуратный. При его нелюбви к скоростям ему только беременных и выздоравливающих возить. Если б его старая «эмка» не отдала концы, так и не пересел бы на «виллис». Ругается — и то ему не так, и это не так, и развал колес не тот, и заносит на поворотах... Поедешь — наслушаешься.

— А почему на Третий Белорусский — не можешь объяснить?

— Не могу. Просто... — редактор потянул ноздрями,— вот тебе и все объяснение! Других мне самому не дают. Объяснить не могу, но заменить пока могу — на Первый или на Второй Украинский, но туда — самолетом, а машину на месте добудешь, слишком далеко стало от Москвы.

Из дальнейшего Лопатин понял, что на этот раз редактор, к своей досаде, несмотря на связи в Генштабе, не располагал ровным счетом никакой информацией, которая подсказала бы ему, куда заранее подбросить корреспондентские резервы.

Но такого рода препятствия подогревали в нем дух непокорства, и он нашел выход из положения — спешил теперь дополнительно загнать всех, кто был под рукой, сразу на все шесть украинских и белорусских фронтов. Где бы ни началось, газета не должна была остаться без хлеба насущного. Но кого

куда, еще не было до конца решено, поэтому перед Лопатиным оставалась непривычная свобода выбора.

— Может, предпочитаешь лететь? Не тянет на Третий Белорусский?

— Наоборот, предпочитаю ехать, тем более с Василием Ивановичем,— сказал Лопатин. — И тем более на Третий Белорусский...

— По секрету тебе сказать, хочется, чтобы на этот раз именно они рванули. Люблю Третий Белорусский, хотя за последние годы меньше всего удач на его голову! — сказал редактор.

«Верней, больше всего неудач»,— мысленно поправил Лопатин не слишком грамотный оборот редакторской речи. И подумал, что действительно на долю — теперь переименованного в Третий Белорусский — бывшего Западного фронта после разгрома немцев под Москвой других выдающихся успехов по сю пору так и не выпало, если не считать его участие в Орловской операции. Почти все остальное было тяжким, кровопролитным и медленным. Последний большой город, взятый на этом тернистом пути, был Смоленск, и произошло это без малого год назад. А до Витебска и до Орши и сейчас, после трех лет войны, все еще не дошли! А между тем как раз этот неудачливый в последнее время Западный фронт тогда, после разгрома немцев под Москвой, был для всех как первая любовь и первая надежда на все будущие победы, где бы они потом ни происходили. И Лопатину из чувства справедливости тоже, как и редактору, хотелось, чтобы именно здесь, на многострадальном Западном, а ныне Третьем Белорусском, фронте мы начали этим летом громить немцев. И хотелось не просто узнать об этом, а увидеть своими глазами.

— Предписание я тебе заготовил, возьми у Степанова. Приедешь на место — дай знать через узел связи. Все! — оборвал разговор редактор, решив, что потратил на Лопатина слишком много своего драгоценного редакторского времени. — Да, забыл! Народная артистка тебе звонила?

— Нет. Какая народная артистка?

— Забыл ее фамилию,— сказал редактор. — Звонила мне, искала тебя. Я велел Степанову записать ее телефон. Иди к нему...

Он удивленно посмотрел на Лопатина, хотя сам же задержал его. И, сунув на прощанье руку, пошел к своей конторке.

Телефон народной артистки, записанный у секретаря редакции, оказался телефоном Зинаиды Антоновны, и Лопатин сразу позвонил ей.

— Хотите или не хотите, а мне нужно вас видеть,— сказала она. — Сегодня! Потому что я только сегодня вернулась от мужа, но мне уже достали место на самолет, и завтра утром я возвращаюсь в Ташкент. Приходите прямо сейчас. Какой-то вежливый товарищ там у вас в редакции предложил записать мой адрес. Есть он у вас?

— Перед глазами. Только дайте мне полчаса на сборы, а то я сам утром уезжаю на фронт,— сказал Лопатин.

— Не уверена, что обрадую вас тем, о чем собираюсь с вами говорить, но все равно приходите. Надеюсь, вы все такой же храбрый, каким показались мне в Ташкенте. Ненавижу ошибаться в людях.

Она первая положила трубку. И у Лопатина, как в минуты действительной опасности, стало пусто под ложечкой. Но, пересилив желание сразу идти к ней, он доделал все, что требовалось, чтобы уже не возвращаться сегодня еще раз в редакцию, а прийти утром и сразу ехать. Забрал у Степанова предписание, отметив для себя, что срок поставлен длинный, до двадцатого августа, взял в хозчасти продуктов на дорогу, на всякий случай на трое суток, и снес их в гараж к Василию Ивановичу, который, как он и предполагал, был там и торговался с завгаром — сколько канистр бензина дадут им про запас. И лишь после всего этого пошел по записанному адресу, в Брюсовский переулок, где ему предстоял разговор, который мог его не обрадовать.

13

Открыла дверь не Зинаида Антоновна, а кругленькая, старенькая, но еще крепкая женщина.

— Зинаида Антоновна, к вам пришли, кого вы ждали,— быстро сказала она и юркнула куда-то, наверное, на кухню, а в дверях комнаты появилась Зинаида Антоновна.

Она была все такая же уродливо-прекрасная, как в Ташкенте, только в стриженых волосах появилось больше седины, а ее мужской голос, когда она заговорила, показался Лопатину еще громче и повелительнее, чем раньше.

— Руку могли бы и не целовать, еще неизвестно, заслужила ли я. В тот вечер в Ташкенте почти влюбилась в вас, на свой лад, по-дурацки, конечно, но это у меня быстро проходит, не волнуйтесь!

Она рассмеялась, и Лопатин понял, что там, в Ташкенте, ничего страшного не случилось. Когда стряслась беда, разговор начинают с нее.

— А вы, вижу, получили за это время еще орден. А что были тяжело ранены — по вас не видно!

— Слухи о тяжести моего ранения были преувеличены,— сказал Лопатин.

— Да. Там у нас говорили, что чуть ли не смертельно. А потом, когда я была на фронте у мужа, он объяснил мне, что сквозную пулевую рану в грудь, если она ничего особенного там внутри не задела, они, врачи, не всегда считают такой уж опасной.

— Все правильно,— сказал Лопатин.

— Теперь сама вижу, выглядите как огурчик! Пойдемте в комнату.

Лопатин вошел вслед за ней в довольно большую проходную комнату, из которой вела дверь в другую. В комнате не было ничего, напоминавшего о войне, кроме фронтовой безрукавки, висевшей на спинке одного из старинных кресел красного дерева. Белый потолок, ультрамариновые стены, на них несколько старинных тарелок, две старые гравюры и портрет Станиславского с надписью. У одной стены — бюро, тоже красного дерева, как и кресло; у другой — высокий книжный шкаф, а посредине комнаты — круглый стол на тумбе и вокруг него еще четыре кресла. Все старинное и старое, но ухоженное, без единой пылинки. И паркет не новый, но натертый до такого глянца, что казалось неловким идти по нему в сапогах. Когда вечером позвонили из редакции, Лопатин надел не штатское, а форму.

— Не смотрите на свои сапоги,— сказала Зинаида Антоновна,— я с некоторых пор предпочитаю мужчин в сапогах — с ними надежнее. А когда вижу мужчин в ботинках, ведущих себя как бабы, мне кажется, что война никогда не кончится. Эту безрукавку,— она снова, как и в первый раз, когда он поглядел на свои сапоги, поймала взгляд Лопатина,— мне подарил муж, несмотря на лето. Сказал, что еще на одну зиму она мне без него пригодится. Как, по-вашему?

— Подозреваю, что он прав.

— А весь прочий наведенный здесь блеск, на который вы обратили внимание, не моя заслуга, хотя я люблю чистоту. В меня успели внедрить эту отнимающую много времени страсть в институте благородных девиц прежде, чем я сбежала в театральное училище, но сейчас я к этому рук не прикладывала. Это не я, а Елена Лукинична, которая вас встретила. Из ее семидесяти трех,— которые ей, не правда ли, не дашь,— мы с несколькими перерывами живем вместе все мои пятьдесят пять, и как это ни странно звучит, но она моя няня. У вас не было няни?

— Нет, на нянь у нас не хватало.

— И это пошло вам на пользу. А у нас хватало, и у меня была и до сих пор есть няня, Елена Лукинична. У нее уже давно своя комната, в которой мы когда-то жили с мужем, пока не переехали сюда, но она все равно живет не там, а здесь, и когда я есть, и когда меня нет, и балует меня и мужа. А это портит характер. Когда мы встретились с мужем, то обнаружили, что у нас обоих за время войны характеры стали лучше.

— Долго ли вы там у него пробыли?

— Целых двадцать дней. Получила разрешение и прилетела из Ташкента в Москву, а отсюда до штаба их армии меня пристроили на машину с очень усатым генералом, который за всю дорогу так и не выдал мне ни одной военной тайны. Все время сам расспрашивал меня про артистов, главным образом — опереточных. А оттуда приехала только сегодня на грузовике, который им все равно нужно было послать в Москву за каким-то их санитарным имуществом, если не наврали. Это возможно?

— Что наврали? Вполне.

— Но я все равно не буду испытывать раскаяния. Я не бездельничала. Не только у них в медсанбате, а где только не читала — и стихи, и прозу, и Пушкина, и Толстого, и Чехова, и Зощенко. И, как все последние годы в театре, вновь убеждалась, что люди не хотят, чтобы перед ними изображали ни то ни се. Хотят, чтобы ты или залез им в душу и потряс ее до основания, или вырвал из них смех!

— Да, на полутонах войну не проживешь,— сказал Лопатин, понимавший, что, как бы ни была переполнена Зинаида Антоновна впечатлениями от своей поездки, все-таки она звонила ему в редакцию и глядя на ночь вызвала к себе не для того, чтобы рассказывать ему, как она читала там Чехова и Зощенко. Вызвала для чего-то другого. Для чего?

— Хотела пробыть у них еще двое суток сверх двадцати, но они меня поперли,— сказала Зинаида Антоновна.— Муж даже наорал на меня: сказано ехать — поезжай! И когда приедешь в Ташкент — никому никаких подробностей — где мы и в составе какой армии. Была у меня в медсанбате — и все! Странно у них все это с их военными тайнами! Вы, наверное, что-то понимаете, а я ровно ничего.

Лопатин улыбнулся тому, как она это сказала, хотя ничего странного тут не было. Разграничительные линии между фронтами перед началом наступления могли быть изменены, армии переданы с фронта во фронт или выведены во второй эшелон, и в рассуждении о том, что действительно составляет военную тайну и что не составляет, а только числится ею,— в такие особо

чувствительные моменты лучше не вдаваться. Бывает, что косвенные признаки начала будущих событий очевиднеей прямых.

— За двадцать дней, что я у них жила, я только два раза слышала выстрелы, и очень далекие. И в медсанбат к мужу за все время попал только один легкораненый, в мякоть плеча, они его перевязали и разрешили вернуться к себе в батальон и, как муж выразился, два-три дня отдохнуть там около кухни. А все остальное — грыжи, аппендициты,— все как в обычной больнице. Они мне много раз объясняли, что я попала к ним во время затишья. Но эта тишина почему-то меня не успокоила. Когда тишина нормальная — это одно. А когда тишина ненормальная — совсем другое!

— А что вы называете нормальной тишиной?

— Когда что-то вдруг может случиться, а может и не случиться — это нормальная тишина. А когда они только и ждут, что тишина вот-вот кончится, когда они все только и думают об этом — молчат или говорят, но все равно знают, что она непременно должна кончиться и ничего другого и быть не может,— вот тогда это ненормальная тишина. И по-моему, она очень страшная, потому что люди начинают ее не выдерживать и даже хотят, чтобы она скорей кончилась.

— Все это верно,— сказал Лопатин,— но тишина, про которую вы говорите, только часть войны. Война накапливает в людях усталость. И когда идут бои, и когда наступает затишье — все время накапливает. Но у того, кто остается жив, вместе с усталостью накапливается и потребность довоевать войну до конца. И если бы это чувство не накапливалось рядом с усталостью от войны, наверное, от одной усталости мы все посходили бы с ума. Даже я. Хотя знаю, что моя жизнь легче, чем у большинства других людей на войне, в их числе и у вашего мужа. И желание, которое вы правильно заметили — скорей бы уж началось! — появляется не у психов, а у нормальных людей, которые устали, знают, что воевать вечно невозможно, и хотят поскорей покончить со всем этим. Это нормальное чувство нормальных людей.

— А все-таки,— возразила она,— одно дело думать об этом оттуда, из Ташкента, а другое — видеть вблизи. И можете мне поверить, мне было бы не так страшно, если бы я приехала туда к ним во время боев.

Лопатин не ответил, промолчал, подумав, что, может, она и права. Есть люди, которые знают себя плохо, и есть люди, которые знают себя хорошо. Им труднее жить, но они реже ошибаются, когда говорят другим о себе.

— Почему вы молчите? — спросила Зинаида Антоновна. — Думаете, я вру? Я иногда вру про других, потому что увлекаюсь людьми и люблю думать о них хорошо, и иначе не вижу смысла жить. Но о самой себе я никогда не вру, имейте это в виду. И вы, наверное, тоже? Разглядела теперь вас внимательно при свете: вы не так уж хороши собой, как мне показалось сначала. Вижу, что вам досталось за это время. Но все равно, хватит ходить вокруг да около. Это со мной бывает перед вторжением в чужую жизнь. А теперь я собралась с духом и вторгнусь.

— Ну что ж, валяйте,— сказал Лопатин, и у него снова, как тогда, когда она позвонила, стало пусто под ложечкой.

— Я виновата перед вами. Нина Николаевна просила меня увидеть вас сразу, как я попаду в Москву, и отдать вам ее письмо, если вы этого захотите, и не отдавать, если не захотите. Но я, прилетев в Москву, только дозвонилась в госпиталь до дежурного врача и узнала, что вы почти здоровы. А рано утром была машина, и я уехала к мужу. То, что вы были уже почти здоровы, уменьшает мою подлость. Не было сил сразу после самолета ехать к вам.

— Зачем вы мне все это объясняете?

— Затем, что я знаю о вашем письме Нине Николаевне, по ее словам очень хорошем и благородном, и об ее ответе вам, в котором было все правда и все неправда.

— А так бывает?

— Представьте себе, бывает. Не хочу обманывать вас, я пристрастна к этой женщине, но все равно считаю, что права я, а не она и не вы, и все равно, так же как и ей, скажу вам все, что думаю. Она написала вам правду, что прошло два месяца без вас, и она вернулась к тому — нет, не скажу дурному, слово «дурной» для него слишком крупно, а так себе, ни рыба ни мясо,— человеку, которого оставила, встретив вас.

— Она написала мне об этом,— сказал Лопатин.

— Об этом — да! Но о том, что почти сразу после вашего отъезда у нее умерла мать, потом заболел сын, потом свалилась с гнойным аппендицитом она сама,— об этом она вам не писала?

— Нет.

— Не писала потому, что не хотела себя этим оправдывать. Да, поднявшись на ноги после всего, что на нее рухнуло, она махнула на себя рукой и вернулась к тому человеку, очень вовремя — надо отдать ему должное — поспешившему помочь ей в тяжелые для нее дни. Но вернулась ровно настолько, сколько понадобилось, чтобы понять, что она уже не может снова жить с ним, что уже не способна ни поставить крест на вас, ни махнуть рукой на себя. Вот тогда-то она и получила ваше письмо,

в ответ на которое другая женщина, чем она, даже и не подумала бы вспоминать об этом человеке. А вы поспешили отпустить ей грехи и вычеркнуть из жизни. И вам это, кажется, удалось.

— Кажется, удалось. — Лопатин поднялся с кресла и пошел по комнате.

— А ей не удалось! — Зинаида Антоновна тоже поднялась с кресла. — Ладно, будем ходить, если вам так легче! Вы не просто переспали с ее телом, вы ранили ее душу. Бессмысленно и жестоко, если это не могло иметь продолжения. Она не девочка, а вы не обольститель, и я понимаю, что вы там, в Ташкенте, не уламывали ее. Вы сделали куда худшее! Вы, человек, приехавший с войны, всеми силами своей души потребовали от нее, чтобы она полюбила вас, и, добившись этого, забыли. Это глупое сравнение, но вы поступили, как Онегин, которого я терпеть не могу.

— Я написал ей. И вы знаете, что̀ я написал.

— Знаю. Да, написали, конечно! Но как же вы, такой сильный и так полюбивший ее человек, посмели поверить в ее глубоко несчастное письмо? И как вы могли, даже после этого письма, отказаться от нее так просто?

— Просто? Как бы не так. И не вам бы говорить это! — перебил ее Лопатин. — Кто-кто, а вы-то неужто не понимаете, что все это свалилось на меня тогда в Ташкенте как неслыханное счастье! И как я мог продолжать верить в это, получив ее письмо?

— А вы не доказывайте мне, что вы не наглец, считающий, что его обязаны любить женщины. Если хотите знать, человек, считающий, что его должны любить женщины, вообще не стоит их любви. А вы, не уверенный в этом,— вы-то ее и стоите. Чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, что все хорошие люди — болваны! И вы болван, и она болван, не знаю, как это будет в женском роде. Но я так ей и сказала: болван! — потому что тоже не поверила себе, не поверила, что должна и может составить собой, вот такой, какая она есть, ваше счастье! Вы не замечали, что хорошие женщины гораздо реже уверены в себе, чем плохие? Если не замечали, то вы или не наблюдательны, или имели мало опыта.

— Может быть, и так.

— Я говорю не вообще, а о хороших женщинах.

— Я тоже. Я очень хочу увидеть ее.

— А она не хочет видеть вас.

— Почему?

— Потому что хорошие женщины трудно прощают себя. Я к началу сезона окончательно возвращаюсь сюда вместе с театром и решила взять с собой Нину Николаевну. Два с половиной года, заведуя нашей нищенской костюмерной, она делала все из ничего. Она из тех людей, с которыми хочется работать до конца жизни. А у меня дурной характер и не часто возникают такие желания. Она предана театру не меньше, а, наверно, больше, чем я, потому что часть моей преданности — мое тщеславие, а у нее только преданность. Мне говорят, что ее трудно будет привезти в Москву, даже временно, даже в командировку. Но я иногда бываю упрямой как осел и добьюсь своего. Считают, что ей негде будет жить, тем более с сыном, но я для начала найду, где ей жить. Повторяю, я все это сделаю. Но одного я сделать не могу. При всем своем ослином упорстве я не в состоянии уговорить ее переехать в город, в котором живете вы. Можете считать меня свахой, сводницей — мне наплевать на это,— но вы должны знать, как, услышав, что вы смертельно ранены, она прибежала ко мне среди ночи через весь город и умоляла узнать, есть ли хоть какая-то надежда? И я дозвонилась в Москву человеку, которого я терпеть не могу, потому что он меня когда-то унизил и выгнал из театра. Но я надела на себя намордник, чтобы не укусить его по телефону, и, доставив ему наслаждение своим смирением, упросила его выяснить, что с вами. И когда узнала — сказала ей. И увидела, как она на моих глазах воскресла из мертвых, потому что вы остались живы! Я сказала вам все, и, если вы и теперь ничего не поняли, значит, я отвратительно и смешно ошиблась в вас!

— Вы бы еще стукнули меня, только этого не хватает,— сказал Лопатин. — Да остановитесь же, дайте руку поцеловать.

— Не обращайте внимания,— сказала она, протянув ему руку и смахивая другой стоявшие в глазах слезы. — Это злобные слезы. Я плачу, только когда злюсь! Мне показалось, что вы ничего не поняли.

— Дайте письмо.

Она села в кресло и по-мужски закинула ногу на ногу.

— Я вам наврала, потому что не знала, с чего начать. У меня нет письма для вас. Единственное, что она меня просила, приехав в Москву, сообщить ей, как вы себя чувствуете. И я сделала это. Поговорив с дежурным врачом вашего госпиталя, послала ей телеграмму.

— Я напишу ей письмо, возьмете? — сказал Лопатин.

— Когда вы пришли, я собиралась писать письмо мужу, что доехала благополучно. Садитесь за бюро, там лежат и карандаш и бумага. А я вскипячу вам чаю. И можете после этого

отправляться восвояси. Я лечу рано, и мне надо лечь спать. К сожалению, как только я сажусь в самолет, меня вывертывает наизнанку, и это продолжается до посадки.

— Лучше б ехали поездом.

— Не позволяет совесть, имея возможность лететь, почти неделю терять на поезд. Через десять дней я должна выпустить там, в Ташкенте, премьеру. Они без меня уже перешли на сцену. И так безобразие, что я уехала!

— Но премьеру-то вы, наверное, уже для Москвы готовите? Можно выпустить ее и на несколько дней позже?

— Нет, не для Москвы, и нельзя позже. Я выпускаю премьеру не в нашем театре, который уезжает, а в ташкентском, который остается. И премьера должна быть хорошей и должна быть выпущена вовремя. Нельзя быть свиньями перед людьми, которые все годы, что мы там были, делали для нашего театра буквально все, что могли.

Она вышла из комнаты, а Лопатин сел за старое бюро красного дерева, наверное сделанное какими-нибудь крепостными краснодеревщиками еще до той, прежней Отечественной войны, и, взяв из пачки почтовой бумаги листок, задумался. Не над тем — что; что — он уже решил. А над тем — как.

«Пишу у Зинаиды Антоновны, выслушав все, что она думает о тебе и обо мне. Наверно, она права — мы оба и в самом деле болваны. Во всяком случае, я. Сижу за ее бюро восемнадцатого века и, как они тогда выражались, еще раз прошу твоей руки. Сказать, что не смог жить без тебя, было бы ложью. Как выяснилось — смог. Но жил и живу не так, как хотел и хочу. Завтра уезжаю на фронт. Если ты приедешь в Москву в августе, наверное, уже буду здесь. Если не сможешь приехать ты — попрошусь в отпуск, к тебе. Думаю, что после возвращения с фронта мне в этом не откажут».

Написал и поставил внизу свои инициалы. Подписаться именем что-то помешало, а ставить фамилию, после того, как внезапно для себя обратился к ней на «ты», показалось нелепым.

Зинаида Антоновна вошла, неся на подносе чашки, чайник, вазочку с галетами, наверное привезенными с собою с фронта, и графин, налитый до половины чем-то желто-бурым.

— Еще не дописали? — ставя все это на стол, спросила она.

— Нет, дописал. — Лопатин поднялся и сложил пополам исписанный с одной стороны листок.

— А вот конвертов у меня нет. Придется вам взять еще лист бумаги и свернуть из него пакетик, как для порошков с лекарствами.

— А вы просто суньте к себе в сумочку,— сказал Лопатин, отдавая ей листок.

— Сумочек у меня никогда не было. Имела только сумки, самые большие, какие могла купить, чтобы в них влезали роли. А теперь муж у меня, как и вы, с орденами — дважды кавалер, и я, как кавалерственная дама, получила в подарок от его замполита самую настоящую полевую сумку.

Она подошла к креслу, приподняла телогрейку, взяла висевшую под ней полевую сумку и, расстегнув, положила туда письмо.

— Всегда страшно, когда берешь на свою душу что-то чужое. Чужой ли грех, чужое ли счастье — все равно страшно! Если долетим за один день, завтра ваше письмо будет у нее. А где к этому времени будете вы сами?

— Зависит от дороги. Скорей всего, приткнемся ночевать где-то поблизости от Смоленска.

— Так и будем думать о вас завтра, что ночуете где-то около Смоленска. Я тоже, когда ехала в ту сторону, ночевала в какой-то военной части, которая стояла в лесу, как они мне сказали, недалеко от Смоленска. Когда мы приехали туда поздно вечером, лес показался мне густым. А рано утром, когда встала и вышла из палатки, увидела, что он какой-то не такой, как я привыкла, и только потом, не сразу, поняла, что это его побило войной. Многие деревья срезаны, как большими ножницами. Иногда ближе к верхушкам, а иногда посередине... И вспомнила калек у нас на Старом базаре, в Ташкенте. Скажите правду, вам не страшно завтра снова ехать туда?

— Не настолько, чтобы не ехать.

— Садитесь, выпьем чаю. Он крепкий, я не умею экономить. Пока есть, пью крепкий, а когда нет, пью кипяток.

Она разлила чай и только тут вспомнила о принесенном ею графине. Лопатин уже успел разглядеть эту желто-бурую жидкость, в которой лежала нарезанная спиралью, обесцвеченная до белизны лимонная корка.

— Совсем забыла, что у нас в доме все еще стоит эта довоенная водка. Без мужа никто ее не пил, вот она и стоит. Принесла, чтоб угостить вас, но стала наливать чай и забыла... Как вы думаете, ее можно пить? Она не испортилась за это время?

— Думаю, не испортилась,— улыбнулся Лопатин. — Если только в нее не доливали воды. Насколько я знаю, водку можно испортить только таким способом.

Она расхохоталась своим громким мужским смехом и, открыв пробку, протянула ему графин:

— Попробуйте...

Он понюхал.

— Кажется, не доливали.

— Подождите, я что-то опять забыла? Да, рюмку.

Она вышла и вернулась с рюмкой.

— А вы? Что же, я буду один?

— А это непременно — вдвоем?

— Желательно.

— Если желательно, возьму и себе.

Она снова вышла и принесла вторую рюмку. Лопатин нерешительно начал наливать ей, ожидая, что она его остановит. Но она не остановила.

— Наливайте доверху. Мне, как это недавно выяснилось, все равно.

— Доброго пути вам. — Лопатин чокнулся с ней.

Она выпила до дна и разочарованно подергала носом.

— Во второй раз пью, и опять ничего особенного... Настолько ничего особенного, что вполне можно и без этого. Я так и сказала им у них в медсанбате, когда приехала, а они меня уговорили. А потом, когда они пили, сама только чокалась и переливала свою водку им в стаканы. Они так этим дорожат, а мне — не в коня корм! Я больше не буду, а вам налью еще?

— Если будет на то ваша милость...

Она налила, и он, выпив еще рюмку и закусив галетой, быстро выхлебал до конца свою чашку чая, вспомнив, что ей надо пораньше лечь спать. Да и у него самого теперь были причины торопиться.

— Благослови вас бог, если он есть,— провожая его, повторила она те же самые слова, что когда-то сказала ему на прощанье в Ташкенте. А он, спускаясь по лестнице, подумал, что, если бы бог, которого нет, все-таки был, он должен был бы благословить не его, а ее.

Торопиться ему надо было в редакцию, потому что завтра, в восемь утра, когда он уедет, редактор, выпустив газету, будет еще спать. А ему, как теперь выяснилось, было необходимо еще раз увидеть редактора.

В редакции шла суета, сдали всего одну полосу, остальные еще не сдавали. В сводке сообщалось о продолжающемся наступлении наших войск на Карельском перешейке и прорыве финской обороны между Ладожским и Онежским озерами.

Но кроме всего этого верстали еще целую полосу военных и политических итогов трех лет Отечественной войны и ставили на нее карту с заштрихованными территориями, освобожденными от немцев.

Настроение было приподнятое, но редактор встретил Лопатина неприветливо:

— Выскочил, как черт из бутылки! Если кто-то из фотокорреспондентов хочет увязаться с тобой и рассчитывает на протекцию — шиш с маслом! Все уже распределены и поедут туда, куда сказано.

— Нет, но у меня самого к тебе дело, на пять минут.

— Иди к заму или к ответственному секретарю, я занят.

— У меня дело не к ним, а к тебе. Личное мое, лично к тебе.

— Тогда жди. И не маячь за спиной — позову.

Болтаться в редакции и ждать пришлось долго, больше часа.

— Ну, что у тебя такое? — продолжая читать полосу и не поворачиваясь, спросил редактор, когда Лопатин вошел к нему.

— Мне может понадобиться оформить в Москву вызов для одной женщины.

— Когда? Сегодня? — сердито спросил редактор. — Решил отметить женитьбой третью годовщину войны? Поздно хватился. Извини — недосуг.

— Матвей, я серьезно.

— А серьезно, так говори толком! Пять минут в твоем распоряжении.

Редактор повернулся от конторки и посмотрел на Лопатина обалдевшими от усталости глазами.

— Ну?

— Я хотел тебя предупредить, что, когда вернусь с фронта, мне может понадобиться оформить вызов и прописку у себя в Москве одной женщине с ребенком.

— С твоим?

— Нет, не с моим.

— Откуда вызов?

— Из Ташкента.

— А кто она?

— Заведует костюмерной в театре.

— А кто она тебе?

— В общем, сейчас все...

Редактор потер свои обалделые глаза, уставился на Лопатина и сказал:

— Понимаю. До конца войны нельзя отложить?

— Наверное, можно. Но я боюсь ее лишиться.

— А у тебя с твоей бывшей женой и формально все покончено? Я уже забыл...

— Да, и формально.

— Ну что ж, надеюсь, еще успею помочь тебе в этом деле...

Слова «еще успею» какой-то непривычностью задели Лопатина, но тогда он их не понял. Понял много позже. А тогда, хотя и запнулся об них, не переспросил, потому что сам думал о другом.

— Так или иначе, все будет сделано, если сам не передумаешь,— сказал редактор.

— Я не передумаю. Я просто должен ждать ее ответа на свое письмо.

— Теперь все?

— Все. Гурский еще не выехал обратно, не знаешь?

— Знаю. Еще не выехал! Разрешил ему на сутки задержаться в Ленинграде, с условием, что приедет с готовой заключительной корреспонденцией. А что ты за него беспокоишься? Уже не на фронте, в Ленинграде, не маленький, доберется.

— Увижу сегодня его мать, хотел ей сказать.

— Скажи, что все в порядке. Пока!

И редактор еще торопливей, чем в прошлый раз, сунул Лопатину руку. Это была его привычка прощаться с теми, кто уезжал на фронт.

Уже спускаясь от него, Лопатин зашел на второй этаж к дежурным стенографисткам. Хотел спросить, не звонил и не передавал ли чего-нибудь Гурский.

— А вот он как раз передает вставку в свою корреспонденцию,— кивнула одна стенографистка на другую, которая, прижав к уху трубку, быстро писала в тетрадке свои закорючки.

— Борис Александрович, тут у нас Лопатин,— сказала она в трубку. — У вас что-нибудь есть к нему? — И, оторвавшись от трубки, повернулась к Лопатину: — Говорит — пусть подождет. Он сейчас кончит.

Ждать пришлось минут пять.

Взяв трубку, он услышал веселый и хорошо слышный голос Гурского:

— А я уже в Ленинграде! П-послезавтра увидимся. Твои пол-литра целы, так что, учитывая мою гвардейскую, а твою армейскую норму, можешь рассчитывать на одну т-треть.

— Завтра уезжаю,— сказал Лопатин.

— В каком направлении? Не в нашем?

— Нет.

— На сколько?

— Видимо, надолго.

— Тогда придется п-прикончить их без тебя. Маму уже не увидишь?

— Увижу.

— Передай, что я, как обещал ей, схожу завтра в своем штатском костюмчике в т-театр, посмотрю, сколько успею, до п-поезда. И ск-кажи, что носков хватило. Третью пару надену завтра в т-театр. Будь здоров! Известный тебе ас — Петя П-прокофьев, которому я вставил фитиль,— наступает мне на п-пятки, спешит поведать своему редактору о причинах своей неоп-перативности... Будь зд-доров!

Лопатин вышел на улицу. Ночь была светлая и теплая. Завтра, как и тогда, в начале войны, будет самый длинный день в году.

Перед зданием «Известий», у репродуктора, стояли люди. По радио передавали те самые итоги трех лет войны, которые вычитывал сейчас за своей стойкой редактор:

«Война теперь идет к концу. Но оставшаяся часть пути к полной победе будет нелегкой. Война вступила в самую ожесточенную, решающую и наиболее трудную фазу...»

Передача кончалась, и Лопатин не стал ее слушать дальше. В кармане у него лежала уже один раз прочитанная во время скитаний по редакции полоса завтрашней газеты.

«Перечту еще раз перед сном»,— подумал он.

14

К войне не идет слово «торжество», и все-таки все происходившее за эти полтора месяца на всех трех Белорусских и Первом Прибалтийском фронтах было торжеством над немцами, над их железным катком, когда-то, в сорок первом, как раз тут быстрее и страшнее всего прокатившимся через нашу прорванную оборону, через наши оказавшиеся бесполезными противотанковые рвы, через наши не успевшие взлететь на воздух мосты и через наши собственные, полурастоптанные в те дни, души, в которых что-то до конца разогнулось и распрямилось только теперь, в это лето.

Оно, это лето, начиная с первого же фронтового дня, проходило для Лопатина под знаком какой-то особенной везучести. Он все время попадал туда, где дела шли всего удачней, и радостно удивлялся этому, хорошо помня, как часто все выходило как раз наоборот.

Но на седьмую неделю нашего еще небывало стремительного наступления, когда, начав в июне под Витебском, к августу махнули так, что казалось, вот-вот будем в Восточной Пруссии, он все-таки угодил на самое дно войны, влип в такую переделку, после которой — ставь свечку, что жив.

И случилось это в том же танковом корпусе, где он в первый раз был в самом начале наступления, когда танкисты вошли в прорыв и поперли, поперли, и первыми доперли до Минска...

Как мы просто объясняем то, что случается на войне с другими, и как трудно объяснить себе — как же это вышло с тобой. Ведь почему-то казалось, что с тобой этого не будет! Хотя до этого много раз слышал от танкистов, что вот так они и погибают — после всех успехов, после того, как уже казалось — все разбили, раздавили, разогнали,— и вдруг где-то осечка, засада и какой-то «фердинанд» или пушка, которой не заметили, один за другим жжет те самые танки, которые неуязвимо прогрохотали гусеницами сквозь десятки километров.

И вот она — эта осечка, эта засада! — и все, что осталось после нее: пятно дотлевающего огня там, на дороге, и ты, лежащий здесь и не знающий, что тебе делать...

Но почему все-таки казалось, что с тобой этого уже не может быть? Может, оттого, что на этот раз поехал на фронт, поверив, что все в твоей жизни изменится и будет хорошо? С этим чувством и поехал, и жил, и ездил, и бывал под огнем, и возвращался в штаб фронта, чтобы послать корреспонденцию, и снова уезжал на передовую. И через месяц получил с оказией конверт, на котором было написано: «Лопатину лично от Гурского»,— где внутри лежала присланная на редакцию короткая телеграмма из Ташкента: «Приеду к тебе как только смогу».

Эти слова — «приеду к тебе как только смогу» — с тех пор неотступно были с ним на войне, помогая справляться с усталостью, которая постепенно брала свое и в конце концов заставила наперекор ей завинтить себя и швырнуть в эту, как он надеялся последнюю, перед возвращением в Москву, поездку к танкистам.

В свое время, в начале июля, Лопатин, дойдя с танкистами до Минска, остался там писать корреспонденцию, но пообещал командиру корпуса, что еще догонит их.

Генерал сказал тогда с подначкой, что не впервые слышит такие обещания от корреспондентов, и, когда в августе, уже за Неманом, Лопатин вновь появился у него, одобрительно махнул ему рукой — садись! — и продолжал слушать доклад своего командира бригады, которому предстояло через несплошной, по сведениям разведки, фронт пойти в рейд в немецкие тылы, двое суток шуровать там, наводя панику, и встретиться с остальными частями корпуса на рубеже, который они вместе с пехотой займут к тому времени в ходе общего наступления. О сроке и месте встречи говорилось уверенно, как о свидании под часами у телеграфа; командир бригады — еще недавно подполковник, а теперь

уже полковник Дудко — был знакомый: с ним Лопатин шел до Минска; все, вместе взятое, оказалось последним толчком.

— Не запрещаю, но не советую,— сказал командир корпуса, когда Лопатин попросился в рейд. — Думаете, если у вас с Дудко один раз все прошло как по маслу, так и в другой будет? У танкистов раз на раз не приходится. Лучше оставайтесь у нас или поезжайте в армию, которой мы приданы. Дел всюду хватит!

Но Лопатин повторил, что хотел бы пойти в рейд с бригадой Дудко.

— А вы думаете, я ему всю бригаду дам? — усмехнулся командир корпуса. — Не настолько богат! Он у меня туда одним батальоном пойдет, усиленным, конечно, и самоходками, и всем чем требуется. Ему с вами возиться, а не мне; пусть сам и решает, брать вас или нет.

— Если на мое решение — беру товарища Лопатина,— весело сказал Дудко.

— На что ты его посадишь?

— Можно на бронетранспортер, как в тот раз.

— Ну, а если что...

— А если что — в танк засунем!

— Раз засунешь, засовывай,— сказал командир корпуса. Почему-то разрешил, хотя проще было запретить. То ли верил в легкую руку своего командира бригады, то ли подумал про Лопатина, как нередко думают военные люди про корреспондентов: «Показываешь мне свою храбрость? Ждешь, что не разрешу? А вот возьму и разрешу!»

Было все это поздно вечером, двое суток назад, где-то неправдоподобно далеко от того места, где теперь Лопатин лежал посреди сжатого поля.

Лежал живой и не раненый, все еще не веря, что остался цел. Лежал в темноте один как перст, не слыша ни голоса, ни стона, ничего; а сзади, на дороге, где все это случилось, сгоревших танков в темноте уже не было видно; только что-то смутно белело над дорогой, и он знал, что это были стволы побеленных на полтора метра от земли вековых лип, которыми обсажен с двух сторон этот кусок дороги, обсажен так часто, что танки не смогли ни развернуться, ни своротить эти липы, чтобы сойти с дороги и выскочить из ловушки, когда одновременно загорелись и головной и замыкающий.

Вот сейчас они и белели там, эти проклятые липы; да еще где-то внизу, на дороге, что-то — не понять что — догорало, то погасая, то вспыхивая. Змеился по земле маленький последний обрывок полыхавшего раньше во всю дорогу пламени. В ночной темноте было непонятно, ни где ты, ни что происходит вокруг

тебя. И даже иногда слышавшиеся вдалеке разрывы снарядов не помогали понять, где наши и где немцы. И не было рядом ни командира корпуса, сказавшего «засовывай», ни полковника Дудко, который пересадил Лопатина для безопасности с бронетранспортера в танк, шедший в середине колонны; не было и тех трех людей, к которым четвертым посадили Лопатина: двух убило сразу, в танке, а третий куда-то исчез позже.

Никого не было. Он был один на этом поле. И были еще сгоревшие танки — невидимые; и убитые, и сгоревшие люди — тоже невидимые; и воспоминание о чьей-то обутой в сапог, оторванной по колено ноге, за которую он ухватился, когда переползал по кювету. И еще был этот змеившийся вдалеке, то вспыхивавший, то затухавший маленький огонек. И почему-то хотелось понять, что же все-таки там горит на дороге, что там догорает самым последним из всего? Вот она, война: что бы там ни было — сорок первый или сорок четвертый,— нет ничего страшней, как оставаться с нею один на один: тогда только и понимаешь до конца весь ее ужас.

Сначала, за двое суток этого рейда по немецким тылам, Лопатин почувствовал по настроению танкистов — все шло так, как уже не раз бывало. Были потери, сгорело два танка и одна из приданных бригаде самоходок, разбило прямым попаданием на шоссе противотанковую пушку вместе с тянувшим ее «доджем». Проезжая там через десять минут на бронетранспортере, Лопатин видел все, что осталось от этого «доджа»,— куски раскиданного, перекрученного железа и заброшенный на придорожную изгородь капот. Словом, были потери, которые считались в порядке вещей. Судя по всему, танкисты оказались в тылу у немцев неожиданно и поначалу крушили все, что попадалось под руку,— шедшие к фронту и от фронта колонны грузовиков, не успевшие развернуться легковушки, конные обозы, пешие колонны на марше; рвали связь; наскочив на полевые ремонтные мастерские, где немцы латали свои танки, стерли в порошок все, что там было, и, посылая кодом по рации донесения, метались из стороны в сторону, уходя от начавших стягивать силы немцев.

Своими глазами Лопатин видел лишь малую часть происходившего. Но сегодня в конце дня ему все это разом выложил Дудко, залихватски обогнавший на «виллисе» бронетранспортер и забравший Лопатина к себе.

— Сегодня с темнотой будем выходить к своим,— сказал он. — Моя задача выполнена, а наши уже зацепились за рубеж, где назначено рандеву. — Дудко щегольнул этим французским словом, вошедшим на войне в обиход радистов. — Но, кто его

знает, при прорыве не все минута в минуту — от греха пересажу вас в танк. Танк бывший мой, когда я еще комбатом был. Механик золотой, командир танка тоже мой, с ним ходил; башнер новый, а радиста нет — некомплект. Вас — на его место.

Он обогнал на «виллисе» танки. Сначала, не вылезая, остановил головной, на котором с открытым люком шел командир роты, и перекинулся с ним несколькими словами; о чем говорили — Лопатин за шумом моторов недослышал — может быть, о нем.

Командир роты козырнул, танки пошли дальше, Дудко задержал «виллис» на обочине и дождался посреди колонны того танка, на который решил посадить Лопатина. Просигналив, чтоб танк остановился, он на этот раз вылез из «виллиса» и позвал с собой Лопатина. По лицу стоявшего в башне командира танка, молодого и рыжего, с рыжими усами и рыжими бачками, было видно, как он обрадовался, увидев командира бригады.

— Вахтеров, здравствуй, привез тебе майора из «Красной звезды», временно забирай его, пока к своим не выйдет. Вас трое?

— Так точно, трое. — Командир танка нахлобучил сдвинутый на затылок шлем. — Санинструктор вместо радиста был, его на другую машину взяли.

— Теперь майор будет вам и за радиста, и за санинструктора,— весело сказал Дудко. — Отвечаешь за него головой, ясно?

— Есть отвечать головой,— так же весело, в тон ему, крикнул рыжий Вахтеров.

Лопатин подумал, что пора лезть в танк, и приготовился сделать это половчее, но Дудко повел его вперед, к люку водителя, повторяя по дороге:

— Это мой танк, мой. На нем, пока комбатом был, все время шел. С Вахтеровым и с Чижовым! Сейчас вас с Чижовым познакомлю. Золотой механик.

У «золотого» механика было маленькое круглое неулыбчивое лицо, серьезное, с белесыми бровками.

— Здорово, Чижов,— сказал Дудко.

— Здравствуйте, товарищ гвардии полковник,— еле слышным голосом ответил Чижов.

— Вот, Чижов, доверяю вам с Вахтеровым майора из «Красной звезды». Веди аккуратно, шишек ему не набей!

Чижов не улыбнулся в ответ на улыбку командира бригады и с серьезным лицом стал что-то объяснять ему, а Лопатин полез через верхний люк в танк. Рыжий Вахтеров помог ему. Уже стоя рядом с ним, Лопатин увидел, как Дудко, рискованно развернув на откосе дороги «виллис» и махнув на прощанье рукой, поехал

вдоль танков обратно, видимо решив двигаться не с ними, а с кем-то еще.

Так все это и началось, с известия, что наши наступают и осталось только соединиться с ними; с улыбок командира бригады, сажавшего его в танк к рыжему Вахтерову и маленькому, с удивленно приподнятыми бровями Чижову. А спустя два часа стряслась беда со всеми их семью танками, оказавшимися на этой старой дороге, с двух сторон обсаженной вековыми липами, про которые в последний момент Лопатин еще успел подумать, что их белят здесь выше, чем обычно, почти на человеческий рост.

Да, вот она, эта мысль: что как-то слишком уж они высоко побелены, эти, стеной стоящие вдоль старой мощеной дороги, липы; она и была самая последняя.

А в следующую секунду в темноте над головой, над открытым люком свистнуло, и Вахтеров, толкнув Лопатина, захлопнул над головой крышку люка и что-то крикнул: одно башнеру, другое водителю — и начал развертывать башню. А в танк ударило и тряхнуло так, что с Лопатина слетели очки, и он не успел их поймать и даже не понял, чем ударился о броню,— показалось, что всем сразу, и что-то заскрежетало и закрутилось волчком внутри башни, и вместе с болью в теле остался в памяти этот визжащий звук. Дохнуло жаром и гарью, и на него навалилось что-то бессильно мягкое и мокрое и прижало его к броне; он понял, что это убитый, только не понял кто — Вахтеров или башнер. А снизу кто-то тянул его за ногу и кричал, и он стал лезть вниз, чувствуя, как задралась и мешает вылезти гимнастерка и он не может протиснуться. А потом все-таки протиснулся и вылез через нижний люк вслед за Чижовым, который тянул его за собой.

Потом он лежал внизу между гусеницами, а Чижов полез обратно наверх, в танк, и что-то долго делал там внутри, и снова вылез вниз и сказал: «Всё!» И когда он сказал «всё!», Лопатин понял, что Чижов хотел проверить, живы ли другие и можно ли их вытащить оттуда.

Потом они с Чижовым вылезли из-под танка, и Лопатин приподнялся, ему хотелось разогнуться, понять, что случилось, но рядом по танку ударила пулеметная очередь, и Чижов, дернув его вниз, упал сам и пополз к кювету, приволакивая за собой автомат,— оказывается, он взял оттуда, из танка, автомат.

Когда они сползли с дороги в кювет, то увидели, что передний и задний танки горят, освещая дорогу, и откуда-то слева, совсем близко, бьют по танкам невидимые немецкие пушки и пулеметы. Два танка, развернув орудия, стреляли с дороги в сторону немцев, еще один бил куда-то в другую сторону, а танк, из

которого они вылезли, чернел неподвижно и не горел, хотя Лопатин помнил, как там внутри дохнуло гарью. Еще один танк пытался своротить липу, чтобы вырваться с дороги на поле, но своротить ее не мог, потому что липа была вековая, а сзади стояли такие же липы, и некуда было попятиться. Потом еще одно немецкое орудие начало бить справа, с другой стороны дороги, и этот танк тоже загорелся. А вслед за ним вспыхнули и те два, которые до этого стреляли, и на дороге стало совсем светло. Видно было, как двое метнулись из танков на этом свету и упали, срезанные пулеметом, и еще один вывалился через край башни и так и висел там, руками вниз, сначала видный на фоне огня, а потом слившись с ним. Потом еще раз ударило в тот танк, из которого вылезли Лопатин с Чижовым, ударило так, что над их головами полетела сорванная башня, и, словно только этого и ждавшее, из танка столбом вырвалось пламя.

Чижов, потянув Лопатина за руку, пополз по кювету от танков, все дальше и дальше; раньше лежал на одном месте, словно сторожил свой танк, пока он не загорелся, а теперь пополз.

Немецкие орудия все еще били в уже горевшие танки, а они вдвоем ползли по кювету, наверное, метров триста и выползли из него там, где кончились липы и началось поле с мелким кустарником вдоль дороги. Когда они выползли в этот кустарник, Чижов что-то сказал, но Лопатин не расслышал и мотнул головой, что не слышит, и Чижов тоже мотнул головой, но через минуту, когда Лопатин оглянулся, его уже не было. Лопатин окликнул его, страшась остаться один, но не услышал собственного голоса.

Потом он почувствовал, что лежит на колком жнивье голым телом, потому что задрались и гимнастерка и рубаха. Заправляя рубаху, он нащупал пистолет, про который забыл. Еще не веря, что остался один, он ждал, что сейчас Чижов или кто-то другой, живой, окажется рядом, но никого не было, и немцы больше не стреляли, и ничего не было слышно, только на дороге догорали танки, семь танков, в одном из которых он ехал.

Перевернувшись, он стал ощупывать себя, удивляясь, что не ранен. Гимнастерка — и левое плечо, и рукав — были пропитаны чужой кровью, и он стер пальцами что-то скользкое — наверное, мозг — и, расстегнув мокрый карман, вытащил оттуда набухшее кровью удостоверение «Красной звезды» и переложил его в правый, сухой. В этом правом кармане, в крепкой жестяной немецкой коробочке, лежали запасные очки. Он на ощупь открыл коробочку и проверил: того, чего он больше всего боялся, не случилось — очки были целы. Надев очки и вглядываясь в темноту,

он подумал, что немцы могут прийти туда, где догорают наши танки, и решил отползти еще подальше. Приподнявшись, он пополз в сторону от дороги, по полю. Так он полз, наверное, минут десять, пока не увидел, как впереди что-то зачернело. Ему сначала показалось, что это лежит человек, но черневшее впереди не шевелилось, и когда он дополз, то увидел, что это остатки разметанного взрывом стожка.

Он обессиленно привалился к полузакиданному землей стожку, глядя на все еще догоравший на дороге последний язычок пламени и пытаясь понять, что же произошло.

Ведь только что перед тем, как все случилось, командир батальона вместе с разведкой прошел по этой же дороге и радировал, чтоб следовали за ним, он выходит на рандеву. Это было последнее, что услышал по радио рыжий Вахтеров и о чем сказал Лопатину. Почему немцы пропустили тех, кто шел первыми, и не пропустили шедших вторыми? Может, сначала не успели, а потом успели? И где все другие, ходившие в рейд? Вышли к своим по другим дорогам? Если бы не вышли, наверное, шел бы близкий бой, а его не слышно. Только артиллерия бьет, но далеко и в стороне. Если наши наступают, наверно, к утру они дойдут и сюда, и лучше всего лежать и ждать здесь, все равно ничего другого не придумаешь.

На душе было муторно: масштабы всего, чему он полтора месяца подряд был свидетелем, не сходились с бессилием и жалкостью собственной сегодняшней судьбы.

Были, шли, перекрикивали шум, стоявший в танке, шутили, считали, что все позади, и вдруг все сгорели! Все семь танков один за другим сгорели, ничего не успев сделать. И сгорели все, кто был в них. Может быть, не все. Может быть, кто-то еще вот так же, как он, лежит где-то и ждет утра, распластанный на поле.

Он знал, понимал, что так бывает, слышал от танкистов, видел сгоревшие танки и тогда, когда прорывались к Минску, и в эти дни — но это горел кто-то, это было про других, а не про него.

И сквозь тревогу за себя — что же будет, когда рассветет,— ему стало чего-то неопределенно стыдно в корреспонденциях об этом наступлении, посланных им за последние шесть недель в Москву. Все в них было правильно, а чего-то не хватало. Нет, не на всю ту глубину войны они были написаны, которую он только что испытал на своей шкуре.

А в поле было безветренно и тихо, так, словно война вокруг этого поля заснула до утра. Но с рассветом она проснется — и неизвестно, кого увидишь отсюда ты, и кто увидит тебя.

Он попробовал трезво представить собственное положение. Вечером они сначала шли к северу, а потом повернули строго на восток. И рандеву, о котором говорилось, должно было состояться где-то недалеко, за шесть или семь километров отсюда. Так, во всяком случае, он понял, когда рыжий Вахтеров радостно кричал ему про это на ухо.

Сначала они отползли вдвоем с Чижовым подальше от дороги, влево, а потом, оставшись один, он старался двигаться в том же направлении, куда они шли на танках.

Небо затянуло тучами, и даже эти проклятые липы уже не белели там, на дороге. Но он помнил, где догорал погасший теперь огонек на дороге. И наверное, имело смысл и дальше двигаться так же, как он полз сюда, ни в коем случае не забирая вправо, чтобы не попасть обратно на дорогу; мало ли что там, на дороге, может оказаться к рассвету!

Еще днем он заметил и сейчас вспомнил, что тут в стороны от дорог уходят поперечные полоски — не то мелких посадок, как на юге под Одессой, не то заросших кустарником межей. И пока небо затянуто тучами и ничего не видно за десять шагов, лучше всего подняться и идти вперед вдоль дороги до каких-нибудь кустов или полосы посадок, чтобы не оказаться утром на голом месте.

Он вспомнил, как в начале войны под Минском лежал в солнечное, ясное, без одного облачка утро посреди голой поляны и над ней один за другим, строча из пулеметов, проскакивали «мессершмитты». «Лежал, как червяк!» — с ожесточением вспомнил он, и в этом вдруг вспыхнувшем ожесточении была решимость выбраться. Глупо было бы, выбравшись тогда, не выбраться сейчас! После внезапной гибели танков он испытал непривычную для себя потерю воли, но сейчас эта потерянность прошла. Он поднялся с земли — сначала на колени, потом встал, ощупал себя, переступил с ноги на ногу, перенося то на одну, то на другую всю тяжесть тела, и почувствовал, что может идти.

15

Пройдя несколько сот шагов, Лопатин сел на землю передохнуть и, услышав, как в темноте, недалеко от него, идет по полю человек, сделал то, чему его еще в сорок первом научила война: из сидячего положения перевалился на бок, дернул ушко кобуры, вытащил пистолет и, перенеся тяжесть тела на левый, занывший от боли локоть, стал всматриваться в темноту, готовый выстрелить.

Плохо было только, что он не дослал патрон в ствол заранее, и теперь, чтобы взвести курок, пришлось оттянуть назад затвор, громко щелкнув им в стоявшей над полем ночной тишине.

Но как раз это и уберегло от несчастной случайности; впереди шевельнулось что-то невидимое, и не сверху, а снизу, с земли,— значит, тот человек, услышав, как кляцнул металл, тоже лег — донесся хриплый голос:

— Не стреляй, свой!

— Кто? — негромко спросил Лопатин.

— Я Чижов,— ответил голос. — А ты?

— Я с вами был,— сказал Лопатин и услышал, как человек поднялся с земли и пошел; но только в трех шагах от себя ясно увидел маленькую фигуру Чижова, странно широкую в плечах от висевшего на шее автомата.

— Куда ж вы ушли? — Чижов сел рядом с ним, не снимая автомата. — Я же вам сказал — обождите.

— Я не понял. Плохо слышал.

— А теперь?

— Теперь слышу.

— Я тоже,— сказал Чижов. — Не контузило. Только с ноги, когда второй раз вылезал, кожу содрал, не пойму об чего. Печет. Услышал, как вы в ТТ патрон дослали, сразу понял — свой. Когда парабеллум — другой щелчок. Да и неоткуда тут в поле немцам быть. Они свое дело сделали и смотались. Чего вы дальше решили, товарищ майор?

— Думаю, немного отдохнем и пойдем вдоль дороги. Или до кустарника, или до посадок, чтобы там залечь и, когда рассветет, оглядеться. — Начав полушепотом, Лопатин, преодолевая все еще не прошедший страх, кончил громко, почти не понижая голоса.

— А еще лучше — хоть какую воду найти, пить охота,— сказал Чижов. — Кушать не хотите? У меня сухари есть. Я всегда в карманах сухари имею — мало чего!

— Давайте лучше пойдем,— сказал Лопатин. — Дойдем до места, пожуем, а вдруг и вода будет.

Они встали и пошли и, пока шли, не сказали больше друг другу ни слова. Шли и молчали.

Сначала добрались до полоски кустарника, но кустарник был мелкий, и они пошли дальше. Никакой воды так и не встретили, но еще через полчаса вышли к маленькой густой рощице. Сначала не поняли, что это за роща. Шедший впереди Чижов крякнул от боли, ударившись обо что-то, и они оба разом прилегли. И когда прилегли и пощупали вокруг себя, поняли, что

это одно из тех, с купами деревьев над могилами, маленьких хуторских кладбищ, каких много в этих местах, на границе Белоруссии и Литвы.

— Вы тут лежите, товарищ майор,— шепотом в ухо Лопатина сказал Чижов,— а я кругом обползу, нет ли кого. Место хорошее не для одних нас. Автомат мой пока возьмите, а пистолет дайте, я с ним сползаю.

Лопатин взял автомат, а Чижов, сунув за пазуху пистолет, бесшумно пополз между могилами. Молоденький, маленький и казавшийся тихим, на самом деле он, наверное, был повелительным человеком.

— Нет никого, одни мы с вами,— сказал он, вернувшись. — На целую версту одни. Как теперь решаете? Здесь ждать будем? Укрытие хорошее.

— Хорошее,— сказал Лопатин, без колебаний присоединяясь к уже принятому Чижовым решению.

— Кушать не захотели?

— Нет.

— И я нет.

— Интересно бы знать, где сейчас наши.

— Кабы знать,— сказал Чижов. — Можно бы рискнуть пойти. Слыхали, как наша артиллерия била? И танки тоже.

— Слыхал. Где-то в стороне, левей нас, но далеко, по-моему.

— Не так далеко. Считайте, ветер не оттуда, а туда, потому на слух и кажется, что далеко. И не только левей бьет, а уже и сзади нас, строго на запад. Оттого и немцы сняли засаду. Сделали свое дело и смотались,— с горькой простотой сказал Чижов.

— Хорошо, что мы встретились, одному страшней,— сказал Лопатин.

— Конечно,— согласился Чижов. — Это только говорится, что и один в поле воин, а одному на войне — как? Я думал, вы услышали, как я сказал, чтоб лежали, пока не вернусь.

— А чего вы задержались?

— Хотел посмотреть, может, кто еще живой в том, в другом, кювете лежит. И туда и сюда прополз, на поле даже выполз — никого! Бывает же, что и танк сгорит, а все выскочить успеют, а бывает, что даже и не сгорел, а внутри все мертвые. На Курской дуге мы уже из боя обратно выходили — смотрим, почти на исходной с нашей же роты танк в кювет завалился и стоит, верхний люк открытый — и никого нет. Мы даже остановились, думаем, что такое,— что же они, в бой не пошли? Заглянули — а там все убитые. Два снаряда сразу попало. Один в лобовую броню — водителя убил, а другая болванка

в башню — броню пробила и внутри, как волчок, всех поубивала.

— А кто же верхний люк открыл?

— А кто его знает? У человека перед смертью такая сила бывает — толкнул, открыл, а потом упал внутрь и помер. Я один раз сам без сознания задним ходом машину выводил. Мне потом командир машины рассказывал: кричит мне: «Мишка, куда ж ты, сейчас под откос пойдем!» — а я без сознания. По-всякому людей бьет. У меня первого командира внутри башни убило, куском своей же брони. У танкистов одна машина на всех, все одинаковое, только смерть разная. Думал, в том кювете все же кого-нибудь живого найду. Не терплю, когда своих бросают. Уже после Курской дуги наступали, у нас машина сгорела, а мы сами живые вышли, но за кем к ночи поле боя осталось — не разберешь; всего там набито — и нашего, и ихнего. А утром дождь прошел, глядим — все же поле боя за нами; потихоньку идет вперед через него наша пехота. И мы за ней — поглядеть, как чего вчера было. В горячке не поймешь, а потом интересно. И вдруг слышим — кто-то стонет. Под копешкой механик-водитель лежит, ему немецкий танк гусеницей ногу осушил, раздавил до колена. Из своего подбитого танка вылез, а под немецкий попал — так он нам рассказал. На поле боя всегда что-нибудь валяется: одеяло валялось, мы его в одеяло завернули, он ослабший и дрожит. Выносим его — и вдруг он как закричит: увидел — два танкиста идут. «Я, — кричит им, — просил вас не бросать меня! А вы меня бросили! Сволочи вы!» А они не признаются, что он ихний. Испугались, что мы их постреляем, и говорят: «Он обознался, он не наш». — «Как так — не ваш?»

Когда вернулись, доложили про них замполиту бригады. Не знаю, что с ними сделали, может быть, и ничего. Потому что сразу опять в бой пошли. А по делу — надо было нам тогда их на месте пострелять, заслужили! А под Севском меня самого пехота гасила, по земле катала, шинелями накрывала. Мы как факелы из танка выскочили. Ожоги были сильные, но живые остались. Значит, спасибо пехоте!

— А с вашим командиром танка вы давно вместе?

— С Вахтеровым? Давно, с Витебска. А знакомы еще раньше — в Нижнем Тагиле весной машины получали и эшелоном ехали. А потому уже перед боями ему младшего лейтенанта дали — и командиром танка ко мне. Он и стрелял хорошо, и как командир был грамотный, с десятилеткой. Прямо с нее — на войну. Комбриг, когда с нами ходил в танке, ему говорил: «Ты, Вахтеров, далеко пойдешь, войну комбатом кончишь». А он смеялся. У него только усы, как у Чапая, а так ему двадцати одного

еще не исполнилось. Двадцать было,— сказал Чижов и вдруг всхлипнул.

— Не обижайтесь, что спросил.

— А чего? — снова всхлипнул Чижов. — Молчать еще хуже. Чего теперь делать, если не говорить. Пока не рассветет, ничего не узнаем.

— А башнер с вами давно?

— Башнер со вчера. У нас до него башнер веселый был, Задорожный Семен Семенович, артист из филармонии. И песни пел, и фокусы делал — и с картами, и с чем хочешь. Немолодой уже, лет под тридцать. И вот его судьба: вчера утром на ходу люк открыл, а не закрепил. Нагнулся папироску взять, а другая рука — на башне. А я как раз в воронку уперся, и его крышкой люка — по руке. Бинтуем его, а он скрипит зубами и смеется, говорит: «Ничего, я сам виноват!» Сам или не сам, а забрали в санчасть. А вместо него нового — с кем теперь простились. Я когда внутрь заглянул, пощупал — его в куски порвало.

При этих словах Лопатин почувствовал, как лежавший рядом с ним Чижов содрогнулся, голос не дрогнул, а телом содрогнулся.

— Фамилия — Попов. Что первую неделю воюет — сказал про себя, а как звать — не успел. Узнали от него только, что жена у него Настенька. У нас остановка была до того, как вас взяли; стоим, а он про нее вспоминает: Настенька да Настенька! Все-таки человек предчувствует свою смерть.

— Почему предчувствует? — спросил Лопатин.

— А с чего б он взялся вспоминать, если б не предчувствовал?

— А Вахтеров разве предчувствовал?

— Вахтеров никогда не предчувствовал. Он, напротив, Попову объяснял, видя, как тот предчувствует: «Мы-то воевали, говорит,— значит, и вы повоюете. Мы-то живы! Война-то, говорит, не без жертв, не кто-нибудь-то должен из нас остаться!» Так он его утешал. А вы тоже, как Вахтеров, на войне с сорок первого?

— С сорок первого.

— А я с сорок второго. Курсы трактористов уже в войну заканчивал, мне отсрочку дали, броню. А то всех позабирали в первые дни; на трактор сесть некому. У меня язва открылась, доктор на три дня из совхоза к матери в деревню отпустил. Пришел за семьдесят верст к матери, а там повестка ждет. И уже брат убит. Мне говорят: «Покажи в военкомате свою броню»,— а мне неловко. Пока на механика-водителя учили, только в августе сорок второго под Сталинград попал. Называлась у нас —

четвертая танковая армия, а какая она была танковая, одно название...

— А сами вы откуда?

— Пензенский, пензяк.

— Ну, ваши места хоть, слава богу, война не тронула.

— Да, не тронула... — В том, как Чижов это сказал, была укоризна; слова «война не тронула» уже давно не годились. Нигде не годились. Дома̀ не тронула. А в домах-то пусто...

— Сколько вы машин с сорок второго года сменили? — спросил Лопатин.

— Эта шестая,— сказал Чижов. — Два раза горели, три раза меняли машины: подбитую — в ремонт, а нам — новую.

— А ваш командир бригады,— спросил Лопатин то, что уже давно хотел спросить,— на вашем танке давно ходил?

— С начала операции, с Витебска. Он нами доволен был.

— А почему же на другой танк пересел?

— А его механик-водитель разыскал, с которым он еще в Литве, под Шауляем, воевал. Уверен был про него, что тот убитый, а тот живой, прочел в указе фамилию Дудко — и разыскал. Из госпиталя к нему сбежал, в халате, девочки-регулировщицы до нашего хозяйства на попутную посадили. Командир бригады его увидал и говорит: «Раз такая судьба — вместе начинали, вместе и кончим». Как только новые танки получили, взял его к себе механиком.

— А почему же Вахтерова вашего к себе не взял?

— Мы думали между собой. Наверно, наш экипаж нарушать не хотел — он не любит экипажи нарушать, говорит, их и без того война нарушает. А что вместо меня того механика себе взял — я не обижаюсь. С кем войну начинал — разве его забудешь?

— Это верно,— согласился Лопатин, подумав о людях, бывших, может, и не храбрей, и не лучше других, но неустранимых из памяти потому, что с ними начинал войну.

— Жалко, опять машина сгорела,— сказал Чижов. — Каждый раз жалко. Тем более «тридцатьчетверку». У ней и скорость, и проходимость хорошая, и маневренность, можно сказать, замечательная.

— Башня только часто слетает. — Лопатин вспомнил, сколько раз он видел, как сброшенная с танка башня лежит на земле, возле погибшей «тридцатьчетверки».

— Бывает, слетает,— сказал Чижов, с неохотой подтверждая эту очевидность. — Как у нас сегодня. Она ж не крепится, на своем весе держится. Слетает, если взрыв внутри, или если удар снизу вверх идет, под корень, или тяжелая бомба рядом упала. —

И, словно оправдывая свою любимую «тридцатьчетверку», добавил: — А у немца — замечали? У них у всех, даже у «тигров», подъемный сектор у орудия слабый. Как подобьешь, у него сразу пушка — раз! — и вниз! Пушка у них очень хорошая, но длинная, а сектор, который ее поднимает, слабоватый. Видали? Стоят, и пушки вниз!

— Видал,— сказал Лопатин. Он и в самом деле много раз видел это, но объяснений не искал. От боли за свое собственное больше обращал внимание на башни, слетавшие с «тридцатьчетверок».

Лежа рядом с ним, Чижов стал вспоминать, как танкисты хоронят своих сгоревших, складывая все, что осталось, иногда в шинель, иногда в одеяло, а чаще всего — в плащ-палатку...

Когда разговор иссякал и наступало молчание, время начинало тянуться томительно долго, бессмысленно опрокидываясь то в прошлое, то в мысли о женщине, которая написала, что приедет к тебе, как только сможет,— но теперь неизвестно, сможешь ли приехать к ней ты,— то в поздние раскаяния в том, что, как мальчишка, напросился в этот рейд, о котором, останься хоть трижды жив, все равно теперь не напишешь в газете все, что увидел и чему ужаснулся.

Было стыдно за эти свои раскаянья перед лежавшим рядом Чижовым, который наверняка не думал об этом, потому что ни у кого и ни на что не напрашивался, а просто — уже не в первый раз за войну — сначала делал то, что ему приказали, а потом то, что ему уже никто не мог приказать, то, что считал собственным долгом перед товарищами. Но как ни стыдно, а все равно со злостью на себя вспоминал о позавчерашнем генеральском «не советую», которого мог бы послушаться, и тогда ничего бы этого не было...

— А еще так бывает,— вдруг после долгого молчания сказал Чижов,— в сгоревший танк заглянешь — механик как сидел, так и сидит. Почти полностью, не разваливается. Почему — не знаю. А дотронешься — и рассыпался! Я два раза так хоронил. У вас закурить нет, товарищ майор?

Лопатин полез в левый карман брюк, где, как ему помнилось, лежала пачка, и в ней оставалось несколько папирос. Он нащупал и достал ее, смятую и мокрую, потому что карман, как и весь левый бок брюк и гимнастерки, был пропитан чужой кровью.

Чижов, сняв шлем, стал пальцами перебирать в нем эти слипшиеся в комок папиросы.

— Все мокрые,— вздохнул он. — Не закурится. — И, вытряхнув шлем, надел на голову.

Так и не заснув, они пролежали до рассвета. Видно было еще плохо, но стало понятно, что они за ночь довольно далеко ушли вверх по отлого подымавшемуся полю, а то место, где с ними все вчера случилось, наверно, когда-то давно было гатью через старое болото. Липы темнели далеко внизу и стояли так густо, что сожженные между ними танки были почти не видны в утреннем тумане. А еще дальше, по ту сторону низины, поле тоже отлого поднималось вверх.

В низине, совсем близко от дороги, стоял не замеченный ими ночью «фердинанд». Он стоял мертвый. Машина, как человек, тоже бывает живой и мертвой, и иногда это сразу видно еще издали.

— Хоть этот разбили,— безрадостно сказал Чижов. — Он с другой стороны по нас бил. С той стороны — засада, а он с этой подошел и добавил. С пятисот метров — конечно, зажег! А куда нам было деться? Нас как к стенке поставили. Как ни вертись — хоть лицом, хоть затылком,— все равно добьют!

Когда еще больше рассвело, стали хорошо видны и наши горелые танки, зажатые между липами.

Еще подальше, по другую сторону дороги, виднелся побитый бомбежкой хутор — кирпичные дома и сараи с обвалившимися черепичными кровлями. И кругом ни одной человеческой души.

— Вот оттуда он нас вчера и встретил,— сказал Чижов. — Пушки закатил внутрь и бил оттуда батареей. Пушки с той стороны, а самоходка с этой. Самоходке все же врезали, а им ничего не сделалось. Сожгли нас и ушли.

Хуторское кладбище, где они лежали с Чижовым, было не на самом взгорке, а чуть пониже, и того, что находилось прямо за ним, не было видно, но Лопатину казалось, что раз они ночью шли сюда, на восток, то и свои должны быть где-то там, за этим взгорком.

— Пойдем дальше,— тяготясь неопределенностью, сказал он.

— Как прикажете, товарищ майор, а лучше еще немного обождем. Мне ночью слышалось, вроде сзади нас и артиллерия била, и танки шли.

Он замолчал и долго прислушивался.

— И сейчас там,— махнул он рукой назад,— выстрелы слыхать, кто-то ведет беспокоящий огонь — или мы, или немцы.

Лопатин прислушался, но ничего не услышал.

— Сейчас уже нет,— сказал Чижов,— а то было слышно. — И повторил: — Давайте обождем. А если без перемен, то пойдем, как вы сказали. Так и так нам до воды надо дойти, терпеть нет сил. Может, сухарь пожуете?

— Давайте.

Чижов вытащил из кармана два сухаря, один дал Лопатину, а другой взял себе, но свой переломил пополам и половину сунул обратно в карман.

Только теперь, жуя сухарь и смачивая его во рту слюной, чтобы проглотить на сухое горло, Лопатин как следует разглядел своего спутника. Чижов был маленького роста, с крупными веснушками, несмотря на копоть, видными на его лице. Брови высоко поднятые, удивленные, а глаза задумчивые, недетские. Он грыз сухарь ровными белыми зубами, блестевшими на грязном лице, но двух зубов сбоку не хватало, и над ними губу пересекал шрам — след ранения. При малом росте и худобе грудь и плечи у него были широкие. Он был в шлеме, но без комбинезона, а гимнастерка, как у многих танкистов, была заправлена внутрь, в брюки, чтобы, если выскакивать из танка, не зацепиться. На левой ноге брюки были разорваны от пояса до колена и поверх прорехи замотаны окровавленным, запекшимся, грязным бинтом.

— До мяса содрал,— заметив взгляд Лопатина, сказал Чижов. — Пальцем тронул, а там мясо.

— Может, заново перевязать? — спросил Лопатин. — У меня пакет.

— Не надо, товарищ майор! Там и кожа, и подштанники — все вместе. Дойдем — фельдшер отдерет. — И вдруг спросил: — Вы, я по нашивкам вижу, тоже несколько раз раненый были, никогда столбняку не боялись?

— Как-то не думал о нем.

— А я думал,— сказал Чижов. — Вот уколы делают против него; говорят, столбняк — от земли, но редко бывает, один на тысячу. Что это за уколы при такой войне? Если б не от столбняку, а от смерти уколы делали — вот бы все кололись! — И он рассмеялся своей мысли — до того невеселой, что от нее, казалось бы, не смейся, а плачь! Рассмеялся, но вдруг что-то переменилось в его лице, и он даже ткнул Лопатина пальцем в плечо: — Повернитесь, товарищ майор.

Они сидели соответственно тому, как представляли себе будущее. Лопатин — лицом туда, куда они шли и куда он собирался идти дальше, а Чижов — лицом назад, туда, где ему ночью слышалась стрельба.

— Видите?

Лопатин повернулся и, следя за его рукой, увидел на горизонте три пятнышка. Сначала, чуть-чуть увеличиваясь, они двигались прямо, потом два крайних пятнышка, удлинившись, разошлись в стороны, а среднее продолжало двигаться прямо. Потом

два крайних опять сузились и пошли не в стороны, а прямо — значит, просто перестроились на другой интервал, пошире.

Порыв ветра донес далекий, ни на что другое не похожий шум танковых моторов.

— Похоже, разведка,— сказал Чижов. — Может, наша, взводом идут. Но немцы тоже так ходят.

Будь у Лопатина с собой тот трофейный «Цейс», который, по случаю их третьей встречи на войне, неделю назад подарил ему командующий армией Ефимов, уже можно было бы разглядеть, что это за танки. Но бинокля с собой не было, он остался у Василия Ивановича, потому что командир корпуса запретил Лопатину ехать в рейд на редакционном «виллисе», приказал пока поставить машину на ремонт в корпусных тылах.

Продолжая смотреть на приближающиеся пятнышки танков, Лопатин знал, что все равно первым — немцы это или наши — поймет не он, а Чижов, который уже было приподнялся и хотел что-то сказать, но промолчал. Должно быть, проверял себя. А еще через минуту, повернув свое детское лицо к Лопатину, сказал уверенно:

— Наши, разведка, Т-34. И десантники на броне. Отползем немного отсюда, а то еще подумают — вдруг тут на кладбище засада, дадут по нему на всякий случай — и прощай!

Пока они отползали, танки все увеличивались. Средний уже приближался к дороге, где стояли наши горелые машины. Другой забрал вправо, обходя сзади разбитый хутор, из которого вчера стреляли немцы; а третий, подойдя метров на восемьсот, ударил по мертвой немецкой самоходке.

— Страхуется все же,— сказал Чижов, когда снаряд, не попавший в самоходку, с визгом прошел у них над головами, ударился далеко сзади в землю, вздыбил ее, срикошетил и снова ударился. Танк выстрелил еще раз, и самоходка задымила. Сначала потянулся дым, а за ним вспыхнуло пламя, вырвавшееся назад через круглый задний люк «фердинанда».

— Никого в ней нет,— сказал Чижов,— или сразу убитые были, или ушли ночью. Что ж бы, они сидели, не показывались?

Танк подошел ближе к самоходке, но больше не стрелял. Было видно, как с него соскочили автоматчики и пошли от продолжавшего гореть «фердинанда» к дороге. Почти одновременно соскочили и пошли к дороге автоматчики и с другого танка.

— Ну что? — сказал Чижов, глядя на «тридцатьчетверку», стоявшую возле «фердинанда». — Теперь для них обстановка ясная. Люк открыли, смотрят. Теперь нас за немцев навряд ли даже вгорячах примут. Но вы все же задержитесь, товарищ май-

ор, пока не вставайте, я сперва один пойду, мало чего! Танкисты — они чумовые.

Лопатин ничего не ответил, зная, что, прав или не прав Чижов, все равно нельзя, чтоб он шел, а ты лежал и ждал, что будет.

Чижов натянул шлем и, повесив на шею автомат, встал и пошел. Таким его и запомнил Лопатин, поднявшегося в одиночку навстречу опасности, маленького, прихрамывающего, в большом, не по голове, танкистском шлеме. Запомнил еще лежа на земле. А через секунду поднялся и пошел вслед за ним.

16

Вечером того же дня Лопатин сидел в штабе армии у Ефимова, в доме с исправно работавшим от движка электричеством, пил из стакана в подстаканнике крепкий, как деготь, чай и слушал второй за сутки разнос.

Этому разносу предшествовала такая быстрая смена событий, что Лопатин все еще не успел очухаться. Оказывается, наши танки и мотопехота за вечер и ночь прорвали на флангах немецкую оборону и вышли на новый рубеж; Чижов был прав, его не обманули ни слух, ни сметка. Командир разведроты, оказавшийся в одном из танков, к которым они с Чижовым вышли навстречу, сразу же радировал наверх, по команде, о семи сгоревших машинах, людских потерях и найденном корреспонденте «Красной звезды».

Лопатин простился с Чижовым прямо на дороге. Подавленный и примолкший, Чижов сидел на корточках около так и не найденного им ночью, слишком далеко отползшего от машин механика-водителя с головного, первым загоревшегося танка. Водитель, обожженный, с оторванной ступней, был еще жив и, не приходя в сознание, слабо стонал, пока потный санинструктор наново жгутом зажимал ему ногу, кое-как поясным ремнем перетянутую до этого им самим.

Штаб танкового корпуса, куда через час доставили Лопатина, оказался неподалеку, в жидкой рощице, и собирался передвигаться; кругом ничего не рыли.

— Огреб из-за вас выговор от командарма,— сердито сказал командир корпуса, стоя у своего танка и разглядывая положенную на лобовую броню карту. — Знал бы, что вы такая неприкосновенная личность, на выстрел бы не подпустил! А Дудко тоже хорош! Сам вышел и рад! Докладывает, что в общем и целом завершил. А в частности, про тех, кого захлопнуло, про вас

в том числе, только к утру донес, боялся потери преувеличить, надеялся — еще кто-то выскочит! Приказано доставить вас в штаб армии, так и не понял, куда вас требуют — не то во фронт, не то в Москву. Напросились на мою голову! Как себя чувствуете? Мне донесли, что здоровы.

— Сначала все болело. И вообще обалдел. А сейчас — нормально.

— Это бывает. С переляку и сознание теряют. Считайте, что вам повезло.

— Так и считаю,— сказал Лопатин. И добавил несколько добрых слов о Чижове.

— Запиши фамилию,— через плечо приказал командир корпуса адъютанту. — Инициалы знаете?

— Имя — Михаил. Отчества не знаю,— сказал Лопатин.

— Ладно, найдем. Дадим «За отвагу» своей властью. А вас, не думайте, не представлю.

— А я и не думаю,— сказал Лопатин.

— А зачем тогда лезли, куда вам не положено?

— Ваша воля была не разрешить, товарищ генерал,— сказал Лопатин, уже давно в таких случаях взявший за правило не давать наступать себе на ногу. — А что мне положено или не положено как корреспонденту «Красной звезды», я знаю сам.

— Эх, поставил бы я вас сейчас по стойке «смирно».

— Стать? — спросил Лопатин.

— Не дождешься, не поставлю, а то еще напишешь потом!

— В корреспонденции не напишу. Если только в дневник, на память о встрече с вами.

— А дневников в действующей армии вести не положено. Это вам известно? — усмехнулся командир корпуса.

— Это вам, товарищ генерал, не положено, а мне положено. Какой же я без этого действующий? Без этого я — бездействующий.

— Хрен его знает, как с вашим братом разговаривать. Благодарность вам, что ли, объявлять, что целы остались?

— А много еще потерь, кроме тех, что у нас? — спросил Лопатин.

— Еще были,— хмуро сказал командир корпуса. — За весь рейд до этого три машины потеряли, а при выходе — девять, не считая бронетранспортеров. Как на разведку плюнем, обнаглеем, так немец — хрясь! — и мордой об стол! Учит нас, учит — никак не научит. Ну? — повернулся он к подошедшему адъютанту, которого отсылал с каким-то поручением.

— Готово,— сказал адъютант.

— Плащ-палатку достал?

— Лежит в машине.

— В плащ-палатку вас обрядим на дорогу,— окинув взглядом Лопатина, сказал командир корпуса,— чтобы там, в штабе армии, кого-нибудь не напугали. Мы-то тут люди привычные. «Виллис» ваш искать пока некогда, но к вечеру найдем. А вас на своем доставим. И в медсанбат завезем. Пусть осмотрят. А перед дорогой позавтракаем. Знаю, что голодны, но сам со вчерашнего утра не ел. На рубеж вышли, приказ выполнили, но моменты были хреновые, вроде вашего.

Заехав по дороге в медсанбат, где ему смазали йодом синяки и ссадины на спине, Лопатин через два с половиной часа был уже в штабе армии. Ефимов отсутствовал, адъютанта тоже не было — уехал с ним в войска, но сидевший у телефона дежурный офицер сказал, что командующий приказал Лопатину по прибытии безотлучно находиться здесь.

Услышав слово «здесь», Лопатин огляделся и присел на стул, но дежурный вызвал знакомого Лопатину еще по Кавказу ефимовского ординарца, и тот повел его на задний двор хуторского дома, где жил командующий, и пристроил на свою койку.

— Может, сводить вас в санчасть, товарищ майор, пока командующего нет? А то, как вернется, сразу вызовет.

— Неохота, я уже был в санбате.

— Тогда — в баню. Сегодня баню топят.

— Хорошо бы,— сказал Лопатин, но встать с койки оказался уже не в силах, поднял голову с сенника, уронил ее обратно и заснул непробудным сном.

К тому времени, когда Ефимов вечером вернулся из войск, Лопатин успел и поспать, и поесть, и вымыться, и переодеться.

Командир танкового корпуса, спасибо ему, сдержал слово — ближе к вечеру прислал редакционный «виллис», и Василий Иванович одолжил Лопатину не только чистую рубаху и подштанники, но и свои запасные брюки и гимнастерку. Нашелся и подворотничок. Правда, у Василия Ивановича воротник был номера на два больше, и гимнастерка болталась на шее у Лопатина, как хомут. Сначала думали достать новые полевые погоны, но не достали, пришлось нацепить старые. А орденские ленточки были так неотмываемо измазаны кровью, что прикреплять их к другой гимнастерке нечего было и думать.

Когда Лопатин переоделся, Василий Иванович забрал грязное белье и обмундирование и сказал, что сам сходит и простирнет,— тут, он видел, за леском речка есть.

— Спасибо!

— А чего ж,— сказал Василий Иванович,— если к командующему позовут — не с речки ж вас звать? Когда отсюда поедем?

— Думаю, раньше утра не поедем,— сказал Лопатин.

О чем пойдет разговор с Ефимовым, он плохо себе представлял, но, куда б ни спешить отсюда — в штаб фронта или в Москву,— все равно умней выезжать на рассвете, чем глядя на ночь.

Василий Иванович отправился стирать, а Ефимов все не возвращался. А когда наконец вернулся, к нему сразу же надолго зашел начальник штаба.

Лопатина позвали через час, когда начальник штаба ушел. Обычно в это время, когда оперсводка бывала уже отправлена, а вечернее итоговое донесение еще готовилось, Ефимов, как он любил выражаться, устраивал себе антракт: полчаса-час отдыхал и думал за крепким чаем один или звал к себе и поил чаем кого-нибудь, кого хотел видеть; в былые времена, на Северном Кавказе, несколько раз звал и Лопатина.

Проборку Ефимов начал не сразу. Сначала, поднявшись из-за стола, поздоровался за руку, пригласил сесть и, позвав ординарца, велел принести два стакана чая. Пока ординарец ходил за чаем, надел пенсне и, иронически обозрев Лопатина, спросил:

— Помнится, видел на вас ордена и медали, к одному сам представлял. Что, лишили вас их, что ли? Или считаете излишним носить? И без того известны?

— Ах вон оно что,— в ответ на объяснения Лопатина про измазанные кровью ленточки сказал Ефимов своим отрывистым, немножко гнусавым голосом, чаще, чем обычно, подергивая контуженной головой. — А я было подумал — лишили. Хорошо еще, что головы вас не лишили. А вполне могли лишить!

С этого и начался разнос. Как только ординарец принес чай, Ефимов, буркнув: «Пейте!» — и сам отхлебнув глоток, открыл лежавшую под рукой папку, вынул оттуда лист бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой и ткнул через стол Лопатину:

— Читайте!

После обычных условных телеграфных пометок — «Енисей», «Луч», «Алмаз» — в телеграмме стояло: «Сообщите корреспонденту «Красной звезды» майору Лопатину: прошу срочно вылететь Москву машину водителем оставьте штабе фронта где вас временно заменит Гурский». Дальше стояла подпись — генерал-майор; фамилии Лопатин с маху не прочел — какая еще там могла стоять фамилия, кроме той, что всегда? Но чем-то удивив-

шее его начало телеграммы заставило перечесть ее. Разные телеграммы получал он за три года войны от своего редактора. Чаще всего они начинались словом «немедленно»: немедленно высылайте, немедленно выезжайте, немедленно возвращайтесь. Раза три начинались словами «выношу благодарность»; раз десять словом «требую». Но телеграммы, начинавшейся со слова «прошу», Лопатин не помнил. Это и заставило его перечесть все подряд до незнакомой подписи: «Никольский». Сомневаться не приходилось: за две недели, что Лопатин пробыл здесь, в армии и у танкистов, редактор достукался, и его сменил какой-то другой, неизвестный генерал-майор.

Ефимов протянул руку и выдернул из пальцев Лопатина телеграмму:

— Чего цепляетесь? «Алмаз»-то не вы, а я. Телеграмма-то мне. А вам положено только ознакомиться и принять к исполнению. Где ваша совесть? Не будь этой писанины, которая неделю пролежала на узле связи фронта, прежде чем сообразили отстукать ее копию мне, я, чего доброго, так и не узнал бы о ваших рейдах по тылам противника! Что вы в танковом корпусе — знал, но до чего вы там с другими умными головами додумаетесь — не предвидел. А то б воспрепятствовал.

— Почему?

— Потому что не ваше дело — мотаться в танке по немецким тылам на четвертом году войны и пятом десятке лет. И не достаточно молоды для этого, и слишком известны. Не хватало только в плен к немцам попасть.

— А я не попал бы,— сказал Лопатин.

— Многие другие тоже так считали. И тем не менее при всей готовности пустить себе пулю в лоб — попадали. Примеров достаточно. А чтобы написать от вашего имени какое-нибудь обращение для соответствующей листовки, вы немцам живой необязательны. Хватило бы и удостоверения личности. Имеется и такого рода опыт. А кроме всего прочего, раз вы, прибыв во вверенную мне армию, по старому знакомству явились ко мне за советом, как вам лучше действовать, а затем поступили вопреки, то разрешите ваше поведение считать непорядочным. Прислав мне с оказией вашу книгу о Сталинграде, сколько помню, написали на ней: «Ивану Петрову Ефимову — дружески»,— не так ли? А после вашего нынешнего недружеского поступка имел порыв вернуть вам книгу обратно. Жаль, не случилась под рукой,— неделю назад вручил ее для самообразования одному из моих офицеров, считающему, что при образцовой выправке чтение книг излишне. Почему вы своим мальчишеством прибавили мне забот, которых и без вас достаточно? Изволите видеть: что

он ушел в рейд — узнаю лишь задним числом, когда мне с прискорбием доносят, что его нет среди вышедших обратно! Хотя вы этого не заслуживаете, придется выдать вам завтра новое офицерское обмундирование. — Ефимов впервые за все время улыбнулся. — Куда же вы такой — в штаб фронта, а тем более в Москву.

— Мое стирается.

— Черта лысого оно у вас отстирается после всего, о чем мне доложено,— сказал Ефимов. — Обстановку хотите посмотреть?

— Хочу.

— Зайдите ко мне за спину.

Лопатин зашел за спину Ефимова, и тот стал показывать по карте обстановку на участке его армии.

«Какое же это было число, когда я встретился с ним там, на Северном Кавказе, после Ташкента? — думал Лопатин, стоя позади нагнувшегося над картой Ефимова. — Девятого, нет, восьмого января, потому что девятого уже взяли эту Горькую балку, за которую шел тогда бой. А из Ташкента я уехал второго января днем. Второго января тысяча девятьсот сорок третьего года. И с тех пор не видел ее. Второго июля, на десятый день наступления, было ровно полтора года, как я не видел ее...»

— Вот они — действия вашего усиленного батальона за минувшие двое суток,— говорил Ефимов. — Вот здесь и здесь вам предстояло выходить. Здесь вышли точно, а здесь промазали. В результате — засада, мышеловка, смерть. Семи машин и двадцати двух живых душ — как не бывало. Вот она, эта точка на карте, где и вы имели возможность отдать богу душу. Вот рубеж, который мы заняли за вечер и ночь. Утром, как видите, выскочили еще дальше, но с этих двух участков сегодня за ночь отведем войска на километр-два назад. Убедились, что немцы успели занять господствующие высоты, и нет смысла лежать у них под носом живыми мишенями. Сидел, перед тем как вы явились, с начальником штаба и в итоговом донесении, которое предстоит подписывать, формулировал пункт о частичном отходе на более выгодный для дальнейших действий рубеж. В былые времена такое решение вызвало бы наверху гром и молнию, но и сейчас, по старой памяти, похвал не жду. Способны усомниться и прислать поверяющего из числа офицеров Генштаба, на что не сетую при условии, что офицер дельный и правдивый. А что есть правдивость в таких случаях — знаете? Правдивость есть способность, приехав на место и увидев своими глазами другое, чем то, что ты слышал своими ушами, когда тебя сюда посылали, доложить то, что ты увидел и понял, а не то, чего от тебя ждут. Думаю —

формулировка, применимая и к вашему ремеслу. И раз вы теперь обретаетесь одной ногой у меня, а другой уже в Москве и неизвестно, когда вновь увидимся,— может статься, после войны,— хочу сказать вам то, что думаю о вашем брате писателе. Наблюдаю вас и ваших коллег давно, с Одессы, чаще всего люди вы неплохие; но прихожу к выводу: лучше бы вы пореже показывали нам свою храбрость, а вместо этого почаще думали над войной. Вот я вам сейчас доложил, что мы продвинулись чуть дальше разумного и за ночь по моему приказу отойдем, но не все этим будут довольны. Смотрел на вас и ждал, задумаетесь над этим или нет? Судя по вашему лицу — нет. Ждал, вспомните ли наш предыдущий разговор на ту же тему? Не вспомнили.

— Вспомнил, Иван Петрович. Не только вспомнил, но и обругал себя последними словами.

— За что?

— За то, что до сих пор не записал его.

— Значит, все же не вылетело из головы? Спасибо.

— А у меня из головы — иногда и рад бы, чтоб вылетело,— не вылетает!

— Так и до́лжно,— сказал Ефимов,— голова только у дураков — проходной двор. А у тех, кто поумней,— тупик. Как ни странно, но так. Если человек умный — голова у него как тупик: все, что вошло,— там. Поэтому и говорю вам: берегите голову. Она не обмундирование. Новой — и рад бы — не выдам. Вся надежда на вашу БУ.

Лопатин рассмеялся неожиданности этого сравнения головы с предметами вещевого довольствия: БУ — бывшая в употреблении голова!

— А вы не смейтесь,— без улыбки сказал Ефимов,— многих из вашего брата война уже списала с лица земли. В том числе на моих глазах. С тех, кого уже нет,— нет и спросу. А вам желательно остаться в живых и успеть подумать о войне не только за себя, но и за них. Поэтому и обругал вас за излишний риск. А случиться, конечно, может все, с любым из нас, в любое время. И случается. Наслышаны, как с месяц назад на соседнем фронте один из командармов погиб? Ехал из корпуса в корпус, шальной снаряд — и все. Водитель цел, автоматчик цел, адъютант цел, а его нет. А до этого империалистическую прошел, гражданскую, четыре года провел в местах не столь отдаленных, вернулся, этой войны три года отгрохал — и пожалуйста — осколок с урюковую косточку из дальнобойного орудия за пятнадцать километров! Обмундирование получите утром. Остается пожелать вам доброго пути до самой Москвы.

Ефимов посмотрел на часы:

— Через пять минут буду занят другими делами. Завтра с утра тоже.

— Иван Петрович, на прощанье один вопрос. Как вы думаете, реальна в ближайшие дни Восточная Пруссия?

— Смотря о чем речь! Если о выходе к границе, он вполне реален, и даже в ближайшие дни. Но, скорей всего, не у меня, а у соседа справа. Немецкий рубеж, который сейчас перед нами, полагаю, промежуточный. Основные, и не только нынешние, а и давние, рубежи — там, в Восточной Пруссии. И было бы странно, будь это иначе. Мы с вами, как уже взаимно выяснено, реалисты не только потому, что оба во время оно пребывали в реальных училищах, но и по взглядам на жизнь. Так вот, будьте реалистом, а не гимназистом и с Восточной Пруссией. Та пуля на излете, какой мы стали после полутора месяцев наступления, сегодня броню не пробьет, самое большее — сделает вмятину. А нам требуется — пробить! Навылет! Тут рукой подать и до Грюнвальда, и до Танненберга с его злосчастным Самсоновым — тут не до шуток ни нам, ни немцам. У вас до сознания-то хоть дошло, где мы и кто мы сегодня? И что это означает для немцев — быв на Волге, быв на Эльбрусе, ныне, после трех лет войны, иметь нас на пороге Восточной Пруссии, где они некогда сами избрали день и сами отсчитали срок шесть недель — до Москвы? И не в министерстве пропаганды отсчитали, а в германском генеральном штабе. Вот что существенно! Вот о чем бы я написал на вашем месте, если б обладал временем и пером. Нынешний вызов в Москву соответствует вашим желаниям? — уже вставая, спросил Ефимов.

— Да,— сказал Лопатин. — По личным причинам очень нужно пробыть в Москве хоть несколько дней. Но причин вызова не знаю и что новый редактор — не радует.

— По случайности с вашим новым редактором некогда, в двадцатом году, командовали на польском фронте эскадронами в одном полку, и был он тогда пригож, смел и превосходный наездник. Впоследствии слышал о нем, что окончил с отличием академию, даже две.

— Иван Петрович, а зачем нам в редакторы кавалерист, хотя бы и дважды академик? Чем кончалось, когда бывшие редакторы пробовали фронтами командовать,— мы с вами оба по сорок второму, по Керчи, знаем. Думаете, наоборот — лучше?

— Сего не ведаю, как и многого другого. — Ефимов снял пенсне и, положив его на стол, обнял Лопатина. — Будьте живы и здравы. Если найдет блажь и напишете письмо, буду рад. —

И добавил на «ты»: — Уходи через ту дверь — представлять тебя одному, второму, третьему недосуг.

И хотя они были ровесники, по-стариковски подтолкнул Лопатина рукой в спину.

Уже выходя из комнаты через заднюю дверь, которой он сначала не заметил, Лопатин услышал голос Ефимова:

— Прошу прощения, товарищи офицеры, что заставил вас ждать.

17

Василий Иванович, ворча себе под нос, натягивал над «виллисом» тент.

— Чем недовольны, Василий Иванович? — спросил Лопатин.

— Всем довольный. Дождь будет,— отозвался Василий Иванович. — Далеко ли? — спросил он, увидев, что Лопатин сел на переднее сиденье.

— Сначала до штаба фронта,— сказал Лопатин.

— А он там же?

— Нет, переместился. Но посоветовали ехать до прежнего места, там теперь штаб тыла, зайду — сориентируют. Пока мы с вами к танкистам ездили, у нас редактор сменился.

— И кого теперь на его место? — равнодушно спросил Василий Иванович.

— Генерала Никольского.

Василий Иванович молчал, вспоминая известных ему генералов. Работал он в Наркомате обороны давно и знал многих. Объехав плохо затрамбованную на дороге воронку от бомбы, сказал:

— Не слыхал про такого. А нашего куда же?

— Думаю, на фронт.

— Скорей всего,— согласился Василий Иванович. — У него и при московской работе как шило в заднице — только б куда поехать.

О начальстве он отзывался грубо, но судил по справедливости.

— А меня в Москву вызывают.

— Пора,— сказал Василий Иванович. — Фотографы уже по два раза в Москву смотались, а мы все ездим. — Он недолюбливал фотокорреспондентов за то, что они, по его мнению, часто зазря останавливали машину, как будто им позарез надо, а потом снимков, из-за которых останавливались, в газете как не бывало!

— Такое уж у них дело,— сказал Лопатин.

— У них одно дело: чего попало отснять — и домой. Может, нам в штабе тыла заправиться — и прямо в Москву?

— Нельзя. Мне в телеграмме приказано не ехать, а лететь.

— А какая вам нужда лететь? Если с рассвета выедем — за два дня в Москве будем.

— Я бы рад,— сказал Лопатин,— но в телеграмме приказано мне лететь, а вам с машиной — оставаться. Вместо меня Гурский прилетит, будете ездить с ним. Возможно, потом и я вернусь. Свезу от вас письмо в Москву и вам привезу,— сказал Лопатин, хорошо понимая, как испортил настроение Василию Ивановичу. У него была там семья, всю войну не уезжавшая из Москвы: жена, вдовая дочь и двое внуков, и за последние две недели по его вопросам, вроде: «Еще чего-нибудь написать хотите?» или: «Что, опять к этому же поехали, у которого уже были?» — Лопатин чувствовал, что Василий Иванович недоволен,— поездка, на его взгляд, затягивалась.

— Что ж письма,— сказал Василий Иванович. — Другое дело, если б сам туда и обратно вернулся.

За его словами была привычка к тому, что расстояний не существует — было бы горючее.

Сказав это, он замолчал и, застряв в возникшей из-за колонны грузовиков пробке, сидел, навалившись на руль, и думал.

— Вот вы говорите — вам лететь,— сказал Василий Иванович, когда они выбрались из пробки. — А мне с Гурским ездить. А генерал, когда вызывал меня к себе, чтоб с вами ехать, другое говорил.

— Что ж он вам говорил? — полюбопытствовал Лопатин, впервые услышавший об этом.

— Приказ принять новую машину, чтоб с вами поехал и с вами вернулся. А теперь вопрос: зачем оставлять машину Гурскому? Что он, себе тут «виллиса» не достанет? Гурский — он чего хочешь достанет. А я бы вас как привез, так и отвез. Побудете в Москве и опять со мной поедете. Тем более мы годки!

Василий Иванович притормозил и поехал медленней, словно молчаливо приглашая Лопатина, пока не поздно, передумать. Наверно, в нем говорило не одно только желание повидаться с семьей. Они и в самом деле были одного года рождения и за эту поездку проверили друг друга в разных обстоятельствах, чего может и чего не может ждать каждый от другого.

— А когда Гурский прилетит, не написано? — спросил он, поняв по молчанию Лопатина, что отмены сказанному не будет.

— Не написано. Возможно, я прилечу, а он вылетит. А вы пока тут немного отдохнете.

— Тут отдохнешь! С машиной делов хватит через голову.

Василий Иванович был сердит, а в таких случаях «делов» с

машиной у него всегда было «через голову», хотя на поверку она в любой момент оказывалась на ходу.

Лопатин вспомнил, как редактор в ответ на просьбу о вызове Ники сказал: «Думаю, что еще успею помочь тебе». Тогда эта фраза прошла мимо ушей, а сейчас вспомнилась в ее настоящем значении. Он подумал о своих тетрадях, лежавших в сейфе редактора. Где они теперь? В них не было ничего или почти ничего такого, о чем в минуты откровенности не говорили бы между собой корреспонденты. Но чтобы эти тетрадки валялись без призора и попали на глаза кому-то чужому — не хотелось. Редактор только однажды, после поездки на Курскую дугу, где они целую неделю были рядом, поинтересовался тем, что записывает Лопатин в своих тетрадях. Дело было под утро, газета прочитана от доски до доски и уже печаталась, но ложиться спать, пока не вышел номер, не было в заводе, и Лопатин прочел редактору вслух два десятка страниц.

— Только и всего? — спросил редактор, когда Лопатин дочитал все, во что уместилась их общая неделя на фронте. — Не все, конечно, пишешь. Но то, что пишешь,— точно. Могу подтвердить.

— Кончится война, подтвердишь,— полушутя, полусерьезно сказал Лопатин.

Так где же все-таки теперь эти тетрадки?

В штабе тыла, куда приехали к середине дня, Лопатину дали новый адрес штаба фронта и сказали, что завтра в Москву пойдет «дуглас» командующего воздушной армией. Но чтобы Лопатина посадили на самолет командующего, требуется личное разрешение, а командующий — в штабе фронта.

В штаб фронта из-за пробок и объездов добрались под вечер.

Узнав у коменданта, где стоят корреспонденты, Лопатин разыскал их дом, но на месте никого не было. Только во дворе копался в неисправном «виллисе» водитель корреспондента Информбюро, сказавший, что тот ушел, но вот-вот будет. Настроившись переночевать здесь, Лопатин попросил водителя передать, что съездит на узел связи и вернется.

Чем черт не шутит, там, на узле, могла быть и еще какая-нибудь телеграмма, да и подлинник той, где вызов в Москву, надежней иметь на руках, прося места на самолет. Все это был уже хорошо знакомый за войну корреспондентский быт. На отношение к себе жаловаться не приходилось, но и о формальностях забывать не следовало — себе дороже.

— Мы уже думали, где вы, как бы вас где-нибудь не подстрелили,— сказал знакомый Лопатину дежурный, пододвигая к

нему журнал — расписаться в получении телеграммы. — У нас у самих не слава богу.

— Что у вас не слава богу? — спросил Лопатин, засовывая в карман гимнастерки уже читанную им телеграмму — никаких других не было.

Оказалось, при передислокации, когда спешили сюда, чтобы развернуть узел связи заранее, до передачи первых утренних донесений, колонну машин полка связи обстреляли из лесу продолжавшие блуждать кругом немцы. Очередью прошили накрытую тентом машину, в которой, привалясь друг к другу, ехали и спали усталые бодистки. Четырех ранило, а одну убило.

— Так во сне и убило,— сказал дежурный,— так и не проснулась, уже была убитая. Маруся. Вы ее знаете, такая полная, курносенькая. Она еще, помните, срочно после Минска, когда его взяли, вашу корреспонденцию передавала. Все переспрашивала вас. Говорила, вы сердились на нее, что не могла ваш почерк разобрать. Вот ее и убило.

«Ничего я не сердился на нее,— подумал Лопатин,— просто раздельно, буква за буквой, повторял то, что не могла разобрать. А не могла разобрать, потому что устал как собака и к концу писанины рука не слушалась, выводила черт те чего. Вот ее, значит, и убило — эту курносенькую Марусю. А переспрашивала она тогда как раз очень деликатно, робея, может, потому, что кончила библиотечный техникум и читала две мои, вышедшие еще до войны, книжки».

— Где же вы ее похоронили?

— Еще не похоронили. Сюда привезли. Завтра будем хоронить. Еще одна девушка — тоже плохая. Звонили врачам — не обещают. Боюсь, обеих похороним.

В том, как дежурный рассказывал о случившемся, было и это лето, и это наступление, оставившее позади себя почти полтысячи километров освобожденной земли. Война шла, и где только в это лето не рыли могилы. И все госпиталя по-прежнему были забиты ранеными, а все-таки что-то уже настолько переменилось на войне, что несчастье с девушками из полка связи, обыденное где-нибудь в сорок первом или в сорок втором, теперь казалось чрезвычайным и не сразу забудется.

Прямо с узла связи Лопатин поехал искать командующего воздушной армией. Тот был занят, но Лопатин уговорил адъютанта, и он, сходив к командующему, вынес телеграмму, на которой вкось было написано, чтоб корреспондента «Красной звезды» взяли завтра, 17.8.44, на самолет в Москву.

Когда вновь, уже в темноте, добрались до дома, где жили корреспонденты, Василий Иванович во двор заезжать не стал,

остановился у калитки, едва Лопатин сошел, буркнул: «Поеду заправляться» — и был таков.

На лавке возле дома кто-то сидел и курил.

— Кто прибыл? Уж не товарищ ли Лоп-патин, часом? — раздался с лавки знакомый голос Гурского. Красная точка папиросы метнулась вверх, Гурский поднялся, и они привычно тиснули друг другу руки.

Обниматься, как бы долго ни виделись, Гурский не любил. Еще в первый год войны, вырываясь из объятий подвыпившего сослуживца, подвел под это теоретическую базу: «Д-дружок, не люблю мужских лоб-бзаний, тем более в ходе войны. Я суеверен, и всякий раз, когда мужские губы касаются моих неб-бритых щек, мне кажется, что я уже успел отдать свою жизнь за родину и лежу в гробу. Так что давай отложим этот христианский обряд на б-будущее».

— Когда ты здесь появился? — спросил Лопатин.

— Полтора часа назад, через пять минут после твоего убытия на узел связи. Провел тут небольшую пресс-конференцию с п-парнишкой из Информбюро, выпил его водку, скормил ему четыре кот-тлетки, врученные мне на дорогу мамой, и отпустил его к какой-то д-девочке, которую он себе успел тут завести.

— Что случилось с Матвеем?

— Если вк-кратце, он недоп-понял, для чего у него поставлена верт-тушка. Думал, она поставлена, чтобы он звонил. А она была п-поставлена, чтобы ему звонили. Шутка жест-токая и не моя, но в ней доля истины.

— А если не вкратце?

— Если не вк-кратце, то как будем дальше — стоя или присядем? Или пойдем в дом, если ты голодный? У меня есть еще три кот-тлетки.

— У меня тоже кое-что есть, но это потом, успеется.

— А водки у тебя нет?

— В машине. Вернется из автороты — будет.

— Тогда действительно усп-пеется. Сядем здесь. С чего начнем?

— С главного. Что произошло с Матвеем?

— С главного? Ладно, так и быть, начнем с нашего редактора, раз это для тебя главное,— сказал Гурский. — Только потом не уп-прекай меня, что я не с того начал. Вп-прочем, раз у тебя будет водка, о том, с чего я соб-бирался начать, даже грех говорить всухую. Подождем, пока она п-появится. Итак, в один далеко не п-прекрасный для него день наш редактор поехал к тому,

к кому он, как тебе известно, не очень любит ездить, и вернулся от него п-просто генерал-майором, ждущим нового назначения. Надо отдать ему должное, он целых два года ст-тарательно сам рыл себе эту яму, начиная с той — ты п-помнишь ее — поездки на фронт к своему т-только что снятому начальству в пику только что назначенному.

— Помню,— сказал Лопатин,— и уважаю его за это.

— Не сп-порю. Но когда два года сам делаешь все, чтобы тебя сняли, не надо удивляться, когда это происходит.

— А Матвей удивился?

— В п-первый момент — очень. Наверное, как ни ст-транно, в глубине души сам считал себя незаменимым. А умный человек должен только внушать это заб-луждение другим. Он был очень уд-дивлен, но, надо отдать ему должное, быстро оп-равился — он вообще все делает быстро,— и, когда через час позвал меня, его кабинет был уже под м-метелку, а рабочая куртка висела на гвозде, рядом с к-конторкой.

При словах о куртке и конторке в голосе Гурского послышалась нота сочувствия.

«Бедный Матвей,— подумал Лопатин. — Заменимый или незаменимый, все это в конце-то концов игра в слова. Но человек любил свое дело и делал его хорошо. И если по своей дерзости был для кого-то трудноперепосим, то ведь это все-таки вторичное, а не главное. А главное в том, что он хорошо делал свое дело. И еще вопрос, достаточно ли хорошо делает свое дело тот, кому не хватило справедливости смириться с вторичным ради главного. Сколько людей на фронте можно было бы поснимать по принципу вторичных недостатков! Сколько их — и неуживчивых, и запозистых, и с разными закавыками,— а вот не снимают, дают же воевать дальше!»

— Расстроил ты меня своим рассказом,— сказал он вслух.

— А ты зак-куривай. Это помогает в минуты бесп-правия. Имею в виду, что посетившее тебя сейчас ощущение своего бессилия исправить несп-праведливость и есть наиболее острая форма бесп-правия. Хотя, заметим в скобках, не заблуждайся: отнюдь не все в ред-дакции сокрушаются об его уходе. Д-догадываются, что без него им будет легче, а оп-ределенный процент людей при всех обстоятельствах предпочитает, чтоб им было п-полегче.

— Это не меняет сути дела,— сказал Лопатин.

— По-твоему, я недостаточно ск-корблю? Не так ли? Ничего не поделаешь, д-дружок. Ирония и ск-корбь во мне неразлучны. И тебе за годы нашей д-д... смею сказать, дружбы пора к этому п-привыкнуть. Когда речь идет о нашем бывшем ред-дакторе —

не суди по себе. Ты был его люб-бимчиком. Он полюбил тебя, как часть собственной б-биографии. Полюбил, потому что лично п-придумал забрать тебя из штатской п-печати в военную. Полюбил потому, что ты не раз бывал свидетелем его личной храб-брости, а мы все очень любим иметь таких свид-детелей. Кроме того, ты в своем уже нем-молодом возрасте с самого начала войны начал мотаться по всем фронтам так, словно тебе п-попала вожжа под хвост, или, говоря интеллигентней, овладела ут-топическая надежда самому понять все п-происходящее. А ему только подавай таких — которым вожжа п-под хвост! Тем паче что он мог тыкать тобой в глаза всем более молодым и менее п-подвижным. И если тебя, несмот-тря на все это, не возненавидели в ред-дакции, то лишь благодаря твоему собственному отрицательному об-баянию.

— Предыдущее понял. Последнюю формулировку уточни.

— Ут-точняю: отрицательное об-баяние — это когда человек отрицает то п-положительное, что ему п-приписывают. Хотя бы п-половину. То есть когда он неп-подкупен по отношению к самому себе. Лично я п-просто-напросто люблю тебя за это, а нек-которые другие по крайней мере не ненавидят, хотя наш бывший редактор от изб-бытка любви к тебе почву для такой ненависти п-подготовил, дай ему бог здоровья! «Г-гурский,— сказал он, когда я вошел по его вызову в его кабинет. — Г-гурский,— сказал он,— я ухожу». Это я уже, п-положим, знал. «А вы остаетесь заведовать своим отделом». Об этом я тоже, п-положим, догадывался. «Сделайте без меня так, чтобы Лопатину не стало трудней раб-ботать». — «Есть!» — сказал я — ты знаешь, я люблю это не п-претендующее на эмоции слово — и подумал, что про меня ему даже не пришло в голову, как мне будет без него — т-трудней или легче? Потом он показал лежавшую на абсолютно пустом столе пачку твоих черных к-клеенчатых тетрадей и, не надеясь на мою догадливость, объяснил мне, что они т-твои, лежали у него, а теперь я должен взять их к себе.

— Я как раз о них думал,— сказал Лопатин. — Это хорошо, что они у тебя.

Ему стало тяжело от мысли о раздражении, которое могло возбуждать там в редакции то, как относился к нему Матвей. Конечно, он не впервые об этом думал и даже учитывал в своем поведении, но так явно и оголенно ощутил это лишь сейчас.

— Не п-переживай свое прошлое, д-дружок,— сказал Гурский. — П-переполовинь все, мною сказанное, хотя бы потому, что мне не чужд порок зависти. Работая под его руководством, я никак не мог избавиться от чувства, что я не глупей его, об-бразованней и, если говорить о сп-пособности водить п-перышком п-по

бумаге, талантливей. И при других обстоятельствах я бы вп-полне мог быть им, а он Г-гурским. Причем в роли Г-гурского он был бы хуже меня, это я точно знаю. И однако, на п-практике не я нашел его, а он — меня. И не я стал редактором, а он Г-гурским, а наоб-борот. Сп-прашивается — почему? То, что ему многого недостает по сравнению со мной, мне вп-полне очевидно. А вот чего мне недостает по сравнению с ним — я себе так и не ответил и пришел к п-печальному для себя выводу, что, видимо, все же недостает чего-то такого, что я при всей гибкости своего ума не в состоянии сф-формулировать. Но в день его ухода, освоб-бодившись от уже бессмысленных попыток сравнительного анализа наших достоинств, я п-позавидовал тому, с каким великолепным отсутствием ск-корби в глазах он покидал ред-дакцию. И это была уже зависть б-благородная, в противоположность прежней, неб-благородной.

— У нового редактора был?

— Был.

— Какое впечатление?

— Как тебе известно, я нахожусь на службе не у редакт-торов, а у от-течества. Жизнь мне не д-дорога, жила бы г-газета. По первому вп-печатлению думаю, что он ее в гроб не загонит. Для начала дал ему понять, что об-богащать его своими отрицательными впечатлениями от прежнего начальства не намерен. Не знаю, кто ему п-посоветовал сразу же поговорить со мной, но кто-то п-посоветовал. То, что я не ругал ему ст-тарого редактора, а, наоборот, желая под-дразнить, хвалил, не помешало ему выслушать меня со вниманием, что я и занес в его кондуит как первую п-пятерку.

— Почему он вызывает меня? — спросил Лопатин.

— А вот и т-твой, а теперь — к его неудовольствию — мой Василий Иванович,— вместо ответа сказал Гурский, увидев въезжавший во двор «виллис». — Самое время для неожиданного п-поворота сюжета нашего разговора в духе О. Генри. Позд-дороваемся и пойдем в дом. Только не забудь взять у него водку, потому что мне, как я подозреваю, он ее не д-даст.

Василий Иванович слез с «виллиса» и сразу же обратился к Лопатину, подчеркивая, что покуда его начальство еще Лопатин, а не Гурский:

— Когда поедем на аэродром? В пять, без перемены, как вы сказали?

— Без перемены,— подтвердил Лопатин.

— Я тебя провожу, уд-достоверюсь, что ты действительно улетел,— сказал Гурский.

Василий Иванович недовольно крякнул в темноте — наверное, предпочитал поступить под команду Гурского на несколько часов попозже.

— А вы ужинали? — спросил Лопатин.

— Ужинал в автороте.

— Где спать будете?

— На дворе, у машины. Погода хорошая.

Гурский подтолкнул в бок Лопатина, напоминая про водку.

— Василий Иванович, у вас где-то в машине моя фляжка,— сказал Лопатин.

Василий Иванович молча пошел к «виллису» и принес флягу.

— Будить вас?

— Думаю, сам проснусь, но на всякий случай — в полпятого.

Василий Иванович вернулся к «виллису», а Лопатин вслед за Гурским зашел в дом. Оказывается, там внутри, за завешенными окнами, горела керосиновая лампочка с прикрученным фитилем. Гурский сел за стол и прибавил свету. Теперь, при свете, стали видны пожитки корреспондентов, засунутые под хозяйскую двуспальную кровать, под лавку и раскладную парусиновую койку. На столе лежала начатая буханка хлеба, стояла тарелка с тремя котлетами и стаканы.

— Хозяев нет, а наших гавриков, по моим сведениям, стоит здесь п-пятеро,— сказал Гурский,— но четверо в отъезде, а п-пятый, как я тебе уже сказал, отбыл по личным делам — так что никто нам не помешает развить об-бещанный сюжет.

Взболтнув во фляге водку, он налил себе в один из стоявших на столе стаканов и, кивнув на другой, вопросительно посмотрел на Лопатина:

— Не б-брезгуешь, что уже пили из него до тебя?

— Наливай,— сказал Лопатин.

— П-поставь,— остановил его Гурский, когда он поднял стакан с налитой в него водкой. —Если помнишь, когда-то, п-прибыв тебе на смену под Калугу, я сообщил тебе, что у тебя в семье — дело д-дрянь. На этот раз, наоб-борот, я п-прибыл как добрый вестник. Ты сп-просил, почему тебя вызвал наш новый ред-дактор. Главным образом потому, что в Москву п-приехала из Т-ташкента твоя Нина Ник-колаевна, и я ему объяснил про нее, что она твоя невеста, что она п-приехала всего на две недели и ты должен успеть ее п-повидать.

— Ты что, серьезно? — спросил Лопатин, опешивший и от самого известия, и от показавшегося нелепым слова «невеста».

— Как нельзя б-более. Она приехала, пришла прямо с п-поезда в ред-дакцию и спросила, где ты и когда будешь в Москве. И хорошо известный тебе Лева Степанов сделал ед-динственно

разумное, немедленно послав ее ко мне. Погоди, я д-договорю. Мне очень понравилась эта твоя женщина, которая назвала себя Ниной Ник-колаевной. Если бы ее вст-третил в Ташкенте не ты, а я — я бы на ней женился. —Он сказал это непохоже на себя, без иронии, даже грустно и, словно спохватившись, добавил уже обычно, по-гаерски: — Немедля и без рассуждений. — Добавил и снова стал серьезным. — За это, за твою т-так называемую личную жизнь, и выпьем. Все остальные п-подробности — потом.

— Как мамины кот-тлетки? — спросил он после того, как они выпили и закусили.

— Как всегда, на должной высоте.

— Мама очень просила меня не есть их неп-подогретыми, но боюсь, что нагревать их по одной над этим ламп-повым стеклом было бы слишком долго. А теперь — п-подробности. Твоя Нина Ник-колаевна сказала мне, что будет жить эти две недели на квартире у какой-то артистки, у которой ты бывал и знаешь ее, а потом поедет обратно в Т-ташкент, и когда я ее сп-просил — а что д-дальше? — то из ее неоп-пределенного ответа понял, что, кажется, это зависит от т-тебя. С чем тебя и п-поздравляю.

— Как она выглядит?

— Я уже сказал тебе, что женился бы на ней без п-промедлений. Что тебя бесп-покоит? — спросил Гурский, глядя на Лопатина, начавшего считать про себя, когда же приехала в Москву Ника. По словам Ефимова, телеграмма целую неделю лежала в штабе фронта, потом пошла в армию, потом его искал Ефимов, потом он ехал сюда. Выходило, что Нине оставалось жить в Москве всего два дня.

— Считаю — застану ли?

— Чего не знаю, того не знаю,— сказал Гурский. — Когда я предстал пред ясные очи нового ред-дактора и попросил вызвать тебя, слово «невеста» произвело на него, как на человека ст-тарого закала, такое неизгладимое вп-печатление, что телеграмма с вызовом пошла в тот же вечер. А я, п-попросившись сюда тебе на смену, как только ты явишься, как д-дурак, ждал тебя в Москве. Куда ты, к черту, зап-пропастился? Я уже ст-тал тревожиться и вылетел, не д-дождавшись. На тебе, по-моему, новенькая гимнастерка, и притом габ-бардиновая,— сказал Гурский,— но выглядишь ты п-паршиво. Чем дольше на тебя смотрю, тем ты меньше мне нравишься. Где ты был? И главное, что с тобой было? И прибереги для других свое популярное в кругах корреспондентов немногословие. П-поп-прошу поподробней!

Если бы разговор этот, которого все равно было не миновать, отложился до завтра, наверно, все вышло бы намного короче,

а так просидели за столом далеко за полночь. Гурский несколько раз перебивал, допытываясь, неужели у Лопатина так ничего и нигде сейчас не болит, и прекратил свои расспросы, только когда Лопатин начал злиться.

— Прости, пожалуйста, по молодости лет все забываю, что тебе уже п-пятый десяток, а люди в этом возрасте склонны подчеркивать несок-рушимость своего зд-доровья. Не болит так не болит. Тем лучше! Ты действительно в сорочке родился! И после всего этого можешь сп-покойно лететь в Москву и жениться. Хотя для порядка все же п-постучу по дереву, чтобы не сглазить.

— Постучать по дереву можно,— сказал Лопатин. — А жениться... Я как раз, наоборот, пока рассказывал тебе все это, подумал, что...

— Что при твоей профессии до конца войны сохраняется опасность оставить одной вд-довой больше? — перебил Гурский. — Д-допустим. Не хотел бы допускать, но д-допустим. А чем ей будет хуже от того, что она п-получит свою законную пенсию за погибшего мужа? И чем ей будет лучше, если ты ей скажешь, что п-подождешь на ней жениться, п-потому что не можешь ей обещать, что тебя не уб-бьют? А кто и кому может сейчас это об-бещать? И какая женщина сейчас об этом не д-думает? Да если она тебя действительно любит, она с самого начала только об этом и д-думает. Ст-тарается выбросить из головы, а не может!

— Наверно, ты прав,— сказал Лопатин,— но не будем больше на эту тему.

— Не б-будем так не б-будем! Но п-попомни мое предчувствие — что у тебя в этом воп-просе все должно быть хорошо. И не только должно, а д-даже обязано! Вот за это и выпьем то, что осталось. Если осталось. — Гурский встряхнул фляжку и разлил остаток по стаканам. — И п-пожалуйста, съешь сам эту третью кот-тлетку. Мама не любит, когда их ломают п-пополам руками, а ни ножа, ни вилки в этом доме я не обнаружил,— видимо, братья корреспонденты таскают их за голенищами. Питайся. Пригодится там в Москве. Повторяю: твой вид оставляет желать лучшего, несмотря на новенькое об-бмундирование. Кст-тати, где ты его добыл?

— По старому знакомству получил у Ефимова.

— Ты подал мне неп-плохую идею,— сказал Гурский. — Попробую последовать твоему п-примеру. На закуску имею сообщить тебе самую п-последнюю новость! Я только сегодня от этого п-парнишки из Информбюро узнал, что наш б-бывший редактор

два дня как принял на вашем же фронте П-политотдел армии. — Гурский назвал номер. — Бывал в ней?

— В сорок первом, в Крыму, когда она там по-другому называлась, бывал. А здесь собирался, но еще не был.

— Тем более законная причина поехать туда. Провожу тебя на самолет и прямым ходом п-поеду к нему за новым обмундированием, а заодно посмотрю, как он сам выглядит на новом месте. Кстати, говорят, их армия, вполне вероятно, одной из п-первых выйдет на границу Вост-точной Пруссии.

— Рад за него. Наверно, это лучшее из всех назначений, на которые он мог рассчитывать,— сказал Лопатин и добавил, что если действительно армия, в которую попал их бывший редактор, первой окажется на границе Восточной Пруссии, то он сам, чего доброго, приедет к ним туда третьим лишним.

— Вот именно, лишним! — сказал Гурский. — Не жадничай! Посиди в Москве и оставь на мою жалкую долю выход наших п-подразделений на берега речки, название которой я только вчера смотрел в энциклоп-педии и оп-пять забыл. П-пусть эта маленькая газетная сенсация будет лично моей. Доедай кот-тлетку, а я п-полягу костьми. По правде ск-казать, я, как всегда после самолета, зверски хочу сп-пать, а ты, судя по твоему виду, еще ни в одном глазу и вполне способен подумать о своем ближайшем будущем, не прибегая к моей помощи как соб-беседника. Как ты знаешь, однажды решившись на это, я засыпаю без размышлений. Если буду слишком сильно храп-петь, нарушая ход твоих мыслей, можешь выйти и п-подумать на воздухе.

Оглядев комнату и секунду поколебавшись, Гурский лег на ничем не застеленную парусиновую раскладушку, положив под голову полевую сумку, накрытую вынутым из кармана носовым платком. Поерзав щекой и полусонно пробормотав: «Жест-тковато!» — он и в самом деле через минуту уже спал, прерывисто похрапывая.

«Еще сегодня утром был в Москве»,— подумал о нем Лопатин и, мысленно обругав себя за то, что не решился спросить, видел ли Гурский еще раз за эти дни там, в Москве, Нику, вышел на двор.

Небо было чистое, в звездах.

«Если не сядем и не заночуем где-нибудь по дороге из-за испортившейся погоды, завтра же буду в Москве и увижу ее»,— подумал Лопатин, удивляясь неправдоподобию того, что он еще вчера утром вместе с Чижовым стоял там, на дороге, у сгоревших танков, около стонавшего, не приходя в сознание, танкиста с оторванной ступней, а завтра днем может оказаться в Москве...

Когда «дуглас» поднялся в воздух, Лопатин еще с минуту видел стоявший внизу «виллис». Василий Иванович сидел за рулем, а Гурский, стоя в «виллисе», прощально махал над головой пилоткой. По дороге на аэродром он сказал Лопатину, что когда приедет к их бывшему редактору, то кроме обмундирования выклянчит какую-нибудь фуражечку пощеголеватей, а то при своей рыжей шевелюре, очках, да еще в этой пилотке сам себе напоминает пленного фрица.

— Черта с два ты у него что-нибудь выклянчишь сверх положенного по закону. Разве что отдаст собственное запасное обмундирование. Если оно у него есть.

— Вот и п-прекрасно. А заодно пусть п-произведет меня в генерал-майоры. П-представь себе, как я буду хорош в ламп-пасах!

Отвернувшись от иллюминатора, в который уже ничего не было видно, Лопатин улыбнулся своему воспоминанию о Гурском. Странно, когда вот так на пятом десятке привязываешься к человеку и совсем другого образа жизни, чем твой, и совсем другого поколения. Хотя война, как и всюду, так перепутала в их редакции поколения и так свела всех на «ты», что и сам не поймешь, к какому поколению принадлежишь...

Как только легли на курс, из кабины летчиков вышел стрелок-радист и, поднявшись по лесенке, сел на свой насест; как и во многих других «дугласах», в этом посредине фюзеляжа, наверху, был вставлен плексигласовый колпак с пулеметной турелью для наблюдения за воздухом и самозащиты. Колпаки эти придумали в первые годы войны, когда в воздухе господствовали немцы, но многие летчики их не любили — не только теперь, когда все изменилось, но и раньше считали, что овчинка не стоит выделки: торчавший над самолетом колпак километров на двадцать в час срезал скорость, и это иногда обходилось себе дороже.

Прикинув в уме, сколько ж они с этим колпаком пролетят до Москвы, Лопатин подошел к стрелку-радисту проверить.

— Не знаю,— сказал стрелок-радист,— мы еще в Минске присядем.

«Значит, не прямо»,— с досадой подумал Лопатин, уже прикинувший, что они пролетят без посадки, самое большее, часа четыре с половиной, будут в Москве рано, и если он сразу застанет Нику у Зинаиды Антоновны, то увидит ее еще до обеда, для которого, заботами Василия Ивановича, у него было кое-что припасено и в чемодане, и в вещевом мешке. «Наверно, будем брать еще пассажиров»,— подумал он.

Брать их было куда. На тянувшихся вдоль фюзеляжа с обеих сторон узких железных скамейках сидело всего девять человек.

«Сколько же простоим в Минске и когда полетим в Москву? И сразу ли застану ее у Зинаиды Антоновны? — снова подумал Лопатин о Нике. — И сколько она пробудет еще там, в Москве, если сказала Гурскому, что у нее всего две недели? Выходит, только два дня. А вдруг у нее что-то изменилось, и она уехала, не дождавшись?» Гурский сегодня утром рассказал, что она каждый день звонила ему в редакцию и он объяснял ей, что вызов вызовом, а корреспондента на фронте даже и по такой телеграмме иногда с собаками не разыщешь. Но это объяснял Гурский, а ей самой вполне могло прийти в голову гораздо худшее.

Он вспомнил позапрошлую ночь. Его так перетряхнуло, что — неизвестно, как там в будущем,— а сейчас хотелось побыть подальше от войны. И подальше, и подольше.

Бывает же так: весной, когда ранили, не испугался, не успел. А сейчас, когда остался цел, все равно, задним числом, страшно. И непонятно — что писать об этом рейде.

«Вот когда она уедет обратно в Ташкент, тогда и напишу. А может, не уедет? Но как она может не уехать, если там мальчик? Не могла же она сразу приехать с ним, значит, на кого-то оставила. Не хочу думать об этом: уедет не уедет, мальчик... Когда увидимся с ней, тогда и будем думать, а сейчас — бессмысленно, потому что все равно ничего не способен без нее решить»,— с ожесточением подумал он и, прислонившись к переборке — не спиной, которая все-таки болела, а левым плечом — так было удобней,— вытащил из полевой сумки тетрадь и карандаш.

Чем гадать, как все будет, лучше сейчас пересилить себя, чтобы на те дни и часы, которые она еще проживет в Москве, отрубить себя от войны, не быть в долгу. Может, этим умением пересиливать себя и объяснялась его так называемая работоспособность, про которую привыкли говорить в редакции. Никакая это не работоспособность, а просто нелюбовь быть в долгу!

Он раскрыл и перегнул тетрадь и, привычно подложив под нее на колено полевую сумку, заставил себя писать. Долг был важный, потому что тот разговор с Ефимовым, который он так до сих пор и не записал, был необычным. Ефимов и в былые времена разговаривал с ним откровенно, но на сей раз откровенность была из ряда вон выходящая, и разговор сидел в голове — весь, от начала до конца.

Было все это в первую их встречу, здесь в Белоруссии, после того, как не виделись с весны сорок третьего, с Северного Кавказа. Ефимов обрадовался, даже обнял, но разговаривать не

стал — куда-то уезжал; сказал, что поговорят ночью, за ужином, когда дела — с плеч долой.

Наступление армии за три дня до этого приостановилось, принимали пополнение и ждали подхода танков и артиллерии из резерва главного командования.

Ужинали вдвоем, с коньяком, и Ефимов, обычно пивший одну рюмку, на этот раз выпил пять или шесть. Сначала расспрашивал Лопатина, где был и что делал; две из запомнившихся за это время корреспонденций в «Красной звезде» похвалил, а одну обругал: сказал, что война в ней выглядит проще, чем есть. Потом сказал, что артиллерии снова, как и в начале наступления, подкидывают много, сколько на Северном Кавказе и не снилось, и снарядов будет предостаточно. Такая мощь, что, имея ее, постыдно не сделать всего, что предстоит. И, выпив еще рюмку, вдруг помрачнел:

— Вот только воевать кем? Раньше, бывало, кем воевать — есть, а чем воевать — нет. А сейчас иногда выходит — чем воевать есть, а кем... Ездил сегодня из дивизии в дивизию, лично знакомился, какое получили пополнение. Оставляет желать лучшего. — Ефимов дернул контуженой головой. — Много стариков — в том смысле, что нашего с вами возраста. Много юнцов — с двадцать седьмого года. Есть, конечно, в пополнении и наш золотой фонд — бывалые, из госпиталей, но при всей их готовности воевать и дальше глядишь и думаешь: «Есть ли на тебе крест — радоваться, что они, раненые-перераненые, опять к тебе, слава богу, явились?!» — Он вздохнул и снова дернул головой. — А приходится радоваться, ничего не поделаешь! И нет такого права даже после трех ранений сказать ему: «Отдохни, ты свое на передовой сделал! Теперь другие доделают, а ты побудь где полегче, хотя бы в полковых тылах».

Он замолчал и долго смотрел на Лопатина, словно еще раз примеряясь — говорить или не говорить до конца все, что хотелось.

И, примерившись, все-таки сказал то, что Лопатин теперь, хотя и сокращая, но так, чтобы потом все самому было понятно, записывал в дневник.

— Конечно, за все, что раньше — тут или там — не так делалось, не вы, а мы — генералы — первые ответчики, кому ж еще! Но все же и вы, корреспонденты, писатели, особенно те, кто с первых дней и давно уже не только штатские, а и военные люди,— тоже не без греха. Вспоминаю по газетам, что вы — не лично вы, а вообще, да и вы тоже,— бывало, писали про наши дела и в весну сорок второго, и осенью, да и в сорок третьем тоже, особенно про те фронты, где подолгу в обороне

стояли или на месте топтались,— то и дело писали про нас, как мы геройски наступали в разных частных операциях, как из болота на гору лезли или с открытого поля опушку леса брали. А задумывались ли над тем, почему так часто наступали с невыгодных исходных позиций? Войну вы видели, но недостаточно над ней думали. Так задумайтесь хоть теперь: кого ни спросишь о тех временах, из солдат или младших офицеров,— странное дело! — в памяти у солдата чаще всего, что он лежит в низине, а немец на высотке; он перед деревней, а немец в деревне; он под горкой, а немец на горке; он в болоте, а немец на опушке. Почему? География, что ли, такая необратимая? Фронт-то длинный, почему не так на так? В одном месте — мы на горке, а они в болоте, а в другом — наоборот. В чем тут дело? Не задумывались? А надо бы! А немцы — сами, наверное, помните,— если столкнули их с горки, выгнали из деревни, в низине не встанут, в болоте не заroются. Отступят еще на километр-два, до господствующей высоты или населенного пункта. А мы, раз они отступают — вперед! по самое никуды! Вот так и получалось. Они в деревне, мы — перед ней; они на высоте — мы в болоте. А зачем он нам был — этот километр болота? Что он нам давал для будущего наступления? Да мы сейчас, в это наступление от Могилева и Витебска, уже где на четыреста, а где и на пятьсот километров шарахнули! В Польшу ворвались, к Восточной Пруссии подходим. И какая, спрашивается, разница — с чего мы все это начали, на километр западней стояли или на километр восточней? Бывает, конечно, обстановка: плацдарм на том берегу, когда — умри, а стой, потому что до зарезу надо для будущего. Думаете, я кому-нибудь позволю поставить под сомнение святость слов «ни шагу назад»? Я их с Одессы и Севастополя знаю. Но эти слова — бесповоротные! Эти слова не для того, чтобы швыряться ими по поводу каждого болота, хаты или отдельного дерева, от которого — ни шагу назад! Знакомился сегодня с пополнением, а в душе ярость, не на кого-нибудь — на самих себя! Чем дальше идем вперед, тем горше за прошлое, за то, что мы «ни шагу назад!» слишком часто говорили не по делу. Принимал пополнение, а это — как гвоздь! Разные, конечно, есть среди нас, начальников,— и больших, и малых: одни раньше за ум взялись, другие позже. Одни способны были доложить наверх и доказать или претерпеть за это; другие — не умели или страшились. Но ведь были и такие, что не желали. Лежит у него солдат в болоте — и лежит, и сам он к этому солдату ходит, и сам вместе с ним в болоте гниет, и со своей жизнью так же не считается, как с солдатской. А что тут хорошего? Какая доблесть? Думаете, не помню, как панику пресекал, бегущих останавливал? Как ни

горько, а было, что вот этой рукой — на месте клал. Но когда мог солдата хоть немного от смерти сберечь, дать время поглубже закопаться, ход сообщения к нему подвести — мог, а не сделал, — не прощаю этого ни другим, ни себе, потому что и сам бывал повинен. И тем более не терплю, когда сейчас, на четвертом году войны, какой-нибудь хлюст, имея право, а то и мое прямое разрешение отойти на удобную, грамотную позицию, кобенится, что удержится и там, куда по собственной дурости залез! Может быть, и удержится на солдатских костях, а то и на своих, но все равно хочется сказать ему — сукин ты сын!

Так говорил в ту ночь Ефимов и напомнил об этом Лопатину позавчера, когда прощались.

Наверное, не раз за войну выкладывал по частям это, накопившееся, с кем-то спорил, кого-то ругал, на кого-то досадовал. И Лопатин не раз за войну слышал, как касались этой темы и другие люди: одни — пооткровенней, другие — поаккуратней. Но такую безоглядную генеральскую исповедь, такой сгусток выстраданного — кулаком в душу, в чужую и в собственную, — пришлось ему слышать за войну впервые. Поэтому и записывал ее сейчас как можно ближе к тому, как помнил, платя долг, — не Ефимову, а войне, всему пережитому на ней, всей той ее правде, которая была бы неполной без этого, так же как и без позавчерашних слов Ефимова про немцев и Восточную Пруссию.

Самолет накренился, начиная разворот, и Лопатин увидел через иллюминатор близко, почти под собой, коробки взорванных и сожженных домов на окраине Минска.

Он сунул тетрадь в полевую сумку. Наверное, можно было не писать так безотрывно, можно было продолжить и потом, по дороге в Москву, но, увидев под собой развалины Минска, он был рад, что покончил с этим еще до посадки. Минск, куда он тогда, в сорок первом, попал на четвертые сутки войны, была первая, самая первая его боль. И то, о чем вспоминал Ефимов, тоже связано с этою первой болью. Будь начало войны другим, многое на ней было бы по-другому.

«Дуглас» сел на знакомом летном поле. Отсюда после освобождения Минска Лопатин отправлял в Москву с оказией свою первую за эту командировку корреспонденцию.

Летчик со штурманом вылезли первыми и пошли через поле к оперативному дежурному.

«Будет ли и дальше погода? — вместе с другими спустившись на землю, чтобы размяться, снова подумал Лопатин о Нике и о том, когда он ее увидит. — Не застрянут ли они теперь, чего доброго, здесь, в Минске?»

Почему-то, когда вылезешь из самолета и растянешься на траве, если это лето и есть трава,— непременно потянет сорвать и пожевать былинку. Так он и сделал: растянулся навзничь, сорвал былинку, засунул в рот и стал жевать ее, глядя в серое, бессолнечное небо. Видимость пока была хорошая. «Скорей бы дали»,— снова подумал он о погоде и, почувствовав, что и лежать на спине тоже больно из-за ссадин, повернулся на бок. Повернулся — и увидел стоявшего над ним знакомого человека, которого меньше всего ожидал увидеть здесь. Иронически поглядывая на Лопатина и раскачиваясь на своих коротеньких кривоватых ножках, над ним стоял военный корреспондент «Известий» Петр Иванович Беляшкин.

— Здорово, Ревекка. Откуда ты здесь очутился? — Лопатин сел, протягивая Беляшкину руку и невольно улыбаясь, как улыбались всегда и все, кто в шутку называл Петра Ивановича этим в начале войны прилипшим к нему прозвищем. «Ревекка» — было смешным сокращением от слов «ровесник века». Родившийся первого января 1900 года, Петр Иванович, на свое несчастье, когда-то сам отрекомендовал себя так кому-то из корреспондентов, и с тех пор и появилась эта «Ревекка», вызывавшая улыбку еще и потому, что Петр Иванович был слишком очевидный русак для такого прозвища.

— Здорово, здорово. — Петр Иванович ловко — он все делал ловко — сел напротив Лопатина на землю по-турецки между стоявшими до этого у его ног большим, доверху набитым вещевым мешком и маленьким чемоданчиком. — Уже пять минут смотрю на твое озаренное какой-то небесной мыслью лицо и жду, когда дожуешь траву.

— Небесной, говоришь? — спросил Лопатин.

— А что — нет?

— Наверное, да. Лежал, думал, долетим ли сегодня до Москвы. Дадут ли погоду.

— Кто ее знает. Но раз с нами начальство полетит, погода обязана быть.

— А кто? То-то мы сели здесь.

— Начальник тыла воздушной армии. Вчера, пока летели с ним из штаба фронта, у нас один мотор забарахлил, и сели здесь. Из-за этого вас сюда и подрулили. Взять его, а заодно и меня.

— Где ты ночевал? В Минске? — спросил Лопатин.

— Нет, не потянуло, да, наверное, и негде. Переспал тут у «кукурузников», в эскадрилье связи, они на другом конце этого же летного поля базируются. А с утра пораньше пошел в лес — грибы собирать. Грибов много, а тары мало. На кухне картонку из-под консервов взял, да еще в свой котелок набрал. Крупные

потом даже повыкинул, оставил — один к одному — только боровики. — Он вкусно причмокнул. — Прилечу в Москву, замариную на скорую руку. Если хочешь, могу оделить.

— Одели,— подумав о Нике, сказал Лопатин,— а во что?

— Так и быть, отдам котелок. С возвратом, принесешь в редакцию. Котелок тот самый, с начала войны,— помнишь?

— Хозяйственный ты!

— На том стоим.

Войну они оба встретили тут, в Минске; вместе пешком добирались до Могилева, и Лопатин оценил тогда не только хозяйственные способности Петра Ивановича, но и другие его достоинства. Хотя Лопатин, если считать Халхин-Гол и финскую, оказался уже на третьей войне, оружием он тогда, в начале ее, строго говоря, не владел. А Петр Иванович, провоевавший гражданскую красноармейцем и помкомвзвода, владел, и отлично. И это в первую же неделю войны, когда шли к своим, спасло их обоих. Для Лопатина на всю войну потом осталось уроком, и как он сам выпустил тогда из нагана весь барабан попусту в белый свет, как в копеечку, и как Петр Иванович залег с винтовкой и хладнокровно отстреливался, а потом так же хладнокровно выждал момент, чтобы выползти и спастись вместе с Лопатиным. Такие уроки не забываются, и Лопатин помнил его так же, как и другие уроки истинного хладнокровия, которые молча преподал ему тогда Петр Иванович.

А познакомились они еще задолго до войны, работая в выходившей тогда занозистой газете, называвшейся «За индустриализацию» и чем-то похожей в те мирные, но горячие дни на «Красную звезду» — и теперь, в военные.

Петр Иванович перешел потом в «Известия» и всю войну писал в них не броско, но основательно, и всегда о том, что видел своими глазами. Насчет этого — своими или не своими — у Лопатина был нюх, основанный на собственном опыте, и, читая время от времени корреспонденции Белянкина, он радовался, что один из самых милых людей, с которыми сталкивала его судьба, по-прежнему жив и здоров на этой длинной войне.

— А вообще-то в Минске после освобождения ты был или не был? — спросил Лопатин.

— Нет. Сначала застрял под Бобруйском, пока там «котел» ликвидировали, а потом так и не попал.

— Теперь надолго в Москву?

— Не знаю. Наверное, ненадолго. — Петр Иванович стесненно улыбнулся: — Вызвали через редакцию в ваш Союз писателей. Надумали вдруг принять нескольких человек из нашего брата — меня и... — Он назвал еще две фамилии.

— Рад за тебя, давно пора,— сказал Лопатин. — Гурского еще в прошлом году приняли.

— Что приняли — правильно, хотя не люблю я, по правде сказать, твоего Гурского.

— Почему?

— Больно уж он выламывается, что умней всех на свете. Допустим, так, но выламываться-то зачем? Тем более умному человеку. Не люблю его за это, хотя ты и питаешь к нему слабость.

— Почему слабость? Слабость — это когда любят человека, которого не за что любить.

— А тебе есть за что?

— Мне — да. А вообще-то, конечно, другим — не обязательно,— добавил он, вспомнив, как умеет, а иногда и любит Гурский оборачиваться к людям отнюдь не ангельскими сторонами своей натуры.

— Неудобно как-то с этим вызовом,— сказал Петр Иванович. — Говорят, для приема полагается, чтобы хоть одна книжка была, а у меня — какая книжка? Все в газете.

— Ничего, раз вызвали, значит, по военному времени обойдутся и без книжки. Неудобно не тебе, а тому, кто в призывном возрасте пасется где-нибудь в эвакуации вместе со всеми своими довоенными книжками — пусть их не одна, а десять!

— А если вдруг все-таки, раз я без книжки... — начал было Петр Иванович, но, не договорив, повернулся: — Похоже, что погоды пока не дали.

С того конца летного поля, из дежурки, явно не спеша, сдвинув на затылок фуражку и поглядывая по сторонам, возвращался один летчик, без штурмана.

Недовольно объяснив сгрудившимся ему навстречу пассажирам, что перед Москвой сплошной грозовой фронт и теперь погоду дадут или не дадут только через два часа, он пошел разговаривать со своим механиком.

С этого началась та знакомая Лопатину аэродромная маета, когда уже не живешь, а ждешь. Через два часа погоды снова не дали. Потом самый нетерпеливый из пассажиров, к тому же еще и старший по званию, пошел выяснять сам и, вернувшись, сказал, что погоду вот-вот дадут. Но ее снова не дали, а когда все-таки дали, то уже не хватало времени засветло сесть в Москве, и вылет перенесли на утро.

Обстоятельный Петр Иванович, еще среди дня сказавший, что так оно все и выйдет, заранее настроился на ночлег, сходил к «кукурузникам», отдал там на кухню грибы и, пока никого другого не набежало, сговорился насчет двух, как он выразился, «лежачков» для себя и Лопатина.

Лопатин, наоборот, до последней минуты надеялся на вылет. Но ничего не поделаешь — пешком в Москву не пойдешь. Оставалось укротить свое нетерпение и поблагодарить «ровесника века» за предусмотрительность, а «кукурузников» — за гостеприимство.

И день и вечер тянулись долго. Поужинав картошкой с грибами, перед сном вышли на воздух и присели на лавке покурить.

— А как ты все же чувствуешь себя после всего этого? — спросил Петр Иванович, за ужином услышавший от Лопатина о передряге, в которую тот попал с танкистами. — Крепишься или в самом деле нормально? Что-то, вижу, тебя ко сну не тянет.

— Отчасти креплюсь, а в целом — нормально, жаловаться грех. Но не спится — это ты прав. В первый день завалился, как мешок, не раздеваясь. А потом обе ночи, и вчера, и сегодня, наполовину спал, наполовину — крутился. И сейчас — ни в одном глазу. Вдобавок ко всему спина зудит.

— Зудит — это хорошо, подживает,— сказал Петр Иванович,— только не ерзай, не трись об стенку, как лошадь, хуже будет. Сиди, а я спать лягу. — Он бросил и примял сапогом окурок. — Светать начнет — схожу по вчерашним местам, возьму до отлета еще боровичков, сколько успею. А досплю в самолете!

— Смотри не прогуляй вылет.

— Не прогуляю, как услышу, что моторы гоняют,— прибегу.

Лопатин лег через час после Петра Ивановича, но заснул только под утро, уверенный, что сладко храпевший на соседней койке «ровесник века» проспит свои грибы.

Однако, как выяснилось, Петр Иванович не проспал. Открыв глаза, Лопатин услышал на аэродроме гул моторов и увидел Петра Ивановича, который, развязав его вещевой мешок, готовился засунуть туда свой круглый объемистый котелок, полный мелких грибов. Несмотря на трехлетний стаж, котелок был до удивления чистенький, как и все, что было у Петра Ивановича — и на нем, и при нем. На надраенном — не то кирпичом, не то шкуркой — котелке были аккуратно и глубоко выгравированы инициалы: П. И. Б. Пристроив котелок, Петр Иванович сверху, чтобы не высыпались грибы, обвязал его белой полотняной тряпочкой.

— Сразу кладу тебе в сидор, чтобы потом не отдумать. Пожарить-то их есть у тебя кому?

— Наверно, есть,— сказал Лопатин и, поймав удивленный взгляд Петра Ивановича, ничего не добавил.

Погоду дали в восемь утра, но вылетели не сразу, потому что не прибыло ночевавшее в Минске начальство, а с ним и часть пассажиров.

Лопатин с Петром Ивановичем, от греха, чтоб не оказаться в лишних, не стали пастись у самолета, а с разрешения летчиков залезли внутрь заранее, за полчаса до того, как началась общая посадка.

Рослый пожилой полковник — начальник тыла воздушной армии, мимоходом кивнув Петру Ивановичу, прошел в кабину к летчикам, пассажиры — старые и новые,— расталкивая друг друга, расселись по скамейкам, стрелок-радист втянул внутрь лесенку, захлопнул дверь, и самолет, прокрутив моторы, запрыгал по полю.

Петр Иванович, как только взлетели, привалился к плечу Лопатина и заснул, оставив его наедине со своими мыслями о том, что ждет его в Москве.

Лопатин думал о том, что слишком многого не знает. Так вышло, что он не знает даже имени ее сына. Это было не более нелепо, чем многое другое в его жизни,— но тоже нелепо. Она знает имя его дочери, потому что он когда-то сказал ей в Ташкенте, что его дочь тоже Нина. А он не знает имени ее сына, потому что она не сказала, а он не спросил, и надо будет спрашивать это у нее теперь, когда она приехала в Москву. И в этом будет неловкость, и, наверное, только одна из многих, которые им предстоит преодолеть при встрече.

В июне, в последнюю ночь перед отъездом на фронт, он долго колебался, но все-таки написал дочери о возможной перемене в своей жизни. Ему показалось несправедливым — при той вере в него, которая была у дочери,— не написать ей заранее, на что он решился.

Тридцатилетняя женщина с десятилетним мальчиком и семнадцатилетняя девочка, никогда раньше не знавшие друг друга,— как все это будет? И вообще как все будет? Разве даже теперь, считая оставшиеся до встречи часы и минуты, он знает, как все будет? Просто он уже не может представить себе свою жизнь такой, какой она была, представить себе и дальше то одиночество, в котором он жил. Он не желает больше этого одиночества. Вот и все, что он знает!

— Скоро Москва, только что смотрел — над Можайском прошли,— сквозь шум моторов крикнул ему в ухо проснувшийся Петр Иванович.

— В самом деле? — Лопатин боком подсунулся к иллюминатору, но Можайска уже не увидел. Под крылом было шоссе и два медленно ползущих по нему к Москве грузовика.

«Если, как говорили, сядем во Внукове,— подумал он,— то осталось всего семьдесят пять километров, еще минут двадцать — и будем на земле».

И вдруг представил себе невозможное: что они вылезают из самолета, а там, на земле, стоит и ждет его Ника. Стоит и ждет, в ушанке и перепоясанной офицерским ремнем вытертой цигейковой шубе. Такая, какой видел ее в последний раз в Ташкенте, когда она сказала: «Пойду»,— и пошла от него по перрону, а он смотрел ей вслед. Такой представил себе ее и сейчас, летом, на аэродроме. И никакой другой так и не смог представить.

Конечно, она не ждет его там, во Внукове, и не может ждать, и ей неоткуда знать, когда и на чем он может прилететь, этого и в редакции никогда толком не знают. И глупая мысль об этой несбыточной встрече — только от нетерпения и тревоги за будущее.

Те полтора года, которые он ее не видел, все-таки как пропасть, в которую и заглянуть страшно. А мост через нее только два письма ей от него и одно письмо ему от нее, и эта телеграмма в кармане гимнастерки, чуть не убитая вместе с ним всего-навсего три с половиной дня тому назад.

— Все, садимся,— сказал Петр Иванович. — Подозреваю, что тебя не встречают из редакции?

— Не имеют такого обыкновения.

— Меня тем более. Может, к начальнику тыла подгребем? Его, наверное, встречают. Вдруг подкинет!

19

И все-таки первой, кого увидел Лопатин, прилетев в Москву, была Ника. Они сели не во Внукове, а на Центральном аэродроме, на Ленинградском шоссе, и когда шли вместе с Петром Ивановичем, каждый со своим чемоданом и сидором, от самолета к дежурке, тот на полдороге окликнул его:

— Вася! По-моему, тебя встречают. «Эмка» и около нее ваш Степанов. Тебя, кого же еще!

У маленького двухэтажного домика действительно стояла «эмка» и возле нее Лева Степанов, но Лопатин едва успел заметить все это, потому что увидел стоявшую рядом со Степановым женщину и, уже не видя никого и ничего, кроме нее, пошел к ней.

На ней, конечно, не было ни старой цигейковой шубы с офицерским ремнем, ни ушанки, в которых он ее помнил, но это была она — в ситцевом платье и косынке, которых он никогда на ней не видел, и с сумочкой в руке.

Когда он подошел ближе, она, до этого неподвижная, сорвалась с места и, пробежав несколько шагов, обняла его, закинув ему за спину левую руку с сумочкой, а правой, как потерянного ребенка, обхватив за голову, ткнулась губами в губы, в щеку и снова в губы и, уронив голову ему на плечо, горько — так ему показалось,— горько заплакала.

— О чем вы плачете? Я так рад вас видеть,— сказал он.

— А я тебя,— сказала она, продолжая плакать.

И только тут он опустил на землю вещевой мешок и чемодан и обнял ее, одновремено ощутив, как она крепко прижалась к нему грудью, и почувствовав своими прикоснувшимися к ее спине пальцами, как она похудела.

— Зачем же вы плачете? — все еще на «вы» повторил он.

— Я так боялась, что тебя убили. Никогда еще так не боялась,— сказала она и, оторвавшись от него, неловко шмыгнув носом, ладонью вытерла слезы и снова подняла на него свои уже не заплаканные и постаревшие, а прежние, чуть-чуть прищуренные, готовые улыбнуться, глаза.

Он оглянулся и увидел Петра Ивановича, который с чемоданом у ног и вещевым мешком за спиной, насмешливо скрестив руки на груди, стоял и ждал, что будет дальше.

— Познакомься, моя жена,— неожиданно для себя сказал он Петру Ивановичу, глядя в глаза Нике и не испытывая чувства вины перед ней за свою внезапную решимость.

— Очень приятно,— церемонно поклонился Петр Иванович и протянул ей руку.

Но она сказала: «Сейчас!» — и стала рыться в сумочке и, только вытащив оттуда платок и еще раз вытерев заплаканное лицо, подала руку:

— Здравствуйте.

— Белянкин, Петр Иванович,— все так же церемонно сказал Петр Иванович, пожимая ей руку.

— Спасибо тебе, Лева, что встретил! — сказал Лопатин и обнял Степанова, который до этого выжидающе стоял поодаль и лишь теперь подошел к ним.

— Это вам спасибо, Василий Николаевич, что вернулись с того света в наши редакционные объятия. И притом в полном порядке,— улыбаясь, сказал Лева. На разницу в возрасте в редакции не взирали, и он был один из немногих, кто звал Лопатина на «вы».

— Поехали! Редактор приказал — прямо к нему.

— Меня до «Известий», рассчитываю, по дороге подбросите? — спросил Петр Иванович.

— Если обещаете фитилей нам не вставлять — подбросим! — сказал Лева Степанов.

— Какие там фитили! Разное видели, о разном и напишем.

Пристроив в ногах чемодан и вещевой мешок Лопатина, втроем втиснулись на заднее сиденье «эмки», а Петр Иванович с его здоровенным вещевым мешком, который он переложил себе на колени, сел вперед. За рулем оказался сам завгар редакции Капитонов.

— Видите, с каким почетом вас встречаем,— сказал Лева Степанов.

— Все в разгоне,— объяснил Капитонов.— Звонят «давай», а ни одной машины! Принимал эту от слесарей из ремонта — прервал и поехал. Чего-то мне у ней левая рессора не нравится.

Человек самолюбивый, и притом имевший звание техника-лейтенанта, завгар счел нужным сначала объяснить, почему оказался за рулем, и лишь после этого спросил:

— А как там Василий Иванович? Не пострадал?

— Не пострадал,— сказал Лопатин, после этого вопроса окончательно поняв, что о случившемся с ним уже известно в редакции.— Кстати, отдайте его семейству.— Протянув завгару записку Василия Ивановича, он виновато, напоминая о себе, прижался плечом к плечу Ники, тепло которого все время чувствовал.

Пока ехали от аэродрома до Пушкинской площади, Лева Степанов объяснил Лопатину, как вышло, что они его встретили. Оказывается, Гурский вчера еще утром, едва проводив Лопатина, отбил с узла связи штаба фронта подробную телеграмму редактору обо всем происшедшем и сообщил номер борта самолета.

— Вчера я один ездил встречать. Нину Николаевну не брал с собой, только позвонил — Гурский мне телефон дал. А сегодня вместе поехали, потому что наверняка. Это вам повезло, что с их начальником тыла летели; в таких случаях они тут на месте все знают, не как с нами, простыми смертными, когда мы летаем. Позвонил им, заехал за Ниной Николаевной, и вышла встреча, я считаю, по первому классу — сам завгар за рулем! Нина Николаевна в момент собралась, по-военному. Подъехал, а она уже внизу ждет! — улыбаясь добавил Лева, которого по молодости лет бескорыстно веселило, что их старого хрыча Лопатина сегодня встречала, обнимала и целовала на аэродроме эта не такая уж молодая, но все же сравнительно молодая и еще красивая женщина.

Лопатин вспомнил, как в сорок втором этот же Лева Степанов сочувственно смотрел на него, когда он принес ему заверить подписью и печатью свое согласие на развод с Ксенией.

— Вот вы меня сейчас подвозите,— когда они уже приближались к Пушкинской площади, сказал Петр Иванович,— а я вспомнил, как в сорок первом, зимой, ваш редактор рано утром сам приехал на этот аэродром и лично пристроил лететь под Елец, на Юго-Западный, вашего корреспондента. Я — к нему: «Товарищ дивизионный комиссар, помогите, мне тоже до зарезу нужно!» А он мне: «Вот когда перейдете к нам в «Красную звезду», товарищ Белянкин,— на что заранее согласен,— тогда и буду вас в самолет сажать. А пока что позвоните вашему редактору, разбудите, пусть встанет с постели, сам приедет и вас устроит».

— Да,— сказал Лева Степанов,— это было в его духе. Теперь это у нас все в прошлом.

«Эмка» остановилась у Пушкинской площади, и Петр Иванович, уже вылезая, сказал Нике:

— Смотрите, не забудьте вы, а то он забудет: у него там в сидоре котелок с грибами. Пожарьте сегодня, до завтра — пропадут.

— Будет сделано,— сказала Ника.

— А котелок пусть возвратит. Котелок мой. Напомните ему.

— Обязательно напомню,— сказала Ника с той сближавшей их с Лопатиным обыденностью, словно это все само собой и разумелось.

Петр Иванович, закинув за плечи вещевой мешок, пошел через улицу Горького к «Известиям», а «эмка», один раз уже пропустившая зеленый свет, снова стояла перед красным.

— Сейчас мы вас подкинем,— сказал Лева Степанов Нике.

— А вы знаете, не надо. Поезжайте прямо в редакцию, раз вас редактор ждет, а я сойду и пойду, мне совсем близко. А ты позвони сразу, как освободишься, хорошо? И пропустите меня, а то я через вас не перелезу.

Они вылезли и пропустили ее.

— Только вот что,— сказала она, уже стоя на тротуаре.— Грибы мне дай с собой. Где они?

Лопатин послушно развязал мешок и отдал ей котелок Петра Ивановича.

— До свиданья. Спасибо вам большое за все, Лев Васильевич. И вам тоже спасибо,— кивнула она Капитонову и, взяв котелок и сумочку, не оборачиваясь, пошла своей, знакомой Лопатину, особенной быстрой походкой.

По лицу Левы было видно, как его подмывает спросить, действительно ли эта женщина выходит замуж за Лопатина, но Лева не спросил, удержался.

— Когда будете отдавать письмо домашним Василия Ивановича,— сказал Лопатин Капитонову,— объясните, что я сам на этих днях зайду, расскажу им про него.

— Что, подружились с ним за эту поездку? — спросил про Василия Ивановича Лева Степанов.

— Представь себе.

— Вы с ним или он с вами?

— Представь себе, и я с ним, и он со мной.

— По-моему, вы первый — во всяком случае, у нас в редакции.

— А наша редакция еще не весь свет,— сказал Лопатин.

Когда приехали в редакцию, оказалось, что редактора нет на месте: его неожиданно вызвали к начальству, но он уже звонил оттуда, спрашивал, не появился ли Лопатин, и сказал, что выезжает и будет через двадцать минут.

Эти двадцать минут ушли на хождение по редакционным коридорам, расспросы и разговоры о том, что же там, собственно говоря, произошло с Лопатиным и как именно он чуть не отдал богу душу. Один из спрашивавших поинтересовался, цел ли редакционный «виллис», будет ли на чем ездить Гурскому.

— Вот видишь, какой ты тип,— усмехнулся Лопатин.— Наш Капитонов тебе несколько раз по канистре бензина недодал, считал, что сам добудешь,— и он у тебя за это — уже казенная душа! А между прочим, эта казенная душа, цел ли «виллис», меня не спросила, спросила только, цел ли Василий Иванович. А ты, наоборот, не казенная душа, а инженер человеческих душ, но спрашиваешь про «виллис», а не про человека.

— Ну и ну, наш Капитонов, и вдруг про «виллис» не спросил! Согласись сам, что это удивительно!

— Соглашаюсь, удивительно! А что это за люди, в которых нет ничего удивительного! О таких не только писать, а и думать-то неинтересно.

— Ладно, посмотрим, что ты найдешь удивительного в нашем новом редакторе.

— Что-нибудь да найду. — Лопатин пошел дальше по коридору навстречу новым расспросам. Он чувствовал по ним, что на какое-то короткое время после телеграммы Гурского стал здесь в редакции героем дня, которого только что, и притом уже второй раз за год, чуть не убили. Он сознавал смешную сторону своего положения, но все равно сердце глупо екало от бессмысленной гордости, испытываемой человеком, про которого говорят, что его «чуть не убили». Екало, хотя он понимал, что слова «чуть не убили» — одни из самых бессмысленных, потому что всех, кто за три года войны так или иначе бывал под огнем, уже по многу

раз «чуть не убили». Только иногда, как сейчас с ним, это бывало для всех очевидно, а гораздо чаще так и оставалось никому не ведомым. Откуда ты можешь знать, почему за километр или за два от тебя кто-то взял не ту, а эту поправку к прицелу или нажал на педаль бомболюка на полсекунды позже, а не раньше, и это и есть то самое «чуть», из-за которого один продолжает жить, а другой — нет.

Похвалы притупляют здравый смысл. Однако за те двадцать минут, пока он походил по редакционным коридорам, Лопатин остатками здравого смысла все-таки осознал, что все это имеет и свою оборотную сторону; всеобщий интерес к случившемуся с ним, в сущности, значил, что такое не слишком часто происходит с их братом корреспондентом, и сколько ни приравнивай к штыку перо, а от повседневной солдатской доли все это ох как далеко!

Вернувшийся от начальства редактор встретил Лопатина, быстро встав из-за стола и успев дойти до середины кабинета. В тугом кителе, с ленточками трех орденов Красного Знамени, в туго натянутых на ноги, сиявших сапогах, с чуть-чуть высоковатыми, добавлявшими ему роста каблуками, был он без единой сединки — черноволос, черноус и на диво свеж для своих не таких уж молодых лет. Во всяком случае, выглядел намного моложе своего ровесника Ефимова.

— Очень рад наконец лично познакомиться с вами после того, как три года был усердным читателем всего, вами написанного. Прошу присаживаться. — Энергично пожав руку Лопатину, он указал ему на кресло у стола и сам сел в кресло напротив. Кресла эти были нововведением, раньше они тут не стояли; прежний редактор если не топтался у конторки или не бегал по комнате, то сидел за столом, нисколько не интересуясь, сидят или стоят те, кто к нему явился. Впрочем, чаще всего он сам или стоял или бегал, и если, пока он бегал, кто-то садился — тоже не обращал на это внимания.

Лопатин окунулся спиной в мягкое кресло, но почувствовал, что ему больно, и выпрямился.

— Спасибо на добром слове,— сказал он. — И привет вам от Ивана Петровича Ефимова.

— Благодарю,— сказал новый редактор. — Иван Петрович из числа моих былых сослуживцев по польскому фронту, шагнул дальше всех. И по заслугам. Уже знаю, что вы у него были, и вообще все о вас уже знаю. Как ваше самочувствие?

— Чувствую себя неплохо, товарищ генерал, но, если можно, хотел бы, прежде чем сесть отписываться, дня три-четыре отдохнуть.

— Разумеется. И рекомендую за эти дни посетить наш Центральный военный госпиталь, чтобы удостовериться, что вы действительно здоровы. Если для этого понадобится мое содействие — к вашим услугам! С вашего разрешения, на будущее — Михаил Александрович. Надеюсь, что предстоящим нам с вами служебным отношениям это не помешает, а без нужды ответно обращаться к вам по званию мне, признаюсь, не с руки.

— Слушаюсь,— сказал Лопатин, окончательно понимая, что для этого, не привыкшего командовать писателями, генерала он не майор, а писатель и, наверное, так оно и останется в дальнейшем.

— Как, Василий Николаевич, надеюсь, вы уже встретились с вашей невестой?

От внимания Лопатина не ускользнула маленькая заминка, которая вышла у нового редактора перед последним словом. «Наверное, вдобавок к возрасту еще и так хорошо выгляжу, что слово «невеста» плохо выговаривается»,— усмехнулся он над собой.

— Спасибо, встретились.

— Четверо суток в вашем распоряжении,— сказал генерал. — Он пододвинул к себе по столу блокнот, заглянул и что-то пометил. — После чего в это же время жду вас у себя, а ныне не смею задерживать.

Это он сказал, уже вставая.

— Ну, как новый? — спросил Лева Степанов, когда Лопатин зашел в его комнатку по соседству с редакторским кабинетом.

— Не знаю, каким будет за редакторской конторкой, а так, по первому впечатлению, воспитаннейший человек, даже, пожалуй, слишком — для нашего брата.

— Вот именно,— сказал Лева. — Некоторые уже разбалтываться стали. Но первый выговор в приказе вчера влепил.

— А за конторкой стоит? Полосы читает?

— И стоит, и полосы читает; в меру сил стремится сохранить преемственность. Будете звонить ей?

— Да. — Лопатин повернул и пододвинул к себе телефон, но Лева остановил его:

— Погодите! Сначала не хотел говорить при ней, а потом закрутился и забыл! Вам письмо от дочери. Вчера пришло.

— Давай! — снимая руку с телефона, сказал Лопатин. Как ни хотелось скорей позвонить Нике, но что-то заставляло сначала прочесть письмо дочери — так, словно без этого нет права звонить.

Письмо было большое и начиналось совсем не с того, с чего ожидал Лопатин, а с того, как она кончала школу. Кончила хорошо, но тон письма заставил Лопатина почувствовать, что далось ей это нелегко,— наверное, поездка в Москву выбила из колеи. Да и странно, если б не выбила. В письме присутствовал оттенок торжества, она была довольна собой — и тем, что все сдала, и тем, что уже на пятый день после этого поступила на курсы медсестер,— все как собиралась и как говорила ему в Москве.

Вслед за этим шла страница про домашние дела. Писала о тетке как о человеке, оставшемся на ее попечении, а о себе — как о главной в доме и заключала эту часть письма немного даже нахальной фразой: «Тетя Аня не спорит и слушается меня, когда я требую, чтоб она следила за своим здоровьем».

«Да, плохо дело, если она стала кого-то слушаться,— подумал Лопатин о своей старшей сестре. — Есть в этой покорности что-то опасное, какие-то признаки разрушения личности; обратимые или необратимые — убедиться в этом можно, только поехав и увидев ее, выполнив наконец этот свой долг перед нею, так и не выполненный за всю войну. И если разрешат обстоятельства, надо слетать туда сразу, в этом же месяце, как только он отпишется за поездку на фронт».

Ответ на его вопрос, с которого, как он ждал, должно было начинаться письмо дочери, оказался в самом конце и занял всего несколько строк.

«Извини, пожалуйста, папа, но, по-моему,— я даже обиделась,— по-моему, даже глупо спрашивать меня, как я могу ко всему этому отнестись! Я же всегда думала, что у тебя что-то наконец будет, это же вполне нормально,— писала она так, словно говорила с ним как с входившим в возраст ребенком. — А раз ее мальчику только десять лет, то, если даже он вдруг окажется не совсем так воспитан, как ты считаешь нужным, я уверена, что ты с этим справишься. И вообще, неужели ты не понимаешь, что я хочу только одного — чтобы у тебя было все хорошо, а больше ничего не хочу»,— самоотверженно заключала она письмо.

«Да, барышня с характером,— дочитав до конца, с благодарностью подумал Лопатин о дочери. — Отчасти и с фамильным. Как у ее тетки в былые времена. Конечно, если думать серьезно — а думать придется серьезно,— сейчас никто: ни эта барышня с характером, ни ты сам, ни Ника с ее сыном,— никто заранее не может знать, как сложатся все эти будущие отношения». И, однако, письмо дочери снимало камень с души. Как постепенно выяснялось, она росла сильным человеком. И как ни трудно иметь

дело с сильными людьми, а все же лучше, чем ни то ни се. Может, для кого-то и не так, но в таких делах неоспорим только опыт собственной жизни.

Он снял трубку и, показав деликатно поднявшемуся из-за стола Леве, что тот может и не уходить, набрал номер.

— Да? — сказала в телефон Ника.

— Я уже освободился.

— А я уже почистила грибы. Через сколько времени ты будешь? — И что-то неуловимое в ее голосе сказало ему, что она там, у Зинаиды Антоновны, стоит и говорит по телефону одна в пустой квартире.

— Постараюсь как можно быстрей.

Он хотел положить трубку, но она спросила:

— Тебе удобно говорить со мной?

— Да, конечно,— сказал он, снова остановив глазами вопросительно смотревшего на него Леву.

— Если ты собираешься заходить к себе домой, сегодня не надо — завтра. Я здесь одна,— сказала она, словно угадала только что подуманное им.

— Хорошо. — Он положил трубку.

— Доверши благодеяние, Лева, добудь мне еще на двадцать минут машину.

— Уже добыл. Точней, имею в наличии. Пока вы шли от меня к редактору, он позвонил, чтобы вас доставили на его машине, куда вам потребуется. — И, радостно стиснув обеими руками руку Лопатина, не выдержал, добавил: — Дай вам бог и сегодня, и вообще. Просто завидую вам, что такая прекрасная женщина.

«Такая прекрасная женщина... Такая прекрасная женщина»,— повторял про себя Лопатин, спускаясь по знакомой старенькой, тесной редакционной лестнице с третьего этажа на первый. Повторял, казалось, бессмысленно, а на самом деле — начиная неясно пугаться того, как удивительно, необъяснимо, небывало хорошо складывался у него весь этот первый день в Москве.

Взяв оставленные внизу у вахтера чемодан и вещевой мешок, он вышел во двор, где стояла незакамуфлированная, как все остальные в редакции, а незнакомая новенькая черная «эмка» с незнакомым водителем.

— Я не ошибся? — спросил он, открывая дверцу.

— Если вы товарищ Лопатин, то не ошиблись, все правильно,— ответил водитель. И когда Лопатин сел рядом с ним, сунув на заднее сиденье вещевой мешок и чемодан, спросил: — Куда вас?

— Сначала на десять минут на улицу Горького, а потом — там же, совсем близко, в переулок, в Брюсовский, знаете?

Шофер кивнул и тронул с места.

Хотя Лопатин сказал ей по телефону «хорошо!», но, уже говоря это «хорошо», он знал, что все равно должен заехать домой, только не хотелось объяснять ей этого по телефону. Все-таки, прежде чем увидеть ее, ему хотелось знать, живет или не живет сейчас там, в их квартире, его бывшая жена. Правда, Гурский позавчера сказал, что Ксения еще в Ташкенте, но это было позавчера. А кроме того, и этого тоже не хотелось объяснять по телефону, ему нужно было кое-что выбросить из чемодана, а кое-что взять.

Когда подъехали к дому, он, оставив в машине вещевой мешок, взял чемодан и стал подниматься по лестнице. Все, что было связано в его памяти с этой лестницей и о чем он еще вспоминал, когда в начале июня вместе с дочерью возвращался сюда из госпиталя, сейчас стало далеко до безразличия. Ему самому было почти все равно, живет или не живет сейчас там, в своей комнате, его бывшая жена. Другое дело, что это могло быть не все равно для Ники.

Войдя в квартиру и поставив на пол чемодан, он сразу же зашел не в свою комнату, а в ванную и, судя по тому, что там ничего не лежало и не висело, понял, что Ксении нет, а может быть, она за это время и вообще не появлялась тут.

Он поднял с пола чемодан и вошел с ним в свою комнату.

В комнате было душно, лето накалило ее, но он не стал открывать форточку — ему не хотелось делать ничего лишнего. Положив на тахту чемодан, он открыл его и вывернул все содержимое: две не влезшие в вещевой мешок банки консервов, банку сгущенного молока, выстиранное Василием Ивановичем, но неглаженое, изжеванное обмундирование с так и не отмытыми до конца пятнами крови, грязное белье, грязные носки и платки. Этого грязного белья он и стеснялся, его и хотел оставить здесь. Да и неотмытое обмундирование могло стать причиной лишних расспросов.

Банки с консервами и со сгущенным молоком он бросил обратно в чемодан и, достав из ящика, положил поверх них чистое белье и носки, которые ему постирала перед отъездом дочь.

От духоты в комнате белье в ящике было теплое.

Закрыв чемодан и оглядев все разбросанное по тахте, он завернул покрывавшую ее кошму так, чтоб из-под нее ничего не было видно. Они могли прийти сюда завтра вдвоем, и неловко, если она вот так увидит все это...

Через несколько минут «эмка» довезла его до дома Зинаиды Антоновны, он поднялся по лестнице и, поставив у ног чемодан и вещевой мешок, позвонил.

Дверь открыла Ника. Взяв его чемодан прежде, чем он успел помешать этому, она сказала, что уже спускалась вниз, чтобы встретить его и помочь, но ждать там внизу побоялась — вдруг у него что-то переменилось, он позвонит по телефону, а она не подойдет.

— У меня уже ничего не может перемениться,— сказал он, опустив на пол мешок и беря ее за руки. — Получил четыре дня отпуска от всего на свете. А как ты? Я считал дни, и у меня вышло, что тебе нужно чуть ли не завтра уезжать обратно.

— Нужно уезжать,— сказала она,— но не завтра, а послезавтра поздно вечером, и у нас с тобой, считая сегодняшний, почти два с половиной дня. Мне вчера удалось переменить билет.

— Я еще на аэродроме хотел спросить тебя, но не сумел при всех.

— А я с самого начала хотела сказать тебе и тоже не сумела.

Продолжая стоять, держа друг друга за руки, они оба улыбнулись этому.

— Вот так,— сказала она. — Явилась к вам по вашему приказанию. Так когда-то, очень давно, любил говорить мне мой первый муж; он же — отец моего сына.

Да, было все-таки в этой женщине что-то неукротимо правдивое, было даже в этих, с полуулыбкой сказанных, словах. В них вместилось сразу все — и напоминание о том, что у нее была своя, далекая от него жизнь, и что она не так уж молода, и не одна, а с сыном от первого мужа, и без стеснения высказанная вера в бесповоротность того, что происходило или уже произошло с ними обоими сейчас. Другая женщина не сказала бы в такую минуту «мой первый муж». А эта взяла и сказала.

— Почему ты задержался? Заезжал к себе домой?

— Да.

— Я так и подумала. Хотел проверить, нет ли там Ксении. За этим?

— Не только за этим, но и за этим.

— Я так и подумала,— повторила она,— я потом пожалела, что не сказала тебе по телефону, что Ксения еще в Ташкенте.

Они все еще стояли в передней, привыкая к тому, что снова видят друг друга.

— Ты встречалась с ней?

— Да. Вскоре после того, как получила твое письмо. Увидела ее — и сказала, что ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж и что я поеду к тебе, как только смогу. Я не хотела чувствовать себя виноватой перед ней, а если бы я промолчала, вышло бы так, словно я виновата.

— Она не удивилась? — спросил он.

— Кажется, нет. По-моему, вернувшись из Москвы, она окончательно поставила на тебе крест.

— А раньше не ставила?

— По-моему, нет.

«Да, наверное, и это правда,— вспомнил он свое последнее свидание с Ксенией. — Раньше все-таки не ставила — как старый вагон, держала где-то на запасных путях. А тут поставила».

Ника улыбнулась ему той своей особенной, так нравившейся ему полуулыбкой, которую он столько раз вспоминал за эти полтора года. Чуть сощурила глаза и полуулыбнулась.

— На кого ты оставила сына?

— Главным образом на самого себя, он самостоятельный и хорошо учится. Только школа очень далеко. А кормят его мои ленинградцы. Они еще не уехали, только собираются. Я купила им для него про запас то, что смогла, и оставила денег. Но все равно, конечно, беспокоюсь. Я и раньше уезжала в другие города, с выездными спектаклями, но, самое большее, на три-четыре дня. Так надолго я еще никогда его не оставляла.

— Как его зовут? — Лопатин пересилил себя и все-таки задал вопрос, который чем дальше, тем казался бы все нелепей. — К стыду своему, так до сих пор и не знаю. — Сказал «к стыду», подумав, что мог узнать это хотя бы у Зинаиды Антоновны.

— Его зовут, как тебя,— Васей. — Она снова полуулыбнулась. — Даже смешно: твою дочь — как меня, а его — как тебя.

Он обнял и поцеловал ее, и она полуответила коротким поцелуем, не отстранившись, но и не потянувшись к нему.

— Что ты хочешь сначала — поесть или помыться?

— Наверное, все-таки помыться.

— Очень хорошо. Сейчас я зажгу газ. Пять дней назад вдруг пришли и починили газовую колонку, и Зинаида Антоновна была так счастлива, что мылась весь день, с утра до вечера. У тебя есть чистое белье?

— Есть. Я за ним заезжал.

— Где оно, в чемодане?

— Да.

— Отпусти меня. Пойди в комнату и посиди, а я все тебе приготовлю.

— А где Зинаида Антоновна? — спросил он, не отпуская ее.

— Уехала третьего дня в Ташкент, чтобы самой сыграть в трех прощальных спектаклях и вернуться вместе со всей труппой.

— А ее Елена Лукинична? — спросил он.

— А ее Елена Лукинична уехала к себе в деревню, под Верею, к родственникам, копать картошку и привезти то, что дадут на ее долю. Я же тебе сказала, что я тут одна. Ты что, не поверил?

Он хотел сказать, что иногда бывает страшно поверить не только в плохое, но и в хорошее, но вместо этого виновато улыбнулся.

— Но если ты захочешь, мы можем завтра пойти туда, к тебе, и до моего отъезда быть там.

Он молчал. Он знал, что хочет сейчас только одного — чтобы она была и оставалась с ним.

— Ну так как же? Отпустишь меня? — спросила она.

И он отпустил ее, и пошел в комнату, и сел в то самое кресло, за то самое старинное бюро, за которым почти два месяца назад сидел и писал ей письмо.

И вот он снова сидел за этим бюро, благословляя тот день и час, когда сделал это, сидел и слушал, как она чиркает спичкой, зажигая газ, как пускает стучащую о дно ванны воду, как щелкает в передней замками его чемодана, доставая белье, как легко, чуть слышно — но все-таки слышно,— ходит из ванной в переднюю и обратно.

«Хочу, чтобы она была счастлива,— думал он, слушая ее шаги. — Хочу, чтоб она была со мной и была счастлива. Другое дело, может ли это быть? Будет ли она счастлива со мной?»

Он хотел, но не мог подавить в себе неприятную, оскорбительно-тяжелую мысль о своем возрасте, о тех семнадцати годах, которые разделяли их. Ему не хотелось об этом думать, но эта мысль все равно жила в нем, и выгнать ее было некуда. С Ксенией их тоже разделяло не так уж мало — десять лет. Но они были несчастливы с ней не поэтому. Он вспомнил, как вчера утром, пока он, раздевшись до пояса, умывался, Гурский, рассматривая его синяки и ссадины на спине, с оттенком зависти сказал:

— А все-таки, Вася, железное у тебя здоровье.

Воспоминание было утешительным, потому и вспомнил. Железное не железное, а последний раз болел малярией пять лет назад, когда возвращался с Халхин-Гола. И с тех пор — ни в финскую, ни в эту, ни зимой, ни летом — ни разу ничего, кроме ранений. И ранения тоже, даже последнее — потом, кто их знает,

могут и сказаться,— а пока не сказываются. А все-таки семнадцать лет — это семнадцать лет. Тогда, в Ташкенте, он почувствовал, что ей хорошо с ним. Но сейчас, после того как они не видели друг друга полтора года, страшно было подумать: а вдруг тогда это только показалось? Вдруг она просто очень хорошая, очень чуткая, очень нежно отнесшаяся к нему женщина? А то, что говорят, когда говорят о двух людях — что им друг с другом хорошо,— только показалось? Так хорошо было самому, что решил это и за нее.

— Что ты, что с тобой? — спросила она, открыв дверь и увидев его поднятые на нее глаза.

— Ничего,— солгал он. — Ровно ничего,— во второй раз солгал он, не радуясь, а пугаясь ее чуткости, только усилившей вспыхнувшую в нем тревогу. Как у нее просто и сразу вышло это «ты» там, на аэродроме! Он — «вы», а она — «ты», и бросилась к нему так, словно уже давно мысленно бежала навстречу.

Нет, все это не может быть обманом, а если и может — то только самообманом женской доброты, принятой ею за любовь.

Что-то в его лице продолжало тревожить ее — и не напрасно; угнетенный своими мыслями и своей неспособностью отвязаться от них, он уже не мог вернуться в то состояние безрассудной радости, в каком находился с первой минуты их встречи на аэродроме.

— Что не так? — спросила она. — Что-нибудь не так? Ты что-то вдруг вспомнил?

— Да, вдруг вспомнил,— сказал он, не объясняя что, потому что объяснять это было нельзя.

И на этот раз она, при всей своей чуткости, не поняла его, подумала про совсем другое — про войну.

— Я понимаю,— сказала она. — Мне Лев Васильевич, пока мы ехали на аэродром, рассказал про эту телеграмму, которую они получили. Я понимаю, как это страшно, когда все, с кем ты был, вдруг убиты и только ты один жив. Я, когда встречала тебя, приготовила себя даже к тому, что могу почти не узнать тебя, что тебе, может быть, даже трудно самому двигаться. Мы даже хотели подъехать на «эмке» прямо к самолету, но нам не разрешили.

— Было бы трудно двигаться — положили бы в госпиталь, а не отпустили бы к тебе в Москву,— сказал Лопатин. — И не я один жив, наш механик-водитель тоже жив, и, может быть, даже еще один человек жив. — Он вспомнил танкиста с оторванной ступней, которому меняли жгут там, на шоссе. — И незачем было Степанову вываливать тебе все это, тем более с преувеличениями. Вполне мог подождать и не трепаться.

— По-моему, он, наоборот, хотел успокоить меня.

— Вижу, как он тебя успокоил,— все так же сердито сказал Лопатин.

Она рассмеялась:

— Ну вот, наконец ты опять такой же сердитый, каким был там, в Ташкенте, когда объяснял им про войну.

— Конечно, сердитый,— сказал он. — Не терплю, когда преувеличивают. Отделался двумя ссадинами на спине, только и всего.

— Я там все приготовила, и ванну налила, и душ там тоже есть. Но может быть, тебе нельзя мыться?

— Можно и даже нужно. — Подойдя к ней, он наклонился и поцеловал руки — сначала одну, потом другую. — А если ты найдешь здесь в квартире йод, чтобы потом помазать мне спину, будет и вовсе хорошо.

— Найду, есть йод,— сказала она и, улыбнувшись, перевернула ладонью вверх свою левую руку, которую он еще продолжал держать. На ладони был маленький порез, только что или недавно помазанный йодом. — Я привыкла у себя в хозяйстве к острым ножам. А у Зинаиды Антоновны все тупые. А когда тупые, я с непривычки непременно режусь.

И он сделал то, чего ей хотелось: поцеловал ее в эту ладонь с порезом и с пятном йода, с трещинками и шершавинками на коже, с негрубыми, но давними мозолями. Поцеловал одну ладонь, а потом, перевернув, поцеловал другую, такую же, только без пореза и пятна йода; поцеловал и вспомнил, как мысленно увозил тогда ее с собой из Ташкента, всю ее — и эти чуть шершавые, с исколотыми иголкой подушечками пальцев руки тоже. И, оторвавшись от них, с комком в горле молча вышел из комнаты.

20

Они лежали вдвоем в чужом доме, в чужой постели со старинной, высокой, почти до середины стены, спинкой из выгнутого красного дерева. Лежали усталые и растерянные простотой и естественностью всего, что с ними происходило. Ника, с ее всякий раз заново продолжавшей удивлять его чуткостью, помогла ему расстаться с ощущением неловкости — и действительной, и придуманной от неуверенности в себе. Он был счастлив по ее вине и чувствовал себя в том неоплатном долгу перед нею, который, наверное, и есть любовь к женщине.

На висевших на стене и громко тикавших старинных длинных часах с маятником был только девятый час вечера, но уже начинало заметно темнеть, напоминая, что и нынешнее, четвертое лето войны, переломилось и пошло к осени.

Спина по-прежнему болела, но он все равно лежал на спине, потому что так было лучше и думать и говорить.

Она все-таки заставила его говорить с ней о войне, хотя он сначала не хотел. Заставила так же, как заставляла когда-то в Ташкенте. Задавая вопросы, на которые нельзя было не отвечать, она доверчиво, но настойчиво проверяла им все, что сама думала о войне. Не расспрашивала день за днем, когда и что с ним было, а хотела знать самое трудное: «Почему ты считаешь, что это хорошо, а это плохо, это правильно, а то — неправильно?»

После первых же вопросов он понял, что она знает о нем все, что могла знать, живя в Ташкенте, читая газеты, слушая радио и не пропустив ничего из написанного им с войны. Она не вспоминала его корреспонденций, но так, словно сама шла за ним по пятам все эти полтора года, почти без промаха спрашивала о том, что оставалось за бортом написанного, чего не разрешала ему писать все еще продолжавшаяся война. В какую-то минуту он даже представил себе, как война, словно лист бумаги, делится в ее глазах на то, что вырезано им из войны для корреспонденций, и на то, что осталось со всех сторон, по краям вырезанного. Об этом, оставшемся, она и спрашивала. Но спрашивать так, как спрашивала она, можно было, только помня все, о чем он писал.

Он так и сказал ей.

— Нет,— сказала она,— я не все помню. Все читала, но не все помню. Но, конечно, ты прав — я спрашиваю тебя о том, чего не читала. Мы ведь там, в тылу, тоже живем и тоже все кругом себя видим. Но не обо всем читаем: об одном пишут, а о другом — нет. Я понимаю, что во время войны иначе и не может быть, но ведь мы с тобой вдвоем. И я спрашиваю тебя не про военные тайны, а про тебя самого. Когда я думаю про тебя и про себя, мне кажется, что, если б мне вдруг велели написать про все, что я видела и слышала за эти годы, и про все, что я думаю — хорошее и плохое, и про всех людей, которых я встречала, и про себя, про все, чего я боялась и не боялась, чему верила и не верила, и сказали бы, что все это напечатают и все будут это читать,— я бы не согласилась. Я могла бы рассказать это только тебе одному. Почти все, может быть, даже все. Наверное, и у тебя тоже так?

Услышав это, он подумал о себе, что — нет, все-таки у него не совсем так, потому что его должность на войне, которую он старается исполнять настолько честно, насколько хватает силы воли, в сущности, состоит в стремлении держаться как можно ближе к той истине войны, которую он знает, и эта истина в конечном счете необходима другим не меньше, чем ему. Нет, с этим у него, при его должности, немножко посложней, чем у нее с ее мыслью, что было бы, если б ей вдруг велели про все написать! И все-таки в самом главном она была права. Он впервые за весь этот день подумал не только о том, что может сделать для нее он, а о том, что может сделать для него она. И дело не просто в избавлении от одиночества. С такой женщиной можно стать сильней, чем ты есть. И исполнять свою должность и храбрей, и упрямей.

Да, вот она, так называемая личная жизнь... А что такое личная жизнь? Употребляем слова, не вдумываясь в их смысл. Разве есть у человека еще какая-то другая жизнь, не личная, безличная, какая? Потусторонняя, что ли? Если человек из малодушия не разделил сам себя на две мнимые половинки, то никакой другой жизни и вообще-то нет в природе, кроме личной.

Уже совсем стемнело, когда, словно насытясь до конца той мерой откровенности, с какой он отвечал на ее вопросы, она заговорила о себе:

— Одно время я так похудела, что было самой противно смотреть на себя. А сейчас, я знаю, стала выглядеть немножко лучше.

— Лучше всех на свете. Хотя, правда, похудела.

— Это потому, что я болела.

— Я знаю.— Он тихонько, словно там еще могло продолжать болеть, провел пальцами по длинному узкому шраму, оставшемуся у нее после операции аппендицита. — Мне сказала Зинаида Антоновна.

— Я слишком поздно попала к ним; не обращала внимания — болит и болит. Сначала похоронила маму. Говорят, что от сердца легкая смерть, но мама перед смертью мучилась. И сразу же заболел дизентерией Вася. А потом меня отвезли прямо с работы. Вот и все мои жалобы. — Он почувствовал, как она улыбнулась в темноте. — Ведь у военных принято начинать с этого: жалобы есть? Жалоб у меня больше нет, а об остальном спрашивай сам. Если хочешь.

И хотя она сказала это тихо и просто, он почувствовал, как она напряглась в ожидании того, на что сама напросилась.

— Знаешь что... — Он решил взять на себя то, что затрудняло ее. — Прошлой зимой, приезжая с фронта в Москву, я бывал

у женщины, для которой все это не много значило, так же, как и для меня. Не хочу сказать этим о ней ничего плохого, да и о себе, пожалуй, тоже. Задним числом предпочел бы, чтоб этого не было, но это было. И если ты ждала от меня, что я тебя спрошу о чем-то таком же, будем считать, что я уже спросил, а ты ответила. Хорошо?

— Для меня даже слишком хорошо. — Она благодарно пожала его лежавшую на ее плече руку, которую он не снимал, пока говорил все это. Не снимал, хотя был готов к тому, что она отодвинется от него.

— Я знаю, ты не любишь спрашивать,— не отпуская его руки, сказала она.

— Спрашивать — моя профессия. На войне я только и делаю, что спрашиваю — то одного, то другого, то об одном, то о другом. Спрашиваю, когда хочу, и спрашиваю, когда не хочу, но должен. Сам я знаю только сотую часть войны, остается или не знать всего остального, или спрашивать — другого выхода нет. Спрашивать — моя работа. Но когда я не на работе — ты права, не люблю спрашивать. Почему ты молчишь? — спросил он после долгого молчания.

— Думаю о том, как много времени понадобится, чтобы привыкнуть к тебе — не в этом смысле,— она прижалась к нему плечом,— а вообще. Иногда говорят, что самое страшное — привыкнуть друг к другу, а я хочу. Можно признаться тебе в одной глупости?

— Конечно.

— Пока я ждала тебя здесь, в Москве, мне несколько раз хотелось пойти и посмотреть хотя бы на окна квартиры, где ты живешь. Мы завтра утром пойдем к тебе. Я хочу увидеть, как ты живешь: какая у тебя комната, где что в ней стоит. Я даже несколько раз пробовала представить себе это.

— Завтра пойдем. И если захочешь, останемся там. У меня три комнаты. То есть не у меня, а вообще — три. Одна — Ксении, другая — дочери, третья — моя. В ней нам и придется жить, пока мы не обменяемся на что-то другое,— вместе с дочерью или отдельно от нее — это уж как вы с ней решите.

— Ей уже семнадцать?

— Семнадцать.

— Ты не боишься, что все это будет для нее слишком большой неожиданностью?

— Что неожиданностью — не боюсь. Самое главное она уже знает из моего письма.

— Что она знает?

— Что я просил тебя приехать.

— Все равно, все это будет очень трудно,— помолчав, сказала Ника.— Я хорошо представляю себе, как все это будет трудно для тебя, и для меня, и, главное, для нее.

— Наверно. Думаю, что и твоему мальчику будет не просто со мной, особенно сначала.

— И все-таки с ним будет проще.

— Я не спросил тебя — как с твоим отцом? Все так же?

— Все так же. Уже получив твое письмо, ездила к нему в Кзыл-Орду. Лежит у своей жены и мучается. При мне просил ее сдать его обратно в госпиталь. Но она, по-моему, скорей умрет, чем согласится. Наверное, все-таки это самое страшное, страшнее, чем когда просто убьют. Прости меня, но, когда я боялась за тебя, думала и об этом. Не могла не думать.

— А я почему-то никогда не думал. Что могут убить — думал, а что останусь вот так, как он, калекой,— нет. Прости, пожалуйста,— добавил он, почувствовав неловкость сказанного.

— Что ж прощать, так оно и есть. Ты будешь совсем свободен эти дни?

— Совершенно!

— Обидно, но у меня в эти дни, наоборот, будет сплошная беготня. Половина нашей костюмерной уже работает здесь для новых спектаклей, поэтому мне и удалось вырваться сюда так надолго. Сегодня я все утро была в театре; забежала поесть, и вдруг ваш Степанов звонит, что едет за мной. Я позвонила в театр и нахально наврала, что мне обещали достать сорок метров бязи и надо срочно мчаться за ней, чтобы не упустить. Даже не знаю, как завтра выкручиваться с этой бязью.

— С утра поедем за ней. Будем добывать вдвоем!

— А где ее добывать? Ты знаешь? — рассмеялась она.

— Но где-то же она есть!

— Там, где она есть, мне ее как раз и не обещали.

— А мы поедем вдвоем и вырвем. Жалко, нет Гурского. Втроем с ним наверняка бы вырвали!

— Твой Гурский меня тронул. Делает вид, что он самый злой и самый умный, а на самом деле — заботливый, как женщина, и добрый.

— Насчет «добрый», положим, зависит от того, когда и с кем, насчет «злой» — тоже, а насчет «самый умный» — так оно и есть.

— А я чувствую себя дурой. Сколько ни думала, так и не придумала, как исхитриться, чтобы и завтра и послезавтра как можно меньше бегать без тебя.

— У тебя была когда-нибудь собака? — спросил Лопатин.

— Никогда не было.

— На эти два дня появится. Хорошо, что сейчас лето и что я свободен. Сначала мы пойдем и добудем с тобой эту бязь. А потом, пока ты будешь работать в театре, я буду сидеть там в подъезде, курить, чесать лапой за ухом и ждать тебя. Завтра и послезавтра тоже. Только придется иногда кормить меня. С моей же помощью: банки с тушенкой, как это водится среди ученых собак, я открывать умею, жарить омлет из яичного порошка — тоже обучен.

Она смеялась, слушая, как он развивает свои, как он выразился, собачьи планы на будущее, и вдруг, вскочив с постели, не зажигая света, босиком побежала в соседнюю комнату — там звонил телефон.

— Сейчас будут допрашивать меня про эту проклятую бязь,— все еще смеясь, сказала она и взяла трубку.

— Да, здесь. Да, сейчас. Хорошо, повторю. — Он услышал, как она раздельно и медленно говорит адрес: номер дома и квартиры. — Да, у вас правильно записано. Сейчас я его позову.

Когда она вернулась, он в темноте уже поднялся с кровати и натянул бриджи.

— Иди, тебя из редакции к телефону. Попросили проверить адрес.

— Товарищ Лопатин? — раздался в трубке незнакомый голос — очевидно, кого-то из новых, пришедших вместе с новым редактором.

— Да, слушаю вас.

— Генерал Никольский приказал срочно вызвать вас в редакцию. Высылаем за вами машину.

— И так дойду, я недалеко,— сказал Лопатин.

— Уже высылаем. Приказано срочно.

— А что случилось?

— Не могу знать. Мне только приказано вас срочно вызвать.

— Хорошо, еду. — Он положил трубку.

— Может быть, я тебе успею подогреть чаю? — спросила Ника.

— Может, и успеешь. Спасибо.

— Я пойду на кухню, а ты зажги свет и одевайся,— сказала Ника. — Думаешь, это надолго?

— Не знаю.

— А что случилось?

— Не знаю,— сердито усмехнулся Лопатин. — Может быть, с Японией война началась и вспомнили, что я был на Халхин-Голе. А может, приказ свыше — срочно дать в номер двести строк именно о том фронте, с которого я вернулся. У нас никогда

ничего заранее не знаешь. Словом, помогают нам с тобой привыкнуть друг к другу.

— Даже если тебе придется куда-то ехать,— говорила Ника, пока он, уже одетый, сидел на кухне и наскоро пил чай,— все равно тебе нужно сходить и показаться врачам. Дело не в ссадинах, они и правда пустяки, но ведь спина у тебя болит. Не хотела тебя огорчать этими разговорами, оставила бы до завтра, но я же почувствовала, что болит! И если ты куда-то поедешь, до этого надо сходить к врачам. Слышишь?

— Слышу. — Он допил последний глоток и встал. — Не волнуйся, скорей всего, ровно ничего не случилось. Про Японию — это я так, дурака валял. А если засадят писать, пока не допишу — не встану, а как допишу — вернусь.

Он обнял ее, поцеловал и, открыв дверь на лестничную площадку, услышал, как там внизу дает нетерпеливые гудки машина. И, спускаясь по лестнице и слушая эти гудки, перестал злиться. Ну да, понадобился, ну да, очередной редакционный пожар, который надо срочно гасить, заполнив на готовой полосе какую-нибудь дырку в двести строк. Это он тоже умел, и потому, что умел, иногда и любил. Ну, сядет, и за час-полтора напишет — не для вечности, а — в номер. И вернется, ничего с ним не сделается. Зарвался от счастья, вот и ляпнул про Японию.

На этот раз в машине за рулем сидел знакомый по многим фронтовым поездкам, веселый и безотказный водитель Коля Шумов — цыган.

— Что, Коля? — садясь рядом с ним и захлопывая дверцу, спросил Лопатин. — Наверное, уже знаешь, зачем меня на ночь глядя вызвали? Ты всегда все знаешь.

Коля с места рванул машину и только после этого повернул к Лопатину большую курчавую голову, на которой еле держалась пилотка.

— Знаю. Гурского убили.

— Как убили? — тупо, словно его ударили, спросил Лопатин. — Не может быть. Откуда ты знаешь? — Еще продолжая произносить все эти бессмысленные слова, он уже понимал, что услышал правду.

— Со Степановым ездил на узел связи — пакет запечатанный, для редактора. Но Степанову еще и на словах сказали. А он по пути — мне.

— Когда же это?

— Сказали, что сегодня, рано утром.

Всю дорогу до редакции Лопатин больше ничего не спрашивал. Сидел и молчал. Значит, когда сегодня здесь в Москве, на аэродроме, Ника бросилась тебе на шею, Гурский уже был убит.

Выходит, что последний раз в жизни ты видел его, когда он, стоя в «виллисе», прощально махал самолету своей пилоткой, которую собирался сменить на фуражку. И его слова: «Представь себе, как я б-буду хорош в ламп-пасах»,— были последними, которые ты слышал. А когда вы полчаса назад, лежа в постели, мельком вспомнили о нем — он уже давно лежал где-то там, убитый...

Лопатин подумал об этом с ощущением неясной вины, словно, если б они с Никой все время думали и говорили о Гурском, а не о себе, он мог бы остаться жив. Было чего-то, необъяснимо чего, стыдно, и Лопатин прошел прямо в кабинет редактора, не заходя к высунувшемуся из своей двери Леве Степанову, чувствуя, что лучше без предисловий, иначе недостанет сил для предстоящего разговора...

«Наверное, вызывают, чтоб вы заметку про него дали»,— входя в кабинет, вспомнил он слова водителя, на которые по дороге не ответил. Но с первых же слов редактора понял, что вызван не за этим. Редактор ходил по кабинету и, остановившись при скрипе двери, повернулся к Лопатину. Он выглядел расстроенным. Здесь, в редакции, это была первая для него смерть.

— Василий Николаевич, с прискорбием хочу вам сообщить...

— Мне уже сказали, товарищ генерал,— прервал Лопатин редактора, вдруг забыв его имя-отчество.

— Тогда я вам зачту телефонограмму, которую передал для нас по ВЧ начпоарм через узел связи Генштаба.

Генерал вынул из кармана кителя очки и, взяв с конторки лист бумаги, стал читать: «Сегодня, 18 августа, 5.45, находясь составе разведроты плацдарме территории Восточной Пруссии, при обратной переправе через Шешупа погиб результате смертельного осколочного ранения военный корреспондент «Красной звезды» Б. А. Гурский. Как бывший редактор «Красной звезды» обращаюсь вам личной просьбой выслать представителя редакции участия захоронении вручения личных вещей завершения на месте незаконченной корреспонденции «Наконец». Желательно Лопатина. Вопрос посмертном награждении поставлен мною Военном совете армии. Начпоарм».

— «Наконец» — очевидно, название его корреспонденции,— сказал генерал, дочитав телеграмму.

— Очевидно,— сказал Лопатин. Обалдев от горя, он только посередине чтения, услышав слова «как бывший редактор», понял то, что должен был бы понять сразу, после первого же упоминания о начпоарме — что телеграмма от Матвея и Гурский погиб у него в армии. К нему поехал, у него и погиб.

— Что вы скажете, товарищ Лопатин? — спросил генерал,

очевидно по-своему, по-другому, чем это было на самом деле, поняв обращение Лопатина «товарищ генерал».

— Надо завтра ехать, то есть лететь,— поправил себя Лопатин. — Если вы дали согласие.

— На такое личное обращение ко мне моего предшественника я, естественно, не мог не дать согласия. Место на самолет до штаба фронта, по моей просьбе, уже оставлено за нами. Речь о другом — кому персонально лететь.

— Речь-то обо мне, Михаил Александрович,— вспомнив имя-отчество генерала, сказал Лопатин. — Мне и лететь.

— Есть и другие кандидатуры. Их уже обсуждали. Но отложили решение до вашего прибытия. Вы лишь сегодня вернулись с фронта и, как я уже рекомендовал вам, должны сходить к медикам. Мой предшественник, давая телеграмму и называя вас, был, наверно, не в курсе дела с вашим здоровьем.

Услышав это и вспомнив Матвея, Лопатин внутренне усмехнулся: если успел увидеть Гурского — скорей всего, в курсе. Но для такого, как он, это ничего не меняет.

— Не горячитесь, Василий Николаевич. Осведомлен о вашей дружбе с покойным и от него самого, и от других, но мертвого не воротишь. А здоровье у нас с вами одно на всю жизнь, тем более когда мы уже немолоды. — Генерал, кажется, принял молчание Лопатина за колебание.

Но Лопатин не колебался, просто думал: как все это будет трудно — и тут, и там. И может быть, тут трудней, чем там.

— Вы его матери — она здесь, в Москве — еще не сообщали? — спросил он.

— Думали и решили, что как раз это лучше сделать вам.

— Это — мне, а то — кому-то другому? Не получится, Михаил Александрович.

Лопатин слишком хорошо понимал неотделимость одного от другого. «Как так, прийти к его матери, сказать, что ее Боря погиб, а потом начать объяснять ей, что, хотя похоронить его просили тебя, но полетишь к нему не ты,— как повернется на это язык?» — подумал он, но вслух сказал совсем другое:

— Я рассматриваю эту телефонограмму как личное обращение вашего предшественника не только к вам, но и ко мне. И в том, что касается меня, прошу оставить решение за мной.

— Ну что ж, быть по сему, летите! — Генерал вздохнул. Судя по выражению его лица, ему все это не нравилось, но логика, стоявшая за словами Лопатина, оказалась сильней.

— В его незаконченной корреспонденции я там, на месте, разберусь,— сказал Лопатин. — Что потребуется, допишу и передам по военному проводу.

— С этим можете не торопиться, это дело второе,— сказал генерал.

«Хороший ты человек, но не газетчик,— подумал Лопатин. — Не понимаешь, что это как раз и есть дело первое».

Он вспомнил о Нике, о том, что через несколько минут придется звонить ей, и спросил, известно ли, когда завтра пойдет самолет.

— Известно. Мне доложили, что в семь ровно.

— И еще один вопрос: когда я буду у его матери, вправе ли я сказать ей от вашего имени, что впоследствии, если позволит дальнейшее продвижение наших войск и общая обстановка на фронте, будут приняты меры, чтобы она могла посетить могилу сына? Можно ее этим обнадежить? Больше — нечем!

— В принципе, разумеется,— без колебаний сказал генерал, и Лопатин, прощаясь с ним, еще раз подумал, что он хороший человек.

Лева Степанов сидел в своей комнате и ждал Лопатина.

— Летите? — спросил он.

Лопатин кивнул, сел к столу и, сняв телефонную трубку, чтобы позвонить Нике, остановился и поглядел на Леву:

— Вот на этот раз действительно выйди. Будь другом, оставь меня одного...

21

Он шел к матери Гурского, плохо представляя себе, как все это будет. Вот он войдет, поздоровается с ней и скажет. А что потом?

Уже трижды за войну — в сорок первом и два раза в сорок третьем — ему приходилось вот так приходить в дом и говорить, что его нет, про человека, которого считали живым.

В сорок первом он пошел сам, потому что сам видел, как это было, и, кроме него, некому было прийти и рассказать.

А в сорок третьем он оба раза сам не был свидетелем происшедшего и знал убитых и их уже успевших вернуться из эвакуации в Москву жен не лучше, чем их знали другие люди в редакции, но именно его — в одном случае редактор, а в другом товарищи — попросили первым пойти и сказать. Почему-то считали, что он сделает это лучше других. И хотя он сам так не считал, но это принадлежало к числу тех просьб, в которых не отказывают. И он приходил и говорил и хорошо помнил все, что происходило после этого. Но все те три раза — это были молодые женщины, у которых кто-то оставался: дети, отцы, матери, братья, сестры... У них в жизни было еще что-то, кроме вдруг переставшего быть.

А сегодня он шел к старухе, которой предстояло сказать, что она лишилась всего, что у нее было, и ей больше не для кого и не для чего жить.

Он не мог позвонить ей в двенадцать ночи и заранее сказать: «Сейчас я к вам приду!» — потому что она неминуемо бы спросила: «Что случилось?» Звонить ей было нельзя. Оставалось прямо идти к ней.

Полторы недели прожив у нее этим летом, он знал, что она ложится по-всякому — то раньше, то позже, и сейчас может и спать и не спать. Она никогда не засыпала, не послушав вечернего сообщения Информбюро, но иногда после этого еще ходила по комнате и что-нибудь прибирала или перебирала, а иногда, если с утра ходила по магазинам и уставала от очередей, слушала радио, улегшись в постель, и, дослушав, выдергивала в темноте вилку репродуктора и сразу же засыпала.

— Боря смеется, что у меня детский сон,— говорила она про сына.

Да, так говорил про нее ее Боря, и говорил не только ей, говорил и будившему его Лопатину вчера утром в штабе фронта:

— У меня зд-доровая наследственность п-по материнской линии: не сп-пать так не сп-пать, а сп-пать так сп-пать!

Но чем ближе Лопатин подходил к ее дому, тем меньше мог представить себе, что она спит сейчас тем детским сном, про который говорил ее сын.

Укоренившаяся за войну привычка — задним числом связывать смерть людей и с их собственными, и с чужими предчувствиями — не миновала и его. Ему казалось, что мать Гурского не может сегодня спать. Но оказывается, она спала. Он несколько раз нажимал на тот из звонков, который звонил не в коридоре, а прямо в ее комнате, прежде чем она открыла ему, заспанная, в бумазейном халате поверх ночной рубашки и с поразившей его улыбкой на лице — такой, словно, открывая среди ночи дверь после его нетерпеливых звонков, она ждала чего-то хорошего, а не ужасного. Ее лицо не изменилось и тогда, когда она увидела его. Прикрыв дверь и взяв Лопатина за руку теплой от сна рукой, она молча потянула его за собой по коридору, длинному, полутемному, с одной тусклой экономной лампочкой под самым потолком. Она шла и тянула его за собой, заботясь, чтобы он не нагремел в тишине своими сапогами и не разбудил кого-нибудь из соседей, и отпустила его руку, только когда они вошли в комнату.

В этой хорошо знакомой ему комнате было две лампочки, одна — притененная старым зеленым жестяным абажуром — на столе, другая — яркая, без абажура — под потолком посреди ком-

наты. И сейчас горела как раз эта яркая, и все было так хорошо видно, что хуже не придумаешь.

Она посадила его в мягкое кресло у стола, а сама продолжала стоять, все еще улыбаясь.

— Я спросонок, как глупая, подумала, что это вдруг вернулся Боря, а это — вы! Вы даже не представляете, как он за вас беспокоился: как это можно было так долго не отвечать, когда они вас сюда вызывали? Боря так старался, чтоб они поскорей вас вызвали, а вы ничего им не отвечали!

Она выжидающе посмотрела на него, и он вдруг понял, что она просто-напросто не может представить себе, что с только что улетевшим от нее сыном успело что-то случиться, а ждет, что Лопатин, вернувшийся оттуда, куда улетел ее сын, сейчас что-то расскажет ей о нем или передаст от него, и ради этого и появился здесь так поздно.

— А может быть, вам негде сегодня переночевать? — Она продолжала выжидающе смотреть на Лопатина.

Оказывается, она подумала и об этом. Успела перебрать в уме все причины его появления, кроме той, единственной, которая привела его сюда. И в этом самообмане было что-то до такой степени невыносимое, что его заколотила внутренняя дрожь, и он, резко поднявшись, схватил ее руки в свои. И в то самое мгновение, когда он вскочил и схватил ее за руки, ее лицо из улыбающегося стало ужасным, еще более ужасным от того, что она ужаснулась, еще не перестав улыбаться.

Как только он поднялся и взял ее за руки, она поняла, поняла все сразу, не дав ему времени совершить ту нелепость, которую имеют в виду, когда говорят, что кого-то к этому надо готовить,— как будто к этому можно готовить.

— Борю убили,— сказал он, сжимая ей руки и глядя прямо в ее остановившиеся ужасные глаза.

— Я так и знала,— еле слышно сказала она и, хотя еще полминуты назад ничего не знала, сказала правду, потому что все, о чем она перед этим говорила и думала, для нее уже навсегда перестало существовать. Теперь для нее существовало только то, с чем он пришел и что сказал ей: Борю убили!

Он все еще держал ее за руки, готовый подхватить, успеть это сделать, если ей станет плохо, но она продолжала стоять перед ним, не выражая признаков физической слабости и глядя на него помертвевшими, сухими, без слез глазами. Потом голова ее стала медленно покачиваться то влево, то вправо, как у чем-то очень удивленного человека, и внутри нее, где-то в глубине, возник тихий стон. Чуть слышно постанывая и покачивая из стороны в сторону головой, она еще минуту или две стояла перед

Лопатиным, а потом освободила из его рук свои руки и опустилась в мягкое кресло у стола — не в то, в которое сначала, когда он пришел, посадила его, а в другое, напротив, в свое. Он стоял перед ней, не зная, что дальше говорить и делать, а она, не меняясь в лице, все с тем же тихим, нескончаемым стоном, сидела и удивленно покачивала головой. Потом внимательно оглядела себя, поправила рукой волосы и, наклонившись, застегнула на бумазейном халате самую нижнюю, оставшуюся незастегнутой, пуговицу. Сделала это так, словно только что проснулась и вспомнила, как она выглядит при чужом человеке, и, посмотрев снизу вверх на Лопатина, вдруг скорчилась в кресле и безутешно, бессильно, по-старчески уродливо и жалко зарыдала.

Люди плачут по-разному: одни — почти не изменяясь, а другие — и это чаще всего самые сильные люди,— заплакав, перестают быть самими собой, изменяются до непохожести, почти до неузнаваемости. Их рыданья — как помешательство, как долгое или короткое беспамятство, всю меру которого они и сами потом не сознают до конца.

Мать Гурского, такая, какой ее знал до сих пор Лопатин, несмотря на старость, была человеком, переполненным жизненной силой. Но сейчас вся эта сила как бы обернулась вовнутрь и обрушилась на нее самоё. Она рыдала долго и страшно, отмахиваясь руками от валерьянки, которую разыскал Лопатин и которую она держала в доме не для себя, а для других. Она чуть не выбила из его рук стакан с водой, который он пытался ей подать, и с силой оттолкнула его руку, когда он протянул ей платок. И он растерянно стоял над ней, потеряв представление о том, сколько это продолжается.

Не говоря ни слова, она колотилась в рыданьях, то поднимая голову, то ударяясь ею о колени, и вдруг, в одно мгновенье, все это кончилось так же сразу, как началось. Она встала и вышла, не закрыв за собой дверь, а он, не зная, что ему делать, стоял и слушал ее шаги — как она идет по коридору в тот конец, где была кухня. Потом с минуту ничего не слышал, колеблясь, идти или не идти вслед за ней, и снова с облегчением услышал, как она идет обратно.

Она вернулась в комнату с чайником в руках, закрыла за собой дверь, не глядя на Лопатина, воткнула вилку стоявшей на столе электрической плитки, поставила на нее чайник, подошла к буфету, взяла там две чашки и два блюдца, порылась в ящике, достала две чайные ложки, положила их на блюдце, поставила блюдца и чашки на стол, вернулась к буфету, достала из него сахарницу и тоже поставила на стол. Во всем, что она делала, была спасительная привычка — жить. И, только доделав все до

конца, словно это было самое главное и необходимое для нее, она села напротив Лопатина и сказала:

— Ну, вот!

— Я узнал из телеграммы, меня вызвали в редакцию и показали телеграмму.

Она ничего не ответила, молчала и слушала — пока он пересказывал ей телеграмму, и пока объяснял, как они встретились там, на фронте, с ее сыном, и куда ее сын собирался поехать, и как, провожая Лопатина на аэродром, он в последнюю минуту стоял в «виллисе» и махал над головой пилоткой.

Его голос дрогнул, а она все сидела и молчала, не глядя на него. Сидела с сосредоточенным лицом и закрытыми глазами — кто знает! — может, пытаясь представить себе все это, такое несовместимое с тем, что ее сына уже нет.

И Лопатин, глядя на нее, подумал, что, чем короче предисловие к смерти, тем страшней послесловие к ней. Мгновенный ужас неожиданности беспощадно растянется потом на годы воспоминаний. Да и чем другим жить теперь этой сидящей перед ним старой женщине? Привычкой говорить людям «здравствуйте» и «до свиданья», привычкой утром ходить по магазинам и стоять в очередях, а вечером сидеть и пить чай, ночью ложиться, а утром вставать? Привычкой, услышав звонок, идти по коридору, чтобы открыть дверь, за которой никого нет и не будет, потому что, если кто-то и звонит там за дверью, все равно это — кто-то, а не ее сын?

Он попробовал представить, что это не с ней, а с ним, что это у него никого больше нет, что это ему ничего больше не нужно. И, уже ответив себе, что, если бы так с ним, наверное, лучше пулю в лоб, подумал про отца Ники. Ну, а если вот так, как ее отец — с перебитым позвоночником, с отнявшимися руками и ногами,— тоже лучше пулю в лоб? Может быть, да. А в то же время как можно заранее знать это о себе — не таком, какой ты есть, а таком, каким можешь оказаться? Известно, что ты думаешь об этом сейчас; но откуда знать, что ты будешь думать об этом тогда? Человек может представить себе заранее все, чего он может лишиться, но не может представить себе заранее, какую тогда цену приобретет для него то, что у него останется.

— Я хочу поехать к нему,— сказала мать Гурского. — Не знаю, как они, но про вас я знаю, что вы это сделаете для меня в память Бори. Вы ничего не знаете, кроме того, что уже сказали мне? Если знаете что-нибудь еще, не бойтесь, скажите.

Он покачал головой:

— Все, что узнаю, расскажу вам, когда вернусь оттуда.

— А когда вернетесь?

Он уже сам прикидывал это в уме, но, понимая, как она его будет ждать, на всякий случай добавил два дня:

— Дней через семь-восемь. Я улечу рано утром, но завтра к вам придут наши товарищи из редакции.

Она отчужденно махнула рукой и с минуту молчала, уйдя в свои мысли, и ход их, очевидно, привел ее к воспоминанию о том, что он улетает и что это будет совсем скоро, через несколько часов. Она забеспокоилась, встала, открыла и закрыла крышку на все еще не закипавшем чайнике, сказала, что плитка слабая — Боря хотел переменить спираль,— запнулась, опустила голову и, пересилив себя, посмотрела на Лопатина:

— У вас все хорошо, и ночевать есть где, да?

— Да.

— Боря мне говорил, что у вас теперь должно все стать на свое место, как у людей. Он беспокоился, что ей придется, не дождавшись вас, уехать. Она не уехала?

— Нет, не уехала,— сказал Лопатин, тяготясь этими вопросами и удивляясь тому, как у нее хватает на них добра и силы.

— Так идите к ней. Зачем вам этот мой чай. Идите, идите,— повторила она, когда ей показалось, что он хочет возразить. — Другой бы на вашем месте, раз он сам улетает, попросил зайти ко мне кого-то другого, а сам бы пришел только потом, когда вернулся. Это вы просто очень любите Борю, не меньше, чем он вас,— поэтому и пришли ко мне. А теперь идите. Все равно я сижу с вами, а сама даже думать ни о чем не могу. Сейчас вот думаю о плитке, что надо ее выключить, а потом забуду. — Говоря это, она выдернула вилку из розетки. — И вспоминаю, погасила я свет на кухне, когда наливала воду в чайник, или нет. А больше ни о чем не могу думать. Вот вас провожу — и проверю, погасила или нет.

Она пошла рядом с Лопатиным по коридору до наружной двери и, когда он перед уходом нагнулся и поцеловал ей руку, потянулась, словно хотела обнять его, но не обняла — может быть, боялась снова разрыдаться.

Дверь за ним захлопнулась, и он, уже переходя улицу, взглянув назад, на черные сейчас окна этого знакомого дома, вспомнил невеселую шутку Гурского: если что-нибудь случится с Лопатиным, он, Гурский, удочерит его дочь, а если наоборот — то пусть, как он выразился, тебя уд-дочерит моя м-мама.

Тогда Лопатин только усмехнулся странности этих слов Гурского, а сейчас подумал, что в глубине их была закопана потаенная просьба — не забыть о его матери, если с ним вдруг стрясется то, что стряслось. Может быть, и так. Гурский принадлежал к

числу людей, не боявшихся ни думать, ни говорить о смерти — ни о своей, ни о чужой, и любил повторять, что человеку, который никак не хочет примириться с безошибочной мыслью, что он рано или поздно умрет, логичней вообще не появляться на свет божий.

«Что я смогу для нее сделать? — подумал Лопатин о матери Гурского. — Да, когда вернусь оттуда, что-то смогу, конечно. И все, что смогу, сделаю — и сразу, и потом, всегда, когда это понадобится. Ну, а сейчас? Единственное, что могу до своего возвращения,— это попросить Нику, как бы она ни была занята, выбрать время и прийти сюда завтра, а может быть, и послезавтра. И она это, конечно, сделает»,— подумал он, вспомнив, как Ника, когда он сказал ей по телефону о гибели Гурского, горестно вскрикнула, а когда он сказал, что из редакции пойдет прямо к матери Гурского, ответила: «Конечно. И позвони мне, если тебе покажется, что я могу чем-то помочь, я же все-таки женщина...»

«Да, ты все-таки женщина! — подумал Лопатин. — И сидишь там, и ждешь меня, зная и все, что произошло, и всю тяжесть этого для меня, но еще не зная того, что я не захотел и не смог сказать тебе по телефону, когда звонил из редакции. Ты не знаешь, что у нас с тобой уже нет больше ни двух, ни даже одного дня, что я улетаю туда, где его убили, и что до этого нам осталось быть вместе всего три часа, и даже не три, а еще меньше».

Он шел по ночной Москве, все ускоряя шаги, шел, удрученный и тем, что произошло, и тем, что предстояло. Он не сетовал на себя за то, что не сказал ей всего сразу: бессмысленно объяснять по телефону то, что дай бог объяснить с глазу на глаз. Он заранее знал, что скажет ей правду, что сам настоял на том, что должен лететь, и если бы не настоял — вместо него полетел бы кто-то другой. Но если бы он не настоял, то и здесь, в Москве, вдвоем с нею, остался бы другой человек, а не он. А он не хотел становиться другим. И это и предстояло ей объяснить, заранее понимая, что это будет не так-то просто. И если, отпуская его, у нее хватит силы подавить в себе чувство женской обиды, то хватит ли ей этой силы на то, чтобы подавить в себе страх? Людям в таких случаях свойственно представлять себе, что там, где вчера убили его, завтра могут убить тебя. Он знал это по себе; шел и думал: чем черт не шутит — на войне иногда все хорошо, хорошо, а потом вдруг — одно к одному... Мысль не новая, но трудная, когда идешь к женщине, от которой уезжаешь и которую, вопреки собственному страху, хочешь убедить, что ей не надо за тебя бояться.

С этой мыслью он шел к ней. Но разговор начался с другого, потому что она сразу стала спрашивать про мать Гурского — не сделалось ли ей плохо и предупредил ли он кого-нибудь из соседей по квартире, чтобы они прислушивались и готовы были помочь ей.

— Она не из тех, кого отпаивают валерьянкой,— сказал Лопатин. — Хуже, чем было, уже не будет. Такое чувство, что пришел и убил ее. Что может быть хуже этого? В четвертый раз за войну вот так прихожу — и говорю. Даже все свое собственное как провалилось куда-то! Словно сам уже ничего не чувствовал, а только через нее. Не знаю даже, как тебе объяснить это.

Но она, видя его измученное лицо, не стала просить его еще что-то объяснять ей, а только сказала, что завтра пойдет к матери Гурского вместе с ним.

— К сожалению, не получится,— сказал он. — Если сможешь завтра сходить к ней, будет хорошо. Если и послезавтра — еще лучше. А вместе — не выйдет. Я утром улечу туда, надо похоронить его, привезти его вещи и дописать то, что он начал и не кончил, так что придется лететь.

— Когда? — спросила она.

И он по ее лицу понял, что, хотя она совершенно не ожидала услышать то, что услышала, задавать вопросы, действительно ли ему нужно лететь туда и почему должен лететь непременно он,— задавать все эти вопросы, к которым в былые времена приучила его жизнь с Ксенией, она не будет. Не будет тратить на них ни времени, ни сил — ни своих, ни его.

— Самолет в семь,— сказал он. — Но это далеко. Я полечу вместе с фельдъегерями, с того аэродрома, с которого они летают, и тебе нельзя будет туда ехать. Я в четверть шестого пойду от тебя в редакцию, там в половине шестого будет ждать машина. Оттуда и поеду.

— А почему от меня в четверть шестого? — спросила она. — Ну, туда, на аэродром нельзя, но до вашей редакции-то можно?

— Можно, но...

— Что — но? На сколько ты туда полетишь?

— С дорогой — на пять, самое большее — на шесть дней,— сказал он то, что в действительности думал. — Вещевой мешок не возьму, возьму только чемодан, который здесь. Можно бы взять поменьше, но тогда пришлось бы заходить домой. Правда, там, дома, надо бы сделать кое-что еще, но жаль терять время.

— А я тебе и не позволю его терять,— сказала она.

— Да, конечно,— сказал он.— Верно. Но я не про чемоданы...

Он подошел к подоконнику, где лежала его полевая сумка, а в ней последняя тетрадка дневника. После записи про Ефимова в ней оставалось еще с десяток чистых страниц, а в его правилах было дописывать тетради до конца, до корня; но на этот раз он изменил своим правилам, вытащил из сумки тетрадь и отдал ее Нике.

— Это мой военный дневник. Все прежние лежат там, у Гурского. Раньше лежали у редактора, а потом редактор, когда уехал, отдал ему. Пусть там и лежат, пока я не вернусь. А эту, чтоб мне не возить ее еще раз туда-сюда, возьми и спрячь где-нибудь здесь, у Зинаиды Антоновны, до своего возвращения. Когда ты вернешься, я уже буду в Москве и сразу вас встречу и повезу к себе... Что ты думаешь делать с вашим ташкентским жильем? Будешь продавать его?

Он говорил с ней именно так и об этом не только потому, что об этом тоже надо было поговорить, перед тем как они снова расстанутся, но и потому, что хотел, чтобы она побольше думала о делах, которые остаются на ее долю и здесь, и в Ташкенте, и поменьше о нем и его поездке.

— Продать — не купить. Еще не знаю. Там сама уже думала об этом, а сейчас — с тобой — даже не хочу об этом ни думать, ни говорить,— сказала она, сжимая в руках его тетрадку. — Куда же мне положить ее здесь? Так, чтобы... — Казалось, это больше всего беспокоило ее. — Ага, знаю. Хорошо. Заверну во что-нибудь и зашью кругом стежками, ниткой, потому что клея здесь нет, и надпишу Зинаиде Антоновне, чтобы она не трогала, что это твое. Не беспокойся, не пропадет. Может, хочешь оставить что-то еще?

— Нет, больше ничего не хочу.

— Есть чай. Я два раза подогревала.

— Ты знаешь, ничего не хочу, даже чаю.

Он и в самом деле ничего не хотел и стоял в странной растерянности. На какое-то время его собственное горе, придавленное другим, еще большим горем, ушло глубоко на дно, а сейчас медленно всплывало обратно.

— Ничего не хочу,— повторил он.

Они стояли в спальне Зинаиды Антоновны, около прикрытой сверху, но неубранной кровати; из-под одеяла были видны подушки и краешек простыни.

Она повернулась и посмотрела на те старинные, с маятником часы, которые — сначала при свете, а потом в темноте — отсчитывали им сегодня время. Сейчас в комнате горел свет, и на часах было ровно три часа ночи.

— Ляг,— сказала она.— У тебя есть целых два часа. Разденься и ляг. Или ложись одетый, если не хочешь раздеться, я тебе что-нибудь подложу под сапоги. Ляг и попробуй хоть немного поспать. На тебе лица нет. Я еще никогда тебя таким не видела. Но все-таки лучше разденься. Тебе, конечно, кажется, что ты не заснешь, но, может быть, ты заснешь. Все-таки два часа. Раздевайся и ложись. А я пойду и налью тебе чаю. Сейчас тебе кажется, что ты не хочешь, а через пять минут ты захочешь. Я сейчас принесу, поставлю здесь, рядом, на стуле, и ты выпьешь.

Так, ни о чем не спрашивая и не заставляя его объяснять того, что он собирался объяснять, пока шел к ней, она мягко, но властно, по-своему, распорядилась теми двумя часами, которые оставались на их долю.

И он, сидя на кровати и устало, из последних сил стаскивая через голову гимнастерку и бросая ее рядом с постелью, прямо на пол, вместе с ремнем и пистолетом, подумал, как все-таки нужно человеку быть не одному, хотя бы не всегда, хотя бы редко, хотя бы в такие минуты...

22

Лопатин был рад, что летит с фельдъегерями: самолеты фельдсвязи редко задерживались в пути.

Но в одном из моторов потекло масло, и пришлось сесть почти в двухстах километрах от штаба фронта на аэродром, где стояли бомбардировщики.

Фельдъегеря выцыганили у командира авиационной дивизии его личный У-2, воткнулись в него вдвоем, потому что возить почту генштаба в одиночку не положено,— и улетели в штаб фронта. А Лопатин остался на аэродроме. Посчитав, что если У-2 за три часа обернется, то, пожалуй, хватит светлого времени и на второй полет, он попробовал подъехать с этим к командиру дивизии, но полковник и слушать не захотел.

— Если и хватит, что ж, по-вашему, отдай жену дяде, а сам живи с другой? Прикажете бомбардировщик поднимать, если мне вдруг самому лететь на свои точки? После двух месяцев наступления с подачей горючего знаете как? Сегодня за ночь в один из полков так и не подвезли, не успели, пришлось с утра докладывать: два полка подниму в воздух, а третий — нет. Как у вас в таких случаях, тоже матерят?

— Ну, если и не матерят,— сказал Лопатин,— то что-нибудь в этом духе...

— У вас — что-нибудь, а у нас в натуре. Не скажу, что тылы плохо работают, нам сверху видней — машины по всем дорогам

взад и вперед, как муравьи! Кажется, ползут, а на самом деле жмут как могут днем и ночью. На развилке к нам два «студебеккера» валяются. Полотно дороги высокое, один заснул, другой с ходу на него, и оба — по три переворота! Там же и схоронили. За рулем засыпают. Нас матерят, мы материм,— а что сделаешь, когда уже полтыщи километров позади себя оставили...

Еще немножко поговорив и отведя душу, полковник спросил у Лопатина, как он думает добираться в штаб фронта.

— Как выйдет — на перекладных. Шоссе рядом, пойду голосовать.

— Тогда хотя бы «виллис» вам дам, подбросить до шоссе,— сказал полковник. — Идущим к фронту автоколоннам останавливаться не приказано. Но если с «виллиса» проголосуете —скорей притормозят!

Через десять минут Лопатин уже был на шоссе и голосовал с развернувшегося на обочине «виллиса».

Первая колонна шедших в сторону фронта крытых брезентами машин не остановилась, но вскоре появилась вторая, груженная снарядными ящиками. Головная машина притормозила, из кабины высунулся пожилой лейтенант с интендантскими колесиками на мятых полевых погонах.

— Почему задерживаете? — сердито спросил он.

Лопатин, заранее доставший предписание и удостоверение личности, протянул их лейтенанту, объяснив, что просит подкинуть его до рокады Гродно — Каунас, а если свернут раньше — до того места, где свернут.

— Хорошо,— быстро, но внимательно посмотрев документы, сказал лейтенант и громко, как на плацу, гаркнул: — Никифоров!

Из третьей от головной машины выглянул водитель.

— Посадите майора! Быстрей, не задерживайте! — Это было сказано уже Лопатину, и, прежде чем он успел добежать с чемоданом до третьей машины, головная уже рванулась с места.

Он вскочил на подножку, кинул в ноги чемодан и на ходу захлопнул дверцу.

По-разному ему доводилось въезжать в войну: и привилегированно, сидя за спиной у разговаривавшего или спавшего начальства; и самостоятельно, на переднем сиденье редакционной «эмки», с картой в руках, чтоб не заехать к немцам; и вот так, на перекладных.

Водитель, небритый молодой солдат, намертво вцепившись в баранку и неотрывно глядя в задний борт шедшей впереди машины, за первые полчаса ни разу не взглянул на Лопатина. Потом, разогнувшись и поерзав по спинке сиденья занемевшей спиной, повернулся и спросил:

— Вы что, с нашей части, товарищ майор?

— Нет, не с вашей.

— А я думал, с нашей. А то наш лейтенант — кто ни голосует — никого не берет. Не останавливается. И нам запрещает. Вплоть до трибунала. Вам куда надо-то?

— Если доедете, то до рокады Гродно — Каунас.

— Нам еще дальше,— водитель так исступленно зевнул, что Лопатин вспомнил те два валявшихся под откосом, исковерканных «студебеккера».

Первые два часа они ехали еще при свете дня. Сначала грело солнце, потом прошел дождь, и дорога стала скользкой.

Отчасти по привычке, но больше, чтобы не думать о другом, о своем, Лопатин пытался разговорить водителя. Но тот оказался неразговорчивым, отвечал односложно: про харчи — что харчей хватает, но все больше всухомятку; про курево — что оно то есть, то нет, сейчас — есть; про дороги — что дороги терпимые, видали и похуже. Про недосып Лопатин не спрашивал — и так было ясно, что он-то больше всего и мучит.

Когда стемнело, поехали с подфарниками и через час надолго застряли, догнав шедшую впереди автоколонну.

Лопатин было подумал, что это пробка, но оказалось, что через перекресток, загородив путь, перемещалась на тягачах тяжелая артиллерия.

Сразу же, как остановились, водитель навалился на руль и заснул.

Лопатин вылез из машины и, закуривая, услышал рядом с собой голос:

— Не гасите, прикурю.

И при свете догоравшей спички увидел лицо начальника колонны — старое и усталое.

— Тяжело вам достается. — Лопатин ожидал не столько ответа, сколько подтверждения. Но подтверждения не последовало.

— Почему нам тяжело? — сказал лейтенант. — Нам как раз легко. Немец не бомбит, за месяц всего под две бомбежки попали: один убитый, три раненых — все потери! А когда без потерь — разве это тяжело? Тяжело, когда потери! Это там тяжело,— лейтенант мотнул головой в ту сторону, куда они ехали. — Там еще не были, только едете?

— Был.

— Тогда вам самому все ясно. Писать чего-нибудь едете?

Лопатин кивнул, готовясь услышать то, что приходилось выслушивать уже много раз за войну: про одно вы, корреспонденты, пишете, а про другое от вас не дождешься — например, про то,

как люди день и ночь гонят на передовую снаряды, а обратно везут раненых...

Но оказывается, лейтенанта беспокоило совсем другое.

— Ходил в голову колонны,— сказал он, — думал, уговорю, чтобы пропустили,— и слушать не хотят! Как так — боевая часть и будет нас ждать, пропустит сквозь себя нашу автоколонну! Тут мы ждем, а там нас — ждут! Без снарядов много не навоюешь! Будь ты полковник и ставь меня тут по стойке «смирно», а когда там останешься в бою без снарядов — без них немца по стойке «смирно» не поставишь! Сиди и жди, пока не подвезем!

— Кем вы на гражданке были? — спросил Лопатин, понимая, что лейтенант в таком возрасте только и может быть с гражданки.

— Тем же, кем и здесь,— сказал лейтенант,— автобазой заведовал на Магнитке. Двести автомашин имел. До войны, конечно: сейчас там и половины этого нет. К тому же рухлядь — недавно письмо от товарища получил. Когда просился на фронт, считал, что еду, куда тяжелее, а вышло — поехал, куда легче. Так из этого письма понял. Пойду еще раз вперед, погляжу, как там,— он бросил окурок на землю, затоптал и пошел вдоль машин в темноту, в грохот продолжавших двигаться тягачей.

Лопатин тоже докурил, влез обратно в машину, захлопнул дверцу и привалился поудобней в угол, надеясь заснуть. Но сон не шел. «Да,— подумал он,— слово одно на всех — «война», а судьбы на ней ох какие разные: у кого-то несравнимо тяжелей, а у кого-то несравнимо легче, если только рассуждать и о ней, и о себе по совести, как этот лейтенант. Хотя есть среди нас и такие, что — война еще не кончилась, а уже сидят и врут друг другу. Пекут в четыре руки общие пироги славы, пекут и делят, пекут и делят. А тем временем под их разговоры еще кого-то нет и еще кого-то...

Он был зол оттого, что не мог заснуть и все острей чувствовал боль потери, навстречу которой ехал.

Вот так после операции, когда отходит наркоз, начинает все больней и больней тянуть в ране. Только там тело, а тут душа.

Первого убитого, которого знал при жизни, хоронил на Халхин-Голе. Второго проводил на тот свет на финской. А потом, на этой, пошло и пошло: и тех, кого знал до войны, и тех, кого узнал на войне, и тех, с кем ездил, и тех, к кому ездил...

Он вспомнил, как втроем с Велиховым и шофером поднимали на Симферопольском шоссе с залитого кровью асфальта и клали в машину то, что осталось от дивизионного комиссара Пантелеева. Они — за туловище и оставшуюся целой левую руку, а

он — подхватив под колени, чувствуя теплоту еще не остывших ног.

А Гурский тогда, осенью сорок первого, встретив его в Москве, в редакции, расспрашивал подробности, как все это было там, в Крыму, с Пантелеевым...

Всякий человек чего-нибудь да не успел при жизни. И когда его жаль, то жаль и за это. Гурский почти никогда не говорил о своем будущем. Наоборот, любил делать вид, что живет только сегодняшним днем. Но о будущем, конечно, думал и на что-то в нем надеялся.

«Кто знает, может, он еще что-то писал, чего даже я не знал? — подумал Лопатин. — Мои тетрадки с дневниками лежат дома, там у него, у мертвого. А он, может быть, тоже что-то писал и никому об этом не говорил. И я даже не знаю, где у него это может лежать».

Это, конечно, чепуха, что в жизни непоправимо только одно — смерть. В жизни непоправимо многое, верней, все, что переделал бы по-другому, да уже поздно. И все же очевидней всего — непоправимость смерти. Когда чья-то жизнь была частью твоей жизни — если это действительно так, без преувеличений, — то и смерть такого человека тоже часть твоей смерти. Ты еще жив, но что-то в тебе самом уже умерло и не воскреснет. Можно только делать вид, что ты по-прежнему цел. Потому что оторванный кусок души — это не рука и не нога, и что он оторван — никому не видно.

Впереди догрохотал последний тягач. Водитель, проснувшись, поднял лицо от баранки.

Колонна двинулась через перекресток.

— Долго мы стояли, товарищ майор? — спросил водитель.

— Изрядно, больше часа.

С полчаса ехали молча. Чтоб отвлечься от других мыслей, Лопатин начал считать свои поездки на фронт: сколько всего часов и дней он провел в машинах — и в своих, и в чужих, и в таких вот, попутных. Считал, считал — и запутался. Времени, проведенного на колесах, считая Халхин-Гол, набиралось неправдоподобно много.

— Чего вы все молчите, товарищ майор? Расскажите чего-нибудь, а то спать клонит, спасу нет! — вдруг попросил водитель.

Лопатин закурил и стал рассказывать про Монголию: какая там ровная степь, только иногда — полосы солончаков, а так, пока не наткнулся на них, можно ехать, как по столу, — в любую сторону, без дороги. И какие там ни на что не похожие полосатые закаты, и как мало воды, и как в жару на горизонте мерещатся озера, а над ними лес.

— А какая там война была? — спросил водитель. — Мы про нее почти ничего и не слыхали.

Пришлось рассказывать ему про Халхин-Гол — и про то, какая там была война — небольшая, кровавая и, по нынешним понятиям, короткая, а тогда, наоборот, считавшаяся очень длинной — с мая до сентября, целое лето...

После еще двух остановок — одной в пробке, а другой на объезде — на рассвете добрались до рокады Гродно — Каунас.

Лопатин подхватил чемодан и выскочил на перекресток из приостановившейся на несколько секунд машины.

Регулировщица, с сержантскими лычками на погонах шинели и с винтовкой за плечом, на вид была из тех, кто себя в обиду не дает: рослая, со строгим лицом и вызовом в глазах — мол, попробуй только, обратись ко мне не так, как положено, сразу отбрею! Но Лопатин обратился к ней как положено и попросил придержать какую-нибудь машину, идущую по шоссе направо, на север, предпочтительно какой-нибудь «виллис» с начальником.

— Чем больше начальство, тем дальше меня довезет! — добавил он, улыбнувшись.

Неизвестно что — эта немудрящая шутка, возраст Лопатина или ленточки орденов и медалей, которые она увидела, пока он, распахнув шинель, доставал удостоверение личности,— но что-то расположило к нему строгого сержанта дорожной службы. Она ответно улыбнулась и сразу стала тем, кем и была: одетой в шинель с погонами девятнадцатилетней девчонкой.

— Есть задержать для вас начальство побольше, товарищ майор. А если вдруг генерал — не боитесь?

— Не боюсь. Я человек штатский.

— Какой же вы штатский, товарищ майор, когда у вас вон сколько наград.

— А это мне за выслугу лет. Неудобно в моем возрасте ходить без ничего. Вот и дали!

Мимо по шоссе проскочило уже несколько грузовиков, но «виллисов» пока не было.

— Может, грузовик остановить, товарищ майор? — спросила регулировщица.— А то время раннее, начальники еще мало ездят. Можно и час прождать.

— Что первое пойдет, то и останавливайте,— сказал Лопатин, разглядывая ее и думая о собственной дочери.

— Что вы на меня так смотрите, товарищ майор? — спросила она не с вызовом, а смущенно, словно провинилась перед ним.

— Сколько вам лет? Девятнадцать?

— Девятнадцать.

— И давно на войне?

— Второй год.

Лопатин вздохнул, продолжая думать о дочери: успеет или не успеет она попасть на фронт?

— Откуда вы?

— Была эвакуированная. Под Семипалатинском в совхозе работала. Оттуда в армию пошла. А так я из Пнёва, Смоленской области Пнёвского района. У нас в сорок первом году там переправа была, Соловьевская,— может, знаете?

— Как не знать. — Лопатин вспомнил эту Соловьевскую переправу с ее тогдашним кромешным адом.

— Мы оттуда с войсками отходили. Я в санитарки просилась, даже год себе прибавила, но тогда не взяли. А потом все же, когда восемнадцать исполнилось, в Семипалатинске пошла в военкомат — и взяли. Мне сейчас некоторые и двадцать один, и двадцать два дают. Говорят, я старше себя выгляжу.

— Дразнят. Сколько есть, на столько и выглядите, так что не расстраивайтесь.

— А я и не расстраиваюсь, потому что...

Она не успела договорить. Увидела приближавшийся грузовик, шагнула навстречу, на середину дороги, и задержала.

— Он только до следующего регулировочного поста довезет вас, а там сворачивать будет. Как, поедете или нет? — стоя у грузовика и держась рукой за открытую дверцу кабины, крикнула она Лопатину.

— Поеду. — Он поднял с полуразбитого асфальта чемодан и шагнул к грузовику.

23

В это утро ему не везло. Пришлось еще три раза ждать и три раза пересаживаться, пока уже после полудня он наконец добрался до стоявшего там, где и прежде, штаба фронта, верней, до шлагбаума, за который не пускали машины.

Не верилось, что всего-навсего три дня назад, семнадцатого в пять утра, он выезжал отсюда, сидя рядом с хмурым Василием Ивановичем, и Гурский, спросонок позевывая, ребром руки поколачивал его сзади по спине.

— Смот-три, не озябни. Помни, что у тебя теперь легкие с д-дыркой!

От шлагбаума до оперативного отдела пришлось прошагать полтора километра и столько же — обратно.

— Нам еще вчера оттуда, от начпоарма, записка пришла вместе с машиной, которая должна вас к ним в армию забрать,— сказал Лопатину дежурный по оперативному отделу. — Машину

с водителем мы на стоянку загнали — вы знаете где, в роще, где и раньше была. Там ее и найдете.

Обедать, хотя ему и предложили сходить в штабную столовую, Лопатин не стал — не хотел терять времени. До рощи дошагал довольно быстро и там среди других машин тоже быстро нашел свой редакционный «виллис». Василия Ивановича при нем не было: как сказали другие шофера, ждал, ждал и только что отлучился, пошел обедать; значит, теперь предстояло ждать его около часа. Когда требовалось, он мог сутки не отлипать от руля, но, если была возможность поесть горячего, никогда не пропускал ее, и притом не любил торопиться.

Лопатин пристроился на заднем сиденье «виллиса», подложил под голову шинель, приоткрыл дверцу, вытянул ноги и закрыл глаза.

Пригревало солнце, ветки над головой покачивало ветром, по лицу бродили тени от листьев.

Он проснулся от гудка машины. Василий Иванович сидел за рулем.

— Пересядете или как? — повернулся он, словно они виделись минуту назад.

Лопатин посмотрел вверх и увидел, что над головой натянут тент,— стало быть, Василий Иванович пожалел его, дал поспать несколько лишних минут. Сперва натянул тент, наверное, как всегда, перед тем как ехать, открыл капот, проверил свечи, постучал сапогом по всем четырем скатам и, лишь убедившись, что все в порядке, и сев за руль, разбудил Лопатина.

— Печет,— сказал Василий Иванович, заметив, что Лопатин посмотрел на тент. —Так как — пересядете?

Лопатин поднялся, встряхнул шинель, сложил ее пополам на заднем сиденье и пересел на переднее.

— Можем ехать. Сколько до места?

Не любивший таких вопросов, Василий Иванович пожал плечами. Это значило: сколько проедем, столько и проедем, зря стоять не будем!

— А все же? — спросил Лопатин, на сей раз не желая мириться со знакомым ему упрямством.

— Сюда за три часа доехали. Дороги тесные, объезды — спешить — себе дороже!

— Я и не прошу вас спешить,— сказал Лопатин, подумав, что, раз он не добрался ни вчера, ни сегодня утром,— вряд ли там целый день будут ждать с похоронами. — Спешить нам с вами уже некуда.

— Это верно, некуда,— сказал Василий Иванович,— уже поспешили. Так спешил, так спешил, только в спину не пихал, чтоб

быстрей ехал. А для чего спешил, чего там не видел? Речка — она и речка, как Клязьма, и ничего на ней такого особенного — ни на этой стороне, ни на той. Можно бы и не спешить, оглядеться. Еще — кабы ты первый! А ты ж не первый — солдаты так и так на той стороне уже сутки сидят! Нет, все же надо ему было сразу, как приехали!

С этого начался рассказ Василия Ивановича о гибели Гурского, в котором смешались и жалость и досада — поровну того и другого.

Оказывается, как и предполагал Лопатин, заехав с аэродрома на фронтовой узел связи, они махнули прямо оттуда в Политотдел армии. Но у редактора — как его по-прежнему продолжал звать Василий Иванович — пробыли недолго, меньше часа. Не дав пообедать, Гурский продержал это время Василия Ивановича на ходу у дома, где стоял редактор, но и сам тоже не обедал — ни там, ни потом по дороге в дивизию,— так весь день и не ели. Поужинали только глядя на ночь, когда добрались до штаба полка.

Вышли вместе — и редактор, и Гурский,— сели каждый в свой «виллис» и поехали в разные стороны.

Гурский вынес оттуда, от редактора, карту, по ней и ехали. Дорогу ни у кого не спрашивали, только по карте, поэтому ехали дольше, чем надо, три раза напрасно сворачивали и возвращались.

— Он же только командует: давай, давай! Ему, чем остановиться, людей спросить, лучше десять километров крюку сделать. Имеет такую привычку — никого не спрашивать, сам все лучше всех знает,— сердито говорил Василий Иванович о Гурском, как о живом.

А когда приехали в полк, дальше — как выразился Василий Иванович — все было по делу. Поговорив с командиром полка, Гурский сказал, что остается тут до завтрашнего дня, машина до утра не понадобится. Командир полка посадил к Василию Ивановичу своего солдата. Подъехали заправиться, поужинали в хозвзводе и с этим же солдатом и другими солдатами из взвода автоматчиков заночевали на сеновале фольварка, где стоял штаб полка. А утром, когда выспались, еще не так поздно, в седьмом часу, уже позвонили, что Гурский — убитый. Он и еще трое: капитан из штаба полка, старший сержант и солдат. А раненых — сколько их и кто — Василий Иванович не знал. Слышал, что были, но когда на его «виллисе» подъехали с командиром полка туда, к тому месту, раненых уже вывезли, остались только убитые.

— А разве командир полка там с ним не был? — спросил Лопатин.

— Нет. Когда мы с командиром полка туда поехали, он по дороге ругался, что у него ночью где-то еще ЧП вышло, и он вместо себя с Гурским капитана послал. «Если б, говорит, с ним я, а не этот капитан пошел, он бы меня не подначил, я бы его еще ночью заставил оттуда, из-за Шешупы, вернуться, и ничего бы не было!»

«Вот так почти всегда,— подумал о неизвестном ему командире полка Лопатин. — Почему-то нам, живым, кажется, что, будь мы сами где-то там, вместе с мертвыми, что-то от этого бы переменилось, и они остались бы живы...»

Василий Иванович рассказал, как они с командиром и его ординарцем поехали на «виллисе» в батальон, как оставили «виллис» около разбитого снарядами дома, где стоял КП батальона, перевалили через гребешок холма и пошли вниз к речке.

— И вы тоже пошли? — спросил Лопатин.

Василий Иванович пожал плечами, как всегда, когда считал какой-нибудь вопрос никчемным. Сказал, что луговина вдоль берега была сыроватая, и по ней воронки от снарядов — старые и несколько новых, не особо больших. Трупы уже подобрали, положили в ряд, собирались копать братскую могилу, уже взяли кругом на пол-лопаты — обозначили края,— но командир полка отменил. Сказал, что надо похоронить в другом месте, а до этого позвонить по телефону и доложить.

— А как они... — Лопатин хотел спросить, как выглядели убитые, как их убило. Но Василий Иванович, не дав ему договорить, сам сказал, что сержанту снесло череп, капитану попало в живот таким осколком, что кишки наружу, а солдату и Гурскому, наверное, в спину,— лежали лицами кверху, и по ним не видать было, куда их убило.

— И чего ему было там, в этой Пруссии,— не знаю. Версты за три шпиль торчит — наверное, от ихней церкви, а на самом берегу почти ничего — только буквой «п» сараи или, скорей всего, хлева. Правда, каменные, толстой кладки, и окна узкие, как дыры. Это и отсюда, без переправы, видать. А больше ничего и нет. Кругом поскотина.

И в этих словах его про поскотину, как показалось Лопатину, была досада, что люди погибли все равно что из-за ничего.

— А где их убило? Я верно понял, что уже на этом берегу? — спросил Лопатин.

— На этом. Пока на том были, немец не стрелял, солдаты говорят — он больше бросает с утра и под вечер. А они задержались там, уже на свету возвращались и как раз под это попали.

Так мне сказали,— устав от непривычно долгого для него рассказа, вздохнул Василий Иванович и на целый час замолчал. Только уже когда подъезжали к штабу армии, сказал: — Сейчас приедем. Редактор велел сразу, как приедем — днем ли, ночью,— прямо к нему, где он стоит.

«Виллис» остановился у обшарпанного особнячка, на въезде в небольшой городишко, известный Лопатину только по названию, промелькнувшему в сообщении Информбюро. Одна стена дома была поковыряна мелкими осколками — должно быть, от ручной гранаты, а другая, за которую завернули, невредима, даже все стекла целы. В подъезде стоял автоматчик. Лопатин, предъявив документы, спросил, здесь ли генерал. Автоматчик, к удивлению Лопатина, спросил — какой? Оказывается, здесь квартировали сразу два генерала. Начальника штаба армии не было, а начальник Политотдела, по словам автоматчика, недавно вернулся.

Лопатин поднялся на второй этаж и вошел в большую, наполовину сохранявшую остатки уюта, а наполовину пустую, с вынесенной мебелью, комнату, оглядел ее и увидел в углу большой зеленый плюшевый диван, на котором, как ребенок, спал в своей генеральской форме его бывший редактор, уткнувшись носом в спинку дивана и поджав ноги в пыльных сапогах.

Лопатин успел уже дойти до середины комнаты, когда тот вскочил, быстро обеими руками потер лицо и уставился на Лопатина шальными, еще не вернувшимися из сна глазами.

— Здравствуй,— сказал он Лопатину; сказал так же и то же самое, что всегда: — Интересно, сколько я спал?

— Не знаю. Вряд ли долго. Автоматчик внизу сказал, что ты недавно приехал.

Редактор взглянул на часы, быстро шагнул навстречу Лопатину, быстро обнял его, ткнувшись губами в щеку, и так же быстро отпустил — все одним махом — и, отступив на шаг и застегивая китель, отрывисто спросил:

— Ну, что скажешь?

— Что же мне говорить? Жду, что ты скажешь.

Редактор, не глядя на Лопатина, прошелся взад и вперед по комнате, еще раз посмотрел на часы, потом на Лопатина и сказал:

— Садись.

— Ну, сел,— сказал Лопатин, садясь на диван. — А ты?

— А я должен ехать в Политуправление фронта. Только приехал сюда — звонят, чтоб ехал туда. Утром вернусь, даже ночью. Собирают срочно в связи с тем, что временно переходим

к обороне. От тебя секретов нет, да это уже несколько дней как предрешено.

— Сядь, не мелькай перед глазами — и без тебя голова кругом.

— Вот именно,— сказал редактор. И сел на самый краешек дивана так, словно собирался сразу же вскочить обратно.

— Откуда ты только что приехал?

— С похорон. Ждал тебя вчера, ждал сегодня утром и поехал хоронить. До сегодня оттянул, а дальше было бы непонятно, тем более со стороны начальника Политотдела. По сути, я его живым почти и не видел,— сказал редактор о Гурском,— даже время, помню, тогда засек — тридцать пять минут по часам, а больше — как бы ни хотел — не мог. Нагрянул как снег на голову — отправляй его сразу на Шешупу! А мне через тридцать пять минут с членом Военного совета — в другой корпус, на другое направление. Я ему: «Оставайся до завтра, жди тут, завтра вместе поедем», а он мне: «Вы меня, очевидно, за кого-то другого принимаете, а у меня ваша школа. Сегодня же ночью должен ступить ногой на землю Восточной Пруссии, а завтра днем быть на узле связи и передать корреспонденцию». Этим купил. Мало того! При нем же сам позвонил в дивизию, чтобы не препятствовали. Что разрешаю! Вот и разрешил. Своими руками послал на смерть.

Его голос дрогнул. Но он помог себе тем, что вскочил и снова заходил по комнате.

— А все остальные тридцать минут ушли, конечно, на обычные его шуточки: и как продолжатель моего дела осваивает мой опыт — красным карандашом полосы марает, и как он его учит из длинного короткое делать, и как ему про твою невесту объяснил, чтоб поскорее тебя вызвать. Что, у тебя в самом деле невеста?

— Ну какая у меня в моем возрасте невеста? Просто уговорил женщину приехать ко мне — женюсь на ней.

— Так и представлял себе. Знал, что она сейчас у тебя, в Москве, но по-другому не мог написать, считал, что после моей телеграммы ты все равно сам вызовешься, даже если б не назвал тебя.

— Правильно считал.

— Она ругалась, наверно?

— Нет, поняла меня.

— А я вот до сих пор понять не могу. Как так — своими руками взял и послал. Как он меня на это за пять минут уговорил? По правде говоря, ждал не его, а тебя. Думал, как только узнаешь, что я здесь, сразу ко мне приедешь.

— А мне только в ночь перед отлетом в Москву сказали, что ты здесь.

— Ты меня знаешь, я не щадил вас, пока был в газете. И когда от вас требовал — понимал, чего требую. Но это я сам требовал. А тут мое дело было не требовать, а разрешить или нет. Разрешил — и угробил. А не разрешил бы, поехал бы сам с ним на другой день — ничего бы не было.

— Может, не было бы, а может, и было бы. Совершенно так же мог и сам с ним угробиться. Что тут хорошего?

— А что хорошего жить и знать, что мог сохранить человека, а угробил.

— Знаешь что, Матвей,— с неожиданной для него самого жесткостью сказал Лопатин. — Не устраивай для себя особого счета. Его на войне ни для кого не было, нет и не будет. Что значит — ты угробил? Он поехал делать свое дело, а ты разрешил — и правильно сделал. Что ты себя за это казнишь? Что же, все кругом на фронте, кроме тебя, такие бесчувственные, что никто не переживает свои потери? Что б это было, если б каждый из вас стал рвать на себе волосы: этого он угробил, послав вперед, того угробил, не позволив отойти. Скольким людям при мне отдавали эти приказания, да еще в такой форме, что — ого-го! — попробуй не выполни! Подумай, что ты говоришь? Да еще при своей новой должности. Что ты сам, что ли, не знаешь, как это каждый день бывает,— не тут, так там?

Даже не осознавая этого до конца, он заговорил со своим бывшим редактором, как старший с младшим, как знающий больше — со знающим меньше, потому что, несмотря на всю личную храбрость и все рывки Матвея из газеты на фронт, войну он, Лопатин, знал все-таки лучше.

«Может быть, став начальником Политотдела армии, ты будешь знать войну лучше меня, но пока — нет,— подумал Лопатин. — И я понимаю, а ты еще не понимаешь, что тебе почему-то нельзя вот так, как сейчас, говорить «угробил» и объявлять себя виноватым. При мне еще так-сяк, а при других нельзя, неправильно. А те, кто там вместе с Гурским погибли,— кто их угробил? Что ж ты думал — они там в полку одного Гурского, что ли, туда, в Восточную Пруссию, переправят, а с ним никого?»

— Ты прав,— после короткого молчания сказал Матвей. Судя по его лицу, слова Лопатина не задели, а опечалили его. — К тому, что стал начальником Политотдела, я еще не привык. Привык за вас волноваться — оттуда, из Москвы, привык, если сам на фронт приезжал, чтобы за меня волновались,— не пускают, а я лезу. Но это все не то, с чем имею дело теперь.

Внизу раздался гудок «виллиса».

— На всякий случай будит меня!

Он опять взглянул на часы, и так, словно спешил не он, а Лопатин, сказав: «Погоди минуту»,— вышел в другую комнату и вернулся с хорошо знакомым Лопатину чемоданом Гурского и черной клеенчатой тетрадкой. Чемодан поставил у дивана, а тетрадку протянул Лопатину.

— Я прочел. Почерк у него как всегда, но разобрать можно. Для очерка уже почти все есть, но коротковато. Больше пяти страниц на машинке не будет. Поправишь, потом звездочки дашь или отточие и от себя еще странички три — все вместе как раз на высокий подвал, на вторую или третью полосу. А можно на три колонки — одно под другим.

Он еще не отвык быть редактором и мысленно верстал газетную полосу.

— В чемодане,— он показал на чемодан,— ничего особенного, я посмотрел. Но ты посмотри еще. По-моему, больше ни одной бумажки, кроме тетради. Не знаю почему, полевая сумка у него пустая в чемодане осталась, а эту тетрадь он свернул в трубку и в бриджи сунул вместе с картой и карандашом. Остальное — партийный билет, удостоверение, предписание — все уже взяли в сейф. И орден Отечественной войны второй степени, который с гимнастерки свинтили. По статуту надо родным передать — значит, матери, а как и с кем — не знаю. Может, с тобой, а может, пакетом через редакцию. Я его посмертно представил еще к одной Отечественной — первой степени, но командующий, подписывая, исправил на вторую. Еще поговорим обо всем этом, когда вернусь. Спи здесь. Ординарец ужин принесет для меня, съешь его и ложись на диване. Или в той комнате, на моей койке,— как хочешь. А мне пора. И завтра с утра, при всем желании, навряд ли с тобой поеду. Сам съездишь туда в полк. Расспросишь, как все было. Мне теперь докладывают коротко. А тебе могут и подробней. До завтра. Я поехал.

— А чего я буду, как дурак, сидеть тут до завтра один? — сказал Лопатин. — Лучше я сегодня, пока тебя нет, съезжу. А утром вернусь, напишу, и ты дашь команду, чтобы быстрей передали. Если бы завтра вместе — другое дело, а раз ты не сможешь, кого мне ждать? Чего я тут не видел?

На лице редактора выразилось короткое колебание. Должно быть, хотел сказать что-нибудь принятое в таких случаях: «Только поосторожнее!» или: «Не делай глупостей!» — но пресек себя.

— В самом деле, зачем время терять, поезжай. Начни с того, что могилу посмотри, пока светло. Она там же рядом, на высотке, где у них командный пункт полка.

— С этого и начну.

Лопатин, не заглядывая в тетрадь Гурского, сунул ее в полевую сумку и вышел из комнаты вслед за редактором.

У входа в дом теперь стоял уже не один, а два «виллиса». Заметив Василия Ивановича, редактор кивнул ему и, быстро пожав руку Лопатину, хотел идти к своему «виллису». Но Лопатин задержал его и все-таки спросил:

— Матвей, всего два слова. С газетой сильно расстраиваешься?

— Расстраиваются барышни,— зло ответил редактор. — Умней ничего не нашел спросить?

— Пока не нашел.

— Напрасно! — все так же зло сказал редактор. — Был лучшего о тебе мнения. Если чем и расстроен — тем, что еще не понял, каким буду начальником Политотдела. Быть хуже других не привык. А буду ли лучше других — не знаю. Издали считал, что не так трудно. А попробовал на своей шкуре — пока зашиваюсь.

— Понял. Поговорим в другой раз,— сказал Лопатин.

— Смотря о чем. Если о том, как зашиваюсь, найду время — объясню. А если о прошлом — к нему возвращаться не будем. Командир полка, к которому едешь, знает тебя по госпиталю, в шахматы с тобой там играл. И Гурского у тебя один раз видел, сказал мне об этом.

— А что еще до этого меня знал, не сказал?

— Где и когда?

— В сорок первом, в Крыму. Он у Пантелеева адъютантом был.

— У Пантелеева? Это школа хорошая. Не знал про него этого. — Матвей пошел к своему «виллису» и, уже сев, высунулся и крикнул: — За мной не пристраивайтесь, сразу развернитесь — и до конца улицы, до указателя.

«Виллис» рванул с места и, подпрыгивая, понесся по мощенной булыжником улице.

— А мы куда? Туда, на Шешупу, что ли? — спросил Василий Иванович, когда Лопатин сел рядом с ним.

— Туда, куда ж еще. — Лопатин вспомнил то, что давно бы уже следовало сказать Василию Ивановичу. — Вашу записку жене я передал через завгара, сам не попал к ней. Так что ответа не привез.

— Чего об этом говорить. — Василий Иванович разворачивал машину на узкой улице, поглядывая назад, чтобы не зацепить за тумбу. — Какие записки, когда — был человек, и нету!

Разное занимает и душу и внимание, пока подъезжаешь все ближе к передовой.

Иногда прислушиваешься к звукам боя, особенно если в них что-то вдруг меняется. А если они долго не слышны, думаешь о том, когда же прервется тишина. Хочешь не хочешь, а все равно помнишь, что и ты смертен, и как раз в тишине труднее от этого отвязаться.

А бывает, что ждешь этой новой предстоящей тебе встречи с передовой больше не слухом, а зрением. Глядя по сторонам дороги, прикидываешь, во что обошлось и нам и немцам то расстояние, по которому ты продолжаешь еще беспрепятственно ехать. Считаешь и вблизи и вдали брошенные пушки и горелые танки — и их и наши — и хочешь, чтобы наших было меньше, а их больше.

Но сегодня было чувство, чем-то непохожее на все, что испытывал обычно. Потому что обычно ехал туда, вперед, к уже знакомым или к еще незнакомым людям, но к живым или считавшимся живыми. А сейчас заведомо ехал к мертвому, не к человеку, а к могиле. Думал при этом и о встрече с Велиховым, но все-таки ехал к могиле.

Может, оттого так и бросались в глаза то здесь, то там попадавшиеся братские могилы — то сразу видные вблизи дороги, то угадывавшиеся вдалеке. Да, много могил, и почти все — братские, издавна окрещенные этим словом, так сближавшим всех, кто там, под землей, что куда уж ближе! Ближе некуда.

Война — не кладбище, а дорога, на которой почти всегда и всем некогда. Но и свои штатные могильщики есть на этой дороге — похоронные команды; и свои похоронные книги — ведомости потерь, которые пишут в каждом полку ПНШ-4 — четвертые помощники начальников штабов; среди других обязанностей лежит на них и эта — писать, когда убили, и где зарыли, и откуда родом, кому и куда посылать похоронку. Могилы общие, но в каждой рядом с другими, чужими, лежит чей-то собственный, и все чужие, лежащие рядом с ним, тоже для кого-то собственные. Это и есть война в той самой последней и долгой своей тяжести, которая потому и страшней всего, что она долгая. Войну еще, может, удастся укоротить и этим спасти на ней еще чьи-то жизни. А эту уже легшую в землю тяжесть памяти уже не укоротишь — ни письмом замполита, ни посмертной наградой, ничем.

Мысль была простая, вроде бы даже само собой разумеющаяся, но в своей безвыходной простоте она чуть ли не впервые за войну пришла Лопатину в голову.

Вспомнив о посмертных наградах, он подумал об ордене Отечественной войны, переправленном командующим с первой на вторую степень, о котором хлопотал для Гурского их бывший редактор. А за что он ему — этот орден? За то, что его убили? Но если так, то в этом нет здравого смысла, а если нет здравого смысла, то нет и того высшего смысла, про который иногда говорят, напрасно противопоставляя один другому. А если в такой посмертной награде есть здравый смысл, то, значит, она не за то, что убили, а за то, что сделал перед этим, за то, что, прежде чем писать, хотел не с чужих слов, а сам, своими подошвами пощупать эту первую версту Восточной Пруссии. И если, жалея мертвого, говорить потом про него, зачем полез туда, и считать, что мог обойтись и без этого,— если б это было верно, то мало смысла и в посмертной награде ему, и даже не мало, а вовсе нет смысла — ни здравого, ни высшего, никакого.

Уже несколько раз за дорогу Лопатин собирался достать из полевой сумки засунутую туда тетрадь с записями Гурского, но всякий раз не мог заставить себя это сделать и только теперь расстегнул сумку.

— Едем верно, все в порядке, карту смотреть не надо? — спросил он у Василия Ивановича, впервые заметив в тетради Гурского краешек засунутой туда карты.

— Если хотите — смотрите, а я два конца по ней сделал, мне не надо,— сказал Василий Иванович.

Тетрадь была знакомая, одна из тех двадцати толстых общих черных клеенчатых, в клетку, тетрадей, которые он, словно угадав еще до войны всю ее будущую длину, в июне сорок первого купил на Арбате в писчебумажном магазине около тогда еще не разбитого бомбой Вахтанговского театра. Пятнадцать этих тетрадей было уже исписано; эту, шестнадцатую, когда он после госпиталя снова стал жить у себя на квартире, увидев у него на столе, забрал Гурский, семнадцатая, не дописанная до конца, лежала у Ники, а три чистые, последние, оставались дома. Так и лежали там на столе, под рукой.

В эту поездку отправился, не взяв тетради. Хотел зайти взять, и даже собирался объяснить это Нике, но не зашел и не взял. Да, хорошо бы, если б этих трех последних тетрадей хватило до конца войны!

Подумал так, словно одно было связано с другим, и, усмехнувшись нелепости этой мысли, наконец заставил себя открыть тетрадь. Сначала пробежал глазами первые десять страниц с очень короткими записями — в одну-две строки: судя по названиям мест, это были заметки для памяти, по которым Гурский диктовал стенографисткам свои корреспонденции с Карельского

перешейка. Потом шло несколько неизвестно для чего оставленных чистых страниц, и сразу без всяких предварительных заметок начинался плотно и неразборчиво написанный текст того, что Гурский собирался передать по телеграфу, вернувшись с того берега Шешупы.

Это была одна из тех корреспонденций, весь смысл которых — в собственном присутствии пишущего при всем происходящем. Никаких соблазнительных преувеличений или смещений во времени не было. Наоборот, говорилось, как кругом тихо, даже неожиданно тихо; хотя первые солдаты переправились на тот берег, в Восточную Пруссию, еще сутки назад. И только после этого начинались записи в настоящем времени: «Подходим к берегу, сидим вместе с капитаном на самом краю, тихонько зачерпываем руками довольно холодную для августа воду; сидим и ждем, когда возвратится с того берега, из Пруссии, надувной плотик, на котором старшина повез туда термоса, сидим и слушаем все приближающиеся тихие шлепки весла».

И так до конца, до записей разговоров с солдатами, сделанных на том берегу, и до самой последней фразы: «Записываю их мысли, откладывая на потом — собственные. Капитан торопит с обратной переправой, если не собираюсь остаться тут еще на сутки. Говорит, что в светлое время переправляться никому не разрешено...»

Капитан торопит... Никого он уже больше не торопит, этот капитан...

Лопатин вынул из тетради карту; вдоль тонкого синего изгиба реки шли крупные черные точки и толстые тире государственной границы с Германией; недалеко от изгиба Гурский поставил карандашом крестик, обозначив им местопребывание командного пункта полка. На обороте карты, тоже карандашом, было написано: «Появление перед Берлином неприятельской армии невозможно». Мольтке-младший. 1914 год».

Наверно, Гурскому по дороге к границе пришла на память эта цитата для будущей корреспонденции.

Сверять карту с дорогой Лопатин не стал, решив положиться на Василия Ивановича. Сунув тетрадь и карту в полевую сумку, он несколько минут ехал закрыв глаза, чтоб отдохнули от чтения на ходу.

А когда снова открыл глаза и надел очки, увидел по сторонам дороги не то, что до этого выбирал глаз, а обыкновенную здешнюю природу: поля и пригорки; кое-где обнажившийся на склонах песок делал эти пригорки похожими на дюны; вдали виднелись перелески и небольшие хутора в несколько построек.

на полях лежали вывернутые из песчаной почвы некрупные валуны.

Потом впереди, на фоне росшего на гребне одного из пригорков сосняка, увидел большой каменный дом с длинным кирпичным коровником и таким же длинным рубленым сараем.

— Вот и доехали,— сказал Василий Иванович, сворачивая к дому. Но Лопатин остановил его, заметив в стороне, справа, чуть выше по склону, три молодые сосны, под ними белую пирамидку могилы, а над ней что-то непонятно, ослепительно блестевшее в лучах заходившего солнца.

— Она? — спросил Лопатин.

— Она.

Пирамидка была сложена из старого кирпича — наверное, разобрали для этого какую-нибудь разбитую снарядами стену,— но этот ломаный, поковырянный кирпич снизу и доверху был густо и чисто побелен. В пирамидку был вмазан штык острием вверх, а к нему обнаженным от изоляции медным проводом прикреплена вырезанная из разогнутой снарядной гильзы звезда. Она-то и отсвечивала сейчас на солнце так сильно, что остановила их еще издали.

На пирамидке, под добытой где-то пластинкой плексигласа, на хорошо отшкуренном куске фанеры, густыми лиловыми чернилами по-писарски четко была выведена надпись: «Вечная память погибшим в боях за Родину». И под ней — фамилии. Рядом с первой — гвардии капитана Салимова Ю. С. — маленькая, плохо видная под мутным, поцарапанным плексигласом, фотография капитана в фуражке, с гвардейским знаком и тремя орденами на гимнастерке. Остальные фамилии — без фотографий: капитан Гурский Б. А., военный корреспондент «Красной звезды»; гвардии старший сержант Лаврик С. С.; гвардии рядовой Самохин С. А.

Вот и все. Одна на четверых война, одна надпись, одна могила.

«Значит, вот сюда она и приедет, если новый редактор сдержит свое обещание»,— подумал Лопатин о матери Гурского и услышал у себя за спиной голос Василия Ивановича:

— Товарищ майор!

Это значило, что к ним подошел кто-то еще. Товарищем майором Василий Иванович называл его только при посторонних.

Лопатин повернулся и увидел Велихова, стоявшего с непокрытой головой, держа фуражку в руке.

Велихов неуверенно потянулся и обнял его, сказав что-то про свое сочувствие — Лопатин толком не расслышал — что, потому что вдруг сжало горло от всего, вместе взятого: от смерти Гур-

ского, от молодости Велихова, от резанувшего по сердцу воспоминания о сорок первом годе и от этого внезапного объятия, про которые Гурский зло шутил, что, когда мужские губы касаются его небритых щек, ему кажется, что он уже отдал жизнь за родину и лежит в гробу.

Все так. И отдал, и лежит, а ты стоишь и молчишь, и не можешь проглотить комка в горле.

— Я здесь только второй раз в жизни увидел его. — Не глядя на Велихова, услышал Лопатин его голос. — Но мне ваша Нина говорила о нем, что вы его очень любите, и вообще высоко о нем отзывалась, как о самом лучшем вашем друге.

«Нина... высоко отзывалась...» — все это было так странно и далеко от случившегося здесь, что Лопатин в первую секунду не понял. Ошалело подумал — какая Нина? Словно речь шла не о его собственной дочери.

— Да, да, все так,— сказал он. И еще несколько раз повторил: — Все так, все так,— никак не мог отцепиться от этих слов и найти какие-то другие.

— Вы одни приехали? — спросил Велихов. — Начальник Политотдела не приедет? Он хотел с вами вместе.

— Не приедет,— сказал Лопатин.

— Не переживайте, Василий Николаевич. Я уже сам тут пережинал — и за него, и за капитана Салимова, и за Лаврика. Солдата не знал, он новый был, а с ними два года в одном полку. Особенно за Юсуфа Салимова. Когда в сорок втором, зимой, с политработы на строевую переходили, вместе курсы кончали. Так что вы не переживайте,— повторил Велихов.

И за его неумелыми словами утешения, стремлением облегчить твое горе, напомнив о собственном, стояло что-то глубоко справедливое.

— Я не переживаю,— сказал Лопатин. — Просто стою, как дурак, и не могу привыкнуть, хотя пора бы.

— А я дежурному велел за дорогой следить,— сказал Велихов. — Он доложил, и я сразу выскочил и — сюда. Сначала думал, вы не один, а потом вижу — один. Как, постоим еще или поедем? Наверное, вам поужинать надо.

— Наверное, надо. Только не поедем, а пойдем. Вторые сутки все еду и еду.

— Поезжайте, водитель,— другим, не тем, каким он разговаривал с Лопатиным, а привычным командным тоном обратился Велихов к Василию Ивановичу. — Покушайте и отдыхайте, солдаты вам укажут. — И когда тот отъехал, снова повернулся к Лопатину: — Долго вы тут стояли. Стою за вашей спиной, жду, а вы все молчите и смотрите.

— Неужели долго?

Лопатину, наоборот, казалось, что все было очень коротко: подошел, посмотрел на фамилии и сразу услышал оклик Василия Ивановича «товарищ майор!». «А оказывается, этот мальчик стоял за спиной и ждал»,— подумал он о Велихове. Так и подумал: мальчик.

С тех пор как война окончательно переломилась и пошла на запад и где-то уже мерещился конец ее, ему все тревожней бросалась в глаза молодость продолжавших жить и воевать людей. Она казалась опасной и хотелось защитить ее от смерти — неизвестно чем и как, но все равно хотелось. Это чувство он испытывал и сейчас, глядя на Велихова.

— Вот что, Михаил... — Лопатин сделал паузу — ждал, чтобы Велихов подсказал отчество.

— Не надо, Василий Николаевич. Михаил — и все.

— Хорошо. Так вот, сейчас мы, конечно, пойдем к вам в штаб полка и поужинаем, и вы расскажете мне, как все произошло; но сейчас, пока мы стоим с вами здесь вдвоем, прошу меня понять и заранее обещать сделать то, о чем я попрошу.

— Конечно, Василий Николаевич, сделаю для вас все, что смогу,— сказал Велихов, и на лице его не выразилось ни малейшей тревоги.

— Мне нужно будет дописать для нашей газеты то, что он начал, но не закончил.

Велихов с готовностью кивнул. В связи с предстоящим приездом Лопатина он уже слышал об этом от начальника Политотдела.

— А для этого — составить обо всем свое собственное представление,— продолжал Лопатин. — А для этого — расспросить и как выходили к государственной границе, и как переправлялись через нее. Поговорить не только с вами, но и с вашими подчиненными.

Велихов снова с готовностью кивнул.

— И не только здесь, но и там. — Ночью — туда и ночью же — обратно,— добавил Лопатин, глядя в изменившееся лицо Велихова. — Пусть накоротке, но без этого не смогу написать.

— Вы без этого не сможете, а я этого не смогу вам разрешить,— сказал Велихов.

— Почему не сможете разрешить? Разве вам запретили это?

— Нет, не запрещали. Наверное, после всего никому в голову не пришло, что и вы тоже — туда. Но если запрошу разрешения — запретят, можете не сомневаться.

— А я и не сомневаюсь. Потому и прошу вас, а не кого-то другого.

— Начальнику Политотдела не говорили об этом?

— Не говорил. Он уехал в Политуправление фронта и вернется только к утру.

— Но вы с ним не говорили об этом? — еще раз спросил Велихов.

— Повторяю: не говорил.

— Достанется мне за вас,— расстроенно сказал Велихов.

— А я больше чем уверен, что со мной ровно ничего не случится.

— А я и не думаю, что случится. Обеспечим, чтоб не случилось. Но мне все равно достанется. За то, что взял на себя, не доложив.

— С полка не снимут? — спросил Лопатин. — Если считаете, что снимут, беру свою просьбу обратно. Буду просить не вас, а других.

— С полка не снимут, этого не думаю. Но выволочку дадут.

Лопатин молчал, понимая, что Велихов говорит святую правду и выволочку получит, но, решившись на риск, который ему предстоит, уже не пойдет на попятный. Если не успеет вмешаться какое-нибудь его начальство.

Об этом же, оказывается, подумал и Велихов, потому что вдруг спросил Лопатина, заезжал ли он к кому-нибудь по дороге в полк.

— Никуда не заезжал — прямо к вам.

— Тогда так,— помолчав и подумав, сказал Велихов. — Пока не придем с вами ночью на КП батальона — заранее никому ни слова! А когда будем переправляться туда и обратно — я, конечно, с вами буду,— попрошу беспрекословно меня слушать. И предупреждаю: переправимся туда ровно на два часа, сам засеку время, и никаких разговоров. Обратно — значит, обратно!

— Спасибо, все ясно. А теперь пойдемте ужинать,— сказал Лопатин. — От начальника Политотдела вам сильно досталось?

— За то, что переправил туда — нет, потому что по его собственному приказанию. А за то, что сам не сопроводил, поначалу досталось. Но замполит дивизии заступился, объяснил, что я хотел, но не мог, что у меня в эту ночь в третьем батальоне ЧП было — неудачная разведка. При обратном переходе нарвались: пятеро вернулись, а шестого у немцев оставили, не вынесли с собой. Хотя заявили, что убитый, но вы же знаете, как с этим,— оставлять не положено. И пока сам не добился, чтоб еще раз пошли и вынесли, находился там у них. Начальника штаба за себя оставил, а с корреспондентом пришлось — Салимова, ПНШ-1. Считал, что с ним лучше всего, а вышло — хуже.

— Почему — хуже? — спросил Лопатин.

— Салимов вообще-то выпивает, была такая опасность. Но я его предупредил, и он обещал.

— Не сдержал? — спросил Лопатин, вспомнив способность Гурского пить без последствий для себя и соблазнять других, иногда — с последствиями.

— Почему не сдержал? Сдержал. Да у них там об этом и разговора не было, как я потом узнал. Он,— Велихов все время, не называя фамилии, говорил про Гурского «он»,— только с людьми говорил да писал в тетрадку. Но когда Салимов стал его торопить, чтобы затемно обратно, он подначил: «Я, говорит, свое дело до рассвета кончить не успею, поэтому готов идти обратно хоть утром, хоть днем, если тебе не слабо́!» Ну, а раз сказал «слабо», попал в больное место. Юсуф горячий — и его не заставил, и сам с ним до рассвета остался. Что за такой за характер. Самому боевому офицеру в полку — и вдруг «слабо»! Да Салимов, если б не закладывал, давно б уже и майором, и командиром полка был, не хуже меня, а может, лучше. Салимов, если бы по делу требовалось, весь день бы — туда и обратно под снарядами,— а он ему «слабо»! И из-за этого слова — один сказал, а другого заело — не только сами легли, еще двоих с собой взяли. Как вспомню, не могу простить.

Лопатин почувствовал себя виноватым. Правда, такого, как с этим «слабо», он себе никогда не позволял, а все же в силу профессии не раз приходилось вынуждать людей — и офицеров, и солдат — сопровождать себя куда-то, куда им по собственной необходимости в тот момент вовсе не надо было идти, и задерживать их расспросами там, где им не было нужды задерживаться, обрекая их всем этим на еще какую-то долю опасности сверх той, постоянной, к которой они и без тебя приговорены войной.

И, почувствовав себя виноватым, сказал, что обещает беспрекословно подчиняться Велихову.

— Это ясно,— сказал Велихов. — Я не об этом. Я о прошлом. Жалко людей. Начальник Политотдела, когда приезжал, стоял у могилы, сказал, что это семнадцатый убитый у вас в газете. А у меня знаете сколько убитых на памяти? Вы, наверное, думаете про нас, что мы до того привыкли, что нам уже не жалко? Привыкли, а жалко. И чем дальше, тем жальче.

Он остановился сам и остановил Лопатина у входа в дом.

— Я вашей дочери в письме свою полевую почту написал и пять дней назад получил от нее ответ. Неужели вы все-таки дадите ей после этих курсов на фронт ехать, как она заявляет? Неужели вы этому помешать не можете?

— А как?

— Не знаю как. Вы — не я, не командир полка. Вы, наверное, таких людей знаете, которые по вашей просьбе могут не разрешить ей этого, помешать. Все же она не солдат, не по призыву, а можно сказать — еще девочка. Помешать ей в этом, и все!

— Да, это верно, я знаю людей, которые могут помешать,— сказал Лопатин. — Но как это сделать? И как объяснить ей? До? Или после? Или вообще — за ее спиной, так, чтоб ничего не знала? Как вы бы это сами — не на своем, а на моем месте — сделали?

Велихов ничего не ответил, но во взгляде его все равно осталась невысказанная вслух мольба — что-то придумать, чтоб всего этого не было. Неизвестно как — но не было!

— Рыбу будем есть,— сказал он. — Я велел, чтоб к ужину рыбу пожарили. Сегодня в Шешупе два ведра гранатами наглушили и принесли. Думал, начальник Политотдела после похорон обедать останется, а он не остался, сразу уехал.

25

Ужинали вдвоем в маленькой голой каморке, где стояли только стол, табуретка и койка.

Предстоящего не касались. Велихов рассказывал, как в последние дни в ходе боев — не больших, но трудных из-за постепенно наступившего безлюдья, когда еле хватает силенок спихнуть с дороги даже немецкий подвижной заслон,— как-то не доходило до сознания, что вот-вот, еще немного — и дойдут до государственной границы, за которой Восточная Пруссия. Позавчера на два километра продвинулись, вчера на три, сегодня еще на полтора,— и как-то вдруг оказалось, что вышли двумя батальонами из трех к реке, к границе. И уже среди ночи узнали, что одна рота сама, на подручных средствах, без приказа и без сопротивления, переправилась на тот берег.

— Ну, тут, конечно, когда узнал,— сказал Велихов,— приказал им закрепиться и сам слазил туда, посмотрел — как? Минометы туда переправил, а к этому берегу подтащили две батареи и снаряды довел до половины боекомплекта, чтобы, если спихивать начнут, было чем поддержать. И тут началось! Одному туда надо, на тот берег, другому, третьему — всем охота, и по приказу, и без приказа! Пришлось порядок наводить.

— А почему, как вы думаете, немцы не препятствовали переправе?

— А там по самому берегу низина, а с этой стороны у нас — почти сразу высотки. Там на самом берегу немцам все равно бы

не усидеть. А настоящая оборона у них на этом участке дальше подготовлена, километра три от берега. Сунулись из-под берега дальше, по открытому месту,— и на такой огонь напоролись, что сразу приказ: отставить! Если дальше наступать, надо действительно плацдарм иметь. А один этот пятачок ничего не даст, просто неохота с него отходить, раз там оказались. Немцы за него пока не беспокоятся — немного побросают утром и вечером снаряды, напомнят о себе, и снова тихо. Чувствуется, что по-серьезному готовятся не здесь, а в глубине. Ждут нового нашего удара.

— Они ждут. А вы? — спросил Лопатин, в сущности, о том же самом, о чем пять дней назад спрашивал у Ефимова.

— Об этом не нас, командиров полков, спрашивать.

— А если вас?

— Наверно, как и все другие, хотел бы перед этим пополниться. Пятьдесят восьмой день, с начала боев сколько листов карт за это время сменили! Из-под Витебска, считая с поворотом на Минск и опять с поворотом, за пятьдесят восемь суток — шестьсот километров прошли. А теперь считайте: если во всем полку только по одному убитому на каждый пройденный километр — вроде бы не так много. А сложить вместе — шестьсот! А на одного убитого, принято считать,— три-четыре раненых. Вот вам и весь полк, если б по дороге пополнения не получали и раненые в строй не возвращались.

— Да, выходит так, хотя в голове плохо укладывается.

— Потому и говорю, что не нас, командиров полков, спрашивать. Тем более меня. Шестого августа на плацдарме за Неманом в один день одним снарядом — и командира полка, и начальника штаба! После этого сутки исполнял обязанности, а на вторые — принимал полк! Оба в годах были, с опытом, и уже давно на своих должностях. Многому научился от них. Но не доучился. Не успел. Последние три листа карт — без них воюю. И не всегда головы на это хватает. Так сам про себя иногда думаю. Но говорить про это никому в полку нельзя — раз я им командую. Вам — первому.

Лопатин кивнул. Он хорошо понимал внезапную душевную открытость Велихова. Не раз за войну, бывая вот так, наедине с людьми, стоявшими во главе своего большого и небольшого хозяйства, где и первое и последнее слово за ними, где рядом только подчиненные, которым надо приказывать, а не делиться своими сомнениями, он уже сталкивался с этим жадным желанием поговорить с тобой просто как с человеком, расстегнуть свою, не по доброй воле, а по должности застегнутую на все пуговицы душу!

Все было слишком хорошо понятно: и то, почему командир полка Миша Велихов так откровенен с ним, и то, почему захотел ужинать вдвоем, никого не позвав. Поистине нет ничего более изнуряющего человеческую душу, чем предписанная по долгу службы и безвыходная в своей ежедневной необходимости тяжесть власти.

— Все-таки вы не допускайте, Василий Николаевич, чтоб ваша дочь пошла на войну. Здесь надо быть только тем, кому обязательно. А тем, кому необязательно,— лучше не быть,— сказал Велихов. И таким внезапным переходом с одного на другое, с себя — на нее, протянул ту ниточку, о которой Лопатин до этого только мельком подумал. А теперь она, эта ниточка, стала очевидной. Значит, что-то в ней, еще совсем девчонке, зацепило его. И зацепило так сильно, что, уже понимая, что не нужно больше говорить об этом, он все-таки не выдержал и опять заговорил. Что могло зацепить в ней его — молодого, статного, удачливого и, наверное, не обойденного вниманием женщин? Что? Уж не та ли самая очевидная черта ее натуры, которая никому, даже отцу, не позволит за ее спиной поступить так, как уже во второй раз молит Лопатина этот сидящий напротив него человек?

Лопатин расстегнул полевую сумку и вынул карту.

— Хочу проверить, где мы с вами находимся. Этот его крестик — правильно стоит или нет?

— Правильно,— мельком взглянув на карту, сказал Велихов. — Но давайте по моей. У меня пятисотка, по ней виднее.

Он достал из планшета и положил перед Лопатиным лист карты, на которой наверху стояли номер и литера и рядом с ними — даты составления, исправлений, рекогносцировок, а внизу, под линейкой масштаба, было написано красным карандашом через точки: «В. Г. Г. 3.15, 17.8.44». И подпись: «М. Велихов».

— Сейчас мы здесь. Вот сюда, обогнув высотку, зайдем в батальон, и потом вниз до реки напрямую. А эти строения, показанные на той стороне Шешупы,— коровники. Я сначала по карте думал — дома, а это — коровники, и кругом — выгон для скота.

Он спрятал карту в планшет.

— А что это у вас там стоит: В. Г. Г.?

— Это я себе для памяти — выход к государственной границе. День и час. И они ее здесь перешли в первый день войны, тоже в три утра, с минутами... Хочу этот лист зажать, не сдавать.

— Правильно,— сказал Лопатин. — Я бы на вашем месте не отдал.

Несмотря на обыденность, с которой Велихов рассказывал, как в боях почти незаметно подошли сюда, к границе, все рав-

но — и его надпись красным карандашом, и нежелание сдавать этот лист карты значили, что он знает цену происшедшему.

Пускай в этом случае переправились туда без сопротивления, пускай одной ротой, пускай на пятачок, пускай там, на этом пятачке, ничего нет, кроме коровников и поскотины,— все равно на листе карты красным карандашом стоит В. Г. Г. — выход к государственной границе; впереди, за обрезом карты,— Германия, а позади, за спиной, почти до самой Москвы,— все, что сначала отдали, и все, что потом вернули.

— Километрах в пяти от нас, в тылу, я заметил, еще когда сюда шли, а вчера еще раз поехал посмотрел,— стоит наш довоенный дот,— сказал Велихов.— Поколупанный снарядами, а так на вид почти целый. Бетон черный, закопченный, обожженный, наверное, наши в нем до конца сидели, а немцы или огнеметами их выжигали, или горючим заливали. Думаю, так. Хода внутрь не видно, где он шел — может, под землей — не знаю, времени не было искать. Стоял там, смотрел, и все казалось — а вдруг внутри кто-нибудь до сих пор остался, сидит там, с сорок первого года. Ерунда, конечно, но такое у меня настроение вчера было, когда смотрел на эту старую точку. Завтра покажу вам, если хотите.

— Не хочу,— сказал Лопатин. — Может быть, потом когда-нибудь, а сейчас не хочу.

Велихов сидел, прислушиваясь к чему-то, чего Лопатин не слышал.

— Дождь пошел. Вы посидите, подождите меня. Я ненадолго. Распоряжения на ночь отдам и в батальон позвоню, что придем к ним.

Он вышел, и Лопатин остался один. Пока Велихов открывал и закрывал дверь, он тоже услышал дождь, а сейчас, подойдя к завешенному плащ-палаткой окну и прислушавшись, услышал его и там, за окном.

«Значит, пойдем в дождь»,— подумал он, чувствуя навалившуюся усталость — и от сегодняшнего, и от вчерашнего дня, и от бессонной ночи в грузовике, от всего сразу — и представляя себе, как они сейчас ночью пойдут с Велиховым. Отсюда до батальона будет еще ничего — от высотки до высотки, и почва песчаная. Пониже к реке идти станет похуже, а там, за Шешупой, в низине, где эти коровники и поскотина, наверно, вообще болото.

Он поглядел на свои старые хромовые сапоги, досадуя, что не взял про запас, как обычно, еще и кирзовые. А впрочем, и взять не мог. Они лежали дома, на тахте, вместе с вывороченными наспех из чемодана грязным бельем и обмундированием.

Там, у Ники, когда подумал, что надо бы зайти домой за тетрадью, подумал и о сапогах. А потом даже и не вспомнил об этом.

И ничего она ему не говорила в те последние два часа, что они лежали с ней вдвоем, вместе, после того, как, стащив с себя обмундирование, он все-таки разделся и лег, лег и ждал ее, а она долго не шла, а потом принесла ему чай, которого он все равно не стал пить. Сначала уговаривала его, чтоб он попробовал заснуть, а потом поняла, что он все равно не заснет, и легла рядом. И только одно казалось ему странным — то, как она все время, пока они лежали и были вместе, молчала. Словно боялась проговориться, сказать что-то такое, чего не должна была или не хотела ему сказать. Только это, и то не сразу, а лишь под конец, заставило его понять, как она боится за него, боится его отъезда, боится его смерти —вслед за той, другой смертью, из-за которой он туда ехал. Боится и ничего не может с собой сделать. И не может говорить ни о чем другом, потому что, если заговорит — заговорит об этом.

Но так и не заговорила. И когда лежали в постели, и когда встали, и когда вышли из дому, и когда вошли во двор редакции и простились около машины — так и не заговорила.

Он сидел, слушал, как все сильней и сильней льет дождь, и с тоской и благодарностью вспоминал ее молчание.

Три часа назад, если поезд отошел вовремя, она уехала обратно в Ташкент.

Когда она лежала рядом с ним и боялась за него, он сам не боялся. Не только не позволял себе думать об этом, но и не думал. А сейчас, когда она была где-то между Коломной и Рязанью, он, думая о ней, думал и о себе и боялся. Это началось еще вечером, когда ехал сюда и смотрел на могилы. Он уже тогда понимал, что началось и, пока он не вернется назад из-за Шешупы, ему придется преодолевать в себе это. И когда, говоря с Велиховым, настаивал, что ему непременно надо быть там, в этом упорстве была и частица того насилия над собой, которое называют преодолением страха. А потом вдруг что-то добавил еще и дождь. Как ни дико, так оно и было: из-за того, что начался, а теперь все сильней шел дождь, ему казалось еще страшней идти туда.

Мертвые на осклизлой, растоптанной, мокрой земле, в грязи, в налитых водой колеях, на дне затопленных дождями ходов сообщения и окопов, в наполненных грязной жижей кюветах у дороги. Все это он видел, видел не раз и знал, что вспоминать сейчас об этом под шум шедшего за окном дождя не надо, нельзя. И все-таки вспоминал и боялся смерти, хотя хорошо понимал и умом, и опытом, что сегодня ночью ничто ее не обещает,

кроме одной из тех глупых случайностей, избегая которых надо было на второй же день войны ехать из Москвы не в Минск, а в Ташкент.

Он сделал усилие над собой и улыбнулся навстречу Велихову, вошедшему в забрызганной дождем плащ-палатке и со второй плащ-палаткой и кирзовыми сапогами в руках.

— Сапоги для вас добыли. Со спящего после дежурства солдата стащили.

— А если хватится? — снова улыбаясь и снова чувствуя, как это с трудом дается ему, спросил Лопатин.

— Не хватится! Пока проснется, мы с вами уже обернемся. Как, подойдут?

— Думаю, подойдут,— разуваясь, сказал Лопатин и легко влез в чуть великоватые солдатские сапоги.

— Пошли? — протягивая ему плащ-палатку, спросил Велихов.

— Пошли...

КОНЕЦ

1956—1978

ПРИМЕЧАНИЯ

Пантелеев. — Впервые в журнале «Москва», 1957, № 4.

Левашов. — Впервые в журнале «Москва», 1957, № 6 (под назв. «Еще один день»).

Иноземцев и Рындин. — Впервые в газете «Литературная Россия», 1963, 22 февраля.

Жена приехала. — Впервые в журнале «Москва», 1964, № 2.

Под назв. «Из записок Лопатина» впервые объединены в кн.: «Там, где мы бывали». М., «Московский рабочий», 1964. Также в сб.: «Из записок Лопатина». М., «Советская Россия», 1965.

Под назв. «4 шага» впервые объединены в кн.: «Так называемая личная жизнь». М., «Московский рабочий», 1978.

20 дней без войны. — Впервые в журнале «Знамя», 1972, № 9—10. Отрывки в газетах: «Московский комсомолец», 1972, 30 августа, 31 августа, 1 сентября. Под назв. «Зинаида Антоновна» — «Литературная газета», 1972, 17 мая. Под назв. «15 минут с Усманом Юсуповым» — «Ленинградская правда», 1972, 3 сентября, «Сов. Эстония», 1972, 3 сентября, «Туркменская искра», 1972, 3 октября, «Коммунист Таджикистана», 1972, 14 октября, «Сов. Латвия», 1972, 14 сентября. Под назв. «С утра до вечера» — «Литературная Россия», 1972, 4 августа.

Мы не увидимся с тобой... — Впервые в журнале «Знамя», 1978, № 2—3. То же в кн.: К. Симонов. Мы не увидимся с тобой... М., 1978; «Роман-газета», № 17.

Так называемая личная жизнь. — Впервые в кн.: К. Симонов. Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина). Роман в 3-х повестях («Четыре шага», «20 дней без войны», «Мы не увидимся с тобой...»). М., «Московский рабочий», 1978.

СОДЕРЖАНИЕ

ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

(Из записок Лопатина)
Роман в 3-х повестях

Симонов К. М.

С 37 Собрание сочинений. В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1979 —

Т. 7. Так называемая личная жизнь. /Из записок Лопатина./ Роман в 3-х повестях: Четыре шага; Двадцать дней без войны; Мы не увидимся с тобой... 1982. — 558 с.

В томе помещен роман «Так называемая личная жизнь», содержание которого определил сам автор — «о жизни военного корреспондента и о людях войны, увиденных его глазами».

С $\frac{4702010200\text{-}016}{028(01)\text{-}82}$ подписное Р2

Константин Михайлович

Симонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том 7

Редактор Т. Аверьянова

Художественный редактор
Е. Еиенко

Технический редактор
Л. Платонова

Корректор
Н. Усольцева

ИБ № 2440

Сдано в набор 16.02.81. Подписано в печать 06.10.81. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 32,66 усл. печ. л. 32,66 усл. кр.-отт. 36,17 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Изд. № III-239. Заказ № 1755. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

2 р. 50 к.